

А. В. НИКИТЕНКО

ДНЕВНИК



II

А. В. НИКИТЕНКО

ДНЕВНИК

ГОСУДАРСТВЕННОЕ
ИЗДАТЕЛЬСТВО
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ
ЛИТЕРАТУРЫ

СЕРИЯ
ЛИТЕРАТУРНЫХ МЕМУАРОВ



Под общей редакцией

|Н. Л. БРОДСКОГО,| Ф. В. ГЛАДКОВА,
Ф. М. ГОЛОВЕНЧЕНКО, Н. К. ГУДЗИЯ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
1955

А. В. НИКИТЕНКО

ДНЕВНИК

В ТРЕХ ТОМАХ

ТОМ 2

1858—1865

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
1955

Подготовка текста и примечания

И. Я. Айзенштока



1858

Январь 1. Среда. Получил из военного министерства проект положения об учебных заведениях и программы, с просьбой рассмотреть их в два дня и написать свое мнение.

2. Четверг. Занимался проектом и программами. Завтра отправляю все со своим заключением.

3. Пятница. Между прочим были у меня ‹В. И.› Панаев и молодой ‹В. И.› Ламанский, даровитый молодой человек, приготовляющийся занять у нас в университете кафедру славянских наречий.

Панаев рассказывал про свое свидание с ‹К. В.› Чевкиным, главноуправляющим путями сообщения. Сей государственный муж доказывал ему, что нынешнее направление литературы, заключающееся в преследовании всяческих крадств, вредно. Недавно в какой-то статье задеты были по этой части путейские чиновники. Вообще многим из нынешних главных начальств не нравится литературное бичевание мерзостей, совершающихся в их ведомствах. Они находят, что это повлечет неуважение к правительству. Гласность и усиление общественного мнения в делах общественных они находят вредным, особенно граф Панин. Но они ошибаются: тут нет ничего общего с уважением или неуважением к правительству. Последнее само тяготится разными административными злоупотреблениями и в гласности и в общественном мнении должно бы видеть самую деятельную помощь против зла, с которым хочет бороться.

На днях министр сильно накричал на цензора ‹В. Н.› Бекетова за то, что тот по напечатании рескрипта об освобождении пропустил в «Сыне отечества» извлечение

о постановлениях для остзейских крестьян. Это случилось в отсутствие князя Г. А. Щербатова. Но когда князь вернулся, он настоял, чтобы Бекетов не был отрешен от должности, как грозил министр. Все это была работа Кисловского, который отрешением Бекетова думал сделать неприятное князю. Но последний поступил очень решительно, что называется, прижал министра и не дал в этот раз тайному подьячему духу восторжествовать над справедливостью.

5. Воскресенье. Вечер у князя Щербатова. Мне было передано от его имени, что он очень жалеет, что давно меня не видел. Было объяснение.

— Мне кажется, — сказал князь, — что вы сердитесь на меня.

Я не скрыл, что некоторые слова и поступки, ему приписываемые, вызывают мое недоумение. Князь многое опроверг, а другое объяснил преувеличениями своих недоброжелателей. Мы дали слово друг другу вперед в таких случаях откровенно объясняться.

Затем князь горько жаловался на хаос, царствующий в нашем министерстве. Кисловский везде на первом плане.

6. Понедельник. У графа Блудова. Там был также попечитель Московского университета ‹Ев. П.› Ковалевский. Разговор о статье в Москве «Публика и народ», за пропуск которой чуть не был отрешен цензор ‹Н. П.› Гиляров ‹-Платонов›; [1] о том, как князь Щербатов отстоял Бекетова; о современной литературе и литераторах. Граф выражал сожаление, что современные писатели, повидимому, совсем знать не хотят, что выражать свои мысли в слове есть искусство, и пишут как попало.

Попечитель жаловался на борьбу в Московском университете между славянофилами и западниками. Борьба доходит до того, что противники даже не стесняются друг другу гадить. Это особенно отражается на лицах, ищущих степеней и кафедр. З а п а д н и к и отвергают даже людей — способных, но не принадлежащих к их партии. С л а в я н о ф и л ы мстят им тем же. [2]

Говорили еще о московском обеде по поводу высочайшего рескрипта о свободе, о множестве произнесенных на нем речей, из которых не одобряли речи Погодина; [3] о графине Ростопчиной, которая сделалась страшной консерваторкой.

Граф Блудов и Ковалевский вспоминали о графе ‹Е. Ф.› Канкрине. По мнению первого, это был лучший министр финансов в России. Он был, по словам Блудова, ума обширного и очень находчив в финансовых операциях. Между прочим кто-то припомнил и его слова: «Я министр финансов не России, а русского императора».

— Но это, — заметил Блудов, — ему не мешало любить и знать Россию. Вот по какому случаю император Александр I приблизил Канкрина к себе. После Бауценского сражения армия наша, теснимая неприятелем, оставалась без всякого продовольствия.[4] Канкрин был тогда интендантом. Государь призывает его к себе и говорит ему: «Мы в тяжелом положении. Если ты найдешь способ вывести армию из затруднения и доставить ей продовольствие, я награжу тебя так, как ты не ожидаешь». Канкрин нашел этот способ, и с тех пор карьера его была упрочена.

11. Суббота. Заседание театрального комитета. Ни одной порядочной пьесы, хотя мы на этот раз рассматривали их пять.

Волнение рабочих крестьян по дороге от Луги до Острова.[5] В Смоленской губернии, говорят, убили несколько помещиков.

13. Понедельник. Вечером был приглашен на совещание по устройству «Общества литературного фонда для пособия нуждающимся литераторам и ученым и их семействам». Собрание наше состояло из ‹А. А.› Краевского, ‹К. Д.› Кавелина, ‹А. Д.› Галахова, ‹А. В.› Дружинина, ‹П. В.› Анненкова, ‹С. С.› Дудышкина и меня. Мне поручили написать проект устава.[6]

Бесконечные толки о свободе крестьян. Правду сказать, есть о чем потолковать. Тут затронуты самые существенные интересы общества, многие симпатии и антипатии, до сих пор таившиеся в умах. Но, боже мой, сколько же и нелепостей в этих толках. Сквозь разные более или менее пристрастные суждения, однако, явственно проглядывает дух двух враждебных партий — желающей освобождения и не желающей его. К первой принадлежат все так называемые мыслящие или притворяющиеся мыслящими умы: литераторы, ученые и т. д. Ко второй — все те, материальные интересы которых замешаны в эту громадную игру, следовательно, большая часть помещиков-душевладельцев. Между лицами, принадлежащими к последней партии, раз-

личаются два оттенка: одни находят меру освобождения несправедливою в тех условиях, в каких она предложена правительством; другие находят ее безусловно вредною или по крайней мере преждевременною. Конечно, они имеют основание опасаться. Тут дело идет об их благосостоянии. Вопрос касается их поземельной собственности, от которой они не хотят отказаться. А иным просто не по сердцу уничтожение их барства — и эти чуть ли не сильнее всех кричат.

Кавелин, которого, кстати сказать, нельзя не любить и не уважать, в своих страстных увлечениях, однако, доходит часто до крайностей. Теперь, например, он вопиет против дворянства как против вреднейшего из зол на земле. Как будто бы зло в самом дворянском сословии, а не в особенностях его положения у нас.

15. Среда. Умер член II отделения Академии наук ‹М. А.› Коркунов. Он недели две хворал тифом. Это был человек честнейший из честных, ума не обширного, маленьких знаний во множестве.

16. Четверг. Меня избрали секретарем II отделения на место Коркунова, который состоял также и в этом звании.

Обедал у графа Блудова. Там были: ‹И. В.› Анненков, издатель Пушкина, и ‹Ег. П.› Ковалевский, директор азиатского департамента. Разговор о литературе, которой очень хочется говорить о главном современном вопросе — о свободе, или так называемой эмансипации, и о цензуре, которой очень не хочется этого дозволить. Графиня читала стихи ‹К. С.› Аксакова в честь освобождения. [7] Стихи эти не пропущены, несмотря на то, что в них принимает участие великий князь Константин Николаевич.

Был у меня Львов, автор комедии: «Свет не без добрых людей», и принес мне билет на завтрашнее представление. Я пьесы еще не видал. Ее запретили в Москве, и здесь велено давать ее реже. Публика от нее в восторге. Власти осыпают автора похвалами, [8] а между тем произведение его гонится со сцены. Кажется, и слава и гонение преувеличены. Пьеса, несомненно, имеет достоинства. Но одни восхищаются, а другие возмущаются всего больше словами: «правдою нельзя нажиться на службе». [9]

17. Пятница. Заседание в комитете по устройству кантонистских школ. [10] Члены — все сияющие и звездоносные генералы в мундирах. Я во фраке казался между ними вороною, залетевшею в стаю павлинов. Были жаркие прения

о некоторых параграфах устава. Заседание затянулось с двенадцати часов до трех.

Вечером в театре на представлении пьесы «Свет не без добрых людей». Некоторые места в ней производят сильное впечатление. В ней много современной истины, и это главная причина ее успеха. Игра актеров очень хороша, особенно Мартынова, Зубарева, Максимова и Линской.

18. Суббота. Радикальные реформы редко не вредны. Задуманные с лучшими намерениями, они почти никогда не достигают своей цели, потому что им недостает почвы. Почва будущего, во имя которого они предпринимаются, состоит из настоящего и прошедшего. Вещи, оторванные от того и другого, не идут, а мчатся в беспорядке, волнуются, блуждают, запутываются и производят хаос, из которого трудно бывает выбраться.

У Валерьяна Никитича Вельбрехта собралось несколько человек бывших студентов С.-П‹етербургского› университета разных выпусков для совещания о праздновании дня открытия его. Меня избрали председателем этого собрания, в котором и была составлена программа обеда. Я и князь Щербатов назначены председателями-хозяевами праздника, и мне же поручено написать речь к первому заздравному тосту в честь государя. День назначен 16 февраля.

Говорят, министр народного просвещения потерпел сильное поражение в заседании совета министров в прошедший четверг, где он докладывал.[11] Начало доклада, повидимому, было хорошее. Министр прочитал записку о необходимости действовать по цензуре в смягчительном духе. Записку эту писал князь Вяземский с помощью Гончарова. Против Норова восстал враг мысли, всякого гражданского, умственного и нравственного усовершенствования, граф Панин. Он не лишен ума, а главное — умеет говорить. Бедный Норов начал было защищать дело просвещения и литературы, но защита его, говорят, вышла хуже нападок. Панин, разумеется, восторжествовал, и цензуре велено быть строже.

21. Вторник. Панин, Брок и Чевкин, кажется, помешались на том, что все революции на свете бывают от литературы. Они не хотят понять, что литература только эхо образовавшихся в обществе понятий и убеждений; что если она обращает внимание правительства на какие-нибудь административные беспорядки, то тем оказывает услуги

ему самому; что надо отличать нападки на законы от нападок на неисполнение последних и что нападки этого рода только возвышают достоинство закона и законодательной власти.

22. Среда. У графа Блудова. Все та же песня о хаосе в делах по министерству народного просвещения и разговор о несообразности в действиях цензуры.

25. Суббота. Два комитета вечером: один театральный, другой по военному ведомству. В последний я получил приглашение с надписью: «весьма нужное». Надо было отправиться туда. Заседание продолжалось до полуночи у генерала ‹П. А.› Данненберга. Сильно восставал против всех воспитательных учреждений военного министерства ‹П. А.› Булгаков. Он полагает, что все образование должно быть сосредоточено в министерстве народного просвещения, и сильно нападал на преобладание в военно-учебных заведениях так называемой ружистики — с чем соглашались и прочие генералы. Была высказана мысль относительно общего образования: в министерстве народного просвещения должно бы существовать общесовещательное собрание из лиц всех ведомств, под председательством министра. Там рассматривались бы все проекты и соображения о специальном образовании, какое нужно каждому ведомству. Образование должно быть о б щ и м, н а ц и о н а л ь н ы м и г о с у д а р с т в е н н ы м: одно для народа, другое для разных специальных потребностей государства.

Еще слово о Булгакове: это человек умный, даровитый, либеральный, владеющий даром слова.

26. Воскресенье. Есть прогресс с л о м я г о л о в у и прогресс п о с т е п е н н ы й. Если бы надо было себя сформулировать одной из тех категорий, на какие принято подразделять политические мнения в Европе, я бы назвал себя умеренным прогрессистом. Я худо верю в те учения, которые обещают обществу беспредельное счастье и усовершенствование, но верю в необходимость для человечества развития, на всякой степени которого для него воздвигается известная мера благ с неизбежною примесью известных зол; верю, что не идти путем этого развития — значит противиться закону природы и подвергаться произвольно таким опасностям и бедствиям, которых избежать есть долг разумного существа. Как природа испытывает перемены времен года и с каждой переменой производит новые существа и новые явления, не выходя из общей сферы, опре-

деляющей ее деятельность, так и человечество не может оставаться неподвижным и должно раскрывать в исторической последовательности те силы, какие составляют его содержание.

27. Понедельник. Вот что случилось: бывшим студентам С.-П‹етербургского› университета запрещено собраться вместе в память его основания и вместе пообедать. Причина тому, как говорится, покрыта мраком неизвестности. Сегодня я был у Вельбрехта: никто ничего не знает. Все участники предполагаемого праздника — а их могло быть человек до пятисот — чувствуют себя оскорбленными. Между тем московцы, казанцы и харьковцы преспокойно отпраздновали себе свои дни. Князь Васильчиков полагает, что можно будет просить, что это еще переменится. Но я не знаю, желательно ли это: неприятное впечатление произведено, и праздник был бы холоден и лишен одушевления.

29. Среда. Сегодня у графа Блудова было много говорено о графе Панине, который пылает такой ненавистью к просвещению и литературе, что беспрестанно предлагает какие-нибудь новые, стеснительные цензурные меры. Например, чтобы побудить цензоров к вящей строгости, он предлагает за всякое упущение немедленно подвергать их взысканию, а потом уже исследовать, точно ли дело стоило такого взыскания. Не значит ли это рассуждать прямо навыворот? Это особенно прилично министру правосудия. Боже мой! как посмотришь — к каким странностям приводит слепая ненависть к истине и разуму.

31. Пятница. Оказывается, что запрещение нашего обеда есть мера общая, которая клонится к тому, чтобы вперед не было праздников в честь университетов или в честь каких бы то ни было общественных явлений. В Москве ‹В. А.› Кокорев хотел устроить какой-то огромный обед в честь эмансипации. Граф Закревский увидел в этом нехорошее и в таком виде представил сюда, вследствие чего последовало запрещение и кокоревского и нашего обедов.

Теперь у меня на руках два проекта уставов — один театрального комитета, другой «Литературного фонда для пособия нуждающимся литераторам и ученым».

Февраль 5. Среда. Во Франции творятся скверные дела. Враги Наполеона должны быть довольны: он начинает делать ошибки. Путь, на который он вступил, тот самый, который привел к гибели его дядю. Это путь военного деспотизма и ослепления своим могуществом.

Люди ни дурны, ни хороши, а точно таковы, какими им надлежит быть по условиям их природы и жизни. Ни сетовать, ни негодовать тут не о чем, а надо только остерегаться. Неприятности следуют всегда за излишней доверчивостью. Кто сел в крапиву — не жалуйся, что обжегся.

6. Четверг. Первое заседание комитета, учрежденного для пересмотра старого и составления нового цензурного устава. Прежде прочитана была записка князя ‹П. А.› Вяземского о состоянии направления нынешней литературы, представленная министром народного просвещения государю. Записка оправдывает литературу от взводимых на нее обвинений. Она составлена умно и изложена изящно. Вообще записка эта делает честь князю Вяземскому по светлым идеям в пользу мысли и просвещения, которые он сумел вложить в нее. Он опровергает ею мнение многих, будто он сделался простым аристократом-царедворцем, особенно Герцена, который беспощадно казнит его в каждом номере «Колокола». [12] Любопытны также замечания государя на эту записку. Некоторые места в ней он одобряет, к другим относится как будто недоверчиво, и в замечаниях его тогда проглядывает как бы нерасположение к литературе и сомнение в ее благонамеренности. Вообще он считает необходимым бдительное цензурное наблюдение за ней.

16. Воскресенье. Вся эта неделя была для меня полна самой тяжелой и скорой работы. Я написал два проекта уставов: театрального комитета и «Литературно-ученого фонда». Первый уже рассмотрен и одобрен комитетом, второй будет рассматриваться на этой неделе. Сверх того, идут заседания комитета для пересмотра цензурного устава. Много толков, много изменений. Все это составляет хаос, который надо привести в стройный вид и ясное выражение. Князь Вяземский в данном случае умно и благородно смотрит на вещи, но за этот последний труд не берется. В последнее заседание комитета о цензуре князь предложил возложить на меня составление и редакцию проекта изменений и дополнений к цензурному уставу, а равно и тех листов, которые должны быть внесены в Государственный совет, где наш проект без сомнения будут сильно оспаривать.

20. Четверг. Собрание «Литературного фонда». Я читал проект устава. Предложено несколько изменений.

24. Понедельник. Заседание комитета для пересмотра цензурного устава. Читал обработанный мною весь первый отдел, где изложены основные начала цензуры. Я написал несколько новых параграфов с целью дать литературе побольше простора в суждениях о делах общественных. На этот раз принято все, за исключением одного параграфа.

Все это только начало труда, будет пропасть работы. К чему она опять приведет — не знаю. Горько становится, когда подумаю, сколько раз уже моя работа в этом направлении пропадала даром! С Авраамом Сергеевичем уже казалось так налажено — но удобная минута была пропущена, и вот опять все сызнова начинай. А все не хочется отстать, и всякий раз возлагаешь надежды на столь знаменательное в нашей русской жизни авось.

Переписан и подписан членами проект устава о театральном комитете.

Вчера князь Щербатов читал мне свой устав университета. Сомнительный успех, ибо тут требуются деньги и новые права.

25. Вторник. Вечером на спектакле в театральной школе. Снеткова очень хорошо выполнила сцену Марины у фонтана из «Бориса Годунова». В ней положительный талант, да и наружность у нее прелестная, но выйдет ли что из всех этих задатков быть отличной артисткой — другой вопрос. Ей, как и всем нашим артистам, недостает общего образования и школы.

26. Среда. На днях был у меня митавский губернатор П. А. Валуев. Он привез мне письмо от моего доброго приятеля К. И. Рудницкого из Риги, с которым и он дружен. Валуеву очень понравилась моя «Мадонна» и мой спор с Далем о грамотности, и он пожелал со мной познакомиться. Вчера я отдал ему визит.

У жизни много цепей. От иных надо уметь освободиться, другие — носить с терпением и мужеством. Хуже всего, когда мы к тем, которые сковывают жизнь, прибавляем от себя новые.

Величайшее благо, до какого может достигнуть человек усилиями ума и воли, есть независимость духа, не нуждающаяся ни в случайных дарах счастья, ни в другой благосклонности людей, кроме той, за которую он может заплатить наличными услугами и трудом.

28. Пятница. Ездил поутру к ‹В. И.› Панаеву, директору канцелярии министра императорского двора,

объясняться по делам театрального комитета. Проект устава должен быть представлен на днях министру.

Вечером получил горестную весть. М. М. Тимаев, мой старый друг, благороднейший из людей, каких я знал, внезапно умер. Поутру был здоров, спокоен, говорил с женой о предстоящей свадьбе своего сына и удалился в другую комнату. Через минуту вошел к нему слуга и нашел его мертвым. Ему был шестьдесят один год.

Март 2. Воскресенье. Вчера был на огромном рауте у графа Д. Н. Блудова. Звезд и кринолинов — без конца. Я все время проговорил с ‹М. В.› Остроградским, а потом и с ‹В. П.› Титовым.

Решительный приговор вовсе не служит доказательством знания, а часто служит только доказательством притязаний на знание.

4. Вторник. Отослал к графу ‹В. Ф.› Адлербергу проект устава театрального комитета при моем донесении.

Вечером в театре. Здесь услышал о смерти Сенковского. Он уже давно страдал несварением желудка.

7. Пятница. Был у графа Адлерберга. Разговор об уставе театрального комитета. Граф объявил, что доволен им, и благодарил за него. Спрашивал моего мнения о пользе комитета. Я отвечал, что польза его преимущественно отрицательная: препятствие загромождать сцену плохими пьесами. Но тут есть также и положительная польза, а именно, что писатели, особенно молодые, будут находить ободрение в мысли, что судьба их сочинений отныне станет решаться не произволом, часто невежественным, а судом литературным и, по возможности, справедливым.

Граф заметил, что у нас теперь мало драматических талантов, потом перешел к цензуре, заговорил о трудности ее направить и заметил, что у нас в литературе господствуют не совсем хорошие стремления. Я возразил, что положительно дурного или вредного в ней ничего нет, а что если некоторые из молодых писателей иногда и увлекаются чересчур горячими мыслями, то это не может иметь вообще решающего влияния на умы, так как они всегда найдут противодействие в произведениях людей более зрелых и с более установившимся образом мыслей.

Граф указал на шаткость у нас общественного мнения. «Иногда, — сказал он, — резко нападают на какое-нибудь высшее лицо — оно удалено, и вот его начинают возносить».

Затем граф просил указать ему несколько кандидатов на места членов театрального комитета.

10. Понедельник. До сих пор еще не отметил случай, доставивший мне и развлечение и некоторое удовольствие: обед бывших студентов С.-П‹етербургского› университета, состоявшийся еще 16 февраля. Это не был большой, парадный, обед, который нам запретили, а простая, дружеская трапеза, на которую собралось человек до тридцати в квартире Вельбрехта. Обед был очень оживлен. В течение его и на мою долю выпало маленькое торжество. В честь мою был выпит тост и сказано несколько слов, от которых у меня стало тепло на душе. Спасибо, господа!

Затем последовали другие тосты, пение, и на первом плане всемирный студенческий гимн: Gaudeamus igitur, и проч. В числе певцов особенно отличались князь Васильчиков и братья Уваровы.

16. Воскресенье. У графа Блудова. Важная новость: Норов подал в отставку, и просьба его принята.

17. Понедельник. Совет университета, в котором попечитель предложил на рассмотрение составленный им проект нового университетского устава. Тут все уже знали об отставке Норова. Говорят, на место его назначается ‹Ев. П.› Ковалевский, попечитель московский. Всеобщее мнение: хуже того, что было, быть не может. Бедный Авраам Сергеевич, вот к чему его привели все его шатания.

18. Вторник. Князь Вяземский сказал мне сегодня, что он тоже подал в отставку и получил ее. Жаль. Он не много делал и не много мог сделать, но он человек благородный, просвещенный и умный.

19. Среда. Сейчас получил известие от Петра Петровича ‹Татаринова›, что Норов подал в отставку и получил ее.

Вчера пронесся слух, что Брок также уволен и на место его назначен ‹А. М.› Княжевич. Вот сколько перемен! Что-то дадут они нам?

Место Норова занял ‹Ев. П.› Ковалевский. [13]

Говорят, государь, решая отставку Норова, сказал: «Это почтенный человек по своему сердцу, по благонамеренности; я душевно люблю его и уважаю. Но он неспособен быть министром, и я дольше оставить его на этом месте не могу».

Митрополит Григорий в одной своей проповеди, говоря, как мало люди расположены к богу, сказал: «Иной думает больше о собаке, чем о боге».

23. Светлое Христово воскресение. Заутреню слушал в театральной церкви.

24. Понедельник. Читал разбор Герценом истории 14 декабря Корфа. Герцен слишком строго судит о Ростовцеве. В письме последнего много ребяческого, в поступке его больше несостоятельности, чем подлости, какую приписывает ему Герцен. Я тогда хорошо знал Ростовцева и хорошо помню все обстоятельства дела и моральное настроение самого Ростовцева. Он был тогда очень молод и вряд ли в состоянии действовать по таким утонченным соображениям своекорыстия и подлости, какие доступны человеку, умудренному опытом и жизнью. Роль исторического лица могла ему улыбаться, но можно с достоверностью сказать, что он не предвидел всех последствий своего шага. Он предварил заговорщиков, что намерен донести на них, и донесши, сообщил им о том. Тут забота о самосохранении, но вряд ли какие-либо дальнейшие расчеты. Иное дело после, когда у него в глазах мелькнули флигель-адъютантские аксельбанты (тотчас после 14 декабря). Тут уже мог развиться в его голове целый план блестящей будущности, хотя он тогда же уверял меня, что флигель-адъютантство было бы для него большим горем. [14]

Утром был, между прочим, у ‹М. П.› Позена. К нему беспрестанно приезжали разные сановники. Тут много было говорено о крестьянском вопросе.

Апрель 4. Пятница. Норов приезжал в Академию прощаться. Говорили речи: Остроградский и ‹М. И.› Броссе — приличные, И. И. Давыдов — исполненную лести. Как! Лести развенчанной власти? Да, но Норов, уходя, просил нового министра наградить Давыдова синей лентой, а Кисловского — красною. [15]

7. Вторник. Был у нового министра. Речь о цензуре. Государь сильно озабочен ею. В нем поколебали расположение к литературе и склонили его не в пользу ее. Теперь он требует со стороны цензуры ограничений, хотя и не желает стеснить мысль. Как это согласить? Министр сказал, что он надеется на меня.

— Это дело, — сказал он, — падает на двух людей: на вас и на меня. Разумеется, ни вы, ни я не можем действовать в стеснительном духе.

Я заметил ему, что частные ошибки и увлечения отдельных писателей нельзя ставить в вину всей литературе и считать их за ее общее направление.

Министр согласился со мною. Как бы то ни было, а государь требует от министра решения цензурной задачи, а министр ожидает этого от меня. А дело в том, что, несмотря на ожидания одних и на заботы других, вещи все-таки пойдут к концу, как угодно творцу. Ясно одно: стеснениями не направишь и не сдержишь умов, очнувшихся от вековой дремоты. Это силы нестройные, не отрезвляемые ни преданиями, ни верованиями, стремящиеся действовать без твердых убеждений, без сознательной цели — и потому разнузданные. Соответственное противодействие они могли бы встретить только в той же литературе, которая, предоставленная самой себе, конечно, не замедлила бы из своей же среды выдвинуть против них нужных борцов и обуздателей.

10. Четверг. Вечером доклад министру по комитету цензурного устава. Мы занимались около двух часов, и оба порядочно устали. Да, трудно, очень трудно обеспечить свободу мысли. Мы хотим улучшений и думаем, что можем достигнуть их без помощи общественного мнения, посредством той же бюрократии, которая так погрязла в крадстве. А между тем правительству, очевидно, полезнее и безопаснее союз с печатью, чем война с нею. Если наложить на печать путы, она начнет действовать скрытыми путями и сделается недоступною никакому контролю. Никакая сила не в состоянии уследить за тайно подвизающейся мыслью, раздраженною и принужденною быть лукавой. Ведь мы не знаем еще, чем кончится страшная система полицейского преследования мысли и слова во Франции. Но и там все-таки определенная система, а у нас хотят позволить и не позволить, стеснить и не стеснить.

Сегодня министр поднял мысль об ответственности журнальных редакторов. Он думает, что это единственный способ спасти что-нибудь существенное в пользу нашей литературы.

18. Пятница. Вследствие моей телеграфной депеши сегодня из Киева явился ко мне Н. Р. Ребиндер. Он приехал объясниться с новым министром и подать в отставку тотчас, если ему покажется, что на него смотрят не совсем благосклонно. Что будешь делать с этим благородным, умным, просвещенным, но нетерпеливым и раздражительным человеком. От первого случая, который не по нем, он становится на дыбы, прячется в себя и начинает желчные филиппики против всей вселенной. Я старался его

успокоить и направить на более мирные и кроткие размышления. Он ко мне заехал прямо с железной дороги.

Был у министра. Он спешил в заседание главного правления училищ, но все же не отпустил меня без толков о цензуре. Что мог сказать я нового, помимо повторения одного и того же, а именно, что литературе необходимо дать более простора; что в другом духе нынче и думать нельзя писать устава; что этого требует и справедливость и политическое благоразумие; что если этого не сделать, то пойдет в ход писаная литература, следить за которою нет никакой возможности.

В заключение министр еще раз просил меня поусерднее заняться цензурным уставом и прибавил, что он и государю докладывал, что дело это лежит на мне. Государь на это заметил, что он меня знает, и приказал поспешить уставом.

«Нельзя ли через месяц кончить это?» — спросил его величество. Министр отвечал, что трудность и важность дела не позволяют слишком спешить, но что будут употреблены все меры к его скорейшему и успешнейшему окончанию.

20. Воскресенье. Вечером у графа Блудова, который пригласил меня, Давыдова и ‹К. С.› Веселовского на совещание о надписи на медали, выбиваемой в честь покойного государя. Разговор о крестьянском деле. В 1830 г. было уже готово положение, заключавшее в себе первый и важный шаг к освобождению, как то: воспрещается брать крестьян в дворовые люди, вообще личная свобода. Но ‹Н. С.› Мордвинов отсоветовал императору Николаю обнародовать это постановление до возвращения государя из путешествия: он собирался тогда в Вильну. Это дело после затянулось. Между тем вспыхнула революция во Франции, а там — в Польше, и об освобождении крестьян уже не было и речи до 1847 года.

Право, нельзя не любить графа Блудова. Как он свеж умом и сердцем, несмотря на свои за семьдесят лет! А какая доброта! Что нужды, что он немножко кокетничает своим умом и красноречием, слава богу, что есть чем кокетничать.

О ‹Н. А.› Муханове, назначенном в товарищи нашему министру, говорят: это человек неглупый, светски образованный, очень приятный в обществе. Его очень любит молодая императрица.

Выговор князю Щербатову за пропуск статьи Кавелина «О новых условиях сельского быта», напечатанной в апрельской книжке «Современника». Статья противоречит с мерами освобождения в рескрипте, почему ее и не пропустил цензор министерства внутренних дел. Несмотря на это, князь Щербатов позволил ее печатать, за что и сделан ему выговор. [16]

Кавелина и Бабста партия военных пестунов наследника называет красными, желая этим нагадить Титову и забрать юношу в свои руки. [17]

Новый министр финансов ‹А. М.› Княжевич испросил у государя разрешение, чтобы позволено было писать и печатать о финансах все беспрепятственно, кроме опровержений или возражений на состоявшиеся уже меры и постановления правительства. Он велел также сделать выговор двум директорам: Ключареву и еще кому-то, за дурное и грубое обращение с чиновниками. Первое умно, второе гуманно, то есть еще раз умно.

21. Понедельник. Обедал у Ребиндера. После обеда пришел ‹А. Н.› Струговщиков. Разумеется, разговор о современных делах. Струговщиков лезет из себя за ‹В. А.› Кокорева. Журналисты его обругали: Панаев и «Северная пчела».

Утро провел за цензурным уставом.

Ошибки и заблуждения тем и сильны, что в них всегда есть своя доля истины.

26. Суббота. Напечатание статьи Кавелина в «Современнике» имело следующие печальные последствия: князю Щербатову сделан высочайший выговор со внесением в послужной список; Титов подал в отставку от должности воспитателя наследника; Кавелин уволен от должности преподавателя. Титов, говорят, потому подал в отставку, что ему изъявлено высочайшее неудовольствие за выбор таких наставников, как Кавелин. Впрочем, не это главная причина: месяца три тому назад напечатано в Лейпциге на русском языке письмо Погодина к Титову с советами, как воспитывать наследника. Письмо очень резкое. [18] Тогда уже Титов начал колебаться. Партия, желающая воспитывать наследника в духе прежнего времени, воспользовалась этим и нанесла теперь решительный удар Титову. Но вообще во всем этом действует другая партия, более общая и сильная, партия, враждебная так называемому прогрессу, не желающая ни освобождения крестьян, ни развития

науки, ни гласности, — словом, никаких улучшений, о которых после смерти Николая так сильно начало хлопотать общественное мнение. Главами этой партии считаются князь ‹А. Ф.› Орлов, князь ‹В. А.› Долгорукий и граф Панин. Это, повидимому, и справедливо.

Вечером позвал меня министр к себе. Речь опять о цензуре и цензурном уставе. Возвратясь к себе, я поехал вместе с Н. Р. Ребиндером к ‹М. А.› Языкову. Там встретил ‹П. Г.› Редкина и ‹И. И.› Панаева. Языков дал мне прочитать письмо Погодина. Оно заключает в себе несколько общих мест о воспитании вообще и несколько смелых, но несбыточных фантазий о воспитании наследника в особенности. Но главное, тон его и некоторые выражения чрезвычайно резкие, какие Погодин любит раскидывать по бумаге без оглядки. Величайшая неосторожность — чтоб не сказать более — была пустить это письмо по рукам и довести его до печати. Мог ли Погодин предполагать, что оно произведет полезное действие на тех, в руках которых находится воспитание наследника. Это ругательства, а не советы, а известно, что ругательства раздражают только, а не просвещают. Удивительны эти господа! Они вопиют об общественной пользе, а не хотят действовать так, чтобы она была достигнута. Многие считают это храбростью. Но вряд ли оно заслуживает этого названия: во время Николая Павловича не много было таких храбрецов и такой храбрости. Неужели дело только в том, чтобы выразить свои личные чувствования, свое негодование и пр. Хотите пользы, так не делайте вреда. Деятель общественный есть лицо ответственное: он отвечает не только за свои идеи, но и за удобоприменяемость их. Не трудно возбуждать страсти, но труднее их направлять. Эти господа готовы забрызгать вас грязью с головы до ног, утопить вас, сжечь, если вы осмелитесь иметь мнение, несогласное с их мнением. Они хотят свободы мнений своих, но не чужих.

28. *Понедельник*. Сильный холод. Всего три градуса тепла. Так и пахнет снегом.

Опять на меня навалилась куча дел: цензурный устав, записка о проекте учебных заведений по военному министерству.

Ребиндер уехал вчера. Мы дружески с ним простились в субботу еще, в карете, возвращаясь от Языкова. Он завез меня домой.

Вечер у законоучителя университетского ‹И. Л.› Янышева. Это очень умный и образованный священник и прекрасного сердца. Он был несколько лет за границею, священником при нашей висбаденской церкви, и успел сдружиться с наукою и с европейскою образованностью. Его православие есть высокое и святое христианское верование. Вообще наши заграничные священники делают нам честь. Я знаю трех или четырех, и все они люди просвещенные и достойные уважения. Я провел вечер у Янышева в приятной беседе вместе с моими благородными учениками ‹О. Ф.› Миллером и ‹П. Я.› Дашковым. Но выйдя от него, мы встретили проливной дождь и страшный ветер. Ни одного извозчика — пришлось идти пешком от Калинкина моста. Я возвратился домой почти в час ночи.

Говорили, между прочим, об отличительной черте нравственного христианского идеала — о любви. Я сказал, что любовь не есть добродетель, а талант и блаженство. Ее нельзя вменять в заслугу и нельзя достигнуть преднамеренно.

30. Среда. Занятие в совете. Рассматривался проект устава университета. ‹М. С.› Куторга 2-й выходил из себя, доказывая, что историю нынче нельзя писать, не усвоив себе древних критик, и что ни один новейший историк ничего не значит в сравнении с Фукидидом. Ему говорили я и другие, что новейший историк должен знать и изучать древних историков, но что писать историю можно и даже должно не по их воззрениям и анализу. Он стоял упорно на своем и требовал, чтобы в распределении факультетских предметов по историческому разряду греческая филология считалась предметом не дополнительным, а обязательным. Совет почти единогласно решил противное, с чем согласился и попечитель, председательствовавший в совете.

Я назначен членом комиссии для окончательного рассмотрения университетского устава.

Май 4. Воскресенье. Прочитал я вышедшие в свет три тома «Истории Петра Великого» Устрялова, доведенной до начала Северной войны, и убедился, что истории Петра Великого у нас все еще нет.[19] Автору были открыты государственные архивы. Он собрал много материалов, сгруппировал их и привел в известный порядок, — а истории все-таки не написал. Чтобы понять Петра Великого, его реформу и необходимость ее для России, надобно было прежде всего дать полную картину положения России

в конце XVII столетия, а не изображать одни стрелецкие бунты, как это сделал Устрялов. Бунты эти составляют одно из проявлений состояния вещей в России, но далеко не все. Тут было великое брожение разнородных стихий — азиатские варварские нравы с чертами русского добродушия и простоты; грубое и глубокое невежество, смущенное вторжением иноземных понятий; темные и бессознательные порывы к чему-то лучшему; литература и искусство, каковы бы они ни были; законодательство и администрация, сложившиеся не в силу здравых понятий о государственной безопасности и благоденствии, а образовавшиеся в виде накипей, выбрасываемых изнутри на поверхность народной жизни случайными событиями и нуждами; церковь в борьбе с расколом и проч. Все это в конце XVII столетия составляло нашу нестройную, полудикую, мятежную и тревожную общественность с уже ясными на ней признаками неизбежного переворота. Устрялов этого не понял и не выразил.

Он начинает с ссылки на известное сочинение Карамзина (мимоходом сказать, красноречивое, но слабое по мысли и исследованиям) «О старой и новой России»[20] и делает беглый очерк государственного состояния России, которое, судя по Устрялову, было очень хорошо: «Цари не были деспотами; перед законом все были равны; законы и управления премудрые; мужи совета, бояре, украшенные сединами, судили и рядили, делали и говорили одну правду, думали только об общественном благе и никого не угнетали». Между тем во всем была неурядица; везде невежество; никакой промышленности; политическое бессилие, доходившее до того, что мы еще платили дань татарам и не раз трепетали от них в Москве. Как же согласить одно с другим? Вы ожидаете, что автор сам себе задаст этот вопрос и постарается решить его. Ничуть не бывало. Соединив эти два несовместимые положения вещей, он преспокойно отправляется в свой исторический путь и начинает заниматься стрельцами и Софиею, а читателя предоставляет собственным выводам и заключениям. Слог тоже неудовлетворителен. В нем явное подражание карамзинской манере, отчего выходит старинная пухлая риторика, чистенько прибранная, но нестерпимая в наше время. Притом ни одной яркой характеристики, ни одного живого образа. Все гладко и плоско, не исключая и самого Петра, который и в ребячестве и в юношеском возрасте является

без образа и физиономии, тогда как в приложениях множество материала, где жизнь бьет ключом.

7. *Среда*. Вчера был у меня генерал ‹П. А.› Данненберг. Кажется, это почтенный и добрый человек. У него хорошие виды по части военной администрации; например, чтобы стоящих на очереди в рекруты мальчиков с 14 лет определять в училища, где бы они подготовлялись к будущему своему званию и получали некоторое общее образование. Срок службы для них он полагает десять лет.

8. *Четверг*. Вчера целый день занимался несносной запиской по комитету об учреждении учебных заведений в военном министерстве. Тут была пропасть мозголомной работы. Записка может пойти к государю. Сегодня кончил ее и прочитал генералу Данненбергу, который очень ее одобрил. Мы с ним сошлись во многих взглядах.

Вечером до десяти часов в комитете, рассматривающем проект университетского устава. Это труд, кажется, как и многие другие подобного рода, на ветер. Такие улучшения университета, какие мы предполагаем, — чистая утопия. У нас нет еще твердого убеждения в том, что науке нужны и простор, и средства, и уважение ее интересов. Напрасно обрадовались некоторые, что вот, дескать, теперь настоящее торжество науки. Мы далеки еще от этого торжества. Оно наступит тогда, когда будут оказывать ей почести не на словах, а в сердцах; когда ее не будут считать только потребностью государства, а потребностью человеческой природы.

В десятом часу вечера я поехал к графу Блудову. Бедный и благородный старец в продолжение месяца видимо изменился. Он приближается к закату. Он едет в Виши, по приказанию врачей и настоятельному желанию государя. Дай бог еще пожить ему несколько лет. Это человек с сердцем, с просвещенным умом, с жаркою непритворною любовью ко всему прекрасному и благому. Я считаю для себя за дорогой дар судьбы мое сближение с ним в продолжение последних трех или около трех лет. Не было недели, чтобы я раз, а иногда два не обедал у него и не проводил вечера. Он любил беседовать со мной о литературе и разных современных общественных вопросах. Ум его сохранил все сияние лучшего периода жизни, а сердце его — теплоту. Память его удивительна: он помнит не только все крупное, замечательное из того, что читал, что видел, изучал и слушал, но и мельчайшие подробности,

имена, числа. После каждой моей с ним беседы я уносил с собою какое-нибудь новое сведение, ум освеженный и сердце, примиренное с человеком. А мы можем скоро его лишиться. Он приметно угасает. Кто же нам заменит его? Увы! опять повторяю: это был в настоящее время чуть ли не единственный человек из высокопоставленных лиц, в душе которого находили себе надежное убежище всякая светлая мысль, всякий высший общественный интерес; который понимал и умом и сердцем самые нежные и тонкие оттенки всего лучшего в жизни, в науке, в человеческом сердце.

— Мы еще увидимся до отъезда моего, — сказал он мне с обыкновенным своим добродушием. — Я еду еще через неделю.

На вечере сегодня было много дам в необъятных своих кринолинах. Кочетова и Гринберг пропели очень мило несколько вещиц. Я разговаривал с ‹П. К.› Щебальским, который приехал сюда на несколько дней из Москвы, с Ф. И. Тютчевым — о цензуре; с князем Вяземским, с ‹И. Д.› Деляновым, с Ковалевским и с И. И. Давыдовым.

9. *Пятница.* Мы переехали на дачу в Павловск. Пора! Зелень уже пробилась на деревьях. Тепло. Впрочем, я ошибся: сегодня стало уже холоднее, а там, пожалуй, по законам петербургского климата, и до снега недалеко.

Вечером, между прочим, были ‹А. Н.› Майков и Щебальский, автор «Царевны Софьи». [21]

Три вещи преимущественно занимают мыслящих людей нашего времени в России: освобождение крестьян, или так называемый крестьянский вопрос, печатная гласность и публичное судопроизводство. Нельзя не признаться, что это три самые насущные потребности общества, которое не хочет и не может уже возвратиться к николаевскому времени. Правительство колеблется, ультраконсерваторы пятят все назад. Правительство напрасно колеблется: из всех систем самая худшая — не держаться никакой системы, думать, что авось все уладится само собою. Ультраконсерваторы дурно делают, что хотят невозможного: ибо невозможно идти назад. Если они хотят только затянуть дело, то и это неосновательно. Что они этим выиграют или чего выиграет общество? Но об обществе они не думают. Это эгоисты, которым хотелось бы, если бы они могли,

остановить самое солнце в его течении, единственно потому, что оно не им одним светит.

В настоящую минуту эта партия сильна. Она низвергла Титова и стремится окружить наследника ничтожествами нравственными и умственными. Она действует запретительно на печать. Она затягивает решение вопроса крестьянского.

Великий князь Константин Николаевич пользуется репутацией защитника и главы партии всех мыслящих людей — главы так называемого прогресса.

14. Среда. Собрался было вечером ехать в комитет о рассмотрении университетского устава. Совсем оделся, но почувствовал себя дурно.

17. Суббота. Мне лучше. Поутру был у князя Щербатова. Неутешительный разговор о современных делах. В главном управлении училищ генерал-губернатор ‹П. Н. Игнатьев› напал на несчастные листки, которых развелось ныне множество и которые продаются на улицах по пяти копеек. Это его пугает. Между тем в этих листках нет ничего ни умного, ни опасного. Им строго воспрещено печатать что-нибудь относящееся к общественным вопросам. Это пустая болтовня для утехи гостинодворцев, грамотных дворников и пр. Один господин литератор и мне говорил, что их следовало бы запретить. «Зачем?» — отвечал я. Конечно, это вздор, но он приучает грамотных людей к чтению — все-таки это лучше кабака и харчевни. Между тем от вздорного они мало-помалу перейдут и к дельному. Ведь и хлеб вырастает из навоза. Да и что это за система — все запрещать? К чему только протянет руку русский человек самым невинным образом, тотчас и бить его по рукам! Ведь и в старину издавались же для народа лубочные картины с разными рассказами и сказками! Но наши великие администраторы во всем видят опасность. [22]

20. Вторник. С субботы на даче и занимаюсь цензурным уставом.

22. Четверг. Привезли сегодня из города множество разных призывов в комитеты, в том числе и от министра приглашение явиться к нему, письма и пр. Словом, в эти дни, которые я провожу здесь (в Павловске), накопилось множество дел, требующих моего присутствия в городе. А между тем я борюсь с врагом упорным и коварным — моим недугом.

К обеду приехал М. Н. ‹Любощинский› и привез разные неприятные известия: о том, что, по предложению Панина, делят Россию на военные генерал-губернаторства; что в уездах учреждаются военные начальства; что на печать страшно налегают и пр. Словом, из мнимых бед, которые повсюду видят наши толкатели назад, они навлекают на нас и на себя много не мнимого зла.

24. Суббота. Утро. Прекрасный день, по крайней мере сначала. Но «впредь утро похвали, как вечер уж наступит».

Марк Николаевич ‹Любощинский› пишет, что он был у министра и передал ему о моей болезни. Министр сказал, что государь очень спешит цензурным уставом.

Вечером приехал ко мне чиновник из военного министерства с известием, что записка моя представлена была военным министром государю при объяснении, что он совершенно согласен со мной. Государь написал, что он вполне разделяет представленное ему мнение. О мнениях Васильчикова и Булгакова его величество выразился очень неблагосклонно, особенно о последнем.

Занимался весь день уставом. Во вторник думаю отвезти министру.

25. Воскресенье. Приехал из города ‹О. Ф.› Миллер. Был С. Барановский, едущий в Париж заказывать по своему проекту вагон для железной дороги, который должен двигаться не парами, а воздухом. Ему какая-то компания дала для этого десять тысяч рублей серебром.

Работал над уставом. Голова свежа, только к вечеру стала немного тяжела. Ходить много не могу. День светлый и теплый.

26. Понедельник. Был у министра. Государь сильно спешит цензурным уставом, полагая, что он всяческая по цензуре устроит и вся таковая будет управлять. Мы, как говорится, на попятный двор. Это заметно и относительно печати и относительно многого другого. Жаль, очень жаль. Много еще будет испытано ненужных бедствий.

28. Среда. На даче. Прекрасные дни. Май — прелесть, отлично ведет себя. Роскошная зелень, благоухание цветущих великолепно яблонь и сиреней, пение соловья, солнце, теплота — все это вместе составляет настоящую, роскошную, не петербургскую весну. А у меня все-таки болит голова.

29. Четверг. В городе. Заседание в Академии и разные другие дела. На Невском проспекте и на Исаакиевской площади большая суматоха — приготовления к завтрашнему дню, к освящению Исаакиевского собора. Перед отъездом моим на дачу, в семь часов вечера, я получил от церемониальной экспедиции два билета на вход в церковь и один кучерской на проезд к собору. Но воспользоваться ими я не могу. Церемония начнется завтра в десять часов утра, а ехать туда, чтобы попасть в ряд карет, надобно в девять; а из Павловска поезд железной дороги идет в четверть девятого. А карета? Ее не достанешь теперь за пятьдесят рублей.

31. Суббота. В городе, в заседании Академии.

В Исаакиевском соборе в день освящения было очень мало публики. Билеты разосланы были только четырехклассным. [23]

Запрещено употреблять в печати слово «прогресс». В самом деле, это бессмысленное слово в приложении к XIX веку, который утописты превозносят до небес, что он родит чудеса прогресса. Хорош прогресс, когда Европа среди политических страшных бурь, через потоки крови, добралась, наконец, до Наполеона III, который тридцать семь миллионов образованного, прогрессивного и, как говорится, великого народа отдал под надзор полиции. И у нас тоже хорош прогресс своего рода, когда даже запрещается употреблять это слово. [24]

У нас поворот назад становится очевидным из некоторых мер, например из военного управления, которому предается Россия, по примеру Франции, из цензурных стеснений и пр.

Июнь 1. Воскресенье. Вечером в вокзале встретил Ф. И. Тютчева. Весьма интересный разговор о нынешнем состоянии дел.

5. Четверг. В городе. Представил министру перебеленные тетради цензурного устава. Положено, чтобы пояснительная записка и все прочее было готово к возвращению государя из Архангельска, куда едет он 12-го и через 18 или 19 дней будет обратно.

Я говорил с министром много о цензуре и предложил ему мысль, что прежде, нежели наш устав пойдет в Государственный совет, представить его при пояснительной записке государю. В этой-то записке теперь вся сила. Министр одобрил все мои предположения.

7. Суббота. Обедал в ресторане Донона вместе с несколькими литераторами — Тургеневым, Гончаровым, Некрасовым, Панаевым, Чернышевским и пр. Тут был также недавно приехавший из-за границы художник ‹А. А.› Иванов. Много было говорено, но ничего особенно умного и ничего особенно глупого. Пили не много. Языков по обыкновению был полон юмора. [25]

9. Понедельник. Новый обед у Донона — прощальный князю Щербатову, который подал в отставку. Я приготовил было, по желанию некоторых из собеседников, небольшой спич, но князь просил для предупреждения всяких толков не читать его, а взял его на память себе. Обед был грустен.

12. Четверг. Навестил меня ‹В. В.› Скрипицын, недавно приехавший из-за границы, где он провел два года. Он нигде не служит. Рассказывал мне о свидании своем с ‹М. Н.› Муравьевым, министром государственных имуществ. По словам его, у Муравьева очень хорошие намерения. Он уверял, что крестьянского дела поворотить назад нельзя.

Но что за человек сам Скрипицын? Я знаком с ним лет пятнадцать и порядочно его знаю. Он сильно теснил католиков, когда был директором департамента иностранных исповеданий. Он заклятый враг немцев не потому, что они немцы, а потому, что делают из себя преданных слуг лица, а не России. Он поборник чистого русского элемента. Скрипицын умен, но мало или легко образован, как почти все наши умные люди. Ум его подвижен и скор, но не обширен и не глубок. Это ум скорых мер и интриги. Схватившись за какую-нибудь идею, он развивает ее быстро, делает из нее сеть, накидывает ее на вещи и лица и тянет ее изо всех сил, не видя, что она рвется и что тогда из прорех ее вываливаются эти вещи и лица, сперва захваченные, повидимому, довольно удачно. Он кокетничает своим умом. Ему, собственно говоря, нет дела до успеха своих замыслов, лишь бы ему дали время и возможность принять нужную, по его мнению, умственную позу. Недоброжелатели Скрипицына, мне кажется, совершенно несправедливо ославили его человеком нечестным и злым. Он далеко не такой беззастенчивый и готовый на все для своего возвышения честолюбец, как ‹А. И.› Войцехович, не такой делец-приобретатель, как Позен. Он человек идеи, и это дает ему большой перевес над теми умными и спо-

собными людьми нашего чиновничьего мира, которые смотрели или смотрят в министры, считая каждое министерство своим делом.

16. Понедельник. Ездил поутру в город, был в редакции, отдал в Академию записку о пьесах, поступивших на соискание уваровской премии. Одна пьеса: «Столетие в лицах», комедия, другая — драма: «Донос при Петре I». Обе ничтожные вещи.

22. Воскресенье. К обеду приехали люди мне приятные: М. Н. Любощинский, И. И. Домонтович, Рудницкий и двоюродный брат его, возвратившийся из-за границы, Марковский, который жил там почти все время по выпуске из университета. Все они из тех людей, которые не напрасно учились и сохранили в себе все благородное и прекрасное, что дается высшею наукою.

Я немного ожил в обществе этих добрых людей.

23. Понедельник. В городе. Конференция в Римско-католической академии.

24. Вторник. Вечером пошел на бенефис ‹И.› Штрауса. Слушал, между прочим, маленьких скрипачей Ратчек. Их два брата и сестра, которая играла также на скрипке. Выдрессированы они очень хорошо. Но неужели это искусство, где исполнители ни умом, ни сердцем не в состоянии досягнуть до мысли, которую должны выразить. Это чистая механика, основанная на физических средствах — на слухе и на труде, без сомнения бессознательном и принудительном.

Я не дождался конца бенефиса и заехал по дороге к Скрипицыну, у которого и просидел с час.

Утром заезжала Марья Павловна Сумарокова с визитом. Она говорила, между прочим, о воспитателе наследника ‹А. Т.› Гримме, с которым хорошо знакома. Она уверяла, что Гримм совершенно непричастен к увольнению Титова и Кавелина. О последнем Гримм даже говорил государю в весьма хорошем смысле, но его величество решительно объявил, что он не хочет, чтобы Кавелин преподавал наследнику.

26. Четверг. В городе. Заседание в Академии, последнее перед каникулами.

Июль 2. Среда. Был сегодня у министра. Он меня благодарил за проект цензурного устава и отпустил на две недели. По приезде моем положено пустить дело в ход при моей пояснительной записке, которую кончу у брата

в Корчеве. Итак, я еду. Из Корчевы, если станет желания и решимости, проеду в Москву.

Лето превосходное. Ни одного неблагоприятного дня. Было несколько небольших теплых и отрадных дождей.

5. *Суббота.* Корчева, Тверской губернии. Вчера в двенадцать часов дня выехали мы из Петербурга по московской железной дороге и сегодня в половине девятого утра приехали в Корчеву. Взяв от железной дороги в сторону, мы в каком-то допотопном экипаже тряслись по гнуснейшей дороге, извивавшейся по самой печальной местности. Это обширная болотистая и лесистая пустыня, где только изредка мелькают жалкие деревушки. Даже Волга не красит ее. А что касается до самой Корчевы, то это пародия на город. Мне даже жутко стало от мысли, что я здесь проведу несколько времени. Но скоро нашел утешение в семье, где приютился.

8. *Вторник.* Эта бедная Корчева скучна, как могила. Она бедна, грязна, бестолкова. Но, конечно, если поискать хорошенько, то и в ней найдешь отрадные исключения. Вот и я наткнулся на одно из них в лице здешнего штатного смотрителя училищ. Он очень порядочный и развитой человек. Написал два руководства к преподаванию геометрии и арифметики. Я взял их у него, чтобы показать в Петербурге специалистам: нельзя ли дать им ход и тем помочь бедному трудолюбивому человеку.

Но положение Корчевы тем не менее остается крайне неприглядным. Около — ни рощ, ни полей. Волга лежит в грязи, и смотря на нее, удивляешься, как такая почтенная река, матушка и кормилица многих губерний, решается пролагать себе путь по этому гнусному болоту. Прилично ли такой знаменитой реке ведаться с такими скучными берегами, да еще держать у себя на плече эту Корчеву, с ее кабаками и пьяным народом.

10. *Четверг.* Ездил в деревню Устья, помещица которой претипичная барыня. Она побывала за границей, вывезла оттуда необъятных размеров кринолин, страсть к мотовству, резкость суждений о Наполеоне III, о Париже, о Швейцарии, об эмансипации — и презрение ко всему своему родному. Кроме того, у нее погреб отлично снабжен шампанским, и она не щадит его.

Вечером пили чай в запустелом саду помещика Гурьева, доживающего в Москве остальные две тысячи душ огромного имения.

Вообще в провинции видишь и слышишь мало утешительного. Плутни, злоупотребления в делах правосудия и администрации здесь еще в полной силе. В простом народе особенно неприятно поражает повальное пьянство.

14. Понедельник. Сегодня последний день в Корчеве. Последние дни прошли однообразно, но приятно. Мы сделали несколько дальних прогулок, которые в значительной степени примирили меня с здешнею местностью. Мы ездили за Волгу в лес, на опушке которого, в виду роскошной нивы, пили чай на траве. Не знаю, всегда ли здесь так, но в нынешнем году нивы поражают обещаниями богатейших жатв, а поля покрыты густою, сочною травою, очевидно вскормленною и взлелеянною Волгою. Тем досаднее на Корчеву, которая не сумела свить себе здесь опрятного гнезда.

Во время сегодняшней прогулки нас застигла сильная гроза. Она внезапно налетела вместе с страшною бурею, которая у нас на глазах повалила дерево. К счастью, мы в это время проезжали маленькую деревушку, где могли укрыться от ливня и переждать грозу.

16. Среда. Я дома. Вчера я прочел книгу, которая навела меня на грустные размышления.

Как безотрадно становится, когда вспомнишь, как мало еще сделались люди христианами, как мало применяют они христианство в жизни. Книга, о которой я говорю, озаглавлена: «О сельском духовенстве в России». Ее писал глубокий знаток этого предмета, очевидно священник, а напечатана она за границею. Ужаснейшая картина положения нашего духовенства! Говорят, эту книгу представляли митрополиту и другим духовным властям. Они разгневались и назвали все это клеветою. Один Бажанов был другого мнения. [26]

31. Четверг. Сегодня в городе на так называемой студентской сходке, где студенты толкуют о своем «Сборнике» и об оказании пособия своим товарищам. [27] Дело хорошее, особенно последнее, но, к сожалению, молодые люди упускают из виду главные предметы своих собраний и пускаются в рассуждения о предметах, для верного суждения о которых им следует еще серьезно поучиться и подумать.

Завтра совет университета — надо ночевать в городе. 4 августа начинаются приемные экзамены. Значит — конец антракту. Одевайся опять в доспехи и готовься к борьбе с людьми и событиями.

Август 2. Суббота. Заседание в Академии наук. Вечером поехал на Каменный остров к А. М. Княжевичу, которого не видал еще со времени назначения его министром финансов. Мы долго гуляли с ним на Елагином острове. Напившись у него чаю, в одиннадцать часов я возвратился домой.

4. Понедельник. Приемные экзамены в университете. Остался ночевать в городе.

5. Экзамены. Огромный прилив желающих поступить в университет. Большинство приготовлено дурно — неразвито, мало знаний. Много поляков, немцев, иностранцев. Эти еще лучше, так же как и те, которые учились в гимназиях. Но юноши домашнего приготовления — это серое полотно, вытканное перстами маменек под надзором мудрых папенек. Но я, кроме самых негодных, никому не затворил дверей в университет: при малом знакомстве с наукою у нас и то недурно, что будет побольше людей, которым она хоть сколько-нибудь западет в ум. Все-таки четыре года они будут слышать человеческие речи. Ведь они не провели бы их полезнее, не пошли бы учиться ремеслам, а полезли бы в чиновники, в офицеры.

Большая часть идет по камеральному отделению. Из 250 человек один нашелся охотник по историко-филологическому факультету.

7. Пятница. Получил от министра императорского двора графа Адлерберга отношение, что государю императору по его докладу угодно назначить меня членом комиссии о преобразовании управления театров.

8. Суббота. Сегодня, кажется, конец красным и прекрасным дням. Сумрачное и холодное утро. Облака строго осеннего цвета.

12. Первое заседание в комиссии о преобразовании театров. Читаны исторические документы прежнего управления. Страшные дефициты, плутовство и тщетные усилия правительства отвратить и то и другое.

13. Петр Петрович Татаринов при смерти от холеры. Сегодня я был у него. Он и не думает умирать, а между тем лицо и голос его уже отмечены страшными гробовыми признаками.

14. Сегодня был в городе, в заседании Академии и в театральной комиссии, и возвратился домой в половине пятого. Только что ступил я на дебаркадер в Павловске, как раздался чей-то голос: «Павловск горит!» Но тут меня

встретили домашние и поспешили успокоить, что пожар не на нашей стороне, а в Конюшенной и Госпитальной улицах. Проехать нельзя было мимо этих улиц, и мы отправились пешком по парку. Я все-таки заглянул на пожар: да, это огромный пожар. Целые два квартала горят.

Я пообедал и опять пошел на пожар. Он еще продолжался. К восьми часам вечера его, наконец, потушили. Татаринов умер.

Сгорело шестнадцать домов.

15. Был утром на панихиде у бедняги Татаринова. Ему было, однако, семьдесят лет. Но все привычки его не показывали вовсе этого.

Дни совершенно июньские, даже с июньскими вечерами и утрами. Но дым от горящих кругом лесов и торфа наполняет воздух страшным смрадом и мглою. Дождя — ни капли.

19. В Петербурге страшное происшествие. В окрестностях Петербурга, верстах от пяти, в Выборгской стороне, на Пороховых заводах, взорвало до 1800 пудов пороха. Можно себе представить, что из этого произошло. Многие дома на Выборгской стороне, на Черной речке и во многих ближайших к Неве местах были потрясены, как от удара землетрясения. В домах разбиты окна, а на самих заводах, говорят, последовало страшное разрушение. Убитых или разорванных на части людей, по умеренным известиям, до сорока. Раненых около того. Взрыв последовал в восемь часов утра. Я был еще в Павловске и не слыхал ничего. Но в Петербурге даже в самых отдаленных частях города его чувствовали более или менее. Вообще нынешнее лето у нас много бед. Везде пожар лесов и, что ужаснее всего, пожар торфа, отчего погибли многие деревни. На московской железной дороге сгорела станция и на несколько верст сгорела деревянная настилка самой дороги, так что принуждены были остановить поезда. Вот уже почти месяц, как мы в Павловске буквально тонем в густых облаках дыма от горящего вокруг торфа. Солнце и луна показываются на горизонте в виде раскаленных шаров без лучей. Право, не комета ли уж нас затрогивает? Мы не видели ее еще за тучами дыма. Между тем погода прекраснейшая.

20. В Петербурге. Дополнительные приемные экзамены в университете.

25. В городе. Заседание в совете университета. П<летнев> грубо оборвал профессора <А. В.> Попова за то, что

тот выразил свое мнение по поводу одного, впрочем неважного, дела. Но как у него громозвучный голос, то он выразил его этим голосом, впрочем, без всякой кому-либо обиды. П‹летнев› крикнул на него: «Что вы так кричите? Неужели вы этого не понимаете...» и пр. Это вызвало из уст профессора Попова ответ благородный, умный, твердый, которым он уничтожил П‹летнева› и заставил его замолчать.

Никто в России не выносит своего величия. Это грустно, но несомненно.

30. Что касается до крестьянского дела, то только тупые или безнадежно злые люди могут сомневаться в необходимости так называемой эмансипации.

Сейчас опять с пожара. Едва успел потухнуть первый, как вот и второй. Он вспыхнул рядом с первым, только немного повыше, и завладел целым кварталом. Шестнадцать домов в пламени.

У меня обедало несколько моих знакомых, по случаю моих именин. Теперь они все разобрелись, и вот мы одни смотрим на величавое зарево. Девять часов вечера. Говорят, что поджигают. Нашли где-то в другом квартале целый ком горючих веществ, но успели не дать им воспламениться. Но то не подлежит сомнению, что во время пожарной суматохи солдаты здешнего образцового полка, призванные для помощи, производят страшные грабежи. Может быть, они хотят быть и в этом деле образцовыми.

Сентябрь 2. Вторник. Переехали с дачи.

3. Среда. Читал сегодня посетителю Делянову мою записку о цензуре и цензурном уставе, предназначенную для государя.

10. Среда. Вечером у Гончарова слушал новый роман его «Обломов». Много тонкого анализа сердца. Прекрасный язык. Превосходно понятый и обрисованный характер женщины с ее любовью. Но много такого еще, что может быть объяснено только в целом. Вообще в этом произведении, кроме неоспоримого таланта, поэтического одушевления, много ума и тщательной, умной обработки. Оно совершенно другого направления, чем все наши нынешние романы и повести. Со мною вместе были слушателями его: ‹А. А.› Краевский, который и купил его для «Отечественных записок», ‹С. С.› Дудышкин и ‹В. Н.› Майков, издатель детского журнала («Подснежник»). Положено читать продолжение в субботу. [28]

15. Понедельник. Фейербах и многие другие умствователи отвергают разумную божественную личность. Но если существует моя личность, почему же не быть другой, совершеннейшей личности? Я не понимаю, как она может быть, но также не понимаю, как она может не быть.

16. Вторник. Нынешние крайние либералы со своим повальным отрицанием и деспотизмом просто страшны. Они, в сущности, те же деспоты, только навыворот: в них тот же эгоизм и та же нетерпимость, как и в ультраконсерваторах. На самом деле, какой свободы являются они поборниками? Поверьте им на слово возымейте, в вашу очередь, желание быть свободными. Начните со свободы самой великой, самой законной, самой вожделенной для человека, без которой всякая другая не имеет смысла, — со свободы мнений. Посмотрите, какой ужас из этого произойдет, как они на вас накинутся за малейшее разногласие, какой анафеме предадут, доказывая, что вся свобода в безусловном и слепом повиновении им и их доктрине. Благодарю за такую свободу! Я могу еще стерпеть, если квартальный станет следить за мной на улице, надоедать мне напоминанием, что тут нельзя ступить или надо ступить так, а не так, но решительно не могу допустить, чтобы кто-либо вторгался в мою внутреннюю жизнь и распоряжался там по-своему. Насильно навязываемое благо не есть благо. Самая ужасная и несносная тирания та, которая посягает на нашу сокровенную мысль, на святыню наших верований. По либеральному кодексу нынешних крайних либералов надо быть с ними заодно до того, что у вас, наконец, не останется своего — ни мысли, ни чувства за душой! Нет! свободу создает сама сила вещей, а не чей-нибудь произвол: основанная на увлечении, она шатка, ненадежна. Только та свобода и прочна и богата благими последствиями, которую выработала история, которой никто не навязывал людям, которая явилась не в виде отвлеченной доктрины, а как плод действительного кровного труда, а не искусственного возбуждения.

Студенты бурлят и накликают на университет беду. Произошла какая-то стычка с полицией. Обер-полицеймейстер жаловался попечителю на неприличное поведение студентов. Произошел взаимный обмен резкостей. Эх, господа студенты, не бережете вы ни университет, ни науку! [29]

18. Четверг. В первый раз видел сегодня комету во всем ее блеске. Хвост ее чуть не задевает Медведицу.[30]

21. Воскресенье. Сегодня говорил со студентом Боголюбовым, который имеет влияние на своих товарищей. Старался внушить ему, чтобы он действовал на них в примирительном духе, склонял их к тому, чтобы они вели себя скромнее, больше думали о науке и не давали врагам университета поводов вредить ему в глазах государя и общества.

25. Четверг. Дело о студентах производит много шума. Жаль. Это заставляет молодых людей придавать себе слишком много значения, все больше и больше отвлекает их от науки, которая должна одна всевластно царствовать в стенах университета.

28. Воскресенье. Кажется, мы не много выиграли с переменою министра. Евграф Петрович ‹Ковалевский› тоже отличный человек, но в министерстве попрежнему ничего не делается. Судьбы науки и образования попрежнему остаются в руках ‹П. И.› Гаевского, Кисловского и Берте. На днях был у меня председатель комитета иностранной цензуры, Федор Иванович Тютчев, и жаловался, что министр на словах решит одно, а на бумаге другое. Да, это опять норовщина.

Сегодня я отправляюсь к министру. Что-то он мне скажет? Он как будто совсем забыл о цензуре и о цензурном уставе. А ведь сколько раз он мне твердил о вопиющей необходимости устава и даже подстрекал меня именем государя. А вот теперь прошли июль, август и сентябрь, мой проект готов, но о цензуре как будто все позабыли.

Только что от министра. Евграф Петрович превзошел мои ожидания. Я застал его в том же кабинете, где так часто видел Норова, в тех же самых креслах. Зловещее предзнаменование! Начали мы с ним говорить и — о, ужас! Это Норов, он сам, он весь, со всею своею шаткостью, бесхарактерностью, неспособностью к какой-либо мере, выходящей из канцелярской рутины, и, наконец, с отрицанием того, что за несколько времени перед тем он утверждал торжественно и горячо. Вместо им же самим с жаром принятой мысли объяснить государю состояние цензуры и необходимость решений, выработанных цензурным комитетом, он пускает теперь наш проект на истязание главного управления цензуры, к большинству членов которого он, по собственным словам, не имеет никакого доверия.

Вот и конец моим трудам и надеждам! Я вышел от него с огорчением и с досадою, наслушавшись вдоволь о том, как трудно ныне вести дело цензуры, и тому подобных вещей, какие обыкновенно говорятся людьми слабыми и не приспособленными к энергической деятельности.

Октябрь 1. Среда. Утром был у графа Блудова, в первый раз по возвращении его из-за границы. Он, кажется, мало поздоровел. Проклятые семьдесят семь лет на плечах! Впрочем, он так же любезен, разговорчив и добр, как прежде, как всегда. Спросил меня о цензуре и изъявил желание прочесть мою записку, о которой уже слышал от Ф. И. Тютчева. Это хорошо. Может быть, он поддержит дело. Ковалевский не может не уважить его голоса.

5. Воскресенье. Утром был у Ф. И. Тютчева с целью вместе с ним обсудить: нельзя ли двинуть как-нибудь цензурное дело?

Федор Иванович рассказал мне, между прочим, о проекте, присланном сюда из Берлина нашим посланником, бароном ‹А. Ф.› Будбергом, который предлагает, по примеру Франции, учредить наблюдательно-последовательную цензуру.

— Хорошо! а нынешняя предупредительная остается? — спросил я.

— В том-то и дело! — отвечал Тютчев.[31]

Был уже, по высочайшему повелению, назначен для рассмотрения проекта и комитет из князя Горчакова, князя Долгорукова, Тимашева, нашего министра и Тютчева. Последний сильно протестовал против этой двойственной цензуры — предупредительной и последовательной. Наш министр с ним соглашался.

— Но надобно же, — заметил князь ‹В. А.› Долгорукий, — что-нибудь сделать, чтобы успокоить государя, которого сильно озабочивает цензура.

Вечером был у А. М. Княжевича. Александр Максимович очень дружен с нашим министром, и мне хотелось склонить его, чтобы он подействовал на своего друга и подвиг последнего прямо объясниться с государем по делу цензуры, без чего никакого успеха нельзя ожидать. Он взялся прочесть мою записку.

6. Понедельник. Послал Княжевичу объяснительную записку.

У графа Блудова. Он меня на этот раз порадовал своею бодростью и свежестью, несмотря на то, что третьего дня

был встревожен пожаром, происшедшим рядом с ним. Мы очень приятно поговорили с ним всё послеобеда, до девяти чесов. Речь касалась и цензуры. Он пожелал прочесть мою записку. Министр, говорит он, хочет представить ее на рассмотрение прямо государю. Впрочем, я, с моей стороны, сделал все, что мог, и мою обязанность считаю конченною, о чем сказал и министру в письме, отсылая ему записку.

Графиня Антонина Дмитриевна ‹Блудова› привезла мне заграничный гостинец: прекрасную фотографию одной из Каульбаховых фресок в Берлине.

Скандал в здешней духовной академии. Студенты, недовольные своим инспектором, монахом Викторином, пожаловались на него митрополиту, грозя, что если им не будет оказана справедливость, то они обратятся за защитою к светским властям. Говорят, они, между прочим, очень резко высказались об общем состоянии у нас академического и семинарского воспитания. Это приписывают влиянию напечатанной в Лейпциге книги: «О русском сельском духовенстве».

Но духовные власти мало заботятся об улучшениях по своей части и предпочитают покровительствовать памфлетам вроде следующих: «Предостережение от увлечения духом настоящего времени» и «Современные идеи православны ли?». В первой, между прочим, доказывается, что прогресс заключается в неподвижности церковных преданий и что богословие содержит в себе все науки. Нечего рассуждать, а надо держаться буквы церковного учения. В других брошюрах проповедуются крайне аскетические правила общественных нравов и поведения, предаются анафеме концерты, живые картины и благотворительные балы и т. д.

8. Среда. Отослал свою пояснительную записку графу Блудову.

У нас ныне настоящее царство хаоса. Хаос во всем: в администрации, в нравственных началах, в убеждениях. Хаос в головах тех, которые думают управлять общественным мнением.

Поутру обычное заседание в Академии наук. Приступаем к исправлению словаря, который намерены печатать новым изданием. Каждое почти слово разбирается в заседании. Работа обещает быть нескончаемой. Но отделению хочется сделать что-нибудь осязательное, ибо, правду ска-

зать, занятия наши большею частью фиктивные. Один из членов внесет какой-нибудь лоскут старой церковнославянской рукописи, отрывок какого-нибудь требника и т. п., а мы сидим, уткнув лица в брады свои, и глубокомысленно слушаем замечания о юсе большом или малом, а когда это покажется нам недостаточным, беремся за чтение слов областного словаря, давно рассмотренного уже Востоковым; переговорим о текущих городских новостях и расходимся с спокойной совестью. Впрочем, иначе и быть не может: одни из академиков уже почтенные старцы, для которых всякий труд непосилен, а немногие другие, могущие трудиться, до такой степени завалены другими казенными работами, что об Академии им некогда и думать.[32]

11. Суббота. Вечером у князя Щербатова, который заехал в Петербург из деревни на пути за границу. Он рассказывал о некоторых случаях волнения между крестьянами. В одних местах крестьяне отказывались попрежнему работать, в других — не хотели платить управляющему оброка, а где так чуть не поколотили исправника и становых. Но большинство этих случаев у помещиков, у которых крестьяне на барщине.

12. Воскресенье. У министра. Он совершенно одобряет мою пояснительную записку и соглашается со всеми моими идеями. Для Государственного совета надо будет ее несколько сократить. Вообще было много говорено о цензуре и о проекте составить особенное бюро, которое бы не административно, а нравственно занималось направлением литературы. Я заметил, что это чистая мечта. Министр того же мнения, но говорит, что некоторые этого желают.

Ковалевский опять благодарил меня за записку и за труды мои по цензуре, но надежды мои на успех дела в том направлении, какое я желал ему дать, тем не менее подорваны.

13. Понедельник. Читал ‹кн. М. М.› Щербатова и Радищева, изданных в Лондоне Герценом.[33] Щербатов озлоблен против Екатерины. Допустив, что ее у нас чересчур прославляли, ее все-таки, кажется, не следует порицать так, как Щербатов и Герцен. Пусть, по их мнению, в ее лучших государственных мерах было много искусственного, много внушенного желанием подделаться под ходячие идеи времени, последствия которых она не предвидела, много тщеславного, но тем не менее нельзя же отрицать в ее характере гуманности, а в ее уме такта и возвышенности.

Несмотря на разврат и фаворитизм, Россия все-таки многим ей обязана. Она обязана ей внесением в нравы, в законодательство и управление человечных начал, которые не остались бесплодными.

Радищев — человек умный и с характером, несмотря на бездну пустословия в его сочинении и на желание блистать красноречием. Селивановский в своих записках говорит, что книгу Радищева типографщики не хотели печатать, несмотря на то, что обер-полицеймейстер, тогдашний цензор, позволил ее, — конечно, не прочитав. Радищев тогда завел типографию у себя в деревне, напечатал там свою книгу и разбросал ее по дорогам, на постоялых дворах и т. д. Он же говорит, что Радищев написал ее вследствие каких-то неприятностей по службе. Естественно, книга должна была подвергнуться сама и подвергнуть преследованию своего автора. Это было в разгар французской революции, и мудрено ли, что Екатерина II, уже старуха, испугалась таких сочинений, как «Вадим» Княжнина и книга Радищева. [34]

21. Вторник. Дело мое о цензуре принимает совершенно бюрократический характер. Теперь какой-то чиновник делает из моей работы выписки, записки и еще невесть что. К этому прибавляются еще какие-то выписки и проч. и проч. Словом, мой добросовестный и, как уверяли меня люди, читавшие его и знающие, труд не совсем глупый, труд многих месяцев — потерян.

Обедал у графа Блудова. Он рассказывал много любопытного о принцессе Таракановой. У него в руках было все дело о ней, и он составлял из него записку для государя. В моих бумагах есть извлечение о судьбе этой женщины из дел государственного архива. Рассказ Блудова и мои сведения тождественны. У меня, однако, недостает конца. Тараканова умерла не от наводнения в Алексеевском равелине, как говорит предание, а от чахотки, зародыш которой привезла с собой из Италии. Екатерина II объявила, что дарует ей свободу и пенсион, если она откажется от своих мечтаний. Тараканова просила несколько времени на размышление и в течение этого времени скончалась. Она не дочь Елисаветы, а была орудием польских конфедератов, которые, в виду недавней истории Пугачева, хотели ее употребить для таких же целей. У Елисаветы, впрочем, действительно была дочь. Ее постригли в монахини, и она умерла в одном из московских женских монастырей.

Графиня Антонина Дмитриевна ‹Блудова› только к обеду возвратилась из Царского Села, где была у государыни. К нам присоединился еще ‹Ег. П.› Ковалевский, брат министра. Графиня рассказывала подробности своего посещения царской фамилии.

22. Среда. Был у попечителя ‹И. Д. Делянова›. Говорили о предполагаемых публичных лекциях в университете в пользу неимущих студентов. Четыре профессора согласились читать лекции: ‹М. М.› Стасюлевич, ‹Л. С.› Ценковский, ‹И. Я.› Горлов и я. Попечитель это одобряет. [35]

Это, наконец, оказалось справедливым, что в Царском Селе при переделке комнат наследника в одной из них, между полом и сводом, на котором пол этот настлан, найден скелет женщины. Кто она, живая или мертвая сюда заложена, кем и когда — неизвестно. Все на ней и сама она истлела. Остались одни кости и бриллиантовая серьга, которая вдета была в одно ухо, когда ухо еще существовало. Все это рассказал мне граф Блудов.

29. Среда. Удивительно, что льготы, какими мы ныне пользуемся, важные вопросы, какие выступили на нашу общественную сцену, не породили между нами ни благородных характеров, ни людей с сильною волею, устремленною на добро, а только привели в движение множество маленьких страстей, мелких самолюбий, ничтожных и эгоистических стремлений.

А. Н. ‹?› очень хороший человек, только в известных пределах. Боюсь, что эти пределы не простираются далее его *я*. Он всегда с большим удовольствием толкует о нравственных истинах, о честности, о высоком и прекрасном, и вы охотно сочтете его очень хорошим человеком, если не будете слишком взыскательны и не потребуете, чтобы он это доказал на деле.

30. Четверг. Говорят, Герцен в 25 номере «Колокола» разражается ругательствами на разных лиц, не исключая и очень высокопоставленных. Право же, это не умно. Герцен в этом случае действует не как человек, желающий споспешествовать благой цели и избирающий лучшие для того средства, а как фанатик, одержимый бесом известного учения, которому любо накричаться вдоволь. Жаль, он мог бы быть очень полезен. Теперь же, благодаря его излишествам, к нему начинают быть равнодушными те, которые его боялись, и перестают уважать те, которые считали его

одним из полезнейших наших общественных деятелей, так что он может мало-помалу совсем утратить свое влияние в России.

В «Колоколе», между прочим, помещены еще какие-то официальные бумаги, и теперь идет розыск о том, как они ему достались.[36]

Ноябрь 2. Воскресенье. Председатель нашего драматического комитета при театре ‹С. П.› Жихарев сильно проштрафился. Еще в июне месяце всем членам комитета в награду за их труды были присланы бриллиантовые перстни через Жихарева как председателя. Мы и получили их тогда же, то есть в июне или в июле, все, кроме ‹А. В.› Дружинина, который был в деревне. Его перстень остался на хранении у Жихарева. В сентябре приехал Дружинин, а перстня ему нет как нет. С. П. Жихарев, очевидно, вспомнил свои старые служебные привычки и присвоил его себе. Перстень продан или в закладе. Жихареву уже не раз напоминали, что пора отдать высочайшую награду кому следует. Он постоянно обещает исполнить это завтра, но Дружинин до сих пор только в газетах видел себя награжденным. Все члены комитета хотят написать Жихареву адрес с заявлением, что не желают заседать с ним в комитете.

3. Понедельник. Заседание в совете университета. Восточный факультет поступил очень неприлично с своим деканом ‹А. К.› Казембеком. Он в сентябре присудил ему читать арабскую словесность вместо заболевшего Тантави, а в октябре отдал этот предмет другому, в совете же отрекся, что так поступил. Между тем по справке оказалось, что все было, как сказано выше, и протокол подписан членами как следует. Совет высказался в пользу Казембека, который уличил больше всех восстававшего против него ‹А. О.› Мухлинского.

В совете прочитан проект о публичных лекциях при университете, предпринятых в пользу неимущих студентов Стасюлевичем, Горловым, Ценковским и мною. Я прочитал и программу моих лекций, которая была тут же одобрена советом. Предметом моих лекций будет Державин.

8. Суббота. Сегодня в театральном комитете я от имени членов и по их просьбе написал письмо Жихареву с просьбою покончить (разумеется, удовлетворительно) с перстнем Дружинина. Все члены литературы подписали письмо.

В нем мы, между прочим, намекаем, что после такого скандала не можем оставаться с ним в комитете.

На этой неделе я обедал у графа Д. Н. Блудова. Был, между прочим, разговор о Герцене и его «Колоколе». Государь крайне огорчен и недоволен его последними выходками. Хотели литографировать какую-то записку по крестьянскому комитету, чтобы членам удобнее было ее читать. Государь этого не велел, сказав, что «только литографируй, а там она и появится в «Колоколе».

Правительство хочет иметь в литературе свой орган, который должен быть вверен нескольким литераторам. Об этом рассуждали у графа Блудова. Граф сказал, что насчитывает у нас три рода литераторов: одни — злонамеренные и упорные в своих крайних желаниях, другие — не имеющие никаких желаний, кроме желания набить себе карман, и третьи — люди благородные и даровитые, которые могут действовать только по убеждению. Этих правительство не иначе может привлечь на свою сторону, как сделав их участниками своих благих видов. Разумеется, оно и может ожидать пользы только от последних. Граф далеко не уверен в успехе замышляемой меры, но не противится попытке в виде опыта. [37]

10. Понедельник. В театре, на представлении «Отелло». Мулат или, как назвали его в афише, африканец Ольридж, приехавший сюда на несколько дней, играл Отелло на английском языке с немецкими актерами. Я не говорю и не понимаю по-английски, но хорошо знаю пьесу, и потому поехал в театр — и не жалею. Этот Ольридж большой артист. Трудно идти дальше в выражении сильных и глубоких страстей. В третьем акте в сцене с Яго он до того страшен, что людям слабонервным трудно его выносить, а в сцене отчаяния в последнем акте вас душат слезы.

Игра его без всякой аффектации. Это чистейшая природа, с ее грозными вулканическими потрясениями. Все у него просто и благородно — и голос чудесный. Я долго не мог заснуть в эту ночь, а во сне все мерещился мне этот Отелло со своею тигровою яростью, со своими потрясающими сердце воплями, со своею беспредельною скорбью в последнем акте.

Ольридж будет еще играть «Ричарда», «Шейлока» и «Лира». [38]

13. Четверг. Письмо к Жихареву имело успех. Перстень возвращен. Он был заложен и выкуплен.

Ростовцев напечатал извлечение из своих писем из-за границы к государю императору о крестьянском вопросе. Толку не доберешься в толках об этой брошюре. Мне до сих пор еще не удалось ее поймать. Она напечатана в небольшом числе экземпляров. Одни говорят, что это сочинение кадета, другие находят в нем смысл и хорошие мысли. [39]

16. Воскресенье. Замечательная статья в «Отечественных записках» — «Стенька Разин» ‹Н. И.› Костомарова. Ужасное, невежественное состояние допетровской России изображено у Костомарова очень ярко и правдиво. [40] У него всё факты, не то что у Жеребцова, автора фантастической истории цивилизации в России, где он голословно восхваляет все, что было до Петра, и объявляет, что Петр испортил Россию и уничтожил в ней все зародыши великой самобытной цивилизации. [41]

19. Среда. У графа Блудова. Там был и министр народного просвещения. Разговор за обедом все время вращался около печати и цензуры. Министр жаловался на «Русский вестник» за напечатание думского протокола о ‹Н. А.› Безобразове, который теперь хочет по этому поводу затеять процесс.

Дело в том, что Безобразов, известный противник освобождения крестьян, отказывался принять от Думы грамоту на звание городового обывателя, говоря, что «он принадлежит к древнему московскому дворянству и не хочет состоять в числе людей среднего рода». Это подлинные слова его. Он даже жаловался генерал-губернатору Игнатьеву на то, что Дума посылала ему грамоту, а генерал-губернатор препроводил его жалобу к надлежащему исполнению в Думу. Дума выставила все законы, по которым она была вправе сделать то, что она сделала. Безобразов и Игнатьев очутились в пренеприятном положении. Решение свое (протокол) Дума напечатала для рассылки членам, но оно ходило по городу и, путешествуя из рук в руки, дошло до Москвы, где Катков и тиснул его целиком в своем журнале. [42]

«Искра» напечатала в объявлении виньетку, которую III отделение истолковало по-своему и объявило злонамеренною, хотя ее можно истолковать десять раз иначе. Требовали сведения у издателя ‹Н. А.› Степанова. Дело доходило до государя, но оставлено без последствий за недостатком ясных доказательств в возмутительности виньетки. [43]

Обер-прокурор св. синода гр. ‹А. П. Толстой› относился к нашему министру с заявлением, что русская литература посягает на веру. Он набрал кучу отрывочных фраз и на этом основал свое обвинение. Министр отвечал, что из оборванных фраз и стихов нельзя вывести никакого заключения.

В «Le Nord» напечатано что-то нехорошее про двух новых сенаторов, ‹Е. И.› Л‹аманского› и ‹А. Ф.› Г‹ревеница›. Граф Панин почему-то вообразил себе, что это нехорошее сообщено в иностранную газету непременно чиновником министерства финансов, вследствие чего и просил Княжевича разыскать, какой это чиновник.

Кстати о Панине. Граф Блудов рассказывал, что по случаю напечатания какой-то статьи, которая не понравилась министру юстиции, последний предлагал строго наказать цензора, ее пропустившего. А когда ему заметили, что надо же прежде потребовать от цензора объяснения, ибо он, может быть, и прав, Панин отвечал: «Нет, его прежде наказать, а после потребовать объяснения или оправдания».

Герцен напечатал в «Колоколе» письмо к государю о том, как дурно идет воспитание наследника после увольнения Титова. Тут, говорят, жестоко достается Гримму. Письмо, впрочем, я слышал, отличается хорошим тоном и очень умно. Оно произвело сильное впечатление при дворе.[44]

22. Суббота. В Москве перессорились профессора: ‹С. В.› Ешевский, ‹С. М.› Соловьев и ‹П. М.› Леонтьев, и одни из них наделали гадостей другим. Студенты, чтобы не отстать, в свою очередь наделали гадостей профессору Варнеку, объявив, что не хотят слушать его лекций, ибо он нехороший и отсталый профессор. Между тем Варнек, по уверению специалистов (он занимается зоологиею), принадлежит к числу наших лучших ученых. Впрочем, следствие, произведенное в Москве самим министром, показало, что и Варнек был неправ. Он действительно грубо обращался со студентами и тем самым вызвал с их стороны враждебную себе демонстрацию.[45] А университетское юношество наше и без того везде волнуется и пенится. Причины тому, мне кажется, следующие. Льготы последнего времени как бы врасплох застали наше общество. У многих от непривычной свободы закружилась голова, а тем больше у молодых людей, и без того не слишком склонных к умеренности. Человек, внезапно выведенный из тьмы

на свет и из спертой атмосферы на чистый воздух, всегда бывал сначала ошеломлен и как будто опьянен. С другой стороны, большинство начальствующих лиц — еще воспитанники старого режима, и они представляют из себя классические образцы неспособности применяться к новым обстоятельствам. Третья причина университетских неурядиц, наконец, кроется в самой организации университетов, лишившей сословие профессоров всякого нравственного влияния над юношами с тех пор, как наблюдение за их поступками перешло в руки инспектора с его помощниками. Молодые люди смотрят на него как на квартального надзирателя, и он по самому положению своему не может иметь среди них никакого нравственного авторитета.[46]

Вообще у нас во всем великое нестроение и неурядица. Русское общество похоже ныне на большое озеро, в глубине которого действуют подземные огни, а на поверхности беспрестанно вскакивают пузыри, лопаются и опять вскакивают. Кипение это само по себе не представляло бы ничего необычайного, тут нет еще большой беды. Но беда в совершенном отсутствии всякого организующего начала, в отсутствии характеров и высших нравственных убеждений. И вот еще беда: нет ни одной вчерашней мысли, как бы она ни была основательна, которая бы уже сегодня не казалась старою. Жар, с которым вчера принимали такую-то меру, сегодня уже остыл. Каждый день что-нибудь начинается, а на другой — только что начатое бросается недоконченным, и не потому, чтобы взамен находилось лучшее, а в силу какого-то неудержимого, слепого стремления вперед — но куда? Какая-то невидимая сила, как бес, гонит нас, кружит, выбрасывает из колеи. Всякий тянет в свою сторону, бьется не о том, чтобы было удобнее и лучше, а о том, чтобы вещи существовали как ему хочется. У нас столько же партий, сколько самолюбий. Иной хлопочет вовсе не из-за того, чтобы поддержать какое-нибудь начало, а из-за того, чтобы сказать: «это я, господа, это мое». Если же кому-нибудь удастся выразить и пустить в ход здравую, хорошую мысль, он уже земли под собой не слышит. Он важничает, зазнается, и то, что было у него хорошего, испаряется в чаду претензий и высокомерия. Ему уже непременно хочется, чтобы в мире существовала одна его мысль, и он кстати и некстати всюду тычет ее.

23. Воскресенье. Был у попечителя на совещании по случаю студентских проказ. Да, юношество пенится, но,

к сожалению, не всегда как шампанское, а подчас как настоящий откупной сиволдай. Вот теперь поссорились два студента, и один вызвал другого на дуэль. Вызванный, говорят, отказался от дуэли, а за свою обиду взял деньги. Товарищи возопили, что это подло, и потребовали от последнего, чтобы он непременно дрался. Начальство узнало, розняло петухов и посадило их в карцер.

Пока мы об этом судили да рядили с попечителем и инспектором, приехал товарищ министра юстиции Замятнин. Его сын попал в секунданты. Разумеется, мы решили всеми мерами воспрепятствовать дуэли, а студента, взявшего деньги, если это окажется справедливым, выключить из университета.

Заезжал к Александру Максимовичу ‹Княжевичу›: он сегодня именинник. Боже мой, сколько к нему набрело чиновников! И какие все умильные, сладкие лица! От них так и веет благонамеренностью, усердием, преданностью!

28. Пятница. Обедал у графа Д. Н. Блудова. Никого не было, кроме известной певицы, девицы Гринберг. Разговор о современной литературе. Граф находит нелепым литературный протест, напечатанный в «С.-Петерб‹ургских› ведомостях» в защиту жидов, обруганных «Иллюстрациею».[47] Затем граф удивлялся великому множеству появляющихся у нас новых журналов и недоумевал, кто будет их наполнять и кто будет их читать? Еще жаловался он на некоторые журналы, позволяющие себе такие вольности, что их трудно становится защищать.

Министр наш поехал в Москву. Там, говорят, опять произошло что-то в университете.

30. Воскресенье. «Всякий народ, — говорит Лютер, — имеет своего дьявола». Дьявол русского народа есть разногласие во всем, что касается общественных интересов, страсть все относить к себе, мерить собою. Это и мелкое самолюбие, кажется, общий порок славянских племен: оно-то и мешает развитию у нас духа ассоциации. Мы стоим на том, что лучше повиноваться чужому произволу, чем уступить в чем-либо своему собрату.

Декабрь 5. Четверг. Вот как я попался. В субботу на прошлой неделе задумал я сплутовать и наказан за то. Время мое до того расхищено текущими занятиями по службе в университете, в Академии, по разным комитетам и пр., что мне решительно некогда написать академического отчета (по II отделению) к 29 декабря. Все утра мои

уходят на это, вечера также, а по ночам работать боюсь, чтобы не раздразнить моего старого заклятого врага. Вот я и умудрился: написал в субботу кому следует записку, что в университете быть не могу «по болезни». Что же вышло? К вечеру в тот же день я действительно заболел.

6. *Пятница*. Говорят, государь в совете министров изъявил свое неудовольствие за сопротивление, которое он встречает в комитете по делу об освобождении крестьян. Он прямо указал на ‹М. Н.› Муравьева и ‹В. П.› Буткова, которые во время своих поездок летом по России везде распускали слухи, что проект освобождения существует только для вида: поговорят-де, да тем и кончится. Но странное же дело! Государь видит в некоторых лицах прямое противодействие своим великодушным намерениям, а между тем лица эти крепко сидят на своих местах.

‹А. С.› Меншиков, известный государственный остроумец, который все свои правительственные способности выразил в нескольких более или менее удачных каламбурах и остротах, на днях пустил в ход новую остроту по Москве, где он теперь залег на покой, подобно вельможам века Екатерины II. В Москву приехал ‹М. А.› Корф.

— Ну, что нового у вас? — спросил его Меншиков.

— Нового ничего нет, кроме множества новых комитетов, — отвечал Корф, — и ко всякому из этих комитетов *приобщают* Якова Ивановича Ростовцева.

— Вы Якова Ивановича-то приобщаете, — заметил Меншиков, — да жаль, что не исповедуете его.

7. *Суббота*. Катков в двадцатом номере своего журнала напечатал рядом три статьи, которые наделали много шума: знаменитый думский протокол о ‹Н. А.› Безобразове, «О полиции вне полиции» ‹С. С.› Громеки и чью-то ребяческую выходку против наших университетов. Особенно нашумели две первые статьи и, к сожалению, даже дали оружие в руки врагам всего доброго в литературе. «Русский вестник» навлек на себя опалу, а цензора подверг взысканию. Говорят, будто ‹Н. Ф. фон› Крузе уже отрешен от должности.

9. *Понедельник*. Вот ни за что пропало десять дней! А теперь беги, скачи скорей, скорей! Много ли дней остается до праздников, до Нового года? А работы, работы...

Сегодня доктор позволил мне выйти, и я отправился в театральную комиссию. Дело на этот раз шло о балетной

труппе. Нам предстоит сократить ее. В ней огромное число лиц — 222, тогда как в парижской не более 150, а в берлинской всего 70 с чем-то. Содержание нашей труппы стоит 114 тысяч рублей серебром в год, кроме монтировки балетов.

12. Четверг. Заседание в Академии. Читал годичный отчет вчерне. Одобрен.

Теперь до января следующие дела: 1) окончательная отделка отчета; 2) дело по комиссии о рассмотрении руководства к географии ‹И. П.› Шульгина, которое большей частью падает на меня как на председателя; 3) приготовление публичных лекций; 4) записка об Аудиторском училище; 5) проект о пенсионах артистам театров. А сколько заседаний в комитетах, из которых многие не высиживают и воробьиного яйца. И так вся жизнь. Ну, вот когда спохватился: немножко поздно! Да жизнь-то что? — говоря словами хемницерова метафизика.[48] Смех, право. Однако не до смеха. Вот 17 января я и эмерит уже.[49] Хоть бы кончить посерьезнее.

17. Вторник. Сцена в университете. Сегодня в сборную залу явилась ко мне депутация студентов с просьбою подписать бумагу, в которой они обращаются к попечителю за защитою от полиции и солдат; у них с ними третьего дня произошла стычка на пожаре. Бумага гласит, что дело было так: студенты бросились спасать имущество своих товарищей в горящем доме; солдаты, составлявшие около пожара цепь, не только не пустили их туда, но, отталкивая, еще били их прикладами, к чему особенно поощрял солдат офицер, командовавший цепью. «Бей этих канальев!» — неоднократно повторял он.

Подписать бумагу я, конечно, не мог, но обещался поговорить с ректором. Студенты в страшном волнении. Но хорош ректор. Вместо того чтобы успокоить студентов и их направить, он-то и послал их к профессорам, а сам спрятался.[50]

18. Наряжено следствие по делу о студентах.

22. Воскресенье. Был у попечителя. Он в больших хлопотах по поводу студентских дел. Я предложил ему следующую меру: составить из ректора и трех или четырех ассистентов-профессоров маленькую консульту для ближайшего сношения со студентами. Находясь в непосредственных и постоянных сношениях с ними, они, поддерживаемые авторитетом университета, гораздо лучше, чем инспектор, не

имеющий на них никакого морального влияния, смогут предупреждать всякие нехорошие поползновения. Попечитель обещал переговорить об этом с министром.

Есть проект переодеть студентов в обыкновенное общее платье, чтобы они были наравне со всеми подчинены общей полиции. Конечно, это облегчит университет. Но, с другой стороны, это уже совершенно предаст этих бедных юношей во власть нашей грубой полиции.

24. Вторник. Обедал у графа Блудова. Были Плетнев и Тютчев. Разговор о знаменитом, только что состоявшемся учреждении для сдерживания писателей, которые, по мнению Чевкина, Панина и других, подготовляют в России революцию. Теперь вздумали создать комитет, который бы любовно, патриархально и разумно направлял литературу нашу, особенно журналистов, на путь истинный. Он будет входить в непосредственные с ними сношения и действовать мерами короткого назидания, не вступая ни в какие цензурные права.

— А если литераторы их не послушают? — спросил я у графа.

— Ну, так ничего.

— Если ничего, — заметил я, — так и комитет ничего.

— Хорошо! Это, видите ли, нечто вроде французского Bureau de la presse, переделанного на русский лад. Удивительная вещь!.. Нет такой нелепости, такого бессмыслия, которое бы у нас не могло быть предложено в виде правительственной меры.

Граф Блудов, разумеется, против этого бестолкового учреждения, которое непременно должно или превратиться в негласный бутурлинский комитет, процветавший при Николае Павловиче, или в самое смешное ничто.

Но кто же члены этого «троемужия», как называет его Тютчев? Это всего любопытнее: ‹Н. А.› Муханов (товарищ нашего министра), ‹гр. А. В.› Адлерберг (сын ‹В. Ф.› Адлерберга) и ‹А. Е.› Тимашев. Если бы нарочно постарались отыскать самых неспособных для этой роли людей, то лучше не нашли бы. Они будут направлять литераторов, советовать им, рассуждать с ними о важнейших вопросах, нравственных, политических, литературных, — они, которые никогда ни о чем не рассуждали, ничего не читали и не читают! Смех и горе!

Министр сильно противился всему этому, и перед отъездом его в Москву было решено, что комитета не будет.

В Москве он пробыл дней шесть и, возвратясь, застал дело уже состоявшимся. Все это проделано министром иностранных дел князем Горчаковым.

Любопытно, как попал сюда Тимашев. Он был сперва отвергнут по причине его тайно-полицейской репутации. Ему ужасно хотелось, однако, стать в числе трех великих хранителей целомудрия русской мысли, и он придумал следующий остроумный аргумент: «Так как, — говорил он, — я не пользуюсь популярностью, то позвольте мне быть членом нового комитета, чтобы я имел случай приобрести ее». Превосходный предлог! Так как меня терпеть не могут, то мне и прилично делать дело, на которое должны быть избраны лица просвещенные и наиболее пользующиеся доверием и расположением общества. [51]

Граф Дмитрий Николаевич с самым лестным одобрением отзывался мне о моей цензурной записке, что выразил и официально. Он горячо благодарил меня за нее.

— Это, — отвечал я, — по крайней мере останется мне утешением в неудаче.

— Не говорите этого, — возразил он, — хорошие вещи не пропадают бесплодно.

От графа я поехал в драматический комитет, где мы одобрили пьесу ‹Н. И.› Куликова. [52]

Ковалевский намеревается подать в отставку. Об этом он уже говорил.

25. Среда. Собрание в университете профессоров, которые будут читать публичные лекции. Председательствовал попечитель. ‹Л. С.› Ценковский отказался, потому что ему много труда от публичных чтений в Пассаже. Наши лекции откроются после 15 января, по вечерам, от половины восьмого часа. Каждая будет продолжаться час. Я взял для себя четверги. Каждый прочтет по своему предмету три лекции. Я со Стасюлевичем, впрочем, решаемся и на четыре, если предмет не истощится и в публике будет видно желание нас слушать.

28. Суббота. Был у И. С. Тургенева. Он написал новый роман совершенно в художественном направлении. [53] Вот это хорошо! Пора перестать делать из литературы только деловые записки о казусных происшествиях и считать ее исключительно исправительным бичом.

Тургенев рассказал мне про свой обед у князя ‹Н. А.› Орлова. Князь тоже находит новоучрежденное литературное «троемужие» неразумным. Но добивавшиеся этой меры, по

словам его, имели другие виды. Они хотели присвоить себе контрольную власть над всеми министерствами, а литература служила так, предлогом. Это был в особенности план ‹В. Ф.› Адлерберга. Отличные виды, отличные люди, все отлично! О бедная русская земля, кто и как тобой не помыкал!

Дело «троемужия», впрочем, очень просто: оно превратится в негласный комитет. Сегодня был у меня один из окончивших в нынешнем году курс студентов, которого М‹уханов› приглашает к себе в сотрудники, то есть в шпионы, по этому комитету. Он предлагает ему читать журналы и доносить комитету о том, что найдет в них дурного. Молодой человек был сильно озадачен этим приглашением и пришел ко мне за советом. Я открыл ему темную сторону предложенной ему роли, и он ушел от меня, повидимому, убежденным и утвердившимся в идее чести.

В университете вывешено повеление, воспрещающее студентам аплодировать профессорам на лекциях и вообще изъявлять свое одобрение или неодобрение.

30. Понедельник. Акт в Академии наук. Я прочитал мой отчет. Он был короток и прочитан живо и потому заслужил всеобщее одобрение.

Министр сказал мне сегодня, что ему стыдно смотреть на меня. Он представлял меня к награде за работы по цензурному законодательству и получил от государя отказ. Министр до того простер свое ходатайство обо мне, что просил государя вменить это в личную ему награду, — и все-таки получил отказ. Евграф Петрович горячо выразил мне свое недовольство и сожаление. Я не менее горячо поблагодарил его за доброе ко мне отношение и поспешил его успокоить. Все, что случилось, вполне естественно. Какая тут награда за труды, относящиеся к науке и литературе? Я работал много и добросовестно, но работал исключительно для идеи. Тут и речи быть не может о награде. Вот если бы идея эта осуществилась и пошла в ход да принесла бы желаемые плоды... Но все это мечты, мечты и мечты, даже без всякой сладости!..

31. Вторник. Конец 1858 году.



1859

Январь 1. Среда. Обедал вчера у Гончарова, где собралось несколько литераторов, а именно: Тургенев, Боткин, Анненков, Панаев, Некрасов, Полонский, Дружинин. Обед был роскошный и довольно оживленный. Между прочим был выпит тост: «в честь лучшего гражданина», которым хотели почтить меня. [54]

После обеда Некрасов прочел свое замечательное стихотворение «Кладбище, [55] а затем я с Боткиным отправился в театр, где меня уже ожидала моя семья. Давали оперу «Зора» Россини. Она шла превосходно. Особенно восхитила меня Лотти своим очаровательным пением и игрой. Она очень мила, проста и грациозна.

После театра заехали к нам Звегинцевы, еще кое-кто из родственников и приятелей, и мы таки, наперекор всем невзгодам минувшего года, встретили новый шампанским.

2. Четверг. Для привлечения в уездные училища детей низшего звания почему бы не постановить, что кончившие в них с успехом курс учения освобождаются от телесного наказания? Это значило бы не принуждать их насильно к учению, а призывать их к нему, так сказать, голосом чести.

Литературный обед у Некрасова. Были почти все наши наличные известности: Панаев, Полонский, Чернышевский, Гончаров, Тургенев и т. д. [56] Из московских был ‹Н. Ф.› Павлов, к которому я питаю антипатию и которого старался здесь избегать, как в Дрездене его жены.

Человек, который в печати с таким жаром проповедует нравственные начала, а на деле топчет их в грязь и сам

необузданно следует влечению страстей под предлогом требований широкой натуры, — такой человек не может возбуждать к себе уважения, хотя бы он обладал умом и талантом. Есть моральные верования и принципы, которые человек должен признавать. Никакой ум и талант, никакая широта натуры никого от них не увольняют.

‹И. Ф.› Горбунов читал свои драматические сцены из народной жизни с обыкновенным искусством.

Вчера и сегодня занимался обдумыванием и составлением подробной программы публичных лекций. Мне хотелось бы, чтобы они сошли хорошо.

6. Понедельник. По секрету получено в университете высочайшее повеление, чтобы не делать подписки на денежное вспомоществование отставленному московскому цензору ‹Н. Ф. фон› Крузе.[57]

Много убил свободного времени на публичные лекции, которые теперь готовы. А что из этого? Если они будут хороши, то поговорят о них дня два, да и забудут, а если будут дурны, то побранят меня, да и не забудут этого никогда.

8. Среда. В 29 № «Колокола» прочитал письмо к Герцену, приписываемое Чичерину, в котором Герцена упрекают от имени всех мыслящих людей в России за резкий тон и радикализм.[58] Это, конечно, отчасти справедливо, и Герцен вредит этим своему влиянию на общество и на правительство. Но возражение, ему сделанное, кажется, еще вреднее. Оно как бы оправдывает крутые меры и вызывает их.

Сильно занят моими публичными лекциями. Материал готов, план обдуман. ‹Д. В.› Поленов прислал мне записки Державина, которые, впрочем, будут печататься скоро в «Русской беседе». В них о поэтической деятельности Державина почти нет ничего, а все говорится об администрации и службе. Видно, это Державина более занимало, чем поэзия.[59] Я кое-чем воспользовался для биографии его.

11. Воскресенье. Мы больны комитетами. Сейчас получил от генерала ‹Д. С.› Левшина приглашение быть членом комитета для начертания подробных программ наук в училищах военного ведомства и избрания руководств. А между тем у меня в голове так и ходит мысль, как бы с началом моей эмеритуры бросить все эти комитеты, бесполезные для дела и для меня самого.

Разумеется, отказался от этого любезного приглашения. Но все-таки просили меня хоть взглянуть на то, что будет сделано другими, и чтобы я хоть числился членом. Это последнее желание забавно.

12. Понедельник. Заседание в театральной комиссии, от которой сильно мне хочется отделаться. Я это теперь же сделал бы, если бы не нужно было докладывать государю, потому что я определен по высочайшему повелению. Сегодня сильные прения происходили о пенсионах артистам. Боятся всё, чтобы не слишком много дать. Я всеми силами стою за права артистов. Но что значит мой голос против тех, которые боятся разорить казну двумя-тремя тысячами в пользу, например, круглых нищих сирот, остающихся после этих бедных людей?

14. Среда. Странная зима. Беспрерывная оттепель. Сегодня, например, около трех градусов тепла.

16. Пятница. Вчера была первая моя публичная лекция. Не знаю как публика, а я ею крайне недоволен.

Говорят, «Парус» запрещен. Его вышло всего еще два номера. [60]

Дело студентов, побитых солдатами по приказанию командира на пожаре, исследовано особою комиссиею, назначенною по высочайшему повелению. Оказалось, что студенты ни в чем не повинны. Они действительно только спасали имущество товарища, квартира которого горела. Комиссия заключила, что единственное виновное в этом деле и подлежащее суду лицо есть офицер, который действительно дал приказание солдатам бить прикладом студентов, когда те обратились к нему с жалобою на то, что один солдат ударил или толкнул их товарища.

Щебальскому министр поручил делать для государя ежемесячно обозрение замечательнейших статей в наших журналах с выписками из них, как это делалось при Норове с книгами, с целью знакомить государя с нашими лучшими литературными и учеными произведениями.

17. Суббота. Сегодня совершилось двадцатипятилетие моей профессорской деятельности. Итак, я уже эмерит! Совет университета в следующее заседание рассудит, оставаться ли мне еще на пять лет профессором. Как скоро прошли эти двадцать пять лет! Пошлое восклицание! Его повторяют все миллион раз. О жизнь! Что ты и какое твое назначение?..

У меня был один из моих четверговых слушателей. Он выражал мне свое удовольствие и пересказал мне все содержание лекции. Значит, я что-нибудь сказал, что не потерялось в воздухе. Может быть, и так, но я сам недоволен, недоволен, тысячу, миллион раз недоволен.

«Парус» не запрещен, а только велено его следующий, то есть третий номер прислать в Петербург на предварительное рассмотрение.

Между студентами ходит лист с именами тех профессоров, которых они хотят выжить из университета.

18. Воскресенье. Оттепель продолжается. Снега в городе почти нет.

22. Четверг. Моя вторая публичная лекция в университете. Я ею несколько довольнее, чем первою.

23. Пятница. Нынче у нас расплодилась масса периодических изданий. Пересматривать все становится просто непосильным, да, правду сказать, и бесполезным трудом. Все эти новые издания не дают ничего нового. Умственными кормильцами общества попрежнему остаются «Русский вестник», «Отечественные записки», «Современник», «Библиотека для чтения», а из газет — «С.-Петербургские ведомости». «‹Русский› Дневник» еще не определился. Если он пойдет путем, каким идет теперь, то есть путем сухих статистических цифр и данных с перечнем известий о пожарах и убийствах в губерниях, то из него, пожалуй, выйдет своего рода полезная специальная газета, но сухая, скучная и неспособная действовать на умы. [61]

Говорят, Тимашев изо всех сил хлопочет, чтобы издатель «Паруса» ‹И. С.› Аксаков был спроважен в Вятку. Мысль отличная, самая современная, патриотическая и полезная правительству, напоминающая людям доверчивым, утопистам и оптимистам, что мы еще не так далеко ушли от времен Николая Павловича, как они думают. Впрочем, я не полагаю, чтобы государь на это согласился. Это была бы большая ошибка.

26. Понедельник. Публичные лекции Стасюлевича. Он читал о провинциальном быте Франции при Людовике XIV. Зала была битком набита слушателями. Первая лекция его, говорят (я на ней не присутствовал), изобиловала прозрачными намеками на современное положение вещей у нас, и это разлакомило публику. [62]

Аксакова не сослали в Вятку, но запретили его журнал. Мне передавал Краевский любопытный разговор Аксакова с Тимашевым. Между прочим Аксаков сказал:

— Вы боитесь, ваше превосходительство, революции. Вы правы — нам действительно угрожает революция, потому что есть заговорщики.

— Как, — спросил с ужасом Тимашев: — где они?

— В Третьем отделении. Третье отделение своим преследованием мысли, своим гнетом готовит революцию, ссоря мыслящий класс с нашим добрейшим государем.

29. Четверг. Моя третья и последняя публичная лекция сегодня имела большой успех, и я сам доволен ею. Получил много благодарностей и рукопожатий.

Горлову не позволено читать лекций из политической экономии. Это успех гласности! Мы, кажется, не шутя вызываем тень Николая Павловича. Но теперь это может быть и опасно. Правительство нехорошо делает, что, принимая начало, не допускает последствий.

Назначенный в Москву попечителем ‹Н. В.› Исаков объяснялся с государем, желая узнать, какому направлению он должен следовать, особенно в цензуре.

— Я убежден, — сказал Исаков, — что гласность необходима.

— И я тоже, — отвечал государь, — только у нас дурное направление.

В чем оно состоит, однако, ни тот, ни другой не могли сказать. Так дело и остается нерешенным, и не в этом одном отношении.

Вчера я подал председателю театральной комиссии ‹С. П.› Жихареву письмо с просьбою ходатайствовать мне у министра императорского двора увольнение от должности члена в этой комиссии. Жихарев просил меня вместо официальной бумаги написать дружескую записку, чтобы он мог предварительно переговорить с министром.

Меня не забывают старые приятели: Краевский, Панаев и Катков прислали мне билеты на свои журналы.

Нельзя сказать, чтобы человеческая природа не была способна к добру. Но между способностью что-либо делать и самим делом — расстояние огромное. Свойство добра таково, что оно неизбежно соединено с трудом и пожертвованиями. Недостаточно стремиться к нему, а надо еще ради него действовать, преодолевать препятствия. Вот этого-то большею частью и недостает людям. Потому-то главная

задача воспитания не столько в том, чтобы возбуждать добрые намерения, сколько в том, чтобы развивать и укреплять силу, нужную для их осуществления.

30. Пятница. Чтобы твердо стоять на почве общественной деятельности, надо питать уверенность, что мы нужны обществу. Приобрести эту уверенность на основании доверия к своим заслугам и способностям — по крайней мере для меня — невозможно. Надо иметь на то какие-нибудь ручательства со стороны самого общества, надо, чтобы последнее признало в вас и то и другое. А чтобы получить это ручательство и это признание, надо служить обществу не так, как ты хочешь, а как хочет оно. Правда, ты можешь назвать ему свои виды, заставить его принять твои идеи, но для этого надо быть или гением, или шарлатаном.

Всю систему моей жизни я основал на нравственных принципах, на идеях высшего человеческого достоинства и совершенства. Мне хотелось действовать на людей этими силами, которым я старался придать и внешнюю привлекательность, заимствуя ее опять-таки от одного из нравственных начал — от изящного. Поступки мои соразмерялись не с требованием лиц и обстоятельств, а с личным моим одушевлением. Выходило, что я иногда обращал на себя внимание, но так как во мне мало было соответствия с тем, что составляло насущную нужду или к чему клонились страсти и намерения людей моей среды, то меня скоро забывали. Мною при случае пользовались, но по миновании нужды бросали. Я не хотел или не умел делать уступок, но это не из гордости или непонимания вещей, а в силу принципов и наклонностей, выработавшихся во мне с детства. Одним словом, я всегда был, есть и, кажется, навсегда останусь тем, что называется доктринером...

В конце концов, однако, стоит ли сама жизнь того, что человек о ней передумает или для нее предпримет? Ведь это только наши страсти, наши пристрастия и привычки заставляют нас так много ценить и уважать то, что не заслуживает, в сущности, ни цены, ни уважения. Надо же быть мужем и справляться со всем этим, как подобает мужу.

Февраль 1. Воскресенье. Отношения мои к Плетневу давно уже, как говорится на дипломатическом языке, натянутые. В течение двадцатипятилетних уверений в дружбе он не раз подставлял мне ногу и теперь, по приезде моем из-за границы, опять хотел исподтишка устроить мне новую неприятность. Я успел это заметить, стал в оборони-

тельное положение и дружеские отношения заменил приличными. Так и до сего дня. Но мне претит таким образом встречаться часто с человеком, с которым некогда мы все-таки делились насущным духовным хлебом, хотя, правду сказать, я редко получал от него хлеб чистый и вполне доброкачественный. У меня давно мелькала мысль объясниться с ним откровенно, дать ему возможность оправдаться, с тем чтобы с моей стороны совершенно забыть его кошачьи покушения. Сегодня поутру я окончательно на это решился и поехал к нему. Дома нет — у обедни. Досадно. На возвратном пути я заехал к ‹М. Е.› Звегинцеву, где случайно узнал нечто, что совсем охладило мой сентиментальный порыв и еще раз доказало мне, что я имею дело с сухим, холодным эгоистом, испорченным долгим трением о всякие житейские мерзости, с лицемером, который внутренно осмеет твой порыв и, при случае, все-таки опять тебя обманет, расточая сладкие речи, а на деле вредя тебе. Я не поехал вторично к Плетневу.

4. Среда. Я избран вчера советом ‹университетским› в профессоры ‹заслуженные› еще на пять лет. Получил тринадцать утвердительных шаров против десяти отрицательных. Видно, сильно поработал Плетнев, чтобы на меня упало столько черных шаров. Странное дело! Откуда взялось у меня в университете десять врагов? Правду сказать, я этого не ожидал. И ведь ни одного из них нет, решительно ни одного, который не расточал бы мне всевозможных любезностей, и ни одного, с которым бы я не был по крайней мере в хороших товарищеских отношениях.

В одно время со мною баллотирован и Устрялов — и не выбран. Но бедный Устрялов после бывшего с ним удара в полном упадке сил.

6. Пятница. Обедал у нашего министра ‹Ковалевского›. После обеда он отозвал меня в сторону и сказал мне, что Комитет наблюдения над печатью (Адлерберг, Муханов и Тимашев) желает со мною посоветоваться насчет своего устройства и дел. Евграф Петрович не дал вымолвить мне слова в ответ и, взяв меня за руку, прибавил: «Пожалуйста, пожалуйста, не отказывайтесь».

Я отвечал, что трудно что-нибудь советовать там, где цель самого учреждения не определена или где она вращается в безграничном кругу.

— Но вы все-таки не отказывайтесь, явитесь к ним, — сказал министр, — и прочтите им лекцию. Вы найдете

между ними одного человека, понимающего вещи: это граф ‹А. В.› Адлерберг.

То же подтвердил после и Тютчев.

В заключение я сказал, что пусть они назначат время, и я к ним явлюсь.

Говорил со мною еще и товарищ нашего министра Муханов, намекая на что-то, что я услышу от министра.

Муханов пользуется милостью двора, но в публике он известен как человек пустой. Нынче я говорил с ним в первый раз и, проговорив с четверть часа, подумал, что общественное мнение вряд ли ошибается на его счет. Он говорил избитые общие места, но с видом высокого уважения к себе и к своим словам.

Между тем комитет, как я и опасался, грозит превратиться в новый «негласный», а судя по людям, из которых он состоит, из него выйдет гласная и чудовищная нелепость. И вот чем и как думают они направлять умы.

7. *Суббота*. Вечер у Щебальского. Он живет ужасно далеко, на даче за Нарвскою заставою. Мы отправились туда с ‹П. П.› Дубровским. Их живет там целая колония — три родные сестры жены Щебальского со своими семействами. Все очень милые люди. Там был, между прочим, ‹П. И.› Мельников, редактор «Дневника», человек умный и очень лукавый, как кажется. Он принадлежит к типу русских умных людей-кулаков.

Комитет вступил, наконец, гласно в свои негласные права. Он отнесся к министру с требованием объявить кому следует, чтобы цензоры и литераторы являлись к нему по его призыву для объяснений и вразумлений. Муханову дано, между прочим, право задерживать до его разрешения выдачу билета на выпуск книги или журнала из типографии. Да это хуже бутурлинского негласного комитета! Даже император Николай Павлович не посягал на это. Вот они забрались в какое болото! Что же я с ними буду говорить, когда они меня позовут? Тут невозможно никакое разумное внушение.

Какая жалость, что дела так идут. Они разрушают возможность сближения того, кто мыслит в России, с правительством, и как мы ни привыкли к дурному управлению, как ни мало у нас средств противодействия ему, но тут неизбежно зло, и зло великое. С одной стороны, быстрое последовательное погружение в хаос всяческих административных беспорядков и неурядицы, с другой — разлив мне-

ний, уж совершенно противоположных всякому ретроградному движению, — мнений опасных, когда они сделаются нормальным состоянием умов, опасных всегда, даже и у нас. А наверху плачевная неспособность дать какое-нибудь стройное и разумное направление вещам, — ведь это дурно, из рук вон дурно!

Правительство испугано движением, какое у нас с некоторого времени образовалось. Оно не хочет сидеть сложа руки, а действовать оно привыкло одним способом — способом удержания, гнета, устрашения. Оно не понимает, что действовать значит у п р а в л я т ь, н а п р а в л я т ь; да и понять ему трудно это, потому что оно не допускает к себе никаких способностей и окружено непроницаемой стеной из слабых голов и сердец. Обстоятельства становятся еще плачевнее, когда мы вспомним, как воспитывается и кем окружен наследник.

8. *Воскресенье.* Студентский обед. Собралось человек шестьдесят в доме одного из бывших студентов, Тимофеева. Все происходило шумно, весело, но пристойно. Сахаров произнес речь. После был провозглашен тост в честь университета, потом тост за меня. Я в ответ предложил тост в честь Тургенева и притом сказал: «Господа! Судьба раскидала нас по разным поприщам деятельности, но каждый из нас, где бы он ни был и каким бы путем ни шел, носит в сердце своем глубокую любовь к русской мысли и к русскому слову, следовательно, и к литературе. Выпьем же в честь одного из лучших строителей этой литературы — в честь Ивана Сергеевича Тургенева, который в своих произведениях так верен художественной красоте и национальному духу, что не знаешь, что он больше любит — искусство или Россию. По-моему, он любит их равно». Потом в течение обеда еще раз пили за мое здоровье и даже за здоровье моей жены. Потом пели и разъехались в десять часов.

9. *Понедельник.* Обед у Тургенева по случаю проекта о Фонде или Обществе для пособия бедным литераторам и их семействам. Как обыкновенно все наши проекты общественные должны быть спрыснуты шампанским. Я мало верю в русские ассоциации, однако же я писал и проект устава Общества пособия, к которому первую мысль подал Дружинин, заимствовав ее в английских журналах, так как он занимается английскою литературою. Все мы сегодня подписали наш проект и просьбу на имя министра

народного просвещения. ‹Ег. П.› Ковалевский, брат министра, взялся представить их ему.[63]

13. Пятница. Сейчас получил приглашение на похороны Марии Антоновны Корсини, или Быстроглазовой. Это одна из моих бывших учениц, с которой у нас до последней минуты сохранились самые теплые, дружеские отношения. Она была тогда, да и теперь еще редкой красоты. А какой возвышенный ум, какое прекрасное сердце! И всего лет тридцать семь или восемь она жила. И этого ничего нет уже! Мелькнула, как падучая звезда, — и погасла! Бедная Мария Антоновна! Как все это жалко, ничтожно — красота, ум, высшие качества сердца.

> Смертный! силе, нас гнетущей,
> Покоряйся и терпи![64]

В этом вся наука жизни.

14. Суббота. Похороны Марии Антоновны Корсини. Она еще не начала разлагаться. Лицо ее приняло величественное, строгое выражение. Я был у обедни и на панихиде и проводил ее до могилы. Ее хоронили на Волковом кладбище, направо, между малою и большою новыми церквами. После я зашел поклониться праху моих детей...

Непонятно, как можно предаваться пошлым житейским сплетням после того, как встретишься со смертью и побеседуешь с могилами!

Две живые развалины подошли ко мне на похоронах: ‹Л. В.› Дубельт, столь некогда страшный — впрочем, страшный только своим местом, а не сердцем и характером, — и ‹Н. И.› Греч, тоже некогда знаменитый. Обменявшись общими местами, мы расстались.

15. Воскресенье. Ростовцев написал мне великолепную благодарность за рассмотрение руководства географии, составленного Шульгиным для военно-учебных заведений. Совершенно не за что: работала вся комиссия, где я был председателем. А сделай настоящее полезное дело, сделай его собственным бодрым и разумным трудом — никто не скажет спасибо.

17. Вторник. Получил официальную бумагу, что «государь император, в уважение причин, изложенных мною в письме к Жихареву, изъявил высочайшее соизволение свое на увольнение меня от звания члена комитета для преобразования театров». Итак, мало-помалу я отсекаю у моего официального древа ветви, от которых никому ни тени, ни

цвета, ни плода не было и нет, а которые, однако, поглощают много соков из самого корня моей жизни. При других обстоятельствах совесть не допускала бы меня отказаться от общественной обязанности, но в данном случае, право, никто не думает об искусстве. Тут будут только слова, проекты, цифры, а там дело отложится и умрет в канцелярии. Да и нужно мне, наконец, побольше сосредоточиться. Много истрачено времени и сил на эпизоды.

18. Среда. Занимаюсь давно задуманным трудом об изучении философии и необходимости преподавания ее в высших учебных заведениях.

19. Четверг. Хорошему еще можно доверять, не доверяй ничему о ч е н ь х о р о ш е м у — ни очень хорошему здоровью, ни очень хорошему обращению людей, ни очень хорошим обстоятельствам. Тут непременно скрывается или коварство природы, или коварство людей, или коварство судьбы. Это для того, чтобы напасть на тебя врасплох.

20. Пятница. Меня призывал министр народного просвещения для объяснений. Явился к нему в час.

— Дело об определении вас в Комитет печати, — сказал мне министр, — приняло серьезный и щекотливый оборот. На это изъявил свое желание государь, и теперь я вам это передаю именно как его желание, о котором мне сообщил граф ‹А. В.› Адлерберг.

— Да, — отвечал я, — это действительно ставит меня в большое затруднение. Я готов на всякий труд, который давал бы хоть тень надежды на пользу делу, столь дорогому для меня, как наука и литература. Но у этого комитета нет почвы, если он, как говорят его члены, создан для нравственного наблюдения над литературою, — и тут не на чем стоять. Если же он должен превратиться в негласный комитет, то почва его грязная, и я не хочу на ней выпачкаться.

Мы долго еще об этом толковали, и, наконец, я обещался Евграфу Петровичу попытаться, нельзя ли дать всему этому делу по возможности благоприятный оборот.

Пока мы рассуждали, приехал Муханов. Тут у меня завязался с ним отдельный разговор.

Муханов старался доказать, что Комитет не имеет никаких ретроградных намерений; что в нем ничего нет похожего на комитет 2 апреля; что государь слишком далек от подобного учреждения.

— Меня лично, ваше превосходительство, — отвечал я, — не смущает мысль о комитете 2 апреля: я считаю его невозможным. Даже думать об его возможности я считал бы противным духу нашего времени и оскорбительным для духа нашего просвещенного государя. Но не могу скрыть от вас, что общественное мнение сильно предубеждено против этого нового комитета.

26. Четверг. Все эти дни я был занят размышлениями и переговорами о моем предполагаемом участии в Комитете. В понедельник, 23-го, я был приглашен в него. Тут увидел я лицом к лицу графа Адлерберга (Александра), Тимашева и Муханова.

Принят я был крайне вежливо, особенно графом Адлербергом. Я решился открыто высказать им как мои убеждения, так и взгляд мой на Комитет, дабы они сами могли решить, могу ли я участвовать в делах их. Они слушали меня с глубоким вниманием.

Я говорил им, какое невыгодное мнение составила себе публика о Комитете; что она считает его комитетом 2 апреля; что я, с своей стороны, полагаю этот последний совершенно невозможным в настоящее время и думаю, что их Комитет не может быть гасительного и ретроградного свойства; что его единственно возможное назначение — быть посредником между литературою и государем и действовать на общественное мнение, проводя в него путем печати виды и намерения правительства, подобно тому как действует литература, проводя в него свои идеи.

Они торжественно подтвердили мой взгляд.

Я изложил им также мои политические верования. Я полагаю необходимым для России всякие улучшения, считая главными началами в них: гласность, законность и развитие способов народного воспитания и образования, другими словами, как говоря модными словами, я верую в необходимость прогресса. Но есть два рода прогресса: один можно назвать прогрессом сломя голову, который часто проскакивает мимо цели, и другой — умеренно, постепенно, но верными шагами идущий к цели. Я поборник последнего — и неуклонный.

Все это они приняли очень хорошо. Затем я сказал, что если бы мне пришлось участвовать в Комитете, то не иначе, как с правом голоса.

Это их смутило. Муханов заметил, что так как государь уже утвердил положение комитета и состав его, то трудно внести в него новое начало.

На это я возразил, что другой характер, характер делопроизводителя бюрократического, для меня не возможен ни по положению моему, ни по убеждению.

Положено было, чтобы я оставил записку в духе того, что говорил, и в четверг принес бы ее с собою. Тем заседание было кончено.

Сегодня, в четверг, я прочитал им мою записку, где те же идеи изложены подробнее. Распространившись, что литература вообще не питает никаких революционных замыслов, я стоял на том, что подавлять ее нет ни малейших причин; что для нее вполне достаточно обыкновенных цензурных мер; что стеснять литературу посредством правительственных мероприятий невозможно и не должно и что комитету следует разве только, по воле государя, наблюдать за движением умов и направлять к общему благу не литературу, а общественное мнение.

Я забыл сказать, что в понедельник еще, после моих объяснений в комитете, я поехал к министру и сообщил ему, что требую права голоса в комитете. Он совершенно это одобрил и убеждал меня принять на этом условии место директора-правителя дел, так как с этим правом я, несомненно, буду в состоянии делать добро.

Он сказал мне также, что в воскресенье, на бале, говорил с государем обо мне и указывал на меня как на лицо, которое, по его мнению, более чем кто-либо может действовать с пользою в комитете. Государь обратился к Адлербергу и сказал: «Слышишь, Александр?» Министр и прежде, при самом образовании Комитета, предлагал меня в члены вместе с князем ‹П. А.› Вяземским, Тютчевым, Плетневым и ‹Ег. П.› Ковалевским, братом своим.

Записка моя после всего была принята, и завтра пойдет доклад к государю. Жребий брошен. Я на новом поприще общественной деятельности. Трудности тут будут — и трудности значительные. Но нехорошо, нечестно было бы, избегая их, отказываться действовать. Много будет толков. Возможно, что многие станут меня упрекать за то, что я решился с моим чистым именем заседать в трибунале, который признается гасительным, но в том-то и дело, господа, что я хочу парализовать его гасительные вожделения.

Будет возможность действовать благородно — буду, нельзя — пойду прочь.

Во всяком случае я твердо намерен до последней крайности противиться мерам стеснительным. Но в то же время я убежден, что и литература в данную минуту не может, не должна расторгнуть всякую связь с правительством и стать открыто во враждебное ему положение. Если я прав, то необходимо, чтобы кто-нибудь из нас явился представителем этой связи и взял на себя роль, так сказать, связующего звена. Попробую быть этим звеном.

Может быть, мне удастся растолковать Комитету, что на дела подобного рода надо смотреть широким государственным глазом; что Комитету не следует враждовать ни с мыслью, ни с литературою, ни с чем: он не партия, а общественный деятель; что не следует раздражать умы; что на нем, Комитете, большая ответственность перед Россиею, государем и потомством и что в силу этой ответственности он не должен останавливаться на мелких литературных дрязгах, а смотреть дальше и видеть в литературе общественную силу, которая может сделать много добра обществу. Если же с этим добром соединяются также и неизбежные спутники всех человеческих деяний — ошибки, заблуждения, увлечения, то их ослаблять следует не гнетом на самое добро, а разумным влиянием на общественное мнение. Может быть, удастся, нет — так не я первый, не я последний из обманувшихся в чистых намерениях. Долг мой будет исполнен. Да, я приму на себя эту новую обязанность, *если мне будет предоставлено право голоса*.

Тютчев, Гончаров, Марк Николаевич ‹Любощинский› сильно одобряют мое решение.

Да и Комитет, кажется, понял чистоту моих намерений. В нем ни слова не было сказано ни о каких-либо выгодах, ни отличиях. А что касается жалованья — я удовлетворяюсь первою цифрою, какая будет названа. Что же касается моих других занятий, их, само собою разумеется, придется несколько посократить.

27. Пятница. Правда ли это? Говорят, что редактор польской газеты ‹И. П.› Огрызко посажен в крепость. Что газета его запрещена, это справедливо. Но что самого редактора запретили, это мне только сегодня сообщил один из моих пятничных посетителей. Виновником этого называют ‹кн. М. Д.› Горчакова, наместника Царства Поль-

ского, который теперь здесь. Он напал на редактора за напечатанное в его газете письмо ‹И.› Лелевеля — письмо, одно по себе, может быть, и невинное, но преступное потому, что оно доказывает связь редактора с государственным преступником. Чего нельзя представить в ужасном виде? Во всяком случае это весьма печальное событие.[65] Это первая жестокая мера по отношению к печати в нынешнее царствование.

Главный недостаток царствования Николая Павловича тот, что все оно было — ошибка. Восставая целые двадцать девять лет против мысли, он не погасил ее, а сделал оппозиционною правительству.

Об Огрызке и польской газете «Слово» все справедливо.

Март 1. Воскресенье. Получил бумагу с высочайшим утверждением меня директором делопроизводства Комитета по делам печати. Благослови, боже, действовать на пользу мысли и литературы в духе соглашения и примирения!

Поутру был у министра и сообщил ему содержание моей записки, читанной в четверг в Комитете. Он был очень доволен и говорил, что теперь он спокоен, так как видит во мне опору и защитника литературы. Мы долго с ним говорили в этом духе. Честный, благородный человек!

2. Понедельник. Поутру был у Делянова. Он рассказал мне процедуру воспрещения «Слова» и заключения Огрызко в крепость. Эта кара постигла последнего за его сношение с государственным преступником. Делянов сильно ходатайствовал за него у Долгорукова, считая себя единственным виновником появления статьи в печати.

Заезжал к ректору Римско-католической академии Якубильскому заявить, что мне, может быть, придется оставить ее. Он очень огорчился и настаивал, чтобы я как-нибудь остался. В самом деле, пятнадцать лет служил я в этой академии, и все в ней, от швейцара до главного начальника, оказывали мне неизменное расположение. Мне самому грустно расстаться с нею.

В три часа отправился к Муханову, где было назначено заседание Комитета. Меня приветствовали уже как сочлена. Государь прочел всю мою записку и, говорят, остался чрезвычайно доволен ею. Это уж очень хорошо, ибо там много сказано в защиту литературы. Граф Адлерберг, между прочим, объявил мне, что я должен буду представиться государю.[66]

4. Среда. До меня доходят слухи, что назначение меня в Комитет вообще встречено с радостью в литературном кругу.[67] Некоторые из крайних полагают однако, что поступлением моим в Комитет я утвердил его существование; что если бы я отказался от него, то, увидев невозможность привлечь к себе какую-либо из благородных сил литературы, он принужден был бы закрыться, как дело вполне неудавшееся и невозможное. Ну, а если бы этого не случилось? Не принял ли бы тогда Комитет характера вполне подавляющего? Вряд ли бы он мог так добродушно посягнуть на самоубийство. Не увидел ли бы он, напротив, в таком решительном отчуждении литературы от правительства нового повода пугать ею последнее и не счел ли бы своею обязанностью действовать против нее всячески, как против явного врага. Правительство, пожалуй, опять стало бы прибегать к сильным мерам, и запрещения посыпались бы то на тот, то на этот журнал. Что тогда? Не лучше ли попытаться достигнуть желаемого путем мирных соглашений. Если я имел мужество принять на себя трудную роль посредника между литературою и правительством, то это с целью отстаивать интересы первой, если они будут подвергаться опасности...

Литературе может угрожать еще один сильный враг, против которого ей нужен союз с правительством, — это ретроградные, ультраконсервативные и обскурантские покушения духовных властей.

5. Четверг. Собрание у графа Адлерберга. Комитет желает иметь особых чтецов, которые бы следили за всеми журналами и отмечали вредные места. Я объяснил Комитету, что эта мера усилит только неблагоприятные впечатления в публике, которая вспомнит, что и у комитета 2 апреля были особые чтецы с этою целию. Взамен их я предлагал возложить эту обязанность на сотрудников будущего журнала, которые и без того должны следить за журналами каждый по своей части, и Комитет, не прибегая ни к каким искусственным средствам, будет в возможности знать, что делается в текущей литературе. Этим я именно хотел достигнуть отмены звания чтецов, бросающих тень на Комитет, и без того не пользующийся доверием публики. Муханов возразил, что чтецы необходимы: ибо сотрудники не в состоянии будут управиться с громадою журналов. Прочие члены также были на это согласны. Видя, что благоприятного результата тут добиться нельзя, я не настаи-

вал более и решился прежде хорошенько высмотреть и изучить Комитет и его позиции, чтобы с пользою противодействовать вредным замыслам, если они окажутся. Затем остальное время, то есть почти от трех до пяти часов продолжалась болтовня о разных предметах, в которой главную роль играл Муханов, неистощимый болтун.

7. *Суббота*. Читал записку мою Делянову. Он выслушал с большим одобрением.

Огрызко сделался предметом всеобщих толков. Заключение его в крепость и запрещение журнала вызвали в публике самое тяжелое впечатление. Говорят, государь согласился на эту меру только потому, что <М. Д.> Горчаков (варшавский) объявил, что не поедет обратно в Варшаву, если Огрызко не будет посажен в крепость.

В совете министров за Огрызко сильно стояли Ковалевский, Ростовцев и князь Долгорукий.

9. *Понедельник*. Шли рассуждения <в Комитете по делам книгопечатания> об обществах трезвости, которые быстро распространяются в империи, чем правительство поставлено в большое затруднение. С одной стороны, угрожает подрыв откупу, а с этим вместе значительные убытки для казны, а с другой — нельзя же правительству препятствовать благородному порыву народа не пьянствовать. Муханов требовал напечатать статью не в осуждение трезвости, а в осуждение незаконного действия крестьян, определивших сечь и штрафовать пьющих. Об этом положено рассуждать еще в следующем заседании.

Говорено было о журнале; я опять подтвердил, как это трудно, но что я занимаюсь планом. Трудность состоит в приискании помощников: литература смотрит недоверчиво на Комитет.

Гр. <А. В.> Адлерберг объявил мне, что государь желает, чтобы я представился ему в середу, в час.

Мне крайне тяжело от всех этих толков. Но все надо превозмочь: и советы доброжелателей, и козни врагов, и трудности предстоящего дела. Да, многие красноречиво говорят: вот то-то и то-то надо сделать для литературы. Я не хочу говорить, но хочу делать. Проповедовать вообще легче, но делать немного труднее. Не я основал Комитет. Но, сознав гнет, каким он должен лечь на литературу, я взялся поворотить его оглобли в сторону общественного мнения и поставить его лицом к лицу с ним на почве гласности.

Эта попытка быть примирителем между мыслью и правительством мне, может, не удастся. Но не сделать попытки было бы трусостью, больше того — было бы изменою лучшим надеждам общества.

Не корыстолюбие и не тщеславие руководят мною. Я опираюсь на мои человеческие идеи и на силу воли.

Да и надеждам моим дан довольно сильный толчок. В то время как на литературу сыпятся обвинения в революционных замыслах, когда против нее раздаются вопли Паниных, Чевкиных и так далее, я уже успел склонить Комитет к признанию, что это ложь, и заставил его передать это государю.

Я представляюсь государю, но после чего? После того, как он прочел мою апологию литературы, гласности и мысли; после того, как я высказал мнение, что Комитет может действовать разве только путем той же гласности, и не на литературу, а на общественное мнение.

10. Вторник. Обед у Дюссо, данный литераторами в честь актера Мартынова. Собралось человек сорок. Мартынову поднесли письмо, подписанное всеми присутствовавшими, и портреты их в прекрасно переплетенном альбоме. Письмо прочитал за обедом Дружинин, во время тоста. Потом Некрасов прочел стихи в честь Мартынова. Обед был весел и оживлен, но без криков, возгласов и всяких излишеств, какими обыкновенно отличаются наши триумфальные обеды. Все было искренно, просто и потому хорошо. Да, я забыл еще, что ‹А. Н.› Островский произнес довольно длинную речь от имени драматических писателей. Я за обедом сидел между Шевченко и Языковым. [68]

Все литераторы приняли меня радушно, по-братски. Многие выражали удовольствие по случаю моего нового назначения. Это было мне приятно, как свидетельство, что они понимают мои намерения и отдают им справедливость. После обеда я поехал на представление в театральную школу.

В понедельник я был на вечере у графа Блудова, где многие тоже выражали мне свое сочувствие и одобряли план об издании правительственного журнала.

Да, да и да, я примирю Комитет с литературою и с общественным мнением!

11. Среда. Замечательный день: я представлялся государю. Я приехал во дворец в половине первого часа. В приемной зале, обращенной к адмиралтейству, находилось

несколько генералов и флигель-адъютантов. В стороне генерал-губернатор ‹П. Н.› Игнатьев разговаривал с графом Блудовым. Я объявил дежурному флигель-адъютанту, зачем приехал. Через несколько минут подошел ко мне Игнатьев и осыпал меня любезностями. Немного спустя, из кабинета государя вышел министр народного просвещения. Увидев меня, он подошел ко мне.

— А мы только что говорили о вас с государем, — сказал он, — я бранил вас.

— Знаю, ваше превосходительство, — отвечал я, — что ваша брань не во вред мне.

За Ковалевским пошел в кабинет государя граф Блудов. Прошло с час времени. Явился граф ‹А. В.› Адлерберг, поговорил немного и куда-то ушел.

В ожидании от нечего делать я расхаживал по зале, поглядывая то в окна, то на стены, то на знамена, висевшие в углу.

Наконец часа в два граф Адлерберг позвал меня к государю.

— Очень рад познакомиться с вами, — сказал мне государь с невыразимою любезностью.

Я поклонился и ожидал, что его величеству еще угодно будет мне сказать. Он продолжал:

— Я со вниманием и с удовольствием читал вашу записку. Желательно, чтобы вы действовали влиянием вашим на литературу таким образом, чтобы она согласно с правительством действовала для блага общего, а не в противном смысле.

— Это, ваше величество, — отвечал я, — конечно, есть единственный путь, которым можно идти к величию и благоденствию России. Употреблю все силы мои для служения этому делу.

— Есть стремления, — продолжал государь, — которые несогласны с видами правительства. Надо их останавливать. Но я не хочу никаких стеснительных мер. Я очень желал бы, чтобы важные вопросы рассматривались и обсуживались научным образом; наука у нас еще слаба. Но легкие статьи должны быть умеренны, особенно касающиеся политики.

Государь особенно налег на слове политика.

— Государь, — отвечал я, — осмелюсь сказать, основываясь на продолжительных моих наблюдениях и опыте, что лучшие и, следовательно, имеющие наиболее влияния умы

в литературе не питают никаких враждебных правительству замыслов. Если встречаются какие-нибудь в этом роде ошибки и заблуждения, то разве только в немногих еще шатких и неопытных умах, которые не заслуживают исключительного внимания.

— Не надо думать, — заметил государь, — что дело ваше легко. Я знаю, что Комитет не пользуется расположением и доверием публики.

— Моя роль, как я ее понимаю, ваше величество, быть примирителем обеих сторон.

— Опять повторяю, — сказал еще государь, — что мое желание не употреблять никаких стеснительных мер, и если Комитет понимает мои виды, то, несмотря на трудности, может все-таки что-нибудь сделать.

При словах: «если Комитет понимает мои виды», государь значительно взглянул на Адлерберга.

Было сказано еще несколько слов об издании предполагаемой правительственной газеты, а затем государь крепко пожал мне руку и чрезвычайно ласково проговорил: «Постарайтесь!», поклонился и оставил меня.

Во все время разговора я стоял против него, а граф Адлерберг сбоку, возле меня.

Трудно передать кротость, благородство и любезность, с какими государь говорил. Меня особенно поразило во всем тоне его, в улыбке, которая почти не сходила с его уст, по временам только сменяясь какою-то серьезною мыслью, во всем лице, в каждом слове — какая-то искренность и простота, без малейшего усилия произвести эффект, показаться не тем, чем он есть в душе. В нем ни малейшего напускного царственного величия. Видно, что это человек любви и благости, и он невольно привлекает к себе сердце. «О, — подумал я, уходя от него, — сколько бы можно делать с тобою добра и сколько бы ты сделал его, если бы был окружен людьми более достойными тебя и более преданными тебе и благу России!»

При выходе из дворца я еще раз встретился с Адлербергом и выразил ему, как я очарован государем.

— Государь на вас надеется, — сказал он мне.

Утешительно также видеть, что государь понимает трудности дела. Он несколько раз повторил это. Я боялся слишком высокого тона, который был бы похож на приказание делать во что бы то ни стало и который говорил бы, что все можно, что велено. Между тем он только изъявлял свои

желания, свои виды и советовал, а не высочайше повелевал. Он, кажется, тоже понимает, что в настоящем деле нет места для обычной сухой административной формальности.

Из дворца я прямо отправился к министру, но, узнав, что он занят докладами и что у него Муханов, я не пошел к нему.

12. Четверг. Поутру был у министра и подробно рассказал ему про свое свидание с государем.

— Видите ли, — сказал мне Ковалевский, — каков он. Нельзя не быть ему преданным от всего сердца. Не раз мне приходилось так тяжело, что я готов был бросить все, но, поговорив с ним, опять примирялся. Не далее вот, как по делу Огрызка. Я в совете министров сильно восстал против меры, которая наделала столько неприятного шума. Меня поддерживал один Ростовцев. Но оба Горчаковы с такою яростью нападали на Огрызко и его газету и все прочие так были с ними согласны, что моя защита не помогла. Мне даже не дали прочитать приготовленной мною записки. Несколько дней государь, видимо, был на меня сердит, и я помышлял уже об удалении. Но не далее как вчера я прямо и откровенно высказал ему мои убеждения, и он опять очаровал меня своим благородством и своею добротою. Сил нет ему противиться. О, если б ему немного побольше твердости, да лучших помощников!..

После я откровенно высказал министру мое мнение о Муханове. Мои мысли были совершенно согласны с его. В деле Огрызко он играл неблаговидную роль. Он был подстрекателем Горчаковых, а когда увидел, какое впечатление это произвело на общественное мнение, он начал осуждать сам крутую меру.

— А что же говорили вы мне тому назад несколько дней? — заметил ему министр.

Вообще я предвижу большие затруднения с этим господином. На графа Адлерберга, кажется, можно будет действовать сердцем, на Тимашева — умом, а на этого ни тем, ни другим, потому что у него нет ни сердца, ни ума.

Тимашев представил в 9 № «Искры» стихи под названием «На Невском проспекте», с замечаниями своими о их вредном направлении. К сожалению, стихи действительно подают повод к упреку. Но Муханов восстал против них так, как будто они были государственным преступлением. Он требовал, чтобы редактор был посажен на гауптвахту. Тимашев был гораздо умереннее. Он объявил, что сам

в качестве начальника III отделения позовет редактора и сделает ему выговор. Он совершенно согласен со мною, что из этого не следует делать шума. [69]

Потом Муханов читал переписку графа Панина с гр‹афом› Блудовым по поводу статьи, напечатанной в «Русском вестнике», — «О коммерческом суде». [70] Переписка эта возникла по поводу вопроса Комитета, сделанного министру юстиции: следует ли допускать в печати подобные статьи? Записка гр‹афа› Блудова одобряет статью «Рус‹ского› вестника» и находит, что министру юстиции следует вообще обращать больше внимания на отправление правосудия. Она исполнена ума и благородства. Но вопрос, следует ли дозволять к печатанию такие статьи, со стороны министра юстиции остался нерешенным. Положено спросить его о том снова.

Говорено было о моем вчерашнем представлении государю. Я с намерением обратил внимание членов на великодушную и высокую мысль государя, чтобы не употреблять никаких стеснительных мер.

Признано совершенно неудобным печатать статью относительно распространения обществ трезвости. Я сильно поддерживал эту мысль.

Теперь на первом плане забота о газете. Надо склонять Комитет к мысли, что он может действовать на общественное мнение только этим путем, то есть путем гласности, а не каких-либо других мероприятий.

Муханов, кажется, доставит мне всего больше хлопот: он не способен внимать ни голосу рассудка, ни голосу сердца. У него одна мысль в голове — иметь влияние. Другие два настолько должны быть умны, чтобы понять, что собственные выгоды их требуют не презирать общественное мнение.

Еще надобно доказать им, что их честь требует противодействия таким людям, как Чевкин, Панин и прочие.

13. Пятница. Вечером у графа Блудова. Там встретил я Егора Петровича Ковалевского. Он против моего назначения.

— В благих намерениях ваших, — сказал он, — никто не сомневается, но вы ничего не успеете сделать.

— Если я ничего не в состоянии буду сделать, так оставлю. Зла от попытки никакого не будет, а добро может быть.

— Нет! — возразил он, — будет зло.

— Какое же?

— Трудно сказать вдруг.

— Но было бы трусостью с моей стороны не действовать.

Егор Петрович умный, благородный человек, но ипохондрик и раздражителен.

15. Воскресенье. Сегодня был у меня Ф. И. Тютчев. Я прочитал ему мою записку. Он сильно ее одобрил.

Всякий человек носит в самом себе или врага, или помощника своим целям. Он должен уметь справляться с первым и вполне пользоваться последним. Мой враг — слишком живое воображение, которое часто преувеличивает опасности и забегает вперед со своими мрачными изображениями. Оттого чувствую по временам сильный упадок духа. Конечно, это проходит, но, тем не менее такое состояние и неприятно и вредно. С ним надо бороться.

Ни честные намерения, ни добросовестный труд еще не ручаются за успех дела: для этого нужны еще способность, такт.

Я даю большое сражение, — не знаю, будет ли оно выиграно или проиграно. Но я даю его во имя чести русского ума, за право мысли и просвещения. Упадок духа теперь особенно некстати. Я стараюсь выбиться из него всеми силами. Но надо некоторое время, чтобы равновесие сил установилось, колеблющийся дух утвердился снова и внутри меня водворилось спокойствие и решимость идти своим путем.

Ошибаются те, которые думают, что я могу принадлежать к той или другой литературной котери́. * Я прежде всего и исключительно принадлежу моему убеждению, самому себе. Я признаю литературных людей наших за лучших людей России. В них больше образования, а следовательно, должно полагать, и больше, чем у других, стремления к лучшему. Это ум общества, более развитая часть наших нравственных сил. Сельский люд — это почва, почва сочная, плодообещающая. Но настоящие сеятели в ней — это люди мысли, действующие печатным словом, и мысли их необходимо дать больше простора. Я не отделяю от литературы на этот раз и в этом смысле ни публицистики, ни науки. Но люди, принадлежащие к этому кругу, одержимы своего рода заблуждениями и способны к важным ошибкам. Ни этих ошибок, ни этих заблуждений я не разделяю.

* Литературной группе *(франц.)*. — *Ред.*

Люди эти часто забывают, что для некоторых реформ мы еще не созрели. Всему есть время, всему должны быть соблюдены постепенность и мера. Прогресс сломя голову, я убежден, никуда не годится. Но постепенный, ровный прогресс есть цель, к которой необходимо стремиться.

Крайность этих людей состоит в том, что они хотят всё вдруг, всё скорее. Сначала сделаем, а после будем додумывать задним умом.

Обойдемся ли мы без революции? Решение этого вопроса принадлежит истории. Но если история ничего не дает даром, то надо стараться купить у нее то, чего она не дает даром, елико возможно меньшею ценою.

16. Понедельник. Граф Адлерберг объявил, что Краевский и еще какой-то полковник генерального штаба предпринимают издавать «Энциклопедический лексикон» и просят правительство оказать им свое покровительство, взяв для себя несколько паев, потому что издание предполагается учредить на паях. Адлерберг, видимо, наклонен в пользу этого дела. Но восстали Муханов и Тимашев; первый тотчас увидел в этом какую-то опасность и призыв воскрешения Энциклопедии XVIII века; второй не пошел так далеко и находил только, что это послужит только к усилению текущей легкой литературы. Муханова я тотчас отразил, что между подобным Лексиконом и тою Энциклопедиею нет и не может быть ничего общего и что у нас уже было подобное издание, кончившееся неуспешно только потому, что издатель, Плюшар, промотал собранные с публики деньги. К сожалению, я забыл на этот раз Лексикон Края. Тимашеву я представил, что это совсем не легкая литература, а, напротив, серьезная и подлинное дело науки. Он туго поддавался, как вообще туго поддается этот сухой полицейский ум; но как все-таки это ум, а не мухановский призрак ума, то он, наконец, и убедился. Адлерберг был на моей стороне. Чтобы отстранить всякое сомнение, я сказал, что правительству нельзя теперь ничего сказать, пока не будут представлены план и сотрудники издания. На этом и остановились. [71]

Потом читан был ответ Ржевусского на статью Громеки, довольно пустой и слабый. Автору хотелось знать мнение Комитета. Забавны в этом ответе объяснение революции французской и инквизиции. Мои сочлены и не подозревали, что тут просто глубокое невежество. Я обнаружил

им это, так же как и бессмысленность противопоставлять заслуги армии народу в охранении престола. Статью, разумеется, писал не Ржевусский; она все-таки грамотна, а почтенный граф не может быть обвинен в грамотности. Положено посоветовать автору или quasi-автору исправить ее.

Разговор о полковнике фигляре Бото.

В «Колоколе» есть выходка на Тимашева, впрочем, неважная и, кажется, не совсем удачная. «Колокол» не так громко теперь звучит и не так сильно заставляет себя слушать. [72]

19. Четверг. Тимашев прочитал безыменный донос о том, что в «С.-П‹етербургских› ведомостях» напечатано извещение о приготовляющемся переводе малороссийских повестей ‹Марко› Вовчка на русский язык и о намерении некоторых литераторов пустить их в продажу по самой дешевой цене. Доносчик с патриотическою ревностию указывает на страшный вред, долженствующий произойти от распространения в народе подобных вещей. Я объявил, что не понимаю ни этого предприятия, ни вреда от него: повести Марко Вовчка, по крайней мере те, которые я читал в «Рус‹ском› вестнике», очень скучны и больше ничего. На это Муханов возразил: знаю ли я «Казачку»? «Нет», — отвечал я. Он пересказал ее содержание. Выходит, что повесть эта действительно написана с целию как бы вооружить крестьян против помещиков, их притеснителей-владельцев. Она может, точно, произвести неблагоприятные впечатления. Странно, что подобные вещи печатаются теперь, когда дело идет об уничтожении злоупотреблений, против которых восстает автор «Казачки». Это чистый анахронизм. Муханов хотел дать знать об этом министру народного просвещения. Странно также, что переводчиком повестей Вовчка в «С.-П‹етербургских› ведомостях» объявлен Тургенев, не знающий вовсе малороссийского языка. Это должна быть какая-нибудь спекуляция. [73]

Затем Муханов предался по обыкновению неудержимому потоку речей. На этот раз, впрочем, он рассказал о любопытном заседании в Комитете министров, где и он, за болезнию министра, присутствовал и где дело шло о железных дорогах.

Еще важное обстоятельство, сообщенное Мухановым: у графа Панина было спрашиваемо, можно ли печатать о недостатках наших судов? Он отвечал, что можно, только

в приличных выражениях, без вражды и желчи. Но о присяжных решительно, по его мнению, не следует говорить. [74]

23. *Понедельник*. Начали было читать переданную государем графу Адлербергу записку, которую министр народного просвещения ежемесячно представляет его в‹еличест›ву о замечательнейших статьях в русских журналах. Чтение это было остановлено появлением издателя «Журнала землевладельцев» ‹А. Д.› Желтухина, с которым и я лет двадцать тому назад был знаком. Этому Желтухину, не знаю почему, Комитет счел полезным исходатайствовать от государя в пособие 8000 рубл‹ей› серебром в год для издания его журнала. Но журнал от этого не улучшился, а, напротив, пришел в такой упадок, что за прошлый год еще не додал семи книжек. Чего хотел теперь Желтухин, трудно было понять. Главное, что ему нельзя продолжать теперь журнала (который издается в Москве) вследствие нового распоряжения, что статьи по крестьянскому вопросу, составляющие специальность «Журнала землевладельцев», должны быть посылаемы на цензуру в С.-Петербург. Тимашев и я посоветовали ему обратиться к Ростовцеву, не возьмется ли он исходатайствовать ему изъятие из этого правила, основываясь на том, что редактор состоит экспертом при крестьянской комиссии? После многих толков с Желтухиным разошлись.

Замечательно следующее: Желтухин просил позволить ему напечатать, что он получает от правительства пособие. Для чего же? — спросили его. «Для того, — отвечал он, — что откровенность послужит мне оправданием перед публикою, которая теперь думает, что я подкуплен правительством». — «Да ведь, — заметил я на это, — она теперь только может говорить это по догадкам, а тогда совершенно в этом уверится, и вы этой ретирадой прямо попадете в пасть врагу». То же подтвердили и другие члены. Кажется, он убедился. [75]

26. *Четверг*. Сегодня говорил я большую речь о затруднительном положении цензуры, сбитой с толку отсутствием правильной системы, руководящих основных начал и вмешательством сторонних властей. Я доказывал, что необходимо, чтобы цензура была сосредоточена и независима. Цель моя, между прочим, была та, чтобы поставить цензуру вне влияний и посягательств на нее Комитета и предоставить министерству народного просвещения действовать самому, без посторонних беспрестанных внушений.

«Что мы за сыщики, — сказал я между прочим, — что гоняемся за каждою мелкою статьею и мешаем только действовать цензуре, приводя ее в страх и окончательно сбивая с толку! Мы не полиция, — мы здесь должны действовать как люди государственные, по высшим соображениям. Наше дело — видеть общее направление умов, а не мелкие какие-нибудь цензурные промахи и отступления, за которыми пусть смотрит установленная на то власть». Это, кажется, понравилось членам, особенно Тимашеву, который вообще доступнее других разумным внушениям. Впрочем, и Муханов не возражал. «Дело Комитета даже, — сказал я еще, — не враждовать с общественным мнением и литературою, а защищать последнюю против таких господ, как Чевкины и проч.».

Говорено было также о новом цензурном уставе. «Я старался сделать в нем две вещи — пополнить устав 1828 года сообразно с новыми потребностями, представить для цензоров закон и устроить цензурную администрацию, сосредоточив ее в одной власти, Главном управлении цензуры. Дух устава — либерально-консервативный». На это также никто не возражал. Вообще нынешнее заседание было любопытно тем, что я, как мне кажется, многое изменил в прежних понятиях Комитета.

28. Суббота. До сих пор я не вижу в Комитете по делам книгопечатания никаких особенно враждебных покушений. Было у них намерение направлять литературу и располагать цензурою посредством внушений и страха. Но это, теперь для меня очевидно, было скорее следствием непонимания вещей, чем систематически организованного замысла. Что касается до направления литературы, то мне удалось совсем уничтожить эту мысль, а теперь удалось уже и сильно поколебать покушение на литературу.

Приехал ‹Н. Р.› Ребиндер, чтобы вступить в управление департаментом министерства народного просвещения. Я виделся с ним, и мы много говорили о многом. Он вздумал было меня упрекать за Комитет. Но когда я ему объяснил ход и сущность дела, он не только примирился со мною, но еще стал усердно поддерживать меня в моих намерениях.

29. Воскресенье. У министра. Ему писали из Москвы, что там уже начинают чувствовать хорошие последствия моего участия в Комитете, что, по словам Евграфа

Петровича, действительно заметно и здесь и там. Так это или нет, но дурного по крайней мере до сих пор ничего не вышло.

Продолжительный разговор с ‹А. Н.› Струговщиковым, к которому я заехал от министра.

Меня упрекают в одном — что я задерживаю кризис, ибо будто бы отстраняю те меры, которые сильнее всех доводов доказали бы невозможность ретроградных действий. Мысль эта, повидимому, не лишена оснований. Но разве ретроградная партия уже так слаба, что окончательно сдалась бы после одной-другой неудачи? И неужели, с другой стороны, либеральная партия так сильна, что может верно рассчитывать на успех своего оппозиционного движения? Ведь у первой все-таки в руках власть, и что́, если она вдруг захочет воспользоваться ею и начнет прихлопывать то один, то другой орган мысли?

Неужели настало время совершенного разрыва между партиею мысли и движения и правительством? Неужели нет выбора, как между ультрами? Я не верю этому. А если, как говорят, я ошибаюсь? Может быть. Но мне надо в этом убедиться на самом деле. Слепая ненависть была бы преступлением. Не должно легкомысленно предаваться гневу и решать такие важные вопросы в порывах страсти или увлечения.

Я убежден, что мы еще не созрели для кризиса. Зрелостью я называю то, когда бы кризис в состоянии был привести вещи к определенному положению и ручаться за какую-нибудь благоустроенную будущность. А где для этого элементы? «Но кризис бы их и произвел». Нет! кризис произвел бы, наверное, хаос и больше ничего. Знаю, что есть люди, рассчитывающие на хаос. Но хаос ведет непременно или к анархии, или к усиленному деспотизму.

Надо сказать в Комитете: истинный патриотизм и государственный образ действий состоят в том, чтобы охранять основные начала нашего общественного порядка, а не заниматься мелочами. Верно то, что десяток мелочей, какнибудь проскользнувших в печати, никогда не сделает столько вреда, сколько одно поднятое на них гонение. Мелочи эти на минуту заставят поговорить и исчезнут, тогда как всякое гонение возбуждает негодование и держит умы в постоянном раздражении.

Министр мне сказал, что Муханов беспрестанно твердит о какой-то борьбе сословий.

Несомненно то, что многие наши так называемые передовые люди, при всех благородных своих стремлениях, не прочь от того, чтобы сделаться настоящими вождями движения и отодвинуть подальше всех других от арены, если эти другие не подчинятся безусловно их влиянию или их началам.

Стремление к восстановлению национальностей, кажется, составляет одну из задач нашего времени. Война с Австриею может окончиться отторжением от нее славянских племен. Но что тогда станется с Польшею? Славянофилы мечтают о федерации славян. Какую же роль тогда будет играть Россия? Откажется ли она добровольно от Польши?..

30. Понедельник. Комитет учинил важное признание, к которому он пришел вследствие моих убедительных и сильных объяснений, именно: что он сделал весьма важную ошибку, объявив своим циркуляром, что он будет призывать для объяснений и замечаний литераторов и цензоров. Ошибка эта, как я говорил им, поссорила их совершенно с литературою и общественным мнением и подала повод к бесконечным неблагоприятным толкам, чем немало содействовало и решение Комитета печатать в журналах свои статьи. Я старался всячески поддержать Комитет на этом благом пути невмешательства в литературу и цензуру и, кажется, успел в этом. Это уж важная победа в пользу справедливости и благоразумного либерализма.

Мне объявил Муханов, что государь очень заботится, чтобы я скорее представил план газеты.

Поговорив по обыкновению о сторонних предметах, Комитет разошелся довольно рано.

Конечно, конституция вещь прекрасная, и без нее нельзя обойтись. Но я никак не полагаю, чтобы для нее необходима была революция, и боже спаси нас от революции! Она была бы самая безалаберная. Мне кажется, что к конституционным формам можно идти постепенно, так, чтобы они вырабатывались без шума и тревог, в последовательном развитии либеральных начал как в общественном духе. так и в администрации. Например, пусть развивается гласность, осуществится публично-словесное судопроизводство, устроится кассационный суд: это вместе с освобождением крестьян образует уже значительные начатки нового порядка вещей, а там самое дело и опыт покажут, как и куда идти далее.

При таком ходе вещей вырабатываются не только элементы для нового порядка вещей, но и люди. А так, вдруг, невозможно! Мы не имеем никакой подготовки. Журнальные статьи и несколько либеральных, положим, порядочных, голов еще не составляют ее.

Правительство должно открыто и смело удовлетворить некоторым желаниям образованного класса, как оно открыто и смело удовлетворило нуждам низшего посредством эмансипации.

Апрель 1. Среда. Получил из совета университета бумагу о назначении меня исправляющим должность декана. Приходится отказаться, хотя я никому и ничему не служу так охотно, как университету. Но ни сил, ни времени нет. Теперь я весь углубился в проект газеты.

Надо привести в систему либеральные идеи и высказать прямо: чего д о л ж н о и м о ж н о хотеть.

2. Четверг. Ничего особенного ‹в Комитете по делам книгопечатания› не было. Муханов объявил, что на праздники он едет в Москву. Поговорив о том, о сем, особенно о смерти Бозио,[76] разошлись довольно рано.

Правительство никак не должно показывать, что оно — враг новых идей, если они сделались всеобщими. Его роль в этом случае есть роль согласителя этих идей с общими интересами и с безопасностью и благом государства.

Должно указать настоящий путь либеральному началу, а правительство убедить, чтобы оно уважало его.

4. Суббота. Вечером был у Тимашева. Если он не притворяется со мной, то он гораздо выше своей репутации, то есть той репутации, какою он пользуется в литературном кругу, и мне во многом приходится смягчить мое первоначальное о нем мнение. Он оказывается либеральнее многих и многих из тех сановников, с которыми мне случалось рассуждать и иметь дело. Например, он прямо сказал государю, что правительство его не пользуется доверием и что доверие это может быть приобретено уступками общественному мнению, а не насилованием последнего. Он читал мне свою записку, где эта мысль выражена. Потом он вообще показывает себя далеким от крутых мер и совершенно соглашается с тем, что надо идти путем умеренного и благоразумного либерализма. Таким образом он, повидимому, вовсе не ретроград, не реакционер, но не скрывает, впрочем, что по его мнению надо останавливать слишком

ярые стремления ультралибералов. Словом, в нем виден умный человек, понимающий потребности времени и сознающий необходимость улучшений. Он говорит, что он вовсе не против гласности, а только против ее злоупотребления. [77]

7. Вторник. Большой комитет у И. Д. Делянова, где рассуждали об учреждении педагогических курсов при университете взамен уничтоженного Педагогического института и об открытии новой, шестой гимназии. Комитет был слишком многочислен, и потому много было пустых толков и споров. М. С. Куторга, по обыкновению, выходил из себя, доказывая, что учитель истории должен в совершенстве знать греческий и латинский языки. Пусть в этом своя доля правды, но способ, каким поддерживал это Куторга, сильно отзывал прелым самолюбием и педантизмом. Он попрежнему доказывал, что единственный историк в мире Фукидид и что все новейшие историки, не исключая и Маколея, в сравнении с ним — дети. Такая парадоксальность, конечно, никого не могла убедить.

12. Светлое Христово воскресение. Заутреня в церкви театральной школы. Ужасная духота, и я страшно устал, а к усталости присоединилось еще и неудовольствие на церковную службу. Как они скомкали эту великолепную мистерию! В пении и во всем скачут напропалую, и оттого все великое, присущее идее этого торжества из торжеств, пропадает.

Утром был у министра и графа Блудова. Заезжал к Ребиндеру, у которого просидел довольно долго вместе с Струговщиковым и ‹Г. П.› Галаганом, приехавшим в Петербург для присутствования в крестьянском комитете. Возвратился домой в четвертом часу, очень усталый.

13. Понедельник. У министра с поздравлением. Многочисленное собрание. Я со всех сторон получал приветствия. Много было тут расточено иудиных лобзаний. Министр был очень любезен. В углу стоял бледный и злой Кисловский, которому есть от чего бледнеть и злиться: дни его в департаменте, где он наделал столько мерзостей, говорят, сочтены. Да и меня видеть в моем настоящем положении для него скорбь великая. Ну, бог с ним! От министра заезжал к Блудову и Ростовцеву.

16. Четверг. Все эти дни занимался проектом газеты и по случаю праздников заезжал к некоторым из моих приятелей.

Погода гнуснейшая — страшный холод и дождь со снегом.

Отправил письмо к моему старому наставнику, полюбившему и пригревшему меня еще в бытность мою в уездном училище, — Александру Ивановичу Морозову. У меня становится тепло на сердце при одном имени этого доброго, благородного человека. [78]

19. Воскресенье. Обедал у Некрасова. Рассказ Панаева о Плетневе, который отдал ему и Некрасову в аренду «Современник», когда новые журналы не разрешались, и получал с них 3000 рублей ассигнациями и по 4% после 1400 экземпляров. В деле этом участвовал и я, потому что издателями-хозяевами были Некрасов и Панаев, а редактором — я. Теперь времена переменились; право издания журнала ничего не значит, потому что его может получить всякий, а Плетнев все-таки требует с Некрасова и Панаева денег, и теперь уже по 3000 рублей серебром в год. Они старались его усовестить тем, что за тень, за имя журнала это дорогая плата. Предлагали ему даже 1000 рублей в год. Он не соглашается. Надо знать, что издатели «Современника» ничего, кроме имени журнала, в сущности, от Плетнева не получили: у него тогда было всего двести подписчиков, они же имеют их теперь пять тысяч пятьсот. Но тогда тут был смысл: это было право, а теперь ничто. Это юридический казус. Кто-то советовал им переменить заглавие журнала и просить позволения издавать его как новый. Тогда Плетневу придется ловить дым. [79]

Всех очень обрадовало отрешение от должности ‹гр. А. А.› Закревского. Он сделал вещь невероятную по своей наглости и презрению всех законов. У него есть дочь, не хуже Мессалины известная своими похождениями. Она замужем за графом Нессельроде, с которым, разумеется, не жила. Закревский вздумал ее, не разведенную с первым мужем, вторично выдать за князя Друцкого-Соколинского. Ни один священник не хотел их венчать. Наконец Закревский нашел одного, который, под угрозою ссылки в Сибирь, согласился, наконец, их перевенчать. Об этом Закревский имел дерзость сам известить государя. Вслед за тем и состоялось его увольнение. [80]

20. Понедельник. По причине праздника пасхи и страстной недели заседаний не было. Муханов объявил о жалобе ‹А. Н.› Муравьева (святоши) на «Современник»,

в котором он обруган по поводу последнего своего сочинения (№ 4). Сильному порицанию подверглись места, где рецензент говорит о сношениях автора с мальчиками и насмешливое употребление слова: Шамбелан. Муханов вопил и по обыкновению требовал крайних мер. Трудно было мне защищать статью «Современника», или, лучше сказать, две эти глупые выходки. Я мог только сдерживать гнев членов тем, что это мелочи и что нельзя же их считать за выражения характера литературы.[81]

Я предложил мнение мое относительно испрашиваемого пособия Энциклопедическому лексикону, предпринимаемому под редакцией Краевского. Пособия нельзя оказать, пока не будет организовано это дело правильным устройством редакции и достоинство его не будет обеспечено участием авторитетных наших ученых и литераторов.

21. Вторник. Был у министра. Разговор о цензуре. Муравьев жаловался на «Современник» (4 книжка) за резкий разбор его сочинения. Вообще объяснения мои с министром доставили мне большое удовольствие. Он выразил, так много благородного и сильно поддержал меня в моем образе мыслей и действий по Комитету.

Педанты обыкновенно придают исключительную важность только своему роду занятий, своей науке, своему ремеслу, своему призванию и т. д., нимало не заботясь об отношении этих занятий к другим и общим интересам людей или к другим началам. С забавною чопорностью тешатся они формулами и словами, придавая им особенный вес. Педанты не хотят верить, что в мире все имеет свою важность, свой смысл и свое ничтожество и что ум состоит в том, чтобы не считать на земле ничего ни слишком великим, ни слишком малым.

Итальянские дела очень всех занимают.[82] В прошедшую пятницу некоторые из моих посетителей сговорились при первой же неудаче австрийцев выпить шампанского за успехи итальянского оружия.

Сегодня такая отвратительная погода, какую не часто насылает на людей даже петербургский климат. Холод, дождь, снег, грязь.

Да, народом должно управлять посредством его самого.

23. ‹Среда.› Заседания по случаю тезоименитства вдовствующей императрицы не было.

24. Пятница. Заехал вчера к графу Блудову. Почтенный старец немного живее, но вообще нынешнюю зиму он не так бодр и свеж, как был еще недавно.

— Куда поедете вы на лето? — спросил я его.

— Не знаю, — отвечал он, — может быть, на Невское.[83]

— Ну, возразил я, — если не именно на Невское, то в подобное ему место нам всем предстоит путь.

— Только мне раньше всех вас, — сказал он.

25. Суббота. Что я буду делать с мелочными умами, которые отцеживают комара и поглощают верблюда?.. Я хочу спасать великую существенную вещь, политический принцип общества, делая для этого необходимые уступки и полагая, что этим упрочится спокойное, ровное развитие общества, а они ярятся из-за пустяков и думают, что спасают общество от бурь, когда успеют потормошить какую-нибудь статейку или фразу.

27. Понедельник. Тимашев объявил, что он отправляется в отпуск за границу на три месяца.

30. Четверг. Ничего особенного не было. Положено по причине переезда на дачу графа Адлерберга на будущей неделе не собираться.

Обедал у Дюссо вместе с Гончаровым, Некрасовым, Панаевым, Ребиндером и некоторыми другими. Провожали Тургенева за границу.[84]

Май 1. Пятница. Прекрасный день, а вчера еще я должен был ездить в шубе.

Москва, говорят, сильно жалеет об отставке Закревского. Если это правда, то вот вам и общественное наше мнение! А не она ли вопила прежде: когда мы от него избавимся!

Самое трудное дело — переубеждать людей, зараженных предрассудками, особенно там, где они лишены того возвышенного взгляда на вещи, который в состоянии был бы измерить не только близкое и настоящее, но и отдаленное и отношение настоящего к будущему.

Все требуют м е р, забывая, что правильная мысль есть тоже мера, только внутренняя, без которой, однакож, все внешние меры ничего не значат.

У нас ужасно привыкли успокаиваться на распоряжениях, комитетах, предписаниях. Определенные начала, убеждения, основные истины мало принимаются в соображение.

Так называемый прогресс исторический есть не иное что, как работа Данаид. Едва человечество успело поднять одну массу усовершенствований, новых идей, открытий, как другая масса готова, и ее также надо поднять и т. д. до бесконечности.

Но надо верить в прогресс настолько, насколько нужно, чтобы не дать заснуть себе и другим.

3. Воскресенье. Нет, это неправда, что Москва сожалеет о Закревском. Напротив, она в восторге от его падения. Сегодня был у Д. П. Хрущова, и он читал мне письмо одного из московских своих приятелей, человека правдивого и серьезного. Он пишет, что радость была всеобщая; многие обнимались и целовались, поздравляя друг друга с этим событием, и благодарили государя. Недовольных было только несколько чиновников.

Хорошо, если бы в разговорах почаще вспоминали изречение Фокиона, который сказал, что каждое слово прежде произнесения его должно обмакнуть в ум.

6. Среда. Экзамен в университете. Экзаменовался второй курс филологов. На этот раз молодые люди очень удовлетворительно разрешали трудные вопросы из философии и литературы. Это успех.

7. Четверг. Экзамен некоторых юношей, вступающих в университет.

Есть люди, конечно немногие, особенно женщины, у которых, несмотря на разные невзгоды жизни, на бедствия и преследования судьбы, всегда найдется теплое, приветливое слово для ближних, улыбка, участие к бедам и прочие хорошие вещи, доказывающие здоровую, богатую натуру, которую не так-то легко сломить и разорить вконец.

8. Пятница. Ездил в Царское Село к графу ‹А. В.› Адлербергу. Много говорил с ним о литературе и цензуре, стараясь разъяснить разные предубеждения, которых довольно. Он человек с умом и благородными наклонностями, насколько они могли сохраниться от рассеянной жизни. Но беда с нашими влиятельными людьми! Они неспособны к труду мыслей, мало образованы и чужды всякой глубины взгляда.

10. Воскресенье. Представлялся в Царском Селе государю, для принесения благодарности за ленту. Мы поехали в девять часов утра с Ребиндером, который также должен был благодарить за чин тайного советника. У дебаркадера железной дороги в Царском Селе нас ожидали придворные

экипажи. Мне пришлось ехать во дворец вместе с моим почтенным домовладельцем, бароном Фредериксом, и генералом Броневским. Кареты были очень кстати, потому что шел сильный дождь и ехать на лире или на гитаре значило бы подвергать крайней опасности от грязи белые штаны и с золотым позументом шляпу.[85]

Государь принял нас после обедни в небольшой зале наверху. Была порядочная теснота. Меня поставили возле князя ‹С. Н.› Урусова, исполняющего должность обер-прокурора синода, и мы тут же познакомились. Невдалеке от меня стоял и Ребиндер.

Государь вышел в половине первого. Он был в белом мундире и в брюках с желтыми лампасами. Одних он удостоил улыбкою, других только поклоном, а с иными сказал несколько слов. Ребиндеру он сказал:

— Благодарю за прошедшее и надеюсь на будущее.

Наконец дошла очередь и до меня.

— Благодарю вас, — сказал он и мне с приветливою улыбкою. — Занимаетесь вы вашим трудом?[86]

— Занимаюсь, ваше величество, — отвечал я.

— Как скоро вы надеетесь кончить?

— Я надеюсь летними месяцами кончить план, а с нового года можно будет начать самое издание.

Он с новою улыбкою поклонился и обратился к другим. Минут в пять государь обошел весь круг и раскланялся со всеми.

Из дворца я заехал к моему старому знакомому ‹Н. И.› Цылову, который теперь состоит полицеймейстером в Царском Селе, а от него уже отправился на железную дорогу. Оставалось еще полчаса до отхода машины. Мы соединились с Ребиндером и поехали обратно.

Сегодня был большой выход, и потому во дворце собралась толпа гражданских и военных чинов, особенно много военных. Лентами хоть мост мости. Смотря на этих людей, я еще раз пришел к заключению, как трудно в этих головах, под этими блестящими мундирами зародиться мысли об общественном благе, о котором если в эту минуту здесь кто-нибудь думал, то один только государь. Им некогда заниматься серьезно этою мыслью; они все поглощены заботами о выставлении себя, о представлениях, выходах, о своих местах, лентах, мундирах и т. д. Нет! не отсюда, а из недр народа могут вытекать истины о нуждах его и слагаться мысли, как удовлетворять этим нуждам. Тем

то и хороша конституционная форма. Но надо, чтобы и народ созрел для нее. Иначе представители черт знает чего нагородят или перессорятся за то, чье мнение должно быть главным, и все-таки кончится тем, что решить должен будет один, старший.

Вечером провожал министра, который едет осматривать университеты. Он был очень любезен.

11. Понедельник. Французы и сардинцы немножко поколотили австрийцев, чему я сердечно радуюсь;[87] зато мне целую ночь снилась Пруссия, будто она собрала войска свои и Германского союза, чтобы двинуться на Рейн. А ведь это может быть.

Вечером совет в университете и комиссия о приготовлении в университете учителей взамен тех, каких давал закрывшийся Педагогический институт. И это собрание походило на большинство наших собраний, которые представляют из себя нечто, похожее на жидовский кагал. Один хочет говорить и не хочет позволить этого другому, а как этот другой того же хочет и все хотят того же, то поднимается крик, от которого трещат уши, болит голова и от которого одно средство — бежать, что я на этот раз и сделал.

В совете был спор между ‹К. Д.› Кавелиным и юридическим факультетом. Кавелину хочется определить в университет своего приятеля ‹Б. И.› Утина, и для этого он предлагает учредить новую кафедру *всеобщей истории положительных законов*. Факультет ему доказывает, что этой науки нет, а Кавелин утверждает, что хотя и нет, но ей следует быть. Ему опять возражают, что из того, что следует быть, еще не следует то, что она есть. Он продолжает свое. Он ссылается на немецких и французских авторов, благоприятствующих, по его заявлению, защищаемой им кафедре. Ему доказывают, что он цитирует фальшиво и т. д. и т. д. А совет должен решить, кто прав, кто виноват. Надо, однако, сказать, что Кавелин как-то младенчески утопичен и либерален. Он принадлежит, впрочем, к числу тех либералов, которые хлопочут о свободе с тем, чтобы все были свободны от деспотизма того, другого, но не от деспотизма их самих. Этот последний они считают вполне законным и за свободу повиноваться ему они на все готовы.

14. Четверг. Убежал на дачу в Павловск. Май удивительный! Главное, в нем нет никакого коварства, то есть он

дает избыток тепла и света без всякого намека на неожиданные дуновения северного ветра. Прельщенные прелестями дня, вы выходите на прогулку в легком платье и не подвергаетесь опасности вернуться домой с насморком или ревматизмом.

19. Вторник. Со среды до вторника провел на даче в объятиях прекрасного мая, который если чем нехорош, то только тем, что слишком жарок. Поутру в тени градусов за двадцать. Вчера приехал я в город. Сегодня здесь надо заняться кое-какими служебными делами, или, лучше сказать, делишками. Завтра в Царское Село и уже оттуда домой в Павловск. Все работаю над проектом газеты, но в эти дни мало сделал. Приходил Гончаров проститься. Он едет за границу на четыре месяца. Счастливец. И свобода, и юг, и горы Шварцвальда, и Рейн! [88]

От Дружинина письмо из Москвы: там, по его словам, все окончательно убедились в пользе моего поступления в Комитет.

Как избежать колебаний, происходящих от различных настроений духа? Держаться крепче за основную мысль и не обращать внимания на приливы и отливы внутренних ощущений. Крепкая воля состоит в том, чтобы решительно решить что-либо, а на остальное не обращать внимания.

Случалось, конечно, что я подавал повод к вражде; но чаще случалось, что мне оказывали неприязнь, спешили сделать мне гадость без всякого от меня повода. Но причина все-таки должна быть. Различие вкусов, мнений, положений — вот достаточные причины вражды между людьми. Все это, однако, ужасно мелко, ужасно нелепо!

Редко в борьбе и враждах люди возвышаются до идей общего добра, а чаще всего они прикрывают ими самые презренные, эгоистические побуждения, самые маленькие страсти. Лицемерие и лживость самые обыкновенные, но и самые гнусные пороки человеческого сердца.

22. Пятница. После вчерашнего сильного дождя и грозы холод. Вчера во время обеда было еще двадцать пять градусов тепла, а вечером восемь. Сегодня пять. Все оделись в теплое, в комнатах топят.

25. Понедельник. Все эти дни был сильный холод. Сегодня опять потеплело.

В канцелярии министра финансов, куда приходил за некоторыми справками, нечаянно встретился с ‹М. Н.› Кат-

ковым. Мы не видались четыре года. Он едет в Берлин к знаменитому врачу ‹А. фон› Треффе посоветоваться насчет своих глаз, которые у него очень слабы. Он не может читать. К сожалению, он завтра уже садится на пароход, и мы могли только вскользь кое о чем переговорить, отложив все прочее до его возвращения в сентябре. Получив в канцелярии министра бумагу для получения золота, он простился со мною, чтобы отправиться в казначейство.

Кстати о золоте. Его совсем нет в обращении и очень мало в казне; поэтому его с большим затруднением выдают едущим за границу; едущих же туда на нынешнее лето бесчисленное множество. Курс на наши деньги за границею страшно упал, и здесь золотой полуимпериал стоит 6 рублей 20 коп. и более.

В Петербурге были редкие случаи холеры.

29. Пятница. То в городе, то в Павловске. Опять был дождь, опять гроза и опять холод.

Граф Кутузов умер от холеры, поев ботвиньи, когда уже до того был нездоров.

30. Суббота. Странно и справедливо, что ничто столько не вводит в заблуждение людей, как примеры. «Так-то было тогда-то, так должно и может быть и теперь», а между тем никогда вещи не бывают так, как были прежде. Мы обольщаемся аналогиею главных обстоятельств, а мир управляется мелочами, и общий закон есть не иное что, как summa summarum * этих мелочей.

Июнь 10. Среда. Лето, кажется, небывалое в Петербурге. Роскошная теплота юга, умеряемая, но не парализуемая частыми дождями, которые сопровождаются довольно сильными по-здешнему грозами; богатая зелень, все прелестно! Я мало. однако, пользуюсь этими прелестями, работая над моим делом. Я сижу у себя в кабинете до самого обеда, а вечером чувствую какую-то физическую усталость и не могу наслаждаться прогулкою. Дело, впрочем, подвигается вперед. Но сколько предстоит еще трудов и трудностей! Главное затруднение — где достать людей и довольно талантливых, и довольно благородных. и довольно благоразумных, которые поняли бы, что среди современных стремлений можно и должно, не склоняясь ни в ту, ни в другую сторону, твердо стоять на почве собственных бескорыстных убеждений; что нам еще рано думать о радикальных пере-

* Конечный итог *(лат.)*. — *Ред.*

воротах; что много хорошего еще возможно на постепенном пути к ним, что наша безалаберность и политическая незрелость еще не в состоянии теперь же, сейчас, вынести полного разрыва с сильною, сосредоточенною властью? А не найдя таких людей, можно ли выполнить и мой план?

Часто одолевают меня такие сомнения, что я почти готов бываю лишиться бодрости. К счастью, эти часы искушения и упадка духа проходят, и я снова проникаюсь энергиею, готовый все исполнить, несмотря на шаткость и неуверенность успеха.

Не будь пороков, страстей, заблуждений и бедствий — из чего же бы состояла история человечества?

11. Четверг. В городе. После академического заседания я остался в Петербурге и часов в шесть отправился на Черную речку к Марку Николаевичу ‹Любощинскому›. Там нашел ‹С. И.› Зарудного и ‹Д. П.› Шубина. От них как от служащих в Государственном совете узнал, что государь велел в несколько дней рассмотреть мой цензурный устав и не расходиться без этого даже для каникул. Возможное ли это дело? И притом без министра народного просвещения, который теперь в отлучке. Совет не знает, что ему делать. Мне пришла идея — ехать к Муханову и сказать ему, что устав имеет связь с нашим комитетским делом и что, пока не кончено последнее, нельзя рассматривать первый. Зарудный и Шубин одобрили эту мысль.

Я действительно был у Муханова. Он обещал воспользоваться этою мыслью и между тем напомнить государю об обещании Ковалевскому, когда тот уезжал, до его возвращения не рассматривать устава.

А что побудило к такой скорости? ‹И. В.› Вернадский в своей газете, в смеси, между разными слухами, напечатал будто Клейнмихелю хотят воздвигнуть памятник. Это, говорят, взволновало власть. Правду сказать, Вернадский поступил как школьник: не следовало дразнить цензуру.[89] Но, в сущности, что же тут ужасного и стоило ли из-за этого подвергать опасности, скомкать такое важное дело, как цензурный устав?

Я называю мой цензурный устав, но так ли это? Он проходил через многие руки и, между прочим, через руки таких людей, как, например, Берте, правитель канцелярии Главного управления цензуры, — и каждый из этих господ считал долгом своим оставить на нем следы своих рук. Можно себе представить, каким чистым в заключение вышел

он! А министр не имел, кажется, твердости действовать как должно. Вот от каких людей и обстоятельств зависит у нас решение важных государственных вопросов.

12. Пятница. Случайно сегодня на музыке встретился с Мухановым. Он мне говорил, что сильно хлопочет о том, чтобы устав о цензуре не был рассмотрен в Государственном совете до возвращения Ковалевского, и что есть надежда успеть в этом.

Ребиндер мне говорил, что Муханов вообще вовсе не так дурен, как о нем толкуют; что он доступен хорошим идеям и хотя неглубоко, но понимает вещи. Иной раз и мне начинает так казаться.

15. Получено по телеграфу известие, что австрийцы снова разбиты, и страшно разбиты, в генеральном сражении французо-сардинцами. Говорят, легло страшное множество людей с обеих сторон.[90]

19. Пятница. Заседание Комитета в Царском Селе. Нас было только трое: граф Адлерберг, Муханов и я. Тимашев в отпуску. Положено было приступить к чтению моего проекта, который почти кончен. Чтение действительно начато. И вот я опять наткнулся на замечания, которых уже больше не ожидал, например: что общественного мнения у нас нет, да едва ли оно и возможно; что толки, какие мы ежедневно слышим и читаем в журналах, не составляют его, и т. д. Это говорил граф Адлерберг. Ему возражал Муханов и, надо сказать, довольно умно и удачно. Откуда набрался этих понятий граф — не понимаю. Не в этом дело, что он невысокого мнения о нашем общественном мнении, а в том, что он в этот раз вообще обнаружил какое-то сопротивление, какую-то неприязнь ко всему мыслящему, чего я прежде в нем не замечал. Очевидно, это навеяно на него каким-нибудь недавним событием. Всего важнее то, что тут надо подразумевать взгляд свыше.

Мы прочитали немного, а все рассуждали и спорили, так что из этого заседания ничего путного не вышло. Для меня, однако, оно было очень важно. Я вижу, что мне надо изменить мою тактику. Я думал действовать прямо, силою истины, но мы стоим не на одинаковой почве и надо маневрировать. Мне хотелось разъяснить им вещи, чтобы они пришли сами к известным убеждениям; теперь надо, чтобы они приняли их против воли. Они и примут их, если не захотят опустить руки и предоставить все судьбе. Жаль! Они люди недурные, особенно граф Адлерберг, но до того замк-

нутые в кругу тесных придворных идей, что почти совершенно неспособны понимать то, что происходит на широком поле жизни, века и истории. Я, между прочим, сказал: «Положим, что все это так и что вы совершенно правы в вашем недоверии к общественному мнению. Но ведь то, на что вы теперь нападаете, уже не мнение только, не идея, а факт. И как этот факт есть сила в обществе, и сила значительная, то вопрос уже не в том, хороша она или дурна, а в том, в какое отношение поставить себя к ней, как сделать, чтобы она была по возможности не только безвредна, но и полезна».

Положено завтра продолжать чтение.

20. Суббота. Прогресс, о котором ныне так много хлопочут, — чистая иллюзия. Но то несомненно, что непеременность состояний невозможна на земле, и люди всегда будут стремиться к чему-то, чего нет или чего еще не было, думая, что они идут вперед. В сущности, так называемый прогресс заключается в перемене состояний, в переходе из одного из них в другое, как скоро в первом истощено все, что в нем есть, и, наконец, в извлечении из множества зол каждого из состояний немножко добра, которое отличается от прежнего не количеством, а качеством.

Заседание наше сегодня не состоялось, потому что государь позвал к себе графа Адлерберга обедать.

Июль 4. Суббота. Был в Петергофе, но заседания опять не было. Пробыл там до половины седьмого часа. Попробовал пообедать в трактире вокзала и получил за полтора рубля нечто очень плохое. Возвратился в Павловск в одиннадцать часов.

Итак, мир: северная Италия полусвободна. Наполеон заключил его, никого не спросясь и без всяких посредничеств. [91]

12. Воскресенье. В Петергофе. Читал план газеты. Одобрен. Спор такой же, как и в прошлое заседание, о революционном направлении умов. Я всеми силами старался доказать, что такого направления на самом деле нет ни в нашей литературе, ни в нашем обществе; что у нас нет элементов для революции — их не выработала история; что если нам чего надо бояться, так это полного хаоса общественных отношений и администрации, и все-таки и это не произведет политического переворота, а разве только так, неурядицу, резню без определенной цели. Но до хаоса следует и должно не допустить.

Обедал у графа Адлерберга.

17. Пятница. Еду в Москву недели на две.

18, 19, 20, 21, 22. В Москве. В субботу, 23-го, я возвратился из Москвы. Зачем туда ездил я? Что там делал? Цель поездки была, во-первых, отдохнуть от беспрерывной умственной работы вдали от вызывающих ее обстоятельств. Во-вторых, я имел тоже намерение проехать оттуда в Муром к брату, который хотел приехать за мною в Москву. Мне очень хотелось видеться с братом. Кроме того, я хотел посмотреть на московских литераторов и сделать маленькую рекогносцировку, нельзя ли кого приобрести в сотрудники для будущей газеты. Ничто из этого не достигнуто. Брат в Москву не приехал: вероятно, он не получил моего письма. Литераторов летом в Москве мало, а те, которых я видел случайно, к делу не относятся. Москва показалась мне какою-то грязноватою, пустынною и скучноватою. Если бы не мысль, что авось подъедет брат, я уже на третий день уехал бы назад. Единственный день, проведенный мною приятно, был с моим милым Шором в Петровско-Разумовском, куда я ездил к нему в среду.

Ультралибералы и не подозревают, какие они сами деспоты и тираны: как эти желают, чтобы никто не смел шагу сделать без их ведома или противу их воли, так и они желают, чтобы никто не осмеливался думать иначе, чем они думают. А из всех тираний самая ужасная — тирания мысли. Почему такой-то господин считает себя вправе думать, что только тот способ служить делу человечества хорош, который он предлагает, и что все, мыслящие не так, как он, должны быть прокляты?

Я желал бы быть понят друзьями нашего так называемого прогресса как следует; желал бы, чтобы они отдали и мне справедливость. Но если это невозможно, то мне остается идти своею дорогою, опираясь на свою совесть, и в ней одной искать вознаграждения за мои чистые и бескорыстные труды для той же великой общественной пользы, к которой, повидимому, и они стремятся.

«В дому отца моего обители мнози суть».

Я полагаю, что если мысль наша и литература должны по роковой необходимости стать в открытую вражду с правительством, то теперь еще не пришло к тому время.

Между деятелями или вождями нашего общества лежит бездна, которая всегда будет мешать их соединению для общих интересов. Бездна эта — самолюбие. Мелочность

наша и незрелость обнаруживаются и в том, что никто не старается судить друг друга беспристрастно. Никто не хочет признать заслуг другого, если они состоялись не по той методе или не тем способом, какие он считает лучшими.

Каждый из так называемых передовых людей говорит другому: «Иди по моей дороге и иди за мною. Проклят ты, если изберешь другую или пойдешь впереди сам».

Если правительство имеет благие намерения — помочь ему. Если не имеет — всегда время уйти.

Государь в личном со мною объяснении высказал такие благие и прекрасные намерения, что это решительно возбудило во мне надежды. Но если, окруженный людьми ограниченными и своекорыстными, он обманет мои ожидания, я по крайней мере останусь чист перед своею совестью: она не станет упрекать меня ни в малодушии, ни в нерадивости. Я до конца пройду путь, который считаю правым.

Главное, у меня нет помощников. Так называемые передовые умы наши до того враждебны правительству, что и на меня даже смотрят холодно — не потому, говорят они, чтобы сомневались в чистоте моих намерений, а потому, что я будто бы содействую задержке кризиса.

Но в конце концов, господа, чего же хотите вы достигнуть? Каких ближайших результатов? Революции? Без участия народа?

Но такие революции глупы и безнравственны!

Редакционный комитет из нескольких литераторов и других компетентных лиц и с ним слить Комитет книгопечатания.

Сентябрь 27. Переехал с дачи 12-го, в пятницу. Весь август прошел в занятиях по Комитету книгопечатания. С той поры как я высказал и постоянно поддерживал мысль, что Комитет есть ошибка, он ничего не делал. Он выслушал только часть моего проекта о газете. Муханов беспрерывно порывался к проявлению силы Комитета по цензуре, которая, по его мнению, допускала и допускает страшные послабления в литературе. Но как граф Адлерберг и Тимашев отвечали на эту рьяность молчанием, а я повторял, что нам тут нечего делать, то слова Муханова пропадали в воздухе бесплодно, и он обращался к рассказыванию анекдотов и пр. Наконец бездействие его утомило, и в одном из заседаний он горячо выразил мысль, что нам ничего не остается делать, как слиться с министер-

ством народного просвещения. Этого только я и ждал. Вся моя стратегия к этому и вела. Но я не хотел от себя высказывать этой мысли. Мне хотелось, чтобы эту меру, вследствие очевидной необходимости, предложил кто-нибудь из членов. Так и случилось. Теперь я употребил всю мою диалектику, чтобы поддержать это благое намерение, и в следующее же заседание прочитал уже приготовленный мною проект превращения Комитета в Главное управление цензуры под председательством министра народного просвещения. Он одобрен, прочитан последнему, снова одобрен, и сегодня, 27 числа, я везу его к Тимашеву для представления государю через графа Адлерберга.

В заседания Главного управления допущены цензора и литераторы. Я крепко боялся, что это встретит сопротивление, особенно допущение литераторов. Но я заранее меру эту оградил такими доводами и причинами, что сопротивления не было.

Весь август меня преследовали головные боли, являвшиеся каждый день после работы. Приходилось подчас оставлять письменный стол и ходить: это несколько облегчало тяжесть в голове.

28. Тимашев спешил в Царское Село, где государыне должен представляться Шамиль, и потому бумаг мы не отправили государю. [92]

Был у Позена. Туда приезжал киевский губернский предводитель дворянства. Оба они в сильнейшем негодовании на крестьянский комитет, который отвергает их предложения. Сколько я мог понять из их разговоров, они хотели бы обязать крестьян к большому денежному вознаграждению за землю, чего комитет не хочет. Они жалуются на то, что в комитете преобладает элемент бюрократический, что их призвали не для того, чтобы выслушать их мнения и совещаться с ними, а чтобы требовать их безусловного согласия на заранее заготовленную программу, и пр.

Говорят, депутаты намекнули на что-то, похожее на конституцию. Но государь очень спокойно отвечал, что они собраны для того, чтобы рассуждать о крестьянском вопросе, и должны заниматься этим, а не посторонними делами, которые до них не касаются.

Говорят также, что в первом совещании Главного крестьянского комитета, где присутствовал государь, князь ‹А. Ф.› Орлов выразил свои опасения, что освобождение

крестьян может навести на мысль о конституции, и что государь сказал:

— Что ж, если это точно будет желание России и если она к этому созрела, — я готов!

29. Может быть, на Комитет наш могут быть возложены какие-нибудь другие обязанности — только не в отношении цензуры, потому что его исключительная роль по отношению к ней, по смыслу нашего же проекта, кончилась. Дело все в том-то и состояло, чтобы цензуру централизировать и освободить от всякого в нее вмешательства сторонней власти.

Началом нового проекта принято: централизация и сближение цензурной власти со своими агентами и литераторами.

Сказать: потребность в централизации была так очевидна, что вы сами ‹Муханов› первые предложили мысль о соединении Комитета с Главным управлением цензуры.

Согласие министра на проект было необходимо, иначе не могла состояться централизация.

Что Комитет лишается всякой возможности действовать и что самостоятельно он существовать не может — это с первой до последней строчки говорится в проекте. В нем только нет фразы: он закрывается — и это потому только, что Комитету было неловко ее произнести самому себе. Но больше всякой фразы сущность новой организации это говорит.

Перемена ветра. Министр меня позвал и с великим негодованием и прискорбием мне объявил, что Муханов вовсе не думает об ослаблении или прекращении действий Комитета.

30. Был у министра. Есть точка соглашения: на нее указал Тимашев. Министр ничего против этого не имеет. Всю бурю воздвиг Муханов. Он не хочет, повидимому, никак признаться в негодности Комитета, который есть отчасти и его создание.

Все злоупотребления нашей печати вместе взятые не сделали столько вреда, как употребленное против них это средство. Лекарство хуже болезни.

Я уверен, что Муханов будет настаивать на изменении редакции проекта как слишком резкой. В нем слишком сильно говорится о невозможности существования Комитета в его настоящем виде, следовательно, он оскорбителен для

его учредителей, между которыми главный, кажется, был Горчаков, министр иностранных дел, а с ним очень дружен Муханов.

Причины всякой отмены прежнего в проекте должны быть указаны ясно и точно. Иначе почему же бы предлагать эту отмену?

Уверены ли вы, что никто не станет восставать против новой меры, предлагаемой в проекте? А как отстранить это возражение, не объявив, почему настоящий Комитет не может существовать.

Не должно принимать таких мер: a) которые поссорили бы правительство с общественным мнением, b) которые, вместо здешней, усилили бы печать заграничную.

Октябрь 1. Муханов сделался кроток, как ягненок. Он теперь не прочь даже и от совершенного закрытия Комитета. Он говорил со мною об этом. Странный человек. В нем ни к чему нет ни заклятой ненависти, ни живой любви: он вертится, как ветряная мельница, по дуновению в данную минуту действующих на него мнений.

8. Я боялся, что захотят изменить редакцию проекта. В таком случае мне пришлось бы резко воспротивиться. К счастью, этого не произошло. Было предложено несколько мелких изменений, и на эти я согласился без возражения.

Положено ждать графа Адлерберга и после общего совещания с министром ‹Ев. П. Ковалевским› прийти к окончательному решению.

Сегодня вечером читан был снова проект соединения Комитета с Главным управлением цензуры. Ему оставлена одна тень значения, и то если министр немного понатужится, то может и совершенно его сломить, в чем, впрочем, кажется, нет особенной надобности: он окончательно будет обессилен.

Муханов и Тимашев сильно озлоблены против литературы, особенно против так называемой обличительной литературы, последними выходками ее. Они, кажется, расположены к самым жестким мерам. Муханов на мои возражения заметил, что во мне виден литератор, — впрочем, весьма любезно, шутя. Я отвечал ему, что я верю в то, что не Россия для литературы создана, а литература для России, и что так как это сила, призванная ей на службу, то надо, чтобы она действовала. Вырывая плевелы, не должно уничтожать пшеницы.

Всякая революция нехороша, но нет ничего хуже, как революция ускоренная, преждевременная. Она опасна, как преждевременные роды.

У меня, может быть, не меньше ненависти к деспотизму, бесправию и всякому произволу, как у любого из красных, но они только ненавидят, а это мало — надо действовать. Действовать же по какому бы то ни было слепому чувству, хотя бы по ненависти ко злу, не значит действовать ни разумно, ни справедливо. Жизнь требует управления, и кто берет на себя роль деятеля, тот принимает на себя и ответственность за последствия.

17. Болен.

23. Пятница. Полегче. Заседание у министра народного просвещения по делу о слиянии Комитета по делам печати с Главным управлением цензуры. Присутствовали: министр, Тимашев, граф Адлерберг и я. Важное дело слияния Комитета по делам книгопечатания с Главным управлением цензуры. Положено на днях поднести о том доклад государю. В записке, писанной для того мною, Комитет сам в точных и резких выражениях говорит не только о своей бесполезности, но и вредности.

Говорено у министра о новой драме ‹А. Ф.› Писемского, которую пропустил было ‹С. Н.› Палаузов. Драма из крестьянского быта. В ней помещик соблазняет жену крестьянина, и последний, в порыве ярости, убивает первого. В настоящую минуту, когда крестьянский вопрос в самом разгаре, печатать эту драму найдено неблагоразумным. Но как драма действительно, говорят, хороша, то ее не следует запрещать, а только остановить на время. [93]

Говорят, что по крестьянскому делу большие несогласия между комиссиею и депутатами. Последние, между прочим, будто бы явно стремятся к конституции.

26. Министр призывал к себе Писемского, очень хвалил его драму, дал слово пропустить ее, только спустя некоторое время.

Много толков о крестьянском деле. Пять депутатов подписали на имя государя бумагу, в которой просят о даровании открытого судопроизводства, о присяжных, о большей свободе печати и о праве, по которому дворянство могло бы представлять государю о своих нуждах. Говорят, государь принял эту бумагу благосклонно и обещал передать ее на

рассмотрение Государственному совету.* Но отчего же ее подписали пять депутатов из двадцати?[94]

Ноябрь 1. Был поутру у доктора ‹Н. Ф.› Здекауера посоветоваться о своем здоровье, которое сильно пошаливает...

Сегодня же собрание главных учредителей Общества пособия нуждающимся литераторам у ‹Ег. П.› Ковалевского. Тут, по свойственной нам привычке, каждый хотел быть первым со своим мнением, из чего вышло много крику по пустякам. Положено всем собраться для открытия Общества и для выборов членов комитета 8 ноября. Мне поручено составить протокол этого собрания, чтобы потом передать его министру.

5. Четверг. В Царском Селе, у графа Адлерберга. Государь совершенно согласен с нашим проектом о слиянии Комитета с Главным управлением цензуры. Одного он не одобрил только: чтобы президент Академии наук был членом Главного управления.

8. Воскресенье. Открытие Общества пособия нуждающимся литераторам и ученым происходило в квартире министра народного просвещения. В собрании было человек пятьдесят. По прочтении параграфов устава, имеющих отношение к акту открытия и выбора членов комитета, общество провозглашено открытым и приступлено было к выбору этих членов. Выбран и я. Мне дали 20 голосов. Москва прислала 15, чего я вовсе не ожидал.

Потом комитет выбрал председателем Ковалевского, Егора Петровича; помощником его — Кавелина; секретарем — ‹А. Д.› Галахова; казначеем — Краевского. Предложили лист, и затем было решено поблагодарить министра за его радушное участие в нашем деле. На меня возложили сказать ему приветствие.

Мы, то есть члены комитета, все отправились к министру, которому я и сказал от лица всех небольшое приветствие. Поговорив немного со всеми, министр при прощании оставил меня у себя, и здесь он рассказал мне, что происходило в четверговом заседании Совета министров по поводу цензурного проекта. Были сильные прения. Впрочем, слияние «Б ю р о д е л я п р е с с» с Главным управлением

* Слух неверен, — подписавшим этот адрес, напротив, велено сделать строгий выговор. — *Примечание А. Никитенко.*

цензуры не встретило сопротивления. Это дело, повидимому, решенное.

Но вообще в ходе цензурно-литературных дел являются два неприятные обстоятельства. Во-первых, государь оказывается сильно нерасположенным к литературе. Все благородные, разумные и справедливые доводы министра в защиту ее, кажется, не произвели большого впечатления на ум его, предубежденный ревнителями молчания и безмыслия. Во-вторых, цензуру намереваются отделить от министерства народного просвещения. Это будет важная мера, но едва ли полезная самому правительству. Тут одно из двух: новая власть должна или прямо пойти против всякого движения, что опасно; или ничего нового не сделать — и тогда где же и за кем останется победа?

Хуже всего то, что этим правительство совершенно отделится от мыслящей и просвещенной части общества. Отдав интересы ее под надзор полиции, какой бы то ни было, тайной или явной (министерство внутренних дел), оно тем прямо противопоставит ее себе. Тут уже не может быть и речи о соглашении, о разумном уравновешении. С одной стороны, лозунг: держи, останавливай, с другой — прорывайся, обходи, ухищряйся, словом, действуй всеми средствами, позволенными и непозволенными. Это весьма неудачное подражание французскому порядку.

Все зависит от системы, которую правительство избирает, и от последовательности и уменья, с которыми оно будет ей следовать.

Я полагаю возможным соединение в одном начале здравых и светлых умов, откуда бы они ни приходили.

15. Воскресенье. Большие толки об отделении цензуры от министерства народного просвещения. Я говорил графу Адлербергу мои мысли о политическом неудобстве этого отделения. «Впрочем, — прибавил я, — все дело в том, чтобы последовательно держаться каких-либо начал да не пугаться всякой статьи, несогласной с принятыми и утвердившимися понятиями. Цензура должна оберегать основной принцип нашего государственного строя; прочее принадлежит к обыкновенным процессам вырабатывающейся и развивающейся жизни».

21. Суббота. Ездил в Царское Село к графу Адлербергу. Роль моя по Комитету книгопечатания кончена, и барон

‹М. А.› Корф набирает своих членов в новый главный комитет.

Корф ищет популярности. Может быть, не следовало бы с этого начинать, чтобы не пришлось потом поворотить оглобли.

22. Воскресенье. Очень тяжелое состояние головы. Сегодня мне даже сделалось дурно. Опять был за советом у Здекауера. От него поехал к Тимашеву.

Тимашев утвердительно пророчески говорит, что управление Корфа больше года не просуществует.

Корф сделал большую ошибку, разгласив между литераторами, что он будет следовать либеральной системе. Он, таким образом, возбудил надежды и притязания, которых сам не будет в состоянии выполнить. Тогда придется поворотить назад. Корф слишком поспешил добиваться популярности, а главная ошибка, что он показал свое желание ее добиваться.

Уже начинается коалиция против нового управления.

Причина отделения цензуры от министерства народного просвещения, ходят слухи, — сам министр. А за месяц перед этим вот что он мне говорил:

— Как Ковалевский, я могу желать отделаться от цензуры, потому что это тяжкое бремя. Но как гражданин, как русский, я всеми силами буду противодействовать всякому покушению отделить ее от министерства народного просвещения, потому что это может иметь пагубные следствия для литературы.

И между тем он же первый, говорят, в совете министров и предложил эту меру.

Дело в том, что оторванная от министерства народного просвещения цензура сделается добычею всякого искателя власти и влияния. Теперь уже многие зарятся на нее и затевают козни против Корфа, и нет ничего невозможного, чтобы пророчество Тимашева оправдалось. Тогда, чего доброго, цензура, пожалуй, угодит и в III отделение. Вообще она сделалась, более чем когда-либо, игралищем случайностей. Чем больше думаю, тем больше нахожу, что наш проект был самый разумный и наиболее сообразный с выгодами литературы и самого правительства.

24. Вторник. Болезнь моя продолжается. Я даже несколько дней не выхожу.

Вчера писал ко мне барон Корф, прося меня к себе по делам службы. Я отвечал, что уже пятый день болезнь

препятствует мне выходить из комнаты, но как скоро получу облегчение, буду иметь честь явиться к нему.

Министр зовет меня завтра к себе. Доктор позволяет завтра выехать.

27. Пятница. Все еще дурно идут дела моего здоровья. Теперь жду доктора, а там пущусь к министру и к Корфу.

Зачем звал меня Корф? Не понимаю! Не полагал ли он, что я буду просить его взять меня в новый цензурный комитет? В таком случае он ошибся. В заключение он просил меня повидаться с Тройницким (Александром Григорьевичем) для объяснений — каких, о чем? Покрыто мраком неизвестности.

От Корфа поехал к Адлербергу, который все время говорил о Корфе и его действиях. Граф хотел быть у него.

Министр объяснил мне, как произошло отделение цензуры от министерства народного просвещения. Это инициатива самого государя, а не внушение графа ‹С. Г.› Строганова.



1860

Февраль 3. Среда С 27 ноября прошлого года не писал я моих заметок. Это один из самых тяжелых периодов моей жизни. Меня посетила тяжкая, серьезная болезнь. Я был под гнетом таких физических страданий, которые не раз приводили меня к мысли, что для меня уже все кончено, что еще один толчок, и я буду переброшен туда, откуда уже нет возврата и куда обыкновенно так не хочется идти всему живущему. Началось как будто с простуды, но по миновании последней потянулись бесконечные нити, обрывки которых и до сих пор меня опутывают. Слабость всего тела, соединенная с невыносимой тоской, преследовала меня днем, а ночью голова осаждалась толчками, каким-то странным перебиранием, подергиванием, какими-то приливами и отливами... Нравственное мое состояние доходило то до полного упадка воли и характера, то возвышалось до мужественной борьбы с природою. Мысль о смерти стояла передо мной неотступно. К этому присоединялись еще какие-то суеверные приметы, которые сильно меня тревожили. Очевидно, вся моя нервная система была потрясена. Так говорили и оба доктора — ‹И.-Г.› Вальц и Здекауер, которого призвали на совещание. Между тем неминуемой опасности в моем положении не находили. Однако полное восстановление сил врачи обещают только летом, при совершенном отсутствии всяких серьезных занятий. Надо ехать или за границу, или в деревню...

6. Суббота. Выздоровление мое плохо подвигается вперед. Я, конечно, чувствую себя лучше, чем месяц тому назад. Но пароксизмы слабости, особенно тоски, и головные

неурядицы почти те же самые. Однако я понемногу приступаю к занятиям.

7. Воскресенье. Вчера был в заседании Главного управления цензуры и два часа выдержал хорошо. Но в заключение все-таки я попросил позволения удалиться, так как дела было много и заседание обещало затянуться. Я ходил в заседание и назад пешком. Мороз в 20°, но день прекрасный, тихий и светлый.

Странный, в самом деле, человек ‹К. В.› Чевкин. Он так свирепствует против литературы, что даже Панина далеко оставляет за собой. В последнем заседании Главного управления цензуры, например, читано было его отношение к министру с такими замечаниями на какую-то статью о железных дорогах, которые (то есть замечания) всем членам до единого показались противными здравому смыслу,— каковы они и есть в действительности. Разумеется, их отвергли и положили представить государю, так как в законе сказано, что в случае разногласия управления с каким-либо министром оно просит разрешения у его величества.

Мое мнение о нераздробимости цензуры положено внести в общую записку.

Глухой ‹барон Н. В.› Медем что-то толковал о неприкосновенности самодержавия. Его никто не слушал, так как он не слышал никого.

Вообще для литературы настала эпоха весьма неблагоприятная. Главное, государь сильно против нее вооружен.

Министр объяснялся со мной откровенно и выразил мысль, что в Главном управлении литература вряд ли найдет других защитников, кроме него самого, меня и Делянова.

Доклад министра государю о преобразовании цензуры с начала до конца не иное что, как умная и благородная апология литературы. Государь утвердил этот доклад, и он был прочитан в первом заседании как выражение принципа, которому цензура должна следовать. Нет сомнения, однако, что ему не последуют.

9. Вторник. Вот и билет на похороны Ростовцева, который умер в субботу в семь часов утра Сегодня его хоронят. Государь сам закрыл ему глаза. Он, говорят, изъявил скорбь свою тяжкими рыданиями. Этою смертью глубоко опечалены все, кроме врагов освобождения крестьян. Конечно, это лучшее надгробное слово Ростовцеву.

Жизнь ценим мы высоко по инстинкту, который питает непреодолимое отвращение к смерти. Но должны ли мы ценить жизнь так по разуму? Неужели голос разума не должен иметь никакой силы в решениях, касающихся наших понятий, наших убеждений и взглядов? Если инстинкт имеет свои права, то имеет их и разум, который также составляет часть нашего существа. А что же говорит разум? Он говорит, что вещь, которой мы должны необходимо лишиться и которой можем лишиться ежеминутно, вещь столь преходящая и ненадежная, — не заслуживает цены, какую мы ей даем. Люди храбрые так обыкновенно о ней и думают. Трусы трепещут от одной мысли ее лишиться.

Но с разумом сообразно питать высокие верования в разумное домостроительство жизни, в божественное мироуправление и мирохранение. В таком случае еще меньше причин сокрушаться о жизни.

10. Среда. Невыразимо тяжки эти моменты неопределенной тоски, которые постоянно посещают меня во время моей болезни...

11. Четверг. Действительно, в жизни так много эфемерного и разочаровывающего, что давать ей высокую цену становится почти смешным в глазах рассудка. В самом деле, все люди с высшим призванием немного давали ей цены, так немного, что идею свою всегда ставили выше ее. Не значит ли это, однако, что кисел виноград? Нет, я по крайней мере нахожу, что в ней много прекрасного, особенно много прекрасного в деятельности мысли, в возвышенном и светлом воззрении на природу, в некоторых привязанностях сердца, в самом сознании, что живешь и действуешь. Но быстрота, с которой она все приносит и уносит, зыбкость и ненадежность почвы, на которой она движется, какая-то случайность ее даров и ее лишений делают ее чем-то очень похожим на мечту, на сновидение, даже на насмешку над нашими стремлениями, желаниями и надеждами, так что слишком серьезная к ней привязанность, излишние заботы о ней и страх ее потерять становятся в свою очередь чем-то смешным, малодушным, непростительным, по крайней мере для человека с умом и характером.

15. Понедельник. Сегодня я встал с головной болью, но в то же время чувствую какую-то особенную энергию в душе. Может быть, и это болезненное, нервическое состояние? Как бы то ни было, а это недурно. Назло этим пре-

следованиям болезни я отправляюсь в заседание Главного управления цензуры к 12 часам. Так солдат, раненный в битве, перевязав кое-как свою рану, снова спешит на бой.

Все-таки не досидел до конца. В Главном управлении цензуры занимались не важными делами. Мне отдали для прочтения мнение ‹О. А.› Пржецлавского о гласности — такого свойства, по словам Делянова, что если ему последовать, сделается решительно невозможным в литературе какое-либо мнение о делах общественных. Вообще этот господин заявляет себя отъявленным поборником тьмы и безгласия.

Вечером пришел Марк ‹Любощинский› и сообщил мне новость, что на место Ростовцева по крестьянскому делу назначен граф Панин. Это назначение поразило как громом всех друзей свободы и улучшений. Образ мыслей графа Панина известен. Он постоянно противодействовал всякому успеху умственному, вещественному, юридическому и вообще всякому. Его привыкли считать первым на поприще тьмы, безгласия. безнравия и прочих подобных прекрасных дел. Как же он будет вести себя там, где требуется именно все противное его прежним понятиям и деяниям?

Нельзя не признаться, что с Ростовцевым погибло для нас много прекрасного. Это общее убеждение. Враги добра и мысли, видимо, поднимают головы. Бедное мое отечество! Так шатки все благие начинания в тебе! Стоит сойти с поприща одному человеку, чтобы все опять отодвинулось назад.

17. Среда. Опыт вечернего выезда. Был в заседании Общества пособия нуждающимся литераторам до 10 часов. Опыт почти удался.

20. Суббота. Заседание в Главном управлении цензуры. Я выдержал его до конца хорошо и возвратился домой без особенной усталости. Говорил Пржецлавскому, что я совершенно несогласен с его мнением о гласности, которое в самом деле считаю неблагородным и неумным; но написано оно гладко. У меня с Пржецлавским завязался горячий спор, в котором принял участие и Делянов, разумеется, поддерживая меня. Но так как это пока было еще только частное прение, которое не повело бы ни к какому решению, то я прекратил его, объявив, однако, всему собранию, что представлю письменное возражение.

23. Вторник. Читал в первый раз после болезни лекцию в университете, то есть после трех месяцев, и я с некоторым страхом приступил к этому опыту. Дело обошлось, однако, хорошо. Я прочел лекцию довольно живо и без особенной усталости.

Вчера вечером, в 7 часов, был на публичной лекции О. Ф. Миллера, которую он читал о Шиллере. Потом я сделал Миллеру свои замечания, которыми он и обещал воспользоваться. [95]

27. Суббота. Заседание в Главном управлении цензуры от 12 почти до 4 часов. Я храбро высидел его до конца, принимал участие в прениях, читал свой доклад, но домой вернулся усталый и с головной болью.

29. Понедельник. И все-таки я не могу расстаться с мыслью, что среди всей этой страшной путаницы, неурядицы и бестолковщины человеческой жизни есть что-то доброе, разумное, примиряющее и покоящееся на прочных основах — и что это что-то заключается в едином, всеобъемлющем, всесовершенном существе, которое имеет и желание и власть исправлять недостатки и несовершенства вещей... Я не могу объяснить себе, как это возможно; но еще гораздо менее могу понять, как это может быть невозможным. Это, конечно, не ясное понятие, не аксиома разумного ведения — это только верование. Но верования так же нельзя выкинуть из экономии человеческой природы, как и мысли.

Бывают состояния человеческой жизни, когда человек совершенно лишается всякой возможности управлять своей судьбой, когда он блуждает во мраке, не зная, куда направить шаги свои и что ожидает его в двух шагах от него. Тут ничего более не остается, как отдать всего себя текущему мгновению, не удручая себя мыслью о будущем, которая становится мучительною, когда ее нельзя утвердить на основательном предположении или верной надежде.

Я теперь нахожусь точно в таком же положении, как человек, попавший под суд. Дело его тянется, а он все сидит в тюрьме и не знает, чем оно кончится, к чему его приговорят, или не простят ли его, вменив ему в наказание выдержанное им заключение и разные истязания, им уже претерпенные.

Март 1. Вторник. Болезни не прекращаются в моем доме. Как только поправится один член семьи, заболевает

другой. Вся нынешняя зима досталась нам на то, чтобы отбиваться ежедневно от страданий. Особенно сильно напугал меня племянник, опасно болевший скарлатиной.

Так называемые радости суть призраки. Одни страдания серьезны и существенны.

В судьбе человеческой так много нелепого, или, лучше сказать, так все нелепо, что разум, желающий это объяснить, должен прийти в отчаяние. Вот почему необходимы верования, которые, конечно, не решают вопроса о человеке и не разъясняют ничего о нем, но делают ненужным это решение и изъяснение.

Из всего смешного в человеке самое смешное — гордость. Положим, что в отношении к способностям он превосходит все другие существа на земле. Но в отношении к своей судьбе чем же он выше какого-нибудь комара, которого каждое дуновение ветра может обратить в ничто?

3. Четверг. Вчера вечером заседание в комитете Общества пособия нуждающимся литераторам. Спор с Кавелиным о способе выбора в члены. Я отвергал право комитета входить в разбирательство поведения и нравственности кандидатов, что превращает его в какую-то цензуру morum. * Кавелин защищал противное. Я требовал безмолвной подачи голосов. Наконец согласились, чтобы в случае сомнения отлагать баллотировку на следующее заседание. Так как мое мнение было таким образом принято, то я уже не читал заготовленной мною записки из чувства деликатности, может быть, и излишнего. Кавелин большой либерал: он допускает и проповедует докрасна свободу с правом беспрекословного повиновения его мнению.

4. Пятница. У Чернышевского есть ум, дарование, но, к сожалению, то и другое затемнено у него крайнею нетерпимостью. Он, на беду себе, считает себя первым умником и публицистом в Европе.

Не распускайся в бесплодных жалобах о том, что есть, а лучше думай о том, как бы притупить по возможности жало того, что есть. Все-таки это лучше, чем усиливать зло усиленным ощущением его.

9. Среда. Утром был у ‹В. Ф.› Адлерберга-старика. Говорено было о театральном комитете. Граф выразил сомнение в его пользе, а я защищал его, но соглашался с графом в необходимости произвести некоторые перемены в его

* Нравов *(лат.)*. — *Ред.*

составе, а главное — удалить от председательства ‹С. П.› Жихарева. Комитет необходимо от него освободить, так думает граф и намерен это сделать. Граф был очень приветлив и дружелюбен.

10. Четверг. Мороз около 10° и сильный ветер. Вот начало нашей весны.

11. Пятница. Доктора требуют, чтобы я непременно ехал за границу. Это мне мало улыбается. Я предпочел бы ехать в деревню, но врачи и слышать об этом не хотят.

13. Воскресенье. Подал министру просьбу об увольнении меня за границу в отпуск на четыре месяца, с 15 мая по 15 сентября.

Министр был очень ласков и откровенен. Жалобы на неблагоприятные поступки Пржецлавского, который действует разными интригами в пользу своей записки против гласности, так как ему становится очевидным, что он встретит сильную оппозицию в Главном управлении.

14. Понедельник. Поутру лекция в университете, вечером заседание в комитете Общества для пособия нуждающимся литераторам. Предложил оказать пособие семейству Талызина. Мне поручено навести справки.

15. Вторник. В университете читал лекцию живо, успешно и без усталости. Оттуда ездил навести справки о Талызиных, чтобы в следующем заседании окончательно испросить им пенсион. Я действительно нашел их вполне заслуживающими покровительства Общества.

17. Четверг. Вчера простился с благородным, добрым другом моим В. И. Барановским, который навсегда оставляет Петербург. Грустная, очень грустная разлука.

В молодости человек живет почти исключительно инстинктами, живет как животное высшего разряда. В возрасте зрелом он начинает жить больше по разуму, самостоятельнее, человечнее. Но от этого он не живет счастливее.

19. Суббота. Заседание в Главном управлении цензуры. У некоторых господ есть искусство возбуждать такие вопросы, которые, не быв возбуждены, прошли бы совершенно незамеченными, но которые, раз поднятые, уже требуют решения, а решения эти часто бывают стеснительными. Вот, например, в сегодняшнем заседании барон Медем возбудил один из таких вопросов. Между тем с ним объясняться нет никакой возможности: он так глух,

что все, что можно, это только сказать ему несколько слов в трубу. И при этом он очень упрям.

Профессор ‹П. Д.› Калмыков умер. Один из лучших наших ученых и благородный человек! Он долго и много страдал. Недели полторы тому назад ему отрезали ноги, чтобы остановить распространение какого-то сухого антонова огня. Это не спасло бедного. Он и мне был добрым, любящим товарищем.

24. Четверг. С 12 часов до 4-х на экзамене в Аудиторском училище. Я не мог туда не поехать по старым воспоминаниям, хотя все эти дни мне опять сильнее нездоровилось.

Уметь воздерживаться от некоторых мыслей столь же необходимо, как уметь воздерживаться от вредных снедей и напитков.

Меня неотступно преследует мысль о ничтожестве человеческом, пропитанная горечью и иронией. Мысль эта всегда была мне присуща, но во время моей болезни особенно развилась. Как бы ни было в ней много справедливого, ей, однако, следует положить предел, потому что и она такое же ничтожество, как и все прочее в человеке. Не надо отнимать силы у инстинктов жизни.

Заседание в Главном управлении цензуры. Управление сегодня было решительно в свирепом расположении духа: оно присудило цензора ‹А. Н.› Драшусова к увольнению от должности, а редактора «Светоча» ‹Д. И.› Калиновского определило предать суду.[96] Первый подвергся остракизму по докладу члена ‹А. Г.› Тройницкого, который открыл многие его промахи в «Московском вестнике» и в «Развлечении». Граф Адлерберг, Тимашев и Пржецлавский, особенно последний, требовали, чтобы бедный Драшусов был формально отрешен. Но я, Муханов и министр воспротивились этому, и по нашему настоянию решено было по крайней мере отнестись к председателю Московского цензурного комитета, чтобы он посоветовал Драшусову подать просьбу об отставке. Я сильно поспорил с Пржецлавским: этот господин дышит ненавистью ко всякой мысли и вообще к печати, и он предлагал самые жесткие меры. Его поддерживал Тимашев. Я сказал ему: «Не думайте действовать террором. Ни правительственный, ни другой какой террор никогда не приводили к добру». Хуже всех Пржецлавский. Он, очевидно, добивается какого-то значения. А впрочем, черт его знает: он поляк и, может

быть, хочет гадить и самому правительству, клоня его к предосудительной жесткости. *

27. *Воскресенье*. В час собрание Общества для пособия литераторам. Прочитан был отчет, выбрано несколько новых членов, а потом мы, то есть члены комитета, пошли к фотографу Кучаеву, который просил у нас позволения снять с нас портреты в группе. Я противился этому. Мне вообще не нравится какое бы то ни было добивание популярности, показывание себя, что составляет одну из болезней нашего времени. Но на этот раз я не мог без обиды товарищам уклониться, как я уже не раз уклонялся в подобных случаях, от изображения меня между академиками, между литераторами, чтобы портрет мой не торчал в окнах магазинов.

Вчера был публичный диспут между профессорами Костомаровым и Погодиным. Один защищал происхождение Руси из Литвы (Жмуди), другой — из Скандинавии. Диспут происходил в большой университетской зале, и народу собралось великое множество. Студенты разражались неистовыми рукоплесканиями, преимущественно в честь Костомарова.

Какая в этом споре животворная истина? Никакой. Но тут было зрелище, и толпа собралась. Нехорошо, что брали с нее деньги. Положим, что это в пользу нуждающихся студентов. Но, право, нехорошо ш т у к а м и возбуждать общественную благотворительность в их пользу, да еще в стенах университета. Говорят, хорошо, что публика делается участницей умственных интересов. Да разве это участие в умственных интересах? Тут просто зрелище, своего рода упражнение в эквилибристике. По поводу этого диспута князь ‹П. А.› Вяземский разрешился следующей удачной остротой: «Прежде мы не знали, к у д а идем, а теперь не знаем и о т к у д а». [97]

Вчера министр мне объявил, что государь согласен на мой отпуск. Кроме того, министр хлопочет о выдаче мне пособия.

28. *Понедельник*. Заседание в комитете Общества для пособия нуждающимся литераторам и ученым. Просил о назначении пенсии дочерям Талызина в 250 рублей, не менее. Комитет утвердил это.

* После подвигов Огрызко все кажется возможным. — *Примечание А. Никитенко.*

Кавелина можно определить следующими словами: это милый, способный, но взбалмошный юноша. Странно, как распределяются природою способности у людей! Кавелин, бесспорно, очень даровитый человек, а между тем в уме его чего-то нехватает. Он часто судит ни здраво, ни точно. Он вечно увлекается, но не столько страстностью своей натуры, сколько неспособностью останавливаться и углубляться в вещи. Он гордится, повидимому, тем, что не отстает от времени, а между тем не замечает, что ветер времени гонит его, как щепку, и бросает со стороны в сторону. Ему непременно хочется быть первым между так называемыми передовыми нашими людьми — и он готов шуметь, скакать, волноваться и волновать других, чтобы только его заметили. Кавелину, подобно многим из наших передовых людей, кажется, что он подвизается единственно за истину, за право, за свободу, — а он подвизается в то же время, и чуть ли не больше всего, за свою популярность. Мы крайне незрелы во многом еще, особенно незрелы характером. Нас беспрестанно увлекают чужие примеры. Нам мешают спать репутации героев европейской истории. Мы чувствуем в себе потребность служить отечеству, но не столько заботимся о том, чтобы действительно для него что-нибудь сделать, сколько о том, чтобы казаться сделавшими. Обидно, что на такие размышления наводят даже люди, подобные Кавелину, — богато одаренные природой, но не вырабатывающие в себе характера.

29. Вторник. Лет пять или шесть тому назад Гончаров прочитал Тургеневу план своего романа («Художник»). Когда последний напечатал свое «Дворянское гнездо», то Гончаров заметил в некоторых местах сходство с тем, что было у него в программе его романа; в нем родилось подозрение, что Тургенев заимствовал у него эти места, о чем он и объявил автору «Дворянского гнезда». На это Тургенев отвечал ему письмом, что он, конечно, не думал заимствовать у него что-нибудь умышленно; но как некоторые подробности сделали на него глубокое впечатление, то немудрено, что они могли у него повториться бессознательно в его повести. Это добродушное признание сделалось поводом большой истории. В подозрительном, жестком, себялюбивом и вместе лукавом характере Гончарова закрепилась мысль, что Тургенев с намерением заимствовал у него чуть не все или по крайней мере главное, что он обокрал его. Об этом он с горечью говорил некоторым литераторам,

также мне. Я старался ему доказать, что если Тургенев и заимствовал у него что-нибудь, то его это не должно столько огорчать, — таланты их так различны, что никому в голову не придет называть одного из них подражателем другого, и когда роман Гончарова выйдет в свет, то, конечно, его не упрекнут в этом. В нынешнем году вышла повесть Тургенева «Накануне». Взглянув на нее предубежденными уже очами, Гончаров нашел и в ней сходство со своей программой и решительно взбесился. Он написал Тургеневу ироническое странное письмо, которое этот оставил без внимания. Встретясь на днях с Дудышкиным и узнав от него, что он идет обедать к Тургеневу, он грубо и злобно сказал ему: «Скажите Тургеневу, что он обеды задает на мои деньги» (Тургенев получил за свою повесть от «Русского вестника» 4000 р.). Дудышкин, видя человека, решительно потерявшего голову, должен был бы поступить осторожнее; но он буквально передал слова Гончарова Тургеневу. Разумеется, это должно было в последнем переполнить меру терпения. Тургенев написал Гончарову весьма серьезное письмо, назвал его слова клеветой и требовал объяснения в присутствии избранных обоими доверенных лиц; в противном случае угрожал ему дуэлью. Впрочем, это не была какая-нибудь фатская угроза, а последнее слово умного, мягкого, но жестоко оскорбленного человека. По соглашению обоюдному, избраны были посредниками и свидетелями при предстоящем объяснении: Анненков, Дружинин, Дудышкин и я. Сегодня в час пополудни и происходило это знаменитое объяснение. Тургенев был видимо взволнован, однако весьма ясно, просто и без малейших порывов гнева, хотя не без прискорбия, изложил весь ход дела, на что Гончаров отвечал как-то смутно и неудовлетворительно. Приводимые им места сходства в повести «Накануне» и в своей программе мало убеждали в его пользу, так что победа явно склонилась на сторону Тургенева, и оказалось, что Гончаров был увлечен, как он сам выразился, своим мнительным характером и преувеличил вещи. Затем Тургенев объявил, что всякие дружественные отношения между им и г. Гончаровым отныне прекращены, и удалился. Самое важное, чего мы боялись, это были слова Гончарова, переданные Дудышкиным; но как Гончаров признал их сам за нелепые и сказанные без намерения и не в том смысле, какой можно в них видеть, ради одной шутки, впрочем, по его собственному признанию, недели-

катной и грубой, а Дудышкин выразил, что он не был уполномочен сказавшим их передать Тургеневу, то мы торжественно провозгласили слова эти как бы не существовавшими, чем самый важный casus belli * был отстранен. Вообще надобно признаться, что мой друг Иван Александрович в этой истории играл роль не очень завидную; он показал себя каким-то раздражительным, крайне необстоятельным и грубым человеком, тогда как Тургенев вообще, особенно во время этого объяснения, без сомнения для него тягостного, вел себя с большим достоинством, тактом, изяществом и какой-то особенной грацией, свойственной людям порядочным высоко образованного общества. [98]

30. Среда. Получил официальную бумагу от министра об увольнении меня в отпуск за границу на четыре месяца для излечения болезни и с выдачею мне пособия взамен жалованья, вычитаемого по Главному управлению цензуры и по университету.

31. Четверг. Справлялся по почте о пароходах. Расписание рейсов еще не сделано, к 7 апреля оно будет готово.

Апрель 3. Воскресенье, день пасхи. Во всю мою жизнь я, может быть, раз пять, и то по независящим от меня причинам, не присутствовал на заутрене и обедне этого праздника. Я люблю эту величественную драму-мистерию, темою которой служит отрадная, глубокая идея возрождения. Самая торжественность и пышность этой драмы, какими облекает ее наша церковь, вполне соответствует значению идеи. Одно меня только часто приводило в негодование — это небрежность, с какою она большею частью разыгрывается в наших церквах. Попы, что называется, отхватывают заутреню и обедню, искажая их торопливым безучастным исполнением. Присутствующие заодно с ними не знают, кажется, как дождаться конца. Никто не одушевлен, не проникнут истинною, великою поэзиею этого священнодействия, в котором под изящными символами дух человеческий отыскивает и приветствует свою будущность, затерянную в бурных тревогах и превратностях существующего порядка вещей.

На этот раз я побоялся ехать в церковь: меня пугала страшная духота в ней и выход на холод, где, еще полубольной, я легко мог встретиться с простудой, которая уж очень не ладит с идеей жизни, так радостно звучащей в

* Повод к раздорам (*лат.*). — *Ред.*

словах: «Христос воскресе!». Моя семья отправилась в церковь без меня, а я остался дома с ‹И. К.› Гебгардтом старшим и встретил праздник чтением в евангелии величественно-простодушного повествования о том, как воскрес Христос.

4. Понедельник. Нельзя обязывать людей ни к чему более того, что мы сами в состоянии сделать.

Никто не бывает совершенен, даже из тех, которые требуют совершенства от других.

5. Вторник. Был кое у кого с визитами. Вечером в семь часов гулял пешком около часу; время превосходное. Весь март был довольно хорош, а особенно последние дни его и первые апрельские залиты сиянием солнца. Тепла от 4 до 6°. Я с трудом хожу в моей шубе, которую доктор не велел скидывать до вскрытия Невы.

7. Четверг. День тихий и теплый. Нева прошла. Вечером, около пяти часов, была значительная гроза и дождь.

Я записался в почтамте на пароход «Владимир» в Штеттин на 14 мая. Итак, это решено: отсюда все колебания и нерешимости прочь.

9. Суббота. Мы вздумали переменить 14 число на 7-е. Я получил и билеты, уже только не на «Владимир», а на «Орел». За четыре с половиною места во втором разряде и за одно в третьем я заплатил 190 руб. 75 коп.

10. Воскресенье. Отец мой обыкновенно говаривал при какой-нибудь новой неожиданной беде: «Это для того, чтобы ни один род бедствий не оставался для меня чуждым». Действительно это была какая-то его привилегия. Я могу сказать то же о себе, начиная с прошлого ноября месяца. Все это время болезни, одна тяжеле другой, не переводились в моей семье. Бремя страданий постоянно перекладывалось в ней с одних плеч на другие. Разумеется, глупо говорить тут о судьбе или о чем-нибудь подобном. Все это игра случайностей, проистекающая из нищеты нашей природы и условий жизни, среди которых она зыблется.

13. Среда. Сегодня в первый раз вздохнул полегче: моим больным лучше.

Надо отличать в людях пороки темперамента от пороков, проистекающих из нашего высокого мнения о самих себе, от пороков, порождаемых умственным высокомерием. Люди, одержимые первыми, заслуживают сожаления;

но вторые невольно возбуждают чувство отвращения или, скорее, презрения.

Говорят, что энергия всегда совпадает с самонадеянностью: силе свойственно впадать в преувеличения. Неужели энергия должна уменьшаться по мере того, как человек начинает приобретать более зрелые и верные понятия о самом себе, о людях, о мире и об отношениях своих к ним? Неужели же сила исключает истину? Мне кажется, что это скорее недостаток человеческого образования, чем закон.

14. Четверг. Спектакль в пользу Общества для пособия нуждающимся литераторам. Игран был «Ревизор». Писемский играл городничего. Пьеса шла неблистательно, но денег собрано много. Все места почти были заняты. Мы, члены комитета, распоряжались спектаклем как хозяева. Я пробыл там до 11 часов и возвратился домой, не почувствовав нимало усталости, несмотря на то, что почти все время пробыл на ногах. [99]

Спектакль посетил великий князь Константин Николаевич.

Там встретился со мной ‹Н. Ф.› Павлов и разразился в ужасных жалобах на председателя московской цензуры ‹М. П.› Щербинина.

16. Суббота. Заседание в Главном управлении цензуры. У меня разбаливаться начала от него голова, потому что оно продолжалось с 12 часов до 4-х. Важного, впрочем, ничего не было. Граф ‹А. В.› Адлерберг приехал поздно, но все-таки нашел довольно времени, чтобы напасть с ожесточением на некоторые фразы из читаемых статей. С некоторого времени он выражает самые претительные мысли, что считают за отголосок мнений государя.

21. Четверг. Вечером у Ребиндера. Там был один из депутатов по крестьянскому делу и Струговщиков. Первый рассказывал странные вещи о графе Панине и его деяниях по комитету, между прочим о том, как граф сделал рисунок для стола, за которым должны заседать члены, считая это весьма важным делом. С другим у меня завязался спор о достоинствах некоторого лица. Струговщиков обыкновенно вдохновляется кем-нибудь из самых ярых либералов — в данную минуту ‹В. А.› Кокоревым, у которого занимает деньги и, вероятно, потому считает его величайшим гением русской земли. Я, однакож, поступил нехорошо, вдаваясь слишком серьезно в прения с человеком, которому в сущности нет дела до настоящего смысла и значения вещей.

Надо действовать так, чтобы правительство само помогало реформам, потому что без помощи его мы не можем их делать, но вместо того мы его дразним — и для чего? Для того, что нашему самолюбию приятно выставлять себя единственными виновниками всего хорошего.

22. *Пятница.* Экзамен IV курса в университете. Вечером был в спектакле, который давался в пользу нашего Общества.

23. *Суббота.* До сегодняшнего дня погода весь апрель стояла прекрасная. Вчера еще было светло, хотя довольно холодно, а сегодня мокрый снег с дождем и всего $3^1/_2^\circ$ тепла.

Большой раут у Егора Петровича Кавалевского. Тут было несколько министров: ‹А. М.› Горчаков, министр народного просвещения, министр финансов. несколько литераторов, дам и пр. Делалось, что обыкновенно делается на этих вечерах, — разговаривали, друг другу кадили, ели сласти, пили чай. Я возвратился домой часов в двенадцать, пешком. Гончаров довел меня до Литейной.

Талейран говорил, что слово дано нам, чтобы скрывать наши мысли. К этому можно прибавить, что ум дан нам, кажется, для того, чтобы нас обманывать.

Я вышел из рядов народа. Я плебей с головы до ног, но я не допускаю мысли, что хорошо дать народу власть. На земле не может быть ни всеобщего довольства, ни всеобщего образования, ни всеобщей добродетели. Из многих всегда будут выделяться некоторые с перевесом того, чего недостает другим. Массе никогда не будет доставать тех элементов, которые делают власть справедливою, мудрою, просвещенною, — и она по необходимости или употребит ее во зло, или передаст ее в руки одного и, таким образом, неизбежно приведет к деспотизму. Народ должен быть управляем, а не управлять. Но он должен иметь право предъявлять свои нужды, указывать правительству на пороки и злоупотребления тех лиц, которые поставлены для охранения и исполнения законов. Но изобретать меры и постановлять решения он не должен: ему для этого недостает ни времени, ни просвещения. Однако из этого вовсе не следует, чтобы я признавал первенство за аристократией. Немногие или некоторые, которые занимаются делами управления, должны получать власть по праву избрания, а не по праву привилегий или каких-либо других случайностей, и никому из народа не должен быть прегражден

путь к власти, если он достоин ее по своим дарованиям и образованию.

30. Суббота. Взял вчера паспорты за границу.

Если вы раздражаетесь, то откажитесь от претензий руководить и управлять другими.

Заседание в Главном управлении цензуры. Жаркие прения по поводу статьи ‹К. К.› Арсеньева о необходимости гласного судопроизводства. Пржецлавский, разумеется, был против этой статьи, с ним заодно ‹А. А.› Берте. Но все прочие были за напечатание статьи, не исключая Тимашева и Муханова.

Май 1. Воскресенье. Холод. Прощальные визиты графу Блудову, ‹А. М.› Княжевичу, Делянову и Муханову.

2. Понедельник. Отвратительный холод, так что я раскаивался, что не надел сегодня шубы. Вот приятный спутник собирающимся в путь-дорогу, особенно морем. Меня пугают холодом, советуют взять шубы. Поутру неприятный, как холод, экзамен в Римско-католической академии. Вечером заседание в комитете для пособия нуждающимся литераторам. Бездна хлопот перед отъездом.

6. Пятница. Сборы, суматоха и скука. И все это делается без доверия к будущему и с досадою, зачем делается. Я предпочел бы, например, поездку в деревню, что меньше стоило бы и денег, и времени, и усилий.

Но полно. Мужество состоит в том, чтобы уже не колебаться, ступив на путь. Итак, вперед, по крайней мере с решимостью и свободою духа, если не с доверием к судьбе.

Между прочим вчера случилась некоторая неприятность: из мешка с золотом, которое приготовлено для дороги и разложено в пачках, мы не досчитываемся пачки с 20 полуимпериалами. Есть сильный повод подозревать лакея Осипа, но настоящих улик нет, да и некогда делать разыскания. Приходится забыть эту потерю, хотя 20 полуимпериалов для меня не пустая вещь. Надо утешать себя и тем, что бездельник, присвоивший себе эту сумму, мог бы присвоить и гораздо больше и посадить меня, как говорится, совсем на мель.

А теперь, листки эти, ступайте в портфель до Берлина.

7. Суббота. В час мы на Английской набережной простились с провожавшими нас знакомыми и отправились в Кронштадт, где на рейде пересели на пароход «Прусский Орел», на котором и должны плыть в Штеттин. В шесть

часов вечера пароход снялся с якоря, и мы понеслись по волнам Финского залива. Погода была прекрасная и сопровождала нас до самого Штеттина. На другой день, то есть в воскресенье, я уже мог любоваться величественным зрелищем открытого беспредельного моря. Зрелище действительно величественное — без всякого излишества, восторгов и сентиментальностей. Море слегка рябило волнами, и только под колесами парохода оно сердито шумело, слегка вздувалось и рассыпалось серебристой пеной. Ветер был противный, и поэтому мы шли на парах. Иногда он, повидимому, переменял направление, и тогда тотчас ставили паруса. Я с семейством большею частью сидел за кормою, где мы были защищены от ветра. С нами ехал Гончаров. Вообще общество на пароходе было порядочное. Мы не замедлили сблизиться с генералом ‹Ф. Г.› Шульманом и его женой и с премилою дамою А. В. Вилламовою.

Пароход хорошо устроен. Все на нем опрятно и порядочно. Одно только дурно: на него было принято много сверхкомплектных пассажиров, и оттого в общей каюте стояла ужасная теснота, особенно во время обеда и ночью, когда все сверхкомплектные собирались сюда. Спать им предоставлялось где попало. Иные успевали захватить себе место на диване, остальные располагались на полу, чуть не друг на друге. Койки все до одной были заняты. Мне досталась койка внизу, а семья моя заняла весь небольшой уголок на женской половине. Не обходилось и без комических сцен. Один пожилой немец никак не мог помириться с своим сверхкомплектным положением и самым бесцеремонным образом забирался в первую койку, хозяин которой еще не успевал в нее улечься. Но вот хозяин возвращается и, ничего не подозревая, собирается занять свое ложе, а оно уже занято, и на него оттуда выглядывает чья-то умильно улыбающаяся рожа, и чья-то голова в ночном колпаке приветливо ему кивает. Нет возможности не рассмеяться; он так и делает. А злополучный сверхкомплектный пассажир при первом же требовании настоящего хозяина койки беспрекословно, с изысканной любезностью уступает ему место и идет дальше искать другое, еще незанятое, ложе. Повторяется та же сцена — и так в течение всей ночи. Я прозвал этого пассажира кукушкой и с любопытством следил за невозмутимо-добродушным упорством, с каким он посягал на чужие места и которое не изменило ему до самого Штеттина.

Обед подавался в три часа и очень хороший.

Первые места отличались от наших вторых прекрасно устроенною галереею на палубе, куда сходились обедать пассажиры обоих классов. Сперва теснота наших кают и койки, висящие по сторонам как птичьи гнезда, сделали на меня неприятное впечатление, но я скоро к этому привык.

В понедельник к вечеру, когда мы поровнялись с островом Гогландом, начало покачивать. Многих из дам и мужчин также немедленно укачало. Но мы храбро держались. Я не испытывал ни малейшего неприятного ощущения, напротив, был бодр, весел и так здоров, как уже давно себя не чувствовал. Ночь с понедельника я почти всю провел на палубе, где трудно было ходить от качки.

В шесть часов утра во вторник мы были уже в Свинемюнде, а в девять и в Штеттине. В Свинемюнде нас на пароходе осматривали таможенные — весьма учтиво и без придирок. Мы объявили, что везем с собой несколько фунтов чаю, за что и заплатили ничтожную пошлину. В Штеттине мы пробыли до двух часов, а в четыре приехали в Берлин.

Дорога от Штеттина до Берлина по однообразной равнине, но мимо часто мелькают деревушки. Переезд из Померании в Бранденбургию заметен тем, что местность вдруг становится скучнее, песчанее и лесистее.

13. Пятница. Ездили с А. В. Вилламовою и Ф. Г. Шульманом в Потсдам, где вторично осматривали то, что видели уже в 1857 году. В Сансуси на этот раз успели только заглянуть, а во дворце совсем не были, потому что там живет сумасшедший король. [100]

15. Воскресенье. Поутру был у ‹Ф.-Т.› Фрерикса, знаменитого берлинского доктора. Он прочитал историю моей болезни, изложенную Вальцем, исследовал меня сам, потом сказал, что болезнь моя — расстройство нервной системы и печени. Вальц отлично меня пользовал, и он, Фрерикс, решительно ничего не имеет прибавить, а советует, как и Вальц, сначала ехать в Киссинген, потом отдыхать в Альпийских горах и в заключение купаться в море.

Вечером прогулка в Шарлоттенбург. Длинная аллея с хорошенькими домиками в Тиргартене привела нас к дворцу, где мы немного погуляли в саду. Был сильный холод с дождем.

16. Понедельник. В семь часов утра оставили Берлин и в двенадцать прибыли в Дрезден. Остановились в отеле

«Франкфурт», рекомендованном нам Гончаровым, который уже тут нас дожидался. Отель не роскошный, но хозяин очень усердный и услужливый. Придется остаться тут, пока приищем квартиру для детей.

17. Вторник. Погода ужасная. Беспрерывный дождь с таким холодным, пронзительным ветром, какой и в Петербурге редко бывает в мае.

19. Четверг. Ездили в Пильниц к госпоже Бульмеринг, чтобы посоветоваться с нею насчет пребывания моей семьи в Дрездене на время моей поездки в Киссинген и в Швейцарию. Туда ехали мы по правому берегу Эльбы, среди богатых нив, сквозь почти непрерывный ряд деревенек, а оттуда возвращались левым подгорным берегом. Что за прелестные места — сады, парки, рощи, скаты гор, деревеньки, дачи! Путь наш окончился Шиллеровою улицею с великолепной каштановой аллеею, врезывающеюся в самый город. Посреди улицы статуя Шиллера, против того домика, где он жил со своим другом Вернером. Тут был и центр торжества, происходившего в прошлом году в честь Шиллера. [101]

22. Воскресенье. Дни проводим в приискании квартиры и прогулках по городу с Гончаровым, который одержим неистовою страстью бродить по городу и покупать в магазинах разные ненужные вещи. Мы перепробовали с ним сигары почти во всех здешних лучших сигарных магазинах.

Чаще всего бываем мы на Брюлевской террасе.

На днях ходили в галерею, где я снова наслаждался созерцанием Сикстинской мадонны.

Сегодня ездили за город в Вальдшлесхен. Чудесные виды. Везде по случаю праздничного дня толпы гуляющего и отдыхающего народа, но все чинно, прилично.

23. Понедельник. Прогулка в Тарант со всей семьей и с Гончаровым в коляске. От самого Дрездена начинается ряд деревень и непрерывно тянется до самого Таранта. Местность, сперва лишь слегка холмистая, вдруг принимает вид горного ущелья, напоминающего виды Саксонской Швейцарии. Самый Тарант прижат в углу к горам. Тут же утес, на котором с одной стороны расположена церковь, а с другой возвышаются развалины какого-то старинного здания, — все это чудо-прекрасно! Резвый поток огибает с одной стороны уголок, где приютилась гостиница, и образует из него маленький полуостров. Уголок этот так свеж,

уютен и мил, что невольно призывает в нем отдохнуть. Так мы и сделали; спросили земляники, молока. К обеду вернулись в Дрезден.

Недаром все путешественники твердят о Таранте и ездят им любоваться. Это одна из приятнейших прогулок в окрестностях Дрездена. Я, к сожалению, мало мог наслаждаться, так как весь день очень дурно себя чувствовал.

Виделся с доктором Вальтером — здешним медицинским светилом. Главная цель моего настоящего свидания с ним было совещание о здоровье детей, которых здесь оставляю. Мое намерение поселить их в Пильнице Вальтер не одобрил, говоря, что Эльба там не так удобна для купанья, как в Дрездене, пониже или немного повыше моста. Обо мне он повторил то же, что говорили Фрерикс и Вальц.

2. Четверг. Переехали на квартиру, которую наняли в Прагерштрассе для детей на время моего отсутствия из Дрездена. Квартира очень миленькая, на конце новой улицы, и расположена так, что находится недалеко от центра города, но в то же время стоит только завернуть за угол налево, как выходишь в поле и в двадцать минут ходьбы достигаешь Гросгартена. В квартире три чистенькие, светлые комнатки в нижнем этаже (по-здешнему партер), кухня, садик, вся мебель, белье столовое и на четыре постели, вся посуда — хозяйские. И за это 25 талеров в месяц. Дом № 16.

31. Вторник. Выехал в Киссинген вместе с женою. Гончаров ехал с нами до Плауена, откуда направился в Мариенбад.

Июнь 1. Среда. Через Лейпциг и Гоф доехали мы по железной дороге до Швейнфурта. Оттуда в мальпосте продолжали путь до Киссингена. Дорога пролегает по живописной местности. В Киссинген мы приехали в семь часов вечера и остановились в «Отеле Сотье».

7. Вторник. Киссинген прелестное местечко. Сегодня после обеда ездили вместе с Шульманами в Боклет, на расстоянии часа езды отсюда. Там тоже минеральный источник, но другого свойства. Место это очень живописно, хотя во многом уступает Киссингену. А посещается оно куда меньше последнего: в настоящее время в нем пребывают и пользуются водами всего семнадцать человек. Мы погуляли там с час, а на возвратном пути нас застиг дождь.

Поутру был у меня граф ‹А. А.› Апраксин и принес мне последний номер «Колокола». В этом номере мало остроумия и правда сильно перемешана с ложью. [102]

8 (20). Среда. Перед обедом сделали сегодня прелестнейшую прогулку к развалинам замка Боденлаубе, на высокой горе вправо от Киссингена. Туда ведет дорожка, довольно отлогая, по здешнему обыкновению обсаженная грушами и яблонями. На ней местами встречаются скамейки, так что можно без малейшего утомления добраться до вершины горы. У подошвы второго выступа ее стоит опрятный домик с садиком — это ресторан. Обогнув его и миновав этот выступ, мы скоро взошли на самую вершину горы, где некогда, говорят, красовался величественный замок. Но теперь тут торчат только грубые каменные обломки, по виду которых трудно определить их первоначальное назначение. Но виды отсюда очаровательны. Все противоположные высоты тут перед вами как на ладони, и между ними чистенький, миловидный Киссинген лежит весь напоказ, точно в корзине зелени и цветов. Взор далеко обнимает беспредельный горизонт, испещренный холмами, лесами, богатыми нивами, виноградниками. Все здесь прекрасно; все производит впечатление довольства и благосостояния.

День хотя серенький, но теплый и без дождя.

12 (24). Воскресенье. После обеда гуляли на ближайшей горе, где в настоящее время на самой вершине рядом с баварским развевается виртембергский флаг в честь королевы виртембергской, которая теперь в Киссингене. Вся эта возвышенность не иное что, как прекрасный парк с отлогими извилистыми дорожками, беседками и скамьями для отдыха гуляющих. Со всех сторон очаровательные виды. Мы обошли всю гору, останавливаясь для отдыха на лучших местах и любуясь живописною местностью и прелестным вечером. В семь часов мы спустились в кургауз, где еще послушали хорошей музыки. Тут было очень тесно. Наехало много новых лиц. Вообще здесь заметен постоянный прилив и отлив их. Они быстро сменяются, как в пестром калейдоскопе. Между прочим познакомился с очень интересным лицом, с бывшим нашим посланником в Константинополе, А. П. Бутеневым.

13 (25). Понедельник. После обеда отправились к развалинам замка Боденлаубе. Было еще довольно жарко, и мы с некоторым трудом, два раза отдыхая, добрались до

ресторана у подошвы скалы с развалинами. Здесь мы отдохнули и отправились обратно по гребню соседней горы к так называемой Голгофе. С этого гребня виден весь Киссинген: долина, по которой извивается шаловливая Саала, каштановая аллея и группы деревьев, среди которых она мелькает, окрестные горы, покрытые лесом с разными оттенками зелени, — все это составляет великолепный ландшафт, обнимаемый одним взглядом. Мы углубились в небольшой сосновый лесок, и нам представились: налево — небольшая часовня, а направо — высокий пьедестал с распятием и скульптурными изображениями лиц, присутствовавших при последних страданиях и кончине Христа. Отсюда дорожка ведет вниз по крутому скату, и с одной стороны ее, в равном друг от друга расстоянии, каменные ниши с скульптурными изображениями разных моментов скорбного пути Иисуса. Надо сказать правду, изображения эти так грубо исполнены, что производят очень неприятное впечатление. Но вот и конец лесу, и последний спуск в долину, к дороге, ведущей в какую-то деревеньку. Что за восхитительный сельский вид открывается здесь на поля и золотистые нивы с обещаниями богатейшей жатвы. Над полями там и сям взвивались жаворонки и наполняли воздух неумолкаемым пением, а иногда слышался и крик моего земляка перепела. Я присел на камень и долго любовался этою мирною, прекрасною картиною, стараясь, однако, обегать взором грубые изображения Христовых страстей.

15 (27). Среда. Читал русские газеты. Мало хорошего. Плутовство и бестолковость наших акционерных обществ; пустота дачных увеселений и т. д.

Письма из Дрездена: слава богу, там все благополучно. Но дурные вести оттуда же от Ребиндера. Жена его быстрыми шагами идет к могиле. Уже послали за священником в Берлин. Жаль мне бедного Ребиндера! Зло предвидено давно, но оно ничем не лучше неожиданного. Это только другая вариация той же темы.

16 (28). Четверг. Вечером, часов около девяти, иллюминация кургауза и фейерверк по случаю завтрашних именин королевы виртембергской (Паулины), которая пользуется здешними водами. Иллюминация при тихом и хорошем вечере была недурна, а фейерверк даже очень хорош.

17 (29). Пятница. Все утро провел с графом Апраксиным, с которым мы как-то сошлись и часто бываем вместе.

Он умен, но, по обыкновению наших аристократов, очень легко образован, на что и сам сильно жалуется и ропщет. У него было три гувернера один за другим, два француза и последний немец. От них он научился курить, волочиться за женщинами; они не передавали ему даже грамматического знания своих языков. Затем он поступил в Пажеский корпус, где тоже не многому научился. Теперь он старается пополнить недостатки своего образования основательным чтением, читает много и серьезные вещи, но чувствует, что под ним нет твердой почвы. Жаль! В этом человеке много элементов, из которых могло бы образоваться что-нибудь очень хорошее. Ум его наклонен к серьезному, дельному, но ему недостает твердых опор. В нем много стремлений к благородной, широкой деятельности. Но за что и как приняться? — он не знает. Его взгляд на самого себя и на современное поколение довольно верен, хотя неутешителен.

Вечером был, по обыкновению, в кургаузе. Завел несколько новых знакомств, и в том числе с вице-президентом с.-петербургской медицинской академии, Иваном Тимофеевичем Глебовым. Все время шел дождь. Но показались две радуги, и одна такая великолепная, какую я редко видел. Я долго любовался ею на лугу за Саалою, прикрывшись зонтиком. Но холодный, северный ветер — родной сын, если не брат, нашего петербургского — прогнал меня домой.

18 (30). Суббота. В кургаузе видел замечательно неприятную физиономию: она принадлежит герцогу ‹Фридриху-Вильгельму› Гессен-Кассельскому, известному немецкому реакционеру. На лице его так и отпечатаны надутое высокомерие, тупость и злость. От него решительно пахнет Неаполем, Бурбонами и пыткою.[103]

Июнь 25 (7 июля). Суббота. Ездили к развалинам замка Тримберг, на расстоянии часа с четвертью езды от Киссингена. Развалины замка очень живописны, но еще живописнее долина, расстилающаяся у подошвы гор, на одной из которых был построен замок. Мы исходили все углы развалин.

Верующая простота невежества в неизбежных скорбях находит свои утешения. Высший ум, может быть не без основания отрицая их, неужели же так и осужден не иметь их? Нет, для него также должны быть свои верования, потому что его логика оказывается бессильною, а нельзя же, чтобы он оставался без всего в самых тяжких обстоятельствах, оставался с одним мрачным, безвыходным отрица-

нием, потому что в конце концов и он же что-нибудь значит. И если эти верования не более, как инстинкты нашей разумной природы, то следует предаться и им. Инстинкты как выражение самого закона и силы вещей благонадежнее и жизненнее наших умозаключений.

Июль 6 (18). Среда. Собираемся ехать из Киссингена. Зашел поутру в кургауз. Толпа новых лиц. Новое поколение ищущих исцеления сменило старое. Попрежнему доктора, стоя под деревьями, исповедуют подходящих к ним по очереди своих пациентов. Попрежнему толпятся сотни людей около источников Ракоци и Пандура, протягивая руки к стаканам с целебною влагою. Попрежнему гремит музыка, как будто в знак веселья, а в сущности — это чистая ложь, потому что каждому тут не до веселья. Я встретил некоторых знакомых: попрежнему те же разговоры, как проведена ночь, сколько кто принял ванн и сколько еще остается принять, и т. д. Попрежнему в аллеях мелькают женщины в необъятных кринолинах. Тщетно думаете вы уловить на их лицах черту действительной грации, прелести: это большею частью или изнуренные страданиями лица, или с поддельным цветом молодости и красоты. Все ложь. Мне стало досадно и грустно. Я поспешил в поле и вышел на голі офскую дорогу. Вот где прекрасное, истинно прекрасное! Нивы покрыты богатою жатвою; яблони, груши и вишневые деревья обременены плодами. Везде пестреют цветы, жужжат насекомые, перекликаются птички, раздается звонкая песнь жаворонка. Крестьянка несет в корзине сочную траву. Волы тянут высоко нагруженный сеном воз. Все здесь говорит о вечной гармонии природы, о невозмутимой радости, довольстве, о благоуспешном благородном труде. Воздух тепел и чист. На горизонте ходят тучки, обещая дождь, который еще больше все оживотворит.

Вот я и уезжаю из Киссингена, а о восстановлении здоровья еще и помину нет. Хочу еще остановиться в Вюрцбурге и, по совету И. Т. Глебова, повидаться с знаменитым тамошним врачом Бамбергом.

В Киссингене мы наняли коляску за семь гульденов и в ней доехали до Швейнфурта к двум часам, выехав в одиннадцать. Дорога приятная. День теплый, хотя с маленьким дождем.

Из Швейнфурта до Вюрцбурга всего час езды. Остановились в отеле «Кронпринц». Вечером виделся с Бамбер-

гом. Советует ехать не к морю, купанье в котором он полагает для меня слишком сильным, а в Ишль и принимать там речные ванны — салины. Он привел меня в колебание, но я, по зрелом размышлении, в заключение решился не изменять первоначальному плану.

Ездили в коляске по городу. Он тесен, с узкими улицами и очень населен. Статуи на мосту, исправительное заведение для женщин, госпиталь, дворец с садом, в котором мы прошлись несколько с попавшимся нам одним русским.

7 (19). Четверг. В половине десятого выехали из Вюрцбурга, а в два часа были во Франкфурте. Остановились в отеле «Англетер».

8 (20). Пятница. Сегодня ездил в Соден. Встретился там с Шульманом и с милым М. И. Сухомлиновым. С последним мы горячо обнялись. День проведен в прогулках по полям и рощам Содена. Жена Сухомлинова очень милая молоденькая женщина и отличная музыкантша. Живут они в хорошеньком уютном домике.

9 (21). Суббота. Ночь провели в Содене, а утром, распростившись с Шульманом и Сухомлиновым, в дилижансе уехали на станцию железной дороги. Сухомлинов особенно горячо встретил и проводил меня, и я душою отдохнул в беседе с ним.

Возвратясь во Франкфурт, мы вечером посетили еще зоологический сад, где было гулянье с весьма порядочною военною музыкою. Сад очень хорош, хотя невелик. Большое собрание птиц, между которыми особенно замечательны водяные птицы тропических стран; четыре прекрасных страуса; много крохотных премиленьких пичужек. Прекрасен вид с террасы на окрестности города. Гуляющих много. Но все просто, прилично, хотя и оживленно. Мы пробыли там до восьми часов. Заплатили за вход по флорину.

Но среди всего этого меня не покидает тоскливое расположение духа. Грустное воспоминание о детях, почти до слез, и горячее желание увидеть их. Опять раздумье: ехать ли в Швейцарию и не лучше ли возвратиться в Дрезден? Соблазн велик, и будь я здесь теперь один, сейчас бы махнул туда. В расположении духа, в каком я нахожусь, какую занимательность для меня будет иметь Швейцария и какая будет польза для здоровья?

10 (22). Воскресенье. Осматривали город, заезжали в синагогу: это новое великолепное здание. Завернули в гнусную Иуденштрассе, этот остаток средневековых жилищ евреев.

Около шести часов выехали из Франкфурта по пути в Швейцарию.

12 (24). Вторник. Миновав Дармштадт, живописный Гейдельберг и патриархальный Оффенбах, сегодня прибыли в Базель.

Местность до Гейдельберга непривлекательна, особенно около Дармштадта. Растительность какая-то хилая. Но от Гейдельберга начинаются живописные места: кудрявые Шварцвальдские горы, а внизу долина, простирающаяся далеко до Рейна и вдоль него. Растительность роскошная, сочная, особенно не доезжая Аппенвейера.

В Базеле остановились в «Отель дю Соваж», который выбрали по совету печатного листка. Оказался плохим и дорогим. Все плохо: комната, обед, услуга.

Вообще, надо правду сказать, что в больших городах Европы часто поступают с путешественниками не очень-то добросовестно. В отелях часто берут за все втридорога, правда, прикрывая это вежливыми словами и улыбками. Везде проглядывает сухой эгоизм и жадность к прибыли.

Вообще честность строго соблюдается между согражданами, но о ней не думают в сношениях с иностранцами. Это объясняется очень просто. Тут каждый боится закона и общественного мнения — этих двух великих могуществ в западной цивилизации. Худо тому, кто в своем городе или селе изобличит себя в недобросовестности: против него восстанет вся масса. Но за чужеземца не стоит ни сила общественного мнения, ни сила закона: его можно обмануть, а пожалуй, и притеснить безнаказанно. Значит, уважение к правам других, честность, столь восхваляемая в Европе, особенно в Германии, происходят вовсе не от той высокой гуманности, которую в ней видят наши ультразападники, а единственно от утвердившихся взаимных отношений друг к другу. Конечно, и это хорошо, потому что членам такого общества обеспечивается безопасность. Но той цивилизации, где человек и все ему принадлежащее уважалось бы единственно по чувству человечности, Европа еще не достигла.

Осматривали город. Старинный собор с остатками средневековой древности; зала, где некогда заседала ду-

ховная конгрегация. За собором, с террасы, прекраснейший вид на Рейн.

В этих старинных городах чувствуешь себя придавленным и погребенным в громадах камней: так тесны улицы и сплошные здания.

13 (25). Среда. В половине первого мы были на дебаркадере по пути в Берн. Здешний вокзал решительно похож на сарай. Многочисленная толпа теснилась в нем и ждала звонка к отъезду в невыносимой духоте. Наконец двери отворились, и все побежали сломя голову занимать места в вагонах, которые оказались гораздо хуже немецких. Вообще Швейцария в отношении удобств и порядка на железных дорогах далеко уступает Германии.

Берн проехали, остановясь в нем всего на несколько минут. В Тун прибыли около трех часов. Из Туна на пароходе по Тунскому озеру плыли час до Интерлакена. Озеро со своими зелеными водами, обрамленное громадными горами, великолепно. В Интерлакене взяли коляску и приехали в отель «Обер». Нам отвели премиленькую комнатку в хорошеньком настоящем швейцарском шале, по соседству с главным зданием отеля, который в настоящую минуту переполнен. Прямо перед моими окнами — покрытая снегами Юнгфрау, а по соседству с ней, налево, — Шейнблате. Немножко правее из-за зелени выглядывает прелестный домик, где пьют сыворотку.

14 (26). Четверг. Поутру встал очень рано. Гулял около своего жилища, любуясь величественною Юнгфрау, блиставшею своими снегами в сиянии утреннего солнца, а на ребрах Шейнблате ходили облака. Несколько позже мы поднялись на соседнюю высоту и сели отдохнуть возле одного голландца, рисовавшего виды гор, и с ним немного побеседовали. Пошел прелестный, тихий, теплый дождик, который скоро прошел. Мы уселись на платформе, откуда чудесный вид на озеро и на деревню Интерлакен. Несколько девочек предлагали нам купить у них разные деревянные вещицы, но мы попросили их спеть. Они спели нам премиленькую швейцарскую песнь, за что были награждены несколькими мелкими монетами. Мы не заметили, как подкралась новая туча и разразилась сильнейшим дождем с грозой. Один удар грома был особенно силен и величественным грохотом прокатился по горам. Мы с грехом пополам приютились в каком-то пустом здании, думая

переждать дождик, долго ждали и все-таки вернулись домой под ливнем, мокрые и усталые.

18 (30). Понедельник. Невыносимая погода. Небо, как в Петербурге, точно завешено тряпками. Холодно. Мелкий дождь сеет как сквозь сито — сеет, чтобы вырастить грязь. Горы приняли мрачный, суровый вид и закутались в дымчатые и беловатые облака. Юнгфрау на минуту обнажила свои передние белоснежные члены и опять, как будто застыдясь, прикрыла их непроницаемым облаком. Наслаждайся тут, как хочешь, Швейцарией!

19 (31). Вторник. Дождь продолжает лить ливнем, холод. Альп — как не бывало за облаками. Точно со всего света сбежались сюда тучи, чтобы вылить целое море воды на бедный Интерлакен. В Петербурге не бывает сквернее этого. Две добрые старушки англичанки, встречающиеся с нами в общей зале за чаем и обедом, приехавшие сюда, чтобы вздохнуть свободно и отдохнуть от лондонского дыма, — чуть не плачут с горя.

Под вечер дождь немного укротился. Стало тихо и не так холодно. Мы вышли на дорогу, которая ведет в домик, где пьют сыворотку. Вдали на противоположной стороне мелькали огоньки в домах, а в долине звучали колокола коров. Вдруг на скате одной из гор вспыхнул яркий огонь. Это зажгли костер в честь конституции Швейцарского союза, годовщина которой празднуется первого августа. Вслед за первым по ту сторону горы засверкал другой такой же огонь — и только на этот раз. Обыкновенно в этот день костры зажигаются в большом количестве на разных высотах, и это должно производить великолепный эффект, но в настоящем году дурная погода помешала торжеству.

20 июля (1 августа). Среда. Хорошее утро. Солнце льет свой свет на Юнгфрау, и она блестит радостно в своих снежных одеждах, как невеста, приготовляющаяся к венцу.

Под вечер сделали прогулку на гору, соседнюю с Юнгфрау. Дорога, опоясывающая эту гору, широка, удобна, и с нее во многих пунктах открываются восхитительные виды. Особенно хороша отсюда Юнгфрау. По направлению к ней идет узкое, невообразимо грозное ущелье, которое вдруг расползается в прелестную зеленую долину с группою домиков, и она кажется улыбкою на лице гиганта. На заднем плане масса снежных вершин. Нам повстречалось

несколько англичан, которые обменялись с нами вежливыми поклонами. Вечер был тихий и теплый. Порывался идти дождь, но останавливался, не решаясь нарушать прелести настоящей минуты. Еще мгновение — и дальние вершины вспыхнули последним сиянием потухающего дня. Одна цепь гор против заходящего солнца особенно была прекрасна. Она горела фиолетовым огнем с самыми разнообразными оттенками, которые, постепенно погасая, наконец слились в одну синеву надвигающейся ночи. Внизу замелькали огоньки.

21 июля (2 августа). Народонаселение в Интерлакене, повидимому, не пользуется избытком и довольством. Бедность повсюду бросается в глаза. Жилища их — хижины, столь живописные на картинах и в декорациях, в действительности имеют печальный вид. Лица взрослых изнурены, а у детей почти все с каким-то идиотским выражением. Одежда мужчин и женщин состоит большею частью из тряпья в заплатах. Хотя цирюльник, который приходит меня брить, и говорит, что здесь такая мода, но это всегдашняя мода нищеты. Вообще сколько привлекательного здесь в природе, столько, напротив, оскорбительного для взгляда и чувства в массе жителей-поселян. Что-то тупое, грубое и жалкое на лицах большинства из них.

22 июля (3 августа). Пятница. Здесь завязался процесс между содержателем отеля Фишером и квартировавшими у него тремя русскими — Веревкиным и братьями Губаревыми. Этот Фишер кормил их отвратительно и за все драл непомерные цены. Например, он взял с них шесть франков за переноску их вещей от него к Оберу, что составляет полверсты. Когда же они заметили ему о несообразности всего этого, он отвечал им очень грубо и, между прочим, сказал, что «бесчестно могут поступать только русские». За эти-то, собственно, слова и начался процесс. Наши молодые люди принесли жалобу в суд и взяли адвоката.

Вчера было первое заседание суда по этому делу. Фишер должен был сознаться во всем, в чем его обвиняли, хотя долго отпирался и увертывался мошеннически. Я познакомился с этими молодыми людьми, которые занимают теперь в отеле Обера соседние со мною комнаты: они вполне порядочные люди.

23 июля (4 августа). Суббота. Опять дождь. Опять горы совершенно скрылись в облаках. Одно утешение

остается — полное равнодушие к этим гадостям природы, так же как и к человеческим.

Но ведь природа как прямое несомненное бытие, как истина всегда изящна, с какой бы то ни было стороны и в каком бы то ни было отношении.

В самом деле, не глупо ли хмуриться, как это небо, на то, что день не прекрасен, что Альпы потонули в облаках и что дождь льет, как будто ему не было начала и не будет конца?

Разве для того эти величественные Альпы возносят к небу свои снежные вершины и у подножия их расстилается богатая растительность; для того атмосфера наполняется разными испарениями; для того белая грудь Юнгфрау то сверкает в ярких лучах утреннего солнца, то прячется в облаках, — разве это и все другие бесчисленные чудеса и изменения природы делаются для того, чтобы человек находил это для себя приятным, хорошим и удобным? Да и сам он разве для того существует, чтобы существование свое находить счастливым? Вечная деятельность сил, не знающих иной цели, как действовать; вечная производительность, сменяющая одни явления другими по одним и тем же законам, но в бесконечно разнообразном изменении оттенков, степеней, частностей, — вот то, чему быть должно и что влечет за собою человека неотразимым могуществом и погружает его в волны, где он, немного поплескавшись и побарахтавшись, в силу того же всеобщего великого процесса жизни исчезает навсегда, как капля дождя, как атом паров.

А ты хмуришься, негодуешь: зачем дурна погода? Зачем льет дождь? Зачем Альпы прячутся от тебя за тучами? Не должен ли ты, напротив, как мыслящее существо, принимать это за выполнение всеобщего закона, за необходимость, за цепь явлений, в которой и ты служишь маленьким звеном?

Ужасно трудно человеческому эгоизму примириться с тем, что не служит прямо к его выгодам и удовольствиям. А между тем он должен же убедиться, что ничто так мало не входило и не входит в план всеобщего порядка вещей, как его выгоды и удовольствия.

Процесс наших русских с мошенником трактирщиком решен не в их пользу. Они подали на апелляцию в бернский суд.

24 июля. (5 августа). Воскресенье. Долго любовался сегодня с Малого Рюгена чудною Юнгфрау, которая блестит по-праздничному. Все путешественники за нею волочатся. Обрадовавшись перерыву в дурной погоде, они гурьбою высыпали на нее смотреть.

Поразительная противоположность: глубокая зима на вершине Юнгфрау, а по бокам ее и по скатам других Альп роскошная летняя зелень. Снега почти врезываются в нее.

После полудня мы отправились в Лаутербруннен вместе с В. П. Валуа, Н. А. Добролюбовым (сотрудник «Современника») и еще одним русским гвардейским офицером. Дорога ведет в ущелье между Абенбергом и Брейтлау к Юнгфрау, которая из моего окна кажется на расстоянии всего двух верст, не более. На самом же деле к ней надо ехать верст тридцать. Ущелье извивается между гигантскими гранитными скалами самых разнообразных и величественных форм. На дне его бежит, яростно скачет, шумит и пенится небольшой поток Лучина. Мы вторглись, так сказать, в самую середину Альп и наслаждались видами, которых описать, конечно, нет никакой возможности. Но вот издали, вправо, показался Штаубах, который с подоблачной высоты несется вниз по черному граниту и, разбиваясь о него, обращается в одну серебряную пыль. За ним другой водопад, а прямо впереди белая Юнгфрау, которая, несмотря на проеханное расстояние, кажется все такою же отдаленною, как из моего окна. Мы оставили коляску у гостиницы и сами пошли к Штаубаху. По дороге встречный пастух затрубил в исполинский рог, звуки которого подхватило эхо и в бесконечных перекатах рассыпало по горам. Это была одна из самых приятных прогулок, тем более что ей благоприятствовал теплый и светлый день.

27 июля (8 августа). Среда. Прелестная прогулка в ущелье около хребта Гардерберга. Хорошая проезжая дорога ведет по узкому карнизу хребта, огибая его все выше и выше. Внизу пропасть, а в ней кипит и бьется седой поток. На крутизнах противоположного хребта кое-где мелькают хижины на таких отвесных высотах, что, кажется, туда и козам не взобраться, не только что людям. Хижины эти имеют убогий вид, как и люди, их обитающие. Мы встретили одного старика, согбенного под тяжестью огромной охапки свежей травы и зеленых ветвей: это он нес

продовольствие своим козам. Мы обменялись с ним несколькими словами. Я дал ему две сигары, и широкая улыбка расплылась по его старческому загрубелому лицу.

28 июля (9 августа). Четверг. Совершенно неожиданно и с удовольствием встретил ‹И. И.› Срезневского, ехавшего с женой в Лаутербруннен. Он возвращается из Италии в Россию и заехал сюда только на один день.

Прогулка к Гисбаху. На пароходе час туда и столько же обратно. Чудесный день, и потому все англичане со своими леди и мисс бросились на прогулку. Пароход был переполнен. Гисбахский водопад принадлежит к тем чудесам природы, которые можно описывать только статистически или географически, — передать же их красот нечего и стараться. Он семью уступами низвергается со страшной высоты и на каждом уступе образует как бы отдельный водопад. Мы поднялись очень высоко на платформу, где расположена гостиница и откуда лучший вид на Гисбах, то есть на его пятый уступ. Мы здесь отдохнули, позавтракали и направились к мостику, переброшенному через пятый уступ. Дорожка становилась труднее и труднее, то есть круче, скалистее и более скользкою. Однако мы благополучно добрались до шестого мостика, но дальше я не пошел. Группа девушек на прощанье спела несколько швейцарских мелодий. В три часа мы вернулись на пароход и поехали обратно в Интерлакен.

29 июля (10 августа). Пятница. Погода устала быть хорошей. Проливной дождь. Все тянет к скуке и наводит тоску.

31 июля (12 августа). Воскресенье. Сегодня утро ясное. Мы едем в Гриндельвальд к глетчерам. Нас было довольно много, и мы разместились в трех колясках. Но не успели мы двинуться в путь, как клубы зловещих туч стали надвигаться из-за гор и быстро застилать все небо. Полил дождь и сопровождал нас до самого Гриндельвальда. Там, однакоже, он укротился и дал нам время добраться до одного из глетчеров. Мы шли к нему долго по тяжелой и грязной тропинке. Нас сопровождал проводник. От ледяного грота веяло холодом. Здесь Альпы принимают какой-то особенно грозный, трагический характер. Два глетчера находятся в ущельях: один между Эгером и Шрекгорном, другой между Шрекгорном и Ветергорном.

Возвратный путь наш совершился тоже под проливным дождем. На мгновение только проглянуло солнце, вспых-

нула радуга и перекинулась через Альпы, как орденская лента через плечо кавалера.

Август 1 (13). Понедельник. День ясный и приятный, хотя с прохладой. Вечером прогулка к Бриенскому озеру. Мы долго сидели на платформе, любуясь прекрасным видом на Интерлакен, и слушали швейцарские мелодии, доносившиеся сюда откуда-то издалека. Стало смеркаться. Огоньки засверкали в домах, а над Юнгфрау зажглась великолепная вечерняя звезда. Она горит прямо над господствующею вершиною этой горы, точно венчает ее девственную красоту. В траве сверкали светящиеся червячки. Милый, уютный Интерлакен был как яркими точками весь усеян огоньками. Семьи швейцарцев сидели у порога своих жилищ, отдыхая от дневных трудов. В эту минуту все здесь было тихо, мирно, отрадно. А вокруг в дремлющем немом величии стояли грозные Альпы, как бы оберегая долину от тревог и бурь всего остального мира.

3 (15). Среда. Грустно, очень грустно расставаться с Интерлакеном! Время, проведенное в нем, было для меня истинным отдыхом, несмотря на часто суровую погоду, которая многому мешала. Все сложилось здесь так, чтобы сделать пребывание наше особенно приятным: спокойное, уютное помещение, честные хозяева, недорогое, но весьма приличное содержание, общество людей образованных и, конец концов, самое важное — природа дивная, великолепная, словом — Альпы.

5 (17). Пятница. Сегодня покидаем Интерлакен. Прощай, прелестная, тихая, гостеприимная долина! В тебе провел я лучшие до сих пор дни моего заграничного скитания. Едем в два часа по Тунскому озеру в Тун, а там в Берн.

На Тунском озере нас преследовал проливной дождь со свирепым холодным ветром. Мы кое-как жались на палубе парохода под навесом, прикрываясь сбоку зонтиками. Многие из пассажиров удалились в каюту. Но мы храбро выдерживали борьбу со стихией и прибыли благополучно в Тун, где сели в поезд, отправляющийся в Берн.

С Интерлакеном мы простились как нельзя дружелюбнее. Отель «Обер» сделался мне как своим домом. В оба мои путешествия за границей я не находил убежища честнее, удобнее и приятнее. Сам Обер отличный хозяин. Все люди, от него зависящие, благословляют его и с своей стороны исполняют свои обязанности усердно, добросовестно. Внимание их к путешественникам редкое. Я про-

стился с Обером, как со старым приятелем. Потом мы под проливным дождем заехали проститься с некоторыми из наших здешних добрых знакомцев. Я с грустью еще взглянул на Юнгфрау, на Рюген, на крутизны которого я еще вчера с таким удовольствием взбирался; на домик, где пьют сыворотку; на свой чистенький и миловидный шале; посмотрел еще раз на долину, которую в мрачном величии окружают исполинские Альпы, в этот день закутавшиеся в облака, — и потом, сев в коляску, сложил в сердце моем все воспоминания об этом очаровательном месте, чтобы питаться ими в скучные дни на нашем унылом и безотрадном севере.

Около пяти мы были в Берне и остановились в отеле «Корона».

После обеда мы пошли в собор слушать орган, который считался наравне с Фрейбургским. Действительно, этот орган чудо искусства. Между прочим была сыграна оратория «Страшный суд» с такою силою и выразительностью, что невольный трепет пробегал по членам. Я в первую минуту был убежден, что слышу человеческие голоса великих артистов. Ничего не бывало: все это не что иное, как дудки, трубы, валы и валики, сделанные руками человеческими.

За обедом в Берне рад был неожиданно встретить ‹П. Г.› Редкина с семейством. Он едет в Интерлакен дня на три, побывав уже в Люцерне и на Риги.

6 (18). Суббота. В Берне. Поехали осматривать город. Отдали визит представителям Бернского кантона — медведям: их четыре. Республика содержит их на свой счет и очень хорошо.[104]

Зашли на эспланаду возле собора. Удивительный вид на снежные Альпы, которые полукругом раскидываются на огромное пространство. Между ними красуется наша старая знакомка Юнгфрау. Вообще с этого пункта весь Берн и окрестности его видны отлично, и они прекрасны. Внизу эспланады в живописных берегах кипит речка.

Выехали из Берна около полудня, взяв билеты до Биеля. В Герцогенбуше переменили вагоны и миновали Золотурн. Слева тянутся Фрейбургские Альпы.

В Биеле нас пересадили на пароход, и мы по Невшательскому озеру плыли до Ланскроны, а оттуда опять в вагонах до Невшателя. С нами ехал премилый и препочтенный старик, полковник швейцарской армии. Он нам сооб-

щал разные сведения о местах, которые мы проезжали. Его имя Бонтон.

С озера чудесный вид на Фрейбургские Альпы слева, а справа на Юрские, обращенные к Франции.

Богатые виноградники по берегу Невшательского озера и по горным скатам.

Недалеко от Грансона знаменитое место, где Карл Смелый был разбит и убит швейцарцами в сражении, которое и названо Грансонским.[105] Я очень хорошо заметил неровную покатость на берегу озера, где происходило сражение.

По приезде в Невшатель оказалось, что по милости бестолковых распоряжений на швейцарских дорогах наш чемодан и саквояж остались в Биеле. Мы объявили об этом начальнику бюро и теперь едем совершенно налегке в Лозанну. Одним словом, с нами повторилась та же история, что в Интерлакене с Шульманами. Миновав Ивердон и достигнув Лозанны, мы немедленно телеграфировали в Биель о высылке нам сюда наших вещей. Остановились здесь в отеле «Гиббон»: очень хороший и честный отель.

7 (19). Воскресенье. Вещей наших все еще нет. Боюсь, чтобы нам не пришлось из-за них пробыть здесь лишний день-другой, а надо спешить к морю. Утром посетили собор, побродили по городу, который богат очаровательными видами.

8 (20). Понедельник. Сегодня мы целый день провели в плавании по Женевскому озеру на пароходе «Орел». От самого Вильнева и до Женевы чудные, восхитительные места. Справа — цепь гор, за которыми выглядывают громадные снежные Альпы, и между ними всех выше седоголовый Монблан. Слева — отлогие берега, слегка холмистые, усеянные прелестными домиками и виноградниками, а позади опять-таки горы, обращенные к Франции, но уже гораздо ниже. День был прекрасный, и голубое Женевское озеро покоилось в невозмутимой тишине.

Мимо беспрестанно мелькали прелестные городки, из которых иные точно выходят прямо из вод озера. Вот Морж: против него снежные Альпы и между ними особенно Монблан. Далее Ролль, против которого на небольшом островке воздвигнут нашим императором Александром Первым памятник Лагарпу. Нион, потом Коппет с замком почти на берегу озера, где жила Сталь. Замок старый, с круглыми башнями по углам, обветшалый, закоптелый. Он, кажется, необитаем.

Немного за Коппетом, на противоположном берегу озера, видна колокольня: отсюда, от Женевы налево, уже Савойя.

В Женеву мы приехали около восьми часов вечера. Было уже темно. Мы остановились в «Отель де Пост».

9 (21). Вторник. День прегнусный, холод и дождь. Мы взяли фиакр, чтобы ездить по городу. Заехали в церковь, где памятник Рогану; побывали в музее, не стоящем, впрочем, того, чтобы в нем быть. Хорошего там только бюсты Руссо и Боннета. Посмотрели еще памятник Руссо на острове у моста и панораму Шамуни. Потом поехали за город к тому месту, где Рона сливается с другою рекою и обе некоторое время текут далее в одном русле, но не сливая своих вод. День скучный. Женева мне не нравится. В ней что-то сухое и холодное.

10 (22). Среда. Переезд из Женевы во Францию. Не доезжая Бельгарда, где таможня, три туннеля. Третий перед самым Бельгардом: едут семь минут.

На таможне с нами обошлись очень любезно. Нас почти не осматривали: едва открыли сундук и мешок и не обратили никакого внимания на мои сорок сигар.

За Бельгардом идут Юрские Альпы. От Кюлоза и особенно у Россильена они становятся страшно угрюмы и дики, принимают самые разнообразные, фантастические формы. Перед вами вдруг вырастают, точно замки, целые города со стенами и башнями. Глаз до того обманут, что даже видит ворота и окна и готов принять все эти то беспорядочно нагроможденные, то правильно сложенные громады за настоящие здания или за развалины их. Юры в своем роде тоже чудесные явления природы. Проехав мимо Буржа, мы, наконец, достигли Макона, где ночуем.

11 (23). Четверг. От Макона до Парижа еще далеко — часов шестнадцать езды. Но мы решились все это расстояние сразу проехать. Перед Дижоном нас встретил настоящий содом. Толпы народа валили туда навстречу Наполеону, который едет обозревать Савойю и Алжир. На пути его повсюду, особенно в Дижоне, делались великолепные приготовления к его приему. Вагоны, следующие к Дижону, где готовилось главное торжество, были набиты людьми, как бочонки сельдями. В наш вагон, никого не спросясь и без билета, сверх комплекта, ворвался какой-то блузник с женой и шестинедельным ребенком и бесцеремонно расположился у окна, чуть не на коленях у молодой

и хорошенькой француженки. Было невыносимо тесно и душно. Пытка наша, однако, мгновенно прекратилась, лишь только мы миновали Дижон. Кроме нас, в нашем вагоне остались еще только двое: чрезвычайно приличный благообразный итальянец и миловидная француженка, все время без умолку болтавшая. На расстоянии двух часов от Дижона мимо нас промчался, как вихрь, вагон, несший в себе цезаря и его счастье. Разумеется, мы не могли его увидеть. Около полуночи приехали в Париж и остановились в улице Vivienne, в «Hôtel des Etrangers».

13 (25). Суббота. Вчера мы только промелькнули в Париже и сегодня уже прибыли в Булонь, то есть к цели моих настоящих стремлений.

В Булонь мы прибыли в пять часов. На станции железной дороги нас очень радушно встретили И. А. Гончаров и Я. К. Грот. Они вместе с нами отправились в отель, где квартируют. Мы тоже там поместились в двух небольших комнатках.

14 (26). Воскресенье. Дождь. Тем не менее мы вместе с Гончаровым и Гротом отправились к океану. Это достойное дополнение к Альпам. Я, таким образом, видел два могущественнейшие создания природы. Прекрасно, величественно, грозно-прекрасно! Там, направо, чуть-чуть белеют меловые берега Англии, а левее — путь в другую часть света. Право, хорошо побывать здесь!

Гончаров взял на себя в Булони, которая ему уже издавна знакома, роль церемониймейстера по отношению ко мне. Он свел меня к океану и, как сам выражается, «представил ему».[106] Он же руководил мною в устройстве дел моего купанья и рекомендовал мне своего собственного купальщика: это бравый, сильный молодец по имени Паранти.

После мы всё с тем же Гончаровым бродили по городу — старинному, с узкими улицами и высокими домами. Были в крепости и на крепостных бульварах, откуда широкий вид на заречную часть города и на океан.

18 (30). Четверг. Ходил утром на jetée * любоваться морем, которое великолепно после прошедшей ночи. В эту ночь оно сильно бушевало. Гул и рев его тревожили наш сон. Теперь оно сильно волновалось, и волны его, грозно вздымаясь, преследовали одна другую, сталкивались и

* Мол *(франц.)*. — *Ред.*

рассыпались у берега серебристой пеной, а подальше ударялись об утес и влажным столпом, точно фонтаном, поднимались вверх. Несмотря на бурную погоду, множество мисс и леди (большая часть здешних посетителей — англичане) в черных костюмах полоскались в волнах, как морские птицы. Весело было смотреть на их резвые, смелые движения, а океан все шумел и стонал.

19 (31). Пятница. В полдень отправился на jetée. Есть в морском воздухе что-то особенно легкое и живительное. Самый ветер, как бы силен он ни был, охватывает вас со всех сторон, как вода в море, но не проникает в ваши жилы и кости, не остужает крови и не леденит сердца. И странно, что при этом обилии воды вы даже скоро после дождя не ощущаете сырости. Целое лето почти я не выходил из теплого пальто, а здесь, несмотря на сильные ветры и даже при отсутствии солнца, я хожу в летнем легком пальто и надеваю свое любимое ватное только в девять часов вечера, когда иду с Гончаровым бродить по городу. Почти совсем отвык я и от калош, за которые мне всегда так много достается от моих домашних и приятелей.

20 августа (1 сентября). Суббота. Опять на jetée поздно вечером. Ночь прекрасна в лунном сиянии, океан великолепен в совершенном спокойствии. Было много гуляющих леди и мисс, которые, очевидно, отличаются большим пристрастием к морю. Вдали блестит маяк. Перед нами беспредельное пространство, волна за волной, дальше, все дальше, до самой Америки. Вот из гавани выходит пароход — не туда ли уж в самом деле? Нет, в Англию, куда через два часа и прибудет.

Я ставлю гораздо выше честного и знающего свое дело ремесленника, который, изготовляя заказанную ему вещь, не думает, что он одолжает вселенную, нежели какого-нибудь другого деятеля в сфере, будто бы более высокой, но одержимого великими претензиями без великого характера. Ведь великий характер тем-то и велик, что не имеет претензий. Надо прежде всего быть человеком, а потом уже чем угодно или чем должно, возможно и нужно для всякого и всех.

26 августа (7 сентября). Пятница. День светлый и мягкий. Море тихо в своих берегах, как младенец в колыбели. По лону его пробегают едва заметные струйки: это оно дышит.

Ездили осматривать наполеоновскую колонну, воздвигнутую верстах в четырех от города на том месте, где Наполеон I, снаряжая свою булонскую экспедицию в Англию, раздавал войску почетные легионы.[107] Окруженный блеском императорского величия и озаренный славой недавних побед, он хотел поразить умы французов и воспламенить в них энтузиазм так, чтобы они, как поток раскаленной лавы, ринулись на ненавистных ему островитян. Колонна красива. Она возвышается на 150 футов. Император изображен на ней в порфире, со скипетром в одной руке, с короною в другой, с лавровым венком на голове. Вокруг колонны посажены кедры и разведен сад, содержимый в большом порядке и чистоте. Путь туда по холмам, с которых открывается вид на чуть-чуть белеющие вдали берега Англии.

Одна из невыгод коротких отношений с людьми в том, что они порождают необходимость или потворствовать их слабостям, недостаткам и страстям, или, противясь этому, навлекать на себя их неприязнь. Лучше всего избегать этой короткости. Но не всегда можно успеть в этом. Часто обстоятельства ставят людей друг к другу так, что сближение между ними делается неизбежным, и вот между ними устанавливаются отношения, повидимому, дружеские. Но тут-то и зацепка. Близость производит то, что они трутся взаимно о шероховатости один другого, которые на дальнем расстоянии незаметны, — и не только трутся, но натирают один другому мозоли.

29 августа (10 сентября). Понедельник. Каждое утро ходим мы на станцию железной дороги и запасаемся там в книжном ларе свежей газетой — то «Constitutionel'ем», то «Patrie». Сегодня тоже мы взяли последний номер первого. Меня сильно занимают дела Италии. Народ там, очевидно, готов к новому устройству, к единству. Везде восстание в пользу этого единства, и с каждым днем все умаляется значение жалкого остатка бурбонской династии неаполитанского короля. Он не умел понять важной и простой политической истины, что народами нельзя управлять только по своим желаниям, а надо несколько уважать и их желания. Каковы бы ни были потребности времени, им необходимо в известных пределах уступать. И потому нет ничего несообразнее того консерватизма, который хочет не сдерживать только и умерять излишества в порывах новых идей, а уничтожать их и поворачивать вещи назад или удерживать их

в одном и том же положении. Не нелепо ли думать, что можно навсегда установить такой-то порядок вещей, когда навсегда, кроме смерти, ничего нет на свете.

Гарибальди — славный человек. Это не гений, это нечто больше и выше того — это человек добра, герой человечества в самом разумном, благороднейшем смысле этого слова.

Пребывание мое в Булони приходит к концу. Что принесло оно мне для моего здоровья? Подвожу итоги: они мало утешительны. Я все время чувствовал себя здесь гораздо хуже, чем в Интерлакене. Говорят, благотворное действие морских купаний после отзовется. Будем надеяться, а пока попрежнему одно остается — мужаться.

Останавливать бег собственных мыслей, давать им должное направление — требует такой же силы воли, если не больше еще, чем управлять ходом общественных дел. Вообще иметь дело с самим собою без эгоизма, малодушия и обольщения разными приманками жизни — чуть ли не гораздо труднее, чем иметь дело с другими. Всего труднее прямо смотреть в глаза истине, когда она приходит разрушать наши иллюзии или противоречить нашим наклонностям, принятым понятиям и самолюбию. А между тем как ни увертывайся от истины, как ни усиливайся заглушать ее голос или обмануть софизмами, она, вытесненная из твоих убеждений и умствований, возьмет свое на деле. Она сделает так, что действительность устроится совсем иначе, чем ты воображал или хотел, — и вот ты останешься пораженным в самом существенном, чего ты добивался и чего должно добиваться, — в результате.

30 августа (11 сентября). Вторник. День моих именин. Это первый раз, что я провожу его не в кругу моих детей. Бедные! Они тоскуют без меня в этот день, а я посылаю им мой привет одними грустными мыслями.

Завтра едем в Париж. А там — к детям: пора, пора! Обнять их становится вопиющей потребностью моего сердца. Грустно только, что возврат мой мало порадует их: я принесу им больное тело и тревожный дух.

Прощай, Boulogne sur mer!

Сентябрь 1 (13). Четверг. Вчера утром уехали из Булони. Нас провожали на железную дорогу хозяин нашего пансиона и две милые англичанки, с которыми мы в последнее время близко сошлись. В Париж приехали под вечер и остановились в улице Ришелье, в отеле «Альпы».

Сегодня я долго сидел в Пале-Рояле, любуясь детьми, которых нянюшки приводят туда играть. Премилые дети эти французята: резвые, живые как котята, исполненные детской грации и такие свеженькие, как будто они растут где-нибудь в деревне, а не в тесном и душном Париже. И игры их совершенно приличны, без натяжки и буйства, хотя это дети, судя по их платью, большею частью небогатых родителей.

Вообще во французах есть что-то привлекательное. В них нет той угловатости и аляповатости, какую видишь в массе немцев, ни той демократической грубости, какая заметна в швейцарцах. Их живость имеет какую-то свою грацию, доказывающую эстетическое превосходство этой расы.

Я прожил в Булони около трех недель. Там в небольшом городе теснится много людей, не могущих похвастаться особенным образованием: это торговцы, рабочие, матросы, рыбаки. Может быть, то была случайность, но во все время моего пребывания там не произошло ни одной суматохи в самых людных местах, ссоры, шума и т. п. Все делается у них живо, быстро, никакой толкотни или замешательства. Я заходил часто в таверну Мартена или, как мы его прозвали с Гончаровым, — Мартыныча. Там, между прочим, собираются и люди простого звания. Они там пьют, едят, курят, читают газеты, но все это совершенно прилично. Пьяных я видел всего только раз — двух мастеровых. Солдаты — люди молодые, бравые, развязные, но тоже показались мне скромными для своего звания. Смотря на них так, со стороны и в спокойное время, трудно себе представить, что французы — это люди, наделавшие столько революций.

3 (15). Суббота. Маленькая неприятность по части житейских дел. По рекомендации одной француженки, в свою очередь рекомендованной нам одним русским, мы заказали портному пальто для меня за 150 франков (35 рублей). Сегодня он принес его. Не рассмотрев хорошенько, мы заплатили за него деньги, но, впрочем, тут же заметили на нем пятна, как будто оно было чем-то облито или запачкано. Показали портному. Он очень развязно объявил, что так всегда бывает от смочки сукна и что стоит мне только надеть сегодня пальто и поносить его часа два, как все пятна исчезнут. Вот я ходил в моей обновке с десяти часов утра до вечера, а пятна и не думают исчезать. Очевидно, что портной нас надул, поставив залежалый материал.

Теперь дела не поправишь: деньги заплачены. Надо помириться с потерею 35 рублей. Но у меня могли бы украсть и гораздо больше, всего меня обокрасть. Этим и надо утешиться. Видно, моему попорченному телу прилично и платье носить испорченное.

Три действия моей лечебной драмы исполнены: киссингенские воды, швейцарский отдых и морское купанье. Остается четвертое и последнее: совещание с Вальтером в Дрездене. Кажется, и с телом моим происходит такое же надувательство, как и с пальто, долженствующим его прикрывать. Медицина не отстает от портняжного искусства в способности обманывать.

А конец концов тот, что я возвращаюсь домой все-таки больным. Нечем мне порадовать мою семью. Выходит, что жизнь моя парализована, надолго ли — богу одному известно. А из всего этого следует, что я крепче, чем когда-либо, должен держаться своего девиза: терпение и мужество.

5 (17). Понедельник. Бродил по Итальянскому бульвару. Все то же: толпа и магазины. Побыл немножко в Пале-Рояле. И там все то же: под арками торгуют, под деревьями резвятся дети и сплетничают няньки. Днем Пале-Рояль вообще беден посетителями. Он, кажется, тогда поступает почти в исключительное владение детей и нянек. Лишь изредка попадается какой-нибудь праздный человек, который бродит под арками и заглядывает в окна магазинов или в небрежной позе сидит на скамье и читает или дремлет над газетой.

6 (18). Вторник. Бродил по набережной Сены, останавливаясь перед выставками гравюр и старых книг. Осматривали церковь св. Клотильды за Сен-Жерменским предместьем. Ездили в Père Lachaise, но все это довольно вяло, чему, может быть, способствовал и сумрачный день.

Наполеон царствует с полным авторитетом самодержавного государя: на уста французов он наложил печать молчания; мысли их предписал границы; деятельности их указал материальные цели, а из всех атрибутов свободы оставил им только одно трехцветное знамя.

Французский народ едва ли способен возвыситься до истинного нравственного достоинства. Он мало уважает то, что не имеет непосредственного отношения к его интересам и страстям. Он любит шум, блеск, гоняется за отличиями чести и славы, но, кажется, лишен чутья к тому доброму

и доблестному, которое хорошо само по себе и которое за это именно должно быть уважаемо человеком.

Французы приобрели всемирную известность своею любезностью и вежливостью. Но они могут быть ужасно невежливы и грубы, как скоро не чувствуют необходимости или расположения быть вежливыми и любезными. Говоря известные учтивые слова, расточая улыбки, они гораздо более следуют привычке, чем благородному, гуманному стремлению не делать и не говорить ничего такого другим, что могло бы быть им неприятно или огорчить их. Француз по природе своей сух и фальшив. Он искренен только в своих усилиях выказать свое превосходство и когда бросается в наружный блеск.

Но надо отдать справедливость французскому народу: он одарен удивительно привлекательною внешностью. Французы очень хороши в известном расстоянии — издали. Но очарование исчезает, как скоро вы подходите к ним ближе и начинаете всматриваться в их физиономию. С удивлением и некоторым ужасом вы видите тогда вместо ярких приятных черт, пленявших вас издали, — маску, жалкую подделку под жизнь.

8 (20). Четверг. В семь часов утра выехали мы из Парижа на Кельн. До Компьена всё леса, и сам Компьен тоже в них. Почва ровная, лишь местами слегка волнистая. Население довольно жидкое. Деревень встречается мало. Вот и Намюр. Здесь разносчик газет прокричал о разбитии пьемонтцами генерала Ламорисьера. [108] Я встрепенулся и поспешил купить номер «Indépendance Belge», * в котором помещено это известие.

Все пространство от Намюра до Вервье очень красиво. С переездом в Бельгию местность немедленно делается гористою. По обеим сторонам тянется цепь невысоких, но чрезвычайно живописных гор. Мы ехали очаровательною долиною, которая причудливо извивается по берегу реки. Мимо мелькают рощи, рощицы, группы деревьев, аллеи, — это один нескончаемый парк. Но у этого парка своя поразительная особенность: он до такой степени заселен, что все пространство от Намюра до Вервье представляет как бы одну непрерывную улицу фабрик и жилищ — улицу оригинальную, извилистую, не правильную, а раскидывающуюся в разных направлениях то группами зданий, то целыми

* «Независимость Бельгии» *(франц.)*. — *Ред.*

селениями и городами. Везде кипит промышленная и фабричная деятельность, которая каким-то чудесным образом сливается здесь с нетронутыми искусством красотами природы и производит на путешественника очень приятное впечатление. Это Бельгия. Везде довольство и труд. Деревни и города смотрят весело, точно улыбаются и говорят: «в нас дружно обитают свобода и благосостояние». Какая разница с наполеоновскою Франциею! По крайней мере все это мне так показалось из окна вагона.

Промелькнул мимо Льеж. Перемена вагонов в Вервье. Ахен. Последний — большой город, как-то неправильно раскинувшийся среди весьма живописного местоположения.

Наконец, вот и Кельн. Здесь прусская таможня. Но мы разделались с ней очень просто. Один из таможенных служителей объявил нам без церемонии, что если мы дадим хороший тринкгельд, * то дело у нас сладится в минуту без всяких хлопот. У нас не случилось монеты меньше десяти франков, и чтобы не терять времени и избежать всякой суматохи, мы решились ими пожертвовать. Дело, в самом деле, было кончено в минуту. У нас только спросили: не имеем ли мы чего запрещенного в сундуке? И даже не открыли его. Сверх того, таможенные уже взяли на себя и все распоряжения относительно перемещения нашего багажа из таможни в вагоны на завтрашний поезд, так что мы уже не имели никаких забот и немедленно отправились в гостиницу «Голландер» на берегу Рейна. Мы решились в Кельне переночевать. Нам хотелось осмотреть город, особенно знаменитый собор, и мы положили остаться тут до следующего вечернего поезда. Нам отвели хорошо убранную, но очень низенькую комнату, окнами на Рейн.

9 (21). Пятница. Утром, взяв комиссионера (за $2^1/_2$ франка на четыре часа), мы сели в фиакр и отправились обозревать город. Разумеется, мы прежде всего поехали к собору. Он действительно одно из чудес искусства и по справедливости считается великолепным памятником готической архитектуры. Его грандиозные размеры, легкость, с какою он стремится вверх, и неподражаемая отделка во всех мельчайших подробностях точно кружевных орнаментов — все это изумительно изящно, величественно, тонко. Внутренность церкви вполне соответствует ее внеш-

* На чай *(нем.)*. — *Ред.*

ности. Мы обошли ее во всех направлениях. Замечательны гробницы архиепископов и первого из них, основателя собора. Любопытные по своей древности барельефы (XI и XII веков) с некоторых из них сорваны французами, и гробницы эти так и остаются обнаженными. В готических окнах разноцветные стекла, украшенные старинною живописью: на левой стороне церкви она вся принадлежит знаменитому Альбрехту Дюреру.

Церковь еще не достроена. Ее продолжают воздвигать, или, вернее, отделывать, по первоначальным рисункам, но нам говорили, что она вполне будет окончена еще не прежде, как через восемнадцать лет. Мы видели около наваленные громады камней; из них некоторые уже обделаны для орнаментов и превосходно выполированы.

Из собора мы поехали в церковь св. Петра взглянуть на картину Рубенса, изображающую пригвождение к кресту св. Петра. Картина эта — одно из лучших произведений Рубенса. Предсмертные муки на лице Петра, движение мускулов и выражение на лицах палачей изумительны по живописи и верности природе. Картина эта тоже была взята французами, но по заключении мира возвращена. Тут же копия с нее, как бы в доказательство того, как подражания гениальным произведениям могут быть ниже своих образцов.

Далее, мы поехали по городу, к Рейну и т. д. Но кроме собора и этой картины Рубенса, в Кельне решительно нет ничего замечательного. Это один из скучнейших, да, пожалуй, и грязнейших городов в Европе или по крайней мере в Германии. В нем даже нет тротуаров и ни одной порядочной улицы. Нет места для прогулок, ни сада публичного, ни театра. Театр когда-то был, да сгорел, и теперь никто не думает об его возобновлении. Словом, это ультранемецкий город, крайность безвкусия и равнодушия ко всему, кроме денег и торговых расчетов. Даже благородный, величественный Рейн, добежав до Кельна, принимает какой-то пошлоделовитый вид и лежит в плоских неопрятных берегах. Его яркоизумрудный цвет превращается здесь в какой-то мутный, грязный.

Возвратясь в гостиницу, мы не знали, как убить остальное время до семи часов вечера, когда отходит поезд в Дрезден. У нас оставалось на руках еще часов пять. Я рад был даже обеду в час: все-таки хоть какое-нибудь занятие. Впрочем, обед был очень хорош и недорог. Наконец мы

дождались шести часов и бросились на железную дорогу. В 20 минут восьмого мы, наконец, пустились в путь, очень довольные, что расстались с неприютным Кельном, и приятно волнуемые ожиданием предстоящего соединения с детьми. Мы взяли, однако, с Кельна дань — разумеется, за свои деньги — купили вид собора да склянку знаменитого одеколона.

10 (22). Суббота. Ночью проехали и Дюссельдорф и Ганновер, не видав их. В пять часов утра в Магдебурге меняли вагоны. Отсюда до Лейпцига гладкая, беспредельная равнина. От Лейпцига до Дрездена уже рукой подать. И действительно, вот он, Дрезден! На станции нас ожидали мои милые дети и И. А. Гончаров также. Радость и восторги неописанные. Мы были в разлуке три месяца и десять дней. Такой продолжительной разлуки ни я, ни дети мои еще никогда не испытывали. Благодаря бога, я нашел их здоровыми и веселыми. Мы уже все вместе примчались в Прагерштрассе.

14 (26). Среда. В Дрездене я стараюсь жить по возможности беззаботно и еще хоть в течение нескольких дней не думать об ожидающих меня в Петербурге всяческих заботах и трудах. Да и погода сильно к тому располагает. Дни светлые, теплые, каких вообще не много в нынешний год выпало на нашу долю за границей. Усердно гуляем то в Гросгартене, то на Брюлевской террасе; то я бесцельно брожу по городу с И. А. Гончаровым, который продолжает неистово заниматься покупками — в настоящее время особенно сигар и стереоскопных картинок с видами. Сегодня были, между прочим, в зверинце, который, впрочем, очень мал. Оттуда по мосту перешли через Эльбу, обогнули Японский сад и вернулись по другому мосту. Уже смеркалось. Луна сияла во всем своем блеске, и вид с мостов на Дрезден был прекрасен.

15 (27). Четверг. Писал в Варшаву к тамошнему начальнику мальпостного движения между Варшавой и Петербургом, Ф. Ф. Кобержскому, о заготовлении нам мест.

В каталоге человеческих бедствий, который, как известно, толст не меньше нашего академического словаря, не последнее место должно быть отведено толчкам в голову, продолжающим меня преследовать по ночам. А в самом деле любопытно бы составить словарь человеческих бедствий. Ведь сюда, чего доброго, пожалуй вошли бы такие

слова, как, например: друг, проекты, то есть проекты о доставлении человеческому роду всевозможных благ, и т. д.

16 (28). Пятница. Теперь, когда я приближаюсь к арене моей деятельности, к отечеству, в душе моей восстают вопросы, один другого важнее, о характере и способах этой деятельности. По настроению моих нравственных сил, по основным принципам моим, по тому, чем я обязан обществу и самому себе, — я не могу действовать иначе, как с достоинством и энергией. Наша эпоха, как и всякая другая, впрочем, возлагает на каждого честного человека, на деятеля, и долг и ответственность. Кто не чувствует себя существом совсем ничтожным, тот должен стараться выполнить ее требования. Но не изменят ли мне мои физические силы? Сомнения терзают меня.

Университетские лекции, публичные лекции о Пушкине, работы по Главному управлению цензуры. Надо также что-нибудь бросить и в академическую кошницу, пустота которой давно уже поднимает на нас справедливые жалобы.

Вечером Гончаров читал мне новую, написанную им в Дрездене, главу своего романа. Он перед тем уже читал мне кое-что из него. Места, мне прочитанные до сих пор, очень хороши. Главная черта его таланта — это искусная тушевка, уменье оттенять верно каждую подробность, давать ей значение, соответственное характеру всей картины. Притом у него особенная мягкость кисти и язык легкий, гибкий. В новой, сегодня читанной главе начинает развертываться характер Веры. На этот раз я остался не безусловно доволен. Мне показалось, что характер этот создан на воздухе, где-то в другой атмосфере, и принесен на свет сюда к нам, а не выдвинут здесь же из нашей почвы, на которой мы живем и движемся. Между тем на него потрачено много изящного. Он блестящ и ярок. Я тут же поделился с автором моим мнением и сомнением.[109]

17 (29). Суббота. Странное противоречие в вещах человеческих! Счастием мы редко обязаны самим себе, но несчастий наших мы всегда строители сами. Что ни делай для первого, редко удается нам достигнуть цели, но второе получается легко, часто вовсе не заметными ошибками, крайностями, увлечениями.

Располагаться в жизни и на земле слишком широко и оседло, с различными предосторожностями и заботами об упрочении своего положения и доли, право, нелепо и смешно.

Разбирая строго, но правдиво свою жизнь, я нахожу, что наслаждался очень мало и так же мало сделал хорошего. Первому препятствовали обстоятельства, собственное неблагоразумие и необузданное стремление к какому-то недосягаемому идеалу, препятствовавшее мне всегда сознавать цену настоящего и парализовавшее во мне самую способность наслаждаться, а второму — несовершенства и недостатки моей воли.

Во мне, однако, есть какая-то упругость, благодаря которой во мне крепко держатся один раз укоренившиеся во мне верования, убеждения, взгляды на вещи, несмотря на скептические колебания моего ума и недостатки моей воли.

Познай самого себя — какая это бесконечная наука! Равная ей по своей нескончаемости — наука усовершенствования самого себя.

Постоянный контроль над самим собой имеет свою выгоду и невыгоду — выгоду ту, что мешает укоренению и осуществлению многого дурного; невыгоду ту, что держит волю в постоянном колебании и нерешительности, делает нас мнительными и ослабляет способность быстрых, энергических решений и дел.

Все люди, из каких бы рас они ни происходили, под какими бы законами жизни, какою бы историею ни были воспитаны, одинаково расположены к эгоизму. Различаются же они способностью страстей. Оттого происходит, что эгоизм одних умеряется расчетливостью и благоразумием, других — прямее и открытее идет к цели. Там хладнокровие и уверенность, здесь пылкость и крайности...

Неохотно я расстаюсь с Дрезденом. Мне хотелось бы в нем провести еще несколько дней в беззаботном отдыхе, которого я не имел в моих беспрестанных переездах в погоне за здоровьем, постоянно от меня убегавшим. Словом, мне хотелось бы допить последние капли немногих ясных и нетревожных минут — ну, да надо ехать! А ведь в Варшаве, пожалуй, придется проскучать неделю, может быть и больше, вследствие трудности, с какою получаются места в мальпосте.

18 (30). Воскресенье. Пришло письмо от Кобержского, начальника мальпостов варшавских. Он уведомляет меня, что места в экипажах до Острова могут быть для нас готовы не прежде пятого октября. Итак, пришлось бы недели две сидеть в Варшаве. Мы решаемся лучше провести это время в Дрездене, где жизнь дешевле и приятнее. Пришел

Гончаров. Он сегодня едет и обещает еще переговорить с Кобержским, а о последствиях меня уведомить.

21 сентября (3 октября). Среда. Истинно благородное сердце, ясный высокий ум, истинная честность, истинное просвещение, чуждое предрассудков, но не чуждающееся благих, возвышающих душу верований, — везде составляют исключение.

Погода меняется. Холодный ветер, сумрачно. Но вид полей, по которым я сегодня много бродил, еще сохраняет следы роскошного плодоносного лета.

Однако меня начинает сильно позывать к работе. Да и совестно уже становится, что я так долго ничем не занимался. Заботы о здоровье поглощали исключительно мое время. Теперь хотелось бы вознаградить потерянное, но благоразумие и медицина велят трудиться осторожнее.

Обдумываю публичные лекции о Пушкине и бросаю на бумагу разные заметки и главные черты плана.

О великих деятелях в обществе, как о великих явлениях природы, никогда нельзя сказать, что они изучены окончательно и что, раз описав, объяснив их, уже возвращаться к ним не для чего. Богатства в них жизни таковы, что понять, объяснить, определить их сразу нет никакой возможности. Значение и действие их к тому же никогда не раскрываются вдруг. Они, как все живое, одарены способностью развиваться и развивать заключающееся в них содержание, так что то, что вы узнали в них сегодня, часто служит только предисловием или указанием того, что узнаете завтра или позднее.

24 (6). Суббота. Каких последствий от жизни хочешь ты серьезнее тех, какие есть? Цель жизни не есть ли самая жизнь? Какое дело природе до того, живешь ли ты, живут ли или будут жить Иван и Исидор, жук или слон, — лишь бы поток жизни не иссякал и не прерывался.

28 сентября (10 октября). Среда. Дождь, холод. Ветер сегодня, вооруженный ножами, так и ходит по улицам и режет людей. В комнатах страшно холодно, а топить — боимся угара. Печи у немцев устроены не по-нашему. Они не способны ни дать, ни удержать тепла. Это нечто вроде черт знает чего. Бестолковые немцы, написавшие тысячи умных и глупых книг, не постигли премудрости, как зимой согревать свои жилища. У них нет вьюшек в печах, да и самые печи устроены, кажется, так, чтобы служить

только пугалом холоду, а не серьезно с ним бороться и его изгонять. Бестолковые немцы!

Я читаю перевод библии, издаваемый в Лондоне и которого до сих пор вышло еще только одно «Пятикнижие». Под переводом подписано имя Вадима, и он печатается в Герценовской типографии. Перевод делается с еврейского подлинника, при пособии перевода на английский язык еврея, доктора Бениша. Буквальная точность — главная задача переводчика. [110] Поэтому перевод является освобожденным от всякой славянской высокопарности и темноты. Он читается как Гомерова Илиада. Не знаю, какое действие произвел бы он в России своей патриархальной простотой и разговорным житейским тоном. Думаю однако, что идея о божественности и классическом величии библии сильно поколебалась бы. В сущности, это есть история и законодательство народа, управляемого теократией, и в этом смысле библия понятна и естественна. Но божественный характер ее плохо вяжется с нашими христианскими понятиями, бог тут является в слишком человеческом и страстном виде. Моисей (или Моше), конечно, имел причины представить его таким для евреев. Они нуждались в правителе строгом, всегда готовом на казни, не щадившем никого и ничего в порывах гнева, — и бог действительно, по Моисею, был для них таким правителем. Но мы, христиане, не можем понять такого бога и в таком правителе не имеем нужды.

Хотел было прогуляться по городу, но подлец немецкий ветер попрежнему ходит по улицам с ножами и пыряет ими в ус и в рыло, говоря красноречивой русской поговоркой. Зашел к прелестной кондитерше и взял у нее для детей разного сладкого хлама. В самом деле, эта кондитерша красавица. Достанься это чудное личико француженке, что бы она с ним наделала! А эта немка неподвижно стоит себе у прилавка и только невозмутимо опускает себе в карман ваши зильбергроши.

29 сентября (11 октября). Четверг. Сегодня открытие памятника ‹К.-М.› Веберу на театральной площади. Жаль, что скверная погода — холод и дождь. Открытие состоится в десять часов.

Всякий живет своей мерой мыслей, знаний, верований, чувств и убеждений. Кто богаче ими, тот живет лучше. У каждого есть свой источник, из которого он может добывать все эти сокровища.

Литература воспитывает поколение, и потому писатели должны помнить, что на них лежит ответственность в том, сколько они могут внушить ему добрых стремлений и благородных чувств и сколько могут ослабить или укрепить в нем все честное, вместе с образованием эстетического чувства.

Ошибка литературных критиков и историков в том, что они смотрят на литературу односторонне. Они видят в ней силу, или возвышающуюся над обществом и притягивающую его к себе, или исключительно преданную общественным интересам и зависящую от них. Поэтому одни впадают в отвлеченный и мечтательный идеализм, другие в крайний реализм. Между тем у литературы двоякое призвание. Она в одно и то же время служит и идеалам и действительности. Те только произведения вполне соответствуют истинному назначению литературы, в которых идеальное не противно действительному и действительное не уничтожает идеального. Таковы у нас произведения Пушкина.

Всякий писатель, сильно действовавший на свое общество, пробуждает в нем или утверждает и известные нравственные и социальные принципы, открывает новые виды умственной деятельности, склоняет ум и сердце к известного рода понятиям, убеждениям. Этим отличается писатель-деятель от писателя с обыкновенным художественным смыслом, который изящными образами и картинами доставляет пищу одному только эстетическому чувству.

За Пушкиным мы признаем два значения: 1) значение как художника, образователя эстетического чувства в своем обществе и 2) как общественного деятеля, развивавшего в обществе известные нравственные принципы, склонявшего общество к известным задачам и вопросам жизни, дававшего направление мыслям и чувствам своего поколения.

Прежде у нас как бы играли в высшие интересы жизни. Перед умами мелькали высшие идеалы, но они не подвергались анализу, и их не сближали с жизнью. Они и в литературе и в действительности оставались отвлеченными в области фантазии. Пушкин первый смотрит на них с серьезной стороны, первый учит сочетать лучшие стремления духа, идеалы, с действительностью на почве нашей общественной и исторической жизни.

В последнее время Пушкину ставили в укор, что он лишен социального значения. Я глубоко уважаю то социальное направление, о котором так много заботится наша

современная литература. Я вполне признаю в ней деятеля в этом смысле и слишком далек от того, чтобы навязывать ей исключительно так называемый художественный характер. Но понятию «социальный» я даю более широкое значение, чем в последнее время принято ему давать. Я вижу в нем не только текущие общественные интересы, как бы они ни были важны, не только указание на текущие нужды, на разные недуги и злоупотребления, но и все, что заключается в основных верованиях и стремлениях народного духа, все, что входит в цели и способы его развития, словом — весь нравственный порядок вещей, всю сферу понятий эпохи. Таким образом мы считаем писателем социальным не только того, который нам указывает на разладицу общественных нравов и общественной жизни с идеалом человечности и народности, но и того, который эти идеалы возвышает, очищая их от всех временных искажений и извращений. Дело только в том, чтобы этот последний не выставлял нам идеалов отвлеченных или таких, которые чужды нашей народности и общественности. Пусть идеал его будет в высшей степени человечен, но пусть он в то же время вращается в сфере наших национальных и общественных понятий. Пусть между ним и этими последними существует связь, хотя бы то основанная на темных гаданиях только или предчувствиях людей, на стремлении их к лучшему или даже не к лучшему, а к известному, определенному миросозерцанию.

В Пушкине мы это находим, и потому вполне считаем его писателем социальным.

Надо только, чтобы писатель такого рода имел достаточно гения или таланта, чтобы быть в состоянии предчувствия, гадания, стремления общественные облечь в образы верные, живые, могущие неотразимо действовать на общество. Это последнее уже зависит, конечно, от степени его эстетического или художественного дарования. А у Пушкина оно было велико. [111]

30 сентября (12 октября). Пятница. Отправляемся сегодня в Россию через Бреславль и Варшаву в одиннадцать часов вечера, то есть с ночным поездом.

В полдень ходил смотреть памятник Вебера, открытый третьего дня. В этот день готовилось большое торжество, но оно сократилось по причине дурной погоды. Памятник не грандиозен, но очень хорош. Это бронзовая статуя Вебера на гранитном пьедестале. Он стоит, опершись локтем

одной руки на ноты, которые поддерживает муза, а в другой руке держит лавровую ветвь. Поза его благородна и проста. На лице выражено внимание: он как будто прислушивается к какой-то гармонии. Отделка памятника отчетлива и изящна; пьедестал отшлифован превосходно: драпировка легка. На пьедестале простая надпись: «Карл-Мария Вебер». Мне очень хотелось быть на торжестве открытия, но в этот день был такой холод с пронзительным ветром и дождем, что я побоялся доверить ему мое бедное тело и лишился нескольких приятных впечатлений.

Не выходят у меня из головы французы, какими я их видел теперь, под режимом Наполеона III. Они как бы созданы для того, чтобы любить зрелища и делать их, — они созданы для спектакля. Они играют в чувства, в правила, в честь, в революции. И надо отдать им справедливость, все, что относится к представлению, у них превосходно: знание ролей, мимика, декламация, вся обстановка. В них, если можно так сказать, нет того, чтобы быть, но природа одарила их богатыми средствами для того, чтобы казаться и производить эффект: воин, заговорщик, любовник, фанатик, либерал, раб — все это является у них на сцене, все это роли, выполненные с блеском и искусством. Они обладают таким уменьем переселяться в каждое лицо, усваивать себе по крайней мере наружные свойства его, что нередко обманывают неопытных. С первого взгляда их, пожалуй, и примешь не за актеров, а за настоящих людей, но пойдите за кулисы, всмотритесь поближе: вы во всем увидите румяна, мишуру, гримировку.

Французы своими революциями окончательно достигли того, к чему вели их национальные инстинкты, — они достигли равенства. Далее они не пойдут. Свобода, о которой мечтали их утописты, не по ним и не для них. Они могут снести какое угодно угнетение, лишь бы они были угнетены все одинаково и никто не был изъят из общего порядка вещей, никто не стоял выше другого. Прочная республика вряд ли возможна во Франции уже по тому одному, что она дает возможность выдвинуться вперед таланту и уму, что она допускает известные личности до превосходства, недоступного для других. Они не хотели бы никакого олицетворения власти — не потому, что власть сама по себе им ненавистна, но потому, что она украшается и возвеличивается ненавистными атрибутами личного превосходства.

Но как совсем без власти жить нельзя, то они охотно с нею примиряются, лишь бы она была сосредоточена и поставлена так высоко, что уравняться с ней ни для кого нет никакой возможности. Таковы по крайней мере французы настоящей эпохи. Наполеон III постиг это вполне. Он один, и совершенно один, стоит на уединенной высоте, не как французский гражданин, не как член общества, а как ни для кого не доступное могущество, олицетворенное человеческим именем. Он ни с кем не разделяет своей власти, но покажи только, что разделяет, — обаяние его мгновенно исчезнет.

Французы неспособны также никому дать над собой власти без того, чтобы не пожелать скоро взять ее назад. Но кто сам возьмет эту власть и сумеет поддержать ее, бросая им пыль в глаза, тому они повинуются беспрекословно.

Октябрь 1 (13). Суббота. Вчера в одиннадцать часов вечера выехали мы из Дрездена, а сегодня в полдень были на таможне в Сосновицах. Тут с нами обошлись учтиво, без всяких придирок. Но когда мы в десять часов вечера прибыли в Варшаву, там опять хотели нас осматривать. Когда же я спросил у чиновника, занимавшегося приемом паспортов, законно ли это, он приказал оставить и нас и других пассажиров в покое. Явился комиссионер из отеля «Европа», куда мы скоро и прибыли в омнибусе.

2 (14). Воскресенье. День тихий и светлый. Гулял в Саксонском саду, который не велик, но для городского сада хорош. Заходил справиться о местах в мальпосте: они будут для меня готовы в четверг.

Каждый город, селение, местность, как и человек, имеет в общем своем виде свою физиономию, эту неуловимую особенность, которая возбуждает в наблюдателе известного рода впечатление. Варшава, по крайней мере на меня, не производит приятного впечатления. Она вообще как-то грязна и жестка... Площадь против Саксонского сада могла бы быть хороша, если бы ее не портили здания безобразного и мрачного вида — с одной стороны гауптвахта, с другой — конюшни и казармы. Но всего некрасивее памятник посреди нее... Между тем собственно польская физиономия города не лишена интереса. Тут следы истории, свидетельствующие о самобытной жизни народа. Народонаселение в массе представляет черты оригинальности и не лишено

грации своего рода. В лицах, в движениях много жизни; физиономии подвижные и красивые...

4 (16). Вторник. Письмо от Гончарова уже из Петербурга, куда он прибыл 26 сентября. Он описывает бедствия, которые претерпел в дороге вследствие всякого рода лишений, проистекающих из нашей всероссийской дикости и неустроенности. Гончаров предостерегает меня от того, чему сам подвергся.

Человечеству в течение веков удалось сделать много заслуживающего удивления. Но каждый человек в отдельности чрезвычайно мелок и ничтожен. Он бывает даже очень смешон, когда гордится своими личными преимуществами, своим умом, своими знаниями, своими доблестями, забывая, что всем этим он обязан или случайности природы и судьбы, или наследству, полученному им от совокупных усилий всего человечества.

Заходил к ‹С. А.› Старынкевичу и в разговоре с ним узнал о разных настроениях нашей цензуры. В «Русском слове» была напечатана статья о Гоголе, в которой говорится, что тот пользовался уважением публики до тех пор, пока не начал «воскурять фимиам царю небесному и царю земному». Государь, говорят, призывал по этому случаю министра, которому сказал:

— Что обо мне говорят, я на то не обращаю внимания. Нельзя всеми быть любиму: одни любят, другие нет. Цари земные бывают с ошибками. Но о царе небесном нельзя так отзываться. [112]

Хорошие слова, и в самом деле жаль, что литература наша говорит такие бестактные вещи. Она не понимает ни своего положения, ни своей задачи в настоящую минуту. И ее дело не дразнить и не тревожить умы, а руководить их и просвещать. Это прекрасная роль, и ее нельзя выполнять, неистовым образом все ругая, как это, например, теперь делает Герцен. Герцен имеет свою неотъемлемую заслугу, но и он гораздо лучше сделал бы, если б воздержался от ругательств. Однако он в другом положении, чем все прочие наши писатели. Он открыто взял на себя роль не руководителя, а возбудителя. В этом отношении на нем нет той ответственности, как на других. Герцен не участвует непосредственно в делах наших. Ему может не быть вовсе дела до соблюдения разных условий, которыми не должен пренебрегать ни один писатель, если он желает успешно и благотворно действовать на общество.

По моей совести и по моему разумению, надо сдерживать слепое стремление, вызывающее из мрака духа бури, которого труднее остановить в его разрушительном течении, чем вызвать. Я родился, вырос, возмужал и теперь стареюсь в отвращении и вражде ко всякому игу, ко всякому притеснению. Личное мое чувство, все привязанности моего сердца на стороне свободы и права. Но я никогда в моих идеях не играл легкомысленно жребием людей для осуществления каких бы то ни было утопий свободы и права. Я не считал и не считаю их возможными без опоры закона. Мне известно, как и всякому, что блага эти покупаются жертвами, что без кризисов нельзя обойтись в переходах общества от одного порядка вещей к другому. Но ускорять или возбуждать насильственно эти кризисы — не мое дело. Напротив, я полагаю, что честный человек обязан смягчать их и содействовать тому, чтобы новый порядок вещей состоялся сколь возможно с меньшими пожертвованиями. Если история ничего даром не дает, то надобно по крайней мере заплатить за добро, которое она обещает или дает, сколь возможно дешевле. Мотать идеями на счет человеческой крови и мира общественного есть великое преступление. Те, которым суждено быть участниками и деятелями в этой сделке, обязаны быть мудрыми, а не рваться слепо к бездне вместе с толпой, которая не думает о том, что она оттуда вынесет.

Вечером в театре. Давали маленькую оперетку и балет «Два злодея». Балет шел прекрасно. Вообще эта часть спектакля в Варшаве, кажется, в цветущем состоянии. Но я обманулся, ожидая увидеть мазурку, настоящую польскую мазурку, полную страсти, бешенства и грации. Мазурку, точно, танцевали, но в бальных платьях, а не национальных костюмах, и так вяло и безжизненно, как бы это было в петербургских гостиных.

13. Четверг. В Петербурге. В четверг на прошедшей неделе, шестого, поутру в девять часов выехали мы из Варшавы в экипаже с экстра-почтой, где мы заняли четыре места внутри и пятое снаружи. Ехали мы очень скоро, останавливаясь только для перемены лошадей и для обеда не более получаса. Первые два дня погода была сносная. Но потом начал свирепствовать сильный холодный ветер с дождем, особенно по ночам. Однако мы благополучно доехали до Острова, куда и прибыли ночью, около двух часов, среди бури и ливня. Тут в первую минуту мы были сильно

озадачены. По причине большого скопления народа нигде не оставалось пустого помещения. Но нас вывело из беды распоряжение доброго Кобержского. Благодаря его заботам для нас заранее была удержана комната на почтовой станции. Было уже три часа ночи, когда мы ее заняли и расположились на кратковременный отдых. В шесть часов утра уже надо было спешить на станцию железной дороги. Новое затруднение. До станции надо было ехать еще версты три по скверной, грязной дороге и под проливным дождем с ветром. Экипажей, кроме простых телег, здесь нет. Но опять тот же Кобержский вывел нас из этой новой беды. Оказалось, что он заранее написал островскому почтмейстеру, чтобы тот, в случае дурной погоды, дал нам мальпост для доставления нас на железную дорогу. Здесь мы нашли сущий содом, неописанную тесноту, шум, гам, толкотню. Но все, наконец, уладилось, мы заняли наши места в вагонах и без дальнейших неудобств прибыли в Петербург десятого числа, в понедельник, в пять часов вечера. На другой день, во вторник, ко мне уже начали являться разные лица. В среду представлялся министру, попечителю; заезжал в Римско-католическую академию, был у доктора Вальца и у моего милого Ребиндера.

15. Суббота. Заседание в Академии, первое после моего возвращения в Петербург. Та же мелочь, пустота и скука.

21. Пятница. Умерла императрица Александра Федоровна. По этому случаю отложено заседание в Главном управлении цензуры.

29. Суббота. Похороны императрицы Александры Федоровны. Процессия пройдет мимо моей квартиры. На улице уже с половины десятого началось движение: сходятся толпы народа, войска; полиция суетится.

В 45 минут первого двинулась по нашей улице процессия похорон императрицы Александры Федоровны. Везде соблюдались чинность и порядок. Толпа безмолвствовала. Сама процессия развертывалась мерно, величественно. Государь шел за гробом, бледный и печальный. Шествие тянулось мимо нас целый час.

Ноябрь 2. Среда. Вечером была у меня графиня Толстая с женихом своим ‹М. С. Кахановым› просить меня быть ее опекуном, или, лучше сказать, опекуном имения, состоящего в тяжбе. Ее отец при смерти. Я обещался на время, пока они приищут другого, более способного.

5. Суббота. В Главном управлении цензуры я по возвращении застал еще более раздраженное отношение к литературе, чем прежде. Хотят, кажется, следовать системе притеснения. И все это наделала особенно одна статья в «Русском слове», или, лучше сказать, одна фраза, что «Гоголь был уважаем русской публикой до тех пор, пока не начал воскурять рабски фимиама царю земному и царю небесному». За эту фразу отрешили от должности цензора ‹П. К.› Ярославцева и сделали строжайший выговор издателю, графу ‹Г. А.› Кушелеву-Безбородку.

9. Среда. Некоторые чувства требуют того, чтобы их превозмогать и покорять какому-нибудь высшему началу. Таково, например, отвращение мое к ложному, шаткому, сбивчивому шатанию умов нашего времени и к эгоизму и мелочному самолюбию некоторых из наших общественных деятелей. Я с величайшим трудом принуждаю себя встречаться с ними, а встречаться с ними я должен. С некоторыми из них я был связан разными отношениями. Теперь мне претит поддерживать эти отношения. Нехорошо. Но как этому помочь? Как расположить свое сердце к большей терпимости, не подрывая оснований своего характера и своего достоинства?

В судьбе человеческого разумения заключается судьба всего живущего. Нет твердой мысли в человеке — и целый мир превращается в хаос.

10. Четверг. Учение материалистов, чувствуя невозможность достигнуть знания вечной и высочайшей истины, обходит ее и говорит, что она и не нужна, что можно без нее обойтись для исполнения не только обыкновенной общественной обязанности, но и высших задач человеческого существования. Без знания этой истины можно обойтись; с этим спорить нельзя: род человеческий и до сих пор без него обходится. Но без верования в нее можно ли обойтись? это другой вопрос. До сих пор род человеческий еще не открыл возможности обойтись без этого верования. На нем покоятся все наши нравственные отношения, все стремления к лучшему, все, чем человек укрощает свои страсти и возвышается до самообладания, самоуправления, до высшего понимания себя и своей жизни.

Философия материализма есть философия отчаяния. Ее можно формулировать следующим образом: «так как высшее знание, истина для человека недостижимы, то откажемся от них и постараемся убедить себя и других, что

можно устроить наилучший нравственный порядок вещей на земле, нимало не нуждаясь в основаниях нравственности, следуя единственно за физиологическими отправлениями нашего тела».

Дело не в начале, а в силе. Нынешние утописты (материалисты, социалисты, приверженцы так называемой положительной философии) думают, что они огромную услугу оказывают человечеству, толкуя о незаконности собственности, о злоупотреблениях власти и пр. и о средствах поправить зло, излагая теорию человеческих обществ, разделение собственности и труда. Они не видят, что все их понятия, начиная с Платона, очень стары. Но дело, очевидно, не в понятиях, не в началах, а в силе осуществлять понятия, начала...

Нравственный порядок вещей невозможен, когда в том, что мы о нем знаем и должны знать, не допустим связи с тем, чего мы не знаем и не можем знать.

Незнаемое есть верховный двигатель всякого стремления к совершенствованию. Закон развития есть не что иное, как побуждение из неизвестного перейти в известное.

11. Пятница. Это беспрерывное колебание здоровья, уже год продолжающееся, и необходимость следить за ним с вниманием зайца, преследуемого собаками, — все это сильно угнетает меня. В этом есть что-то жалкое и унизительное. Неужели так пойдет надолго? Отпустит ли мне природа еще несколько лет жизни, или она этими тревогами приготовляет меня к окончательной и немедленной развязке? Тяжело ходить между этими пропастями сомнений, опасений, физических забот и прочее. Между тем хотелось бы еще и действовать.

Любовь к своему *я* и к жизни, как и всякое чувство, может доходить до болезненной раздражительности, исключающей все другие чувства и интересы. Избави боже до этого дойти!

12. Суббота. В полдень заседание в Главном управлении цензуры. История Замятина по случаю фельетонной статьи о магазине в воскресном номере «С.-П‹етербургских› ведомостей». Он просит защиты против печати, чем и изобличает, что лицо, выставленное в фельетоне, действительно он и жена его. Хороши нравы общества, где возможны вещи, подобные тем, какие описаны в фельетоне![113]

Отвергнуть идеалы значит уничтожить в человеке всякое стремление к прогрессу.

Бесконечный анализ, которым вооружилась нынешняя наука, рассматривающая природу и человека, есть, конечно, также громадный шаг человеческого разума на пути его развития. Нынешние выводы из него неутешительны, но таковы ли будут и последующие? Может быть, именно отсюда возникнут новые идеи и принципы, каких матерьялистический анализ не ожидает, — идеи и принципы, укрепляющие высшие верования. Ведь анализом всего исчерпать нельзя. Но он может привести нас к таким рубежам и точкам зрения, откуда взор обнимет пространство еще бесконечнее, еще таинственнее того, какое ныне нам представляется, — и человек, в священном ужасе и великом предчувствии, воскликнет: «там, в этом глубоком безответном неизвестном, лежит что-то выше, святее, достовернее всего, что я до сих пор узнал и прочувствовал».

Первое правило наших ультралибералов в том, чтобы воспрещать свободу мнений всем, кроме самих себя.

26. Суббота. Заседание в Главном управлении цензуры. Прения о стихотворениях Некрасова, которые автор хочет печатать новым изданием. Издание это было запрещено еще Норовым. Теперь я подал письменно мое мнение о том, чтобы пропустить эту книгу, за исключением разве немногих строк. Прочие члены восстали против этого, находя, что стихотворения Некрасова носят чересчур демократический характер. Трудно вразумить таких господ, как, например, Пржецлавский, Берте. Однако положено отправить стихотворения в цензурный комитет и вновь рассмотреть. [114]

Декабрь. 1. Четверг. Факультетское собрание в университете. Толки о конкурсе на кафедру философии. Некоторые прочат на нее П. Л. Лаврова. [115] Я против этого: Лавров способен не просвещать, а помрачать умы.

3. Суббота. Заседание в Главном управлении цензуры. Берте докладывал, что в «Северной пчеле», в статье о Северо-американских Штатах, слишком распространяются о праве народа контролировать злоупотребления администрации и изменять формы ее. Я защищал газету тем, что ведь это не ее рассуждения, а выписки из североамериканских официальных статей.

— Это факты, прибавил я, — и факты, то и дело совершающиеся в Европе и в Америке. Нам, значит, ничего не оставалось бы, как воспретить газетам упоминать

о самих фактах этого рода, то есть мы должны закрыть глаза и уши наши на зрелище мирских дел.

Министр согласился с этим. Делянов и Тройницкий поддержали меня. Положено бросить это дело.

6. Вторник. Когда тебе в жизни приходится случайно наткнуться на добро, ты в опасности лишиться его каждую минуту. Но когда постигает тебя зло, оно крепко цепляется за тебя руками и зубами, и нет никакой возможности отделаться от него скоро. Одним словом, добро шатко, неблагонадежно и случайно; зло же крепко, постоянно и неизбежно.

Был у меня мой благородный Шульман! Ему, так же как и мне, заграничное лечение принесло не много пользы. Мы говорили с ним о нынешнем направлении умов и о том, как на них хотят действовать сверху. Много печального во всем этом.

8. Четверг. У наших писателей при начале нынешнего царствования недостало такта, чтобы воспользоваться дарованною печати большей долею свободы. Они много могли бы сделать для упрочения некоторых начал в обществе и для склонения правительства к разным либеральным мерам, но они ударились в крайности и испортили дело. Возгордившись первыми успехами, они потеряли меру, сделались чересчур требовательными, забыв, что год или два тому назад им едва позволили бы держать перо в руках. Им захотелось вдруг всего, и они начали сплошь на все нападать, как люди рьяные, но не способные руководить общественным мнением. Они употребили во зло печатное слово, вместо того чтобы воспользоваться им. Тщетно старался я стать примирительным лицом между литературой и правительством: первая так далеко занеслась, что вдруг встала в открытую и жестокую оппозицию с последним; последнее встрепенулось и стало усердно подтягивать вожжи. Такие господа, как Чернышевский, Бов[116] и прочие, вообразили себе, что они могут взять силой право, на которое они еще не приобрели права. Они взяли на себя задачу несвоевременную и непосильную и, вместо того чтобы двигать дело вперед, только тормозят его.

Считая себя передовыми людьми, руководителями общественного мнения, они действовали как зажигатели, как демагоги, чем и доказали свою незрелость и неспособность управлять общественным движением. Перед ними была роль действительно прекрасная: быть именно руководителями

умов там, где все так шатко, незрело, неразвито. Но они не поняли ее и, увлекаясь лирическими порывами, упали сами в толпу тех, которым нужно вразумление и руководство. Они как будто захотели бросить перчатку правительству, вызвать его на бой, вместо того чтобы соединить свои прогрессивные стремления с лучшими его видами — в которых нельзя же ему отказать вовсе — и таким образом сделать его, так сказать, своим помощником, с своей стороны помогая ему во всем благом и не стараясь вдруг, одним ударом, сломить его ошибки и старые предания.

Они, притом, смешали людей, стоящих около центра, с самим центром, и то, что в отсталых прежних правителях было дурного, они отнесли к самой идее правительства. Словом, это были люди, жаждавшие отличия, желавшие во что бы то ни стало сделаться популярными и, по примеру западных корифеев публицистов, быть политическими деятелями, вместо того чтобы быть только общественными, предоставив времени и постепенным успехам нашего развития делать свое дело.

10. Суббота. У графа Адлерберга. Разговор о литературе. Я старался примирить его с ней и много говорил в этом духе.

11. Воскресенье. Поутру у Ребиндера и у Делянова. Все по вопросу о кафедре философии в университете. Я настоятельно представлял тому и другому о необходимости поступить как можно осторожнее в этом деле. Всего лучше бы самою программою конкурса отстранить домогательство некоторых господ искателей, которых сует к нам в университет партия великих ультрапрогрессистов, не заботясь о том, что эти философы перевернут кверху ногами мозг в головах наших юношей. Таковы, например, ‹П. Л.› Лавров и ‹Н. Н.› Б‹улич›. Последний обладает весьма небольшими способностями, но большими претензиями на популярность, которую рассчитывает приобрести распространением новейшей философии немецких матерьялистов, но, конечно, в непереваренном виде.[117] Первый человек не без ума и дарований, но с головы до ног матерьялист, необузданный гонитель всего, что было, есть и даже будет завтра. Красным сильно хочется, чтобы он занял у нас кафедру философии, но этого не следует допустить. Я предложил Делянову мысль, чтобы в программе конкурса было прямо объявлено, ссылаясь на закон, чтобы ищущий про-

фессуры имел степень магистра или доктора. А если никто из таковых не явится? Уж лучше мы года четыре пробудем без философии, пока не приготовим кого-нибудь из студентов заграничным образованием. Это зло меньше, чем то, если преподавание столь важного предмета попадет в руки ненадежные или недобросовестные.

17. Суббота. Вечером заседание в Главном управлении цензуры. Пришлось долго сидеть и говорить с напряжением, отчего у меня жестоко разболелась голова. Шли ожесточенные прения. С великим прискорбием слушал я мнение графа Адлерберга по поводу одной статьи, доложенной Тройницким. Граф обнаружил невообразимое незнание и непонимание самых простых вещей в умственной и государственной жизни. Ведь его считают здесь представителем государя и голос его — отголоском последнего. Неужели и там так же думают и столько же знают? Это невероятно, невозможно! Мысль была следующая: не должно ничего дозволять писать о предметах финансовых, политико-экономических, судебных, административных, потому что все это означает посягательство на права самодержавия и тогда даже, когда в сочинениях этого рода вопросы рассматриваются с общей точки зрения и притом не заключают в себе ни малейшего намека на желательность каких бы то ни было изменений. Если же у кого зародится мысль об улучшениях по разным общественным и государственным предметам, тот может от себя писать в то ведомство, которого касаются эти улучшения. Словом, в печати нельзя обсуждать ни одного вопроса общественного. Тройницкий справедливо заметил, что это значит возвращаться к прошедшему времени. Напрасно он, я и Делянов доказывали невозможность такой системы, и что правительство само для своей собственной пользы должно желать гласного обсуживания разных общественных и административных предметов, и что между печатным объяснением своих мыслей и доносом заключается неизмеримая разница. Я тщетно старался растолковать также разницу между неприкосновенностью политического принципа в государстве и неприкосновенностью какой-нибудь местной власти и т. п. Адлерберг упорно стоял на своем.

— К чему было поднимать вопрос о статье ‹В. К.› Ржевского в «Русском вестнике», совершенно невинной, — сказал я Тройницкому: — вы видите, куда это ведет.[118]

Муханов вел себя очень осторожно. Он и председательствовал за отсутствием министра. Кончилось, однако, тем, что все осталось попрежнему.

19. Понедельник. Сильная наклонность в нынешнем молодом поколении к непослушанию и дерзости. Беспрестанно слышишь о каком-нибудь скандале то в таком-то университете, то в другом заведении. Нет никакого сомнения, что эти печальные явления — прямое следствие подавления в прошлом царствовании всякой мысли, подчинения ее дисциплине, простиравшейся до совершенного пренебрежения высшими началами нравственности, — словом, следствие сурового, всеподавляющего деспотизма. Теперь все, особенно юношество, проникнуты каким-то озлоблением не только против всякого стеснения, но даже и против законного ограничения.

23. Пятница. Гонение на воскресные школы. Князь ‹В. А.› Долгорукий подал государю записку, направленную против них, внушенную ему графом ‹С. Г.› Строгановым. За три или четыре дня министр наш делал государю представление о безвредности этого народного дела и о необходимости не стеснять его. Государь согласился с ним. А теперь опять хотят начать преследованием грамотности, которая, конечно, не составляет еще образования, но дает народу ключ к нему. Разве хотят осудить народ на вечную закоснелость, и когда же? — когда ему дают свободу. Логично ли это? Но у наших обскурантов все рано, и эмансипация рано. Если их слушать, они будут повторять это вечно. Между тем сила вещей и событий требует изменений и нововведений. Министр имел жаркое объяснение с князем Долгоруким.

Перед тем гонителем воскресных школ уже был генерал-губернатор ‹П. Н.› Игнатьев.

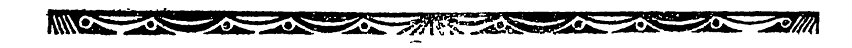
Конечно, дело не в воскресных школах, а в народном движении, которое ими выражается. Так что же? Повторяю: разве народ наш осужден навсегда пребывать в стоячем болоте! И не лучше ли управлять этим движением, чем уничтожать его, чтобы взамен него возбудилось движение, более вредное и опасное. Как близоруки наши государственные люди! [119]

30. Пятница. Вечером читал у меня ‹А. Н.› Майков свое новое произведение: «Испанская инквизиция». Это, бесспорно, одно из лучших его стихотворений. Дух времени (Изабеллы), католичества и иезуитства передан им пре-

восходно. Разговор Изабеллы с духовником веден мастерски: в нем изображение и женщины, и государыни, и католички блестит первоклассными поэтическими красотами. Притом все произведение в сложности своей таково, что в нем нельзя ни убавить, ни прибавить ни одного слова — так все точно, полно и строго обдумано. [120]

Еще были у меня в этот вечер Ребиндер, Гончаров и ‹А. И.› Чивилев. Кстати о Чивилеве. Он назначен воспитателем великих князей на место Гримма. Он нашел маленьких князей ужасно запущенными в умственном отношении. О развитии их и приучении к умственному труду до сих пор вовсе не думали. Между тем в императрице Чивилев нашел прекрасную женщину с добрым, любящим сердцем и возвышенными понятиями. Как это могло случиться, что воспитание князей было ведено так небрежно? Вина не Гримма, но и не тех, которые его выбрали и так долго терпели. Чивилев советовался со мною насчет некоторых преподавателей. Я советовал ему пригласить для русского языка Ореста Миллера.

Ребиндер тоже просил моего совета, кого бы определить на место ‹Н. И.› Пирогова, которого решительно не хочет государь. [121] Я никого не мог ему указать. Был призван на помощь Чивилев, и он указал ‹А. П.› Загорского.



1861

Январь 4. Среда. Нынешняя зима очень постоянна в холодах. Почти каждый день не меньше 15° мороза, а сегодня, например, так и 23°.

Обедал у графа ‹Д. Н.› Блудова. Там был, между прочим, ‹В. Д.› Кудрявцев, назначенный преподавателем философии наследнику. Он из Троицко-Сергиевской лавры. Говорил он так мало, что я не мог составить себе о нем никакого понятия.

5. Четверг. Толки о воскресных школах. Князь ‹В. А.› Долгорукий подал государю записку о их пагубности: они-де угрожают революцией и черт знает еще чем. Главный почин в этом приписывают графу Строганову. И князь и граф напугали государя. Хотят принять репрессивные меры. Советовать государю меры, подобные этой, право, могут только враги его. Сегодня будут об этом прения в Совете министров. Министр народного просвещения будет защищать школы.

Но, конечно, это одна сторона дела, и воскресные школы, с своей стороны, не безупречны и дают некоторый повод правительству к нападкам на них. Но в этом случае пусть правительство возьмет на себя руководство ими, но отнюдь не закрывает их.

6. Пятница. Виделся с Владиславом Максимовичем Княжевичем. Очень обрадовались друг другу. Я искренно люблю и уважаю этого благородного и просвещенного человека. Он, между прочим, рассказал мне о процедуре выселения татар из Крыма. Выселение было допущено в широких размерах и вдруг, без всякой постепенности. В за-

ключение Крым остался без рук, а теперь хотят возвращать ушедших. Замечательная дальновидность.

Победа за воскресными школами. Вчера было прение о них в Совете министров. Наш министр, говорят, горячо и прекрасно защищал школы. Главным виновником их гонения был не граф Строганов, как в публике ходили слухи, а ‹П. Н.› Игнатьев.

Да, победа за воскресными школами: на этот раз их отстоял министр, но сами-то они постоят ли за себя и надолго ли удержатся на высоте своего призвания? Или, как большинство всех благих начинаний в настоящее время, вместе с добрыми семенами начнут сеять и плевелы?

7. Суббота. Всего важнее для человека не быть жертвой уклонений, какие уже искажали человечество или какие возможны для него по его природе. В этом настоящая нравственность. Неведение зла и лицемерие равно противны ее требованиям, а большею частью только об этом и думают нынешние воспитатели и охранители общественной нравственности.

8. Воскресенье. Утром был у ‹Ф. И.› Буслаева, который очень доволен своими лекциями у наследника. Потом зашел к Д. П. Хрущову, а в заключение к Гончарову. У последнего встретил ‹В. П.› Боткина-старшего, который приехал из Парижа недели полторы тому назад. Он говорил о страшных холодах везде за границею: в Париже 18°, в Кельне 12°, в Берлине 18° — и о всеобщем приготовлении к войне.

10. Вторник. В самом деле, это истина, неопровержимая как аксиома: наибольшего недоброжелательства можно ожидать от тех людей, кому оказывал наибольше приязни и услуг.

12. Четверг. Написал и отправил письмо А. И. Морозову, моему доброму старому учителю.

Некоторым из наших деятелей приятнее слышать то, что они молоды, чем то, что они рассудительны.

14. Суббота. Ужаснейшие холода. Мороз за двадцать градусов, со свирепым ветром.

Был в заседании Академии ‹наук›. Рассуждали о спряжениях и ничего не рассудили.

Вечером заседание в Обществе пособия нуждающимся литераторам. Происходили перемены в составе правления Общества: четыре члена должны были по жребию выбыть, а четыре новые избраны. Я очень желал быть в числе

первых: силы мои всё плохи, и всякое лишнее дело на них отзывается, о чем я и говорил уже ‹Ег. П.› Ковалевскому и другим. Желание мое исполнилось. Первый же вынутый номер был с моим именем. Потом вышли имена Кавелина, Краевского, ‹А. Д.› Галахова. Правление много потерпит, лишась двух последних. Краевский прекрасно исполнял должность казначея, а Галахов — секретаря. Не скоро найдешь таких усердных и порядочных деятелей в этом кругу. [122]

17. Вторник. Поутру в католической церкви реквием по случаю кончины ‹В.› Ганки. Было довольно студентов. Из профессоров, кроме меня, были, кажется, только ‹И. И.› Срезневский, ‹Н. И.› Костомаров, ‹А. О.› Мухлинский. Однако и я не дослушал всего реквиема до конца. В церкви было холодно, а мне очень не по себе.

19. Четверг. Юбилей министра финансов А. М. Княжевича по поводу пятидесятилетия его службы. Шум, толпа, музыка, тосты с криками ура, речь Греча, стихотворение Бенедиктова, которых никто не слыхал, обильная еда и обильное питье. В этом прошло несколько часов. Усердия в словах было много. Впрочем, Княжевич действительно человек очень хороший и добрый, и кто так о нем думал и говорил сегодня, тот не лгал, как лгут обыкновенно на официальных обедах. Государь пожаловал ему Владимира первой степени.

21. Суббота. Заседание в Главном управлении цензуры. Продолжалось очень долго, почти до четырех часов, и это сильно отозвалось на моей бедной голове. Гонение со стороны Московского комитета, или, вернее, его председателя, на ‹Н. Ф.› Павлова, редактора газеты «Наше время». На меня возложено щекотливое поручение рассмотреть это дело. [123]

Барон Медем говорил мне о своем проекте газеты, подобной той, о которой у меня уже было дело. Он передал мне, что говорил об этом с государем и его величество ответил, что о газете уже делаются соображения. Тут разумелся мой план. Итак, дело о газете, значит, опять думают поднять. Я сказал Медему, что переговорю с графом Адлербергом и сообщу ему о последующем.

Обедал у Александра Максимовича ‹Княжевича› по случаю дня рождения его брата, Владислава Максимовича. Министр доволен своим юбилеем. В самом деле, тут было много для него лестного. Государь сказал ему, что

с большим удовольствием видит общее к нему расположение.

22. Воскресенье. Утро у князя В. Ф. Одоевского. Я давно с ним не видался. Княгиня была чрезвычайно любезна. У них по средам вечером собирается общество, и я дал слово бывать у них.[124]

23. Понедельник. Такие головные толчки, как в нынешнюю ночь, невольно наталкивают на мысль, что в одну непрекрасную ночь случится толчок, который столкнет меня в пропасть, где уже никакие толчки невозможны. До сих пор все усилия медицины против моей болезни бессильны. Мой добрый, почтенный Вальц отделывается общими местами: «это ничего, будьте спокойны», с примесью маленьких добродушных шуточек. Очевидно, он ничего не знает или ничего не может. Я и не виню его. Нельзя же винить человека за то, чего он не знает и чего не может. А между тем дневнику моему грозит опасность превратиться в один нескончаемый скорбный лист.

27. Пятница. В Римско-католической академии. Распутица. От высокого до смешного один шаг. О нашем климате можно сказать, что у него от двадцатипяти-, двадцатисеми-градусного мороза до оттепели один прыжок.

28. Суббота. Здесь в Главном управлении цензуры. В первом или во втором номере «Искры» напечатана шутка: «Слышно, будто в нынешнем году явится новая планетная система в Млечном Пути — новое солнце с 14-ю спутниками главными и 208-ю малыми; что в течение десяти лет оттуда каждый месяц по четыре раза будет падать на землю, и именно на Россию, такое огромное количество печатных листов, что они покроют все наше отечество», и т. д. и т. д. Эти слова истолковали невозможным образом. Объясняют: 14 главных спутников — это члены высокопоставленной семьи, 208 малых — столько же генералов и флигель-адъютантов; печатные листы — это кредитные билеты. В обществе разнеслись даже слухи, будто цензор, пропустивший это, посажен на гауптвахту.

В Главном управлении цензуры тоже была об этом речь. Некоторые члены готовы были сами сделать такое точно применение статьи. Я постарался объяснить, что в ней и тени ничего подобного и что все это относится к изданию «Энциклопедического лексикона», где главное лицо (солнце) — Краевский, а у него 14 редакторов и 208 сотрудников; 10 лет — срок издания, которое в течение этого

времени будет выходить выпусками — по четыре ежемесячно. С этим объяснением согласились. Не знаю, удовлетворится ли им также князь Долгорукий. Этот факт любопытен тем, что показывает, как настроено наше общество и чего оно ищет в современной литературе. [125]

Затем пошли нападки на разные журналы, доказывающие одно, что некоторые господа страшно боятся печати и готовы из каждой мухи делать слона.

29. Воскресенье. Важный для всей России день. Дело об освобождении крестьян внесено в Государственный совет. В заседании присутствовал сам государь. Оно длилось от часу до 1/2 или 1/4 седьмого. Государь, говорят, сказал прекрасную речь, в которой, между прочим, произнес слова: «Самодержавная власть утвердила крепостное право в России, она же должна и прекратить его». Он с большою твердостью выразил непременную державную волю свою о том. Некоторые члены протестовали против главных оснований свободы, и между ними, говорят, жалко отличился один, который выразил скорбь о прекращении нежных патриархальных отношений между помещиками и крестьянами. ‹П. А.› Клейнмихель, обратясь к государю, сказал: «Ваше величество изволили обещать предоставить помещикам полицейскую вотчинную власть над крестьянами».

Проект правительства сильно поддерживали великий князь Константин Николаевич, граф Панин и Чевкин. На противной стороне, между прочим, был и просвещенный, либеральный граф Строганов. Видно, недалеко ушли его либерализм и просвещение. [126]

Партия противников свободы, кажется, готова в своем бессилии на всякие гадости. Она выдумывает и распускает по городу разные нелепые слухи в расчете напугать правительство. Теперь, например, пущена в ход глупая выдумка о явлении ‹Е. В.› Путятину тени Якова Ивановича Ростовцева и проч. Из рук вон пóшло и достойно только мельчайших сердец и умов. [127]

30. Понедельник. Все утро занимался приготовлением доклада о споре Московского цензурного комитета с Павловым.

Февраль 2. Четверг. Годичное собрание Общества для пособия нуждающимся литераторам. ‹Ег. П.› Ковалевский прочитал ответ или речь, которую он только один, кажется, и слышал. Надо отдать ему справедливость, он удивительный мастер читать себе под нос.

5. Воскресенье. На днях прочел я в первом номере «Отечественных записок» статью ‹П. Л.› Лаврова: «Три беседы о философии». Это те самые лекции, которые были читаны в Пассаже. Боже мой! и это философия! Я не говорю уже о том, что тут все один матерьялизм. Но что за путаница! Что за хаос мыслей! Что за бестолковое изложение! Разве только на Сандвичевых островах можно признать за философию весь этот бред, все это шатание неустановившейся мысли. И этого Лаврова хотят навязать нам в университет в профессоры. Меня особенно огорчает то, что его, между прочим, поддерживает Кавелин. [128]

8. Среда. Акт в университете, неожиданно окончившийся большой демонстрацией со стороны студентов. Костомаров должен был читать речь. Он написал род биографии ‹К. С.› Аксакова. Министр отменил чтение этой речи. И вот теперь, по окончании акта, в зале вдруг раздались крики: «Речь, речь Костомарова!» Крики сопровождались топаньем, стучаньем и скоро превратились в дикий рев. Начальство скрылось. Один инспектор, как тень, бродил по коридору. Ко мне обратилось несколько благоразумных студентов с просьбою, чтобы я уговорил ректора Плетнева прийти и образумить как-нибудь расходившуюся толпу. Я пошел к ректору и застал его встревоженного, но он тотчас же согласился идти. Я отправился вслед за ним, видел, как он вошел в толпу, но за шумом ничего не мог слышать. Между тем я увидел жену его, бледную, испуганную, в сопровождении двух студентов. Я предложил ей руку и увел ее. Немного спустя к нам вернулся ректор, и я уехал домой. Прескверное дело! Молодежь теряет всякий смысл... [129]

9. Четверг. Не будем слишком сетовать на те нелепые стремления, которыми волнуются люди нашего времени. Это безумие, но только одним безумием люди вразумляются в чем-нибудь умном. Надо противодействовать безобразным порывам, исполняя требования разума, даже и не питая надежды на успех. Во всяком случае ты, может быть, сможешь хоть сколько-нибудь умерить последствия зла, если не силу самого зла.

11. Суббота. Заседание в Главном управлении цензуры. Читал мое мнение по делу о Павлове. Одобрено и положено считать его руководством для цензоров. Дело о фразе Лаврова в «Отечественных записках» (№ 1) обошлось, сверх моего чаяния, совсем хорошо. [130]

Разговор с графом ‹А. В.› Адлербергом о том, что произошло на университетском акте. Защищать поступки студентов я по совести не мог, но сказал, что здесь, во всяком случае, нужна умеренная строгость. Главная причина всему — неразвитость нашего юношества, которому поэтому и надо больше учиться и проч.

12. Воскресенье. У Кавелина сын умер, мальчик четырнадцати лет, прекрасно одаренный, отрада и гордость родителей. Ужасное несчастие! Я хотел сегодня поехать к нему, чтобы разделить его великое горе. Но, говорят, бедное дитя умерло от скарлатины, и я должен отказаться от моего намерения из опасения за моих собственных детей.

Вечером был у ‹А. М.› Княжевича. Длинная дружеская беседа с Владиславом Максимовичем ‹Княжевичем›. Министр входил к нам только на минуту. Он собирался на бал к Штиглицу.

15. Среда. Как спасти наши университеты от грозящей им полной деморализации? Ведь в них вся наша сила, все наши надежды на будущее!

Сегодня в сборном университетском зале были разные толки о происшествии на акте. Я высказал некоторые истины начальству, но, к сожалению, оно лишено возможности действовать с энергией и с достоинством. Да и министр не лучше в этом отношении. Некоторые из профессоров готовы даже защищать поступки студентов. С одним я сильно сегодня спорил. Ах, господа! нет, не любовь к юношеству и к науке говорит в вас, а только стремление к популярности среди студентов. Вместо того чтобы читать им науку, вы пускаетесь в политическое заигрывание с ними. Это нравится неразумной молодежи, которая, наконец, начинает не на шутку думать, что она сила, которая может предлагать правительству запросы и контролировать его действия.

Когда правительство являлось в характере насилия, когда оно стремилось подавлять всякое развитие свободы, всякие умственные и нравственные влечения, — тогда справедливо было его ненавидеть и стараться, где можно было, ослаблять его деспотический гнет. Но когда оно ступило на другой путь, когда оно готово уважать то, что прежде презирало и угнетало, словом, когда оно стремится сделаться и более разумным и более просвещенным, — тогда бесчестно не содействовать его благим начинаниям и работать только над его ослаблением. И это в такой момент, когда

общество сильно колеблется в своей незрелости и темные силы влекут его на путь к анархии!

И чего хотите вы, господа красные, если только вы имеете определенные цели? Вы хотели бы уничтожить настоящее правительство. Но кого же поставите на место его? Разумеется, вы не затруднитесь поставить себя. Но другие могут не захотеть этого. Тогда что: борьба, война? «Конечно, пусть повоюют, порежутся маленько — это полезно для человечества». Но кто же дал вам право распоряжаться чужими жизнями и человеческую кровь считать за воду?..

18. Суббота. Умы в сильном напряжении по случаю крестьянского дела. Все ожидали манифеста о свободе 19-го числа. Потом начали ходить слухи, что он на время отлагается. В народе возбудилась мысль, что его обманывают. Вчера генерал-губернатор пустил через газеты объявление, что, несмотря на разнесшиеся слухи, «никаких правительственных распоряжений по крестьянскому делу объявлено не будет». Это странное объявление, без всяких объяснений, что дело отлагается только на короткое время, приводит в раздражение умы. Опасаются тревог и вспышек. [131]

В сегодняшней газете (петербургской) пишут о покушении на бунт в Варшаве. [132]

Что-то зловещее чуется в атмосфере. Дай бог, чтобы все прошло благополучно.

20. Понедельник. Барон Медем написал инструкцию цензорам. Сегодня прислана она мне для прочтения. Говорят, тунисский бей вводит некоторые либеральные реформы в своем государстве. Без сомнения, однако, реформы эти составляют смешную карикатуру на свободные учреждения. Вот такую-то либеральную реформу предлагает в своей инструкции барон. Сегодняшний день я занимался проектом опровержения этой инструкции. Ее всячески надо отвергнуть. Главное, я буду доказывать, что подобные правила для цензуры невозможны. Когда это удастся доказать, инструкция сама собой падет [133]

22. Среда. Заезжал утром к Делянову поговорить с ним о проекте инструкции цензорам барона Медема. Он, так же как и я, находит ее невозможною. Вот уже один голос в мою пользу при будущих прениях.

23. Четверг. Наше дворянство должно с освобождением крестьян стать в новое отношение к правительству. Оно

должно приобрести новый нравственный и политический авторитет. Первый зависит от него самого, от степени его ума, образования и нравственной силы: ему предстоит теперь опереться на них, и на них одних. Авторитет политический возникает сам собой из новых обстоятельств, в которые дворянство вовлечено реформой. Правительство, освобождая крестьян, не могло не совещаться об этом с дворянством, не могло не призвать его к участию в своих предначертаниях. Это зародыш, из которого могут развиться более обширные права дворянства, разумеется, если оно сумеет воспользоваться этим первым выпавшим ему на долю моментом участия в делах правительственных, но сумеет не иначе, как опираясь на нравственный авторитет. Тогда оно получит политическое значение, собственно не как дворянство (для этого у него нет достаточной юридической и исторической почвы), но как лучшая часть народа, более образованная, более развитая, более способная понять какое бы то ни было право и поддержать его перед авторитетом верховной власти.

24. Пятница. Занимался проектом об уничтожении посторонних цензоров. Дело это поручено комиссии, состоящей из меня, Тройницкого и Берте.

25. Суббота. Заседание Главного управления цензуры от 12-ти до четверти 5-го часа. Много текущих дел. Несколько просьб о разрешении изданий новых журналов, которые теперь возникают в бесчисленном множестве в России. ‹И. В.› Вернадский, по словам члена, барона ‹Ф. А.› Бюлера, неистовствуя в своем «‹Экономическом› указателе» против правил цензуры, дошел, наконец, до того, что начал ясно говорить о необходимости конституции в России. Решено: призвать его в следующее заседание Главного управления цензуры и объявить, что так как он уже неоднократно доказал, что не заслуживает доверия правительства, то ему, при первой новой выходке, запрещено будет издавать журнал. Некоторые из членов требовали немедленного запрещения, но я уговорил Тимашева, сидевшего возле меня, удовольствоваться на этот раз выговором. С нами согласились и другие.[134]

26. Воскресенье. Все эти господа добиваются влияния. Дело не в том, чтобы устранять их, — если только они не стремятся прямо ко злу, — а в том, чтобы не допускать их до исключительного перевеса, ибо это значило бы порождать деспотизм.

Март 2. Четверг. Не то худо, когда говорят что-нибудь наперекор кому-нибудь и чему-нибудь, а когда говорят ложь, когда ничего не говорят или мешают друг другу говорить.

Обед, данный Академиею ‹наук›, некоторыми литераторами и знакомыми князю П. А. Вяземскому, который приобрел литературную известность и всеобщую любовь и уважение. Я охотно согласился принять участие в этой овации и даже приготовил маленькую речь, но не сказал ее, потому что и без нее было много речей и стихов. Лучшее из всего читанного здесь были стихи Бенедиктова. Но еще лучше было благодарственное слово самого князя, проникнутое чувством и искрящееся остроумием. Стихов Тютчева я не расслышал, но их многие хвалили. Праздник вообще был довольно оживлен. Я встретил много знакомых. На эстраде, огороженной великолепными растениями и цветами, зрительницами сидели дамы. [135]

5. Воскресенье. Великий день: манифест о свободе крестьян. Мне принесли его около полудня. С невыразимо отрадным чувством прочел я этот драгоценный акт, важнее которого вряд ли что есть в тысячелетней истории русского народа. Я прочел его вслух жене моей, детям и одной нашей приятельнице в кабинете перед портретом Александра II, на который мы все взглянули с глубоким благоговением и благодарностью. Моему десятилетнему сыну я старался объяснить, как можно понятнее, сущность манифеста и велел затвердить ему навеки в своем сердце 5 марта и имя Александра II Освободителя.

Я не мог усидеть дома. Мне захотелось выйти побродить по улицам и, так сказать, слиться с обновленным народом. На перекрестках наклеены были объявления от генерал-губернатора, и возле каждого толпились кучки народа: один читал, другие слушали. Везде встречались лица довольные, но спокойные. В разных местах читали манифест. До слуха беспрестанно долетали слова: «указ о вольности», «свобода». Один, читая объявление и дочитав до места, где говорится, что два года дворовые должны еще оставаться в повиновении у господ, с негодованием воскликнул: «Черт дери эту бумагу! Два года — как бы не так, стану я повиноваться!» Другие молчали.

Из знакомых я встретился с Галаховым. «Христос воскресе!» — сказал я ему. «Воистину воскресе!» — отвечал он, и мы взаимно передали друг другу нашу радость.

Потом я зашел к Ребиндеру. Он велел подать шампанского, и мы выпили по бокалу в честь Александра II. [136]

7. Вторник. В России не служить — значит не родиться. Оставить службу — значит умереть.

11. Суббота. Заседание в Главном управлении цензуры. Выговор Вернадскому, издателю «Экономического указателя», с угрозой прекратить его журнал, если он не будет осторожнее. Вернадский был смущен и оправдывался довольно неловко.

13. Понедельник. Заседание в факультете. Дело о суде над студентами, о котором мне уже говорил Делянов, принимает нехороший вид. А всё профессора, добивающиеся у студентов популярности и не руководящие, а подстрекающие их. Тут виноват С‹пасович›.

Всякий деспотизм скверен. Но деспотизм анархический еще несравненно хуже монархического.

16. Четверг. Судьба наших университетов должна бы обратить на себя внимание наших мыслящих людей и общества, если бы они способны были заниматься такими безделицами. Университеты наши, очевидно, клонятся к упадку. Юношество в них деморализовано; профессора лишены всякого значения... Многие кафедры пусты, другие скоро будут пусты, и некем их заместить, потому что молодые даровитые люди службе университета предпочитают другие карьеры, — одним словом, полное оскудение. Право, никогда еще, кажется, даже при Николае I, в 1848 году, университеты наши не были в таком критическом положении, как теперь. [137]

Читал сегодня в Академии мои заметки «О преподавании философии в наших университетах». Особенное сочувствие выразил мне Билярский. Ему, как он говорит, очень нравятся мягкость, ясность и осязательность, с какими выражены у меня самые отвлеченные предметы. [138]

18. Суббота. Заседание в Главном управлении цензуры. Мне поручено написать род наказа цензорам по некоторым текущим вопросам щекотливого свойства. Делу этому угрожало попасть в руки великого инструктмейстера барона Медема или канцеляриста Берте, этого великого возбуждателя вопросов, о которых само правительство охотно забывает. О последнем уже говорить нечего, а первый думает, что можно подвести под цензурные правила все отправления ума человеческого и таким образом разом освободить чело-

вечество от всяких нехороших мыслей. Пришлось взять это дело на себя.

Вечером у ‹Ф. Г.› Шульмана. Тут было бесчисленное множество артиллерийских офицеров, много генералов и наш министр, тесть Шульмана. Вечер давался по случаю именин Александры Евграфовны, жены Шульмана. Я много говорил с министром об университетских скандалах, о литературе, о князе ‹Г. А.› Щербатове. Министр считает его человеком недальним и называет первым виновником беспорядков в нашем университете.

В заседании Главного управления цензуры сделано «Современнику» предостережение, что если он не переменит направления, то будет запрещен. Это по докладу Берте. [139]

21. Вторник. То, что касается устройства вещей на земле, превосходно. Но нельзя того же сказать о судьбе живущих на ней. Природе совершенно все равно, страдает ли какое-либо создание или не страдает. Все это немножко похоже на наши казенные заведения. Во внешнем устройстве последних все чисто, порядочно, безукоризненно, но то, для чего именно учреждено заведение, не достигается. Снаружи — благочиние и благолепие, внутри — смятение, беспорядок и всякого рода крадства. Если это больница, то там больных не лечат или дурно лечат. Если это школа, то в ней никто не заботится о воспитании.

22. Среда. Вечером был у ‹Н. Р.› Ребиндера. Занимались проектом о разделении факультетов. Много толковали о министре. Ковалевский последнее время оказывается не на высоте своего положения. У него способности рутинера, человека, приспособленного к внешнему устройству вещей и к благоразумному ведению текущих дел, но у него не оказывается способностей быть человеком государственным и особенно министром народного просвещения.

28. Вторник. Был у Делянова, чтобы удостовериться в том, справедлив ли разнесшийся слух, будто он подает в отставку. Слух оказался неверным. Толковали о введении нового управления в университете.

30. Четверг. Сегодня моя последняя лекция в университете. С первого апреля начинаются экзамены. Я простился со студентами, сказав им несколько приветливых, искренних слов. Они выслушали меня внимательно и учтиво — и этого довольно, так как в моих словах не было ни лести, ни одобрения их действиям

31. Пятница. Обедал у графа Блудова. Там были, между прочим, Тютчев, Ковалевский Егор, ‹П. В.› Анненков с молодой женой. Графиня восхищалась стихами Хомякова, а Анненков не находил в них ничего хорошего. [140] Граф нападал на нынешних писателей за то, что они не умеют писать, и в сотый раз повторял свою любимую фразу: «Они, то есть нынешние писатели, не понимают, что есть на свете нечто, называемое искусством писать». Ковалевский и я молчали. Оспаривали графа Анненков, впрочем очень слабо, и Тютчев. Тут встретил я также — и возобновил с ним знакомство — К. К. Грота, бывшего губернатора самарского, а ныне директора департамента податей и сборов.

Вечером были у меня ‹А. С.› Воронов, ‹М. И.› Семевский, Тимофеев Константин Акимович. Семевский передавал нам свои прелюбопытные изыскания в архиве петровского времени. Выходит, что Устрялов упустил множество чрезвычайно важных источников в истории Петра, отчего история эта не представляет ни Петра, ни века его в настоящем свете. [141]

Говорили еще о лекциях Л‹аманского›. Он читает о Ломоносове. Я ожидал от него чего-нибудь нового, дельного. Между тем он главным образом потешается над немцами-академиками и доказывает, что Ломоносов, ссорясь с ними, хорошо делал. Интересна также мысль, что детство и юность Ломоносова прошли в самых благоприятных условиях для развития его гения, потому что живущий на Двине народ очень смышлен, и т. д. [142]

Апрель 1. Суббота. Заседание в Главном управлении цензуры. Министру сегодня точно хотелось выставить себя перед графом Адлербергом строгим и бдительным стражем литературы. Например, он усиливался опять запретить Некрасова, хотя все, кроме Пржецлавского, готовы были пропустить его, за исключением немногих мест. Наконец уже и граф Адлерберг заступился за него. [143]

4. Вторник. Вечер у Льховского, сделавшего кругосветное путешествие и побывавшего в Японии с нашим посольством. У него целый музей японских вещей и вещиц. Механические искусства, как видно, находятся в Японии на высокой степени развития. Но сами японцы тем не менее стоят еще на очень низкой степени умственного развития и образования. У них почти до совершенства доведена спе-

циальность рук, глаз и навыка. Эстетического же чувства, идеала — у них нечего и спрашивать.

‹А. Н.› Майков прочел нам свое новое стихотворение «Бабушка». Хорошо! [144]

7. Пятница. Недели две уже длится коварнейшая погода. Солнце светит ярко, как летом, а между тем стоит страшный холод с пронзительным ветром. Постоянно три-четыре градуса мороза.

Вчера занимался целый день проектом циркуляра цензорам, которым желал бы вытеснить знаменитую инструкцию барона Медема. У нее есть сторонники, а между тем она крайне запретительна. Должно быть, от усиленного напряженного состояния головы весь день ночью налетел на меня такой сильный шквал. Вся ночь была преисполнена страшных мерзостей: стукотня в голове страшная, какой давно уже не было; а толчков пять или шесть. Едва поуспокоюсь и задремлю — толчок; из них три — точно обухом в голову. Сегодня отправляюсь к Вальцу за советом — конечно, бесполезным.

8. Суббота. Весьма замечательное для меня заседание в Главном управлении цензуры. Я одержал победу. Дело в том состояло, чтобы отклонить инструкцию барона Медема, и для этого я написал циркуляр цензорам в духе, противоположном медемовской инструкции. Он стоил мне много размышлений и времени. Я опасался, что мне придется много бороться с некоторыми из членов. Однако победа была полная. Циркуляр мой был выслушан со вниманием и в заключение был всеми одобрен, даже Пржецлавским — чего я уже никак не ожидал.

Министр сильно промахнулся. Он прямо от себя, помимо Главного управления цензуры и помимо III отделения, исходатайствовал у государя дозволение ‹И. С.› Аксакову издавать журнал. Об этом нам было объявлено в прошлом заседании с указанием того, каким образом было испрошено согласие государя. Это сильно оскорбило Тимашева, а следовательно, и князя Долгорукова: они успели переубедить государя. Когда Ковалевский сегодня явился к нему с докладом, между прочим по делу Аксакова, государь уже другим тоном начал о нем говорить и велел, чтобы оно — это дело — было рассмотрено в Главном управлении цензуры на законном основании. Министр говорил мне об этом с прискорбием. Но дело все-таки, кажется, не проиграно: большинство голосов было за Аксакова. [145]

Обедал у Делянова. Там были Погодин, Костомаров, ‹В. Д.› Спасович. После обеда явились Плетнев и Тютчев.

9. Воскресенье. Поутру, между прочим, заходил к ‹А. В.› Дружинину. Бедный болен, и нехорошо болен. У него, кажется, развивается чахотка. Вечером приезжал ко мне В. М. Княжевич. Мы с ним хорошо побеседовали.

10. Понедельник. В некоторых губерниях в разных уездах уже произошли волнения среди крестьян, которые отказываются от выполнения всяких повинностей в отношении к помещикам. Помещики, в свою очередь, сильно раздражаются. Надо опасаться столкновений при наделе землей. Между тем так называемый образованный класс и передовые, как они сами себя называют, люди бредят конституцией, социализмом и проч. Юношество в полной деморализации. Польша кипит — и не одно Царство Польское, но и Литва. Все это угрожает чем-то зловещим.

12. Среда. Экзамен в университете из русской истории. Надо отдать справедливость этим юношам: они прескверно экзаменовались. Они совсем не знают — и чего не знают? — истории своего отечества. В какое время? — Когда толкуют и умствуют о разных государственных реформах. У какого профессора не знают? — У наиболее популярного и которого они награждают одобрительными криками и аплодисментами. Кто не знает? — Историко-филологи, у которых наука считается все-таки в наибольшем почете и которые слывут лучшими студентами, не знаю, впрочем, почему. Невежество их, вялость, отсутствие логики в их речах, неясность изложения превзошли мои худшие ожидания. [146]

Вечером у Ребиндера. Государь призывал к себе министра и объявил ему, что такие беспорядки, какие ныне волнуют университеты, не могут быть долее терпимы и что он намерен приступить к решительной мере — закрыть некоторые университеты. Министр на это представил, что такая мера произведет всеобщее неудовольствие, и просил не прибегать к ней. «Так придумайте же сами, что делать, — сказал государь: — но предупреждаю вас, что долее терпеть такие беспорядки нельзя, и я решился на строгие меры». [147]

Министр растерялся совсем: он ни о каких мерах до сих пор и не думал, как будто все обстоит благополучно. Не счастливится в выборе людей нашему доброму, хорошему государю. Три года ежедневно на глазах у Ковалевского совершаются вопиющие скверности — и он до сих пор

не мог себе представить, что тут надо что-нибудь предпринять.

13. Четверг. Если искусство зависит от окружающей его природы и среды, то каково должно быть наше? Ему остается одно из двух: или, постоянно воспроизводя пошлые и грязные явления, самому стать пошлым и грязным, или удариться в отчаянный идеализм.

14. Пятница. Вечером, между прочим, приезжали девицы Старынкевич. Их три. Они миловидные и очень хорошо образованные; рассуждают о предметах серьезных, много читают на пяти языках, но вовсе не педантки. Мои дочери с ними очень сошлись.

15. Суббота. В четверг в Совете министров происходили прения об университетах. Министр наш встретил страшные нападки на беспорядки, производимые студентами. Он ссылался на дух времени, но это не помогло. Государь назначил графа Строганова, Панина и князя Долгорукова рассмотреть записку министра о мерах, которые он предлагает. Собственно говоря, это значит подвергнуть министерство контролю и вверить попечение о делах его посторонним силам. Вот и дождался Евграф Петрович! Граф Строганов, между прочим, обратился к нему с вопросом: «Что сделали бы вы, если бы какой-нибудь профессор в вашем присутствии начал бы читать лекцию о конституции в России?»

Заседание в Главном управлении цензуры. Страшная путаница в понятиях наших глав цензуры. Мне удалось, однако, помочь графине ‹Е. В.› Салиас. ‹В. Р.› Зотову только уже никак не мог помочь: ему, кажется, придется оставить редакцию «Иллюстрации». Да, правду сказать, он-таки беспрестанно ссорился с цензорами. [148]

16. Воскресенье. Тройницкий говорил мне, что вчера получена телеграфическая депеша из Казанской губернии, извещающая о бунте там крестьян. Кто-то уверил их, что читанный ими манифест о свободе — не настоящий и что есть другой, предоставляющий им гораздо больше прав и выгод, например, отдающий им всю помещичью землю. На этом основании крестьяне отказались от повиновения не только помещикам, но и властям. Была употреблена военная сила. Шестьдесят человек крестьян убито. [149]

Вообще ходят слухи о вспышках в разных губерниях.

Поутру был у меня Погодин. Жалобы на министра, распустившего студентов. Вечер просидел у меня Сафонович

(Валерьян Иванович), бывший орловский губернатор, человек умный и образованный. От него я получил любопытные сведения о положении дел и о состоянии умов в провинции.

17. Понедельник. Мой старый приятель, сенатор ‹Д. П.› Хрущов, сошел с ума. Его уже отвезли в дом умалишенных к Штейну. Вслед за ним сошла с ума и жена его. Еще одно лишнее доказательство шаткости и несообразности в делах человеческих. Хрущов был честный, умный и просвещенный человек, каких не много у нас. Последние два-три года его преследовали постоянные неудачи по службе. За некоторые смелые мнения его, особенно против Игнатьева и Муравьева, кое-кто стал прославлять его крайним либералом, даже красным, — как он однажды сам мне это говорил. Это сильно и гибельно подействовало на его восприимчивую, честолюбивую душу, особенно, когда он увидел, что ему преградили путь к широкой деятельности, на который он уже было вступил.[150]

23. Воскресенье. День пасхи. У заутрени был в министерской церкви. После обедни министр позвал меня к себе разговляться. И мы отправились к нему вместе с Гончаровым.

Министр подал в отставку, но государь пожелал, чтобы он остался, пока приищет ему преемника. Ковалевский говорил мне, что оставляет свой пост с огорчением, но не может не оставить его, так как от него требуют, чтобы он приводил в исполнение чужие планы. ‹П. А.› Валуев сделан министром внутренних дел; ‹С. С.› Ланской — графом и обер-камергером; Чевкину и Панину пожалованы андреевские ленты; графу Блудову — аренда в двенадцать тысяч на двенадцать лет.[151] Вообще наград бездна.

24. Понедельник. Некоторые визиты: у Княжевича, у Муханова и проч. У Муханова встретил нового министра внутренних дел Валуева, который был лучезарен, как восходящее светило. Он наговорил мне кучу любезностей.

Вечер у Егора Петровича Ковалевского. Это были его именины, на которые он обыкновенно сзывает самое пестрое общество: от ‹Н. Г.› Чернышевского до министра иностранных дел ‹А. М. Горчакова›. Я нашел там много знакомых, и таких, которых не видал лет двадцать, например Мухина, долго жившего на Востоке, то в Каире, то в Константинополе. Много толков о предстоящем кризисе в нашем министерстве. Делянов тоже подал в отставку.

‹П. Л.› Лавров благосклонно кивнул мне головой и поговорил о равнодушии публики к «Энциклопедическому лексикону».

Когда большинство гостей разъехалось, несколько человек приютилось в кабинете хозяина и тут еще проболтали до часу. ‹И. И.› Панаев, по обыкновению с кокетливыми ужимками, рассказывал анекдоты об известных лицах. Чернышевский, тоже по обыкновению, смотрел великим мыслителем, публицистом, философом.[152]

25. Вторник. Прием у министра. Бесконечные толки о кризисе в министерстве народного просвещения. Тут все видят торжество реакционной партии, и Ковалевский мало-помалу вырастает в общественном мнении. Он не только оскорблен, но озлоблен. Я, однако, полагаю, что он не совсем прав. Ему давно и серьезно следовало бы подумать об университетских беспорядках. Теперь же, когда для рассмотрения его предположений назначен триумвират, ему, конечно, ничего больше не остается, как выйти в отставку. Ковалевский — человек не довольно сильной воли и не довольно, по настоящим временам, смелого и обширного ума. Но все-таки он умен, а главное, честен, — и этого уже много. Прочие далеко не так умны, а о добросовестности уже и говорить нечего. Каково, однако, положение государя: не иметь возможности положиться ни на ум, ни на честность окружающих его.

Говорят, ‹С. Г.› Строганову предложено было министерство: он отказался. Говорят также, что он очень силен при дворе и что его интрига произвела нынешний кризис. Сюда приезжал московский попечитель ‹Н. В.› Исаков. Государь дал ему прочитать предположения Ковалевского и спросил его мнение. Исаков отвечал, что он слово от слова разделяет его. «Поезжай же, скажи это графу Строганову», — сказал государь.

Но в чем состоят эти предположения? Главная мысль их, как говорят, в том, что никакие репрессивные меры, никакие строгости не приведут к добру, но что надобно усовершенствовать университеты в финансовом отношении и дать им возможность действовать в науке соответственно потребностям времени и успехам ее в Европе. Но это всё общие положения, а где же меры, которые должны и могли бы осуществить их?

26. Среда. Вчера узнал я, что бедный ‹С. С.› Куторга (старший) умер. Это был один из лучших наших профес-

соров. Два года уже, как он быстро падал умственно и физически. Он как-то очень невыгодно купил имение, запутался в долгах, и это потрясло его дух и тело. После него осталось семеро детей. Он был три раза женат.

Смотря на страдания, глупости человеческие, на всю эту жалкую процедуру жизни, оканчивающуюся смертью, невольно спрашиваешь себя: с какою целью все это сделано или сделалось? В отчаянии, право, иногда кажется, что это действительно сделалось, а не сделано, а потому тут о цели и спрашивать нечего.

Май 1. Понедельник. Весь апрель был очень холоден. Стояли ясные, но крайне суровые дни. Вообще и признаков весны нет.

В Казанской губернии, как известно, крестьяне забунтовали. Там объявился самозванец. Кто-то назвался одним из великих князей и распространил в народе манифест своего изделия, предоставляющий крестьянам неслыханные льготы, а именно, что вся помещичья земля их, что они не обязаны ни платить помещикам оброка, ни работать на них. Принуждены были прибегнуть к военной силе. Человек пятьдесят убито. Это не осталось без отражения и на университет. Студенты отправили по убитым панихиду. Во главе их был какой-то профессор. Другой профессор, ‹А. П.› Щапов, сказал речь.

Бесчисленные толки о назначении министра народного просвещения. Теперь бродят по городу имена ‹Ф. П.› Литке и ‹М. А.› Корфа.

3. Среда. Однако добродушный русский народ, который, по словам Погодина, встретил свободу с умилением сердца, кротко и благодарно, начинает в разных местах проявлять свое вековое невежество и грубое непонимание закона и права. Вчера опять тамбовский помещик рассказывал мне, что у него в имении тоже были сцены неповиновения властям: «Не хотим работать, и дай нам земли, сколько хотим». Опять принуждены были призвать солдат для растолкования им, что работать должно и что земля не вся их. В другом имении крестьяне бросились с топорами в барский лес и еще до раздела весь вырубили.[153]

4. Четверг. А болезненные симптомы у меня не прекращаются. Опять возникают толки о необходимости повторить морские купанья. На этот раз доктора соглашаются ограничиться Либавой, так как я наотрез отказался от более далекого путешествия.

5. Пятница. Приемный экзамен в университете. Экзаменовались в русском языке гимназисты. Нельзя сказать, чтобы блистательно. Вечером были Гончаров, Краевский, Льховский и другие. Краевский вчера приехал из Москвы. Там студенты, по его словам, распущены еще хуже, чем в Петербурге. Они явно требуют смены таких-то лиц, чтобы начальство не мешалось в их дела, а главное — совершенно не хотят ничему учиться. Дворянство в Москве все, по словам Краевского, сильно негодует на нынешнее положение вещей. Словом, все приходит в разладицу и безобразие.

6. Суббота. Прелестные майские дни, нечего сказать. Три градуса тепла, пронизывающие до мозга костей зефиры, грязь, а сегодня ночью даже выпал снег. Надевай опять шубу.

Заседание в Главном управлении цензуры. Пропасть дела, просидели до четырех часов. Прения о ‹В. Р.› Зотове, которые я опять возбудил, стараясь доказать, что нельзя так легко лишать писателя права быть редактором журнала. Берте, главный виновник этого решения, утверждал, что Зотов его заслужил, нарушив цензурные правила. Я возразил, что все-таки не следовало постановлять такого сурового решения, не истощив прежде более умеренных средств. Кончилось тем, что, не отменяя уже постановленного решения, согласились дать Зотову возможность оставаться редактором «Иллюстрации» неопределенное время, в которое он может поправить свою ошибку.

Еще прения о воспрещении в обличительных статьях печатать имена.[154] Кроме того, Пржецлавский сильно восставал против ввоза заграничных книг через Польшу.

8. Понедельник. Экзамен в университете из русской словесности. Экзаменовался IV курс. Отвечали хорошо.

10 Среда. Ночь, какой давно не бывало. На этот раз уже совсем не знаю, чем заслужил я такую немилость природы.

Мы все готовы быть благоразумны, трудолюбивы, честны при благоприятных условиях и всегда ссылаемся на неблагоприятные при недостатке в нас вышеупомянутых качеств.

12. Пятница. Вчера решалась в Совете министров судьба университетов. Граф Строганов читал свой проект. В чем именно состоит этот проект — я в точности не знаю. Но говорят, что он клонился к тому, чтобы сделать университеты

доступными только дворянству и имущим классам. Ковалевский, разумеется, сильно опровергал проект. Его поддержали решительно все члены Совета. Особенно много возражал графу Строганову Чевкин. Проект с шумом провалился..[155]

16. Вторник. Май, наконец, смилостивился: вот уже четвертый день тепло, деревья быстро распускаются.

В сегодняшнем номере «С.-П‹етербургских› ведомостей», наконец, напечатаны известия о казанских беспорядках среди крестьян. Убито пятьдесят пять человек, раненых семьдесят один.[156] Да, в истории человечества ничто не дается даром. Людям за все приходится платить ценою пота и крови своей.

Окончательно утверждают, что министром народного просвещения назначен граф ‹Е. В.› Путятин, а товарищем его — ‹А. С.› Танеев.

19. Пятница. Вечером были Гончаров, Щебальский, Струговщиков, Тимковский и проч. Толки о новом министре (впрочем, еще не утвержденном), графе Путятине. Никакой возможности по этим толкам составить себе какое-нибудь определенное понятие об этом человеке: так разноречивы суждения о нем. У нас в обществе вообще редко являются с явственно очерченною физиономиею. Репутации большею частью устанавливаются на лживых данных — возвышаются, падают без достаточных причин или по крайней мере без причин основательных и справедливых. Никто, кажется, не заботится об истине, и всякий хочет только во что бы то ни стало пустить в оборот и свое слово. Проклятая наша привычка во всем видеть повод к выставке себя, к показу.

Ковалевского все восхваляют за то, что он оставляет министерство с таким блеском, поддержав в Совете министров принцип прогресса и проч. Я не совсем разделяю это мнение. На меня это производит впечатление, как будто он пожертвовал государем за добрую молву, за лестный отзыв со стороны людей известного лагеря. Следовало ли ему в такую серьезную минуту покидать доброго, честного, благонамеренного государя, вся вина которого в том, что вокруг него нет людей достойных. Но, возражают мне, что же было делать Ковалевскому, если государь не приглашал его остаться и, видимо, склонялся на сторону противной партии? Так, но Ковалевский еще раньше, после аксаковского дела, сам оттолкнул его от себя. Да и в университет-

ском вопросе он действовал по меньшей мере нерадиво Университеты уже года три видимо падали в экономическом, учебном и нравственном отношении. Предпринял ли Ковалевский что-нибудь для их улучшения? Ковалевский точно боялся приняться за это дело, как бы из боязни нарекания, что он противится либеральному движению, если бы ему пришлось прибегнуть к какой-нибудь ограничительной мере в отношении студентов. Он, если можно так сказать, поставил себя в положение нейтральное, заботясь только о том, чтобы в публике его бездействие не было приписано его вине. Не знаю, но на мой взгляд он в данном случае действовал не как государственный человек, который должен бороться с трудностями, а как человек, ожидающий благоприятных обстоятельств, чтобы делать что-нибудь хорошее. Теперь он попал в мученики за правое дело. Но что скажет об этом будущее?

22. Понедельник. Подал просьбу об увольнении меня в отпуск на два месяца. Здоровье мое в течение всей зимы стояло на одной и той же точке плохого состояния и ночных страданий. Врачи предписывают новый поход к морю.

Новый министр, граф Путятин, еще не вступил в должность. Он сперва едет в Англию за своим семейством.

Обедал у графа Блудова. Толки о Ковалевском, что он слаб характером: оставил по себе зародыш язвы, который может отравить все управление нового министра — Кисловского, будто теперь метящего в директоры департамента министерства народного просвещения. Я молчал. На душе уныло, мрачно, безнадежно.

23. Вторник. Вечером был у меня профессор ‹С. М.› Соловьев, и мы с ним долго беседовали о современных делах, о новом министре и проч. Он принес мне два последних тома своей истории, X и XI. [157]

25. Четверг. Ездил на Каменный остров к Княжевичу. Александра Максимовича видел только мельком. Он готовил доклад государю.

Май изумительно хорош. Но что за пыль, за смрад и духота в Петербурге. Дышишь не воздухом, а мерзостью, которой и имени нет.

27. Суббота. Поутру был у Муханова проститься перед отъездом. Он не остается товарищем министра. Потом зашел к министру тоже проститься. Та же песня, что он жалеет о том, чего он не успел сделать или докончить для министерства, и проч.

Июнь 3. Суббота. Заседание в Главном управлении цензуры. Я сильно поспорил с Пржецлавским по поводу его проекта об инструкциях цензорам, который он называет «философией цензуры». В сущности это самые ретроградные идеи. Меня поддерживали Делянов и Тройницкий. Муханов председательствовал и вел себя очень хорошо. Он предполагает употребить проект как материал при составлении нового устава, если таковой будет составляться. Этого мне и надо было. Я решительно объявил, что буду возражать письменно на проект Пржецлавского. Проект этот положено отложить.[158]

Сегодня болезненный пароксизм незаконно вторгся в не принадлежащий ему день и сильно-таки помучил меня.

7. Среда. Со вчерашнего дня погода переменилась и от неестественных жаров вдруг перешла к неестественному холоду, дождю, а сегодня был град.

Ездил на Каменный остров к Княжевичу проститься. Министр и за чаем все подписывал бумаги. Я по обыкновению много беседовал с Владиславом Максимовичем и с дамами. Немного погуляли. Вечер был тихий и безоблачный, с чудесным лунным светом, но очень холодный.

8. Четверг. Сегодня весь день ушел на укладку. Бумаги в портфель — и всякая умственная работа должна прекратиться. По крайней мере я так обещался доктору, моей семье и самому себе.

Прощай на три месяца, мой милый кабинет.

9. Пятница. Около полудня я с дочерью отправился в Либаву на пароходе «Леандр». Пассажиров множество. Пароход хорош на ходу. Каюты опрятны, койки просторны. Зато кормят на нем прегнусно, и прислуга груба и неповоротлива. За все берут страшные цены. Даже стакана чистой воды нельзя достать: вместо нее дают морскую воду. Разумеется, для того, чтобы брали вино или пиво. К ночи море разыгралось. Начались сцены укачивания. Почти всех укачало. Осталось очень немного привилегированных и в том числе мы. Мы долго сидели на палубе — ходить от качки нельзя было, потом резкий ветер прогнал нас в каюту, где я повергся на койку и заснул спокойно, без всяких толчков и томлений.

10. Суббота. В половине пятого утра мы вошли в Ревельскую гавань. Некоторые из пассажиров тут совсем покинули пароход, другие съехали на берег погулять. Мы не захотели. Дул резкий ветер. Небо было сумрачно, и Ре-

вель, едва проснувшийся, смотрел неприветливо. Часа через четыре мы опять очутились в море. Теперь оно было довольно спокойно, а к вечеру совсем стихло. Волны улеглись, зайчики скрылись, и тихая зыбь едва рябила широкое пространство.

В пятом часу пароход опять остановился, чтобы высадить пассажиров в Гапсаль и сложить часть груза в прибывшие за ним лодки. Мы простояли тут часа три. Был чудный вечер. Солнце на дальнем горизонте огненным шаром величественно погружалось в волны. С другой стороны на чистом небе выплывала полная серебристая луна, какою рисуют ее живописцы и поэты. Перед Аренсбургом новая остановка и высадка пассажиров, но это было уже ночью, когда мы спали.

11. Воскресенье. Мы в Риге, куда прибыли часов около двенадцати. Остановились в гостинице «Du Nord». * Нас еще на пароходе встретил служивый Бубнов, приставленный к нам для услуг, на все время нашего пребывания в Риге, моим старым приятелем К. И. Рудницким, который сам в это время отсутствовал. Бубнов доставил наши вещи в гостиницу и ухаживал за нами так толково и добродушно, как умеют только старые солдаты. С нами вместе остановилась одна молоденькая дама, ехавшая на свидание с родными в Митаву, — настоящий ребенок и по наружности и по понятиям. Она еще на пароходе примкнула к нам и просила не оставлять ее одну.

Гуляли в саду Верман, где была музыка, а потом в Кейзергартене. С этой стороны Риги вообще много зелени, садов с прекрасными аллеями и разводится еще новый обширный парк. Рига в общем производит приятное впечатление. Но это совершенно иностранный город.

12. Понедельник. День в Риге. Нам хотелось отдохнуть. Вечером заходили в католическую церковь против наших окон, от нечего делать поглазеть на свадьбу. Оказалось совсем не интересно. Невеста была старая и очень неизящна.

13. Вторник. В восемь часов утра отправились в дилижансе в Митаву. Дорога непривлекательная. Кругом то песок, то болото и местами лес.

В Митаву прибыли в полдень и очень неудачно. Попали в самый разгар ярмарочной сутолоки. Гостиницы все битком

* «Северной». — *Ред.*

набиты. Нигде ни щели пустой. Мы в унынии бродили по городу, не зная буквально, где приклонить голову. Но вот, пытливо всматриваясь в нас, подходит к нам какой-то человек — очевидно, жид — и предлагает указать нам удобное помещение. Идем за ним. Он действительно указывает нам две сносные комнаты и требует за ночлег пять рублей. Что делать? Конечно, согласились. Через минуту является солдат, тоже из жидов, с плутейшею из плутовских рож, и предлагает: не надо ли чего сделать, куда сбегать, чего добыть? Я послал его в гимназию к Траутфетеру, который не замедлил явиться, к моему великому удовольствию и облегчению. Он уже нанял для нас коляску в Либаву и обратно за десять рублей. Я осмотрел ее, и она оказалась удовлетворительной. Потом он водил меня в казначейство, где я взял подорожную.

Вечер я провел у окошка, из которого наблюдал ярмарочное движение. Тут сидели торговки с копченою рыбой, а вокруг них сновали покупатели. Купля производилась, вместо звонкой монеты, посредством каких-то бумажонок, которые вызывали бесконечные и громкие споры. Очевидно, не все эти бумажки пользуются здесь одинаковым кредитом. Вообще картина перед глазами была оживленная, но нельзя сказать, чтобы привлекательная, и воздух далеко не благоухал.

Митава не интересна, грязна и скучна. Но среди женских еврейских лиц много красивых и промелькнуло два-три даже прекрасных.

14. Среда. Рано утром и не без удовольствия выехали из Митавы. Ночевали в Фрауенбурге, в грязной почтовой гостинице, сильно смахивающей на жидовскую корчму.

15. Четверг. Приехали в Либаву в восемь часов вечера. У заставы, при въезде в город, нам подали записку от господина Ш. с адресом нанятой для нас квартиры, но, увы! нас там ожидало сильное разочарование. Квартира оказалась нелепою, в скверной улице, на грязном дворе, с неопрятной обстановкою и с каким-то невыносимым затхлым запахом. Нас это очень огорчило. Мы провели ночь, кое-как разместившись на стульях: кровати смотрели слишком непривлекательно. На следующее утро решились искать другую квартиру. Неприятные объяснения с хозяйкой. Она сильно разворчалась, говоря, что наш переезд от нее обесчестит ее дом, и требовала всей уплаты сполна за ее квартиру. Я не отказывался от выдачи ей неустойки, но такое

требование нашел чрезмерным. Она настаивала. Я предложил обратиться за разрешением нашего дела к бургомистру, обещаясь со своей стороны безусловно покориться его решению. Но хозяйка на это не согласилась и поспешила понизить свои претензии до более скромной суммы, а именно до пятнадцати рублей. Я больше не спорил. После непродолжительных поисков мы нашли премилую, пречистую и преудобную квартиру у доктора Иогансена, к которому у меня было рекомендательное письмо от Вальца. С какой радостью перебрались мы сюда из сырой, мрачной, вонючей конуры, которую нам было приготовили. Теперь лучшего и желать нельзя. Три вполне приличные комнатки с зеленью, которая просится в окна, с бельем и всякою посудою — за шестьдесят рублей за шесть недель. Цена та же, что и за прежнюю квартиру.

Июль 10. Понедельник. А в конце концов Либава очень миленький, чистенький городок. В нем десять тысяч жителей, и он, очевидно, принадлежит к весьма достаточным городам. Тем не менее жители ныне жалуются на упадок торговли, которая, по их словам, до последней войны была гораздо деятельнее. Настоящий упадок торговли они приписывают англичанам, которые захватили здесь несколько кораблей, и в том числе восемнадцатипушечные. Захват этот происходил на глазах у жителей, но они не могли противиться. У них не было другого войска, кроме их так называемой национальной гвардии, состоявшей всего из нескольких десятков людей, — да и те едва умели владеть ружьем.

Крестьяне, являющиеся сюда на рынок, имеют зажиточный вид. Да и соседние деревни, в которые случается заглядывать, тоже производят скорей приятное впечатление. По крайней мере нищета не бьет здесь в глаза, и мало видно пьяных. Заметил я еще одну особенность: здешний народ, кажется, очень любит петь. Возвращаясь с работы группами, люди эти почти всегда поют, и, право, недурно.

На улицах Либавы полная тишина и спокойствие. Даже присутствие в ней жидов не портит ее. Сами они и жилища их как-то здесь опрятнее, чем, например, в городах наших западных губерний.

В Либаве есть музыкальная городская капелла. Она по три раза в неделю дает концерты в парке, в нарочно воздвигнутом для того павильоне, за что берет с приезжих по четыре рубля с мужчин и по два с дам.

Кстати о парке. Он невелик, но очень недурен, с тенистыми каштановыми и липовыми аллеями, с беседкой из зелени и с насыпной горкой посередине. На одной из прогулок в парке я встретился с моим университетским товарищем, профессором турецкого языка ‹И. Н.› Березиным, и с тех пор мы часто гуляем вместе. Он приехал сюда тоже купаться в море.

Морское купанье здесь очень хорошее, но, к сожалению, только плохо, или, лучше сказать, вовсе не устроено, особенно для дам. Мужчинам все-таки лучше, потому что им открыт доступ в павильон, где в прошлом году купался наследник. Этим павильоном пользуюсь и я за три рубля в сезон.

Но у Либавы есть и оборотная сторона. Она мила, но крайне прожорлива и глотает рубли так быстро, что вы едва успеваете вынимать их из кармана.

14. Пятница. Вечер в гостях у доктора. Тут собралось несколько почтенных либавских граждан. Мне понравилось это простое и не лишенное образования общество, которое к тому же держало себя с достоинством. Ко мне все они были очень внимательны и вежливы, но с тактом, без навязчивости и излишней предупредительности. Некоторые порядочно говорят по-русски, и я с ними беседовал о делах городских, о торговле, промышленности, но больше всего говорил об учебной части с учителем здешней гимназии, где он преподает древние языки.

В этой маленькой Либаве есть все, что характеризует цивилизованные местности: школы, приют для сирот, заведение для призрения дряхлых и убогих, больница, клуб — все это незатейливое, не роскошное, но содержится в порядке и в довольстве. Есть две книжные лавки.

Горожане очень не расположены к курляндскому дворянству. Они обвиняют его в духе касты, в надменности, в эгоизме и в готовности всегда и везде притеснять слабых. Либавцы очень довольны статьей, которая недавно напечатана в рижской газете и где доказывается, что курляндское дворянство незаконно завладело землей и незаконно пользуется разными привилегиями. Автор статьи все это подтверждает фактами.

15. Суббота. В воспитании мы больше всего должны думать о том, о чем у нас вовсе не думают, — об образовании характеров. Этого, конечно, нельзя достигнуть нравоучениями или дидактикою, но всякий преподаватель и наставник может этому косвенно содействовать, и

наука, более чем когда-либо, должна быть призвана здесь на помощь. Вот хоть бы преподаватель русской словесности может, с своей стороны, много сделать, если захочет. Пусть он задает учащимся сочинения и настаивает на том, чтобы учащиеся выражали свои мысли с строгою точностью и логическою последовательностью. Прочь всякое щегольство фразою, всякое пусторечие. Это может постепенно отучить учащихся от неопределенного шатания мысли и направить ум их к сосредоточенности в самих себе. При разборе писателей тоже много можно содействовать правильному, строгому развитию мысли, а это, несомненно, может отразиться и на общем складе ума и характера учащихся. В этом духе должны бы действовать и другие преподаватели.

17. Понедельник. Сегодня ночью разразилась великолепная гроза. Недалеко от нашей квартиры упала молния и произвела такой треск, что моментально подняла на ноги весь дом. Доктор говорил нам, что в два прошедшие дня, когда были сильные грозы, в окрестных деревнях произошло много пожаров от молнии.

Август 1. Вторник. Вчера было последнее мое купанье. Завтра уезжаю из Либавы. Этим кончается и мое летнее лечение. Что оно принесет мне впереди — не знаю. А пока пароксизмы, меня преследующие, сделались только сильнее. Я было зашалился, зазнался, возложил слишком большие надежды на море, и это на время ослабило мои худшие опасения. Доктор уверяет, что настоящее ухудшение есть совершенно естественное последствие от возбуждения, какое всегда производит морское купанье на организм человека. Но дело в том, что я большой скептик. Я мало верю в какое-нибудь положительное знание. Судьба человеческая для меня запечатлена семью апокалипсическими печатями. Что же могу я знать из того, что мне благотворит или угрожает в этой бесконечной игре явлений, которые если и не случайны, если и основаны на законах, то законы эти опять-таки для меня — тайна, запечатленная семью апокалипсическими печатями. Мы знаем гораздо более о губительных силах, которые на нас действуют разрушительно, чем о средствах, как помочь себе в горе. Одно верно: надо прямо в глаза смотреть беде и не смущаться духом, а для этого надо быть всегда настороже, всегда вооруженным с ног до головы и не давать воли пустым надеждам. Или, лучше сказать, надо не считать слишком важным ни

жизнь, ни свою особу. В этом настоящая мудрость человеческая.

2. Среда. Сегодня получил множество писем, между прочим от ‹А. С.› Воронова. Он сообщает мне неутешительные вести о нашем новом министре ‹Путятине›. Во-первых, Кисловский опять входит в силу и готовится играть роль, какую играл при взбалмошном и ребячливом Норове. Во-вторых, у министра бродят странные идеи, например: что преподавание в наших училищах надо подчинить духовенству; что в университетах следует отделить вольнослушающих от студентов. Первое показывает человека, который не знает нашего духовенства, второе — просто нелепость. Хуже всего, что он щетинится на таких людей, как Ребиндер и Воронов, и обнаруживает наклонность к Кисловскому. Это значит, что он не понимает своего положения и думает, что министерство должно опираться не на идеи и разум государственный, а на бюрократию. Из этого, повидимому, следует, что он в нынешнем движении умов видит только пошлый либерализм, а не видит в нем настоящих потребностей народа и времени и что он хочет стать в упор этому движению. Очень жаль, если это правда, потому что настоящее призвание министра народного просвещения в нынешнее время именно в том и состоит, чтобы отделять плевелы от пшеницы и не только не мешать расти последней, но всячески возделывать ее — и на этом основать систему народного образования. Ковалевский последнее время добивался популярности в кругу либералов, нетвердо понимал дело о т д е л е н и я п л е в е л о т п ш е н и ц ы и действовал слабо, боясь, с одной стороны, нарекания от крикунов и не стараясь, с другой — последовательно и мужественно выдвигать лучшие элементы развития, — словом, он был слаб с обеих сторон. Опять повторяю: дело в том, чтобы сдерживать крайних разнузданных прогрессистов, но стоять во главе умеренных и благоразумно руководить последними, не допуская их до отчаяния и до того, чтобы они, отказавшись от дела, в силу обстоятельств не примкнули также к крайним. Дело управления в наши дни становится сложнее, чем прежде, когда следовали одной системе: р у б и с п л е ч а.

Я весь принадлежу принципу нашего политического возрождения, но с тем, чтобы оно шло рука об руку с нравственным. Первое не бывает прочно без второго,

Нация не может оставаться в застое, в неподвижности. Настоящее движение есть движение естественное. Его принцип: развиться в нравственном, умственном и экономическом отношениях, согласно духу и способностям национальным. Это движение началось с Петра, но настоящий сознательный и определенный характер его наступает только теперь. Нынешний государь дал ему санкцию освобождением крестьян. Естественно, что с этим событием национальное движение становится и неизбежным и вопиющею потребностью. Но в этом движении надо отличать два элемента или две стороны — искусственную, проистекающую из духа подражания и поверхностного образования, что доселе было нашим уделом, и истинную — ту, о которой я сказал выше. Искусственный элемент породил у нас стремление к так называемому прогрессу с девизом: вперед очертя и сломя голову. Другой элемент породил тоже стремление к прогрессу, но умеренному, постепенному и по тому самому — более прочному и плодовитому благими последствиями. Задача правительства — отличить одно направление от другого; одно ограничивать, другому содействовать и направлять его, чтобы оно с отчаяния не впало в крайность.

Государственный человек не должен пугаться каждого симптома, которым проявляется искусственный утопический прогресс, и не считать его поводом к принятию репрессивных мер против прогресса вообще — против прогресса в лучшем и истинном смысле.

Завтра уезжаем из Либавы. Итак,

> Прощай же, море!..
> Я долго, долго помнить буду
> Твой шум в купальные часы! [159]

и помяну тебя благодарным словом, если наши здоровья получат от тебя хоть малую толику пользы.

3. Четверг. Выехали из Либавы утром, по страшно бурной погоде. Море провожало нас громким гулом и точно пушечными выстрелами. У павильона нас ожидал Березин. Мы простились с ним и на прощание выпили по рюмке вина. Со всеми либавскими мы расстались очень дружелюбно, оставив, кажется, всех довольными — по крайней мере я всегда стараюсь, чтобы так было.

На первой же станции от Либавы произошла остановка из-за лошадей. Между тем либавский ветер превратился

в настоящую бурю, которая буквально подталкивала наш экипаж, пока мы стояли на месте. В Газенпоте в пять часов обед на грязной почтовой станции. Обед состоял из яичницы и какой-то маринованной рыбы, до которой мы не решились дотронуться, хотя нам ее подавала поразительной красоты златокудрая молоденькая хозяйская дочка, но — увы! — до крайности неопрятная, как и все здешние жидовки. Ночевали, но не спали в Шрундене, в гнуснейшей корчме, где чувствовали себя неспокойно и даже как будто не совсем безопасно.

Сегодня днем в Доблене. Здесь развалины замка, построенного в XIV веке начальником ордена меченосцев Монгеймом. Развалины и самое местечко Доблен живописны. Прекрасная станция, чистенькая — что большая редкость в здешнем крае, — даже с комфортом и чрезвычайно приятным и ласковым смотрителем.

В Митаву приехали в семь часов вечера. На заставе нам подали письмо от доброго Траутфетера, который убедительно просил остановиться у него в доме, где предлагал две комнаты. Но мы намеревались только переночевать в Митаве и не решились на такое короткое время беспокоить добрых людей. Итак, мы остановились в гостинице «Курланд» и тотчас отправились к Траутфетеру. Он ужасно сетовал, что мы не у него остановились, угостил нас чаем и какой-то очень хорошей освежительной шипучкой из березовых почек. Все семейство Траутфетер премилое, не исключая и четырех крошечных удивительно красивых малюток.

4. Пятница. Вчера Траутфетер прочитал мне из аугсбургской газеты статью об открытом будто бы заговоре в Петербурге с конституционными тенденциями и проч. Это, должно быть, какой-нибудь вздор.

В Ригу мы отправились в дилижансе, но из Риги уже надеялись ехать по железной дороге до Динабурга. Путь этот еще не открыт, но по нем ходят какие-то поезда, и в одном из них мне были обещаны места.

Это, однако, не удалось. Поезда пришлось бы ждать до понедельника, и я предпочитаю без дальнейших ухищрений ехать, как прежде, по торному пути на лошадях.

10. Четверг. Добравшись до Пскова с грехом пополам по плохой дороге и в тряском экипаже, мы по железной дороге продолжали путь до Острова, а там поплелись опять на лошадях до Витебска, куда и прибыли вчера поздно вечером. Отсюда осталось еще тридцать верст до нашего де-

ревенского уголка. Рано утром отправились мы туда на почтовых. Не доезжая станции Гановки, мы встретили Марка ‹Любощинского› с племянницей Генриеттой. Они возвращались от моих, у которых несколько дней гостили.

В полдень я, наконец, въехал в мои так называемые владения. На опушке березовой рощи встретили нас остальные члены моей семьи. Всеобщая радость, объятия, шумные восклицания и расспросы. Мы все пешком отправились к дому, который я теперь уже могу назвать вполне нашим. Домик оказался небольшой, но очень миленький, уютный, удобный. Мой кабинет чистенький, светлый — прелесть. Во всем видна заботливость милой жены моей, которая употребила все усилия, чтобы сделать жилище мое приятным. И все это с ничтожными средствами.

11. Пятница. Вчерашний день заключился шумно и очень оригинально. Под вечер на площадке перед нашим домом собрались крестьяне и крестьянки в праздничных одеждах, которые, впрочем, очень незатейливы. Они состоят почти исключительно из длинных белых кафтанов. Одна молоденькая девушка принесла огромный венок из колосьев и, при громком пении подруг, подала его мне. Это их обычный способ праздновать конец жатвы. Началось угощение вином и яблоками, явилась скрипка, и пошли танцы, которые продолжались до поздней ночи. Я говорил с некоторыми крестьянами, которые подходили ко мне и благодарили за хорошее с ними обращение. Ну, этого я уж никак не могу принять на свой счет и должен вполне отнести на умное и доброе управление арендатора. В заключение были зажжены два больших костра, и крестьяне разошлись при их ярком дрожащем пламени.

Сегодня вечером я ходил на деревню. Оттуда прехорошенький вид на нашу усадьбу, которая грациозно выглядывает из зелени.

13. Воскресенье. У обедни. Наша церковь каменная, но очень обветшалая и требует больших поправок. Утвари церковной, однако, вполне достаточно. Некоторые предметы, как то ризы, хоругви, два-три образа, паникадила, священные сосуды, были бы хороши даже и не для маленькой деревушки. Служба, пение зато как-то безжизненны и неосмысленны. Священник первый, кажется, совсем не сочувствует тому, что делает и что читает. Особенно дурно читано было Евангелие, хотя дикция и голос читающего не представляют ничего неприятного. Главная вина в полной

безучастности священнослужителя и в тупом равнодушии прихожан. Но внешние приличия были тут все налицо. Ими даже как будто старались щегольнуть перед нами. Не было забыто и поучение к народу, заимствованное из какой-то книги, но произнесенное без малейшего приспособления к слушателям и так вяло, что оно не могло возбудить ничего, кроме скуки. Жалко и досадно! Священника тут нельзя винить: он так воспитан, так направлен, так руководим... Слава богу еще, что он не пьяница. Вопрос о жалком состоянии нашего сельского духовенства — поистине вопиющий вопрос.

После обедни я пошел в алтарь. Бедный священник видимо смутился. Я старался его обласкать и ободрить, выразив все мое уважение к его сану, и пригласил его к себе вечером на чай. В свое время он явился. Сначала он очень конфузился, но потом, как говорится, обошелся и разговаривал очень толково. Я завел речь о необходимости поучать народ простым и удобопонятным внушением ему веры и христианской нравственности. Он жаловался на то, что крестьяне очень неохотно посещают церковь и вообще крайне неразвиты.

Одновременно была у нас родственница моей жены, г-жа Быковская, соседняя помещица, владелица трехсот пятидесяти душ и огромного количества земли. Она, как и большинство здешних дворян, очень недовольна настоящим положением вещей. По мнению ее и многих других помещиков, следовало бы дать крестьянам свободу без земли. Я пробовал доказывать ей противное с точки зрения нравственной и государственной, но безуспешно. Утешал ее тем, что все со временем уладится и выгоды будут обоюдные, — но также тщетно. Помещикам в настоящую минуту, конечно, приходится круто, но такая огромная реформа не могла быть совершена иначе, а они не хотят этого понять и сильно негодуют на правительство.

16. Среда. Можно надевать на себя личину какого угодно свойства, какой угодно добродетели. Но под любовь и ум никак нельзя подделаться. Чтобы заставить поверить нашей любви, надо иметь в сердце хоть сколько-нибудь этого чувства; чтобы прикидываться умным, надо иметь хоть малую толику ума.

Я всегда был того мнения, что не должно ни в чью голову в б и в а т ь убеждений и идей или заставлять людей насильственно идти по известному пути. Образуйте их умы,

сделайте их способными к разумной и правильной деятельности, и пусть они сами устанавливают себе свои нравственные убеждения, идеи, цели. Пусть сами избирают себе дорогу для выполнения своего назначения в жизни, потому что в человеке лишь то существенно и плодотворно, что он делает сам и по собственному своему выбору, согласно своим природным наклонностям и дарованиям. Но если он неспособен к самостоятельной выработке в себе основных, так называемых высших понятий деятельности, то вы ничего путного, ничего хорошего не достигнете вбиванием ему их в голову и в сердце. Пусть он останется при своем ограниченном образе мыслей и заботится только о том, чтобы быть честным человеком; это лучше всяких фальшивых высокостей.

Оттого у меня не было ни своей партии, ни своей школы, несмотря на то, что я мог иметь их, потому что нередко действовал на умы сильно и увлекал их с одною целью: чтобы возбуждать их нравственные силы и устремлять их ко всему благородному, правдивому и прекрасному, не предписывая им никакого определенного круга действий, не внушая им догматов и заботясь только о том, чтобы сделать их по возможности вообще способными к лучшему, а не о том, чтобы формулировать это лучшее и заставлять их думать, что вне круга таких-то понятий или вне такого-то образа мыслей ничто лучшее не возможно. У кого их не было, тот и не лез в гору, чтобы на ней спотыкаться и падать.

Я питал всегда и питаю глубокое, непреодолимое отвращение ко всякой лжи, и особенно к лживым, лицемерным нравственным ухищрениям. Мне всегда казался лучшим самый грубый и невозделанный ум и простое сердце без претензий, чем ум, поверхностно или фальшиво образованный, и сердце, изнеженное разными сентиментальными утонченностями, то есть ум и сердце, полные высокомерных притязаний без всяких прав и заслуг, и я сильно боялся расплодить такие личности, что, как известно, так легко при нашем поверхностном и шатком образовании.

17. Четверг. Ходил в деревню с карманами, полными пряников для ребятишек, и для того, чтобы навестить больного крестьянина Тереху. Этот Тереха замечателен тем, что прописанное ему доктором на три дня лекарство он выпил вчера в течение нескольких часов, думая ускорить этим свое выздоровление. Мы ужаснулись, узнав об этом.

Бедный Тереха очень ослабел. Не знаем, останется ли он жив. Послали опять за доктором. Что касается ребятишек, которые сбежались ко мне за пряниками, то никакое воображение не может представить себе ничего грязнее их. Миловидные мордочки некоторых из них почти совсем исчезали под слоями грязи. Но всех их превзошел некий Тит, который представляет из себя классический образец мальчика-пачкуна. Я роздал им пряники, сел на бревно и разговорился с ними. Только немногие знают по одной или по две молитвы, большинство же едва-едва слышало о боге. Все они совершенные дикаренки. В деревнях наших еще долго будет царить непроницаемый мрак, если правительство не озаботится открытием там школ и не обяжет родителей посылать в них детей да священники не будут лучше подготовляться для деревенских приходов и не будут поставлены в другие отношения к прихожанам.

18. Пятница. Сегодня я говорил со старостой о тех важных выгодах, которые дарованы ныне крестьянам вместе со свободой. Я не убедил его. Он слушал меня повесив голову и твердил, что до сих пор им было хорошо, а теперь еще бог знает, что с ними будет. Я указывал ему на одно из важнейших преимуществ нового порядка вещей — что у них будут свои суды, что они сами будут выбирать свое начальство и не будут зависеть ни от чьего произвола. На это староста мой возражал, что все это поведет только к обременению их, что до сих пор они благодарили бога за свое житье и молили за свою помещицу. В заключение он сослался на казенных крестьян, и тут-то я понял причину его страха. Здешние крестьяне думают, что отныне у них все будет так, как у казенных, следовательно, они от сносной, в данном случае, зависимости от помещика перейдут к гораздо более тяжкой зависимости от чиновников. Вот что наводит на них панический страх.

Русский чиновник — ужасная личность. Что будет впереди — еще неизвестно, а до сих пор он был естественный злейший враг народного благосостояния.

19. Суббота. Человек, подобно пауку, извлекает и выводит из самого себя нити, сплетает из них множество различных отношений, чувствований, идей и проч. и пребывает в среде их благополучно, пока толчок действительности не разорвет его хитросплетения и не докажет ему, что все это — только паутина.

20. Воскресенье. Человека не удовлетворяет земной порядок вещей. В нем неотразимо живет и господствует мысль о лучшем, совершеннейшем. Для возможного удовлетворения этой потребности ему даны религия и поэзия. Одна переносит его идеалы в будущее и там полагает залоги их осуществления. Другая стремится поставить их лицом к лицу с человеком в настоящем.

Прекрасное или изящное есть не иное что, как гармоническое соответственное воплощение идеала в формах жизни.

25. Пятница. Холодно, мрачно. Небо сеет дождем. Деревня принимает осенний вид.

Вчера получил премилое письмо от Делянова, который сделан директором департамента народного просвещения.

30. Среда. Сегодня после обедни на нашем дворе были расставлены столы, а на них пироги, вино и разные сласти, и все это предложено крестьянам. После обеда запиликала скрипка, и начались танцы, которые продолжались до пяти часов вечера. День благоприятствовал веселью. Было довольно свежо, но ясно и тихо. В начале обеда я подошел к одному из столов, налил рюмку вина и провозгласил тост за государя императора, нашего общего отца и освободителя крестьян. «Дай бог ему долго жить и царствовать», — сказал я. Но, увы, и эта моя попытка вызвать в этих добрых людях сочувствие к новому порядку вещей ни к чему не привела. Они все вертелись около меня и ко мне одному обращали свои пожелания и свою благодарность. Мужички были очень довольны угощением, вели себя пристойно и твердили одно: что бог знает еще, каково им будет от новых порядков, и что лучшего житья, каким они пользовались за последние десять лет, то есть время, когда имение поступило в настоящее владение моей жены, они не желали бы и впереди. Очевидно, желания их не простирались и не простираются далее некоторого материального довольства да безобидного обращения со стороны начальства. Понятия их о свободе, политической или какой бы то ни было, очень смутны. Женщинам были розданы подарки: чепцы, передники и ленты, а детей я взял на свое попечение и угощал их яблоками и пряниками, а когда вышли те и другие, то сахаром, который они принимали не с меньшим удовольствием.

31. Четверг. Сегодня посетил здешнего посредника Рафаила Осиповича Богдановича. Весь разговор мой с ним, разумеется, относился к крестьянскому делу. Посреднику

много забот, особенно в истолковании разных вопросов крестьянам, которые, кроме своих насущных материальных выгод, ничего решительно не понимают в новом порядке вещей, в чем, впрочем, я и сам успел увериться. Затруднения также в некоторых окрестных поместьях по урочному положению, которое крестьянам не кажется обязательным законом, потому что находится не в книге, а напечатано отдельным листком. Впрочем, каких-нибудь серьезных усложнений нет. Все пока ограничивается некоторым нерадением в господских работах.

Сентябрь 1. Пятница. Осень окончательно вступает в свои права. Все вокруг уныло, мрачно, безнадежно. Пора в Петербург.

7. Четверг. Сегодня в пять часов утра приехали в Петербург. Весь день никуда не выходил и занимался приведением в порядок моего кабинета. Но кое-кто уже узнал о моем приезде, и было немало посетителей.

8. Пятница. Представлялся новому министру ‹Е. В. Путятину›. Он не сделал на меня приятного впечатления. Какая-то сухая, холодная сдержанность с учтивостью тоже холодною, сухою — вот все, что я успел заметить в две-три минуты, что продолжался мой визит. Правда и то, что у него передо мною был с докладом Кисловский. От министра я отправился к Делянову, но не застал его дома, а от него поехал к нашему новому попечителю ‹Г. И.› Филипсону, карточку которого я нашел у себя по приезде. Вот совсем другой человек. От него так и веет добротой и человечностью. Два эти визита показались мне похожими на то, как если бы я побывал в темном погребе и оттуда вышел на теплый божий свет. Прозябнув до костей у Путятина, я отогрелся у Филипсона.

10. Воскресенье. Визиты Делянову и Княжевичу. С Деляновым разговор об университетских делах. Мне показалось странным, почему университет не хочет избирать проректора или, что все равно, никто не хочет быть избранным взамен ныне существующего инспектора. По моему мнению, это значит отказываться от самоуправления. Делянов не объяснил мне всего, а объяснил уже Ребиндер, к которому я поехал от него. Дело в том, что университет хотел этим выразить свое негодование против министерского циркуляра, которым граф Путятин начал свое управление. Циркуляр таков, по словам Ребиндера и Воронова, что действительно должен тотчас все наши университеты

поставить в оппозиционное отношение к правительству. Так, например, поведение студентов, каждый их поступок или проступок вменяется в ответственность профессорам, а как проректор избран должен быть именно для надзора за студентами, взамен инспектора, то понятно, почему никто из профессоров не хочет принять на себя этого звания. [160]

В Москве тоже негодование и дух оппозиции, возбужденный циркуляром; в Киеве тоже, как говорил мне один член тамошнего ученого сословия, на днях приехавший в Петербург.

Не очень же блистательно начал свое поприще среди нас Путятин. Вообще если верить рассказам окружающих его, то это человек, совершенно не понимающий дела и не способный к нему. Как же он вел дела с японцами, которые, говорят, умеют вести свои дела? Непонятно. Подождем, присмотримся.

Странную вещь сообщил мне киевский ученый, когда я заговорил с ним о ‹Н. И.› Пирогове. Последнему, как известно, там делали всевозможные овации, а тем не менее студенты (польского происхождения) готовили ему крупную неприятность, и это не состоялось единственно потому только, что ‹М. В.› Юзефович, узнав как-то о том, что грозило Пирогову, предупредил его. [161] И в такие-то времена министерством призывается управлять Путятин.

11. Понедельник. Желая получше уяснить себе нынешние университетские дела, я поехал за сведениями еще к Кавелину. Оказывается, что университет, оскорбленный циркуляром министра, стал в оппозиционное к нему отношение, а затем уже в деле о выборе проректора не хотел исполнить требований его, отговариваясь тем, что никто не решается принять на себя этой должности. И прекрасно. В этом университет совершенно прав. Но мне кажется, нельзя так сильно настаивать на том, чтобы студенты выбирали своих депутатов для присутствия в университетском суде и в совещаниях по делам кассы. Первое министр совершенно отверг, а насчет второго предписывает, чтобы выбор делал факультет.

13. Среда. Роль честного, зрелого человека в этой сумятице: стоять посреди крайностей, стараясь умерять то ту, то другую, соблюдать закон равновесия между тем, что слишком слепо и неразумно рвется вперед, и тем, что тянется назад. Неуклонный, но разумный либерализм, не разрушающий, а созидающий, — вот мой девиз, вытекающий

прямо из моих убеждений и моего характера и, на мой взгляд, всего более соответствующий существенным, не выдуманным и не экзальтированным потребностям моих сограждан. Ничего слишком — по выражению одного из древних мудрецов.

В третий уже раз, говорят, ходят по рукам какие-то листы, приглашающие народ к восстанию. Первые носили название «Великорусса», а последние представляют просто род прокламаций. Неужели это работает Герцен с братией? Листы, разумеется, идут из-за границы. Все это, право же, очень неумно и очень дурно. [162]

Вечером приезжал ко мне проститься мой старый и один из самых верных друзей моих Ребиндер, который едет в Москву сенаторствовать. [163] Грустно мне расстаться с ним! Много делили мы с ним пополам и горя и радости — конечно, больше первого—особенно в нашей общественной жизни. К нему обыкновенно обращался я, когда душа переполнится впечатлениями от какого-нибудь события, от какой-нибудь идеи, а иногда и так просто, когда душе захочется отдохнуть от житейского треволнения. Как я ни привык погружаться в самого себя, питаться самим собою, не бросаясь на чужой хлеб мысли и сердца, однако с Ребиндером мы часто ели этот хлеб — то мой, то его. И так в течение многих лет.

16. Суббота. Всеми силами надо спасти университет от такого философа, как Лавров, которого известная партия всячески старается провести в профессора философии. [164]

Продлись долго такое направление в нашем юношестве, наша молодая наука быстро станет увядать, и мы решительными шагами пойдем к варварству.

18. Понедельник. Вечером у попечителя. Искренно и откровенно объяснялся я с ним об университетских делах и нашел в нем человека вполне сочувствующего, благородного, рассудительного, горячо любящего и юношество и науку. Особенно много говорили мы о кафедре философии. Он вполне вошел в мои мысли и так же серьезно смотрит на это дело. На эту кафедру, более чем на всякую другую, требуется ученый с установившимся образом мыслей и глубоко, всесторонне изучивший свой предмет.

Прочитал я, наконец, знаменитое воззвание «К молодому поколению». Лживость, нелепость и наглость его могли бы изумить всякого мыслящего человека, если бы

что-либо могло изумлять в настоящее время. Хороша, например, мысль о перерезании ста тысяч дворян. «Да ведь на войне режут и более, хоть бы в Крымскую войну» и проч. Превосходная логика! Еще лучше: «Да ведь умрут же все». Тут, кроме пошлых революционных ругательств, которые некогда можно было слышать во всех кабаках Франции, нет ничего: ни одного рассудительного слова, которое доказывало бы, что автор или авторы хоть сколько-нибудь знакомы с государственными вопросами, с государственной жизнью народов, с наукой управления. Их бедные беснующиеся умы не могут придумать никакой другой меры, кроме ножа. Поразительное невежество относительно всего, что касается России, ее народного духа, ее нравственных, умственных и материальных средств, видно в каждой фразе. Они требуют от нее, чтобы она для осуществления утопий, выходящих из лондонских типографий, лила кровь как воду. А угодно это России или нет — они о такой безделице не заботятся. Опыт французской резни ничему не научил наших мудрых реформаторов. Он не научил их тому, что ужасы и разбой анархии ведут к диктатуре, да еще такой, хуже которой трудно себе что-нибудь представить, — к диктатуре реакционной, вооруженной, вместо вырванного ею из рук анархии ножа, мечом и секирою палача. И неужели в самом деле это проповедует Герцен? Хорошо ли возбуждать народные страсти, проповедовать резню, вызывать бойцов на площадь, словом, толкать тысячи людей, как баранов, в омут нескончаемых бедствий, сидя в мягких креслах в спокойном кабинете, и оттуда, за три тысячи верст от всех этих ужасов, распоряжаться кровью и жизнью миллионов, не рискуя ни каплею своей крови, ни волосом с своей головы. Нечего сказать, дешевый патриотизм! Нет! Это неблагородная трусливая жадность к популярности и игранию роли на свете, к поклонению людей легковерных и недальних, лишь бы их было побольше; это тщеславное и преступное желание на чужой счет прослыть вторым Мадзини и проч. Бедная Россия! Как жестоко тебя оскорбляют, когда относятся к тебе с такими пошлыми и жалкими воззваниями, надеясь, что ты их выслушаешь благосклонно.[165]

Хорош также «Великорусс» — 2-й номер, — толкующий о народных партиях у нас, будто бы проникнутых известными политическими тенденциями и тоже готовых на ножи за принцип раздробления России.[166]

20. Среда. Моя первая лекция в университете. Набралось много слушателей, которые казались внимательными и хорошо настроенными. Я чувствовал себя воодушевленным.

Был у меня главный распорядитель «Энциклопедического лексикона» ‹К. И.› Гершельман с просьбою содействовать выдаче им двадцати пяти тысяч рублей серебром, о которых я уже ходатайствовал в бывшем Комитете по делам печати и на что тогда было изъявлено высочайшее соизволение с тем, чтобы это пособие было выдано редакции по выходе первых томов издания.

Заседание у министра из попечителя, Делянова и профессоров: Ленца, Срезневского, Воскресенского, Горлова и меня. Дело шло о некоторых вопросах, касающихся изменения университетского устава: определения доцентов, учреждение новых кафедр и проч. Министр, между прочим, предложил странную меру: установить жалованье профессорам по часам, наподобие того, как это существует в корпусах и других заведениях, ибо профессора читают розно: один может преподавать восемь, а другой только пять часов. Все члены нашей комиссии восстали единодушно, не исключая и попечителя. Такое распределение жалованья должно подействовать очень вредно на дух сословия. С одной стороны, оно будет поводом для каждого добиваться большего числа часов, и это непременно возбудит антагонизм между профессорами, зависть, распри; с другой — превратит профессоров в поденщиков, получающих определенную плату за известную долю труда, а не вознаграждение за всю сложную, обширную и тяжелую деятельность, посвященную науке и образованию граждан. Тогда на каком основании отказать профессору в особой плате за всякое занятие по университету — за заседание в совете и в факультете, за экзамены, за рассмотрение разных сочинений и диссертаций и проч.

Видно вообще, что граф Путятин не понимает многих вопросов и задач по управлению министерством. Его идеи во многом очень странны, чтобы не сказать дики; например, о преподавании истории, теории механики и т. д. Он склоняется к классическому образованию. Но почему? — сам не знает. Так видел он в Англии. Мне кажется, что граф вообще ограничен. В голову его трудно вложить светлую, полезную мысль, потому что он и упорен, как все ограниченные люди. Он также очень сух во всех своих

взглядах на вещи. По крайней мере мне все это так показалось в сегодняшний вечер. Может быть, он еще развернется и покажет себя в более благоприятном свете.

21. Четверг. Вторая лекция в университете. Хотя я сам менее доволен ею, чем первою, она имела большой успех. Слушателей набралось такое множество, что многим не хватило места, и иные сидели даже на окнах.

22. Пятница. Студентам запрещены сходки, но они сегодня опять устроили одну и сильно нашумели. Что-то сделает начальство? Удивительно, как некоторые становятся на сторону бесчинствующих студентов и готовы не только защищать, но и поощрять подобные проделки.

Произведено несколько арестов. Говорят, взят и великий проповедник социализма и материализма Чернышевский. Боже мой, из-за чего только эти люди губят себя и других! Уж пусть бы сами делались жертвами своих учений, но к чему увлекать за собой других, а особенно это бедное неразумное юношество! Подвизаясь в «Современнике», этот передовой человек (так называют себя эти господа) взял на свою душу немало греха, совратив многих из «малых сих».[167]

23. Суббота. Заседание в Главном управлении цензуры. Новый министр в большом затруднении относительно цензуры. Он не имеет никакого установившегося взгляда на нее. Главным предметом нынешнего заседания был вопрос о «Современнике», возбужденный Берте. По его словам, журнал этот проповедует революционные идеи. Положено, чтобы все члены прочли страницы и статьи, указанные Берте, и выразили свое мнение.[168]

Между тем в университете продолжаются беспорядки. Запрещены сходки, но они, вопреки запрещению, собираются. Студенты шумят и требуют отмены всяких ограничений. Они, как и крестьяне в некоторых губерниях, кричат: «Воля, воля!», не давая себе ни малейшего отчета в том, о какой воле вопиют. А что делает правительство? — Восклицает: «О, какие времена, какие времена!» и налепливает на стенах в университете воззвания и правила о сохранении порядка, правила, которые часто срываются студентами и заменяются воззваниями и объявлениями другого рода.[169] Словом, совершенный хаос. Об учении никто не думает.

Как помочь горю? И то и другое приходит в голову. Я думал бы на первый случай предложить следующую

меру. Пусть бы составилась комиссия из нескольких профессоров и в ней каждый из молодых людей, желающих учиться в университете, обязывался бы честным словом, что он вступает в него с единственной целью слушать лекции. Если же он и после того будет замечен в демонстрациях или в неповиновении правилам университетского благочиния, то тогда он уже подвергается исключению из университета.

24. Воскресенье. Печальный день. У министра. Он обратился к нам с маленькой речью, в которой приглашал содействовать ему в водворении порядка. Затем он толковал о необходимости и справедливости установления платы со студентов за слушание лекций. Но это мимоходом. А главное, нам тут же сделалось известным, что, вследствие беспорядков, произведенных вчера студентами, университет закрывается на некоторое время. Итак, свершилось! Худшие опасения осуществились. Университет закрывается, и не в силу обскурантских гонений, а вследствие внутреннего разложения, которое, ради обеспечения его дальнейшего существования, потребовало применения на время хирургического ножа. Это сильно поразило всех профессоров. Однако никто не выразил мнения, что эта мера не необходимая в настоящих обстоятельствах. Все, как говорится, повесили головы, не исключая и тех, которые немало, может быть, этому содействовали, поддерживая в юношах неосновательные стремления.

Вчера, кроме возгласов и диких речей против властей, юноши ворвались силою в большую залу, которая была с намерением от них заперта, переломали стулья, выломали дверь и побили стекла.

Сейчас от Филипсона (вечером в семь часов). Мы обменялись с ним мыслями относительно мер, которые следовало бы принять в университете. Он — славный человек; смотрит на вещи благородно и разумно, любит юношество и относится ко всему случившемуся с огорчением, но без раздражения. К сожалению, он не может действовать самостоятельно; он связан по рукам и по ногам.

— Знаете ли, — сказал он между прочим, — как трудно мне даже просто знать настоящее положение вещей в университете. Верные сведения обо всем я получаю от министра, а министр получает их из III отделения; III же отделение все знает через своих шпионов. Можете себе представить, как приятен этот путь!

Значит, подумал я, местное университетское начальство или так слепо, что ничего не видит, что делается у него перед глазами, или так неблагородно, что из трусости скрывает это — именно из трусости перед студентами. А между тем зло растет и выросло, наконец, до закрытия университета. Не выкинешь у меня из головы, что своевременное и единодушное воздействие на юношество профессоров и попечителя могло бы еще домашними средствами потушить пожар.

Право же, гадко, до какой степени у нас нет характеров.

25. Понедельник. В четверть первого на улице, где я живу ‹Владимирская›, показалась огромная толпа молодых людей с голубыми воротниками и такими же околышками на фуражках. За ними по пятам следовал отряд жандармов и масса народа. Толпа повернула в Колокольную улицу и стеснилась около квартиры попечителя университета. То были наши студенты, но кое-где мелькали между ними и партикулярные платья и мундиры офицерские и медицинских студентов. Я поспешно оделся и отправился на место действия. Туда спешил еще отряд пожарной команды. Здесь разыгрывалась нелепая и печальная драма студенческих буйств. Толпа пришла к попечителю требовать отмены разных университетских постановлений.

Когда я приблизился к квартире Филипсона, толпа сильно волновалась и неистово кричала посреди улицы. Жандармы ее оцепили. В хаосе криков нельзя было разобрать отдельных слов, но жесты, маханье платками, палками, шляпами свидетельствовали об исступлении, в каком находились молодые люди. Я с трудом пробирался по тротуару, который тоже весь был залит толпами студентов. Некоторые, повидимому более умеренные, восклицали: «Господа, без скандала!» Другие испускали какие-то невнятные звуки. Небольшая группа смотрела на своих неистовствующих товарищей. Я обратился к ним и выразил сожаление о происходящем. Не знаю, искренно или притворно, они отвечали сожалениями же Но когда я сказал, что такими выходками они вредят университету и науке, мои слова подхватил один из крикунов и отвечал: «Что за наука, Александр Васильевич! Мы решаем современные вопросы».

Давка между тем до того усилилась, что я принужден был взобраться на парапет ограды, окружающей Владимирскую церковь, и кое-как добрался до квартиры Филип-

сона. Его, разумеется, там не оказалось: он был на улице со студентами. Но я хотел успокоить его жену, которую, однако, нашел спокойною.

Наконец, после долгих — я думаю, с полчаса продолжавшихся — криков и смятения толпа двинулась к университету, и попечитель во главе ее. Я взял извозчика и отправился туда же.

Попечитель был уже в университете. Увидев меня, он обрадовался и попросил меня остаться, чтобы принять участие в комиссии, которая должна выслушать представления депутатов от студентов.

Между тем молодые люди нахлынули во двор и в швейцарскую университета; на улице тоже было их множество; народ наполнял все ближайшие места; кареты, дрожки пересекали мостовую. Все было в нестройном движении и ожидании.

Явился обер-полицеймейстер <А. В. Паткуль>, а вслед и генерал-губернатор <П. Н. Игнатьев>. Вошли депутаты М<ихаэлис>, Г<ен> и С<тефанович>. Генерал-губернатор обратился к ним с речью, в которой выразил свое сочувствие юношеству вообще, но в то же время — твердую решимость препятствовать всякому со стороны студентов беспорядку вне стен университета. Речь его была бы вообще хороша, но ей, на мой взгляд, недоставало определенности. Затем он потребовал, чтобы студенты разошлись, но попечитель объявил о намерении наскоро собранной им комиссии выслушать депутатов. Тогда генерал-губернатор согласился подождать и вышел в другие комнаты.

Мы уселись перед зерцалом в зале совета, и депутат М<ихаэлис> начал излагать желания от имени всех студентов. Желания состояли: а) в том, чтобы позволено было студентам пользоваться университетскою библиотекою во время закрытия университета, б) чтобы были отменены правила, которым студенты подчиняются по матрикулам.

Председатель, то есть попечитель, объявил им, что правила не могут быть отменены; что студенты, напротив, должны обязаться честным словом исполнять правила матрикул и в таком только случае им позволено будет вступить в университет. Если же они не хотят обязаться, то могут оставить университет: это совершенно зависит от их доброй воли. Это род договора, который университет заключает со своими слушателями. На это отвечал М<ихаэлис>, что дать честное слово — они дадут, но исполнять

его не будут. Я выразил мое удивление, что слышу такие слова из уст молодого человека, и заметил, что честным словом играть нельзя. «Что же, — отвечал он, — когда мы должны дать его по принуждению». Ему объяснили, что там, где предлагаются условия, принять или не принять которые зависит от воли каждого, принуждения никакого нет.

По окончании заседания генерал-губернатор пригласил студентов разойтись. Однако они еще долго толпились в швейцарской, на дворе и у ворот университета. На ближайшей улице и на набережной теснились зрители всякого звания. Я вернулся домой поздно вечером, сильно огорченный и измученный. [170]

27. Среда. Опять волнения среди студентов. Ночью арестовали некоторых из них. Вследствие этого толпа молодых людей — человек в шестьсот — собралась на университетский двор. Тут говорились возбудительные речи. В толпу ворвалась также какая-то женщина и тоже что-то говорила. Шум все возрастал, сумятица усиливалась. Об этом дано было знать генерал-губернатору, и по его распоряжению выдвинут был батальон Финляндского полка, который составил каре на улице против университетских ворот. Приехал сам Игнатьев. Из толпы выдвинулось шесть студентов. Они подошли к Игнатьеву и заявили ему о своем желании отправиться в качестве депутатов к министру просить его за своих арестованных товарищей. Им отвечали, что министр никаких депутаций не принимает. Затем по настоятельному требованию генерал-губернатора студенты разошлись.

Все это сообщил мне попечитель. [171]

28. Четверг. Заседание в Академии. Оттуда пошел в университет. Здесь мне представилось очень грустное зрелище. У входа с Невы толпились студенты — не в большом количестве, человек пятьдесят. Двери университета перед ними не раскрывались. Юноши смотрели как-то пасмурно и уныло, но были спокойны, не шумели. Они казались детьми, которые, напроказив, пришли к своей матери, но мать их отвергает. Она лежит неподвижно, как будто в обмороке. В швейцарской отряд солдат.

Невыразимо жаль бедных детей и горько за оскорбленную мать. Вернулся домой с стесненным сердцем. Нервы шалят.

За мной присылал Филипсон. Несмотря на усталость, я тотчас пошел к нему. Он объявил мне, что я, по распоря-

жению министра, назначаюсь депутатом от университета в комиссию для исследования происшедших беспорядков.

Эх, не хочется! Тут много предстоит трудностей и неприятностей, а здоровье плохо. Но как гражданин, как настоящий честный друг учащейся молодежи, я не имею права, жалея себя, отказываться от дела потому только, что оно трудно и неприятно.

В шесть часов я был у генерал-губернатора. Он встретил меня сожалениями о случившемся. Я выразил надежду, что на молодых людей не станут же в самом деле смотреть как на государственных преступников. Это — дети, и отношение к ним власти может быть только отеческое. «Бог милостив, все кончится благополучно», — ответил генерал-губернатор. Потом он сказал еще, что многие порицают его распоряжения, а между тем этим распоряжениям обязаны, что не было пролито крови.

От генерал-губернатора я поехал к министру и сообщил ему, что я в восемь часов должен быть в крепости, где соберется комиссия.

В восемь часов в крепости. Не все члены собрались. Мы не могли приступить к делу, потому что не имели никаких данных, на основании которых могли бы приступить к допросу задержанных юношей, то есть у нас не было строго определенных сведений, за что они взяты и в чем их обвиняют. Мы составили протокол, в котором положено требовать этих сведений от кого следует, и затем разъехались. На первый раз не много. Общая растерянность и непоследовательность бросаются в глаза.

Но находившиеся налицо члены все показались мне людьми порядочными. Они далеки, по крайней мере все так высказались, от мысли обвинять и преследовать заблудших молодых людей как государственных преступников. Дай-то бог! Это значительно облегчит наше дело, дело не только правосудия, но и милосердия.

Комендант говорил тоже в тоне простого и добродушного человека.

Студентов всего забрано тридцать семь. Один из них заболел и отправлен в больницу.

29. Пятница. Часу в десятом вечера ко мне явились члены университета С‹пасович›, Б‹ерезин› и П‹авлов› просить меня сложить с себя звание депутата, потому, говорили они, что тут требуется юрист, член юридического факультета. Само собой разумеется, я не спорил, тем более

что в их словах, если не в намерении, есть доля правды. Умы раздражены, и, в случае неблагоприятного исхода дела, министерство могут действительно упрекнуть в том, что оно выбрало депутата не из юристов. Так. Но, с другой стороны, смотрите, господа, не пересолите. Увлеченные волной ходячего либерализма, вы ни в ком не допускаете спокойного и нелицеприятного отношения к делу. Вы вольны в вашем недоверии. Но требуя для юношей защитника, вооруженного не только здравым смыслом, любовью к правде и состраданием к неопытной молодежи, но еще и всеми ухищрениями юридической науки, вы как бы усиливаете значение их вины и из провинившихся детей возводите их в ответственных преступников. В таком случае вы правы: дело может так усложниться и принять такие размеры, что действительно окажется мне не по силам. Я завтра попрошу министра уволить меня по расстроенному здоровью.

30. Суббота. Подал просьбу министру об увольнении меня от звания депутата следственной комиссии о беспорядках в университете. На место меня назначил он Горлова. Он не хотел никого другого из юристов, ни С‹пасовича›, ни А‹ндреевского›. Он сильно негодовал на адрес, поданный ему сегодня за подписью профессоров о ходатайстве за студентов, сидящих в крепости. Я не мог его подписать, потому что еще состоял депутатом и в этом качестве не должен был принимать участия ни в каких демонстрациях.

Иные просто хотели бы сделать из университета политический клуб, да уж почти и сделали это.

Впрочем, не одно университетское юношество замешано в настоящем движении. Ему сочувствуют решительно все здешние высшие учебные заведения, да и не одни здешние, а и провинциальные. Все теоретики-либералы, журналисты также на их стороне. И нет никакого сомнения, что происшествия последних двух дней связаны с прокламациями «Великорусса» и «К молодому поколению». где провозглашается открыто революция. Словом, это симптом революционной лихорадки, которая охватила множество легких пишущих и велеречивых умов. Явление это, пожалуй, вполне естественно, но ему надо противодействовать разумно и энергически, иначе оно поведет нас к анархии, а анархия, как известно, оканчивается страшнейшим из всех деспотизмов — деспотизмом реакционным.

Кажется, приходится принять за неоспоримую истину, что исторические дела начинаются, а частью и делаются не мудростью и добродетелью, а безумием и насилием.

Беда, что в таких тревожных обстоятельствах власть обыкновенно бывает в руках ненадежных. Вот и наш министр, кажется, человек и ограниченный и колеблющийся. Попечитель — благородный, умный, но новый у нас человек. Он бьется как рыба об лед, добросовестно и усердно, но что может сделать он один?

Октябрь 1. Воскресенье. Да, я противник скачки сломя голову и буду поддерживать принцип правительства, даже слабого, только не реакционного.

Я знаю, господа, что вам улыбается; согласен с вами, что для самолюбия нет пищи сладостнее, как быть вождем народа; только смотрите, не лизните кровь. Кровь — скверное блюдо, чересчур пряное и отуманивающее голову.

Но в одном отношении нынешнее движение может быть и полезно, если только правительство сумеет в нем найтись. Во-первых, правительство должно понять, что не след пренебрегать известными требованиями образованной части общества, каково бы оно ни было. Во-вторых, оно не должно откладывать в долгий ящик намеченных преобразований и должно вообще действовать разумнее и законнее. Таким образом оно может отвратить много дурного и достигнуть много хорошего. Оно должно стать во главе движения и не допускать себя до необходимости удовлетворять неизбежным требованиям времени в виде уступок. Это было бы ужасным бездействием. Неизвестно, где можно было бы остановиться на пути этих уступок, да вообще можно ли остановиться. Это уже прямо повело бы к революции, безалабернее которой вряд ли что было на свете.

Но твердость правительства никоим образом не должна переходить в раздражение или в жестокость. Боже сохрани! Да и нельзя же в самом деле на непокорных детей смотреть как на настоящих врагов. Молодым людям должно быть отпущено их увлечение; особенно, если окажется, как то более чем вероятно, что их подстрекали со стороны. Да хотя бы и не так, все же им надо отпустить их грех, ибо не ведают, что творят.

Был у Делянова. Горлов принял на себя звание университетского депутата в следственной комиссии.

Сейчас был у Марка ‹Любощинского› и нашел его в хлопотах. Он занят следствием. Служащие в сенате — не сенаторы, конечно — согласились составить адрес государю, или просьбу, о помиловании студентов или о снисхождении к ним. Марку, как обер-прокурору, поручено исследовать: кто, как, почему и проч.

2. Понедельник. Вчера я был у вице-президента Медико-хирургической академии ‹И. Т.› Глебова. Он мне говорил, что их студенты хотя и не отличились открытыми подвигами, как наши, но внутренне заодно с последними. В четверг предполагалась у них союзная сходка во дворе академии. Но меры были приняты: академический двор заперли и не велели пускать никого из посторонних. Несколько карет, колясок, дрожек подъезжало к воротам, из них выскакивали юноши, направляясь к воротам, но те оставались глухи и немы. Непрошенные посетители принуждены были удалиться.

Приехал из-за границы П‹летнев›. Вчера я видел его у попечителя. Посмотрим, как-то поведет себя в нынешних обстоятельствах этот почтенный человек, всю жизнь свою заботившийся о том, чтобы избегать всяких забот, если они не касались получения мест, пенсионов и звезд.

Я предполагал бы: 1) раз что университет закрыт — не открывать его некоторое время; 2) тем временем составить комиссию из людей истинно просвещенных; пригласить туда в виде экспертов ну хоть двух профессоров и двух академиков и возложить на эту комиссию изыскание средств к лучшему устройству наших университетов, сообразно требованиям времени и состоянию государства, и начертать правила нового устава и 3) тогда начать, благословясь, дело новое.

Есть одно обстоятельство, которое производит страшную путаницу в умах: это страшные лжи, которые разносятся по городу недобросовестными прогрессистами о всяком происшествии, о всякой мере правительства. Все это до такой степени искажается, что и людей умеренных невольно вовлекает в усиленную оппозицию. Я беспрестанно принужден бываю опровергать нелепейшие вымыслы этого рода перед людьми, которые готовы поверить им. Так, например, распространен слух, что у студентов начальство насильно отняло их кассу, которую они собрали для пособия нуждающимся своим товарищам; что им запрещено посещать лекции других профессоров, кроме своих факуль-

тетов; что во время смятения двадцать пятого сентября солдаты били студентов прикладами, а жандармы преследовали их с обнаженными палашами и проч. Право, правительству следовало бы позаботиться о том, чтобы закрыть уста клевете. Для этого одно средство — гласность. Пусть бы правительство о всяком необыкновенном происшествии печатало небольшие извещения без дальних рассуждений, но с точностью излагая факты и опровергая ложные слухи. Для этого можно бы избрать хоть академические «Ведомости» ‹«С.-Петербургские ведомости»›.

Около университета опять толпятся студенты и собираются массы всякого народа. Приведены в движение войска. В здание университета никого не пускают.

Кажется, не подлежит сомнению, что студенты — ягнята, которых направляют сторонние силы — не настоящие пастухи, а волки в пастушьем платье.

Главная трудность в настоящих обстоятельствах — добиться истины фактов. Чего сам не видел или в чем сам не участвовал, того никак нельзя считать не только за достоверное, но даже и за полудостоверное. А между тем на истине фактов должна опираться истина мнений и действий.

Был у меня епископ католический, ректор академии Берестневич. Речь шла, разумеется, о настоящих событиях. Он рассуждал с большой терпимостью, вовсе не как католик-консерватор.

3. Вторник. Обедал у графа Блудова. Там были: ‹Ег. П.› Ковалевский (сенатор, недавно пожалованный) и Костомаров. Речь вертелась около городских событий. Граф судил вяло — ему, очевидно, нездоровилось. Графиня, по обыкновению, замыкалась в славянство: она была обложена вся газетами чешскими, галицийскими и проч. Костомаров молчал. Мне тоже не хотелось говорить. Разговор вообще плохо клеился. Все были как-то удручены.

Здесь, между прочим, узнал я, что Варшава объявлена в осадном положении. [172] И впрямь, есть от чего быть удрученным.

На днях были распущены слухи, что император едет в Иерусалим на богомолье. Это одна из тех лжей, которыми так изобилует Петербург.

‹М. И.› Михайлов признался, что он хотел произвести революцию. [173]

4. *Среда*. Встретил одного приятеля ‹И. А. Гончарова›, который советовал быть осторожным. Вчера он обедал в клубе и слышал, как некоторые порицали меня за то, что я не одобряю подвигов студентов. — А вы их одобряете? — спросил я его. — Нет, — отвечал он. — Значит, и вас порицали? — Он замялся.

Совет университета. Происходил выбор членов университетского суда. Я получил только два голоса. Видимое неблаговоление ко мне большинства. Но это меня не удивляет и больше уж не огорчает: я прямо заявил себя против этого большинства в студенческих беспорядках, следовательно, вполне естественно, что они, со своей стороны, против меня. Но гнусное лицемерие иных способно было бы меня раздражить, если бы я менее знал, а подчас и презирал человека. Эти люди с вами заодно на словах, вместе с вами порицают демагогические порывы и замашки противной партии и в то же время склоняются перед ней, готовые покинуть вас одного среди самого жаркого боя и обратить тыл, да еще выдать вас головою, — и все это из подлой трусости, готовности служить вашим и нашим.

Хорошо и начальство: сегодня сделает шаг вперед, а завтра отступит на два назад, и наоборот. Оно выдержанно только на словах, на деле же действует без всякой системы.

Попечитель предложил нарядить комиссию об изыскании способов облегчить студентам плату, взимаемую с них при поступлении в университет. Доброе дело, и за него я всей душою. Но если затем последует отмена матрикул, то я буду против этого.

5. *Четверг*. Все члены университета *ультрапрогрессисты* сделались врагами моими за то, что я не одобряю поступков студентов и вообще восстаю против принципа, который предоставляет студентам право *требовать* отмены каких-либо постановлений. Эти господа следуют обыкновенной демагогической тактике: лгут, клевещут, приписывают мне мысли, каких я никогда и не имел; слова, каких никогда не произносил. Опять был у меня сегодня мой приятель, и мы долго с ним беседовали. Он, по своей неизмеримой лени и апатичности, по своему политическому и нравственному индиферентизму, советовал мне быть и так и сяк. Но этот способ, очень смахивающий на двуличность и подлость, я считаю для себя непригодным. Да притом в настоящее время это легче

советовать, чем исполнять. Конечно, безопаснее идти туда, куда ветер дует; но ветры нынче дуют разные и даже противные друг другу. В такое время всякий честный деятель обязан определиться, быть чем-либо, а не всем, то есть ничем.

Итак, да, я не одобряю стремления молодых людей и моих товарищей взять нахрапом то, что должно быть взято твердым и разумным заявлением общественных нужд. Для нахрапа еще не пришло время.

6. Пятница. В нашем безалаберном обществе все должно быть безалаберно. Толкам, вымыслам, крикам нет конца. Никто не хочет вникнуть в дело, основательно узнать события, чтобы на их прочном фундаменте, а не на зыбкой почве страстных толков, построить здание своих умозаключений.

Все орет, шумит, вопит, ругает первого, чье имя подвернется под язык, — вот вам и общественное мнение. Что к студентам, забранным в крепость, питают сочувствие; что желают их освобождения; составляют проекты адресов и петиций в их пользу; собирают деньги на уплату в университет за неимущих студентов — все это естественно, справедливо и гуманно, как ныне говорится. Но зачем же искажать факты и представлять в ложном свете мысли и поступки людей, намерения и характер которых определились целою жизнью их, — и это на основании нескольких лживых слов какого-нибудь уличного либерала. Зачем, например, говорить, или, лучше сказать, кричать, что я враг студентов, что я действую против них? Я-то, всю жизнь посвятивший им и укреплению науки! Уж сказать бы лучше, что я собственными руками забираю по ночам юношей под арест и т. д. И это только потому, что я не одобряю их демонстраций на улицах и площадях; что я в совете не разделял мнения большинства относительно матрикул, имея в виду важность момента, когда по городу ходят возмутительные прокламации и открыта целая шайка, готовая подстрекать чернь к резне. Я находил и нахожу, что профессору выказывать сочувствие к уличным агитациям и неразумным требованиям студентов — значит вредить им же самим. Нет! Мне надо было не отставать от Кавелина и именно так действовать. Не детская ли это игра в революцию и либерализм? Не значит ли это поддерживать в студентах опасный для них дух агитации, политических претензий, вместо того чтобы заставлять их учиться? Не

значит ли это неопытные и еще не созревшие умы юношей растлевать и делать их слепыми орудиями политических предприятий, которых они сами обсудить еще не в состоянии? Не значит ли это предупреждать и искусственно распалять страсти?

И между тем камергер М. М. сегодня целый вечер у меня орал, что мне следовало в совете принять сторону К‹авелина›; что меня бранят в обществе и проч. Я объяснил ему все от начала до конца. Он несколько укротился, но ему все же кажется ужасно великим делом — кричать в пользу ультралиберальных идей, потому что это теперь в моде, и слыть громовым героем, новым Гарибальди, сидя у себя в мягких креслах с благовонною сигарою во рту.[174]

До часу продолжались у меня прения. Горло, грудь, голова устали. Мне все это крепко надоело, и я рад был, когда мои гости взялись за шляпы.

7. *Суббота.* Впрочем, я не ропщу на все эти толки обо мне. Я ведь не добивался популярности в этом безалаберном обществе, которое волнуется, а не стремится к определенной цели или стремится так, что в этом стремлении могут погибнуть или исказиться самые цели, какие оно преследует в этом хаосе, где все кричат и никто не понимает друг друга, где никто не дает высказаться другому и каждый хлопочет только о том, чтобы стать впереди и порисоваться à la Гарибальди (бедный Гарибальди!), с возможным, впрочем, ограждением собственной безопасности и с стремлением удрать тотчас со сцены действия, как скоро потребовалось бы определиться точнее. Нет, я не ропщу на разглашаемые обо мне нелепости: ведь в общественных тревогах всего больше достается честным людям.

Что забирают студентов, что их держат в крепости вот уже больше 10 дней, я совершенно этого не одобряю. Но, с другой стороны, надо знать, в каком состоянии дело о Михайлове, о прокламациях и не замешаны ли здесь наши студенты. Это было бы просто ужасно.

Начальство, как и все прочие у нас, тоже очень склонно к несообразностям. Но все-таки из этого не следует, чтобы я одобрял принцип ниспровержения всякой власти, всякого авторитета правительства. Оно необходимо должно начать серьезные реформы; я бы даже стоял за созвание великого земского собора, но, конечно, без участия студентов, которым надо учиться и пока только учиться, если они

хотят впоследствии участвовать в решении судеб своего отечества.

Филипсон передал мне просьбу министра составить записку о преобразовании университетов. Я передал Филипсону свои соображения по этому поводу и обещался изложить их в особой записке.

8. *Воскресенье.* В двенадцать часов попечитель собрал совет университета. На обсуждение предложен был вопрос: какие меры принять, чтобы при предстоящем открытии университета не повторились скандалы, подобные бывшим. Последовали нескончаемые словопрения о том, что правила матрикул требуют изменений и что только под условием этих изменений можно ожидать, что в университете все будет мирно и тихо. На это попечитель, разумеется, не мог согласиться. Наговорено было много всего. Иные, как например А‹ндреевский›, пускались в юридическую схоластику и даже прибегали к юридически крючковатым придиркам. К‹авелин› толковал о необходимости дозволить сходки, сравнивая их с общинами и артелями. А сходки между тем запрещены высочайшею властью. Словом, дело, которое попечитель хотел уладить или устроить, взывая к благородному содействию членов университета, не только не уладилось и не устроилось, но запуталось больше и затянулось в узел, который развязать теперь нет возможности и впереди предстоит уже разве только рассечь авторитетом власти. Кавелин предложил следующий компромисс: объявить, что студенты получат желаемое не сейчас, а когда заслужат это хорошим поведением. Я согласен, чтобы было объявлено, но не это, а то, что университеты вообще будут преобразованы, и тогда многое, без сомнения, изменится. Особенно удивительным или, лучше сказать, вовсе не удивительным, а вполне свойственным ему образом вел себя П‹летнев›. Во-первых, он ни к селу ни к городу сказал длинную речь о любви, сопровождая ее сентиментальными возгласами и ужимками, похожими на движения и мурлыканье кота, когда он к кому-нибудь ластится. П‹летневу›, видимо, хотелось угодить большинству, чтобы и волки были сыты и козы целы. Но вот что просто непостижимо: он упомянул про скандал на акте. Казалось бы, это не слишком говорит в пользу сходок и вообще поведения студентов. Но умысел тут был другой. Ему хотелось показать, что он любовью смирил в тот день студентов и велел им разойтись. Но зачем же

он скрылся при начале скандала и вернулся уже спустя долгое время после того, как я с некоторыми студентами пошел за ним на его квартиру? Зачем явился он только к концу скандала, когда публика уже разошлась и студенты уже надрали себе горло, крича: «Речь, речь Костомарова!» И как он усмирил студентов? Объявив им, что речь все-таки будет прочитана в собрании студентов, то есть сделав именно то, что они дерзко требовали.

Заседание совета продолжалось два часа и, разумеется, кончилось ничем.

11. Среда. Сегодня открыт университет. Караул в швейцарской снят. Но казарменный запах до того заразил воздух, что с трудом можно дышать тут: запаха этого не выведешь, я думаю, и в месяц. Студентов собралось очень немного. У меня на лекции было четыре человека, у Благовещенского два, у Ленца тоже человека три, у Косовича ни одного. Я прочитал лекцию с жаром и одушевлением, как ни в чем не бывало. Мои немногочисленные слушатели следили за ней с обыкновенным своим вниманием. Я ими был совершенно доволен, да и они, кажется, мною.

Между тем небольшие толпы студентов скитались то у главного входа, то у малого с Невы, как души грешников у порога рая, в который им воспрещен вход. Это, кажется, были те, которые не подали просьб и не приняли матрикул. Говорят, что они похаживали тут с умыслом затеять опять какую-нибудь демонстрацию.

Итак, первый день открытия университета, которого так боялось начальство наше, прошел благополучно.[175] Каковы-то будут последующие?

12. Четверг. Сильнейшее доказательство, что мы не созрели еще для коренных государственных изменений, — это нынешние происшествия. Есть ли что гнуснее, как подучать мальчиков делать революции, а самим за спиной их вслеречить о высоких государственных вопросах.

Подъезжая часов в одиннадцать через Дворцовый мост к Академии наук, где сегодня было заседание, я увидел толпу народа на островской набережной и маневрирующий туда и сюда отряд жандармов. Так и есть, опять скандал студенческий.

Я не пошел в Академию, а отправился в университет. Около малого входа с Невы стояла небольшая толпа студентов. Но главная сцена была не здесь, а у большого

входа. Там расположился и отряд жандармов. На площади скитались зрители и стояло несколько экипажей. Сумятицы, впрочем, большой тут не было. Я вошел в университет; там было все тихо; несколько студентов, принявших матрикулы и явившихся на лекции, бродили по коридору. В аудиториях было пусто.

Я возвратился в Академию. Там нашел я Востокова, Грота, Дубровского и Билярского, к которым присоединился скоро и Срезневский. Было не до заседания, по крайней мере мне как лицу университетскому. Около двенадцати часов я опять отправился в университет, где мне следовало читать лекцию.

Около малого входа все еще стояли студенты; около них несколько человек городской стражи. Я пошел наверх в свою аудиторию. В коридоре собралось десятков пять студентов около ректора, и он что-то им проповедовал. Между тем жандармы оттиснули от главного входа толпу студентов человек в полтораста и загнали их в университетский двор, откуда под конвоем человек сто из них было отведено в крепость.

Вот в чем состояло дело: человек около семисот приняли матрикулы и объявили, что они желают слушать лекции на основании тех правил, какие в матрикулах изложены. Не подавшие об этом просьб, — а их по городу рассеяно человек триста, — решились отправиться гурьбой к университету, выманить оттуда как-нибудь принявших матрикулы, напасть на них, вырвать у них несчастные матрикулы и тут же, у порога университета, уничтожить. Этому хотела воспрепятствовать полиция, и дело кончилось отведением в крепость большей части этих антиматрикулистов.

На лекции явилось очень немного студентов. Большая часть из них, предвидя скандал, не пошла на лекции из опасения подвергнуться неприятностям от товарищей противной партии. У меня было, однако, более, чем вчера, и лекция состоялась без малейшего нарушения порядка, как всегда.

14. Суббота. Не те виноваты, у которых едва начинает пробиваться пух на верхней губе, а те, у которых уже начинает седеть щетина на бороде.

Как ни нелепы эти беспорядки, которые вот уже три недели держат в тревоге весь город, однако и пренебрегать ими нельзя. Ведь сколько пожаров случается от того, что

какому-нибудь мальчишке вздумается для своей потехи подбросить зажженные спички под забор или сарай.

В Главном управлении цензуры. Министр не председательствовал. Он был в Совете министров, и его заменил Делянов.

В «Русском слове» появился новый пророк в модном направлении — ‹Д. И.› Писарев. Он в прошедшем году кончил курс в нашем университете и теперь поместил в «Русском слове» статью: «Схоластика XIX века и процессы жизни». Прочитав ее, признаюсь, я даже раздражился, и в этом расположении духа я говорил слишком горячо, делая мой доклад, за что подлежу сильному упреку от самого себя. Не должно в важных случаях отдаваться увлечению, хотя бы источник его был благородный. Правда, уже более двух недель, как я принужден бороться с пошлым и грубым стремлением, которое, как мутные волны, все больше и больше нас охватывает со всех сторон и которое угрожает нам в будущем кровавым потопом. Немудрено в таком положении вещей прийти в нехорошее расположение духа. Я не могу не бороться с этим духом разрушения и сложа руки сидеть и только смотреть на этот бурный поток. Но конец концов, каково бы ни было положение вещей, дурному настроению не следует давать ходу. Не надо допустить его перейти в постоянное, ни даже повторяющееся расстройство. Самообладание, самообладание! [176]

15. Воскресенье. Надо не иметь ни малейшего понятия о России, чтобы сломя голову добиваться радикальных переворотов. Стоит только послушать, как рассуждают о современных происшествиях люди даже пожилые, чтобы убедиться, что тут нет ни опытности лет, ни здравого смысла, ни образования. Суждения совершенно детские! И им нет ни малейшей нужды, что факты, о которых они судят и из которых они выводят свои умозаключения, искажены нелепейшим образом, до невозможности верить им хоть на йоту. Они произносят решительные приговоры о делах и лицах, о которых ничего никогда не знали, ничего никогда не думали. И это люди, метящие в избиратели и представители наши! «Ничего, — говорят красные, — выучатся на практике». Да ведь я сапог не дам сшить человеку, который ничего не смыслит в этом ремесле и с моих ног начинает свое ученье, а здесь дело идет о том, чтобы издавать законы для государства, направлять политику — словом,

управлять не одним даже, а целыми народами. Для всего этого общество должно быть воспитано, подготовлено. Не мешайте же, господа, учиться тем, которые еще могут и должны учиться.

‹М. А.› Корф написал книгу: «Жизнь Сперанского». Сегодня я слышал от одного умного человека такое о ней суждение: — Подлая, скверная книга. — Отчего, — спросил я, — такое немилостивое суждение? — Строгий судья решительно ни одного слова дельного не сказал о ее недостатках, а только общие места, что книга не полна, что Сперанский был величайший человек и проч. — Книга, конечно, — сказал я, — имеет и даже значительные недостатки. Но чтобы назвать ее подлою и скверною, надо было прочесть ее с предвзятым намерением найти ее такою.[177]

Беда! У нас кто получил от природы ума на 10%, тот думает, что ему отпущено его на 100%, а всем другим на 1 или на 0. Нет никакой правильной меры в суждениях о самих себе и о других; ни малейшей заботливости быть справедливым. Кричат, чтобы перекричать других и сделать свою мыслишку господствующей над мыслями всех своих знакомых, приятелей, незнакомых и неприятелей, — в этом главная цель наша, а там хоть трава не расти. Черт с ней, с правдой; ведь от нее я не покажусь гением ни в собственных своих глазах, ни в глазах других. Правда слишком проста. У гениев все не так, как у обыкновенных смертных, — а мы гении!

16. Понедельник. Не Россия для университета, а университеты для России.

17. Вторник. Поутру сильно нездоровится. Я не поехал в Римско-католическую академию: это очень далеко, да и в коридорах и в зале там бывает очень холодно.

Вот что хотел бы я сказать и при случае скажу одному из красных:

Нам не след быть врагами. Мы стремимся к одной цели. И вы и мы — люди движения; но вы — представители б ы с т р о т ы движения, мы — представители п о с т е п е н н о с т и его. Все дело в том, чтобы не допускать друг друга до крайностей. И несдержанная быстрота и слишком большая медлительность — одинаковое зло. Вы не даете обществу застояться, спустить, что называется, рукава; мы не хотим допустить вас до головоломной скачки вперед, которая может породить много зла, например анархию. Одним словом, мы составляем противовес, кото-

рый мешает тяжести упасть на одну сторону весов. В сущности же не будет ни того, что вы хотите, ни того, что хотят ваши противники, а от взаимного противодействия сил выйдет нечто, чего не ожидаете ни вы, ни они, — выйдет то, чему быть надлежит. А в этом и вся сила.

Вы хотите крови; мы допускаем ее возможность, но не хотим ее. Вы говорите, что без крови ничего не достигается, но, во-первых, кто вам сказал это? Из того, что было, не следует, чтобы всегда так было, и чего не было, то может быть; а во-вторых, кровь вещь хорошая, когда она течет в указа́нных ей местах — в жилах; но не совсем хорошая, когда она спешит оттуда литься. В таких случаях лучше, чтоб ее лилось меньше, чем больше. Положим, умеренное кровопускание бывает иногда полезно и спасительно; но излишнее убивает. Кровопускание не есть специфическое средство. А главное, не надо его вызывать искусственно, насильственно. Пусть будет все в свое время, по неотразимой силе вещей, а не по велению и замыслу одной партии, хотя бы то вашей. Да притом вообще кровь имеет скверное свойство — отуманивать голову.

Вы говорите, что надо разрушать все старое, в с е, в с е, чтобы потом создалось новое. Но разве это возможно? Старое в человечестве: и наука, и искусство, и всякие опыты и открытия веков. Старое все то, откуда, из чего вытекает новое. Разрушить все старое значит уничтожить историю, образование, начать с Адама и Евы, с звериной шкуры, с дубины дикаря, с грубой физической силы.

В общественном порядке бывают п е р е с т р о й к и, а не постройки сызнова всего так, как будто ничего не было прежде. А когда перестраивают, то иное оставляют, другое исправляют, а до кое-чего даже вовсе не дотрогиваются, потому именно, чтобы не разрушить всего. Тут нужны рассудок, осмотрительность, а не безумие, страсти, попыхи и скачка сломя голову.

Не дразните слишком правительство: вы заставите его, как в нынешней Франции, опереться на войско и массы — и тогда, вы можете себе представить, что тогда произойдет не только с вами и с вашими теориями, а даже с тем, что получше вас и ваших теорий.

Говорить дурно о правительстве, обвинять его во всем сделалось ныне модою. А я думаю, что если бы правительство показало, что с ним шутить нельзя — мода эта быстро прошла бы.

В сегодняшних «Санкт-Петербургских ведомостях» изложены университетские события.[178] Описание сделано в очень умеренном духе. Некоторые обстоятельства не в пользу студентов смягчены, другие совсем выпущены, например то, что депутаты требовали отмены матрикул от имени всех своих товарищей и что большинство положило не исполнять честного слова относительно исполнения правил матрикул — хотя бы и дав его. Всему этому я сам был свидетель.

Вечером были Марк и Гончаров. Те же бесконечные разговоры о современных происшествиях. На этот раз, впрочем, оба судили о них как зрелые люди, а не как студенты.

18. Среда. Отнимая у человека религию, нравственность, идеалы и оставляя за ним только эгоизм с расчетливостью бобра да натуральные влечения к материальным благам, вы низводите его решительно до скота. Но если, по-вашему, это истина, хотя и прискорбная, то почему же не истина то отрадное чувство, которое человек почерпает в высших верованиях и стремлениях? Вы требуете везде фактов; но разве не факт это чувство с его благими последствиями? Ваши учения разве делают возможным доверие к какой-нибудь из ваших истин? Ежели, по-вашему, существенно одно тело, то как же вы хотите, чтобы я признал к чему-нибудь годным хоть одно понятие, сотканное головой человеческой, хотя бы то эта голова принадлежала Молешоту, Фохту, а наипаче Лаврову, столь красноречиво читавшему лекции о философии в Пассаже, а не то Писареву, знаменитому философу «Русского слова».

Говорят, что во время студенческих демонстраций в Москве студенты были побиты чернью, которая сочла их бунтующими против начальства. Если это правда, то это факт очень знаменательный. Что скажут наши красные, призывающие народ к восстанию во имя прогресса и всяческих социальных совершенств?[179]

На лекции сегодня у меня было человек шесть слушателей. В других аудиториях еще меньше. Некоторые профессора совсем не читают лекций, потому что не для кого читать.

19. Четверг. Государь приехал.[180] На лекции у меня было студентов пять, у других и того меньше. У Срезневского, например, три. Всего посещающих лекции 75 человек, а подавших просьбы около 700. Отчего же они не хо-

дят в университет? Это большей частью юристы, то есть самая беспокойная часть студентов. Едва ли они не решились держаться системы пассивного сопротивления, по примеру Венгрии.[181] У нас везде и во всем подражание. Матрикулы они взяли, просьбы подали, но тем не менее хотят оказать безмолвный протест. Долго ли это продлится и чем кончится?

Никак не могу себя убедить никакими логическими доводами уважать это общественное мнение. Все точно объелись дурману. Все на студентов смотрят как на мучеников. Их дерзость, неповиновение закону и власти считают геройством, а правительство позорят всеми возможными способами. Клевета, выдумки, искаженные факты составили какой-то мутный водоворот, который уносит и крутит в себе и старого и малого. Ни одного суждения умеренного, основательного, ни малейшего желания дойти до истины. Кричат, шумят, вопиют, как сумасшедшие или пьяные. Чего же они хотят? Конституции? Так это бы и говорили. Тут все-таки был бы какой-нибудь смысл. Нет! просто беснуются.

Конечно, такое настроение умов имеет важное значение, но ведь и горячка имеет важное значение для того, кто ею одержим.

Будет ли правительство иметь довольно силы сдержать это безалаберное движение, которое угрожает России неисчислимыми бедствиями?

Главное — недостаток национального, патриотического чувства. Общество проникнуто отсутствием возвышенных верований. Оно только расплывается в разрушительных поползновениях, а не стремится организовать, созидать... А там внизу массы, погруженные в грубое и полное невежество...

Я пробовал убеждать, доказывать — логика не действительна для тех, у кого в голове нет ее. Тут может действовать только сила, а у меня нет ее.

20. Пятница. Чего хочет это общество? Резни? — неправда! Оно испугается этого в момент исполнения и упадет на колени перед сильной властью, которая захочет спасти его.

Был у Делянова. Он сообщил мне, что под председательством министра назначается из нескольких профессоров комиссия для обсуждения вопросов о преобразовании университетов и что я назначен членом ее. Итак, вот опять

вторая комиссия, где мне приходится работать. Первая касается преобразования Ришельевского лицея в университет.[182]

Некоторые студенты хотели замешать в свои демонстрации и войско. Они ходили по казармам и подстрекали солдат к восстанию, распространяя между ними, по «Великоруссу», мысли об уменьшении срока службы и проч. По мнению означенных студентов, солдаты должны добиваться этого с оружием в руках, и им станут помогать студенты и все хорошие люди. Вот оно куда пошло! И находятся зрелые люди, которые выражают сочувствие к таким демонстрациям. Не хочу думать, чтобы они знали о всех подобных замыслах. Но им следовало предвидеть, к чему может привести нелепое движение среди молодых людей, презрение к закону, к порядку, дерзость, с которою они на своих сходках домогались участия в обсуждении политических вопросов и государственных реформ. И вот чему также сочувствует наше общественное мнение, и некоторые из моих так называемых друзей — не говорю уже о врагах — порицали и порицают меня, что я вооружаю против себя это мнение, не соглашаясь с ним и не льстя ему...

Вечером еще 25 сентября приходил ко мне один студент, который на мои слова, что надобно учиться, а не делать глупостей, отвечал, что отныне не наука должна занимать студентов, а современные вопросы.

21. Суббота. При отсутствии у нас самостоятельности нам, кажется, следовало бы особенно уважать друг в друге его свое, свою мысль, свое мнение и помогать таким образом вырабатываться определенному, своеобразному характеру. Но этого-то нам и недостает. Мы готовы с яростью преследовать каждого, кто захочет думать и поступать независимо. Дух нетерпимости и страсть к умственному и нравственному деспотизму составляют язву нашего так называемого передового общества.

22. Воскресенье. Студенты, взявшие матрикулы, но не являющиеся на лекции, подбросили в университете четыре записки с ругательствами на тех своих товарищей, которые посещают лекции. Швейцар Савельич с прискорбием мне говорил, что некоторые из студентов (смутников, как он их называет) бродят по коридорам и уговаривают товарищей не ходить на лекции.

Впрочем, немудрено, что университет пуст. Большая, самая многочисленная, часть студентов принадлежит к юри-

дическому факультету, а профессора этого факультета сговорились не являться на лекции. С ними заодно С‹пасович› и К‹авелин›. Это особенно питает дух оппозиции в студентах.

Новый номер «Великорусса», который получили, кажется, редакции всех или главных журналов. Опять какой-то таинственный комитет обращается с воззванием к патриотам, и на этот раз преимущественно к патриотам умеренно-либеральной партии. Дело идет о конституции. Комитет, как бы в виде уступки умеренно-либеральной партии, решается пока не думать о насильственном принуждении государя дать конституцию или о низвержении династии, а предлагает обратиться к государю с адресом и прилагает проект самого адреса.

И воззвание и проект адреса написаны в умеренном духе, без кровавых выходок и разных революционных задирательств, и потому они могут иметь значительное влияние на публику, если успеют распространиться, — а кажется, успеют, потому что вот же под самым носом тайной полиции они преспокойно разгуливают по всему городу в бледно отпечатанных, — но все-таки отпечатанных экземплярах. Да и довольно появиться самому ограниченному числу экземпляров, чтобы быть прочитанными всеми, переходя из рук в руки.[183]

Замечательно, что студенческая история оставлена почти без внимания. О ней упоминается только в виде наставления пропаганде, что на юношество надо действовать возбудительно, но в то же время укрощая его неуместные или неумеренные порывы.

23. Понедельник. Из этого как бы следует, что не все наше общество проникнуто безалаберным влечением к анархии, или, что все равно, к так называемому прогрессу с л о м я г о л о в у. Да, было бы совсем иное дело, если бы в нем действительно преобладали умеренно-либеральные идеи, не вызывающие никакого насильственного переворота, а только побуждающие правительство не останавливаться или слишком медлить на пути неизбежных реформ. Это, конечно, то, чего хотят, чего должны хотеть все благородные мыслящие люди. Ибо нельзя же России и управляться так, как она управляется ныне. Надо призвать к содействию сословия — новые силы и способности. Но в какой форме должно это состояться? — вот вопрос. Довольно ли многочисленна, сильна и образованна умеренная партия,

чтобы склонить весы и на сторону рассудка и общественного блага? Будет ли она преобладающею? Не одолеет ли ее партия «сломя голову» и не поведет ли нас кровавым путем анархии к новому и притом ужаснейшему реакционному деспотизму?

Боюсь, чтобы правительство не отнеслось слишком легко ко всему этому движению, не подумало, что с ним можно справиться обыкновенными полицейскими мерами. Вразуми его, боже! А времена опасные и многосмысленные.

Государь, говорят, благодарил на параде Преображенский, Финляндский полки и жандармов за их действия во время студенческих смут.

Навестил Филипсона: он болен.

Вечером заседание у министра. Совещались о преобразовании университетов по поводу проекта барона М. А. Корфа. Он предлагает сделать университеты совершенно открытыми для всех и каждого, через что уничтожается самое имя студентов и таким образом прекращается их корпоративное значение. Не будет переводных экзаменов и курсов, — словом, университеты лишаются своего школьного характера. Я подал голос в пользу этого проекта, полагая, что в настоящее время это чуть ли не единственное средство борьбы с корпоративным духом молодых людей в университетах. Дух этот в своем настоящем виде такое глубокое и опасное зло, что я не считаю излишними никакие жертвы для его ослабления. Плетнев говорил в таком же духе, а больше и сильнее всех — ‹А. Н.› Савич. Министр возражал, что он сомневается в действительности этих средств, и защищал переводные экзамены. Но все остальные были решительно в пользу проекта, предложенного бароном Корфом. Делянов тоже сильно поддерживал нас. Министру, видимо, не хотелось согласиться с Корфом. [184]

В четверг будут об этом прения в Совете министров.

24. Вторник. К чему может привести идея безусловной личной свободы, составляющая один из основных догматов новейших политических учений? Образование не так всемогуще, чтобы изменить человеческую природу. Зверские инстинкты никогда не покидают человека. Так, например, что в самом деле значит проповедование убийства и кровопролития якобинцами и революционерами под предлогом доставления человеческому роду неслыханных благ и усовершенствований? Что значит вообще так называемый

прогресс, который обрекает уничтожению все, что сделано человеческими силами в соединении с жизнями многих тысяч людей, многих генераций?

Не угодно ли тем, которые находят кровопролитие, или, как они его называют, кровопускание, полезным для блага народов, начать его с самих себя, с своих жен, детей?

В Киеве для блага народа толпа каких-то сорванцов и негодяев палками до смерти заколотила стоявшего на паперти полицейского офицера.

25. Среда. Лекция в университете. Слушателей человек двенадцать.

Кавелин подал в отставку. Это по крайней мере честнее, чем не читать лекций. [185]

Делянов говорил мне, что министр не склоняется на меру, предложенную некоторыми членами университета в заседании у него в понедельник.

Я монархист (разумеется, не абсолютный) по принципу, а к Александру Николаевичу питаю искреннюю преданность со времени освобождения крестьян. Но, право, я боюсь, чтобы мне не перестать уважать его. Как можно делать министром таких людей, как граф Путятин? Ведь довольно поговорить с ним четверть часа, чтобы убедиться в его ограниченности. Неужели у избравшего его так мало знания людей и знания государственных нужд, которым должны удовлетворять избираемые? Это непостижимо.

Министр внутренних дел Валуев сделал мне сегодня через К. И. Рудницкого предложение принять на себя редакцию газеты, которую предполагает издавать с будущего года при министерстве внутренних дел.

Положено быть у министра в следующую субботу.

Откровенно спросить у Валуева: уверен ли он в том, что сам не встретит противодействия в либеральных видах, в которых должна издаваться газета. [186]

26. Четверг. Лекция в университете. Слушателей меньше, чем вчера. Заседание в Академии. Дубровский читал мало интересную для меня статью о переводах библии на польский язык. [187]

28. Суббота. Обедал у Делянова. Там, между прочим, был Павлов (Николай Филиппович). Он торжествует: по ходатайству министра внутренних дел Валуева государь дозволил ему издаваемую им еженедельную газету («Наше время») превратить в ежедневную, с политикою, — чего так трудно теперь добиться и чего, вероятно, он не достиг

бы, если бы дело шло через Главное управление цензуры. Кажется, газета будет полуофициальная.

После обеда я отправился к министру внутренних дел. Он предложил мне быть редактором газеты, которую министерство решило издавать с нового года. Я высказал ему мое мнение, что газета должна прежде всего иметь свой определенный характер, должна выражать какое-нибудь направление. А направление это, я полагаю, не может быть иное, как умеренно-либеральное. Если я возьму на себя редакцию газеты, буду ли я в состоянии поддерживать это направление в видах самого правительства? Министр отвечал, что тут надо будет действовать осторожно. — «Вы знаете, — прибавил он, — что само правительство не уяснило себе своих видов».

После довольно продолжительного разговора министр дал мне на размышление 48 часов. В понедельник надо будет дать решительный ответ.

29. Воскресенье. Утром просидел часа три у Павлова. Что бы там ни было, а умный человек этот Павлов. Он очень верно судил о нынешнем направлении умов, о студенческих агитациях, о неразумии тех профессоров, которые выступили на защиту претензий студентов, и проч. Сверх того, Павлов и приятный человек: тон разговора, манеры, язык — все показывает в нем человека образованного.

Сильный мороз. Пронзительный северо-восточный ветер. Скверно — холодно. У меня еще не готова шуба, и я принужден был ездить в ватной шинели поверх теплого пальто, что делало из меня толстяка вроде моего приятеля Ивана Карловича ‹Гебгардта›.

30. Понедельник. У министра внутренних дел. Я отдал ему записку, заключающую в себе ряд условий, на которых может быть предпринято издание газеты. Он прочитал ее при мне и на все согласился. Итак, жребий брошен. Я буду редактором этой газеты и, наконец, попытаюсь осуществить мою заветную мысль о проведении в обществе примирительных начал. В пятницу министр доложит обо мне государю.

Был, между прочим, разговор о министре народного просвещения. Валуев тоже того мнения, что это — просто человек ограниченный, неспособный возвыситься до известных понятий и осилить своего положения.

Ноябрь 1. Среда. На лекцию не явилось ни одного студента. Так как с самого открытия университета студенты-

филологи постоянно посещали аудиторию, то в большем, то в меньшем количестве, то их отсутствие в настоящем случае не является ли демонстрацией, уже лично против меня направленной? В продолжение всей моей университетской деятельности это был бы решительно первый случай. Но не надо ни этому удивляться, ни этим огорчаться. Деморализация в нашем университете так велика, что всего можно ожидать. Однако, кажется, и у других профессоров нашего факультета тоже никого сегодня не было.

2. Четверг. Сегодня студенты опять не явились на лекцию ни ко мне, ни к другим профессорам нашего факультета.

Заезжал в департамент к Делянову. Разговор о министре. Каждый его шаг есть ошибка. Он уже на попятный двор о созвании профессоров от всех университетов для составления проекта преобразования последних. Об открытых университетах тоже назад.

Делянов рассказывал мне, до каких неистовств доходили студенты в Москве. Они, между прочим, в глаза ругали попечителя, называли его ‹...?›

Отправил к Валуеву проект объявления об издании газеты и получил от него записку с приглашением явиться к нему завтра в половине восьмого часа вечера.

3. Пятница. Вечером у Валуева. Он сказал мне, что докладывал государю о назначении меня главным редактором газеты, и государь «с особенным удовольствием» на это согласился.

Совершенно неожиданно явился В. И. Барановский, который сегодня же приехал из Крыма. Очень отрадно было увидеться с тридцатилетним добрым другом.

Был поутру у Плетнева. Он рассказывал мне о том, как был выбран в министры Путятин. Митрополит Филарет рекомендовал его как религиознейшего человека. Императрица, плененная рассказами о благочестии и набожности графа, забыла, что для министра необходимы еще и другие качества, и начала сильно настаивать у государя о назначении его на место Ковалевского. Разумеется, к этому присоединились и другие члены камарильи, которые, кроме угодничества двору, ничего не знают и знать не хотят. К сожалению, государь отдался этой интриге, — и вот Путятин сделан министром, к стыду правительства, ко вреду России и к своему собственному позору.

Говорят, великий князь Константин сильно противился этому назначению. Он как начальник флота хорошо знает Путятина. Но и это не помогло.

5. Воскресенье. Утром у Филипсона. Разговор о министре, то есть о трудностях вести с ним дело.

Потом у графини Блудовой.

Там был, между прочим, бывший губернатор самарский, а ныне директор департамента податей и сборов, К. К. Грот. Умный и благомыслящий человек. Продолжительный разговор об университетах. Общие мысли о неспособности Путятина. Граф Строганов вмешивается во все. Он же вытеснил из головы Путятина мысль о созвании профессоров из всех университетов для рассуждения об устройстве последних.

Толкуют о назначении ‹В. П.› Титова на его место.

Князь ‹А. А.› Суворов назначен генерал-губернатором в Петербурге на место ‹П. Н.› Игнатьева. В публике одобряют этот выбор.

Получил от министра Валуева официальную бумагу о назначении меня главным редактором газеты «Северная почта».

7. Вторник. В десять часов утра экстренное заседание в Главном управлении цензуры. В «Сыне отечества» появился листок, сверху которого крупными буквами начертано: «Картина: русские крестьяне благодарят государя за освобождение от крепостной зависимости, поступила в продажу и пр.». Эта картина была на выставке и в объявлении о ней нет ничего странного. Но под ним на том же самом листе напечатана карикатура, в которой представлен Краевский и издатель «Сына отечества» со множеством собак и собачонок. Под карикатурой подпись: «Собачья депутация изъявляет благодарность своему защитнику в виду своего преследователя». Дело в том, что в «С.-Петербургских ведомостях», издаваемых под редакцией Краевского, не раз были печатаны статьи против множества собак в городе и предлагались намордники, а «Сын отечества» смеялся над этим. Но сближение двух фактов — благодарность крестьян и благодарность собак — вышло как нельзя более неуместным. Об этом уже распространились толки в городе. ‹А. В.› Старчевский был позван в заседание для объяснений; он объявил, что листок напечатан совершенно без ведома его. Цензор также не видел его и не подписывал. Определено отнестись к генерал-губернатору для произведения формального следствия.

8. Среда. Невоздержанность мысли так же вредна, как и невоздержанность тела. Воздерживаться от некоторых мыслей все равно, что воздерживаться от пьянства.

Ограниченные умы часто обольщаются верностью исходной точки и логичностью прямых из нее выводов. Отправляясь от начала справедливого, они идут последовательно всё по одной линии и приходят, наконец, к пропасти. Надо уметь стать на другую точку зрения и не терять из виду других линий. Тогда увидишь их множество, увидишь, что они то сходятся, то пересекают одна другую и таким образом, умеряя и ограничивая себя, взаимно мешают заключениям быть крайними и односторонними. Нет истины в одном определении: она состоит в совокупности многих определений.

Вечером совещание с ‹Н. В.› Варадиновым, который дан мне в помощники по редакции. Хлопот предстоит многое множество.

9. Четверг. В университете лекций не было; студентов в приходе не оказалось.

Заехал к Краевскому У него сборище литераторов. Мне стало страшно. Все такие знаменитости или смотрят знаменитостями. Просто я попал в пантеон великих людей, и мне стало совестно, зачем я такой маленький. Поговорив немного с Краевским о новой газете, я скоро ушел.

10. Пятница. Вечером в шесть часов заседание у министра народного просвещения. Совещание об открытии университета в Одессе. Университету там положено быть из двух факультетов: историко-филологического и физико-математического. Дворянство того края просило об открытии отделения наук сельскохозяйственных. Долго спорили о том: должно ли преподавать агрономию практически и для этого устроить нечто вроде фермы, хутора — или нет? ‹А. В.› Советов, ‹П. А.› Ильенков и некоторые другие высказывались против этого. Только зачем же эти профессора не сами от себя выражали свое мнение, а всё прятались за ‹Ю.› Либиха?

11. Суббота. Заседание в Главном управлении цензуры в восемь часов вечера. Представление о «Русском слове». Министр настаивал на запрещении этого журнала. Другие члены и я полагали ограничиться предостережением. На этом и порешили.[188]

12. Воскресенье. Являлся кое-кто предлагать свои услуги по газете.

13. Понедельник. Вечером совет университета. Министр поднял вопрос о доцентах: не следует ли подчинить их профессорам? Совет отвечал, что это противно духу университетского преподавания. Другой вопрос: об учреждении особой экзаменационной комиссии, которая бы объезжала университеты в период экзаменов и подвергала студентов испытанию вместо самих профессоров. Тоже отвергнуто.

15. Среда. Сказать министру Валуеву: мы стоим на пути широком — на пути чести и опасностей. Правительству предстоит приобрести общественное доверие, — но приобрести его оно может только правдивостью.

16. Четверг. Делянов подал в отставку. Он сегодня сам рассказывал мне о своей стычке с графом Путятиным, по поводу которой выход его в отставку сделался неизбежным. Путятину не понравился вице-директор ‹А. С.› Воронов, который несколько раз высказывал мысли, противные мыслям министра об устройстве гимназий. И вот он решился сделать его помощником попечителя в Вильно, о чем и объявил Делянову. Последний воспротивился такому назначению, о котором даже не спросили Воронова, хочет ли он этого. Путятин, повидимому, уступил, но затем тайком сделал доклад государю, и Воронов был назначен в Вильно. Это, разумеется, привело в негодование честного и прямодушного Делянова. Он горячо объяснялся с министром и, несмотря ни на какие его убеждения, просьбы, даже слезы, остался верен своему решению об отставке.

Вечером министр присылал за мной. Он просил меня изложить ему письменно главные вопросы, касающиеся существенных потребностей университетов и требующие немедленного обсуждения и решения. Очевидно, он не в состоянии сам обнять ни задач университетов, ни нужд их, ни средств, как их преобразовать и улучшить. Я обещал ему сделать это.

17. Пятница. Утром занимался окончанием статьи об университетах, которую хочу напечатать в «С.-Петербургских ведомостях».

18. Суббота. Ультралибералы наделали и, вероятно, наделают еще много вреда делу свободы. Вместо того чтобы действовать благоразумно в развитии принципов, идей законности, права, честной свободы, они начали угрожать правительству, дразнить его и гадить ему.

Доклад министру внутренних дел о газете. Разрешены некоторые вопросы. Главное, мне хотелось еще объясниться насчет направления. Я решительно и определительно высказал мои мысли относительно правдивости. Мне сказано, что это быть иначе не может, и дано торжественное уверение, что министерство ничего противного этому не потребует. Я заметил, что «кроме убеждений вашего высокопревосходительства и моих, того требуют и выгоды самого дела».

Мне поручено снестись с ‹А. Г.› Тройницким, который назначен товарищем Валуева.

19. Воскресенье. Просидел целое утро у Делянова. Туда приезжал и назначенный на его место управляющим департаментом народного просвещения граф Дмитрий Андреевич Толстой, мне коротко знакомый человек.[189] Разговор был о Путятине. Делянов не щадил его. Граф Толстой защищал его со стороны честности. Потом речь склонилась к нынешнему состоянию России, которое представляется в самом неутешительном свете. Граф лето жил в деревне, ездил по разным губерниям и наблюдал состояние вещей и умов. Он убежден, что года через два — в 1863 году — у нас откроется резня. Дворянство приготовляет адресы государю, прося его о даровании некоторых конституционных льгот или чего-то в этом роде, не настаивая, впрочем, на самой конституции. «Колокол» в восторге от студенческих историй и прямо приглашает студентов не думать о науке, а развивать пропаганду восстания. Надо отдать справедливость Герцену, что он поступает и нечестно и гадко: действует из-за угла, вовсе не понимая России, нужд, положения и не думая о последствиях.

Не есть ли все это процесс перерождения — и это всеобщее шатание умов, и быстрая, тревожная разладица общественных отношений, деморализация, бестолковое увлечение молодых умов, тупое бездействие зрелых и возмужалых — это всеобщее брожение, лихорадка честолюбий без всяких прав на отличие, бред умов такими теориями, которые едва коснулись их мысли, но не выдержали ни анализа, ни испытания. Не есть ли это процесс тяжелый и тревожный, процесс перерождения народа, который не жил до сих пор жизнью естественного и здорового развития, народа, которого история мучила, а не воспитывала?..

Тут не должно волноваться ни страхом, ни негодованием, тут надо отбросить обыкновенные предубеждения.

Тут должно мужественно мыслить, мужественно хотеть и действовать.

Но все это невольно надламывает во мне веру в нашу национальную способность самим устраивать свою судьбу. Невольно приходит на ум, что русский народ в самом существе своем носит невозможность самообладания, невозможность нравственной и политической самозиждительности. Не общее ли это на всех славянах проклятие? Спаси боже!

20. Понедельник. А личные мои дела куда как нехороши. Все одно и то же. Мне кажется, что уже и сам Вальц перестает верить своим ободрительным речам. Хочу посоветоваться еще с Экком, который пользуется большою известностью. Может быть, наука тут и ничего не может сделать, но утопающий хватается за соломинку. Никто, утопая, не опускается прямо на дно, не барахтаясь. Ведь это инстинкт живого существа.

21. Вторник. Поутру был у Тройницкого, с которым мне приходится часто иметь дело по газете. Мы, заседая с ним в Главном управлении цензуры, были хороши и теперь почти во всем согласились. Как товарищ министра, он будет содействовать доставлению нам из министерства материалов для газеты, будет посредником между ним и редакцией. Да, это весьма важно.

У Тройницкого я встретил какого-то полковника, который в Москве был действующим лицом на площади во время студенческой смуты. Предполагая, что он как свидетель может дать самые точные об этом деле показания, я спросил у него: точно ли и какое участие принимал народ в этом печальном событии. Полковник отвечал, что народ действительно с остервенением бросался на студентов и некоторых из них избил до полусмерти. Ему, полковнику, удалось спасти трех, причем и его в свалке помяли и он потерял фуражку. В толпе кто-то крикнул: «Это они за крепостное право стоят!» — и от этого народ пришел в неистовство.

От Тройницкого отправился я к ‹Н. А.› Муханову, у которого довольно долго просидел. Он дал мне прочитать от кого-то письмо из Москвы к ‹А. М.› Горчакову о нынешнем хаотическом состоянии России и о средствах выйти из него. Средства эти: *власть* и *либерализм*, то есть правительство должно стать на сторону умеренного либерализма, но действовать с силою и властью.

Тут говорится также о плате со студентов: мера эта признается вредною и не политичною. Письмо написано хорошо. В нем много правды.

Говорено было также о гр‹афе› Путятине, то есть о его неспособности управлять министерством. Повидимому, он недолго останется министром. Но кто займет его место? Толкуют об ‹А. В.› Головнине. Будет ли это находка?

22. Среда. Поутру был у ‹А. А.› Краевского. Советовался с ним о некоторых подробностях издания газеты. Он человек очень опытный по этой части. Я получил от него много полезных указаний.

Оставил у него для помещения в «С.-П‹етербургских› ведомостях» мою статью об университетах. [190]

Многим журналам и газетам на будущий год угрожает банкротство. Так плохо идет подписка. Ни у кого нет денег. Мне рассказывали, что третьего дня, на похоронах Добролюбова, сотрудника «Современника», Чернышевский сказал на Волковом кладбище удивительную речь. Темою было, что Добролюбов умер жертвою цензуры, которая обрезывала его статьи и тем довела до болезни почек, а затем и до смерти. Он неоднократно возглашал к собравшейся толпе: «А мы что делаем? Ничего, ничего, только болтаем». [191]

Тройницкий сообщил мне, когда я был у него в воскресенье, любопытный статистический факт, извлеченный им из официального источника: что из 80 000 чиновников империи ежегодно открывается вакантных мест 3000. В продолжение двух или трех лет с 1857 года из всех университетов, лицеев и школы правоведения выпускалось ежегодно 400 человек, кроме медиков. Вывод из этого: как невелико у нас число образованных людей для занятия мест в государственной службе. Я был поражен.

Отправил письмо к ‹И. Т.› Глебову, прося его предупредить доктора ‹В. Е.› Экка о моем желании с ним посоветоваться...

23. Четверг. Жиды нашли, за что распять Христа, афиняне — за что отравить ядом Сократа и проч. После этого следует ли нам, ничтожным людям, удивляться, что находят за что распинать наше имя и отравлять всячески, колико возможно, наше сердце злобой, клеветой и т. п. Довольно вызвать одобрительный отзыв трех или четырех человек, чтобы заставить других трех или четырех ругать вас беспощадно.

Удивительно ли, что мы не обладаем правдою в судах, когда вовсе не заботимся о ней в наших суждениях и речах.

Обедал у министра финансов А. М. Княжевича: он сегодня именинник. Тут увиделся с бывшим министром Ковалевским, который упрекнул меня, что я у него не бываю. Но у меня точно что-то оторвалось от сердца в отношении этого человека. Из мелкого ли желания быть популярным или просто вследствие органической неспособности к смелому самостоятельному образу действия — только в нем нельзя не видеть одной из главных причин того печального состояния, до которого доведены наши университеты. Говорил, между прочим, с Гречем и очень много с другим, ‹Ег. П.› Ковалевским, братом бывшего министра. Тут встретился также с ‹А. И.› Бутовским, с которым не виделся лет десять. Он теперь велик и силен: он директор департамента мануфактур.

25. Суббота. Продолжительный разговор с графом ‹Д. А.› Толстым.

28. Вторник. Вы говорите, что надо дотла разрушить все старое, чтобы построить лучшее новое. Но кто же будет строить? Люди? И вы думаете, что они не внесут в новое здание своих страстей, предрассудков, заблуждений. Зло переменит только кожу и останется тою же змеею.

29. Среда. Виделся с Ребиндером, который дня на два приехал сюда из Москвы. К нему зашел тоже ‹М. А.› Языков. Разговор о современном положении вещей. Уверенность в неизбежности смуты.

Декабрь 1. Пятница. За мною присылал министр народного просвещения. Я отправился к нему. Он просил меня доставить ему программу потребностей университетских, о чем он уже и прежде просил. Между прочим, он много говорил о печальном состоянии университетов. Говорил, что одною из главных причин неустройства он считает соглашение нескольких профессоров, чтобы поставить правительство в затруднение.[192] Они препятствуют даже новым лицам поступать в юридический факультет, в пример чему приводил ‹П. Г.› Р‹едкина›, который сначала вызвался быть у министра, назначил день и час и не явился, объявив, что он с таким ‹...?›, как нынешний министр, никакого дела не хочет иметь. Это сам граф Путятин мне и пересказал.

2. Суббота. Задние мысли ужасно вредят всякому делу.

Люди гораздо реже пользуются поводами к одобрению или похвале других, чем поводами к их осуждению и порицанию, и как в последних никогда не бывает недостатка, то, раздувая и преувеличивая их, они могут представить чуть не чудовищем того, кто в сущности человек очень почтенный и порядочный...

Студенты опять произвели скандал в университете. Они там собрались в кучу и о чем-то рассуждали или что-то читали. Помощник инспектора Шмидт, подозревая или видя в этом сходку, просил их разойтись, на что они отвечали грубостью. Увидев между ними одного, не принадлежавшего к тем, которые взяли матрикулы и следовательно получили право посещать университет, он взял его за руку и спросил: «А вы зачем здесь?» Тогда на бедного Шмидта посыпались удары, его сбили с ног, то есть окончательно прибили. По этому поводу наряжается из профессоров суд, и мне приходилось быть его членом и чуть ли не председателем, как старшему. Я просил меня уволить от этого, потому что я страшно теперь занят газетою и приготовлением академического отчета. Выбрали от нашего факультета ‹И. Б.› Штейнмана и ‹М. И.› ‹С›ухомлинова.

3. Воскресенье. Нет бóльших врагов у свободы, как яростные и неразумные ее глашатаи и защитники... Кажется, свободы никто не дарит, а она заслуживается и приобретается самими, кто ее хочет и достоин.

Есть отважные мысли разного рода: по влечению одних идут и открывают Америку, по влечению других попадают в дом сумасшедших.

4. Понедельник. Отдал министру записку об университетах. Я рад, что спустил с рук эту бесплодную работу. Между тем мне хотелось сделать дело, полезное для Гончарова. Я предложил министру назначить его членом Главного управления цензуры на место Тройницкого, который сделан товарищем министра внутренних дел и потому выбыл из управления. Конечно, лучшего выбора сделать невозможно. Но что же отвечал мне министр, который сам хорошо знает Гончарова?

— Я уже назначил, — сказал он.

— Кого же? — спросил я.

— Кисловского!!

Кисловский способен судить о литературных делах — этот невежда, никогда не выходивший из канцелярской

рутины! Министр вытесняет Делянова и Воронова и дает ход Кисловскому!

5. Вторник. В восьмом часу утра получил записку от Филипсона с просьбою в девять часов быть у него. Дело состоит в том, что меня просят быть членом комиссии, назначенной для пересмотра университетского устава.[193] Поручение это так важно, что я не могу от него отказаться, несмотря на множество теперешних моих занятий. Дай бог сил!

Был у ‹Е. Ф. фон› Брадке, у которого нашел попечителя Казанского университета, князя ‹П. П.› Вяземского, с великолепными волосами и оригинальным бульдогообразным лицом. Брадке с виду кажется развалиною. Он сидел, или, лучше сказать, лежал, с обернутыми фланелью ногами. Но он удивил меня бодростью, силою и ясностью своих суждений. Видно, что дух его бодр, хотя плоть немощна. Он принял меня очень любезно, вспомнил наше прежнее знакомство при Норове. Все, что он говорил о предстоявшем нам деле, отличалось опытностью, знанием и умом. Позже к нам присоединился ‹К. К.› Фойхт, назначенный от Харькова присутствовать в комиссии.

7. Четверг. Первое заседание комиссии. Брадке начал очень умным и ясным изложением задачи ее. Филипсон немножко неловко и слишком горячо распространился о преимуществах открытых университетов перед другими, в том смысле, как я писал в «С.-Петербургских ведомостях». Но я писал, желая противодействовать корпоративному духу студентов в его настоящем виде. Между тем есть другие, не менее важные условия, которые должны быть приняты в соображение при устройстве университетов. Депутаты от Московского университета, С. М. Соловьев и И. К. Бабст, явились в заседание довольно поздно: они только что приехали из Москвы. В этом заседании, после довольно продолжительных прений между председателем и Филипсоном, принято было приступить к пересмотру устава 1835 года и проектов нашего университета, Киевского, Московского, исправляя и изменяя устав сообразно новым потребностям.

Был ‹В. К.› Ржевский, будущий редактор отдела внутренней летописи. Человек бойкий.

8. Пятница. В 10 часов заседание комиссии для устройства университетов. Еще до этого я должен был написать и разослать несколько писем. В комиссии, идя шаг за шагом

по параграфам устава 1835 г., причем цитировался и проект устава Петербургского университета, мало изменили первый из них. Но главное — установление кафедр по университетам. Нам объявили, чтобы мы были не слишком щедры на новые кафедры, так как правительство всего может дать на университеты только 500 000 рублей. Положено в каждом к ныне существующим кафедрам прибавить по одной. Мы долго работали над приведением в согласие кафедр по каждому факультету с будущими штатами, и все-таки вышло, что денег потребуется больше, несмотря на нашу скромность.

Еще важная вещь: признана полная автономия университетов относительно распределения наук по разрядам и проч. — словом, все, относящееся к свободному и широкому ходу науки. Не требуется даже разрешения начальства, а только заявляется ему.

Опять говорилось с Брадке о неизбежности нового закрытия университета. Мнимое открытие его производит только скандал. Никто из студентов не ходит на лекции; прежде человек 50 являлось, а теперь решительно нет никого.

После трудного и продолжительного (до трех часов) заседания в комиссии мне тотчас после обеда предстояло ехать в университет, где попечитель назначил собрание для совещания по поводу преобразования университета. Филипсон-таки охотник советоваться, даже там, где должен бы решать авторитет его собственного убеждения или власти. Филипсон заболел, и я должен один переговариваться с профессорами. Часа два прошло в толках и прениях. Оттуда забежал домой, выпил чашку чаю — и к министру внутренних дел в десять часов вечера. Там собраны были частные репортеры и происходили совещания до половины первого ночи.

9. Суббота. Третье заседание в комиссии. Большие прения по вопросу: нужно ли доцентов назначать общим числом для университетов или распределить их по факультетам и вакантные места одного факультета не предоставлять другим? Был также возбужден Бабстом вопрос: подлежат ли сочинения студентов общей цензуре или могут печататься с разрешения факультетов? Московские депутаты сильно настаивали на последнем. Собрали голоса. Большинство осталось за ними. Я был против; председатель также. Положено разногласие это внести в протокол. Князь ‹П. П.› Вяземский поспорил с председателем.

Тут я познакомился с бароном ‹А. П.› Николаи, попечителем Киевского университета.

Я заявил в комиссии желание восточного факультета иметь особого профессора истории Востока.

Вечером явился ко мне И. А. Арсеньев от министра в сотрудники газеты. Он будет сделан редактором политического отдела.

10. Воскресенье. Утром писание отчета. Вечером на рауте у министра внутренних дел. Множество всякого народа. Виделся со многими из старых моих знакомых.

11. Понедельник. Не помню, чтобы я был когда-нибудь так занят.

Комиссия. Сегодня довольно подвинулись вперед. Министр сказал нам, что миллиона прибавки на министерство народного просвещения не будет, но Брадке противного мнения. Последний сообщил нам виды относительно дисциплинарной части. Университетские студенты, где есть генерал-губернаторы, то есть в больших городах, в Петербурге, Москве и Киеве, будут подчинены генерал-губернаторам, при которых, для надзора за ними, будут особые чиновники. Харьковские и казанские депутаты объявили, что они сами справятся со студентами и отвечают за порядок в университетах. Это замечательно!

12. Вторник. Заседание комиссии. Решен важный вопрос об ограничении власти попечителя. Брадке сам возбудил его. Барон Николаи противился и говорил умно и основательно с своей точки зрения. С его мнением согласился и ‹Н. В.› Исаков. Остальные приняли мысль председателя.

13. Среда. Утро с десяти до половины третьего по обыкновению работал в комиссии. Вот, как говорится, духа перевести некогда. Много было прений, но дела сделали немного.

Вечером решился послушать музыку и хоть немного дать отдыха голове. Поехал в оперу. Давали «‹Бал-› маскарад» Верди. В театре был он сам. Его вызывали в третьем акте и по окончании спектакля.[194]

14. Четверг. Комиссия. Прения о доцентах. Вечером у меня собрание частных редакторов газеты до 12 часов. Бездна разных обстоятельств, из которых иные должно объяснить, по другим самому дать решение, а по третьим испросить его у министра. Многое, однако, кажется, слажено.

15. Пятница. В комиссии сильные прения по поводу двух вопросов: 1) допустить ли женщин к слушанию лекций или нет, и 2) о плате за студентов. Первый вопрос большинство решило отрицательно. О втором прения еще не кончились. Мало, однако, как-то сочувствия облегчению платы. Я стоял за смягчение, особенно в отношении к способным бедным людям.

У графа ‹А. В.› Адлерберга. Передал ему доклад о пособии «Энциклопедическому лексикону».

16. Суббота. В комиссии. Окончательно решен вопрос о плате со студентов.

В редакции от трех до пяти часов. Бездна разных затруднений, которые предстоит уладить. Терпения и мужества.

Заседание в комиссии от десяти часов до трех, потом от трех до пяти в редакции сильно утомило меня. Вечером обычный пароксизм, а ночью толчки, толчки, толчки.

17. Воскресенье. Говорят о назначении министром на место графа Путятина ‹А. В.› Головнина. В публике общее нерасположение. Все считают его умом довольно мелким и фальшивым.

Вечером у Валуева. Многое множество звездоносцев. Сегодня я уже не сделал ошибки, как прошлый раз, — приехал в белом, а не в черном галстуке. Масса знакомых.

18. Понедельник. Мой академический отчет приведен к концу.

Заседание в комиссии. Сильнейшие прения о том: избирать ли из профессоров проректора для наблюдения над студентами в стенах университета или определять для этого инспектора из посторонних лиц? Московские и я настаивали на последнем. Прочие желали первого. Большинство осталось за последними. Но мы намерены еще поднять этот вопрос, ибо дело весьма важное.

Вечером у меня собрание из депутатов и двух лиц нашего университета. Толки шли о проректоре и инспекторе. Положено приступить к соглашению. Бабст заготовил редакцию параграфов к завтрашнему заседанию.

19. Вторник. Сегодня довольно много пройдено параграфов устава без особенных прений.

20. Среда. В комиссии. Дело шло о штатах, к которым надо было приспособить устав. На университеты

ассигновано правительством 500 тыс. руб., в чем, впрочем, иные сомневаются. Цифра эта, однако, нам сообщена официально. Из комиссии за два часа отправился в редакцию и там до пяти часов. Тут набрался всяких хлопот, крупных и мелких. Все идут ко мне за разрешением, что, разумеется, меня чрезвычайно затрудняет, особенно материальная часть.

21. Четверг. Дописал, наконец, отчет по Академии. Итак, с плеч долой хоть эта ноша. Отчет писал я урывками, минутами.

В комиссии читана общая редакция устава.

Высочайшее повеление о закрытии С.-П‹етербургского› университета. Фактически он был уже закрыт самими студентами, которые не посещали лекций.[195]

22. Пятница. В комиссии. Начало подходит уже к трем часам. Я не выдержал, почувствовал себя дурно. Трудно-таки в течение вот уже тринадцати дней каждое утро заседать в комиссии от десяти до трех часов, не считая массы других дел.

Вечером к Плетневу. Читал ему академический отчет. Он одобрил и весьма похвалил. Итак, это великолепное разглагольствие о том, что в сущности очень мало стоит, эта фальшь, облеченная в одежду пышных слов, — все это, наконец, кончено. Ах, нет! не кончено. Еще надо прочитать президенту, графу Блудову, который, вероятно, найдет что-нибудь поправить в слоге; он это любит, так как считает себя прямым наследником Карамзина.

23. Суббота. Сегодня заседания в комиссии не было, но, несмотря на это, бездна выдалась хлопот, особенно по редакции.

24. Воскресенье. Заезжал ко мне ‹В. Я.› Фукс, редактор по отделу «разных известий». Вышел беспорядок: Ржевский врезался в его отдел и распорядился самовольно. Надо принять меры на будущее время.

25. Понедельник. Праздник рождества Христова. Маленький отдых. Впрочем, нельзя этого назвать настоящим отдыхом, потому что от меня беспрестанно требуют объяснений и разных разрешений по редакции. Между прочим, между частными редакторами начинают возникать несогласия и споры о пределах их редакции. Иные врезываются в им не принадлежащие отделы и захватывают чужой материал. Все эти дрязги надо разбирать и улаживать.

27. Среда. Министром назначен ‹А. В.› Головнин.

Кое в чем поддерживать правительство еще не значит быть ему преданным. Защищать принцип правительства или самое правительство — не одно и то же.

Газета крайне меня беспокоит. Там черт знает что напутали, и придется многое переделывать, а 1 января уже у порога.

Заседание в комиссии. Филипсон поспорил с председателем, и довольно неловко. Он читал свое мнение, в котором защищал совершенно открытые университеты на основании журнальных толков.[196] Видно по всему, что тут нет своего цельного, строго обдуманного мнения. Здесь и я грешен. Филипсон взял несколько и моих мнений, выраженных в печати, которые, впрочем, очень далеки от его крайней теории и которые я применял совсем иначе, чем он, в наших комиссионных заседательских совещаниях. Филипсон не понимает разницы между истиною, логически вытекающею из известного принятого начала, и истиною, применяемою к различным условиям и требованиям жизни. Впрочем, в изъяснении причин студенческих волнений у него сказано много верного и справедливого. Нехорошо, однако, то, что он своей бумаге дал характер полемический, или, лучше сказать, обвинительный, против действий комиссии, которую он упрекает в отступлении от высочайших повелений и проч. Председатель объявил, что он напишет на это свое возражение.

Затем в комиссии не происходило ничего особенно важного, и мы разошлись в половине второго, так что я мог сделать еще кое-что по редакции, побывать в типографии и проч.

28. Четверг. Из комиссии ушел в двенадцать часов. Собрание редакторов, с которыми протолковал до пяти часов. Газета настраивается к первому января. Но бездна еще мелочей, которые надобно уладить.

29. Пятница. Акт в Академии наук. Я читал отчет.[197]

Вечером у министра ‹Валуева› с докладом, потом в типографии. Приехал домой поздно, но еще застал у себя нескольких знакомых.

30. Суббота. Комиссия. Потом целый день в хлопотах и возне с газетой.

31. Воскресенье. Несмотря на воскресенье, получил повестку, что и сегодня заседание в комиссии, только не

в десять, а в одиннадцать часов. Ужасный, неугомонный человек этот Брадке! Это, конечно, ничего для тех, у кого только одно дело в руках, а у меня завтра должна выйти газета. Может быть, придется немного опоздать в комиссию.

Обделал дела по редакции, кажется, удачно. Был у Фукса, потом поехал в заседание комиссии. Сегодня последнее заседание. В пятницу подпишем новый устав. Всего было семнадцать заседаний.



1862

Январь 1. Понедельник. До половины третьего ночи в типографии, где и принял новорожденного младенца — «Северную почту». Вместе со мною работали и частные редакторы. Выход из-под пресса первого листа мы приветствовали бокалом шампанского в подвалах типографии, где начальник типографии представил мне этот лист во втором часу. Домой вернулся к трем.

В десять часов утра был уже у министра внутренних дел и представил ему первый номер газеты.

Я недоволен этим номером. Что в нем лучшего, то не наше: это объявление о предпринимаемых правительством реформах.[198] Оно принято в редакцию от государственного секретаря.

2. Вторник. Сделал наскоро несколько визитов, потом в типографии и редакции провел до пяти часов, подготовляя следующий номер газеты.

Приехал домой около шести, а в девять снова отправился в типографию, где и оставался до двух часов ночи.

3. Среда. Черт знает что напутано в сегодняшнем номере газеты. Страшная неисправность корректуры. Мы положили с товарищем министра перестроить совсем типографию, усилить корректуру и проч.

Отвратительный пароксизмный день. В типографии до часу ночи. Ждал заграничных депеш: их еще не было в час. Велел без них верстать, а когда они придут — тиснуть особое прибавление.

5. Пятница. Все с газетой. Страшное неустройство во всем. Из этого хаоса надо образовать порядок и стройность.

Типография особенно отличается классической неурядицей. Я призывал Нагеля, чтобы он помог добрейшему и усерднейшему Петру Ермолаевичу устроить порядок технический, а товарищ министра — надо отдать ему справедливость — помогает всем со стороны министерства. Бездна всяких хлопот и мелких и важных. На меня со всех сторон летят упреки за всякую ошибку, опечатку. Но я не унываю, зная, что, всякое дело вначале представляет большие трудности и неустройства.

6. Суббота. В России бездна способностей, но людей, приспособленных к делу, очень мало. Отчего это?

Вечером с докладом у министра внутренних дел.

7. Воскресенье. Получил вечером от министра внутренних дел любопытное письмо, которое может меня с ним поссорить... Нужно отвечать, и я намерен отвечать сильно. [199]

10. Среда. Утром письмо от Валуева, умное и совершенно примирительное. Вечером у него. Объяснение. Дело кончилось удовлетворительно.

Позже в типографии. Застал там Тройницкого и Ржевского. С новым метранпажем дело, кажется, идет лучше.

13. Суббота. В восемь часов вечера заседание Главного управления цензуры — первое под председательством нового министра ‹Головнина›. На первый раз достоинства министра выразились в быстроте, с какою он вел и, кажется, намерен вести наши заседания. Прежде три четверти времени уходило на болтовню и пустые словопрения. Теперь же читается бумага, приводится справка, и если все мнения согласны, то делу и конец; если же не согласны, то собираются голоса. Что требует рассуждения, о том рассуждается, но без уклонений и обращений к таким-то примерам и воспоминаниям из своей собственной жизни, без умозрений, в которых и ума-то никакого нет, и т. д. Мы в два часа бездну дел пересмотрели и произнесли решений.

В заключение министр объявил, что государю угодно, чтобы цензура усилила свою бдительность и строгость против периодической литературы. В этом смысле уже даны цензорам циркуляры. [200] Что скажете вы, господа красные; на чьей душе грех?

Замечены в «Дне» особенно статьи: о самоуничтожении дворян и о земских соборах. [201]

В одиннадцать часов заезжал в типографию. Там все обстояло благополучно.

16. Вторник. Ездил в Римско-католическую академию объясняться по поводу того, что я за это последнее время в ней часто не бывал. Сегодня я просил епископа и ректора уволить меня, так как я не выполняю как следует моих обязанностей. Но он об этом и слышать не хочет, и вся академия волнуется при одной мысли, что я хочу оставить ее. Кажется, меня там действительно любят, может быть и не без примеси своих расчетов — по крайней мере со стороны начальства, — но и за то спасибо.

Тут я наткнулся на приготовления к поздравлению нового варшавского митрополита: он из наших воспитанников и на днях возведен в этот сан. Это неслыханное возвышение. Он всего шесть лет как священствует и был духовником академии. Я вместе с другими пошел его поздравить как моего бывшего ученика. Такого умного, кроткого, пленительного лица я между мужчинами, кажется, никогда не видал. Имя его Феликс Фелинский. Он наговорил мне очень много любезностей, как меня любят все мои слушатели и проч.

17. Среда. День без особых забот и приключений по редакции. Однако я все-таки приехал домой лишь после полуночи. Хлопочу, чтобы мне дали помощника по материальной части.

18. Четверг. Большая суматоха в редакции по поводу замеченных опечаток и проч.

20. Суббота. Вечером доклад у министра Валуева. Выхлопотал себе помощника по материальной части, ‹А. И.› Артемьева, человека очень дельного. Повидимому, Валуев все сердится на меня за мое письмо. Но я от этого не унываю. Он, несмотря на наши предварительные разговоры, кажется хотел видеть во мне чиновника, а я этого не хотел и не хочу — вот и все. А если я в письме говорил от сердца и высказался с некоторою твердостью и независимостью духа, то как же иначе? Я иначе не говорю.

21. Воскресенье. Я рад воскресенью, как школьник. Не ехать ни в редакцию, ни в типографию и вечер могу остаться дома. Словом, воскресенье для меня настоящий день седьмой, субботний.

В жизни выдаются особенно трудные и трудовые моменты. Один из таких переживаю я теперь. Вокруг все бурлит и клокочет. Я похож на кормчего, который должен вести свой корабль среди мелей и подводных камней. Неурядицы

по изданию газеты, с которыми я должен ежедневно бороться; недостаток в честных сотрудниках, бедность материала, способного оживить газету и придать ей литературное значение; бесконечные стеснения со стороны министерства; взыскательность публики, требующей, чтобы вдруг все было сделано, что делается месяцами и годами; неприязненные крики крайних партий; надломленное здоровье, — и посреди всего этого хаоса я один, без всякой другой опоры, кроме чистоты моих намерений... Вот некоторые, но далеко не все прелести моего нынешнего положения.

Да, у меня есть враги, которые всячески стараются мне вредить. Лучше, конечно, если бы этого не было. Однако я надеюсь, что во мне найдется довольно нравственной силы, чтобы побороть это зло, не уступив ни на шаг из того, что я считаю честным и справедливым.

22. *Понедельник.* В думе некоторые профессора собираются читать лекции, говорят, по желанию бывших студентов. На это уже получено разрешение.[202]

23. *Вторник.* Обнародование в «Северной почте» государственного бюджета, и потому я пробыл в типографии до часу ночи.

Разнеслись слухи, что министр финансов вышел в отставку и на место его назначен ‹М. Х.› Рейтерн.

24. *Среда.* Сегодня получил от государственного секретаря для напечатания в «Северной почте» указ об увольнении Княжевича от должности министра финансов и о назначении на его место Рейтерна.

28. *Воскресенье.* Парадное представление министру. Вот мое определение Головнина: сух, холоден, умен, изворотлив. Вот и все пока.

29. *Понедельник.* Борьба и все только борьба: борьба с недугом, с бесконечными затруднениями в делах, по службе, с человеческими мерзостями. Вот что называется жизнь боевая! Да где же лавры? Кроме сосновых игл, ничего не растет на нашем болоте. Но все-таки надо крепиться и мужаться из уважения к самому себе.

Жестоко был истязуем все утро: налетел особенно сильный пароксизм. Поехал в типографию. Там в хлопотах как будто стало полегче. В три часа поехал в университет; из университета домой пешком — немного расходился. Припадки теперь приняли, точно, лихорадочный характер: они аккуратно посещают меня через день.

Сегодня был в историко-филологическом факультете выбор трех членов в правительственную комиссию университета до его открытия. Я получил из шести — два шара. Итак, у меня есть два благоприятеля. Чудо! Ведь против меня все красные и все пестрые...

Февраль 2. Пятница. Сегодня было у меня особенно много посетителей. Разошлись в три часа.

3. Суббота. Вечер в типографии.

5. Понедельник. Неприятное, о какое неприятное дело! Министр внутренних дел издал циркуляр губернаторам, чтобы те посредством полиции заставляли подписываться на «Северную почту», так как эта газета правительственная и должна противодействовать русской прессе! Так сказано в циркуляре. Это меня глубоко огорчило. Надо принять против этого меры.

6. Вторник. Я прочитал сегодня двум моим главным сотрудникам, Ржевскому и Арсеньеву, проект моего письма к министру с изложением нашего протеста против принудительной подписки на газету и особенно против того, как в его циркулярах мотивирована эта нелепая мера. Они без малейшего колебания согласились подписать мое письмо. Завтра оно будет отправлено по назначению.

7. Среда. Отправил письмо к Валуеву за подписями: моею, Ржевского и Арсеньева. Письмо, мне кажется, написано убедительно и сильно. По крайней мере я не стеснялся.

Письмо было отправлено около четырех часов, а ответ я получил в шесть. Ответ показывает, что министр почувствовал неприличие своего поступка, но как поправить его трудно, то он кое-как изворачивается. Впрочем, он обещается дать циркуляру пояснение, благоприятное для наших идей.

8. Четверг. Мои товарищи очень благодарили меня за оборот, какой я дал делу о министерских циркулярах.

11. Воскресенье. Вечером у министра Валуева. Говорено было о нашем протесте. Валуев выражался очень любезно и еще раз подтвердил свои обещания.

13. Вторник. Нельзя сказать, чтобы я принадлежал к смертным, слишком облагодетельствованным судьбою. Тяжкий беспрерывный труд, болезнь, враги, из которых каждый ежеминутно готов бросить в тебя грязью, необеспеченная будущность — право, все это вместе взятое и еще в прибавку кое-что другое составляет ношу жизни

довольно порядочной тяжести. Да как быть? Надо нести. Да и почему бы жизни быть лучше здесь, когда она скверна, очень скверна в тысяче других мест?

Все эти последние дни я ношу внутри себя какую-то пустоту и глубокое презрение ко всему окружающему. Чувство это, впрочем, становится у меня почти хроническим, как и мои болезненные припадки. Кстати о последних. Вальц, в сущности так же мало знающий, как и все его собраты, все хочет уверить меня, что это так, нервное состояние, даже не болезнь, а слегка неприятное препровождение времени.

14. Среда. Боже мой, что это за люди! Как шакалы, так около тебя и шныряют, чтобы поживиться, оторвать от тебя кусочек или твоего спокойствия, или твоей репутации. Кажется, на что бы им это нужно было?

15. Четверг. Даже некогда хорошенько побеседовать с самим собою в этом дневнике.

16. Пятница. В Твери, говорят, произошло какое-то волнение среди дворянства. Туда послали для исследования и для водворения порядка ‹Н. Н.› Анненкова, несколько жандармских офицеров, обер-прокурора сената. Тверь — город либеральный. Он со времени крестьянского дела не раз уже выражал требования, довольно смелые. [203]

18. Воскресенье. Холоду 13°. Походил, погулял перед обедом по вьюге. Встретил ‹И. И.› Панаева, который очень похудел. Жалуется на своих сотоварищей-литераторов и журналистов, на тех передовых людей, которые так много вредят делу настоящей свободы. Вот теперь начинает убеждаться в этом Панаев. Между прочим, новый министр, Головнин, требовал от них мнения по цензурным делам, а они так этим вознеслись, что начали разглашать, что и цензура и сам министр теперь у них в руках. [204]

19. Понедельник. Сию минуту, около четырех часов, узнал я, что И. И. Панаев умер. Вчера в это самое время я встретил его на Невском проспекте и гулял с ним более получаса. Он показался мне похудевшим, и я заметил ему это. «Да я чуть было не умер недавно, — сказал он мне, — в груди у меня что-то такое сделалось, что чуть было не задушило меня. И это продолжалось часа три». Затем он говорил со мною о тверском происшествии, о литературе и литераторах, которых он укорял за их безалаберность и крайний образ мыслей. Я подивился такой скромности и умеренности суждений. И вот бедного Панаева уже нет на свете.

Сегодня также получил приглашение на похороны А. П. Алимпиева, одного из моих самых давнишних приятелей и доброжелателей. Грустно.

Был у доктора ‹В. Е.› Экка, с которым советовался о моем здоровье...

20. Вторник. Кончил статью о прогрессе для «Северной почты». Она очень меня занимала. Вся она написалась легко, но конец сильно затруднил меня, там, где приходилось говорить о наших крайних прогрессистах, и выходило очень резко. А я враг всяких резкостей и личностей в печати. Я решился это оставить и заключил статью только легким о них упоминанием.[205]

Прислал министр для напечатания в газете объяснения о тверском деле. Дело нехорошее. Тринадцать человек дворян вздумали выразить протест против «Положения о крестьянах 19-го февраля». Их привезли, посадили в крепость и предали суду сената.

21. Среда. Переговоры с товарищем министра ‹Тройницким›. Тут какая-то интрига. Кому-то хочется опрокинуть ‹А. Г.› Ротчева, который составляет нам и переводит телеграфические депеши, и посадить на его место другого. Между тем я не имею никакой причины быть недовольным Ротчевым. Кроме того, я решился сильно воспротивиться этим набегам на редакцию и сегодня вечером серьезно объяснил товарищу министра, что я и мои товарищи очень недовольны таким вмешательством в наше дело; что газета начинает приобретать авторитет; что мы и без того заняты очень много, чтобы еще хлопотать о пустяках, которыми нам надоедают, и проч. С товарищем министра мне вскоре удалось договориться так, что когда явился ‹И. А.› Арсеньев, которого депеши преимущественно и касаются, никаких компликаций уже не могло последовать. Все уладилось, и все остались довольны.

22. Четверг. На похоронах у Панаева. Его отпевали в церкви Спаса Преображения. Я, однако, не достоял обедни. Народу было много, и в церкви духота. Тут, между прочим, я встретил государственного секретаря ‹В. П.› Буткова.

Заседание вечером в Главном управлении цензуры. Давно уже его не было. Тут, между прочим, очень смешным образом выказал себя Кисловский, мой старый недруг, который вообразил себе, что он может и здесь подставлять мне ногу. Под его наблюдением находится «Северная

*

почта». Кисловский не понял, что это только соблюдение формы и что газета, издаваемая министерством внутренних дел, в сущности не подлежит его контролю. Объявив, что подведомственные ему журналы и газеты неукоризненны, он прибавил, что вот только разве «Северная почта» подлежит его замечаниям — и за что же? За статьи об архиепископе Фелинском. Он не мог догадаться, что такие статьи иначе не печатаются, как по распоряжению высшего правительства. Я выслушал это спокойно и, не обращаясь к Кисловскому, объяснил только с улыбкою министру ‹Головнину›, какого рода эти статьи. Министр тоже улыбнулся и, сказав, что до газеты «Северная почта» касаться нечего: это газета официальная, тотчас встал с места, и заседание кончилось. Кисловский остался ни при чем.

Новый член ‹А. Н.› Тихомандритский. Ну, этот...

24. Суббота. Надобно достигнуть того состояния духа, в котором бы все неизбежные превратности жизни принимались без ропота и уныния, но и с некоторым внутренним довольством. Ведь ежели человек — существо, способное к усовершенствованию, то почему не достигнуть ему этой степени нравственного совершенства? Бывают высшие умы, почему же не быть характерам высшим?

28. Среда. Стычка с Ржевским. Он безжалостно засыпает редакцию своими статьями, которые далеко не все хороши, да к тому же еще и не подписывает под ними своего имени. Мало того, он вздумал самовольно распоряжаться в типографии, приказывая метранпажу набирать и печатать свои статьи, не заботясь, достанет ли для них места, не пострадают ли от того другие отделы и в состоянии ли типография делать это с такою быстротою, как ему хочется. Об этом доложено было мне, и я сделал распоряжение, чтобы без моего ведома и согласия никакая статья не набиралась.

Во вчерашнем номере Ржевский напечатал в фельетоне статью: «Обозрение русских журналов за январь месяц». Статья наполнена ругательствами на Чернышевского, шутками дубового свойства и вообще плоха.[206] Сильно не по душе мне все эти ругательства и плоскости!.. Сегодня Ржевский принес продолжение, с тем чтобы оно было набрано и напечатано в завтрашнем номере. Было уже три часа. Метранпаж пришел в отчаяние и явился со мною объясняться. Ржевский разгневался, не допуская, чтобы

его статья, даже не подписанная, могла подвинуться, уступить место другой, каковы бы ни были соображения общей или главной редакции. Он ушел в крайнем раздражении.

Мораль этого факта: у нас невозможно соединение людей для какого-нибудь общего дела, потому что каждый из участников считает для себя законом не интересы дела, а свои собственные выгоды, свое я, свое самолюбие. Впрочем, о Ржевском меня предупреждал Валуев. «Имейте в виду с этим человеком, — сказал он мне, — что он охотник запускать лапу в чужие дела».

Март 1. Четверг. Многое приходится сносить тому, кто хочет быть вполне честным человеком.

Стоит только немного изучить и узнать людей, чтобы почувствовать глубокое презрение к тому, что в большинстве случаев отнимает у вас или дает вам их сердце.

2. Пятница. Вечером приходил ко мне ‹И. А.› Арсеньев. Он очень испуган: ему кто-то сказал, что против меня и него существует заговор. Хотят свергнуть меня с редакторства, а на мое место посадить Артемьева. Арсеньева тоже хотят удалить. За себя мне нечего бояться. Я со времени известного циркуляра (об обязательной подписке на газету) только одною ногою стою в редакции. Мой выход из нее только вопрос времени. Впрочем, слухи, переданные мне Арсеньевым, на этот раз кажутся мне просто грубою шуткою, которою хотели напугать его, зная его легковерие и тревожный нрав. Я ему это так и растолковал и успокоил его.

3. Суббота. В мыслящем существе жизнь без мысли есть нелепость.

Жизнь в мысли значит жизнь по законам, по идеям целого, добра, порядка. Жизнь не в мысли значит жизнь по слепым влечениям материи, природы.

Эгоизм есть бессмыслие, потому что он удаляется от главных оснований и атрибутов мысли — от общего.

Права жизни велики, столь же велики в глазах человека должны быть и права мысли.

Три элемента образуют характер: природа (природные предрасположения, наклонности), воля и среда.

5. Понедельник. Если правительство само себе не помогает, ободряя честный либерализм и направляя умы к разумным и полезным реформам, то кто же может ему помочь?

Профессор ‹П. В.› Павлов за речь свою на публичном чтении, бывшем в пятницу в пользу литераторов, выслан в отдаленный уездный город под надзор полиции. [207]

Арсеньев продолжает волноваться. Он утверждает, что действительно существует заговор о низвержении всех нынешних редакторов «Северной почты» и что главное действующее лицо здесь ‹П. И.› Мельников.

6. *Вторник*. У министра ‹Валуева›. Интересный разговор. Я мало верю тому, что передавал мне Арсеньев о подкопе под весь состав нашей редакции, но опасение его и страх за самого себя могут быть и основательны. Притом надо также взять в расчет и слова товарища министра о дороговизне издания газеты и о дефиците, который ожидает министерство. Все это заставило меня поехать к министру. Он был очень любезен, говорил, что доволен газетою, но что его тоже смущает будущий дефицит и что он желал бы, чтобы мы соблюдали побольше экономии в гонорарах, особенно по политическому отделу. Я воспользовался этим, чтобы заговорить об Арсеньеве, и засвидетельствовал об его усердии, трудолюбии и искусстве, с каким он ведет отдел. Министр с этим совершенно согласился. Что же касается вообще до дефицита, то я заметил, что его надо было предвидеть и что издание газеты с такою целью и в таких размерах не может обойтись без значительных издержек и пожертвований. Затем министр объявил, что намерен похерить Варадинова: это даст нам экономию в 4000 рублей.

Речь перешла на цензуру, то есть на превращение ее из предупредительной в карательную. Он, кажется, доволен тем, что она перейдет в его руки. [208]

Если похерение Варадинова состоится, то надо будет просить, чтобы его не оставили и без должности и без средств к существованию. Надо также будет заявить и о ‹Ю.› Богушевиче, который работает очень толково и усердно.

7. Среда. Академическая газета ‹«С.-Петербургские ведомости»› стоила в прошедшем году 184 000 рублей. Обыкновенно расход ее простирался от 140 до 150 тысяч: печатание 32 тыс., бумага несколько больше. Корреспонденты заграничные получают в год тысячи полторы; гонорар за перевод в политическом отделе $1^1/_2$ коп. со строки; за оригинальные статьи — от 4 до 6 копеек. В прошедшем году

академическая газета расходилась в числе 9600 экземпляров.

Опять возня со шрифтом. Министр объявил Петру Ермолаевичу, что он недоволен шрифтом и проч.

Неприятная забота о сокращении гонораров.

Мне кажется, Головнин сделал большую ошибку, открыв университет в думе. Он этим только как бы утвердил в юношах мысль, что учиться можно налегке, на бегу, в публичных собраниях, а не в школе, не в университете. Это опасный шаг по направлению к легкому, поверхностному знанию, вместо серьезной науки, в которой мы чувствуем такую настоятельную потребность.

10. Суббота. Толки о происшествии в думской зале на лекции Костомарова. Вот что случилось. После высылки Павлова в Ветлугу между профессорами, читавшими лекции в думе, и бывшими студентами последовало соглашение о прекращении лекций. С этим не согласились ‹Н. М.› Благовещенский и Костомаров. Последний явился в положенный час на лекцию. Его приняли дурно. Он сказал речь к собравшейся толпе, где объявил, что он не намерен быть гладиатором в потеху тем, которые собираются для зрелища и демонстраций, а не для науки; что он не намерен угождать их пустому либеральничанью. Вслед за этим раздались крики, свистки, ругательства. Но Костомаров удалился, не очень трогаясь этими выражениями уличного негодования. Только уходя, Костомаров еще сказал: «Вы, господа, начинаете свое поприще Репетиловыми, а окончите его Расплюевыми». [209]

Вот теперь уже и в публике начинают толковать, что во всех проделках молодых людей не столько виноваты они, сколько наставники и руководители, возбуждающие в них преждевременно либеральное движение, вместо того чтобы сообщать здоровые и точные идеи науки. Давно пора бы.

11. Воскресенье. Главное управление цензуры уничтожено. Цензура окончательно переходит в министерство внутренних дел и устанавливается на особых началах.

Вечер у Валуева. Ничего, кроме скуки и [illegible]оты.

12. Понедельник. Вчера гнусный холод до десяти градусов с пронзительнейшим ветром. Сегодня выпал снег, как в декабре или в январе.

Одиннадцатый час вечера. Сейчас от Головнина. Разговор о цензуре. Просил меня помочь ему в том, чтобы Географическое общество было изъято из цензуры.

14. Среда. Один хозяин у нас в Малороссии послал двух парней (хлопцев) на бахчу принести пару больших арбузов к обеду. Хлопцы сорвали и несут каждый по арбузу в поле своей свитки. Дорогой они заспорили: кто сорвал и несет лучший арбуз? От спора они перешли к ссоре, а от ссоры к драке. Арбузы были выложены на землю, а хлопцы вцепились друг другу в чубы. Пока происходила эта битва, прибежала свинья и съела оба арбуза.

15. Четверг. Опять возня с Ржевским. Теперь он письменно жалуется мне на одного из чиновников редакции, который сделал ему грубость. Ездил к нему, толковал, объяснялся, и дело, кажется, по крайней мере повидимому, уладилось.

16. Пятница. Над способностью хорошо мыслить и хорошо чувствовать есть еще высшая способность или сила организовывать эти мысли и чувства, сосредоточивать их, возводить в творческий акт постоянной, систематически развивающейся решимости действовать в одном определенном направлении. Это характер, всегда верный самому себе и всегда готовый господствовать и над понятиями и над чувствами во имя одной, глубоко запечатленной в душе, идеи. Вот этой-то силы, этого характера может недоставать целым нациям, как и отдельным лицам.

Движение, волнение тогда хороши, когда в потоке их вырабатываются т в е р д ы е и о п р е д е л е н н ы е начала, на которых впоследствии может построиться новое, лучшее положение вещей.

Настоящее поколение признает одно начало — оппозицию против всякой руководящей власти, всякого нравственного авторитета. Оно признает за собою — и только за самим собою — б е з у с л о в н у ю свободу! Есть ли это начало плодотворное? Тут только одно отрицание, а зиждительного ничего нет. Пусть бы оно, это поколение, рвалось вперед; но пусть же оно несло бы с собою и какие-нибудь зачатки нового, лучшего порядка вещей. Быть способным к одному отрицанию значит быть ни к чему не способным.

Но, возразят мне, отрицание только первый шаг: из него само собою выработается положение. Нет! сперва надо быть ч е м - н и б у д ь, чтобы внести ч т о - н и б у д ь и поставить на место отринутого. Пустота родит пустоту, из ничего ничего не бывает.

17. Суббота. Есть умы до того крепкие, что могут переваривать огромную массу принятого ими знания, не впадая от того в замешательство, в судороги или опьянение. Но, наоборот, есть такие слабые головы, которые не переносят и самого слабого приема знания. Они пьянеют от него, как дети от нескольких капель вина, путаются, впадают в хаос, но полные надменности несут вздор, считая его за великие будто бы ими открытые истины.

18. Воскресенье. Сейчас (двенадцать часов ночи) с раута от Валуева. Собрание было огромное. Наслушался разных новостей. Утешительного ничего. Хаос в понятиях усиливается. Валуеву, кажется, недолго оставаться на своем посту.

Великий князь Константин действительно назначен председательствующим в совете ‹Государственном› на место Блудова, который за болезнью уволен на 6 недель.

19. Понедельник. Впереди перспектива становится все мрачнее и мрачнее. Если известная партия одолеет, тогда всем разумно-либеральным, умеренным началам конец, и представители этих начал будут смяты скачущею сломя голову и ломящею все толпою. А затем что: новый гнет, новый деспотизм?..

Головнин тоже, кажется, хочет больше думать о своей популярности, чем о правильном направлении дел. Не для этого ли, между прочим, он спихнул с своих рук цензуру на руки министра внутренних дел? Открыл университет в думе?..

20. Вторник. У министра Валуева, вечером, с докладом. Утвердили корреспондента в Лондоне по случаю всемирной выставки — московского профессора ‹М. Я.› Киттары.

Правительство правительством, да хороши и мы! Разве не случается сплошь и рядом: человек учится где-нибудь в университете или в каком-нибудь другом высшем учебном заведении; как говорится у нас, прекрасно образован; толкует горячо о высших истинах, о свободе, о честности и чести и проч. Получает он видное место — смотришь, сделался деспотом и вором. Из кого же все вырабатывается, как не из народа, не из общества? Не есть ли оно плоть от плоти их и кость от костей их?

22. Четверг. Зима в настоящем смысле слова. Опять санная дорога.

Вчера было собрание у товарища министра внутренних дел. Собрание состояло из членов бывшего Главного управления цензуры и чиновников оного. Странное положение

ныне цензуры. Она как-то раздвоилась: одною ногою стоит в министерстве народного просвещения, а другою в министерстве внутренних дел. За первым, собственно, остается власть предваряющая, цензирующая; другому принадлежит наблюдательная, контролирующая и, как говорят, впоследствии будет принадлежать и карательная.

На днях три самоубийства: какой-то сотрудник журнальный Пиотровский застрелился, какой-то бывший студент зарезался, и профессор медецинской академии ‹Л. А.› Беккерс отравился.

‹В. С.› Курочкин, издатель «Искры», вызвал на дуэль Писемского. Они сильно обругали друг друга и теперь хотят драться — по крайней мере первый [210]

Ко мне обращался ‹П. И.› Вейнберг, бывший редактор «Века», с просьбою принять его в сотрудники газеты.

25. Воскресенье. Возвышенные умозрения необходимы для человека как пища для его духа, как сила, возносящая его над треволнениями дня, как просветление ума, которому без них все кажется как-то туманно, тесно и безжизненно — именно, даже безжизненно, хотя, повидимому, какая жизнь в идеях? Я не принимаю в этих умозрениях ничего за догмат: я только питаюсь ими, как укрепляющею и оживляющею меня пищею.

Надо добросовестно и строго отделить в современных стремлениях истинные потребности от мнимых или мечтательных и преувеличенных — отделить возможное к осуществлению от утопического и возможное к осуществлению без проволочки от того, что история по необходимости откладывает на будущее время.

26. Понедельник. В нравственно-психологическом внутреннем мире человека одни только те явления заслуживают внимания, значение которых определяется разумным созданием и воспринимается волею. Все прочее похоже на облака, гонимые и разгоняемые ветром, или на пену, мгновенно возникающую и исчезающую в волнах потока. Радость ли, горе ли приносят такие явления, они не заслуживают внимания мужественного человека или заслуживают настолько, насколько они представляют эстетический интерес, подобно явлениям внешней природы.

27. Вторник. Вечер у Арсеньева. Кажется, мне и его надо остерегаться, как и Ржевского. Эти господа, как большинство людей, способны одинаково нагадить человеку отчасти из-за дрянной какой-нибудь выгоды, отчасти так,

оттого, что приятно искусно нагадить: этим выказывается ум, ловкость.

30. Пятница. Почему школа отрицания находит так много последователей? Потому что она льстит самолюбию людей легкого ума, ничему основательно не учившихся. Они не хотят подчиниться авторитету, который всегда высказывается в положительных принципах, тогда как, отрицая, они имеют право думать, что они сами господа своих мнений. Им кажется, что они выше всех тех, кого не признают, а в самом деле они похожи на тех нищих, которые ни во что ценят всякое приобретение, потому что им собственно нечего терять.

Был у меня ‹Ф. В.› Чижов. Поседел, но бодр и свеж, с теми же добрыми качествами и слабостями, как и прежде. Он ни крошки не подвинулся вперед и не ушел назад. То же самодовольство своею гордостью, та же вера в тонкость своего ума, способного всех провести, то же уменье, когда нужно притвориться.

Вот уже дня три или четыре, что я, кроме обычных припадков, испытываю какую-то вялость, тяжесть в теле и в голове, крайнюю усталость — одним словом, чувствую себя довольно нелепо.

31. Суббота. У товарища министра ‹А. Г. Тройницкого›. Объяснение по поводу замечания министра о том, что в газете нашей неосторожно будто бы говорено о нынешнем положении Пруссии. На самом деле у нас решительно ничего не сказано, чего не было в других газетах. Товарищ сам не согласен с замечанием министра.

Апрель 2. Понедельник. Был в редакции товарищ министра и объявил мне, что «Северная почта» не будет иметь особого цензора.

6. Пятница. Вчера и сегодня свирепый холод. Опять за шубы.

Вечером были у меня ‹А. И.› Чивилев и Гончаров. Первый уже начал преподавание политической экономии наследнику. Он весьма утешительные вещи о нем рассказывает. Молодой человек этот умен, доб[illegible], что очень важно, не гнушается труда мысли.

8. Воскресенье. День пасхи. У заутрени в церкви Уделов. Очень недоволен службой. Быстрота этой службы доведена здесь до nec plus ultra. * Все кончилось не более,

* До пределов возможного *(лат.)*. — *Ред.*

как в полтора часа. В церкви было много разряженных дам и щеголеватых кавалеров, которые все время службы вели между собой оживленную беседу. Мы вернулись домой с Гончаровым и проболтали за куличом и ветчиной до трех часов утра.

9. Понедельник. Снаряжая корабль в плавание, никто не валит груза на один борт его. Необходимо сохранить равновесие, иначе корабль потонет.

11. Среда. Работал в редакции: завтра снова выходит газета.

12. Четверг. Опять обругали «Северную почту». Я был бы совершенно равнодушен к этим грубым нападкам, если бы, к сожалению, не нужно было отвечать на них. Это скучная и неблагодарная трата времени. Надеюсь, однако, что этим кончится. Во всяком случае наш ответ не должен выходить из границ строгого приличия.

13. Пятница. Кажется, окончательный конец зиме. Идет сильный и теплый дождь.

Министр внутренних дел собрал сегодня в два часа всех, принадлежащих к наблюдательному ведомству по делам книгопечатания. Ну право же, большая нелепость и весь этот наблюдательный синклит, и самая идея наблюдения, и все это нынешнее состояние цензуры. Вот Валуев как попался со своими проектами преобразования цензуры! Он хотел установить карательную цензуру, взялся за это, не сумел сделать и проволочил дело до появления на сцену Головнина: этот его теперь и обошел. Сущность цензуры Головнин забрал себе, а ее темную, невыгодную сторону оставил Валуеву. Вышла совершенно басня «Ворона и Лисица».[211]

14. Суббота. Страшную будущность готовят России все эти ультрапрогрессисты. И чего хотят они? Вместо постепенных, конечно безотлагательных, реформ, вместо разумного движения вперед они хотят крутого переворота, хотят революции и пытаются произвести ее искусственным образом. Безумные слепцы! Будто они не знают, какая революция возможна в России! Им хочется порисоваться на сцене, хочется поиграть в историю: история их первых смелет, как мельничный жернов дрянное жито или овес, и унесет в своем водовороте. Разве России необходима такая революция, какую они замышляют?

Ржевский получил по городской почте анонимное письмо, полное иронических похвал его либеральному образу

мыслей в статьях «Северной почты». К письму приложена возмутительная прокламация к офицерам русской армии, с просьбою напечатать ее с его, Ржевского, комментариями. Прокламация эта, говорят, в день пасхи проникла даже во дворец и очутилась в карманах некоторых сановников, как, например, графа Адлерберга и проч.[212]

15. Воскресенье. Свобода и закон — вот что должно бы составлять исключительную основу управления человеческими обществами. Но как в этих обществах всегда будут злоупотребления первою и нарушения второй, то к ним надобно присоединять еще и охранительную силу власти.

У нас особенно трудно устроиться правильному общественному порядку самому, без участия внешней руководящей силы. Патриотизма у нас очень мало, а самолюбие вместе с кровью наполняет все жилы и жилки нашего организма.

18. Среда. Валуеву дали Владимира 2 степени. Он, говорят, огорчен. Министру и в самом деле это как будто не по чину.

20. Пятница. Великолепная погода. Парад на Царицыном лугу. Мы смотрели на него с типографского балкона.

Искусство убивать людей не лишено своего рода поэзии: ее много в стройном движении этих огромных масс. Особенно хороши артиллерия и кавалерия.

21. Суббота. Славянофильство начинает принимать характер не простой школы или учения, а настоящей секты, со всеми правами и обязанностями истых фанатиков.

22. Воскресенье. Мы испытали деспотизм личный, но боже сохрани нас испытать еще деспотизм толпы, массы — деспотизм полудикой, варварской демократии.

27. Пятница. Все последние дни сияющие, но преходлодные.

Нередко чувствуется сильная неурядица в душе — недостаток уверенности во всем: в человечестве, в жизни, в самом себе и в своей судьбе. Большей частью, конечно, это есть следствие слишком эгоистической заботливости о самом себе, о своей будущности, а кажется, пора утвердиться в мысли, что чем больше ты погружаешься в личные интересы своего маленького я, каковы бы они ни были, тем дух твой более стесняется, мельчает, ослабевает в силе и мужестве.

28. Суббота. Сегодня, по распоряжению министра народного просвещения, были собраны профессора несуществующего университета для обсуждения вопроса: может ли и на каких основаниях может быть открыт университет? В собрании поднялся страшный шум. Наконец кое-как, среди нестерпимого гвалта, добрались до самого вопроса, который кое-как был поставлен ‹Э. Х.› Ленцом. Ведь и спор-то весь был из-за того, что не знали, о чем рассуждать и как взяться за вопрос. Но тут все единогласно согласились с тем, что «при нынешних обстоятельствах нельзя открывать университета до издания нового устава». А можно ли открыть университет с принятием только некоторых изменений в некоторых правилах? Против этого оказалось четыре или пять голосов, и в том числе мой. Я ушел тотчас после этого, но шумные толки, кажется, еще долго продолжались.

Что у нас за шарлатан министр ‹А. В. Головнин›! Он решительно не приходит ни к какому определенному результату, а все вертится на одном месте: то одну ногу поднимет, то другую, сделает движение рукой, сладко улыбнется — вот и все.

29. Воскресенье. Вот, между прочим, какую хитрость употребил министр. Ему хочется угодить студентам и защитникам их буйных выходок и открыть университет. Но самому взять инициативу в этом опасном деле не хочется. Вот он всячески вертится около университета, побуждая его самого дать голос в пользу открытия. Между прочим вот еще что ему приписывают: он внушил сперва немецким, а потом, говорят, и русским «С.-П‹етербургским› ведомостям» напечатать, что в публике очень желают открытия университета и что последнему нечего уж больше бояться студентов, так как они переводят свои сходки из стен университета в Общество пособия нуждающимся литераторам.[213] Ведь если это правда, то это верх самого низкого угодничества толпе... Во Франции по крайней мере лилась кровь во имя неисполнимых, но все-таки великих теорий, а у нас она будет литься так, по причине тупости или подлости некоторых и совершенной безалаберности всех.

А‹ндреевский› вчера требовал, чтобы университет сам составил себе новые правила, и так, чтобы министерство не имело на это никакого влияния: не нужно даже и санкций его на эти правила. На это кто-то возразил: «Так вы университету хотите присвоить диктатуру?» — «Да», — отве-

чал он. «Ну, — заметил я ‹М. С.› Куторге, сидевшему против меня, — этот далеко идет, уйдет ли только далеко — не знаю». А когда я сказал, что всякие правила, какие мы ни составим, будут сочтены за произвол и что лучше подождать нового устава, который все-таки будет законом органическим и, так сказать, законным законом, то Б‹лаговещенский?› на это возразил: «Да разве теперь кто-нибудь уважает закон?» — «Ну так нечего открывать и университетов», — отвечал я.

Действительно, прежде уважали если не закон, то правительство или по крайней мере признавали в последнем силу и боялись ее, а теперь решительно нет никакого обуздания, никакой сдержанности, и всякий бредет, куда ему вздумается.

Надо, однакож, хоть министру понять значение всего этого и не быть ни подлецом, ни трусом.

Если предполагаемые временные правила будут составлены в духе, ограничивающем произвол студентов, то студентам это не понравится, и они опять набуянят. Если правила эти будут слабые и потворствующие, то они понравятся студентам, и они опять-таки будут делать все что угодно, только не учиться.

Был у Делянова. Разговор об открытии университета и о вчерашнем собрании. Делянов прекрасный человек, но слабый: он не способен ни на какое решительное мнение, он колеблется.

Май 1. Вторник. Объяснение с министром Валуевым. Он принялся сокращать расходы по газете. С этой целью уволены редакторы Ржевский и Варадинов. Это сохраняет 7500 рублей. Без Ржевского, пожалуй, можно обойтись, но где границы этих сокращений? Министр мог не остановиться на этом и простереть свои урезки на гонорар сотрудников, а это неизбежно парализовало бы литературную сторону газеты. Вследствие этого я решился всеми силами сопротивляться новым урезкам: в случае же неудачи — подать в отставку. Министр нападал на расширение политического отдела; я защищал его. Положено уничтожить в газете петит. Впрочем, мы пока расстались довольно дружелюбно.

Мне в подмогу дан ‹Ю.› Богушевич для отдела, которым заведовал Ржевский.

3. Четверг. Вчера, третьего дня и сегодня светло, тепло; словом, похоже на весну.

Вчера прощанье с графом Блудовым. Собрались почти все академики. Старик все еще вспыхивает и оживляется, хотя уже слаб. Он едет за границу.

7. Понедельник. С Валуевым сильно не ладится. Если я со времени знаменитого циркуляра (губернаторам об обязательной подписке) только одною ногою стоял в редакции, то теперь вишу в ней на волоске, который сам ежеминутно готов подрезать. Валуев все сердится на дефицит газеты, точно он при самом начале дела не говорил сто раз мне и другим, что он этим не будет стесняться, что нужны пожертвования и т. д. Вчера он призывал Волькенштейна и сурово напал на него опять за шрифт.

Это меня сильно расстраивает. Я подозреваю, что, нападая на типографию, министр косвенно бросает стрелы на меня. Ему не нравится мое желание удержать за редакциею известную степень самостоятельности, без которой, однако, нельзя дать газете сколько-нибудь характер, заслуживающий внимания и доверия общества. Были у меня с ним и некоторые столкновения. Он все жалуется, что его не слушают. Да, становится очевидно, что министр после всех благих намерений и разглагольствований о широких взглядах и задачах хочет в конец сузить первоначальный план газеты. Если он действительно такой ветреник, то я ему больше не помощник.

9. Среда. Нет! Все наши государственные люди решительно ниже посредственности, люди бездарные, неспособные ни к какой светлой, широкой мысли, ни к какому благородному усилию воли. Какая нравственная сила в состоянии поддержать правительство, состоящее из таких гнилых элементов, из этих бюрократических ничтожеств.

10. Четверг. Размыслив хорошенько, я решился написать Валуеву письмо с объяснением, что при таких порядках, или, лучше сказать, беспорядках, и постоянных тревогах и переменах газета не может идти честно и успешно. Я хочу предложить ему, не согласится ли он определить цифру, ниже которой в расходах по содержанию газеты идти нельзя, не уронив газеты, а если он на это не согласится — подать в отставку.

13. Воскресенье. Поутру отослал письмо к Валуеву. [214]

15. Вторник. Драка ‹Д. И.› Писарева с ‹Е. Н.› Гарднером на железной дороге недели полторы тому назад. [215]

Время берет свое, время делает свое. Люди совершают неподобные дела, а время употребляет эти дела, как умный

пахарь навоз, и взращает из них добрые плоды. Значит, не люди заслуживают уважения, а время и принцип, который вырабатывается временем.

Собрание совета или профессоров, потому что собственно совета нет, под председательством попечителя Делянова. Предложен был вопрос: когда должен быть открыт университет? Положено: открыть совет в августе, а университет к первому октября приблизительно.

К концу произошла сцена. Костомаров подал в отставку, и сегодня получен уже приказ о его увольнении. Некоторые из профессоров захотели сделать ему овацию. Поднялся Горлов и начал упрашивать его остаться в университете. За Горловым поднялись и другие и тоже начали упрашивать. Костомаров встал и как-то несвязно заговорил о своем расстроенном здоровье, потом перешел к откровенности. «Я, — сказал он, — получил более двадцати ругательных писем от студентов; мне угрожают побить меня, если я останусь в университете: что же мне делать?» Наконец он склонился на убеждения, чтобы ему по крайней мере числиться на своей кафедре, авось студенты отдумают и не захотят его больше ругать. Я ушел: мне было и жалко и стыдно. [216]

16. Среда. Большую часть жизни мы проводим в том, что собираемся жить, — и, наконец, решаемся жить, когда уже поздно и для жизни остается не больше времени, как сколько нужно, чтобы проститься с ней.

Объяснение с Тройницким по газете, вследствие моего письма к Валуеву. Валуев сердит на меня за письмо. Он говорит, что я будто лишаю его права заниматься интеллектуальною стороною газеты. Это несправедливо. Я только стою за то, чтобы не отступать от первоначального плана газеты и от тех задач, держаться которых мне было торжественно обещано. Тройницкий прочитал мне предполагаемые цифры. Может быть, они и окажутся удовлетворительными, но я просил сначала допустить их в виде опыта.

17. Четверг. Наконец совершенно летний день, а мы еще не на даче. Впрочем, нынешний год мы недалеко едем: перебираемся всего только на Черную речку.

В человеке и в человеческой жизни очень мало счастья, еще меньше мудрости и очень много необходимостей, из которых вытекают то бедствия, то пороки.

22. Вторник. На даче. Вчера переехали. Домик так себе, как говорится, ни то, ни сё — ни дурен, ни хорош.

Я приехал в шесть часов. Меня задержали в редакции корректуры статьи Ржевского и ‹П. М.› Леонтьев, который приехал из Москвы. Он очень жалуется на тамошнюю цензуру, которая совершенно сбита и с последнего толка. Валуев делает замечание, а Головнин пишет отношение.

Сегодня обедал у меня Марк, который едет в четверг за границу на воды лечиться после тяжкой болезни, которую вынес недавно по милости тетеревей. Вечером мы пошли гулять: скверно, холодно. В Строгановом саду, однако, пел какой-то дурак-соловей, как будто можно здесь что-нибудь делать другое, как не каркать по-вороньи.

23. Среда. Поутру. Уф, как холодно! Я сижу за письменным столом в теплом пальто и калошах. Перед глазами у меня торчит несколько березок, из которых нехотя тянется тощая зелень. Немного далее луг, на котором всеми неправдами кое-как пробивается из полумерзлой земли травка. Где-то вдали каркает ворона. По небу бродят тучи, из которых так и ожидаешь, что посыплет снег: вот и прелести здешней майской природы. Я, как Ричард III, ходя по комнатам, кричу: «Дров, дров — всю дачу за дрова! Топите печи».

Люди бывают вообще чрезвычайно щедры на одолжения, которые им ничего не стоят.

24. Четверг. Вчерашний день к вечеру потеплел. Сегодня тоже тринадцать градусов поутру: и за то спасибо.

Вчера в Петербурге было разом четыре пожара в разных частях города. Один, и всех сильнее, недалеко от меня, около Лиговки. Толкуют о поджогах. Некоторые полагают, что это имеет связь с известными прокламациями от имени юной России и которые были разбросаны в разных местах.

27. Воскресенье. А пароксизмы своим чередом продолжают преизрядно трепать меня, особенно по ночам.

Моя статья о прогрессе перепечатывается в разных губернских ведомостях. Есть же, значит, люди, разделяющие мой образ мыслей. Впрочем, знает ли большая часть наших так называемых мыслящих людей, чего они хотят и к чему стремятся. В этой анархии идей нет ничего определенного.

28. Понедельник. День, полный тревог и страха для всего Петербурга. [217]

Последние четыре или пять дней подряд в городе были пожары, а иногда и по нескольку разом. В пятницу, например, их было одновременно шесть в разных местах. Носи-

лись слухи, что поджигают. Меня даже уверяли, что поймано несколько разбойников-поджигателей.

Сегодня часу в первом поехал я в город, на свою квартиру. Там швейцар рассказал мне, что вчера на углу Владимирской и Стремянной поймали кого-то с горючим и зажигательными снарядами в карманах. Он сам видел всю суматоху этой ловли. Удивительная беспечность правительства. Город в очевидной опасности, особенно после известных последних прокламаций, которые были везде разбрасываемы — на улицах, на площадях, в домах, в казармах. Войска у нас, слава богу, довольно. Не следовало ли бы учредить усиленные патрули и даже оцепить более опасные и подозрительные места? Ничего этого нет. Я не встретил даже обыкновенных казачьих разъездов. При такой слабости власти, разумеется, следовало опасаться еще бо́льших несчастий. Так и случилось.

Я вернулся домой, то есть на дачу, часов около четырех. В шесть разнесся слух, что Петербург жгут, что пожар вспыхнул в лучшей части его, около Невского проспекта. Я вышел на Строганов мост: над Петербургом висела огромная туча дыма. Приехала дочь моя, которая гостила у своей подруги, и сообщила, что всё около нашей квартиры. Щукин и Апраксин дворы в огне. Я с женой тотчас же отправился в город. У меня в квартире лежала тысяча рублей денег, все мое богатство, и некоторые документы. Мы были в большой тревоге, пока доехали до Владимирской. На улицах везде стояла сумятица, но о грабежах не было нигде слышно. Дом Фридерикса атакован был огнем с двух сторон: со стороны Щербакова переулка, который, казалось, весь пылал, и со стороны Троицкого переулка, где тоже все горело. Щукин двор и Апраксин уже не существовали. Было в огне и министерство внутренних дел. Сила пожара напирала на министерство просвещения и на Пажеский корпус. Их всячески старались отстоять. Из нашего дома почти все выносили свои пожитки. Что нам делать? Спасать больше всего надо было мой кабинет — но как? Нас с женой было только двое. Рабочие люди разбирались нарасхват. Мы собрали мои бумаги, да кое-какой скарб и связали в узлы, но вынести их было некому. Ко мне зашли князь ⟨Г. П.⟩ Волконский, ⟨П. И.⟩ Капнист и ⟨А. Н.⟩ Струговщиков. Все они предлагали свои услуги. Но дом Фридерикса так геройски сопротивлялся напору двух огней, что мы решились быть наготове, но не торопиться

с выноской вещей. После полуночи, когда опасность для нашей квартиры несколько уменьшилась, я, оставив жену вместе с подошедшим тем временем Целинским, поехал на дачу, чтобы успокоить детей и прислать оттуда Иванова и няню — что и было сделано. Лишь под утро, не раздеваясь, бросился я на диван и кое-как заснул.

Весь день прескверно себя чувствовал; сильный пароксизм и головная боль.

29. Вторник. Пожар произвел страшное опустошение. В Чернышевом переулке и в Троицком еще догорают дровяные дворы, и дом Фридерикса еще не в безопасности. Общее мнение, что поджигают. Рассказывают, что в разных местах задержаны люди с горючими веществами.

Часть моих вещей перевезена в редакцию и сложена в кладовую. Серебро, которого, впрочем, у меня немного, я взял к себе на дачу. Библиотеку же и часть бумаг пришлось оставить в кабинете запертыми.

30. Среда. Пожар на Песках. Я поехал в город в 11 часов утра. На Царицыном лугу были войска и государь. Город в большом волнении. В поджигательстве никто не сомневается. Рассказам, слухам, толкам нет конца.

Вчера и сегодня ветер ревел и по временам превращался в бурю. Сильно холодно.

31. Четверг. Несомненно, кажется, что пожары в связи с последними прокламациями. Если бы поджоги производились простыми мошенниками, то были бы покушения к грабежу: их нигде не оказалось...

Объявлено от полиции, что по высочайшему повелению составлена комиссия для оказания пособия пострадавшим от пожара. Многие совершенно всё потеряли. Между такими находится и добрый мой благородный ‹А. С.› Воронов. Семейство его отправилось на лето в Псков. Сам он тоже ездил туда на троицын день и когда вернулся в понедельник вечером, то застал квартиру свою в пламени, и уже ничего нельзя было спасти.

Объявлено от правительства, что всех, кто будет взят с поджигательными снарядами и веществами или задержан по подозрению в поджигательстве, а равно и подстрекателей к беспорядкам судить будут военным судом в двадцать четыре часа.

Сегодня также на Мытной площади происходила казнь ‹В. А.› Обручева за распространение возмутительного сочинения против государя и верховной власти, то есть над

его головой была переломлена шпага и объявлено ему: каторжная работа на три года, а затем вечное пребывание в Сибири.[218]

Приняты меры: все дворы заперты; у ворот сидят дворники, которые обязаны смотреть, чтобы во двор не проходили люди подозрительные. Усилены патрули. Вечером был на даче у министра Валуева. Однако объяснения по делам редакции не состоялось. Министр готовился к докладу государю.

Июнь 2. Суббота. Ужасно холодно в комнатах; на воздухе семь градусов. Пожары укротились.

В восемь часов вечера получил от товарища министра статью для завтрашнего номера об открытии в Сампсониевском и во Введенском училищах злоумышленнического преподавания о том, что надо Петербург жечь и проч. Это проповедовалось в воскресных школах, заведенных в этих училищах для рабочего класса. Наряжена комиссия для исследования.[219] Я поехал тотчас в типографию, и при мне набрали статью.

Разговор с радикалом.

— Надо все разрушить: бей направо и налево.

— Для чего же?

— Разумеется, чтобы истребить все накопившееся зло и достигнуть чего-нибудь лучшего.

— Но кто же построит на место разрушенного лучшее?

— Сама жизнь.

— Хорошо, но, во-первых, кто же вам дал право насильственно вести людей к этому лучшему? Они не хотят иметь вас своими вождями: вас никто к тому не уполномочивал. Кто вы? Где ваши кредитивы? А во-вторых, где гарантии, что это лучшее, ради которого вы требуете столько жертв, будет действительно достигнуто?

3. Воскресенье. Утром у товарища министра. Объяснялся о кое-каких делах по редакции. Просил и его доставить кое-какие факты о пожаре: иначе мы не можем ничего напечатать. Обещал.

Пойманы и признались двое поджигателей: мужик и баба, которым к т о - т о дал по 25 рублей за это ужасное дело. Но этого к т о - т о или э т и х не могут отыскать. А в них-то и вся сила.

Государь не соглашается на смертную казнь. Народ все думает, что поджигают студенты. Головнин писал Валуеву,

чтобы тот сделал объявление в том смысле, что напрасно обвиняют студентов. Валуев отвечал отказом. [220]

Флигель-адъютант граф Ростовцев арестован. [221]

Очевидно, существует какой-то заговор, ветви которого распространены далеко. Бедная Россия! Каким хаосом тебе угрожают!

4. Понедельник. Народ толкует, что поджигают студенты, офицеры и помещики.

5. Вторник. Разумеется, ультрапрогрессисты хотят сломить все старое: тут нет ничего необыкновенного. Но разумеется также и то, что они должны встречать противодействие со стороны у м е р е н н ы х. И те и другие необходимы в процессе движения. Разрушение необходимо, в порядке вещей; но тоже необходимо и созидание. Эти две силы должны уравновешивать себя взаимно. Смерть без жизни была бы только смерть; жизнь без смерти лишилась бы обновления, оцепенела бы, сделалась бы минералом, не более. Во всем этом есть своя логика, своя правильность.

Виновных в поджоге велено судить полёвым уголовным уложением, а право конфирмации государь предоставил военному генерал-губернатору. [222]

9. Суббота. Бедное мое отечество! Видно, придется тебе сильно пострадать. Темные силы становятся в тебе всё отважнее, а честные люди всё трусливее...

Передо мной программа двух лекций из нравственной философии, которые намерен читать публично Лавров. Программу эту я взял как член факультета для того, чтобы представить на нее свои замечания. Боже мой! что за философия... Я написал протест и послал его в факультет. [223]

Вы хотите кровавыми буквами написать на ваших знаменах: свобода и анархия. Мы напишем на своих: с в о б о д а, з а к о н и в л а с т ь, о х р а н я ю щ а я с в о б о д у и з а к о н.

Человек так гадок во всех своих проявлениях, что не знаешь, кто хуже: притеснители ли или те, которые выдают себя за защитников угнетаемых.

Если революция не переродила и не улучшила французов, то из-за чего же столько шуму и хлопот, столько пролитой крови?

Но кто удержит бурю, когда она разыграется?

У м и т р у д — вот в чем состоит гарантия человеческого существования и самое право на него человека. Потому-то, если вы не развили своего ума, если вам недостает

знания, которое, как известно, есть сила науки, и если вы не трудитесь, — вы непременно должны впасть в зависимость или от природы, или от подобного себе, более знающего и более трудящегося. Что не уступает уму и труду, то уже выходит из-под власти человека; тут остается только терпеть.

10. Воскресенье. Был у Плетнева на даче за Лесным корпусом. Он все еще болен. Рана на груди его до сих пор не закрывается. Он очень изменился. Уж не начало ли это конца? Мне стало грустно. Было время, я ему верил...

Погулял немного по тем местам, где лет пятнадцать мирно протекали наши дачные дни. Еще грустнее стало. Вечер очень холодный. Когда вернулся домой, было всего восемь градусов. Ночь исполнена всяких мерзостей. Заснул только под утро.

11. Понедельник. Известны слова Шварценберга: «Мы (то есть австрийцы) удивим мир нашею неблагодарностью». Не пришлось бы нам удивить мир бессмыслием наших драк, наших пожаров, нашего поклонения беглому апостолу революции Герцену, из Лондона, из безопасного приюта командующему на русских площадях бунтующими мальчиками.

Находят сходство между временем Людовика XIV и Николая I, между временем Людовика XVI и Александра II: какой прекрасный повод повторить французскую революцию во всех ее фазисах! Нам ничего и не нужно более. Подражать и только подражать — в этом наше умственное превосходство. У них все опошлено: злодейство у них считается геройством. Трусливое «прятание за спиной английского полисмена» — благоразумием, аплодисменты мальчиков — популярностью. Ложь, ложь и ложь — даже не заблуждение, а ложь. Познакомился в редакции с ‹М. Я.› Киттары, нашим будущим корреспондентом с лондонской выставки.

Еще прекрасная новость: говорят о подметных письмах, в которых обещают отравлять пищу и питье жителей.

12. Вторник. Вот она и реакция, как и следует быть после таких бессмысленных и гадких дел, какие наделали наши красные. Воскресные школы велено закрыть; женский пансион в Вильно также. Школы будут преобразованы и подчинены строгому правительственному контролю. Журналы «Современник» и «Русское слово» закрыты на восемь месяцев. Но главное неудобство всякой реакции, а особенно

нашей, будет в том, что тут правое потерпит наравне с виноватым. Мысли грозит опять застой и угнетение, а мыслящим людям, писателям, ученым — неприязненные нападки невежд и ретроградов. [224]

Вечером у товарища министра. Комиссия для открытия поджогов действует плохо. Она очень мало до сих пор открыла.

Программа Лаврова — это верх бесстыдства и шарлатанства. Я написал мои замечания и отправил в факультет.

13. Среда. В «Нашем времени», в 122-м номере, напечатана довольно откровенная статья о пожарах. Там, между прочими о них толками в обществе, говорится о пытке, будто бы предложенной одним из членов следственной комиссии. [225]

Скверно, сумрачно, холодно, сыро.

14. Четверг. Лето и для Петербурга даже изумительное. Отвратительный холод и дождь. Температура колеблется между шестью-семью градусами тепла. Живущие на дачах особенно терпят. На этот раз и нам попался прескверный дом, хотя и с печами, но очень ветхий. Топим каждый день, и притом березовыми дровами, как зимою, а тепло не держится. Ко всем прелестям еще сильный ветер, насквозь пронизывающий.

Дурное свойство реакции то, что она, как коса, проходит полосами и срезывает всё — и дурные травы и хорошие.

В массе надолго подорвано уважение к именам ученого, литератора, студента.

15. Пятница. Более тридцати лет я в Петербурге и ничего подобного не помню: весь почти июнь свирепствует холод и такие переходы, например, как от тринадцати градусов вдруг в несколько часов до девяти, восьми, семи и шести. Сегодня с самого утра буря, дождь, а тепла только на пять градусов. Невыносимая мерзость. Мы топим по два раза в день. Я работаю в калошах, в сюртуке и в теплом пальто.

Приказано в сентябре открыть физико-математический факультет при здешнем университете. А через год и остальные.

Ну право же, это просто общественное бедствие вроде пожаров: теперь уже только 4° на воздухе, а у меня в кабинете после вторичной топки едва дотягивает до 8°.

16. Суббота. Есть одна истина — бог. Все прочее или полуистины, истины относительные, или чистая ложь.

В литературе у нас привыкают всякую умную статью или суждение называть бесцветными, если в них нет резкого тона и выражений радикального свойства. Так приучают общество к спирту и мешают ему находить вкус в том, что не опьяняет сразу.

Ну, право же, главный редактор официальной газеты сильно смахивает на каторжника. Он отвечает за каждую букву, за каждую запятую, которые поставлены или выпущены. Пока не вышел номер, он в тревоге; вышел номер — он еще в большей тревоге. Там может быть сделана ошибка, здесь она уже сделана, и поправить ее нельзя. Публика недовольна тем, что номер не весь по ее вкусу; начальство — тем, что вы литератор или ученый, а не чиновник. Словом, надо иметь большой запас мужества и еще больший запас той философии, которая учит многое презирать... Я разумею, конечно, редактора, который хочет добросовестно вести дело, который имеет свои определенные виды и не хочет, не может отступать от однажды признанных за ним полномочий...

19. Вторник. Эти мнимые народные учителя, вместо того чтобы учить народ, н а в я з ы в а ю т ему свои мысли. Для сеяния некоторых истин надо прежде удобрить, подготовить почву ума. И потому эти пресловутые учителя наши очень похожи на пустых болтунов, которые заботятся не о том, чтобы сделать дело, а о том, чтобы поскорее выболтать то, чего они начитались или наслышались.

Я забыл отметить в моем дневнике, что я в субботу поздно вечером получил для напечатания в «Северной почте» депешу о том, что ‹А. Н.› Лидерс ранен пулею в Саксонском саду, в Варшаве, на минеральных водах. Местность, где это произошло, и обстановка заставляют думать, что выстрел сделан не из личных видов, но что он — следствие какого-нибудь заговора. Преступник не схвачен. Значит, ему среди бела дня дали способ уйти.

Сегодня в половине двенадцатого получил депешу, что Лидерсу хуже. [226]

22. Пятница. Депеша утром из Варшавы, что в великого князя Константина сделан выстрел из пистолета при выходе его из театра. Пуля пробила мундир на груди, однако до тела едва коснулась. Виновник схвачен на месте. [227] Найдутся красные, которые назовут это геройством. Однако

что же такое будет с обществом, если всякому будет позволено или всякий присвоит себе право осуществлять свои политические идеи, свои проекты о благе народов и человечества посредством пистолета, пожаров и т. п.?

Он ‹?› приехал, чтобы постучаться в двери службы, но нашел, что двери эти для него заперты на замок. Посмотрел в щелочку замка: видит, что хозяева дома, значит не хотят принять. С тем он и уехал опять за границу.

23. Суббота. Человек гадок, жизнь гадка, а еще гаже, зная это, не уметь сносить их такими, каковы они есть.

Выстреливший в великого князя — какой-то подмастерье, портной Ярошинский.

26. Вторник. Вчера выдался день порядочный, без ветра, без дождя и с 13° тепла. Сегодня опять заворотило на прежнее. Ветер, дождь и холод.

Опять неурядица в типографии, впрочем, все по части корректуры. Сделана ошибка в поправке ошибки по поводу запрещения ‹И. С.› Аксакову издавать газету «День». Министр придал этому чрезмерное значение и сделал типографии и редакции несоответственно строгий выговор. Это с некоторых пор его обыкновенный способ выражать лично мне свое нерасположение. Нет, решительно надо подавать в отставку. Всякое живое слово в газете вызывает в нем досаду, которую он срывает на опечатках и тому подобных мелочах. Газете грозит ограничиваться простою перепечаткою его циркуляров и других официальностей.

Третьего дня я переменил главного корректора. Первый вздумал было по своему усмотрению исправлять статьи газеты. В одном номере он не напечатал несколько строк, говоря, что так лучше. Теперь я определил кандидата нашего университета.

27. Среда. Поутру предварительно объяснялся с Тройницким. Он подтверждает, что министр недоволен газетою, придирается ко всему и придает особенную важность безделицам вроде опечаток, упуская из виду главное или не желая на нем останавливаться. Я объявил Тройницкому о своем решении подать в отставку. Он не отговаривал меня от этого, соглашаясь, что так дело дольше вести нельзя.

Приехав домой, я написал просьбу об увольнении и коротенькое письмо к министру с изъяснением причин, заставляющих меня отказаться от должности главного редактора. Был уже час, когда я поехал в редакцию и оттуда послал просьбу и письмо к Валуеву.

Оказывается, что у Валуева гораздо более бюрократический склад ума и гораздо более узкий взгляд на вещи, чем он заставил меня думать сначала. На нашу газету, о которой вначале он так много и высокопарно толковал, он в конце концов смотрит как на вместилище циркуляров и указов. Он вовсе перестал говорить о существенных интересах или задачах ее.

Кроме того, он хотел бы, чтобы газета сразу приобрела чуть не десять тысяч подписчиков. Он не понял, что доверие общества может быть заслужено только постепенно.

Когда же мне случалось напирать на важность дела и ссылаться на его собственные первоначальные намерения, он сердился, жаловался, что я его учу...

Что же, в самом деле, мы, люди пожившие, благомыслящие, друзья прогресса, в состоянии сказать, по совести, молодому, нетерпеливому, волнующемуся поколению, что можем мы сказать ему о наших правительственных деятелях?

28. Четверг. Выходит старая песнь, что честный и прямодушный образ действий почти всегда обращается в невыгоду тех, которые так действуют.

29. Пятница. Поутру у Тройницкого. Продолжительный разговор о делах «Северной почты» и о моей отставке. Выходит все то же: министр желает дать газете такой оборот, что мне решительно в ней нечего делать.

Министр повез сегодня доклад государю о моем увольнении.

30. Суббота. Получил письмо от министра ‹Валуева› об увольнении меня от звания главного редактора «Северной почты». Письмо исполнено самых лестных для меня вещей. Мы расстаемся с ним «в самых дружественных отношениях». Да, а дела все-таки не могли вместе делать.

А врачи опять гонят меня к морю. Теперь, пожалуй, это и может состояться.

Вечером многие съехались ко мне, в том числе Тройницкий и ‹Г. П.› Небольсин. Мы пили чай на балконе, а вокруг нас шумели великолепная гроза и дождь. Было очень тепло — необычайно для нынешнего лета.

Июль 1. Воскресенье. Был у Валуева. Принят очень хорошо. Просил об отпуске. Он согласен.

4. Среда. Вчера был у Делянова. Разговор о Головнине. Дурно идет управление министерством: шаткость, вмешательство посторонних лиц, незнакомых с делом, искание популярности. Барон ‹А. П.› Николаи, как человек

благородный и способный, был бы, полагают многие, лучшим министром в настоящее время.

Сегодня не без грустного чувства передал я мои обязанности новому редактору. Дело это было мне дорого; я многого от него ожидал, как оказывается, напрасно... Я не мог продолжать его долее, не утратив моей самостоятельности.

Страшная сырость на этой Черной речке! Да и дожди же одолели.

5. Четверг. Странные и страшные слухи ходят по городу, — будто во дворце получено подметное письмо следующего содержания: «Говорят, что во время отсутствия государя и государыни (которые собираются ехать в Либаву) будут исполнены над зажигателями смертные казни. Если это произойдет, то неминуемая смерть посредством отравления будет внесена в самое царское семейство. А чтобы это не показалось одною пустою угрозою, то на днях увидят фактическое тому подтверждение». Вслед за этим, говорят, в одном полку вдруг заболело сорок человек явными признаками отравления. Разумеется, я этому не верю, но распускание подобных слухов уже имеет свое значение.

7. Суббота. Поздно вечером приехал ко мне ‹И. А.› Арсеньев, и мы вместе составили телеграфическую депешу к Гончарову в Москву, приглашая его скорее вернуться в Петербург. У Валуева есть намерение поручить ему главную редакцию «Северной почты». [228]

8. Воскресенье. Ездил навещать Плетнева. Здоровье его не улучшается: все та же рана на груди. Это очень его ослабляет; при этом ноги плохо служат. Я посидел у него часа два. На возвратном пути меня преследовал сильный дождь, а ветром сломало зонтик, так что я с трудом укрывался его лоскутьями. К счастью, было тепло.

Плетнев мне рассказывал о том, какой радушный прием сделала императрица ‹Н. С.› Кохановской: последняя была восхищена ее добротой. Прощаясь, императрица сказала ей:

— Желаю вам всего лучшего на свете.

— Так позвольте же, государыня, просить у вашего величества теперь же исполнения этого желания: благословите меня, — сказала Кохановская, тронутая ласковым обращением всего царского семейства.

Удивительно, как при виде приближения к роковой развязке близко стоявшего к вам человека в памяти вашей отчетливо возникает ваше общее с ним прошлое и как при-

том жало зла притупляется, все темное стушевывается, а светлое выступает и осеняет вас отрадным чувством примирения.

10. Вторник. Холодно, сыро, бурно. В сердце тоска.

Говорят, арестовали ‹Н. А.› Серно-Соловьевича, Чернышевского и Писарева.[229]

11. Среда. Создать верования мы не в силах, а потрясти их можем.

13. Пятница. Приготовления к отъезду. Опять новый поход к морю. Не скажу, чтобы мне улыбалась эта, третий раз предпринимаемая, погоня за призраком здоровья. Но врачи требуют, мои настаивают и упрашивают, — едем.

14. Суббота. Сегодня выезжаю по железной дороге на Эйдкунен в Булонь.

За границей.

19. Четверг. Еще в Берлине встретились мы с ‹Н. Н.› Страховым и до сих пор всё бродим вместе и по Дрездену. До наивности добрый, мягкий и умный, он очень приятный спутник. Сегодня мы вместе посетили картинную галерею. Вот опять божественная Мадонна Рафаэля. Нынешний раз она мне показалась еще совершеннее. Я около часу смотрел на нее, разбирая каждую черту картины отдельно и потом снова соединяя их. Нет! ничего подобного еще не производило искусство, да вряд ли в состоянии произвести еще когда-нибудь. Для создания такого лика нужна детская беззаветная вера, время для которой навсегда миновало. Я было встал, чтобы идти смотреть на другие картины, и опять вернулся к Мадонне, да так и просидел перед ней все время, что пробыл в галерее. Затем только мельком взглянул на Мадонну Гольбейна, на Корреджиеву ночь, на брак в Кане Галилейской Веронезе, на Мадонну Мурильо.

Здесь же в Дрездене встретил я князя Г. П. Волконского с сыном его, юношею двадцати лет, который едет продолжать учение в Боннский университет. Он уже пять лет учился в Веве и сдал в Женеве приемный экзамен в университет. Молодой человек произвел на меня хорошее впечатление. Князь-отец возлагает на него большие надежды.

20. Пятница. Остроумие такой спирт, который очень скоро выдыхается, если его часто откупоривают.

Поутру у ‹В.› Вольфсона. Он принял меня дружески. Жаловался, что ему не высылают из Петербурга субсидий, книг, журналов. Рассказал мне анекдот о ‹М. А.› Бакунине,

когда тот бушевал в Лейпциге, в 1848 г. Бакунин находился в большой опасности; его преследовали, и если б он был пойман, то его расстреляли бы. Спасаясь от преследователей, Бакунин явился к Вольфсону и просил у него убежища на ночь. Вольфсон скрыл его у себя. В следующее утро на прощанье Бакунин сказал ему: «Ты оказал мне услугу, потому предупреждаю тебя: если наша возьмет верх — не попадайся мне: повешу или расстреляю». Во время резни в Дрездене в том же году Бакунин, по словам того же Вольфсона, направлял пушки на картинную галерею. [230]

Вечером заезжал за мной князь Волконский, и мы вместе отправились за город на народный праздник и немного побродили там в толпе, среди ярмарочных палаток и столов с пряниками и разными другими сластями. Затем проехали на Брюлевскую террасу, посидели там, а в заключение и на террасе отеля «Бельвю», и в ночном полумраке любовались Дрезденом, усеянным сверкающими огоньками.

22. Воскресенье. Вечер у Вольфсона, где познакомился с актрисою Янаушек. Она чешка и, по словам Вольфсона, великая артистка. Наружность у нее изящная и эффектная. Она собирается в Петербург.

25. Среда. В Брюсселе. Вечером успели еще побывать в саду, который не лучше и не больше нашего Летнего, но содержится гораздо менее чисто, а между тем оттуда уже с десяти часов вечера изгоняется публика: это в июне и в июле, а в августе и в сентябре с девяти часов. Кроме того, по саду и среди бела дня запрещается ходить с узлами и пакетами. Мы несли с собой бумажный мешочек с двумя фунтами вишен. К нам подошел блюститель порядка в форменной одежде и учтиво, но внушительно попросил нас удалиться, так как в городской сад не допускают никого с «ношею».

Дворец против сада ни величествен, ни богат.

Впрочем, вообще Брюссель на вид прекрасный, один из лучших в Европе городов. Общая его физиономия сильно напоминает Париж. Но окрестности его мало привлекательны: страна кругом плоская и местами болотистая. Бельгийцы тоже напоминают собой французов: та же живость в языке и в движениях.

26. Четверг. Ровно в полночь приехали в Булонь. Благодаря позднему часу у станции железной дороги не оказалось экипажей, и мы, взяв носильщика, пешком отправились в отель «Брайтон». Бушевала страшная буря. Ветер безжа-

лостно рвал и трепал нас. Но мне было хорошо. Я с жадностью глотал влажный, йодистый, бодрящий воздух. С океана среди рева волн иногда раздавались пушечные выстрелы.

27. Пятница. В отеле такая дороговизна, что нет возможности оставаться в нем. Я решился отправиться в пансион госпожи Вильбен, где останавливался в первый раз. Мадам Вильбен меня тотчас признала и выразила большую радость: я чуть не задохся в благоуханной атмосфере розовых улыбок, которых она напустила на меня целую тучу. Но главное оказалось, что у нее есть две свободные комнаты, и те самые именно, которые мы занимали прежде. Прекрасно! Мы тотчас их взяли и сладили дело по прежней цене, то есть за восемьдесят франков с двоих в неделю, что ровно вполовину дешевле, чем в отеле.

Как-то грустно и странно видеть себя в том же жилище, где жил два года тому назад, но при других условиях. Здесь все по-старому: та же мебель, те же постели, вся прежняя обстановка. Так и кажется, вот войдет К‹азимира› со своей добродушной и нежной заботливостью обо мне и спросит, не идти ли нам на жете́, или погулять по городу, или на рынок за плодами.

29. Воскресенье. Мы провели преприятный вечер на жете́. Было тихо; луна выплыла из-за туч и бросала свой серебристый свет на город и океан. Вдали мелькали огоньки маяка. Пришел слепой певец с гитарою и под аккомпанемент ее и шума волн звучным и приятным голосом пропел прощание матроса с сушею. Все это было чрезвычайно эффектно, и для довершения живости впечатления мимо нас пронесся английский пароход в даль океана, а навстречу ему плыл другой из Англии.

Август 3 (15). Пятница. Ровно в шесть часов утра пушечные выстрелы возвестили о сегодняшнем празднике — именины Наполеона. У домов вывешены трехцветные флаги. Увидим, что будет далее. Но празднику, кажется, угрожает дождь, хотя очень тепло. Да вот уж и пошел — теперь 9 часов.

Вечером все казенные дома были иллюминованы. Особенно хорошо был иллюминован дом супрефекта. Флаги пестрели у всех домов. Толпы народа весело, живо волновались по улицам. Мы отправились к верхнему городу, где и без того теперь довольно шумно, потому что тут ярмарка. Но сегодня стекались сюда, кажется, тысячи народа — стар

и млад, мужчины и женщины. Тут в балаганах дают разные представления. Музыка в разных местах то ревет с барабанным стуком и трубами, то дребезжит и гудит как-то дико и нелепо; крик, гам, писк, пение, говор, пускание ракет — словом, как говорится у нас, светопреставление. Самое большое и пестрое сборище и хаос лиц, слов, движений — у карусели. Вечер был тихий и теплый, следовательно, как нельзя более благоприятствовал веселью. Да и мастера же французы веселиться! На одной площадке заиграли польку. Несколько рыбачек и горничных, охватив друг друга за талию, вдруг выскочили из толпы и, прыгая под такт музыки, живо завертелись вокруг водоема. Это было очень оригинально, весело и живо. Здешние француженки из простого класса особенно цветущи и красивы. Лица их чисты и как будто отчеканены легким, деликатным резцом. Черные оживленные влажные глаза, черные волосы, необыкновенная живость и грация движений — все это очень привлекательно даже почти во всякой девочке-замарашке.

4. Суббота. Я встретился в Дрездене с князем Юсуповым. Речь у нас зашла о Герцене и его революционных листках, которыми он наводняет Россию. Вот что он рассказал мне по этому случаю: «В Берлине покупал я в книжном магазине кое-какие немецкие книги. — А не хотите ли вы русских? — спросил у меня услужливый книгопродавец. — Каких же? — Да вот, например, герценовских; у меня есть всевозможные его сочинения; и прежние и самые новые. — Нет, — отвечал я, — у нас ныне очень строго преследуются эти вещи, и я боюсь, что не довезу их до Петербурга: у меня отберут на границе. — Вот пустяки! Я вам доставлю в Петербург сколько угодно, прямо в ваш дом, в ваш кабинет. — Это удивительно! Но если я вздумаю задержать того, кто мне их принесет? — Не беспокойтесь! Вы не в состоянии будете этого сделать, вы и не увидите того, кто вам принесет их».

5. Воскресенье. Вопрос: общество ли делает человека негодным, или человек общество?

В четыре часа пошли смотреть церковную процессию. Несколько девушек в белых платьях, в белых покрывалах и с белыми венками на голове держали голубой покров и сопровождали огромную корзину с цветами. Впереди несли хоругви, позади их отряд зуавов-музыкантов. У некоторых домов, особенно у казенных, были вывешены флаги — белые

с голубым. Процессия эта вошла в церковь в Готевиле, где и началась служба. Служил епископ. Мы вошли в церковь, но не дождались конца. Между тем пошел дождь и испортил процессию.

8. Среда. Надобно везде являться на помощь и всегда, сколько есть наших сил, поддерживать все честное, истинное и справедливое. Вот мой девиз, и я во всю мою жизнь старался следовать ему и по влечению моих нравственных инстинктов и сознательно. Ибо мы можем только помогать созиданию, а не созидать.

Человек не лучше животного, когда он ест, пьет, спит, размножает род свой; он становится немного лучшим, когда мозг его вырабатывает цепь понятий и занимается отправлениями мысли. Но он становится положительно выше животного — существом особого рода, когда решается на одно истинное, честное и справедливое.

После обеда мы отправились в концерт. Зала была битком набита. Пела какая-то Луиджи — ученица, как сказано на афише, Россини. Это и видно было: она уже очень немолода. Пела она усердно и, как кажется, по хорошей методе, но голос ее уже потерял свежесть и чистоту. Тальберг играл на фортепиано, по выражению сидевшего возле меня француза, как принц искусства, и на скрипке играл какой-то неслыханный еще скрипач Сидичелли — и играл превосходно.

9. Четверг. Каждый день процессия в честь божией матери. Вот сейчас прошли с хоругвью женщины, повидимому рыбачки, в черных платьях и белых чепцах.

10. Пятница. Здоровье здоровьем, а дело делом. Сие должно делать и оного не оставлять, как очень умно сказано в весьма умной книге. Меня сильно занимает мысль написать сочинение в виде письма из-за границы о нынешних наших делах и послать для напечатания в «Северную почту». Я накидал уже на бумагу несколько идей и продолжаю каждое утро заниматься этим. Лучше что-нибудь, чем ничего. Голос честного человека может что-нибудь значить в настоящее время, когда так сильно кричат демагоги и друзья Герцена.

Сильно надоедают эти частые трубные звуки, которые раздаются по городу от марширующих зуавов. Вероятно, это исполнение каких-нибудь служебных требований; но к чему же это беспрерывное хождение по улицам и трубление? А вот также и духовные процессии. Говорят,

что они обыкновенно продолжаются здесь недели три сряду.

12. Воскресенье. Великолепная религиозная процессия. Из собора в Готевиль в четыре часа потянулись ряды девиц, маленьких, средних и больших, одетых в белые платья, с венками из белых роз на голове. Их было не менее, а может быть, и более тысячи. Они шли отрядами. Каждый отряд сопровождал какой-нибудь символ, относящийся к божьей матери, или же ее изображение на хоругви. Некоторые отряды состояли и из мальчиков, старух убогих, призреваемых каким-то обществом, монахинь, матросов, несших модель лодки и посреди нее маленькую статую божьей матери, духовенства, а в заключение — епископ, который нарочно сюда приехал для этого праздника. Некоторые отряды девиц пели гимны, а сверх того процессию сопровождали два оркестра военной музыки. Шествие началось ровно в четыре часа, обошло главные улицы, набережную и опять возвратилось в собор. Мы с двух пунктов видели эту процессию — на площади против крепости, когда она только что показалась из ворот последней, и на набережной возле нашей квартиры. Все это великолепно, даже во многом изящно, но не величественно. Это больше зрелище для развлечения, на что французы так жадны, чем религиозное торжество для возбуждения благочестия. Все это слишком обременено символами, слишком нарядно, слишком внешне, действует гораздо больше на внешние чувства, чем на сердце. Католическое духовенство не знает, кажется, меры в обрядности. Стечение народа здесь было огромное, но толпа вела себя так чинно, что трем полицейским сержантам, которых я заметил, казалось, вовсе нечего было делать.

13. Понедельник. Сегодня опять процессия. Вот раздаются свежие женские голоса и рев вчерашнего какого-то попа, у которого неслыханной свирепости голос. Я выглянул в окно: вот опять повалили толпы от железной дороги к Готевилю.

15. Среда. Вот что важно в этих странах: всякий человек сознает здесь свое достоинство, и последний поденщик, подметающий сор на улице, так же мало способен допустить, чтобы его оскорбили, поступили с ним несправедливо и незаконно, как и какой-нибудь депутат, заседающий в законодательном собрании.

17. Пятница. В Петербурге у нас все, кажется, порядочно и тихо. Я заключаю это из того, что в здешних газе-

тах решительно ни слова о России (кроме телеграфических депеш о смутах в Варшаве), как будто она не существует на европейской карте. Дай бог, чтобы она меньше подавала и повода говорить о себе в газетах, ибо для газетных речей нужны пожары, резня, виселицы и тому подобные возбудительные вещи. Теперь довольно и одной Италии. Бедный Гарибальди, кажется, сделал фальшивый шаг. Не попасть бы Италии прямо в руки Наполеону III. Вот уж здесь, говорят, из Шалонского лагеря зуавы двигаются к Ницце.[231]

19. Воскресенье. Сегодня в «Constitutionnel» * я прочитал, что Гарибальди взят в плен войсками Виктора-Эммануила. Гарибальди, по всем законам, должен быть осужден на смерть. Но, само собой разумеется, что его предшествовавшие заслуги, весь характер его деятельности ставят его вне закона, то есть выше закона. Он, конечно, будет помилован.

29. Среда. Человек — первый виновник всех своих бед, хотя всегда готов обвинять в них судьбу или кого угодно, хоть папу римского, только не себя.

Сентябрь 1. Суббота. Вечер проведен в семействе лондонского русского священника Попова, Евгения Ивановича. Это весьма образованный человек. У него две милые дочери. Но странно как-то, зная, что они русские, слышать в разговоре их иностранный выговор. Они родились и воспитывались в Лондоне.

5. Среда. Сборы в дорогу. Довольно подличать с океаном. Каждый день по нескольку раз ходил я к нему на поклон, восхищался им во всякое время и во всех его видах — в грозном величии и в безмятежном покое, доверчиво погружался в его волны: чем-то он мне за все это воздаст?..

7. Пятница. (В Париже.) Заезжал сегодня в канцелярию нашего посольства узнать, не будет ли завтра какого-нибудь торжества у живущих здесь русских по случаю празднования завтра тысячелетия России. Не будет ничего, кроме обедни и молебна.

8. Суббота. Поутру в церкви. Нашел там не так много русских, как ожидал. ‹П. Д.› Киселев был в парадной форме, так же как и члены посольства. Здесь я неожиданно встретил графа Блудова с графиней Антониной Дмит-

* «Конституционная газета» *(франц.)*. — *Ред.*

риевной, ‹П. Н.› Батюшкова, графа ‹А. А.› Апраксина, доктора ‹А. П.› Каталинского.

Церковь наша действительно очень хороша, особенно внешний вид. Внутри она расписана в византийском стиле. Французские певчие пели хорошо и только немногие слова выговаривали, несколько смягчая их.

После обеда был у меня Франчески, которому обо мне писали. Он мне очень любезно предложил разные услуги в путешествии по Парижу и хотел доставить мне билеты в некоторые общественные учреждения. Разговор о политике в весьма умеренном тоне. Франчески очень щеголеватый француз, с изысканными манерами и несколько приторною любезностью.

Сегодня же были в саду акклиматизации. Тут много любопытного — между прочим, такие громадные страусы, каких можно видеть разве только в Африке. Их семь штук: они, как чопорные дамы, расхаживали в своем отделении.

9. Воскресенье. Во всяком французе первая мысль при встрече с вами — сделать впечатление, произвести эффект.

Если подумаешь, что в миллионах этих улыбок, обязательных пожеланий и уверений, расточаемых с такою роскошью, в этих горячих, дружеских рукопожатиях нет ни капли правды; что во всем этом скрывается затаенное: «черт тебя возьми, мне нет до тебя никакого дела» или: «сколько я могу содрать с тебя денег?» — когда все это сообразишь, тогда естественно приходишь к мысли, что человек получает от цивилизации все: богатство, комфорт, внешний лоск, блеск и проч. и проч., кроме одного: кроме возможности быть лучшим.

11. Вторник. Получил от Франчески кучу билетов в те места, куда без билетов не пускают.

Были в Люксембурге. Осматривали комнаты и картины, изображающие подвиги Наполеонов I и III, например, когда последний принимает императорский титул, венчается с Евгенией, посещает рабочих и т. д.

Внизу любопытна комната Марии Медичи, сохраненная в том виде, как была при ней. Но самое любопытное в Люксембургском дворце — это зала заседаний сената. Она действительно великолепна и достойна хоть бы не нынешних холопствующих французских сенаторов.

13. Четверг. Обозревали в Лувре музей. В галерее антиков мы, само собой разумеется, больше всего времени

посвятили Венере Милосской. Но то, чего я не видал прошедший раз в Лувре, — это чрезвычайно интересное собрание исторических вещей. Тут: меч и скипетр Карла Великого, кресло Дагоберта, некоторые туалетные принадлежности и даже поношенный башмак Марии Антуанетты. Очень интересны еще вещи, находившиеся в употреблении у Наполеона I, именно: его кресло, довольно потертое; походный столик, чрезвычайно простой, со складным стулом; бюро, походная кровать с пологом, тюфяком и одеялом; знаменитый его серый сюртук и треугольная шляпа, которую он носил на острове св. Елены; туника и мантия, в которой он короновался; колыбель короля Римского и проч. Все это осматривал с двенадцати до трех и порядочно устал, так что не мог уже ехать в Клюни, как предполагал было. На сегодня довольно.

14. Пятница. Я познакомился с нашим умным священником, отцом Иосифом Васильевым. Застал у него нескольких русских: Бутурлина, Малоземова, Евреинова. В час в Тюльерийский дворец. Вход дозволен только в парадные комнаты. Все это, разумеется, великолепно. Но всего лучше вид из Маршальской залы на площадь Конкорд и на Триумфальную арку. Да и само зало Маршалов очень хорошо. В нескольких местах на дощечках надпись, что строго воспрещается давать деньги служителям. Но, должно быть, им запрещено и говорить: иные из посетителей обращались к ним с вопросами о некоторых предметах, но служители были глухи и немы.

Отчего не пускают в жилые комнаты Наполеона? Говорят, что там что-то переделывают. Но я подозреваю другую причину; может быть, Наполеон не хочет, чтобы всякому было известно, где его можно найти.

Потом осматривали Клюни. Всего интереснее само здание Клюни по своей древности, которая восходит до времен римлян. Много барельефов, статуй, разных обломков XI и XII веков.

Нам, русским, интересны еще: образ божьей матери, взятый при разрушении Бомарзунда, — складной, старинной суздальской живописи, в медной оправе;[232] потом в саду, как трофей, чугунный крест из Севастополя, попорченный, видно, ядрами и снятый с церкви.

Пасмурно, но тихо и тепло, как в июне или июле. А у нас в Петербурге, кому-то писали оттуда, десятого выпал снег.

15. Суббота. В одиннадцать часов в Сен-Клу. День очаровательный, только жарко. В Сен-Клу мы походили в парке, дошли по аллее до башни и оттуда любовались Парижем, который тут почти так же виден, как с Бельвю или с Медонской террасы. Затем мы отправились в Севр в сопровождении какого-то уврие, * шедшего с бочонком за пивом по одной с нами дороге. В Севре осмотрели знаменитую фабрику фарфоровую и видели почти все ее сокровища, кроме тех, которые увезены на лондонскую выставку, — следовательно, главных-то и не видели. Но и виденного довольно, чтобы составить себе понятие о совершенстве, до которого доведена здесь отделка материала и живопись. Но и дороги же все эти вещи. Одна тарелка столовая — 350 франков. Есть вазы по 30, 20 и 18 тысяч франков.

Из Севра в Бельвю, где мы посидели на скамейке и посмотрели на Париж, оттуда представляющийся океаном зданий, берегов которого не видно и среди которого с левой стороны зеленеет только один остров — Булонский лес.

Вот, наконец, и Медонская терраса, которая мне нравится больше всех других пунктов, откуда можно наслаждаться великолепным зрелищем города, не знающего, повидимому, границ своему объему, своей производительной мелкой и крупной деятельности, кипучести своих страстей, города, поставившего себя так высоко в истории и спустившегося в настоящее время так низко к подножию Наполеонова трона, — словом, города, который и видеть и узнать необходимо для полноты знания человека, то есть того, как он может возвыситься и пасть, каких мерзостей и ужасов он может наделать и до какой нравственной оцепенелости может дойти.

17. Понедельник. Jardin des Plantes. ** Здесь особенно нас заняли: самый сад, который мы весь обходили, прогулка в лабиринте, с восхождением на башню, откуда видна значительная часть Парижа. Далее, дромадеры, тигр огромного роста и свирепейшего вида, которому, кажется, не нравилось, что он был предметом общего любопытства, тогда как он не имел возможности употребить в дело над любопытными своих зубов и когтей; лев, который в это время покоился сном невинности; слон, весьма грациозно обра-

* Рабочего *(франц.). — Ред.*
** Ботанический сад *(франц.). — Ред.*

щавший свой хобот к зрителям за подачками хлеба; морда гиппопотама, высунувшаяся из воды, — сам же он весь был в нее погружен, а другой из сарая показывал свой огромный зад, и пр. Обезьян мы пропустили, спеша к теплицам. Здесь особенно привлекла наше внимание Victoria regia, * только своими листьями, потому что в нынешнем году она не цвела; огромные пальмы. Впрочем, у нас в Ботаническом саду не меньше замечательных экзотических растений. В теплице один из рабочих обратился к нам с русскою речью. Оказалось, что он воспитанник одесского училища садоводства, из евреев, и здесь учится. Из сада в фиакре поехали в Sainte-Chapelle в Palais de Justice. ** Это замечательное здание готической архитектуры, построенное Людовиком Святым. Внутренность вся из разноцветных стекол; линии легки и грациозны. Нам показывали на правой стороне в стене окошечко: там, никем не виденный и сам ничем земным не развлекаемый, молился и слушал обедню святой король. Из Sainte-Chapelle мы отправились пешком и осмотрели дорогой одно из полезнейших и прекраснейших зданий Парижа — рынок. Говорю «прекраснейших» не напрасно. Оно легко, величественно. Древние непременно сделали бы из него храм и посвятили его Помоне, потому что большая часть лавок, по крайней мере нам так показалось, была наполнена овощами и плодами. Мы также принесли нашу жертву в этом храме, оставив в нем около двух франков и взамен их получив от царствующего там божества три великолепнейшие груши — дюшесы, и полтора фунта фонтенеблосского винограду. Затем по улице Монмартр мы вышли на бульвар того же имени и сильно усталые возвратились домой уже в три часа.

18. Вторник. Версаль, в половине первого. Два часа без отдыха ходили по комнатам и осмотрели весь дворец. Всего интереснее та часть его, где жил Людовик XIV: его спальня с кроватью в том виде, как при нем; две комнаты по бокам, сообщающиеся с Геркулесовою залою, комнаты наверху с портретами знаменитостей века Людовиков XIV и XV — королей, министров, принцев, принцесс, писателей, красавиц и других чем-либо замечательных женщин. Тут нашел я и нашу Екатерину II и Софью Алексеевну. Не знаю, почему последняя представлена красавицей. Есть также пор-

* Виктория регия *(лат.)*. — *Ред.*
** Часовня в здании суда *(франц.)*. — *Ред.*

трет Петра III и картина смотра войск в Париже с изображением Петра Великого. Большинство зал в первом и во втором этажах (кроме тех, где жил Людовик XIV) составляют род картинной галереи с изображением подвигов французских войск. Всего больше картин приходится, разумеется, на долю Наполеона I. Из царствования нынешнего Наполеона здесь есть и Альмская битва, и сражение при Аккермане, и осада и взятие Севастополя, и Сольферино, и Мадженто. Очень интересны еще залы с изображениями крестовых походов с взятием Иерусалима и с портретами рыцарей того времени. Впрочем, осматривать Версаль не два часа надо, а разве две недели. К тому же в залах было ужасно душно, и я с радостью вышел в сад. Обойдя цветник, мы спустились вправо с террасы и приютились на скамейке перед бассейном, достали маленький взятый из Парижа паштет да пару дюшес и позавтракали. Потом опять поднялись на террасу и оттуда любовались садом. Внизу играла военная музыка и пестрели толпы народа. Между тем с запада надвигались живописные и грозные тучи. Все это вместе было действительно полно поэзии. Солнце скрылось. Мрачная тень повисла над парком и дворцом и заслонила собою еще так недавно лучезарную даль. Не так же ли точно померкли перед кровавым образом революции и слава и блеск царившего здесь двора?.. Однако пора подумать о возвращении: тучи медленно, но верно надвигались на нас. Да вот уже и упало несколько тяжелых капель дождя, сверкнула молния. Все бросились из сада. К счастью, мы у самого дворца нашли фиакр и сухие добрались до железной дороги.

19. Среда. Вот уже, кажется, и здесь водворяется осень. Целую ночь лил дождь и теперь утром продолжает свое дело, превращая улицы Парижа в мутные потоки жидкой грязи.

Позднее посетили фабрику гобеленов. Мы осмотрели и готовые уже ковры и обои и видели приготовление их в мастерских. Удивительные произведения прихотливого искусства! Ткань имеет всю правильность и экспрессию, всю свежесть колорита и тончайшие видоизменения теней, как в картинах лучших мастеров. Вот, например, семейство Дария у ног Александра или «Преображение» Рафаэля и его Мадонна. Это воплощение идеалов в шерстяные нитки посредством механического перебрасывания коклюшек на туго натянутой основе. Мы видели самое производство работ.

Я полагал, что это дело женских рук, а между тем тут работают всё мужчины.

Отсюда мы отправились в Пантеон и ехали туда по той части Парижа, которую можно назвать изнанкою его, то есть по крайне непривлекательным, грязным и вонючим улицам. Тут обитают рабочие и вообще недостаточный люд. Это, кажется, всё пещеры, где зарождаются и откуда вырываются революционные бури. Но вот императорский лицей, а возле него Пантеон. Чудное, величественное здание, на фронтоне которого еще красуются слова: «Великим мужам благодарное отечество», хотя теперь оно посвящено не великим мужам, а высшему существу.

20. *Четверг.* Может ли существовать хорошее, благоустроенное, истинно человеческое общество без верований?

22. *Суббота.* Приготовления к отъезду. Нетерпение скорее увидеть своих все растет. Да и цели нет больше оставаться в Париже. К тому же и погода, кажется, окончательно повернула на осень, а бульвары совсем обезобразились: на них роют какие-то канавы, для газа что ли, а в иных местах поливают каким-то гнусным смрадным составом. Особенно пострадал от всего этого ближайший к нам Итальянский бульвар.

27. *Четверг.* (В Берлине.) Прочитал брошюру ‹А. И.› Кошелева: «Конституция, самодержавие и земская дума», которую купил в здешнем магазине. В брошюре много справедливого. Мысль о земской думе мне кажется и верною и практически применимою, если государь захочет и ему не помешают. Но тут есть одна щекотливая вещь: не нарушится ли с думою принцип самодержавия? Кошелев не дает ей законодательного характера, а только с о в е щ а т е л ь н ы й. Но захочет ли он остановиться на этом? Для совещательной думы у нас есть и исторические элементы. Она была бы у нас вполне народным учреждением. [233]

Прочитал также последний номер «Колокола». Герцен называет Мадзини и Гарибальди «святыми Дон-Кихотами». Бакунин лжет о Польше. Напечатано приглашение о пособии Михайлову, с уверением, что оно н е п р е м е н н о дойдет до него. [234]

30. *Воскресенье.* Ровно в одиннадцать часов ночи прибыли мы в Петербург, где были встречены всеми остальными членами моей семьи. Через полчаса я был дома — и с удовольствием.

Без меня случилась беда: нас жестоко обокрали. Исчезло все платье, а у меня из кабинета все сколько-нибудь ценное. И это случилось среди белого дня. Тринадцать замков взломано. Полиция действовала гнусно. Где тонко, там и рвется.

Октябрь 1. Понедельник. С великой радостью чувствую я себя дома, посреди своей милой семьи, любящей и любимой. Надоело скитаться по чужим местам, среди чужих людей.

Надо, однако, заметить, что путешествие оказало мне пользу. Отдых и море сделали свое, и вот уже несколько времени я не испытываю обыкновенных припадков. Я второй день дома, и мне тоже хорошо.

Воровство на моей квартире произошло при таких условиях, а полиция при исследовании его вела себя так гнусно, что я не могу оставить это дело без последствий. Да и самые потери наши гораздо больше, чем я понял сперва. У нас из квартиры вынесено все платье, все белье, все вещи, какие только можно было унести. Из кабинета у меня пропали разные серебряные и золотые вещи (две табакерки, медали, старинные монеты), даже ордена мои и шифр моей дочери. Бумаги приведены в хаос: воры везде искали чего-нибудь ценного или денег.

5. Пятница. Все эти дни занимаюсь приведением в порядок моего кабинета и некоторыми визитами. Сегодня ездил к обер-полицмейстеру с жалобой на неправильные действия полиции в расследовании совершенного у меня в мое отсутствие воровства — и особенно на следственного пристава Куприянова, который вместо оказания законной помощи и содействия моей жене делал ей всевозможные затруднения и требовал ее для показаний в участок.

6. Суббота. Вечером у министра Валуева. Принят очень любезно. До него дошли слухи о воровстве у меня, и он расспрашивал о подробностях.

10. Среда. Прочитал высочайше утвержденный проект нового судопроизводства и судоустройства.[235] Какие невероятные успехи сделала Россия в нынешнее царствование. Если бы в николаевские времена кто-нибудь вздумал бы помечтать о подобных вещах и мечта его как-нибудь вылетела бы из его уст, — тот был бы сочтен за сумасшедшего или за государственного преступника. А тут вот публичное судопроизводство, гласность, присяжные, адвокатура, осво-

бождение суда от деспотизма администрации, и все это создание того государя, которого упрекают в слабости, малоумии и пр. Нет, господа красные, последователи Герцена, вы не поняли этого человека, и в вас нет ничего, кроме желаний играть роль и рисоваться перед толпой, чтобы она рукоплескала вам. Нет, вы не двигатели России на ее пути к успеху, а тормозы ее! Лишь бы государь сумел удержаться на своей высоте, вопреки всем мутным волнам, бушующим у подножия его трона. Он, очевидно, весь для России, но беда в окружающих его...

В трудах по новому судопроизводству преобладала и преобладает здравая либеральная партия.

11. Четверг. Мужественное помышление о жизни, мужественное помышление о смерти.

В заседании Академии.

15. Понедельник. Бесчисленные толки об адресе, поданном государю подольским дворянством.[236]

17. Среда. Тирания свободы не менее опасна и пагубна, как и тирания деспотизма.

Насчет бессмертия души в нынешней науке ходят дурные слухи.

А вот и мои старые враги опять начинают понемножку подкрадываться ко мне, особенно в ночной тишине. Ночью и теперь пароксизм со всеми его забытыми прелестями.

Да, мужество в помышлении о жизни, мужество в помышлении о смерти.

21. Воскресенье. Я ненавижу всякий деспотизм — столько же черни, сколько и одного; деспотизм мнения, как и грубой физической силы; деспотизм, превращающий меня в рабочую машину посреди какой-нибудь мастерской для выгод коммуны, как и деспотизм богача, который думает овладеть мною, моим трудом и знанием, потому что у него много денег.

Живут я, ты, он — то есть живут индивидуальные личности. Общество — отвлеченное понятие, а социалисты и коммунисты хотят, чтобы общество состояло из индивидуальностей, из которых каждая была бы порабощена ему и жила в нем и только для него. Не наоборот ли? Не должно ли общество быть устроено так, чтобы каждый мог жить свободно, свободно располагать собой, а общество только охраняло бы эту возможность.

22. Понедельник. У заблуждения есть своя логика.

У нас редко кто рассуждает, редко кто имеет терпение рассуждать и терпение выслушивать рассуждения других. У нас хотят только решать.

** ‹Гончаров› давал обед у Дюссо некоторым из своих приятелей. Обед хорош, но приправленный плохими разговорами и остротами без соли. Удивительно, как люди, слывущие умными, да и действительно умные, могут находить удовольствие в таких пустяках и — гнусностях. [237]

27. Суббота. Иной считает себя чрезвычайно умным человеком потому только, что, ни во что не мешаясь и ничего не делая, он умел избежать ошибок и столкновений с людьми.

У нас есть множество людей, которые желают революции единственно для развлечения, из желания посмотреть на нее в окошко. Они забывают одно — что революция имеет обыкновение стрелять во все, нимало не разбирая, окошко ли то, или дверь, или улица.

29. Понедельник. Вчера был у Делянова. Он рассказал мне следующую вещь. Когда недавно он представлялся государю, то речь коснулась беспорядков в университете и либералов вообще. «Нельзя отвергать, — сказал Делянов,— что существуют партии с самыми разрушительными демагогическими стремлениями». — «Никто, — отвечал на это государь, — подробнее и точнее меня не знает этого».

Наши ультралибералы готовы Стеньку Разина и Емельку Пугачева счесть за глубокомысленных политиков и народных героев.

30. Вторник. Большая ошибка со стороны государственного человека ставить зависящих от него людей в такое положение, что они или должны изменить своим правилам и убеждениям, или отказаться от деятельности под его управлением.

31. Среда. Человек без некоторых добрых свойств со всем своим умом никуда не годен. Он это чувствует и, не имея этих свойств, всячески старается показаться имеющим их. Смешно в таких случаях видеть, как это ему не удается и как все его усилия проходят мимо цели. Он точно, подобно известному греку, упражняется в бросании горошиной в цель, с тою только разницею, что грек был счастливее его и попадал, куда метил, за что и получил от Александра в награду целую меру гороха.

Вечером в театре на представлении новой оперы Верди: «Силы судьбы». Сюжет смахивает на плохую мелодраму,

но в музыке много блеску и энергии. Барбо и Грациани, кажется, превзошли самих себя. Со времени Виардо и Рубини музыка не производила на меня такого действия. Особенно Грациани: иные звуки его голоса точно шелест крыльев в полете души, когда она возносится в горния к своим идеалам.[238]

Ноябрь 1. Четверг. Когда люди в массе не знают, куда идти и почему они идут туда, а не в другое место, и между тем чувствуют, что идти необходимо, — тогда они называют такое влечение духом времени.

Дух времени есть повелительная сила истории, влекущая людей к разрешению задачи, основания которой положены в предшествовавшем ходе вещей.

Одни только страдания и бедствия имеют способность придавать жизни серьезный характер. Без них жизнь была бы какая-то шутовская процессия или, как говорит Шекспир, сказка, рассказываемая старухой у очага.

Шумите, спорьте, сочиняйте теории какие угодно, только не запутывайте народ во все это. Ведь ему-то приходится расплачиваться за все слезами, кровью, а он, несчастный, даже не имеет удовольствия сказать, что понимает что-нибудь в ваших воззваниях и учениях. Поучите его, просветите, пусть он сам скажет за себя слово. Чтобы иметь удовольствие управлять им и вести его куда вам угодно, вы готовы перерезать его...

Толчки нужны, только без ломания костей.

Общее заседание в Академии наук. Объявлено о ‹К. М.› Бэре, что он увольняется, по просьбе его, от звания ординарного академика, с 3000 р. пенсиона, единовременною выдачею 1000 рублей и с чином тайного советника. Потом Бэр избран в почетные члены почти единогласно, кроме одного голоса.[239] Был прочтен список сочинений, поступивших на Демидовскую премию. Их всего тридцать.

3. Суббота. Мужественное помышление о жизни, мужественное помышление о смерти.

4. Воскресенье. Наклонность к ничегонеделанию вместе с праздным, безрезультатным разгулом мысли и фантазии, кажется, лежит в натуре нашей. Удивительнее всего, что эти стремления к пустоте, прикрываемые вычурным умозрением или умничаньем, мы готовы вменить себе в достоинство и восхищаться этим, как истинно самородною чертою нашей широкой цельной натуры. В самом деле, великая,

широкая натура! Англичанин что-нибудь сделал и делает, француз что-нибудь сделал и делает, немец тоже, а мы создаем свою историю из ничегонеделания или преследуем такие отчаянные фантастические задачи делания, что делание по ним опять-таки превращается в ничего.

Освящение читательной залы в императорской Публичной библиотеке. Тут было много посетителей, между которыми много и моих знакомых. Делянов прочитал небольшой умно составленный отчет о постройке залы, потом был отслужен молебен. Зала, да и все внешнее устройство библиотеки действительно превосходно. Всем этим обязаны бывшему директору, барону Корфу.

9. Пятница. Мужественное помышление о жизни, мужественное помышление о смерти.

Теории, навязывающие государству свои идеи о благосостоянии его, забывают одно весьма важное обстоятельство, что государство должно бы для осуществления этих идей вдруг приостановить текущую деятельность народа.

Что учреждения нынешние должны носить на себе либеральный характер — в том никто не сомневается. Но либерализм министра должен быть государственный, а не журнальный.

11. Воскресенье. Поутру был у Шульмана. Он рассказывал мне о том, что на днях целый эскадрон уланского полка подъехал на учении к полковому командиру, потребовал от него смены своего командира капитана Лаврова, которым за что-то был недоволен. А в кадетском I корпусе кадеты атаковали батальонного командира и хотели его бить, кажется и побили. Прежде еще этого, месяц тому назад, в Корпусе путей сообщения воспитанники послали директору адрес, требуя, чтобы он сменил самого себя, так как они им недовольны.

12. Понедельник. Мужественное помышление о жизни, мужественное помышление о смерти.

Если не правительство поддерживать, так принцип его.

14. Среда. Сегодня утром встал совсем больной. К обычным пароксизмам присоединилась еще довольно сильная простуда: флюс, лихорадка и тому подобные прелести.

В человеке существует множество неопределенных инстинктов, которые готовы сделать из него самое жалкое игралище своих стремлений. Но в нем же есть сила, способ-

ная их сдерживать, обуздывать и ограничивать, если не совсем уничтожать. То, что моралисты называют внутреннею борьбою, вовсе не есть вымысел; это борьба не иное что, как акт самоуправления, которым приводятся к единству, обуздываются и устраиваются различные силы и влечения нашей натуры, нашего темперамента, наших естественных наклонностей.

Вся задача образования должна состоять в том, чтобы сделать человека способным к самообладанию.

Природа снабжает нас расположением, наклонностями, силами, образование научает нас извлекать из них истинно человеческую личность.

В этом смысле человек есть творец самого себя. Ему даны материалы, стихии. Образ же, в котором они должны сосредоточиться и проявить себя, есть плод его художественной деятельности.

Возделывай разумно самого себя — вот истинная задача духа.

15. Четверг. Нет позорнее вещи, как то, когда человек, уступая натиску партии или желая понравиться толпе, делает не то, что признает за лучшее и справедливое.

Всякая партия бессильна, когда она не имеет корней в народе, который бы ей сочувствовал и поддерживал ее, и когда она рассчитывает только на возбуждение диких и неистовых страстей. Всякая партия должна опираться хоть на частичку истины.

16. Пятница. Все добродетели человеческие чрезвычайно способны прокиснуть, испортиться и сделаться ни к чему не годными. Чтобы уберечь их от этой порчи, их нужно как можно чаще просаливать солью разума и совести или хорошего религиозного чувства.

17. Суббота. Нет ничего лживее, неосновательнее, несправедливее и поверхностнее суждения одного человека о другом.

Человек принадлежит к породе существ разумных, но безнравственных.

19. Понедельник. Весь ноябрь месяц постоянно сухо и не очень холодно: градусов пять-шесть. Были и прекрасные свежие дни, но снегу нет.

Все это гнусное здание бюрократического управления ни к черту не годится; но его нельзя опрокинуть разом, а надобно подпилить, чтобы оно само упало.

NN ‹?› рудник, в который так же трудно проникнуть, как и разработать его. А там не одно олово и камни — есть и золото.

24. Суббота. Вчера вечер просидел у меня Воронов и рассказывал о разных постановлениях по цензуре; о предполагаемом слиянии школ военного ведомства с гражданскими; об уставе университета, который обещал мне прислать в новой, исправленной редакции.

25. Воскресенье. Главная ошибка наших демагогов в том, что они все наши беспорядки и бедствия приписывают одному правительству и ничего не оставляют на долю истории и самой испорченности общества, которое есть естественное последствие хода нашей жизни и невежества.

26. Понедельник. Честный труд и независимость — вот единственное благо, если на земле что-нибудь можно назвать благом.

27. Вторник. Деньги не должны быть ценимы ни слишком высоко, ни слишком низко. Первое приводит к гнусному корыстолюбию, к скупости; второе часто ставит в такие затруднения, которые приводят не только к нищете, но и к пороку — к низости, плутовству и пр. Я уверен, что у нас в России большая часть казенных крадств и разных мошенничеств происходит оттого, что: «все трын-трава, и последняя копейка ребром».

Так как человек уже не может быть скотом, то надо ему стараться сделаться человеком.

Декабрь 1. Суббота. Сильные морозы, а снегу все нет.

Я не перестану повторять, что всякий деспотизм гадок, но хуже всего деспотизм так называемого крайнего либерализма. Последний уже оковывает не тело, не внешнюю жизнь, но силится проникнуть внутрь вас и наложить цепи на ваше убеждение, на мысль вашу и совесть.

4. Вторник. Небо расступилось и уронило несколько пушинок снегу. Все обрадовались — поехали на санях, но нельзя сказать, чтобы ездить было приятно.

Обедал у графа Блудова. Никого не было, кроме ‹Н. В.› Воейкова. Старик был удивительно бодр и, по обыкновению, говорлив, читал наизусть отрывки из «Вадима» Княжнина и рассказывал литературные предания екатерининского времени.

7. Пятница. Общее заседание в Академии наук. Потом экзамен кандидату ‹В. А.› Бильбасову на степень магистра из всеобщей истории. Экзаменовал ‹М. С.› Куторга.

8. Суббота. Бессмысленное управление — вот тема, которую варьируют на разные лады все министры народного просвещения после Уварова до Головнина включительно.

Вечером у ‹А. И.› Чивилева. Там были Гончаров и ‹С. М.› Соловьев (профессор). Разговор, между прочим, о Головнине. Все одного мнения о нем как о человеке, который помешан на тонкостях и лишен производительной силы ума; как о человеке, не способном возвыситься до той государственной нравственности, которая в побуждениях своих носит что-нибудь общее, человеческое, народное.

9. Воскресенье. Здоровье и силы ума его ‹?› не таковы, чтобы он в состоянии был вынести этот прием истины.

Написал к Тройницкому письмо с вопросом: могу ли я как экс-редактор «Северной почты» ходатайствовать о награждении к празднику бывших при мне участников в редакции.

10. Понедельник. Не будь человек способен сделаться чем-нибудь хорошим, он не был бы так гадок. Звание человека ко многому обязывает.

11. Вторник. Когда на поверхности человеческих деяний вам все представляется так гладко, прилично, изящно; когда перед вами возникают и рисуются изящные образы и такие привлекательные слова, как, например, дружба, искренность, преданность, бескорыстие и пр., — верьте, что там, внутри этой поверхности, движутся и работают тайные силы; всевозможные ненависти, эгоизмы клокочут и потрясают цветущую поверхность, как вулканические смертоносные газы в недрах земли колеблют ее кору и готовят целые потоки лавы и грязи.

Опять момент внутреннего беспокойства и недовольства духа. Этот момент продолжается уже несколько дней. Я сам себе кажусь ужасною гадостью, а жизнь моя — бессвязным, пустым, бесплодным сновидением, облаком благородных, возвышенных замыслов, которые ветер обстоятельств и собственное бессилие уносят вот и теперь в бесконечное пространство.

И внешние мои обстоятельства таковы, что я остаюсь каким-то нелепым обрывком, как бы случайно попавшим в ход общественных деяний. Всякий может похвастаться, что он что-нибудь значит, что-нибудь делает вместе с другими; а вот я с моими честными намерениями и поступками вы-

хожу совершенно бесплодным и ни к чему негодным идеологом. Выходит, что сказано в малороссийской песне:

> А вже сусід жито сіє,
> А в сусіда зелені`, —
> А у мене не орано і не сіяно.

Правду сказать, орано-то много и сеяно немало, только ничего не выросло — сеяно, должно быть, на ветер, или самое семя такое, что из него ничего вырасти не может.

А все-таки не могу я не питать глубокого презрения к современным мне людям. Они чуть ли еще не хуже меня. Я по крайней мере решительно не способен желать или делать кому-нибудь из них зло, уважаю честность и справедливость.

13. Четверг. Во всей нашей администрации есть только один человек, честности и патриотизму которого можно доверять, — это Александр Николаевич.

24. Понедельник. Когда человек стремится к какой-нибудь цели, он считает важным все, что имеет отношение к этой цели. Но когда цель не существует или уже достигнута, тогда он видит себя как бы перенесенным в какую-то беспредельную сферу, где все исчезает и жизнь перестает иметь значение.

Считать слишком важным дело, которым вы занимаетесь, значит подвергаться опасности или никогда его не сделать, или сделать дурно.

Некоторая доля легкомыслия необходима для того, чтобы часто не впадать в отчаяние.

Когда в с е проходит, то почти не о чем жалеть.

26. Среда. Я имею несчастную слабость — верить в доброту и пользу нравственных принципов даже тогда, когда почти никто им не верит.

По заведенному обычаю надо было предварительно прочитать президенту отчет, который должен быть читан на акте в Академии 29 декабря. Он назначил мне сегодняшний вечер, в восемь часов. Только я развернул тетрадь и едва успел прочесть несколько строк, почтенный старик заснул. Что мне было делать? Прекратить чтение неловко. Я продолжал, будто не замечая, скомкал все кое-как и в десять минут кончил чтение: «Хорошо, — сказал он, проснувшись, — очень хорошо.» Поговорив с ним еще кое о чем, я и ушел.

28. Пятница. Мы должны противодействовать напору новых разрушительных идей, стремящихся ниспровергнуть все старое, не для того, чтобы остановить этот поток или обратить его вспять — что и невозможно и было бы противно закону вещей, — но для того, чтобы умерить его сокрушительное действие и спасти для человечества то, что может и заслуживает быть спасенным. Уже одно то полезно, что, задерживая умы в их бурных порывах, мы их самих несколько отрезвляем, заставляем одумываться, не считать себя во всем непогрешимыми и смирять свои деспотические покушения.

Я не могу никак понять, какое мы право имеем обрекать гибели и бедствиям настоящее поколение во имя блага и усовершенствования будущих.

Комиссия, учрежденная Головниным, под председательством ‹Д. А.› Оболенского, для устройства цензуры и цензурного устава, кончила свои работы и представила министру свой проект. Барон Николаи раскритиковал его в пух. Увидя из этого, что проект не пройдет в Государственном совете, Головнин опрокинулся на него сам и нашел его невозможным п о ч р е з м е р н о й с т р о г о с т и. Между тем князь Оболенский имеет у себя кучу записок от него, в которых он одобряет идеи комиссии, так что очевидно, что проект весь развивался под его руководством и влиянием. Что ж это значит? То, что в случае утверждения проекта Головнин перед ультралибералами умывает руки: вот, дескать, несмотря на мое противодействие, ретроградный закон постановлен; в случае же неутверждения он припишет себе заслугу, что успел остановить такое зловредное дело. Вот в таких-то эволюциях, в этой гимнастике интриг Головнин проводит свое время. Бедная Россия! Оболенский, бывший другом Головнина и отчасти его творение, теперь ругает его везде наповал. [240]

29. Суббота. Акт в Академии наук. Я прочитал мой отчет в 20 минут, — весь акт кончился часов около двух, начавшись в двенадцать. [241]

31. Понедельник. 1862 год кончен.



1863

Январь 1. Вторник. Новый год. Все как будто вдруг обезумели, какая беготня и суматоха! Что же это такое? В природе ли произошла какая-нибудь радикальная перемена или в людях? Ведь в сущности ни малейшего намека на то, что случилось что-нибудь новое, что образовало бы рубеж между 1862 и 1863 годами. Между тем со всех сторон сыплются поздравления, все поддаются каким-то надеждам, вероятно и в этом году таким же несбыточным, как и в прошлом. А впрочем, не худо, что такой обычай существует. За недостатком истинных благ человеку нужен хоть призрак хорошего лучшего. И вся эта беготня — своего рода занятие, которое разнообразит обыкновенную прозу жизни.

3. Четверг. На бале во дворце. Съезд начался около девяти часов. Я приехал к Иорданскому подъезду. Вход в зало великолепный, освещение блистательное. Помпеевская галерея уставлена растениями и превращена в роскошную садовую аллею, которая примыкает действительно к саду, освещенному сверху огнями, сверкающими, как брильянты. Приглашенные сперва толпились в двух больших залах в ожидании выхода государя и царского семейства. Тут было-таки порядочно душно. Около десяти часов отворилась дверь внутренних покоев, загремела музыка, и потянулся польский с государем во главе, с государыней, членами императорского дома и разными дамами и кавалерами. Потом все смешались и разбрелись по разным комнатам. Число гостей, говорят, простиралось до тысячи двухсот, но тесно было только около танцующих. В одной зале

играли в карты, и там же представлялись государыне многие дамы и новопожалованные камер-юнкера и камергеры. С каждою и с каждым она говорила по нескольку слов. Государь ходил по всем залам и кое с кем разговаривал. Все было чинно. Но когда пошли к ужину, то при входе в залы, где были накрыты столы, вдруг поднялась страшная суматоха, толкотня и давка. Можно было подумать, что все эти звездо- и лентоносцы выдержали жестокий пост,— с такою неудержимою алчностью спешили они, толкая друг друга, занять места за роскошно сервированными столами... Государь ходил вокруг столов, просил не вставать при его приближении, а когда его не послушались, то, возвысив голос, с неудовольствием почти крикнул: «Да сидите же!» Я приехал домой около двух часов ночи.

7. *Понедельник*. Неожиданно предстал передо мною из Москвы Н. Р. Ребиндер, с которым мы не виделись уже около двух лет. Странная перемена в нем произошла: он сделался мистиком, верит в пророчества какого-то московского ясновидящего.

8. *Вторник*. В эту зиму у меня не переводятся больные: вот теперь захворал коклюшем мой мальчик...

Жалко мне было вчера слушать, как Ребиндер рассказывал о своем свидании и беседе с московским ясновидящим в Девичьем монастыре. Оказывается, что провидение с особенною заботливостью следило и следит за обстоятельствами Н. Р.; что оно знает, какой он отличный человек, как много страдал и страдает (его обсчитал плут-управляющий) и как эти страдания беспримерны; что теперь оно положило непременно устроить дела его лучше и не будет более искушать его неслыханное мужество и добродетель и пр. Вот какого тумана напустил себе в голову мой бедный Ребиндер. А все оттого, что каждый из нас считает себя чем-то весьма важным во вселенной и что мы и наши житейские дрязги должны обращать на себя особенное внимание бога и людей. А ведь, кажется, Н. Р. умный человек. Но мнимый пророк очень ловко льстил ему, поддевал его на общем человеческом самолюбии. Известно, как легко человек ловится на эту лакомую приманку.

9. *Среда*. Поехал вечером рассеять тяжесть в голове и на сердце в оперу. Давали «Пророка» Мейербера, переименованного у нас в «Осаду Гента». Музыка серьезная и строгая.

10. Четверг. Одна только крайняя непоследовательность делает умного человека способным принимать участие в судьбе людей, наперекор его знанию человеческой жизни и сердца.

Сдержанность, мужество, самообладание.

Не вызывай на бой судьбы, не рисуйся перед ней своею храбростью — это глупо, а покоряйся и терпи с достоинством мужа и человека и с уверенностью философа, что жизнь вовсе не заслуживает той важности, какую мы ей даем.

По закону ограничения каждого явления, каждой силы в природе и истории ни одно из этих явлений и ни одна из этих сил не могут развиваться в бесконечности. Одно ограничивается другим, и в этом ограничении добро находит свой предел во зле, зло в добре. Все нейтрализуется одно в другом. Волна вздымается, растет, доходит до громадной высоты и исчезает, чтобы уступить место другой. Есть ли тут какой-нибудь предначертанный план, какая-нибудь цель? И тот и другая заключаются в самой природе явлений и сил, в их ограничении друг другом, в невозможности простираться в бесконечность.

13. Воскресенье. Философские учения о добродетели были всегда не иное что, как учение о владычестве разума над внутренним миром. Одно есть необходимое следствие другого.

Так называемым передовым умам нашим недостает двух качеств: глубины суждения и осмотрительности в видах. Они от поверхностно понятого столь же поверхностно спешат к крайним выводам, не обращая ни малейшего внимания на посредствующие звенья мысли, которые должны бы были останавливать их на ближайших последствиях и таким образом придавать их идеям характер существенный и строго последовательный.

Вот характеристика разных министерствований министерства народного просвещения после Уварова: министерствование Шихматова — помрачающее; Норова — расслабляющее; Ковалевского — засыпающее; Путятина — отупляющее; Головнина — развращающее.

Эти ужасные припадки коклюша! Бедное дитя мучится ими каждую ночь.

14. Понедельник. Как бы я желал всегда пользоваться таким прекрасным настроением духа, как теперь: равно-

душие к жизни и смерти полное, без утраты энергии к тому, что из презренной жизни делает ее менее презренною.

15. Вторник. В воскресенье получена депеша о восстании в Польше.[242] Какая гнусность: убивать солдат, ночью, безоружных, спящих!..

Совершенная распутица. Снег почти весь стаял, а ночью свирепствовала буря. Были сигналы из пушек.

Сегодня напечатана речь государя, произнесенная им на разводе и обращенная к Измайловскому полку. Речь благородная и умеренная. Говорят, однако, что он произнес ее с особенной энергией и употребил несколько выражений относительно людей неблагонамеренных из своих, которые очень не понравились некоторым.

16. Среда. Вчера весь день шел сильнейший дождь, ночью бушевала буря и с крепости раздавались выстрелы, служащие сигналом для галерных жителей, что вода прибывает.

18. Пятница. Опять мороз до 9 градусов.

Гадко вокруг, гадко в себе.

Однако еще гаже находить все это слишком гадким.

Вечером были ‹Г. П.› Данилевский, приехал недавно из Малороссии, и ‹К. А.› Тимофеев — оба пока верные мне.

20. Воскресенье. Не думал я, что Валуев будет мне мстить за то, что я, человек мысли и науки, осмелился не быть мелким чиновником в его прихожей. Право же, это вовсе недостойно не только государственного человека, но даже умного человека.

Странно, что при всей моей опытности и при всем моем знании человеческих гадостей меня часто обманывало и обманывает доверие то к их уму, то к их сердцу.

21. Понедельник. Русский человек не выносит трех вещей: труда, порядка и своего величия.

Ночь. Вокруг тишина, периодически нарушаемая припадками коклюшного кашля бедного мальчика. Сон бежит. В голову лезет всякая дичь.

22. Вторник. Из телеграфических депеш видно, что одни из самых деятельных двигателей польского восстания — католические попы. Мы, мне кажется, вовсе не умно ведем себя в этом восстании. Мы разбросали войска на огромном пространстве и расположились там небольшими отрядами, как дома, забыв, что мы хуже, чем в земле неприятелей, в земле домашних врагов. Оттого солдат наших резали, как баранов, и резали даже сонных в постели.

Каждая эпоха обязана быть честною, справедливою и не покидать здравого рассудка.

Большие тяжести не поднимаются без участия многих и различных сил. Так и разные реформы и улучшения в государстве без содействия образования, а образование предполагает науку, нравственность, искусство. Недостаток одного из этих факторов производит уже дело неполное, уродливое.

Французские реформаторы первой революции положили приостановить правосудие, науку, промышленность, религию, пока не устроится новый порядок вещей и не преобразуется общество. Что из этого вышло — мы знаем.

Человек должен действовать всеми своими органами, а не одною только рукою или ногою.

23. Среда. Вышло то, что могло бы не быть и чего не желали, а не произошло много такого, что могло бы произойти и чего желали.

«Энциклопедический лексикон» ‹К. И.› Гершельмана падает. Его вышло пять томов, продолжать далее не на что: подписка идет очень плохо. На днях был у меня Гершельман. Головнин обещал ему взять значительное число экземпляров для учебных заведений министерства народного просвещения. Я обещал Гершельману, по просьбе его, походатайствовать за него у Воронова, которого я уже и просил. Надежды, однако, не много, а жаль! Лексикон начал издаваться добросовестно и хорошо. Во всяком случае это лучше многих из наших журналов.[243]

Обед у Дюссо, который давал некоторым из своих знакомых и членам редакции «Северной почты» Клеванов. Все участники газеты сетуют на то, что она теперь пошла по стезе полицейской газеты, и упрекают Валуева за то, что, намереваясь сначала создать в ней орган правительства с влиянием на общественное мнение, он потом спустил ее так низко.

25. Пятница. Какая и кому польза от «Северной почты» в том виде, в каком она ныне издается? Ни правительству, ни обществу. Служит ли она органом первого? Нет! Она не содержит в себе ни разъяснений видов правительства, ни даже фактов — хотя и то и другое предполагалось при ее основании. По моему плану она должна была быть соединением лучших правительственных идей с идеями разумного прогресса, которые правительству предстоит не только признать, но и выполнить. Ее направление и содержание должны бы быть таковы, чтобы лучшая часть публики ее поддерживала, а она в свою очередь на нее влияла бы. Со-

знавая за собой независимый образ мыслей, не принадлежа ни к какой литературной партии, не разделяя крайних увлечений общества, но всей душой преданный делу разумного прогресса и предстоящих необходимых преобразований, я с радостью взялся за дело, которое казалось мне таким многообещающим. Все предварительные совещания мои с Валуевым о первоначальном плане газеты подкрепляли во мне и поддерживали мои надежды. Валуев, казалось, сочувствовал моим намерениям и изъявлял на все свое полное одобрение. Но потом, когда я начал дело в духе нашего обоюдного решения, он вдруг чего-то забоялся, ему стало мерещиться, что я учу его, что я намерен отложиться от него, что газета будет дорого стоить, хотя он сам установлял и бюджет ее и беспрестанно твердил сначала, что при основании такого обширного предприятия нечего стесняться копеечными расчетами. Словом, он в заключение дал ход назад и выказал полную неспособность стать над бюрократическою рутиною. Мне тут уже ничего не оставалось, как выйти из редакции.

Вчера напечатан указ о передаче цензуры министерству внутренних дел (указ 14 января, № 20 «Северной почты»).

26. Суббота. Вечером у Чивилева. Он рассказывал мне кое-какие черты из семейного быта государя. Выходит, все это семейство предоброе, прекрасное. Но всем им недостает одного качества — твердости. И в наследнике то же замечается. Он умен, способен к труду мысли и сочувствует всем высшим ее интересам, но тоже слишком мягок сердцем. Может быть, с летами и опытом он немного окрепнет, что ему необходимо: ибо его ожидает бурная будущность.

27. Воскресенье. В самых силах, составляющих основание и верховный закон жизни, заключается бесконечное разнообразие, по которому каждая сила стремится быть беспрепятственно всем тем, чем по натуре своей она способна быть. Отсюда возникает вечный антагонизм сил, неравенство их, столкновение, расхождение, новое столкновение, группировка, словом те бесчисленные модуляции, та игра жизни, которая в природе и в истории производит все, что в них есть и бывает. Строители социальных утопий хотят все уравнять, замкнуть силы в определенные границы, там урезать, здесь удлинить — словом, сделать людей, эти живые, бесконечно разнообразные по своей натуре силы, тем, чем они не могут и не должны быть. Утопист насилует историю и природу человеческую, вынуждая у них резуль-

таты, лежащие вне их способностей. Общество человеческое старается уравновесить силы, оставляя для деятельности их наибольший простор, и урезывает их только тогда, когда они стремятся в бесконечность. Оно действует здесь принудительно, но с благою целью спасти всех от одного и каждого от всех, тогда как утописты просто хотят парализовать силы, уничтожая в них самую возможность расширения и свободной деятельности.

28. Понедельник. Главная трудность для цензурной администрации будет состоять в том, как формулировать те уклонения печати, которые подлежать будут рассмотрению судов. Уклонения эти часто ускользают от ясного определения их смысла.

Трудиться и бороться — вот задача жизни. Это я беспрестанно повторяю моему сыну.

Достигать закона беззаконием — едва ли это здравая и разумная мера.

У Валуева. Меня ожидают новые занятия по цензурной комиссии да еще какое-то дело, о котором он скажет после. Я нашел его в кабинете среди кучи бумаг, небритого, усталого, но, по обыкновению, любезного и привлекательного.

29. Вторник. Получил от министра внутренних дел предписание о назначении меня членом в высочайше учрежденную комиссию для рассмотрения законов о печати, под председательством князя Оболенского.

30. Среда. Есть что-то очень юное в нашей литературе: крайняя заносчивость, всезнание и дух нетерпимости.

У князя Оболенского. Предварительные объяснения касательно законов о печати. Взгляды его, кажется, обещают быть основательными и справедливыми. Во всяком случае видно, что он предмет этот изучил широко как в теории, так и в положительных законодательствах. Он показывал мне массу книг, которыми запасся для справок, а отчасти и прочел в продолжение своего председательствования в прежней комиссии. Тут собрано почти все, что было писано по поводу цензуры в Германии, Франции, Англии, Бельгии, равно как и все законодательства по этой части. У него также находится множество бумаг, сообщенных из министерства народного просвещения по делам цензуры. Тут много и моих прежних работ.

Мне кажется, с князем Оболенским можно будет ладить. Он, повидимому, человек рассудительный, умный, образованный и чуждый всяких крайних увлечений. Со мною

вместе от министерства внутренних дел назначены Ржевский и Тютчев.[244]

Вечером в опере. Давали «Фиделио».[245] Барбо пела превосходно.

31. Четверг. Замечательные скачки в нынешней зиме. Вчера, когда мы ехали в театр, шел дождь, а когда возвращались домой — уже довольно сильно морозило.

Февраль 5. Вторник. Не правительство, а принцип правительства дорог и нужен.

У нас господствует полная анархия понятий.

6. Среда. Последние дни никак не могу наладить себя на серьезную работу. Голова как-то особенно тяжела. У меня лежит неоконченная статья об университетах. Вчера и сегодня несколько раз присаживался за нее, но сильный прилив к голове даже туманил глаза.

7. Четверг. Молодые умы не значит лучшие умы, а только более энергические. Но энергия столько же может быть направлена к худому, как и к хорошему. Молодые умы способнее к делу. Но делают ли они его как должно? По крайней мере у нас можно сильно усомниться в этом. Способность к делу узнается не только из желания, из стремления делать, но и из стремления делать хорошо. Хорошо же делать значит, во-первых, составить хороший план дела, основанный на знании, следовательно, на изучении вещей; во-вторых, значит иметь сколь возможно больше основательных удостоверений в осуществимости плана и, наконец, в-третьих, значит иметь цель плана столько же справедливую, как и разумную. Если хорошенько всмотреться в молодые умы нашего времени, то окажется, что всех этих условий им решительно недостает. Им недостает главного — знания и изучения; недостает также удостоверений в осуществимости плана. Положим, что у них цели хорошие, но, при недостатке этих качеств, хорошими целями, как говорит пословица, мостят ад.

8. Пятница. Каждому человеку отпущена от природы известная мера сил и известный их образ. Кто не пришел к сознанию их, тот направляется этими силами слепо и сам не иное что, как природа. Но человек, стоящий на высшей степени духа или которому достался большой запас сил, добирается рано или поздно до их сознания и полагает здесь основание своей нравственной конституции. Сознать свои силы и образ их — вот высшая задача мыслящего духа. Управлять этими силами и пускать их в ход для

дальнейшего развития — вот настоящая практическая задача деятельности. Никто не в состоянии сделать из себя ничего более того, на что дают ему способы его силы. Но каждый обязан сделать из них все возможное. Довольство самим собой есть сознание, что мы сделали и делаем все возможное из сил, дарованных нам природою; что мы издерживаем и употребляем отпущенный нам природою капитал разумно, то есть бережно и достаточно, без расточительности и скупости.

В силу этого нравственного закона никто не должен порываться стать ни выше себя, ни ниже себя. Мы не иное что, как арендаторы, которые должны честно и выгодно возделать поле, взятое нами на время у общего господина, а плата за него — продукты, которые мы должны внести в общую сокровищницу блага и успеха человечества.

С горы легче спускаться, чем всходить на нее.

10. Воскресенье. Положение вещей у нас в обществе крайне неудовлетворительно. Правительство с каждым днем теряет свой авторитет. Конечно, глава находит сочувствие и пользуется расположением масс. Но в мыслящей части общества — одни по принципу ультралиберальных идей питают к нему ненависть; другие, готовые всячески примкнуть к нему, раздражаются многими мерами, изобличающими или неспособность, или слабость правительства; самые лучшие питают скорбь в глубине своей души.

Польское восстание почти всеми приписывается неспособности варшавского наместника. Не было принято никаких своевременных мер и тогда даже, когда восстание по многим зловещим признакам становилось уже несомненным. Не было принято никаких предосторожностей, и зарезывание наших сонных солдат по ночам должно приписать не одному ожесточению возмутившихся, но и превосходящей всякую меру оплошности наших властей.

11. Понедельник. Дело честного человека в том, чтобы делать честное дело, несмотря на то, какие последствия могут из того выйти для него самого.

У князя Оболенского. Я представил ему несколько возражений на некоторые статьи проекта законов о печати, особенно на главу об организации управления по этой части. Лицо начальника цензурного управления мне кажется лишним, да и самое название начальника неуместным, так как отныне начальник цензуры есть министр внутренних дел. Совет очень ослаблен, и за ним не остается почти ничего,

кроме роли сыщика. Князь Оболенский возразил мне, что это не так, потому что только административная часть вверяется начальнику, а цензурная, заключающая в себе важные части, отнесена к Совету. «Но в таком случае, — заметил я, — почему же эти цензурные предметы не поименованы в статье, где исчисляются обязанности Совета, а в исчислении административных предметов, заключающихся в кругу деятельности начальника, поименованы составление инструкций и пр. — часть чисто законодательная». Князь согласился, что это надо будет исправить.

Вообще я думаю, что слово начальник надо устранить и самые права его ограничить, предоставив их Совету. За первым останется еще довольно много как за председателем последнего. Таким образом не будет дано простора произволу одного. Оболенский с этим согласился.

Князь рассказал мне всю процедуру дела цензурного законодательства, как оно было поведено Головниным, и показал мне всю переписку его с ним. Оказывается, неслыханная неспособность и недобросовестность этого господина гораздо в высшей степени, чем думают в публике. Всему этому трудно было бы поверить без свидетельства собственных его писем. Боже мой! как обманывают главное лицо!..

14. Четверг. Говорят, Виктор Гюго написал прокламацию к полякам. Что же делать другого, как не возмущать общество этому высокопарному пустомеле, который, проповедуя равенство, так хорошо умеет обделывать свои собственные дела. Вот он и сейчас преподнес Европе, продав его за 400 т. франков, новый гениальный продукт своего уродливого воображения. [246]

Вообще странна ненависть европейской печати к России и радость ее при виде замешательств в ней. Неужели она боится тени Николая Павловича? Но справедливо ли, разумно ли смешивать николаевское время с нынешним и мстить целому народу за ошибки или вину одного человека? Это-то прославленная гуманность Европы и этому-то учатся в ней наши ультралибералы!..

15. Пятница. У попечителя был собран историко-филологический факультет для совещаний о назначении профессоров в университет, который предположено открыть в будущем августе, так как устав уже рассмотрен и исправлен строгановскою комиссиею. Тут коснулось дело меня. Я объявил, что мое пятилетие уже кончилось, и прошу меня уво-

лить. Факультет, не знаю искренно или притворно, просил меня остаться. Особенно настаивали Срезневский и Куторга. Они просили, чтобы я остался по крайней мере для начала возрождения университета, чтобы не вдруг его покинул. На это я слегка согласился, не дав решительного ответа даже самому себе. Я не имею чести нравиться Головнину, да и в товарищах не совсем уверен. Два вышеупомянутые, да еще Сухомлинов, — чуть ли не единственные мои доброжелатели среди них. Но и между ними я вполне доверяю искренности только последнего.

Хочу поговорить с Деляновым о том, как он думает, но в конце концов я все-таки полагаю просить об отставке.

Мы богаты великими публицистами, великими мыслителями в газетах и фельетонах; но вот когда дело дошло до приискивания профессоров, то пришлось почти над каждою кафедрою задуматься: кого?

16. Суббота. Объяснялся с Деляновым по поводу вчерашнего заседания и назначения профессоров в университет. Меня факультет просил остаться. Я уступил только на короткое время — пока университет не переправится через Чермное море и не станет снова на твердую почву. И то потому, что все согласились в необходимости не устранять при этой переправе людей надежных, то есть искренне и издавна преданных университету. Впрочем, Головнин, может быть, захочет поступить иначе.

17. Воскресенье. Что бы ни было, я пойду открытою, прямою дорогою. Для меня столько же ненавистны притязания крайних, как и закоснелость консерваторов, и хотя говорят, что умеренный образ мыслей не есть самый блестящий, но он есть самый справедливый, единственный, которым может и должен руководствоваться человек с сердцем и здравым умом. И он требует также мужества, когда дело идет о том, чтобы противостоять страстям и увлечениям партий.

Наши газеты и журналы жестоко ошибаются, думая, что они располагают общественным мнением и направляют его. Правда, они действуют на него — но чем? Изображением скандалов или мелких житейских дрязг, чиновничьих проделок и пр. Но созидать партии, как они думают, устанавливать принципы, приводить в движение политические пружины и пр. — это чистейшая мечта и обольщение самолюбия. Но есть другое неоспоримое влияние наших газет и журналов — это влияние на молодое поколение.

Это влияние во многом пагубно. Нет ничего легче, как заражать молодые умы теориями — как бы они нелепы и неисполнимы ни были — проповедованием безусловной свободы во всем: в обществе, в нравственности и пр.; поверхностным знанием, полным в сущности глубокого невежества; презрением ко всему строгому, серьезному, основательному и пр. Вот тут наша публицистика хозяйничает с большим успехом.

19. Вторник. Был ‹Н. П.› Гиляров‹-Платонов›, вызванный сюда для присутствия в цензурной комиссии. С кем из умных и честных людей ни говори, все слышишь одно и то же: ужасное время переживает Россия. По делам польским нам угрожает вмешательство Европы, которая с чудовищною, непонятною ненавистью, кажется, готова растерзать в клочки Россию. А что им сделала Россия? Они забыли ‹18›12 год. Но человек, видно, везде готов более на зло, чем на добро. Что же это за цивилизация, которая не делает людей ни великодушнее, ни справедливее? Но всего хуже наши домашние враги, эти мелкие журнальные либералы, для которых нет отечества и которые за 25 или 50 лишних подписчиков на издаваемую ими газету готовы проповедовать всякую мерзость, все, что увеличивает наше смятение и горе. О, какой глубокий отвратительный разврат в этом поколении, руководимом мудрецами, подобными Герцену, Бакунину и пр.

Боже мой! при таких государственных людях, какими теперь мы богаты, немудрено и пасть России. Ни сильной мысли, ни твердой воли, ни живого патриотического чувства, которые бы сообщались другим!

Сегодня не мог быть в первом заседании комиссии — голова болит, грипп сильнейший.

21. Четверг. Есть люди, которые, в силу укоренившегося обычая, исполняют некоторые добрые дела точно так, как в известное время они обедают, пьют чай и т. д.

Не постигнет ли варварство еще раз человеческие общества, когда нравственная сила и сила этой силы — верование — совершенно угаснут в сердцах людей?

Бокль думает все принципы общества подчинить одному *знанию*. Для него нет нравственных убеждений, нет верований, или все убеждения и верования он старается установить на знании.

Польское восстание, без сомнения, есть не иное что, как симптом общего революционного социалистического движе-

ния; Европа должна перестроиться и обновиться, по мнению вождей этого движения; но обновлению должен предшествовать дух бури и всеобщего разрушения. Из праха и развалин сам собою должен возникнуть новый мир, в котором водворится золотой век. Что это: сумасшедшие или апостолы новой религии без веры, нового откровения без чудес, новой нравственности без добродетелей, общества без законов и власти, полного владычества разума без страстей, без науки, искусства и поэзии, нового особенного христианства без бога, Христа и церкви; наконец, жизни без страданий и смерти?

Положим, что в этих учениях есть доля правды, но сколько же здесь лжи и безумия! Предпринимать дело человечества с таким риском для него, без особенного ясного на то полномочия, которого и быть ни от кого не может, есть уже безумие или злодейство. Можно ли позволить себе во имя какой бы то ни было системы играть так жребиями человеческими и, хотя бы то с наилучшими измерениями, увлекать людей в пропасть, если нет никакой достоверности в том, что пропасть эта превратится в жилище блаженства?

Заседания в Академии наук и в факультетском собрании, где производился экзамен ‹В. А.› Бильбасову на звание магистра.

В Академию была прислана бумага за подписью министра двора, с изъявлением от государя императора неудовольствия за громогласные разговоры и шум в церкви (придворной) среди посетителей, приглашенных присутствовать при обряде венчания великой княжны с Баденским принцем. Все четырехклассные особы, имеющие приезд ко двору, должны расписаться на этой бумаге, что читали ее. Возможно ли, что наше общество, высшее, образованное, до того забыло самые обыкновенные приличия и вынудило государя сделать себе наставление и замечание, как самому пошлому школьнику? Однакоже это случилось. Обстоятельство, кажется, само по себе не важное, но в настоящее время оно имеет важный смысл.

Иностранные газеты продолжают выражать нам свою неприязнь за Польшу, особенно по поводу заключения с Пруссией конвенции.

26. Вторник. Эти ночные толчки, которые я так часто терплю ночью, — Дамоклов меч, под которым я нахожусь постоянно с 1858 года.

28. Четверг. Социалисты хотят, чтобы народы жили без правительств. Может быть, человечество когда-нибудь и испробует это. Но что в том? Надобно совершенно не знать людей или питать слепую веру в самые фантастические утопии, чтобы поверить, что человек способен обойтись без внешней силы, которая бы его обуздывала и направляла. Если не случится силы, которая бы хитростью или насилием взяла его в свои руки, так он создаст ее сам. Она падет или он ниспровергнет ее за злоупотребления, но она будет создана вновь. Перемениться могут формы отношений этой силы и ее проявления, но отменить ее нельзя, пока на земле будут страсти, неравенство способностей, пока один будет способен властвовать и другой будет иметь больше выгоды повиноваться и быть спокойным, чем вечно стоять настороже.

Март 1. Пятница. Бокль излагает историю по-своему, Маколей по-своему, Шлоссер и Гервинус по-своему. Историк не должен бы быть политиком, а прежде всего умным человеком и критиком. Страшно надоели все эти перетолковывания деяний и событий, которые каждый старается изъяснить в духе своих идей, привязанностей своей партии.

Между всеми этими великодушными партиями, препирающимися за права и благо человечества, в сущности дело идет о том, кому из них властвовать в мире. Человечество есть добыча, которая должна быть наградою победителя.

2. Суббота. В Казанском университете произошел скандал. Профессора перессорились до такой степени, что для умиротворения их послан Делянов. Избирали кого-то в профессора по медицинскому факультету и избрали большинством голосов в совете. Казалось бы, и делу конец. По всем законодательствам в мире большинство решает дело. Но нашим ультралибералам какое дело до закона? Меньшинство не только вздумало не уважить решения совета, но формально воспротивилось ему и объявило письменно, что оно не хочет принять в свои сочлены такого-то. [247]

14. Четверг. Заседание в Академии. Новый член ‹П. П.› Пекарский. Он показался мне весьма благовидным и приличным.

18. Понедельник. У Державина были три орудия письма: перо золотое, перо гусиное, прескверно очиненное, и нечто вроде помела.

Ужасное кровопролитие (в Польше) продолжается. Сколько погибает несчастных, которые думают, что они режутся за отчизну, и добросовестно подставляют грудь свою

под русские пули, а между тем служат только орудием или несбыточных, или честолюбивых стремлений нескольких коноводов. Кровь этих несчастных должна пасть на последних. Но что толку в этом?..

По ночам худо спится: атакуют беспокойные и тревожные мысли о России. Ведь это наступил роковой кризис для нее — почти быть или не быть — едва ли не важнее ‹18› 12 года.

19. Вторник. Холода продолжаются. Ужасный, ножами режущий, северо-восточный ветер при ослепительном сиянии солнца. Сегодня по крайней мере погода не подличает — пасмурно, прямо скверный день, без фальшивых обещаний.

Враги готовы кинуться на нас со всех сторон, как звери, то есть как собаки, а не как львы, потому что львы, говорят, великодушны и благородны. А что делает наше правительство — покрыто глубокою тайною. Знаешь только, что там в разных местах дерутся, что наши режут напропалую поляков, вот и все. А вот тут, возле, враги хуже — наши ультралибералы, которые готовы заменить на карте Россию Польшею...

Горько, что так мало чувствуешь в себе сил, чтобы работать для бедного отечества...

21. Четверг. Заседание в Академии и девичий экзамен в университете.

23. Суббота. На похоронах старушки Михайловой, которая умерла 79 лет. Это была женщина замечательного ума и силы характера. Я очень уважал ее. Умерла она с полным спокойствием духа и сохранила до конца свой пиетистически христианский образ мыслей. Она была лютеранка.

26. Вторник. Более всего надо опасаться верить тому, что нам приятно.

27. Среда. Вчера первый день немножко теплый без свирепого северо-восточного ветра. Я сверг с себя зимние калоши и облекся в легкие, но совлечь шубы еще не дерзнул.

29. Пятница. Если еще не повеяло весной, так по крайней мере нет северо-восточного ветра. Вчера и сегодня погода прелестная — четыре градуса тепла, и солнце сияет во всей своей красе.

30. Суббота. Заутреня и обедня в университетской церкви. Виделся с Костомаровым, Устряловым и проч. Горячо похристосовался с нашим добрым и умным швейцаром Савельичем, видевшим день рождения университета.

31. Воскресенье. Праздник пасхи. День неслыханно прекрасный — 9° тепла с девяти часов утра. Солнце сияет, как на итальянском небе.

Апрель 1. Понедельник. Читал манифест об амнистии полякам. Манифест мог бы быть лучше написан. [248]

Слухи ходят, что Европа принимает в отношении к нам вид все грознее и грознее. [249] Власть в делах мира принадлежит хитрейшему и бесстыднейшему. Теперь она за Людовиком-Наполеоном, и он, кажется, намерен воспользоваться ею, уверив всех, что Россию надобно уничтожить для безопасности Европы, которой угрожает-то, собственно, он.

Какой мы следуем политике — покрыто мраком неизвестности. Но, кажется, едва ли мы не избрали несчастную систему уступок и мира во что бы то ни стало. Ничто не может быть плачевнее этой системы, если мы ее приняли. Ею не только нельзя избежать войны, но она прямо ведет к ней. Единственный способ избежать ее — это показать Европе, что мы не боимся войны. Но непременно показать, дать ей почувствовать это.

7. Воскресенье. Говорят, ноты, или так называемые депеши, трех держав получены. Что-то решит наше правительство? Горе, если оно окажет слабость. Это будет первый шаг к низведению России с ее политической степени. Правительство лишится последнего престижа, и тогда трудно решить, к какому хаосу внутреннему можем мы прийти. Разумеется, врагам нашим этого и хочется.

8. Понедельник. В университете заседание в факультете по поводу диссертации Бильбасова.

Нас собралось человек восемь. Толки на тему: будет ли у нас война? Я развил ту мысль, что это совершенно зависит от нашего поведения: если мы с твердостью покажем Европе, что не желаем, но и не боимся войны, и выразим полную к ней готовность, то Европа не начнет ее.

Боже сохрани правительство от уступок, противных чести и безопасности России. Национальное чувство начинает повсюду, здесь и в губерниях, сильно возбуждаться. Если ‹...› Наполеон высказался так, что под гнетом общественного мнения он может нарушить союз дружбы с Россией, то Александр может ему ответить, что под гнетом всеобщей ненависти и негодования своего народа к чужому вмешательству он не ручается за то, что этот народ в состоянии наделать. Европа не может желать такой войны,

какая грозит возникнуть из-за вмешательства Наполеона, и потому легко может случиться, что то общественное мнение, на которое Наполеон опирается, не будет за него, а против него. Империя — это война, беспощадная вечная война, что всякий увидит. Наполеонова династия может, как червь, жить и питаться только трупами. Вот десять лет с тех пор, как этот узурпатор распоряжается в Европе, — она не слагает с себя оружия. Это не может же продолжаться всегда. Может быть, в случае войны, племяннику, как и дяде, придется разбиться вдребезги об этот колосс, который они называют варварским народом.

9. Вторник. Похороны корнета Ремера, убитого в сражении с мятежниками недалеко от Варшавы, 2 апреля. Вынос был из церкви Симеона. Стечение народа огромное. Из императорской фамилии присутствовали тут наследник и Николай Николаевич. Вообще оказаны достойные почести этому молодому храброму офицеру, положившему живот свой за родину.

В воскресенье на площади у Зимнего дворца была огромная манифестация. Несметные толпы народа собрались перед балконом, выходящим к Адмиралтейству, и подняли страшное «ура», так что государь показался, наконец, на балконе. Толпы встретили его с неописанным восторгом Народ просил показаться также царицу. Она явилась на балконе — тот же восторг и радостные клики.

Во время концерта в пользу инвалидов государь был принят также с необыкновенным восторгом. Музыканты, между прочим, принуждены были четыре раза повторить гимн: «Боже, царя храни».

Обо всем этом либеральные петербургские газеты хранят глубокое молчание. На то они либеральные, чтобы быть бесчувственными к народным чувствам.

10. Среда. Весь праздник была удивительная, неслыханная у нас погода. Солнце блистало на небе во всей красе своей; тепло, а на солнечной стороне даже очень жарко. С воскресенья начало немножко хмуриться и позывать на дождь; однако дождя не было, и вот сегодня в восьмом часу утра уже 8° тепла.

Если уж пошло на то, так Россия нужнее для человечества, чем Польша.

Одни те народы могут служить человечеству, которые еще не прожили всего капитала своих нравственных сил, а

Польша, кажется, уже это сделала. У России же есть будущность.

Мы воспитаны в суровой школе. Но зато мы и способны что-нибудь сделать.

Нас упрекают могуществом нашим, как преступлением. Но разве мы украли наше могущество? Мы добыли его терпением и кровию нашею.

12. Пятница. Неумеренное чтение пустых книг, как, например, романов, имеет расслабляющее свойство. Действие его то же, как действие питья, ленивого лежанья на диване или праздного шатанья по улицам.

13. Суббота. Грозные и зловещие предзнаменования становятся все сильнее и сильнее. Все почти уверены в неизбежности войны. Между тем в правительственных сферах, повидимому, все спокойно, незаметно никакого особенного движения. Что это — инерция или уверенность в своих силах? Последнее-то едва ли уместно. Нет сомнения, что мы в большой опасности. Мы недостаточно вооружены. У нас нет ни способных генералов, ни способных государственных людей.

14. Воскресенье. Мрачнее и мрачнее. Многие находят, что наше положение очень опасно. В народе, правда, пробуждается сильный патриотизм, но средства наши слабы в сравнении со средствами неприятеля или неприятелей. Войско наше храбро, но так ли хорошо оно вооружено и обучено, как войско, например, французское? Кронштадт худо укреплен. У нас нет панцырных судов. Начальство морское после Крымской войны мало заботилось о флоте. Есть ли у нас нарезные пушки и много ли их ? Финансы наши в крайнем упадке.

15. Понедельник. Снег. Тепла два градуса, ужасная слякоть. Толки, бесконечные толки о том: будет ли или не будет война? Я постоянно повторяю одну мысль, что возможность войны много зависит от нашего поведения, то есть от той энергии, с какою мы будем показывать, что мы войны не желаем, но и не боимся ее. Впрочем, не слишком ли далеко зашел Наполеон, чтобы возвратиться назад? И не слишком ли велики интересы Англии и других держав, чтобы втянуть его в войну, которая может кончиться одним из двух: ослаблением его или России. В таком случае, разумеется, война неизбежна.

Настроение умов у нас, мне кажется, хорошо: нет самохвальства, которым мы часто отличались, но нет и уныния,

хотя все сознают, что война предстоит трудная и нам угрожают большие опасности. Как-то все понимают, что здесь дело идет о том, чтобы быть или не быть.

16. Вторник. Второй раз получил от инспектора Римско-католической академии извещение, что лекций по моему предмету не будет...

17. Среда. Восемь часов вечера. Сейчас принесли указ об отмене телесных наказаний. Это составит эпоху в истории русского народа. [250]

Вечером иллюминация. Невский проспект буквально был залит народом и экипажами. Я дошел кое-как или, лучше сказать, донесен был толпою до думы; далее идти было невозможно: сплошная стена народа, еле-еле подвигавшаяся вперед, и страшная теснота вокруг заставили меня решительно возвратиться вспять. Я все думал, не поедет ли государь, — мне хотелось дождаться его. Но было уже десять часов, а его не было.

Иллюминация была блистательная. Особенно хорошо были иллюминованы дома Бенардаки, Кокорева, Гостиный двор, дума и проч. В трех местах гремела музыка. В народе соблюдался удивительный порядок и благопристойность. Вмешательства полиции ни малейшего. Пьяных я не видал ни одного. [251]

18. Четверг. Множество адресов от разных сословий с изъявлением патриотических чувств. Замечателен адрес старообрядцев. Слава богу! Речь государя к депутациям превосходна: спокойствие, умеренность и твердость. В Европе увидят, что новая война с Россией не будет похожа на Крымскую.

Говорили об адресе финляндцев, но в печати его нет. Жаль, если это только слух. Швеция вооружается не на шутку, грозя отнять у нас Финляндию и чуть ли не Петербург.

19. Пятница. Из адресов едва ли не самый лучший — старообрядцев и самый неудачный — Московского университета.

В Москве 17-го был невыразимый народный энтузиазм. Народ потребовал, чтобы молебен был отслужен на площади против окон тех комнат дворца, где родился государь. Народ пал на колени и молился за Россию и государя с глубоким чувством. Очевидцы говорят, что это было зрелище великолепное и трогательное.

Вечером 17-го здесь в театре происходила также манифестация. Играли «Жизнь за царя». Тут не было конца

восторженным кликам, рукоплесканиям. В театре, между прочим, был английский курьер, накануне приехавший с депешами к своему послу. Он был изумлен выражением всеобщего восторга, который не должен бы удивить англичанина, и сказал, что он будет бояться рассказывать об этом в Лондоне, потому что там этому не поверят.

20. Суббота. Заседание в Академии...

В Академии то же и то же: ловля мух и комаров.

Адрес здешних старообрядцев очень хорош. Зато Московский университет отличился каким-то школярным витийством.

22. Понедельник. Поутру ездил в Смольный монастырь поздравить <М. П.> Леонтьеву с ее 25-летием службы. Она была тронута этою вежливостью и просила меня на вечер. Вечер был очень оживлен. Тут встретил я многих из моих смольных слушательниц, от которых наслушался множество любезностей и воспоминаний. Ведь то была, в самом деле, моя лирическая эпоха, и промелькнуло много приятных дней в кругу этих развитых, милых, неиспорченных женских существ. Я воротился домой во втором часу.

23. Вторник. От 7 градусов тепла погода перешла к жару. В Летнем саду земля опушается травкою, на кустарниках начинают пробиваться листья, но большие деревья, как опытнейшие, стоят угрюмо, обнаженные, как бы боясь довериться ненадежной здешней весне.

Возрождаются некоторые надежды на мир. Замечательна, между прочим, сегодняшняя телеграмма, извещающая, что шведский сейм решительно отвергнул всякую мысль о помощи Польше.

24. Среда. <. . .>. Я за литературу готов стоять, но еще более за общество.

25. Четверг. Всеобщее негодование на слабость нашего управления в Варшаве. В самом деле, город на военном положении, а там, как и во всей Польше, главная правительственная власть в руках революционного комитета.[252] Что за нелепость! Полиция состоит из поляков. Русский элемент совершенно подавлен. Все русские терпят неслыханные оскорбления перед глазами <великого князя Константина Николаевича>. А главное, по причине совершенного бессилия нашего правительства восстание затягивается более и более и дает Европе повод вмешиваться.

Крестьяне в Динабургском уезде сами решились расправиться с бунтующими помещиками. В имении Платера они

наделали пропасть беспорядков. Те же стремления обнаруживаются и в других западных губерниях. Да что же и делать крестьянам? Их душит революционный комитет, а правительство не оказывает им защиты.

Самарское дворянство постановило приговор: вызвать из-за границы, и особенно из Парижа, наших путешественников, которые терпят там всяческие оскорбления русского имени и все-таки продолжают там жить.

Встретил у католической церкви похороны митрополита Жилинского, который на днях умер.

Вечером был С‹ухомлинов›, который едет в Малороссию, по поручению министра, собирать какие-то сведения.

26. Пятница. Польские студенты и гимназисты сожгли Горыгорецкое училище, перерезав прежде инвалидную команду.[253]

В Варшаве царствует совершенная анархия. Если есть там тень порядка, то ею обязаны ‹мы› революционному комитету, а никак не нашему правительству, которое, однако, держит город в осадном положении. Полиция там состоит из поляков.

Против варшавского управления общее негодование.

Теперь знакомые не спрашивают при встрече друг друга: здоровы ли вы? а: война или мир?

‹В. И.› Назимова, говорят, заменяют Муравьевым-Карским.[254]

27. Суббота. Претензии человека — претензии полубога, если не бога, а судьба его такая же, как последнего червя. Не странно ли это?

Заседание в Академии и факультетском собрании.

Говорят о странном адресе войска Донского. Они собирались в числе сорока полков, снарядились совершенно на бой и выступили к пределам своей земли, послав всеподданнейше представить государю, что они готовы: куда он повелит им идти?

28. Воскресенье. Зашел к ‹А. М.› Княжевичу. Там услышал весьма неприятную новость, что наших наголову разбили поляки. Нашими начальствовал ‹Э.-К. Л.› Витгенштейн.

Между кадетами какого-то корпуса открыли несколько человек, которые приготовляли порох для поляков.

В Витебской губернии разграблена казенная почта.

Это была огромная ошибка, что ‹Константин Николаевич› позволил полякам безнаказанно оскорблять русских —

кидать в них грязью, даже плевать на солдат и офицеров. Это, конечно, заставило общественное мнение в Европе сильно усомниться в праве нашем на Польшу, в праве, не только не защищаемом, но явно нами самими не признаваемом. А с другой стороны, оно придало полякам бодрости, самоуверенности; нам же всем показало крайнюю слабость нашего правительства и утвердило в мысли, что нечего рассчитывать на его благоразумие и силу.

30. Вторник. Разрешил давно и неприятно занимавшее меня недоумение. Пребывание мое в Римско-католической академии, по нынешним обстоятельствам, с каждым днем становилось для меня тяжелее, фальшивее. Не то чтобы в слушателях или начальстве я встретил что-нибудь неприязненное себе или русскому элементу: напротив, я лично продолжал пользоваться, как и во все время моей службы, отличным расположением тех и другого. Что касается до русского элемента, то, по крайней мере наружно, ни одним словом, ни мановением, так сказать, никто из них тоже не выразил ничего враждебного. Что же там происходит у них в сердцах — я не имею ни права, ни возможности знать этого и допытываться. Но все-таки отношения наши не могли не быть странными, тем более что по конкордату ни один православный преподаватель не должен быть в академии. Я оставался там один и был удерживаем, так сказать, насильно самими академистами, которые не раз на мои просьбы уволить меня отвечали мне самыми жаркими просьбами не оставлять их. Между тем на днях я два раза получил от инспектора извещение, что лекций моих в такой-то день не будет. Потом я раза три сам не пошел на лекцию. Я хотел спросить совета у директора департамента иностранных исповеданий графа Сиверса. Но этот не захотел меня принять, когда я два раза к нему приходил. Что мне оставалось делать? Подать прямо в отставку я считал неловким. Я придумал написать инспектору следующее письмо: «По не зависящим от меня причинам и, к сожалению моему, не мог читать уже несколько раз лекций в Р‹имско›-к‹атолической› академии. Наступившие за сим экзамены в университете для студентов, допущенных к ним по закрытии последнего, и усиление испытаний для домашних учителей и учительниц делают для меня совершенно невозможным в в настоящее время посвящать труды мои академии. Дабы такая остановка не причинила для последней какого-либо неудобства, я честь имею уведомить вас, м‹илостивый›

г‹осударь›, о вышесказанном, с тем, что не признает ли начальство академии полезным возложить преподавание русской словесности вместо меня на кого-либо другого». Это письмо я сегодня и отправил к инспектору Вожинскому.

Май 1. Среда. Весь почти апрель был очень хорош: тепло и солнце. Вот и май, и начало его также хорошо. Деревья видимо начинают опушаться молодою зеленью, даже большие начинают понемножку выходить из скептического положения и больше доверять ласковой улыбке солнца. Что будет дальше и не заплатится ли нам за это в конце мая или в июне чем-нибудь вроде 8—7° тепла или страшного северо-восточного дуновения — это мы после узнаем, а теперь что хорошо, то хорошо. А у нас еще нет и помина о даче.

2. Четверг. Заседание в Академии, экзамены гувернанток. Вечером заседание факультета у попечителя для извещения о предстоящем открытии университета. Я, кажется, пока остаюсь.

Весы, повидимому, склоняются на мир. Англия и Франция, особенно последняя, сильно смягчили тон своих настояний. ‹Д.› Россель объявил в парламенте, что войны не будет.[255] Швеция, получив от Финляндии объявление, что та вовсе не желает отложения от России, дала знать, что она не имеет повода к войне.

3. Пятница. Заседание в Академии наук. Тут же заседание в комиссии для присуждения Уваровских премий. Я читал мой отчет о двух комедиях, из которых присуживал премию комедии Островского «Грех да беда на кого не живет». Другие члены комиссии, не знаю почему, кажется, не хотели дать ему премии.[256]

‹А. Н.› Майков вечером читал у меня свою пьесу «Смерть Люция». Вещь истинно прекрасная.[257]

4. Суббота. Что же такое жизнь, когда лучшая из добродетелей есть презрение жизни, а учение, проповедующее презрение, это есть высшая степень мудрости.

Я не знаю, в жизни и судьбе человеческой есть что-то столь непрочное, что кажется невозможным считать их за что-нибудь серьезное. Право, все похоже на обман, иллюзию, на фантасмагорию. Существенная сторона жизни дает себя чувствовать только страданиями, и потому-то первый закон для всего живущего и самое решительное из его стремлений есть избегать страданий.

Человек постоянно опасается человека. Между умными людьми эти опасения особенно обыкновенны. Каждый из них очень хорошо знает и лживость другого и способность его вредить или гадить ближнему.

Обмануть вовсе не считается стыдным: стыдно быть обманутым. Первое всегда считается признаком ума, ловкости; второе означает воронью простоту, тупость, слабоумие.

Сколько раз я был наказан за пренебрежение предосторожностей в обращении с людьми!..

Человек одарен особенною способностью запутывать и усложнять самые простые вещи. Иному хочется показаться во что бы то ни было умнее других, и он, как говорится, из кожи лезет в изобретении разных утонченностей, соображений, воззрений и проч.

5. Воскресенье. Главное, многому, что считается важным, не должно придавать важности.

У ректора Римско-католической академии епископа ‹Е. А.› Берестневича, который на днях приезжал ко мне и не застал меня дома. Он самым убедительным образом просил меня не покидать академии.

Все еще колеблются политические дела между миром и войною. Восстание не только не прекращается, но фанатизм поляков, кажется, возрастает. Многого публика ожидает от ‹М. Н.› Муравьева, назначенного на место Назимова. Великим князем продолжают быть сильно недовольны.

6. Понедельник. Опять тревоги, сомнения, беспокойства. Меньше и меньше обращать внимания на весь этот вздор, которому значение дается единственно нашим малодушием в подрыв нравственной свободе.

10. Пятница. Неудачная попытка отыскать дачу. Все или заняты (на Аптекарском острове), или непомерных цен.

Николай Николаевич Кологривов неожиданно из Парижа. Он говорит, что там вовсе нет никаких оскорблений русским, что журналы ругают нас, но живущие в Париже не терпят ничего похожего на оскорбление. В обществе там сочувствуют полякам, о которых они не имеют ни малейшего понятия, равно как и о России, и только.

13. Понедельник. К какому-то отставному действительному статскому советнику Гордиенко ночью на даче за Лесным корпусом в окошко влез кто-то с кинжалом и с пистолетом в руках, и когда хозяин проснулся и бросился на разбойника, то последний нанес ему 11 ран кинжалом; пистолет ‹хозяин› успел выбить у него из рук. Умы в настоящую

минуту так настроены против поляков, что и в этом ночном разбое видят дело рук польских повстанцев.

Ездил смотреть дачу на Аптекарском острове, в Аптекарской улице, дом Миллер. Дача недурна, и окрестности чисты и зелены, хотя довольно пустынны. Все бы ничего, но дорого — 300 рублей. Но придется нанять. У меня собственно как-то очень охладело влечение к здешней так называемой природе, так называемому лету и к так называемым дачам; но пусть семья не лишается некоторого удобства и удовольствия, пока я в силах им доставить это.

14. Вторник. Нестроение, путаница, всеобщая тревожность усиливается день ото дня. В Москве, говорят, сильное волнение по случаю каких-то манифестаций со стороны революционного варшавского комитета. По всей России возмутительные прокламации летают тучами и иногда производят даже желаемое действие, как, например, в Пензенской губернии, откуда на днях князю Оболенскому писали, что крестьяне, прочитав прокламацию о какой-то новой неслыханной, обещаемой им, воле, об отдаче им всей земли и проч., отказались платить оброк, работать на помещика и даже на себя. В Казани какой-то бежавший студент произвел настоящий бунт между студентами и другими отчаянными либералами и пр. и пр. В Петербурге тоже никто не надеется на безопасность в течение лета.[258]

Что же правительство? Ничего. Никакой энергии, никакой предусмотрительности, никаких мер, выходящих из обыкновенной полицейской рутины и соответствующих чрезвычайности обстоятельств. Все это видят, все на это негодуют.

15. Среда. Сильное раздумье насчет дачи. Хорошо ли, благоразумно ли при этой сумятице и отсутствии безопасности разбиваться на два жилища. Здесь могут обокрасть, а там могут на безлюдье, особенно в августе, забраться в комнаты.

16. Четверг. В 103 номере «Московских ведомостей» помещена весьма сильная статья об унижении, которое терпит Россия со стороны европейских держав, и о том, как ей необходимы действительные и неотлагательные меры усиления и организования своих защитительных сил. Приводится мысль, возбужденная в Москве, об образовании городового ополчения для охранения внутренней безопасности. Надобно всячески будить правительство и пользоваться одушевлением народа.[259]

17. Пятница. Конец концов, однако, в этом хаосе мнений и понятий надобно мужественно и твердо держаться начала, которое корнями вросло в твое сердце и с которым согласны все выводы твоего ума. А там пусть будет что будет.

Говорят, мы живем в переходное время. Каждый век есть переходное время. Дело в том, чтобы жить и действовать, — результаты же складываются всегда не так, как думают живущие и действующие.

Идти слепо за потоком времени так же глупо, как и противодействовать ему во всем.

Всему существующему грозит разрушение. Но существующее не должно уступать своих прав без боя. Его права состоят в том, что оно существует. Это я и хотел, между прочим, выразить в статье моей «Молодое поколение».

18. Суббота. У графа ‹Е. Е.› Сиверса. О Римско-католической академии. Граф просил меня не оставлять академии, что, впрочем, и было уже мною решено после объяснения с епископом-ректором. Я долгом счел засвидетельствовать, что в продолжение моей 22-летней службы в этой академии я не заметил ни в воспитанниках, ни в служащих ничего враждебного против России. Мои личные отношения с ними были всегда самые лучшие.

19. Воскресенье. Диспут ‹В. А.› Бильбасова на магистерскую степень. Магистрант защищался очень хорошо. Посетители все почти были студенты. Сторонних очень мало. [260]

21. Вторник. Заседание в факультете. Принято пока мнение Куторги о неразделении факультета и другом способе специализирования учебных занятий, — говорю пока, потому что окончательное обсуждение этого вопроса еще будет.

Встретился с Ф. И. Тютчевым.

— Война или мир?

— Война, без всякого сомнения, — отвечал он.

А он имеет случаи кое-что знать о подобных вещах и при дворе и в министерстве. [261]

Встретил также ‹А. М.› Малеина, ныне управляющего департаментом в министерстве иностранных дел.

— Война или мир?

— Война, без малейшего сомнения, — отвечал он.

22. Среда. Какая щедрость природы — отпустила нам тепла на 7°.

Мы имеем весьма важное преимущество перед нападающими на нас — преимущество обороны. Нам не нужно

одерживать побед; нам надобно только стойко и успешно обороняться. Отбить врага, оттолкнуть его от себя и удержаться в своей позиции — будет великою для нас победою.

Пока ты не приобретешь достаточно силы, чтобы довольствоваться самим собою, во всем опираться только на самого себя, до тех пор ты совершенно ничего не сделал для своей нравственной безопасности, свободы и чести.

Все имеющее на нас извне влияние получает значение и силу только от нашей нравственной слабости.

Привычка предполагать из возможного всегда худшее до того срослась со мною, что она даже не беспокоит меня. Иногда мне случалось счастливо в этом и обманываться. Но тогда эту случайность я принимал как сюрприз, как подарок, и оттого мне не было хуже. Если же мои опасения сбывались, то я имел ту выгоду, что не был застигнут врасплох, и хотя зло от того не переставало быть злом, но както утешительно для самолюбия видеть, что нас не поймали на легковерии, что нас, как говорится, не успели надуть.

23. Четверг. Чему научает знание жизни? Не слишком доверять жизни. Чему научает знание людей? Не слишком доверять людям. Чему научает вообще знание? Не слишком доверять знанию.

Экзамен из философии в университете. Жалчайшая философия, то есть логика и психология. Жалчайший экзамен. Студенты ничего не смыслят. Профессор ‹В. П.› Полисадов притворяется, будто он что-нибудь знает, и ставит им по четыре, чем они очень недовольны и просят о пяти. После я экзаменовал девиц.

Вечером был француз из Саверна с поклоном от Шаля. Он третьего дня приехал сюда, уверяет, что войны не будет. Не знаю, на чем он это основывает. Он, впрочем, не любитель Польши и революции, любит Россию, по словам его, и говорит хорошо по-русски. Зовут его Сеговиц.

24. Пятница. Объяснение с Деляновым по поводу экзамена на звание гувернанток. Очень глупо. Объяснение с моей стороны было неполное, хотя и сильное.

25. Суббота. Ниспровержение верований и основных нравственных истин, составляющих главные отличительные черты нашего времени, могут ли ручаться за установление новых, лучших? Дело не в том, что т а к и е - т о верования и т а к и е - т о истины уничтожаются, а в том, что уничтожаются вообще какие бы то ни было верования и истины,

то есть уничтожается самый принцип, а не проявления его. Тут нет уже речи о замене одних другими, а о конечном разрушении. Скептицизм и материализм делают громадные успехи: всё хотят заменить социальными отношениями без пособия нравственных условий и начал. Условия эти и начала подчиняются социальным, а не наоборот.

26. Воскресенье. Философские исследования о литературе.

Поляки совершают неслыханные варварства над русскими пленными. На днях сюда привезли солдата, попавшего к ним в руки, а потом как-то спасшегося: у него отрезаны нос, уши, язык, губы. Что ж это такое? Люди ли это? Но что говорить о людях? Какой зверь может сравниться с человеком в изобретении зла и мерзостей? Случаи, подобные тому, о котором я сейчас сказал, не один, не два, их сотни. С одних они сдирали с живых кожу и выворачивали на груди, наподобие мундирных отворотов; других зарывали живых в землю и пр. Своих они тоже мучают и вешают, если не найдут в них готовности пристать к бунту. Всего лучше, что в Европе все эти ужасы приписываются русским, поляки же там называются героями, святыми и пр. и пр.

Слабость характера вызывает и поощряет насилие.

Самообладание, укрощение себя.

27. Понедельник. Разлад между мыслию и жизнию — вот откуда происходит большая часть наших бедствий и всяческих нестроений. Мысль всегда стремится к идеалу — не к тому, что есть, а к тому, что может и что должно быть; действительность никак этому не покоряется. Мысль, насилующая действительность, никак этому не покоряется. Мысль, насилующая действительность, возбуждает борьбу. Чем мысль отважнее, идеальнее, непокорливее, тем неизбежнее победа над ней действительности. Зло, которое от того происходит, падает всею тяжестию на нас, не умевших примирить мысли с действительностию, хотя бы то посредством подчинения одного деятеля другому.

28. Вторник. В апрельской книжке журнала «Время» напечатана статья под названием «Роковой вопрос» и подписанная Русский, самого непозволительного свойства. В ней поляки восхвалены, названы народом цивилизированным, а русские разруганы и названы варварами. Статья эта не только противна национальному нашему чувству, но и состоит из лжей. Публика изумлена появлением ее в печати. Цеэ отставлен. [262]

Язык до Киева доводит, а усилие или твердая воля — до цели.

Переехали на дачу на Аптекарский остров, в Аптекарский переулок, в дом Миллер.

Вечером, в восемь часов, я приехал на дачу. Был сильный, но летний прекрасный, теплый дождь. Я очень доволен моей дачей. Помещение очень удобно. Кругом сады, к ней принадлежащие, где свободно и уединенно можно гулять, сколько душе угодно. Рядом, в другом доме той же хозяйки, живет наш добрый старинный друг ‹К. И.› Рудницкий.

29. Среда. Утром обошел сад. Всмотрелся еще больше в свою дачу и еще больше нашел причин быть ею довольным.

Обедал у Делянова, где, между прочим, были Погодин, ‹Н. Ф.› Павлов, ‹М. О.› Коялович. Разумеется, разговор все обращался к одному предмету — к польским делам. Коялович был недавно в Вильно и рассказывает удивительные вещи про нелепое управление Назимова. Да это просто дурак. Хорош, впрочем, и правитель в Варшаве. Вообще видно, что правительство отлично содействовало к развитию восстания в Польше своею крайнею слабостию и непринятием никаких мер. Немудрено, что народ потерял, наконец, надежду на защиту правительства, начал полагаться больше сам на себя, чем на него, и даже расправляться с бунтовщиками по-своему.

Журнал «Время» запрещен. Огромная ошибка правительства, то есть министра внутренних дел. Это запрещение даст благовидный повод нашим врагам говорить, что правительство употребляет насильственные средства, чтобы заставить замолчать истину, и проч.

Еще нелепее распоряжение Валуева. На место Цеэ назначен председателем цензурного комитета некто ‹М. Н.› Турунов, чиновник министерства без всякого значения в обществе, ничем не соприкасающийся к литературе, не имеющий никакого понятия о таких щекотливых делах, как дела цензуры.

Как запрещение «Времени», так и это назначение произвели весьма неважное впечатление на публику.

30. Четверг. ‹М. Н.› Муравьев распоряжается решительно. Три ксендза расстреляны в Вильно. В Динабурге тоже расстрелян граф Платер, в Ковно — Моль.

Толки о войне как-то затихли, между тем все уверены в ее неизбежности.

31. Пятница. Какое неблагородное, мстительное существо этот Валуев. Ему называли меня для замены Цеэ; он не согласился, без сомнения помня, что я явился перед ним не раболепным чиновником, а человеком несколько самостоятельного образа мыслей и независимого характера, и назначил на этот важный в настоящее время пост человека совершенно ничтожного, то есть он принес общественное дело в жертву своему глупому и мелкому самолюбию. Вот они, наши государственные люди! Мудрено ли, что в критические минуты народ инстинктивно чувствует к ним глубокое недоверие и полагается не на них, а на свои собственные силы.

Я, конечно, не отказался бы от председательства в цензурном комитете, хотя тут, кроме опасностей и страшных трудов, для меня совершенно ничего нет. Дело в том, что я чувствую уверенность в себе повести дела цензурные лучше какого-нибудь Цеэ или Турунова. За меня моя опытность, некоторое значение в обществе, знание литературных дел, мой характер и политический образ мыслей. Все это Валуеву очень хорошо известно, но, повторяю, он захотел принести в жертву важное общественное дело своему глупому и мелкому самолюбию.

Да разве же я оспаривал его министерское значение, когда был с ним в сношениях? Может ли он обвинить меня в этой глупости?

Вечером был Н. Ф. Павлов из Москвы.

Июнь 1. Суббота. Заседание в Академии наук. Спор Погодина с Срезневским. Первый доказывал, по общепринятому мнению, что Кирилл и Мефодий — настоящие изобретатели славянского письма и переводчики св‹ященного› писания. Второй, основываясь на сказании черноризца Храбра, утверждал, что славяне до Кирилла и Мефодия, по принятии христианства, писали уже греческими буквами и имели евангелие и псалтырь в переводе на славянском языке. Оба, как обыкновенно, остались при своих мнениях.

6. Четверг. Заседание в Академии. Диспут ‹Л. Н.› Майкова на степень магистра. Я был оппонентом вместе с Срезневским. Диспутант защищался несколько вяло.[263]

Обедал у меня доктор ‹С. П.› Завадский. Он большею частию лечил дам, большой охотник до них и много рассказывал любопытных и скандалезных о них анекдотов.

Вечером заехал Гончаров. Он слагает с себя редакторство «Северной почты» и делается членом Совета по делам

печати. Редактором на место его назначают какого-то ‹Д. И.› Каменского. Итак, в течение года переменилось уже три редактора.

7. Пятница. Долго беседовал с Погодиным, заехав к нему поутру. По поручению государя он написал статью в ответ на какую-то наглую и грубую на Россию клевету, напечатанную во французском журнале. Завтра он покажет ее князю Горчакову. Он написал также письмо к Гарибальди, которое мне прочитал. Письмо очень умно и благородно написано. В нем он увещевает Гарибальди не смешивать своего чистого и прекрасного имени с таким грязным и гадким делом, как польское восстание, причем объясняет ему кратко всю лживость распущенных поляками по Европе слухов о себе и о России.[264]

Заседание в Академии наук.

В польском банке, в Варшаве, украдено 3 000 700 рублей, в числе которых золотом триста тысяч.

В Казанском университете открыто настоящее скопище самых гнусных революционеров. Там производилась, говорят, фабрикация всех прокламаций и проч. Туда для исследования посланы ‹А. Е.› Тимашев и Жданов.[265]

8. Суббота. Экзамен в Римско-католической академии, то есть проформа экзамена. В настоящее время особенно это пустая форма. Все эти юные ксендзы смотрят до лясу и, кажется, охотно удрали бы туда, если бы их не придерживала здесь власть. Впрочем, они по наружности весьма кроткие и благомыслящие создания. Но было бы очень простодушно верить их сердцу, так же как поведению. Вот, например, несмотря на сдержанность последнего, сегодня сказался дух полонизма и в них. Когда я перед экзаменом зашел в канцелярию, чтобы отдохнуть там с минуту, ко мне явился один из моих слушателей, неся в руке билеты, обернутые в пакет и запечатанные черною печатью. Печать эта меня удивила тем более, что билетов и запечатывать нет никакой надобности: их обыкновенно кладут на стол перед ректором просто сложенными. Секретарь, увидев это, сказал: «К чему эта печать? Что это, демонстрация, что ли? Не надо этого!» Я подтвердил его слова о ненужности запечатывания. Секретарь взял пакет, разорвал его и бросил с печатью.

Вот другое: одному из юношей досталось отвечать о состоянии образованности русской в татарский период. Тут, между прочим, он без всякой надобности привел известное

письмо новгородского архиепископа Геннадия о необходимости любви и прочитал наизусть очень бойко и с видимым удовольствием то место, где Геннадий говорит, с каким трудом он учит мужиков грамоте, чтобы, по недостатку людей, сделать из них церковников. Я выслушал это весьма равнодушно и сказал: «Так у всякого народа начальные периоды их умственного развития бывают трудны и мрачны». Прелат, председательствовавший на экзамене, прибавил к этому: «Да! так было везде, в Польше, было, например, еще хуже».

Отослал письмо к Каткову. Непостижимое диво! Статью мою он до сих пор не печатает, а она нужна именно ко времени. Я написал письмо учтивое, но далеко не дружеское, прося его возвратить мне статью назад. Погодин, которому я выражал мое неудовольствие на Каткова по этому поводу, говорит, что в редакции катковских изданий свирепствует страшная неурядица и задержки всякого рода. Вот, например, «Русского вестника» вышли две книжки только, а теперь половина шестого месяца. Говорит, однако, что третий номер уже готов. Как милостиво!

Фелинский, варшавский архиепископ, привезен сюда и оставлен в Гатчине. В ‹Римско-католической› академии мне говорили, что он за то вызван сюда, что не послушался великого князя, который требовал от него не делать уличных процессий в праздник христова тела, так как город находится на военном положении, и от скопления народа могло произойти столкновение, и многие могли пострадать. Мне кажется, было бы хорошо, если бы великий князь спросил прежде у Фелинского, что, в случае дозволения процессии, ручается ли он, что никаких беспорядков не произойдет.

Меры Муравьева начинают приносить плоды: восстание в губерниях, ему вверенных, почти прекращено. Его отношение к епископу Красинскому и правила о том, как должны поступать власти в губерниях, объявленных на военном положении, превосходны.

Все показывает, что государь твердо решился на войну. Пора, пора действовать в духе одной системы, не сворачивая в сторону ни на одну линию, а система эта не может быть иная, как война.

9. Воскресенье. Поутру у ‹В. Я.› Фукса, а потом у ‹А. Г.› Тройницкого.

Редактором «Сев‹ерной› почты» сделан какой-то ‹Д. И.› Каменский.

Муравьев писал к министру внутренних дел, что хотя дела в западных губерниях пошли очень хорошо, но полного прекращения восстания нельзя ожидать, пока в Царстве Польском управление будет идти так, как ныне. Никто, как кажется, ума не приложит о том, что значит там поведение великого князя.

Фелинский привезен сюда не за процессию, а за то, что он обнародовал известное письмо свое государю. В «Le Nord'e» * же пишут, что за то, что он требовал тело Канарского для совершения над ним почестей погребения. Итак, католики не считают бунта преступлением. Вероятно, они хотели провозгласить Канарского мучеником.

Министр, повидимому, сам находит, что поступил дурно, запретив «Время». Ему кто-то, вероятно из чиновников, сказал, что «Время» вообще издается в нехорошем направлении, тогда как в этом отношении оно в тысячу раз является меньшим злом, чем «Современник» и «Русское слово», которые были только приостановлены на восемь месяцев. Министр не позаботился спросить об этом у людей, которые официально наблюдают за направлением периодической литературы. Вот теперь он хочет спрашивать мнения у Совета ‹по делам печати›, в котором и делает председателем Тройницкого. Диво! Спустя лето в лес по малину, как говорит пословица. А Совет ведь был у него под боком.

Был Виткин. Он живет через дом от меня.

10. Понедельник. Вчера был у меня ‹Н. Н.› Страхов, автор несчастной статьи «Роковой вопрос», напечатанной во «Времени». Он ужасно смущен; просил у меня совета и, по возможности, заступничества. Я выразил ему мое прискорбие, что он написал эту статью, что оправдать ее нет никакой возможности, что она — статья нехорошая. Он не защищался и не опровергал этого, но приводил в оправдание свое одно то, что он совсем не хотел оскорблять Россию, которой он чувствует себя сыном, что его намерение было, напротив, убедить поляков не гордиться «своими преимуществами, своей опередившей нас цивилизацией» и пр., но что он только н е в п о л н е выразил эту мысль, н е д о с к а з а л ее. Я на это ответил ему, что все это может быть, а что все-таки никак не следовало ему печатать такую невысказан-

* «Север» *(франц.)*. — *Ред.*

ную мысль, что впечатление, ею сделанное, не могло быть иное, как то, какое сделано, и что в настоящее время особенно подобные вещи не могут быть терпимы. Умы в волнении, народ раздражен до крайности, правительство озадачено и затруднено; как же тут не быть крайне осторожным в печатном слове? Бедный Страхов все это сделает т е п е р ь. Он, по его словам, более всего в отчаянии потому, что его считают каким-то не русским. «Да! — отвечал я. — Знаете ли, от кого первого узнал я о существовании вашей статьи? От поляка, который объявил мне о ней с некоторого рода торжеством и радостью».

Далее Страхов спросил меня, что ему делать? Я сказал, что так как власти оставляют его в покое, то лучше всего дать время остынуть этому впечатлению и после найти случай объясниться и объяснить самому, что вы сделали огромную ошибку и проч.

Встретился с М. М. Достоевским, редактором «Времени». Вот он в самом деле несчастный человек, — почти в пух разорен. Он сознает, что виноват, но ему кажется, что с ним поступлено слишком строго, что, конечно, не лишено основания, когда вспомнишь, что «Современник» и «Русское слово» были только п р и о с т а н о в л е н ы, а не запрещены вовсе, а эти журналы постоянно выражали — и часто без всяких околичностей — самые враждебные идеи не только правительству, но всякому общественному и нравственному порядку. «Время» никогда не допускало подобного бесчинства, и направление его было более либерально-консервативное. Я утешал Достоевского тем, что есть причины полагать, что запрещение и их журнала будет также временное...

Сознание собственной ошибки есть тоже несчастие, и гораздо иногда большее, чем другие несчастия, именно потому, что это наша ошибка. Но и его надобно снести великодушно, как все прочее.

Последний девичий экзамен в университете.

11. Вторник. Странное сближение. В разговоре с Тройницким я, между прочим, сказал: «Нет худа без добра. Печальные нынешние обстоятельства послужили поводом высказаться великой нашей национальной мысли, что союз народа с государем несокрушимо крепок, и эти печали укрепили ‹его› еще более». — «Знаете ли, — отвечал он, — что эту самую мысль и почти слово в слово так же высказал государь при одном моем докладе»

Последнее заседание Комиссии по делам книгопечатания для подписания всего дела и представления проекта министру. Явились только я и ‹А. Ф.› Бычков.

Заезжал к Погодину. Там нашел Делянова и ‹В. А.› Кокорева, с которым и познакомился. Ничего! Мужик ражий, с очень широкою окладистою бородою, должен быть, судя по физиономии, великий плутище, как и подобает всякому самородному русскому уму. Известно, что Кокорев очень умный человек, приобретший огромное состояние. Как он должен смеяться, увидев, например, такого человека, как я, который слывет тоже не дураком и который, однако, целую жизнь свою проводит за учеными пустяками, бесполезными для него самого и для других. Погодин большой приятель Кокорева; но это совсем другой человек. Он с наукою соединил и искусство добывания денег. Одно уже то, что музеум свой, стоящий тысяч двадцать, он продал казне за сто пятьдесят тысяч рублей, делает ему величайшую честь. Вот настоящие сильные умы русского государства.

Погодин возил к Горчакову свою статью, написанную в ответ на французские гнусные клеветы. Князь одобрил ее и решил напечатать сначала по-русски в «Русском инвалиде» или «Московских ведомостях», а потом перевести на французский язык и тиснуть в «Journal de St.-Pétérsbourg». * [266] О письме к Гарибальди он сказал, что надобно немного смягчить в нем похвалы ему.

На замечание Погодина о непостижимом поведении великого князя в Варшаве и о том, что публика тут подозревает какое-то предательство, князь отвечал, что предательства никакого нет. Тютчеву же он говорил, что великий князь действует по инструкциям, отсюда посылаемым, которые велят ничего не предпринимать крутого, ибо это может произвести какой-нибудь решительный взрыв в Варшаве и тем побудить европейские державы двинуться тотчас в Польшу, а мы должны всячески выиграть перед войной время, необходимое нам для окончательных приготовлений.

12. Среда. Вчера прегнусное расположение духа. Сегодня тоже.

Вечером беседа со Страховым. Я все-таки советовал ему не давать пока никаких объяснений и ждать, пока все уля-

* «С.-Петербургская газета» (*франц.*). — *Ред.*

жется. Да и объяснять притом тут нечего: он виноват кругом, если не намерением, то делом.

13. Четверг. Есть разные боязни у человека, потому что ему угрожают многие невзгоды. Но самая главная боязнь есть боязнь смерти. Кто победит это — тому не страшны уже никакие боязни.

Заседание в Академии. Погодин читал свой ответ на французскую статью, помещенную в «Revue des deux mondes». * Отсюда мы пошли с ним ко мне, где он посидел немного и взял у меня свои бумаги.

Вечером Гончаров и небольшая прогулка у Невки.

15. Суббота. Заседание в Академии наук.

16. Воскресенье. Современная цивилизация есть искусство, посредством которого люди могут жить вместе, не впуская когтей друг в друга, а только держа их наготове в мягкой шерсти.

Человек по своей натуре есть враг другого человека. Но он как разумное существо понимает, что беспрерывно нападать на другого значило бы в то же время беспрерывно терпеть нападение, что, конечно, очень неприятно, и потому он старается или скрыть свою вражду, или ослабить ее так, чтобы не было беспрестанных нападений.

По современным учениям знание должно заменять верование. Но можно ли вполне доверять знанию? Можно, говорят материалисты, если вы ограничите знание пределами видимости, пределами опыта. Но в состоянии ли человек удовольствоваться этим ограниченным знанием?

Поутру заходил к ‹П. Г.› Редкину, который живет от меня через дом. Проговорили часа с полтора. Вспоминали о Печерине, Герцене и пр.

Возвращаясь, встретился с Тройницким, который заходил ко мне. Мы возвратились ко мне и просидели довольно долго. Он объявил мне, что Совет по делам печати будет на этой неделе собран. Члены его: я, Гончаров, ‹Н. И.› Варадинов, Пржецлавский, ‹М. Н.› Турунов. Председателем — он, Тройницкий. Гончаров произведен в действ‹ительные› ст‹атские› советники. Ну, я думаю, он очень рад. Ему давно уже хотелось быть превосходительством.

К обеду приехали: мой верный добрый ‹А. В.› Тимофеев и художник ‹И. Н.› Крамской.

* «Обозрение двух миров» (*франц.*). — *Ред.*

18. Вторник. Был поутру в городе. Заходил к Гончарову поздравить его с действ‹ительным› ст‹атским› советником. Он очень доволен.

19. Среда. Вечером был Редкин и просидел долго. После подошел ‹Н. Х.› Вессель, редактор «Учителя». Он дня три как приехал из Астрахани по Волге и заезжал по пути в некоторые города. Он рассказывал, что народ в деревнях страшным образом расправляется с лицами, которых подозревает в полонизме. Недавно около Симбирска где-то крестьяне избили и изуродовали пятерых чиновников, посланных зачем-то из Петербурга, о которых они почему-то вообразили, что они поляки.

Известие о том, что семейство великого князя Константина выехало из Варшавы за границу и сам великий князь собирается тоже. Революционный комитет объявил ему, что он, после казни Канарского, не ручается более за его безопасность. Итак, приказания комитета исполняются уже и русским правительством.

20. Четверг. Заседание в Академии, последнее перед каникулами.

21. Пятница. К чаю пришел Гончаров. О производстве его и о назначении членом Совета по делам книгопечатания уже получен указ.

22. Суббота. От Каткова ни слуху, ни духу. Хочу писать к Гилярову, чтобы он похлопотал о возвращении мне моей рукописи. Давно уже носились слухи о несносной надутости, заносчивости и несказанном высокомерии Каткова со всеми, кто имеет или имел с ним какое-нибудь сношение. Но такой грубости и неучтивости, судя по прежним моим отношениям к нему, я, правду сказать, никак не ожидал, — и это урок моему легковерию и доверию к людям. Видно, Катков, как и все наши великие люди, изнемог под бременем своего величия и не выносит его.[267] Я имел глупость огорчиться этим, и даже сильно, так что меня несколько дней занимал его поступок, который, впрочем, и вредит мне порядочно. Статья моя должна остаться ненапечатанною, так как теперь она была бы не ко времени. А как Катков был любезен, дружелюбен ко мне и внимателен, когда я был ему нужен! Разумеется, я виноват, что верил в некоторое благородство его.

Первое заседание Совета по делам книгопечатания. Присутствовали: председатель Тройницкий, Пржецлавский, Гончаров, Варадинов, Тихомандритский, я, директор

полиции исполнительной ‹М. Н.› Похвиснев и Турунов. Распределены были газеты и журналы для наблюдения. Мне достались «Отечественные записки» и «Русский вестник» да газет несколько, — я не определил еще, каких. Думаю взять «С.-П‹етербургские› ведомости», «Голос» и «Московские ведомости».

Замечания о лицах. Пржецлавский — старый плут, поляк и католик в душе, но весьма искусно скрывающий свои польские и католические тенденции. Трудно теперь решить, какого направления будет он держаться по цензуре. Он всегда применялся к обстоятельствам и к тому, куда тянут сильнейшие.

Варадинов едва ли имеет какое-нибудь убеждение, кроме того, что надобно исполнять волю начальства. В нем много чиновнического; весьма сговорчив со старшими, но с другими бывает упрям, считая упрямство за твердость и кое-какие мыслишки за систему. По цензуре не будет противоречить большинству, а тем более действительным или предполагаемым желаниям лиц авторитетных.

Мой друг И. А. Гончаров всячески будет стараться получать исправно свои четыре тысячи и действовать осторожно, так, чтобы и начальство и литераторы были им довольны.

Тихомандритский — ничего.

Турунов. Мне кажется, он немного глуповат, как следует быть чиновнику, которого министр считает за слепое орудие. К нему, впрочем, надобно еще присмотреться.

Похвиснева видел лишь в первый раз и потому о нем не могу составить себе никакого понятия. Наружность его тощая, самодовольная, вертлявая, — вот и все, что видно с первого раза. Я немножко с ним поспорил: он хотел, чтобы мы сами путешествовали в канцелярию комитета за получением журналов. Я заметил ему, что это дело сторожей, а не членов Совета. «Но можно посылать», — возразил он. «Кого? — спросил я, — дайте нам людей, кого бы можно было посылать». Он, впрочем, не настаивал.

С Туруновым тоже я не соглашался: он хотел, чтобы рассматривалась и официальная часть «Губернских ведомостей». «На что это? — возразил я. — Губернское начальство отвечает перед министерством за все свои распоряжения и за обнародование их, и не значило ли бы наше наблюдение, что мы присваиваем себе контроль над местными областями, принадлежащими единственно министерству?

Да и как может кто-либо из нас знать, что считать дозволительным или непозволительным в официальных действиях и опубликованиях губернаторов? и проч.». Председатель принял мое мнение.

26. Среда. Вечером заехал ко мне Марк ‹Любощинский›, и мы отправились с ним к Излеру. В саду играла музыка и бродило довольно гуляющих. Дам было, впрочем, мало. Сад прибран довольно порядочно и не уступает парижскому Шато де Флер. Потом пели цыгане; пение их мне всегда было противно, пели тирольки недурно, пели какие-то этурди * из Кафе-шанте, так же, как и там, танцевали еще какие-то две этурди. Лучше всего был комический танец с пением какого-то француза с француженкой.

29. Суббота. Вчера отправил письмо к Никите Петровичу Гилярову-Платонову страховым. Он приятель с Катковым, и я прошу его походатайствовать перед не выносящим своего величия журналистом, чтобы он возвратил мне мою статью, которая лежит у него без употребления вот уже около двух месяцев, и теперь ее печатать уже было бы несвоевременно.

Записался у Валуева, потом зашел к Тройницкому. Те же толки о войне, которая кажется неизбежной, и те же всеобщие жалобы на великого князя, которого бездействие и потворство польским революционерам поистине изумительны.

Июль 2. Вторник. Слухи о войне более и более усиливаются. Мы дали уже ответ на предложение трех держав и, как говорят, в отрицательном смысле, чего и ожидать надобно было.

Революционеры варшавские доходят до неслыханного неистовства. Они запретили своим дамам носить кринолины, но когда эти не послушались, предпочитая наряд патриотизму, тогда явилось на улицах человек тридцать, носящих на себе звание революционных полицианов, и начали срывать с женщин кринолины с такою яростью, что у многих оказалось внаруже то, что тщательно скрывается под платьем.

Наша полиция смотрела на это с безмолвным спокойствием: пусть, дескать, поляки ярятся друг против друга, это им свойственно. Мне кажется, следовало бы защитить

* Ветреницы (*франц.*). — *Ред.*

женщин против гнусного фанатизма революционного их собственных мужей, братьев и пр., чтобы показать, что мы тоже составляем правительство в Варшаве для общей безопасности и готовы оказать покровительство даже врагам нашим, когда они нуждаются в нем.

Ум человеческий любит рыться в самом себе. Он все вытаскивает оттуда на свет божий: и чистое золото и грязь, с которою оно смешано. Надобно еще приложить много ума, чтобы переработать эту смесь и отделить годное к чему-нибудь от негодного.

3. Среда. Орудие честного труда — вот что должно дать воспитание.

5. Пятница. Если с вами поступлено неучтиво и вы скажете тому, кто поступил с вами так, что он невежа и скотина, — то принято ли у вас в Москве этим обижаться, или это считается там за похвалу? Ведь есть разные обычаи на свете: что город, то норов.

На свадьбе. М. Е. Звегинцев, лишившийся тому полгода назад нежно любимой своей жены, сестры Казимиры, сегодня обрачился на гувернантке своих детей Каролине Филипповне, которая лет 10 уже живет у них в доме. Предложение ей было сделано вскоре после похорон первой жены М. Е-ча, так что лишение одной почти совпадает с приобщением другой. Венчание происходило в церкви Инженерного замка, в которую превращена комната, где был задушен Павел.

6. Суббота. Весь день угрожал дождем, хотя его и не было, но было холодно. Вечером пришел Марк, Мордвинова, и мы пошли гулять в сад графа Борха. Дачу занимает посланник французский Монтебелло. На возвратном пути нас до самого дома провожала громадная туча, угрожая нам проливным дождем. Однако угроза не исполнилась.

7. Воскресенье. После обеда, не застав дома Гебгардта на Крестовском острову (дача № 29), заглянул в публичный сад, за вход куда платится по 30 копеек с рыла, как говорится в нашей серой публике. Два оркес[illegible] музыки, канаты для плясунов, цирк, какие-то декорации странного вида — все это аляповато и грубого свойства. Гулявший народ весь состоял из разных мастеровых, всероссийского мелкого купечества, немцев-ремесленников, девиц несомненного поведения и проч. Все это, впрочем, вело себя благопристойно и прилично, что, как говорят, продолжается

до 12 часов. Отсюда начинается второй период увеселений и продолжается до утра. Героями этого периода выступают уже лица, сильно вкусившие даров Бахуса, или, как говаривал Петр Великий, Ивашки Хмельницкого. Тут уже начинается всякое коловратство, и человечество начинает превращаться в свинство. Я пробыл в силу около часу и уехал домой.

8. *Понедельник*. Начало музыкальных вечеров по подписке в Аптекарском саду. Публики собралось довольно, преимущественно дам. Но вскоре пошел дождь, и многие предались бегству, в том числе и я с Казимирой, Софьей и Сашей. Наше Аптекарское гулянье приготовляется быть похожим на Павловское, только в самом уменьшенном виде: это Павловск в яичной скорлупе.

Ко мне приходил ‹Н. Н. Страхов› со статьею, которую он хочет напечатать в «Дне». Она содержит в себе оправдание его «Рокового вопроса», наделавшего столько шуму и послужившего поводом к запрещению «Времени». Цензура московская не пропустила этого оправдания и представила статью министру. Оправдание, правду сказать, неудачно: все оно состоит из таких отвлеченных изворотов, которые никак не в состоянии разубедить публику. Я *откровенно* сказал мое мнение и советовал автору откровенно сознаться в своей ошибке. Редактор «Дня» говорит, что он удовлетворен этой апологией. В добрый час! Странные и нелепые люди эти москвичи в своей непомерной заносчивости и высокомерии. Они думают, что публика должна верить каждому их слову, как св‹ященному› писанию, и горе тем окаянным, которые вздумают усомниться в их праве на умственную диктатуру!

9. *Вторник*. Ведь французам и англичанам придется брать штурмом не город, а целое государство. Им, особливо первым, притом нужны победы, а нам нет в них никакой надобности: для нас довольно только отразить врагов. Наполеону, например, нужно непременно напоить французов допьяна и для этого поднести им чашу с победами, — иначе он пропал, затеяв войну, которая не удовлетворила бы страсти их напиваться национальным самолюбием.

11. *Четверг*. Каким бы широким полетом ума ни парили вы, а всё должны приблизиться к одной мысли: что все, что вы знали, любили, чего надеялись, что считали важным, великим, и вы сами — все это тень, сон, ничто. Старая Соломонова мудрость, в той или другой форме,

с такими или другими оттенками, так или иначе ожидает вас на конце вашего поприща.

Жизнь только сама по себе, потому что она жизнь, что-нибудь значит, а не по результатам, какие из нее добываются. Добывается из нее — ничто, и больше ничего.

Сегодня, между прочим, был я свидетелем зрелища, которое произвело во мне самые живые ощущения. Отправляясь на заседание в Совет, я увидел на Царицыном лугу большое сборище народа, столы, нагруженные хлебом и водкою, полковые повозки и ящики, прямо против Павловских казарм. «Что это такое?» — спросил я у извозчика. «Это встреча павловским солдатам, возвратившимся из похода». Мне ужасно хотелось остаться здесь и посмотреть на наших храбрых солдат, бивших поляков. Но служба, да притом до заседания мне хотелось сделать некоторые свои дела. Подъезжая к Большой Морской, я наткнулся прямо на баталионы павловцев. Впереди гремела музыка, а перед вторым баталионом звучали удалые песни; впереди солдатик отплясывал удалую пляску. Вид солдат мне чрезвычайно понравился: простые, добродушные, скромные загорелые и здоровые лица. «Что, ребята, из похода?» — спросил я одного усача с добродушнейшей физиономией. «Из похода, ваше благородие».

Музыка, песни, развевающиеся знамена, загорелые и окуренные порохом лица храбрых солдат наших — все это сделало на меня глубокое впечатление. Я решился до заседания оставить свои дела и, сколько позволит время, побыть на площади. Сел на первого попавшегося извозчика и велел везти себя к Царицыну лугу и приехал туда в ту самую минуту, когда баталионы вступили на площадь. Тут возвышался алтарь. Войско сделало полукаре. Знамена осенили налой с евангелием, и полукружием стояли георгиевские кавалеры вновь пожалованные, сделав ограду из штыков. Пришел священник, седовласый старик, и началось молебствие под открытым небом, при стечении многочисленного народа. День был хотя серенький, но теплый и тихий. Я дождался до конца молебна. Мне крайне хотелось главного: присутствовать при обеде или закуске солдат, прислушаться к их речам, самому поговорить с ними, но — служба. Оставалось до заседания менее получаса. Нечего делать, надобно было ехать. Но я уехал умиленный и растроганный.

12. Пятница. Вчера напечатаны ответные наши ноты Англии, Франции и Австрии.[263] Они сделали самое благоприятное впечатление на публику. В самом деле, все в них скромно, правдиво и твердо. За этим только остается быть войне. В этом все уверены и ожидают войны спокойно, хотя знают, что она будет тяжела.

Вчера в заседании я читал свои два мнения о двух статьях в «Отечественных записках», из которых одну цензор хотел вполовину пропустить, а другую — нет. Я полагал первой вовсе не пропускать, потому что она содержала в себе мысли о перемене образа правления в России, а другую позволить, хотя она заключала в себе нападки на нашу администрацию. Я нашел причину, между прочим, сделать себе небольшой выговор: оба мнения мои были немного длинноваты и поэтому не произвели такого впечатления, какое в противном случае они могли бы произвести. На будущее время принять за правило не делать этого. Совет утвердил беспрекословно оба мои мнения относительно непропуска одной и пропуска другой статьи.

Так называемые друзья содержат в себе прекрасный материал для составления отличного врага.

Вечером пришли Пинто, Влад. Михайлов и Марк и просидели до часов двенадцати. Потом пустился проливной дождь, который свирепствовал, вместе с сильным ветром, целую ночь. Я слышал сигнальные выстрелы о прибытии воды.

16. Вторник. Новый роман ‹А. Ф.› Писемского, которого две части напечатаны в «Русском вестнике», «Взбаламученное море», содержит в себе обрывки тряпья, в которые завернута русская народность и из которых уже нашито множество товара на нашем литературном рынке.[269]

Вчера был у Делянова. Я внесен в список профессоров, принятых в университет при открытии его. В списке юридического факультета не оказалось ‹В. Д.› Спасовича, который все время считался профессором и действовал в разных комиссиях. Что это значит? Он много грешил во время бывших студенческих волнений. Но не оказался ли он почему-нибудь неудобным как поляк? Между тем он человек очень способный. Не оказалось также Кавелина, ‹М. М.› Стасюлевича и ‹Е. И.› Утина, но они прежде подали в отставку.

Ночью долго не мог заснуть: в голову лезли разные думы. Придумал, между прочим, предложение, которое

намерен сделать совету в первое его заседание по возобновлении университета. Вообще нужно бы придать этому событию некоторую торжественность для подействования на юношество. Надобно посоветоваться с Деляновым.

17. Среда. В Европе все опять пустились ругать нас, как говорится, напропалую. Ноты наши очень не понравились. Право, в Европе умных людей меньше, нежели кажется. Там как будто не шутя думали, что Россия согласится на все шесть пунктов, что стоит ей пригрозить и пр. Но ведь это только в глубине невежества и крайнем тупоумии могли зародиться подобные надежды? Европа хочет у России отнять право развития, цивилизации, право великой державы, добытое ею ценою огромных пожертвований и крови, — и Россия должна уступить, отдать себя на поругание всему миру и истории, и пр. и пр. Это доказывает только одно, что Европа привыкла уступать самому грубому и наглому насилию. Но мы не привыкли...

Россия и Польша — это понятно и естественно. Но Россия или Польша — нелепо, глупо и противоестественно (но еще безумнее: не Россия, а Польша). Это значило бы, что отжившее и гнилое должно жить вместо того, что действительно может жить...

18. Четверг. Если бы ложь не облекалась в одежду истины, то на свете не было бы обманутых.

Человек любит рыться в своем мозгу, и если ему удастся вытащить оттуда на сто пуд грязи всяких пустых умозрений, догадок, заключений, ни на чем не основанных и пр., золотник чистого золота истины, то труд его не потерян, он в барышах.

Заседание Совета по делам книгопечатания.

19. Пятница. После обеда за Лесным корпусом у Срезневского. Давно уже не был я в этих местах, где прожил некогда лет шестнадцать. Как много здесь перемен! Прежние деревца превратились в ветвистые большие деревья, в тени которых тонут дачные домики. Домики также переменились: большая часть из них осунулась, обветшала. Над воротами читаешь надписи новых хозяев вместо прежних, которые или умерли, или как-нибудь иначе исчезли из этих мест. Нет и Лесного корпуса.[270] Но парк его так же хорош или стал лучше: больше зелени, зелень гуще. Я часа полтора просидел у Срезневского и возвратился домой в половине одиннадцатого.

Спал отлично. Знаменательный сон. Я шел по косогору огромнейшей горы: налево пропасти глубины неизмеримой, направо — покатость зеленая, но такая гладкая, что ноги скользили, как по стеклу. «Надобно бы туда, направо, наверх, — говорил я кому-то, идущему вместе со мною, — туда орлиным полетом», — и устремлялся по скату. Но ноги скользили: уцепиться за что-нибудь, упереться не на что. Но я подвигался вперед по дороге в надежде где-нибудь отыскать удобное место для всхода. Даль скрывалась в каком-то полутумане. Тем и кончилось — я проснулся.

20. Суббота. Обедал на именинах у Ильи Арсеньева. Во время обеда пришла к нему труппа швейцарских певиц, певших у Излера, с поздравлениями. Эти милые шаловливые этурди пропели нам несколько премилых песен. Обед прошел очень весело, потом мы отправились к Излеру, где я встретился с А. И. Евреиновым, который и довез меня в своей карете до Песочного переулка. Он недавно воротился из Московской губернии и говорит, что везде он находит самое прекрасное настроение духа в народе. Против Константина все ужасно вооружены. Даже открыто говорят в Москве, что пусть он туда не показывается, — его каменьями закидают.

22. Понедельник. Обширная на Елагином острову выставка цветов. День был прелестнейший, и небо такое голубое, какое достойно было бы осенять не такие болота, как здесь. Мы с Соней поехали туда на дрожках, а Казимира с Сашей на пароходе. Я еще никогда не был на Елагине в дворцовом саду. Сад, нечего и говорить, чудесный. Столетние дубы величественно раскидываются на просторе, не стесняемые никакою садовою искусственною архитектоникою. Вид с мыса на Каменный остров, Неву, Крестовский, Новую Деревню восхитительный. Цветы на выставке, разумеется, хороши, но на сей раз их отпустили публике скупо. Но дело не в этом, а в гулянье в саду, который не открыт для публики и только теперь сделался ей доступным. Два очень хороших оркестра военной музыки немало содействовали прелести прогулки. Посетителей, однако, было очень мало. Мы оставались тут часа три и возвратились домой на пароходе уже почти около шести часов.

23. Вторник. Знание движется. Следовательно, переменяется? Нет! Оно развивается, как все живое. Вчерашнее

не делается ложным от того, что сегодня наступило новое. Но оно уже не удовлетворяет духа, перешедшего от низшей ступени к высшей. В развитии нет ничего ненужного, но никакая часть зато развивающегося организма не исчерпывает всей его целости. Организм знания бесконечен, и потому нет абсолютной полноты знания, а только-только относительное, то есть настоящее полнее прошедшего, новая ветвь знания пополняет только целую систему его, не делая ее совершенно полною.

Истина не есть что либо познанное, а — познаваемое.

25. Четверг. Заседание в Совете по делам печати. Я читал мнение мое по докладу цензора ‹Н. Е.› Лебедева, который не хотел пропустить повести «Еспанского шулера» для «Отечеств‹енных› записок». Я полагал, что ее можно пропустить, смягчив только весьма немногие места. Вещь эта недурна, и я рад, что ее удалось спасти. [271]

Вообще до сих пор Совет действует совершенно в либеральном духе, чему много содействует расположение председателя Тройницкого. Разумеется, литература не отдаст нам справедливости и будет бранить нас, несмотря ни на что. Но было бы и глупо и гнусно в исполнении своего долга руководствоваться мнениями других или тем, что об нас скажут. Я по крайней мере не из тех, которые бы добивались популярности, угождая партии или чьим бы то ни было сторонним требованиям. Меня уж бранили и продолжают бранить за то, что я не соглашался потворствовать студенческим агитациям, за «Сев‹ерную› почту» и за все, что не цвело красным цветом; но мне даже не приходило на ум серьезно об этом думать.

Краевскому сделан выговор за статью против Каткова, напечатанную в «Голосе». [272] Он призыван был к министру. Итак, Катков действительно есть лейб-гоф-обержурналист. Недаром говорят в публике, что он получает субсидию. Но в таком случае зачем же так высоко поднимать голову в качестве независимого органа общественного мнения?

26. Пятница. Вечером на цветочной выставке. Приятная прогулка. Там встретил многих знакомых, между прочим ‹Н. Ф.› Павлова, который дня на три приехал сюда из Москвы. Мне хотелось переговорить с ним насчет участия моего в газете, которую он будет издавать с будущего сентября. Мы условились сойтись с ним у ‹В. Я.› Фукса завтра вечером.

В 9 часов мы отправились домой, куда явились Пинто и В. Михайлов, и просидели до половины первого.

27. Суббота. Вечер у Фукса. Перед этим зашли ко мне Редкин и Арсеньев: мы напились вместе чаю и потом уже в 10 часов с Арсеньевым отправились к Фуксу. Там нашли уже за чаем Павлова. Я объяснился с ним насчет участия моего в его газете «Русские ведомости» и обещал ему статью: «Чего хочет от нас Европа и чего должны хотеть мы». Статья почти написана мною.

Была речь о Каткове. Я рассказал ему о поступке его со мною по поводу статьи «Молодое поколение», которую он не напечатал и не хочет возвратить мне, даже не удостоивает меня известить ни единым словом о ее судьбе. Павлов рассказал мне тоже некоторые факты о нем, из которых следует, что посади свинью за стол, она и ноги на стол. Успех его газеты совершенно одурил, отуманил его голову. Он сделался каким-то наглецом, ничего и никого не уважающим, поставил себя вне всяких условий образованной общественности. Итак, совершенно справедлива моя апофегма, что у нас никто не выносит своего величия. Павлов обещал мне через своих приятелей похлопотать о возвращении моей статьи. Сам он прекратил с ним всякие сношения.

Мы просидели у Фукса до половины первого часа.

28. Воскресенье. В половине второго с Казимирою на цветочной выставке. Это вышло прекрасное гулянье в дворцовом саду. Небо хмурилось, но было тепло. Начал накрапывать дождик, и гуляющие пустились из сада. Я усадил Казимиру в карету княгини Вяземской, которая любезно предложила завезти ее домой, а сам остался в саду, где и пробыл до четырех часов, несмотря на угрозу дождя. Преприятная вышла прогулка. Я возвратился уже на пароходе.

29. Понедельник. Ездил в город. Заезжал к Гончарову. Встретил похороны лейб-медика ‹И. В.› Енохина, на которые заезжал в церковь государь. Вечером музыка в Аптекарском саду: на этот раз играли венгерцы, и очень хорошо.

30. Вторник. Прогулка на цветочной выставке с четырех часов. Туда пешком (час ходьбы), оттуда на пароходе.

31. Среда. Поутру к Левашевой на Крестовский остров, туда почти пешком, а оттуда совсем.

Август 1. Четверг. Заседание в Совете по делам книгопечатания. «Московские ведомости» иногда со своими со-

ветами народу и правительству заходят слишком далеко, и как они имеют привычку говорить обо всем диктаторским тоном, то это делается нестерпимым, несмотря на то, что правительство по известным причинам дает им более воли, чем другим газетам. Положено отнестись к Москов‹скому› цензур‹ному› комитету, чтобы он старался воздерживать ярые и беспардонные порывы «Москов‹ских› ведомостей».[273] По одной статье для «Голоса» мне определено представить мнение.

Вечером музыка в Аптекар‹ском› саду при завывании ветра и под навесом громадных туч, угрожающих дождем.

2. *Пятница.* Человек одинаковую кару несет за свою оплошность или глупость, как и за злоумышленность.

Три заседания одно за другим в Академии наук: одно общее, где избрали в экстраординарные академики ‹Ф. В.› Овсянникова по физиологии и ‹Л. И.› Шренка по зоологии; второе — нашего словесного отделения и третье в комиссии об Уваровских премиях. В последнем произошло у меня препирание с Срезневским. Я присудил премию Островскому за его драму «Грех да беда на кого не живет». Срезневский противился этому с яростью. Драма ему не понравилась, и он не считал ее достойною премии. Я сам далек от того, чтобы признать ее первоклассным произведением; но если нам дожидаться шекспировских и мольеровских драм, то премии наши могут остаться покойными; да такие пьесы и не нуждаются в премии. Островский у нас один поддерживает драматическую литературу, и драма его «Грех да беда» хотя не блестит первоклассными красотами, однако она не только лучшая у нас в настоящее время, но и безотносительно отличается замечательными драматическими достоинствами. Грот сильно меня поддерживал. Состоялось шесть голосов в пользу моего предложения и два против, считая в этом числе и голос Срезневского.

Адрес виленского дворянства государю о помиловании напечатан. Но предводителю дворянства Домейке он обошелся было дорого: он получил два удара кинжалом от имени варшавского революционного комитета. Однако он остался жив и даже вне опасности.

Весьма неприятная телеграмма: у нас революционеры захватили транспорт с деньгами вместе с двумя прикрывавшими его ротами и двумя пушками. Подробностей нет, но тут должна быть или измена, или непростительная

оплошность командира. Начальник отряда поручик Лявданский: что-то польское.

3. Суббота. Август решительно себя изобличает. Пасмурно и холодно, словом, погода начинает быть августейшею.

4. Воскресенье. Ни к черту не годится тот, кто, одолжив вас в нужде, крадет у своего соседа платок.

На выставке цветов всё. Оттуда пешком. Свежо, но обошлось без дождя.

5. Понедельник. Перед обедом на выставке.

6. Вторник. Справедливые упреки самому себе за слова, которые не мог удержать на языке. Глупо, глупо, тысячу раз глупо!

7. Среда. О человеке говорят: д о б р ы й, когда решительно нельзя сказать о нем ничего хорошего, да и ничего слишком дурного. Это определение полного ничтожества.

Уверенность в своем совершенстве нимало не содействует нашему усовершенствованию.

8. Четверг. Заседание в Совете по делам печати. Мое мнение о возможности пропуска статьи «Поместный вопрос». Тройницкий возражал, что это критика на положение о крестьянах. Я говорил, что есть места, действительно дающие повод думать это; но их можно исключить. Положено возвратить эту статью в цензур‹ный› комитет для исправления ее и после опять внести в Совет.

Замечания Ведрова на некоторые статьи «Московских ведомостей». Катков, как говорится, рубит с плеча направо и налево. [274] Я молчал, так как я не могу беспристрастно относиться к этому господину; по крайней мере так может казаться.

9. Пятница. Вечером на музыке в Аптекарском саду. Огромное стечение народа. Ко мне зашли после пить чай Фукс со своей прелестною женою. Не много удается встретить таких милых и грациозных женщин.

10. Суббота. Прекраснейший день, каких в целое лето было немного. Я, Казимира и Софья отправились в Павловск погулять и навестить некоторых наших знакомых. Главного из них, Услоновского с женою, мы не застали: они в это время были у нас. Потом Софью я оставил у Старынкевичевых, а сам пошел бродить по городу и по парку, где я не был уже года два. Павловск премиленький, чистенький городок, весь в садах и парках. Вокзал усовершенствовался и украсился так, что подобных гуляньев я и в

Европе нигде не встречал. Встретился с несколькими знакомыми, некоторые звали меня к себе обедать, особенно ‹С. С.› Дудышкин. Но мне хотелось обедать одному на свободе, и я потребовал себе обед в вокзале. За полтора рубля меня оставили голодным. Все изготовлено как нельзя хуже. После обеда со мной соединилась Казимира, и как она еще не обедала, потому что предполагаемый обед у Срезневских не состоялся, то я повел ее в кондитерскую, где она съела котлетку, очень порядочно приготовленную, а я дообедал несколькими пирожками и бутылкою пива. Все здесь гораздо лучше, чем в пресловутом вокзале, и я жалел, что не обратился сюда.

Вечером был концерт русской оперы. Пели плохо, кроме отличного тенориста ‹Ф. К.› Никольского. Мы заплатили по рублю за место. Но зато освещение вокзала было великолепное. После первой части мы уже не захотели слушать концерта и походили на воздухе до отъезда, вместе с Бахтиным. На дебаркадере отыскали Марка и в 45 минут одиннадцатого отправились в Петербург. Вечер был приятный, теплый.

12. Понедельник. Гулял, по обыкновению, час с небольшим, заходил на Каменный остров. Зелень еще везде удивительно свежа. Кое-где только на липах пробивается желтизна — первые седины отцветающей природы.

14. Среда. Не надобно омужчинивать женщину. Она именно потому и хороша, что не имеет многих свойств мужчины, а взамен их имеет свои женские свойства. Превращая женщину в мужчину, эмансипируя ее, вы рискуете дать ей многие пороки мужчины. Пусть даже слабости ее и недостатки будут женские.

15. Четверг. Когда рождается какая-нибудь теория, она хочет и расширить как можно более круг своего влияния и деятельности. Это весьма естественно. И пусть их рождаются и живут, насколько хватит у них внутренней силы мысли и логики; они мешают восторжествовать упорному консерватизму и будят человечество от апатии и сна, говоря ему беспрестанно: вперед, вперед! Но ни одна теория не должна восторжествовать, да она и не может. Всегда являются другие теории, возникает борьба, одна другую ограничивают и мешают ей завладеть всем полем человеческой деятельности. Вот это и составляет закон жизни и усовершенствования.

Что невозможно, то едва ли может быть справедливо.

17. Суббота. Сегодня заседание в Академии.

Великий князь Константин третьего дня приехал из Варшавы.

19. Понедельник. В восемь часов утра отправился я на прогулку и проходил два часа — к Строганову саду, к Елагину острову, обошел весь Каменный остров — и ни крошки не устал.

Вечер очаровательный, и я зашел к Излеру послушать Гунглов оркестр. Возвратился домой в 10 часов.

20. Вторник. День вышел такой же прелестный, как и предыдущие. Ездил в город за жалованием в министерство внутренних дел и получил его, хотя мог и не получить, по крайней мере теперь. Казначей департамента полиции исполнительной заворовался, и несколько казенных денег пропало. Имя сему казначею — Соколов.

Говорят, великий князь Константин опять возвратился в Варшаву. А там ужасы увеличиваются. Каждый день совершается по нескольку убийств, наглейшим образом, среди бела дня, а наши власти там смотрят только сложив руки. Что за непостижимое бездействие!

22. Четверг. Вчера вечером встретился я с ‹Н. Ф.› Павловым, который только что приехал из Москвы. Он через секретаря Каткова старался добиться у последнего возвращения моей рукописи, но покуда не добился. Трудно с людьми, в ненормальном состоянии находящимися, а Катков до того полон самолюбия от газетного своего успеха, что с ним уже нельзя вести себя как с человеком в здравом уме.

Фукс рассказывал о ссоре, возникшей у великого князя ‹Константина› с Валуевым. Великий князь упрекал последнего, что, с той поры как цензура поступила в ведомство министерства внутренних дел, печать постоянно восстает против него, а в защиту его не позволяется печатать ничего. Валуев отвечал ему с твердостию и достоинством. Однако велено было спросить у цензоров и редакторов газет: было ли что-нибудь не пропускаемо в защиту управления в Царстве Польском? Ответ был совершенно отрицательный, а некоторые из редакторов отвечали, что они желали этого, посылали даже корреспондентов в Варшаву, но никто не представлял в редакции их ни одной строчки в пользу этого управления.

Заседание совета университета — первое с его открытия. Впрочем, настоящего открытия еще не последовало.

Происходили приготовительные совещания о новом устройстве университета и введении нового устава. Выборы ректора, инспектора и проч. назначены на 2 сентября. Заявлено также о баллотировке тех профессоров, которые выслужили 25 лет или 5 лет сверх этого срока. К последним принадлежу я.

Так как я уверен, что получу черных шаров более, чем белых, то я объявил, что баллотироваться не буду и подам письменный мой отзыв. Против меня сильная партия, которая была бы очень довольна подвергнуть меня неприятности неизбрания. Что это за люди? Разумеется, ультралибералы, остатки Спасовичей, Кавелиных, Костомаровых и пр. Но их так много, что перевес на их стороне будет без сомнения.

Жаль мне расставаться с университетом, которому много принесено мною жертв и для которого я трудился добросовестно. А старшие профессоры что же? Это почти всё люди ничтожные по характеру, которые очень тоже не прочь нагадить своему товарищу единственно за то, что он неизменно выдвигался вперед. Впрочем, есть ли кто-нибудь из них, который бы чем-нибудь не был мною обижен во время оно, когда я в министерстве был силою? Но не это меня огорчает, — я слишком хорошо знаю людей, чтобы ожидать от них чего-нибудь, кроме желания гадить, — а так просто грустно...

Все ближе и ближе день моего уничтожения. Судьба обрезывает одну ветвь за другою с дерева, которое непременно засыхает. Но да не найдет она меня малодушным и жалким! Жизнь моя была, конечно, не иное что, как ошибка. Я должен понести за это кару на моем сердце; пусть же оно одно и знает про то.

Мне чрезвычайно нравится изречение Веспасиана: «Император должен умирать стоя». Почему же этого нельзя применить ко всякому сколько-нибудь мужественному и честному человеку!

23. Пятница. Мое великодушие не должно простираться до того, чтобы доставить многим удовольствие положить мне черный шар.

Но, по совести говоря, почему ко мне такое недоброжелательство? Многим я был полезен, никому, могу сказать торжественно, с глубочайшим убеждением совести, никому не был вреден. Но, может быть, они в самом деле считают меня отставшим для науки, следовательно действуют против

меня тоже на основании добросовестного убеждения? Конечно, говоря друг с другом об этом, они, как римские авгуры, должны закрывать головы, чтобы не дать заметить своего смеха. Нет! Мое убеждение едва ли не вернее, то есть что человек создан с инстинктом, каким не наделено ни одно животное, — с инстинктом пожирать подобных себе.

А выставлять они будут то, что мой образ мыслей слишком консервативен для такого либерального университета, каким сделался в последнее время Петербургский.

А многим не шутя колет глаза даже моя Анненская звезда.

24. Суббота. Обычное заседание в Академии наук.

Получил письмо от Погодина, который пишет, что когда он сказал Каткову о моей статье, он схватил себя за волосы, пошли извинения и пр. Погодин и от себя просит извинить Каткова. Впрочем, последний говорит, что он находит необходимым сделать в статье некоторые изменения. Я думаю, что это пустяки и только предлог к оправданию. Как мне поступить в этом случае? Подумаю и решусь.

30. Пятница. Сегодня обедало у меня человек до тридцати по случаю именин, моих и Саши. Я ужасно устал. Вечером гости разъехались довольно рано, чему я был очень рад.

31. Суббота. Заседание в факультете. Я объявил, что баллотироваться не намерен. Но, по наведении справки, оказалось, что баллотировка и не нужна. Несколько месяцев остается мне дослужить до второго пятилетия.

Сентябрь 1. Воскресенье. Прошедший месяц был не только августейший, но и всемилостивейший! Первые признаки сентября, что стало немного холоднее. Однако все-таки 13° тепла.

Каковы бы ни были проекты общественных преобразований и усовершенствований, но ни один из них не устоит пред голосом разума, если не признает главными руководящими началами — начала нравственности и справедливости.

2. Понедельник. В факультетском собрании было положено, чтобы каждый профессор определил, сколько он будет читать лекций. Так как теперь будут открыты только первые курсы, то каждый профессор должен ограничиться двумя, не более. Я намерен прочитать моим слушателям

в первый семестр (который для меня, собственно, один и есть, потому что в январе 1864 года я выслуживаю уже второе пятилетие) «Введение в литературу и историю ее», что будет заключать в себе основные идеи литературы и истории ее вообще и русской в особенности. В этом смысле надо будет представить и план этих интересных чтений. Это последний мой труд для университета.

Был назначен совет для выбора ректора, но не знаю, почему-то отменен, и я даром проездился в университет.

Поговаривают о выборе в ректоры меня или ‹Э. Х.› Ленца. Что касается меня, то это пустяки. Против меня, во-первых, существует сильная партия, и во-вторых, я и оканчиваю службу мою при университете.

3. Вторник. Вчера получил письмо от Гилярова. Катков извиняется тем, что он раздумывал все о статье, — ему не нравится, что я считаю молодое поколение какою-то корпорацией. Это сущий вздор и нелепость. Буду отвечать Гилярову, чтоб он похлопотал о скорейшем возвращении мне статьи.

5. Четверг. Проклятый день — весь в напряженной, а между тем глупой и бесплодной работе. В 10 часов утра я отправился в заседание Академии — одно из бесплоднейших заседаний в мире, потом в университет для бесплоднейшего экзамена каких-то болванов, которые хотят быть кандидатами и, без сомнения, достигнут этого. Все это продолжалось до половины второго часа, и я едва успел прибежать в Совет министерства внутренних дел, где через несколько минут открылось заседание, продолжавшееся на сей раз не так долго, до четырех часов. Затем зашел к Доминику, где за полтора рубля оставлен полуголодным. Что за мерзость эти обеды в наших отелях! Они подают обыкновенно пять блюд, гнусно изготовленных и из какого материала — богу единому да повару известно. А что бы сделать три блюда, да порядочных?

Выкурив сигару, отправился я в заседание совета университета, и там в буквальном смысле прозаседал до десяти часов с шести, толкуя о многих бесплоднейших вещах. Ну, не проклятый ли день? Приехал домой в половине двенадцатого ночи. В совете был выбор ректора; избрали Ленца 22 голосами против 3-х. Я получил 8 шаров. Но были и менее меня получившие, и их было много.

6. Пятница. Я никогда не дойду до того, чтобы мне не принимать самого теплого и глубокого участия в делах

человеческих, в их скорбях и усовершенствовании. Но я решительно не в состоянии питать уважения ни к их судьбе, ни к их нравам. Мне кажется первая в высшей степени ничтожною, а вторые — в высшей степени мелкими, пустыми, лишенными всякого морального достоинства. Эгоизм, ложь, лицемерие, тщеславие и корысть суть главные их двигатели. Оптимисты ссылаются на некоторые благородные черты, проявляющиеся то там, то сям; но они мелькают именно как черты, лишенные определенного и полного образа. Характеров, которые одни составляют полного и хорошо организованного, здорового и сильного человека, вовсе нет. Ум как будто бы для того только и существует у них, чтобы составлять нелепые теории, умствовать о том, чего они не знают и знать не могут, обманывать и плести более или менее удачную ткань для прикрытия своего тщеславия. Разумеется, я не веду с ними войны за их глупости и пороки; они не должны даже знать о моих сердечных к ним отношениях. На что им это знать? Но я не могу, зная их хорошо, питать ни уважения, ни доверия к ним. Я стараюсь обезопасить себя от их нападений, являюсь среди их вооруженным с ног до головы, чтобы не быть застигнутому ими врасплох, хотя не всегда с одинаковым успехом и благоразумием. Но по крайней мере ложь их меня не обольстит.

А между тем странно: первое впечатление мое при встрече с каждым человеком — это то, чтобы думать о нем хорошо и быть с ним в лучших отношениях. Прежде это служило для меня источником больших ошибок, но теперь я научился это впечатление держать в границах и не мешать предосторожностям.

Заседание в Академии наук.

8. *Воскресенье*. Вечером приехал ко мне ‹К. И.› Рудницкий, которого увольняют от управления департаментом по государственному имуществу за то, что он поляк. Не знаю, подал ли он к этому какой-нибудь повод сам, или это начинает быть системою правительства. ‹А. А.› Зеленый говорил ему, что на него есть доносы, которые передал ему князь Долгорукий. Впрочем, ему ничего особенно худого не делают, да он этого и не заслужил. Конечно, в Рудницком сидит немного польского духа, но он не из революционных поляков. И вообще это благородный и умный человек. Он показывал мне письмо, которое намерен подать Зеленому. Я советовал ему кое-что в нем исправить. От него я узнал о полученной из Варшавы телеграмме, что во

время проезда по какой-то улице ‹Ф. Ф.› Берга под карету его брошена начиненная порохом граната, разрывом которой ранило его и убило и переранило восемь казаков.

9. Понедельник. Знакомыми надобно обзаводиться, как мебелью.

10. Вторник. Отослал письмо к Гилярову, все по поводу задержанной Катковым статьи моей. Я написал, что решительно не хочу иметь с ним никакого дела и прошу об одном — возвратить мне мою статью.

11. Среда. Нам недостает двух вещей — искусства и добросовестности.

Проработал утро над запискою в завтрашнее заседание Совета по делам печати по донесению Одесского цензурного комитета.

12. Четверг. Заседание в Академии наук, куда пришел пешком. Час с небольшим ходьбы. Тут, как и всегда, ничего. Эти господа совершенно зарылись, как мыши в подполье, в свои тесные кружки буквоедных и мелких фактических изысканий и высокомерно презирают всякого, кто смотрит немножко шире и выше. Надобно видеть, с каким умилением и сладострастием они предъявляют, что, например, у такого-то старого писателя буквы стоят не на том месте, как предполагалось (а писатель-то гроша железного не стоит), или такой-то вариант нашелся там-то и пр. О, добросовестные ослы, подбирающие сухие былия на ниве человеческих знаний и довольствующиеся этим, как сочною и питательною пищею!

Новые сведения из Варшавы показывают, что Берг не ранен и казаки не убиты, но двое или трое ранено да лошади. Там, впрочем, начинают принимать энергические меры для прекращения убийств и для подавления революции.

Напечатаны ноты трех держав и наши ответы, при которых приложен особый меморандум. Как первые пошлы, бесцветны и фальшивы, так наши ответы благородны, умны и дышат правдою. Меморандум особенно написан превосходно. Право, старая европейская дипломатия бледнеет перед нашею молодою. Да и то сказать, за нас — право и правда, за них — покушение к насилию и ложь.

16. Понедельник. Переезд с дачи.

Вечером заседание в совете университета. Очень много дела. Между прочим, выбирали декана филологического факультета. Выбрали опять Срезневского. Я охотно положил

ему белый шар. И тут выразилось недоброжелательство ко мне. Из четырех голосов я получил один, и то этот дан был мне Срезневским. Прочие получили по два утвердительных и по два отрицательных.

В это заседание я также поднял сильную борьбу с советом. В восточном факультете есть несколько исправляющих должность орд‹инарного› профессора, которые настоящими ординарными не могут быть, потому что не доктора. Еще при открытии университета получено было высочайшее повеление, чтобы не имеющие докторской степени профессора озаботились непременно приобретением ее. Восточный факультет представил, что так как в России вся восточная наука сосредоточивается в С.-П‹етербургском› университете, и именно в тех профессорах, которые не имеют степени доктора, то приходится этим совсем не быть ординарными профессорами, так как им и экзаменоваться было бы не у кого. А потому факультет просит, в уважение такого исключительного положения профессоров не докторов, исходатайствовать им на этот раз утверждение в ординарное профессорство и помимо докторства. Тут есть смысл, и я охотно подал мой голос в пользу этого ходатайства.

Но далее вдруг читают новое представление того же факультета, чтобы четырем или, кажется, пяти его профессорам дать докторские степени по причине их *знаменитости в ученом свете*. Надобно знать, что новый устав дает университетам право *возводить знаменитых ученых, приобретших всеобщую известность своими учеными трудами*, прямо в степень доктора, без испытания. Это что за речи? Университет открыл в своем сословии вдруг пять знаменитостей, о которых никто, кроме его, не знает. Очевидно, этим хотят подорвать силу закона. Я воспротивился сильно против такого злоупотребления, объявив, что это произведет самое невыгодное впечатление в публике.

Завязались горячие прения. Совет по слабости, кумовствам и проч. видимо склонялся в пользу предложения факультета. Однако некоторые поддерживали, хотя слабо, мою мысль. Решили отложить это дело до следующего заседания. Я принял твердое намерение не уступать и даже подать письменное мнение. Тут может пострадать честь университета. Просто это нахальство восточных профессоров, которые сами себя производят в знаменитости.

17. Вторник. Вчера я выбран в члены совета при попечителе. Я, конечно, не был бы выбран, если бы избрание происходило баллотировкою. Но это делалось так, по вызову председателя совета, который и спрашивал у профессора, не желает ли он принять на себя это звание. Я отвечал, что не считаю себя вправе отказываться от какого бы то ни было служебного назначения. Ну и положено представить меня вместе с прочими попечителю.

19. Четверг. Заседания в Академии и в Совете ‹по делам печати›. Ничего особенного.

23. Понедельник. У немцев наука часто превращается в ремесло. Они из себя выходят, чтобы приправить истины известные новыми комбинациями, представить их в новой форме, разжижить или сгустить их в своем уме, хотя от этого ни наука, ни образованность не подвигаются ни шагу вперед. И все это делается для того, чтобы в огромной конкуренции ученых удержать за собою такое-то место или добиться нового. Истины науки у них фабрикуются точно так же, как сукно, сапоги и пр.

24. Вторник. Бурное заседание в совете университета. По выслушивании некоторых дел и предложений выступил на сцену опять вопрос, поднятый восточным факультетом в прошедшее заседание, о производстве за з н а м е н и т о с т ь вдруг четырех докторов из его членов. Закипела страшная битва. Главными действующими лицами тут были я, Срезневский, ‹А. К.› Казембек и сами проектируемые доктора, которые сами защищали свою знаменитость и предъявляли свои права на докторство: ‹И. Н.› Березин — меньше всех, впрочем, — профессор еврейского языка ‹Д. А.› Хвольсон и другие.

Видя, что партия докторантов усиливается, я решился прочитать заготовленную мною по этому случаю записку, к чему послужили некоторым введением слова ‹И. Е.› Андриевского, который, как маленький куличок, обыкновенно бегает от одного убеждения к другому и сует свой носик во все мнения, добывая оттуда то, что ему нужно. Слова его относились к поддержанию чести университета и, следовательно, клонились в пользу моего предложения. Записка моя была выслушана с большим вниманием и вызвала страшнейшую бурю со стороны Срезневского. Впрочем, несмотря на ярость защиты своего факультетского предложения, Срезневский не вышел из пределов приличия. Он начал с сожаления, что должен поддерживать мнение,

противное моему, и настаивал на знаменитости предлагаемых докторантов. Я продолжал, с своей стороны, настаивать, что не нам самим следует признавать знаменитость своих сочленов, а надо, чтобы это сделал ученый свет. Но вот поднялся Казембек и прочитал свою записку, очень умно и остроумно написанную, которая окончательно добивала восточный факультет. Слова его как ориенталиста имели значительный вес.

Решено было спросить начальство: можно ли разуметь закон таким образом, что университет может признавать знаменитостями и давать по этой причине докторство своим собственным сочленам? Вопрос в сущности смешной, но так как факультет все-таки не достигал своей цели, то я и Казембек не противоречили этому решению. Срезневский видимо утих и смирился. Вообще спор хотя был жаркий, много кричали и шумели, однако ни дерзостей не было, ни скандала, кроме одного того, что лица, служившие поводом к прению, принимали в нем сами участие, разумеется в свою пользу. Я возвратился домой в одиннадцатом часу.

25. Среда. Прелестнейший день, какой и в июле редко встречается: 15° тепла. Да почти и весь сентябрь таков.

Хотел я оставить разум с его беспощадною логикою, с его суровыми истинами, вроде спинозианских, и прилепиться к чувству, чтобы жизнь не казалась такою страшною махинацией с столь же страшным выполнением законов необходимости. Но чувство, обещающее так много, само утомляется, колеблется и требует опоры в той же самой мысли, которая ничего слышать не хочет о чьих бы то ни было правах, кроме своих собственных. Прибегаю я к фантазии, но фантазия, обольстив меня на минутку своими блестящими миражами, сама преклоняется перед всесильною действительностью, которая или повелительно требует отправляться с грезами фантазии в дом сумасшедших, или покоряться своим превратностям. Как бы примирить разум, чувство и фантазию?

Заседание в Академии по случаю Уваровской премии. Я читал отчет о присуждении награды Островскому за его драму «Грех да беда на кого не живет». Отчет мой, кажется, был немного длинноват и слишком много ударял на теорию драмы.

26. Четверг. Дай бог, чтобы я ошибся, а мне кажется, война неизбежна, и жестоко те ошибаются, которые думают, что движение национальное, обнаружившееся у нас

в последнее время, в состоянии отстранить ее. Война за Польшу задумана Наполеоном уже во время или, может быть, ранее итальянской войны. Успех поощрил его только в этих планах, которые ригорическая история, по своему обычаю, назовет великими, но которые в сущности не иное что, как кровавый эгоизм Наполеоновской династии. Освободитель Италии и Польши, организатор Мексики должен быть, без сомнения, властелином Европы. Это та же завоевательная теория Наполеона I, только в другой форме. От Наполеонов не будет покоя Европе, пока она не сокрушит их вконец. Нынешний Наполеон считает себя прямым наследником и исполнителем замыслов первого. Он льстит массам демократическими тенденциями; льстит народностям независимостию, а между тем становится страшным деспотом всякого образованного либерализма. Он считает себя избранным орудием для совершения революции социальными реформами, которые каким-то чудесным образом должны произойти от него и через него.

27. Пятница. На выставке в Академии художеств. Очень хвалили картину ‹Н. Н.› Ге «Тайная вечеря».[275] Картина эта сделала на меня неприятное впечатление. Христос похож на какого-то молодого парня, кручинящегося о чем-то. Это они называют простотою в духе новейшего искусства. Ведь идеалов положено не иметь ни в поэзии, ни в живописи, хотя человек на каждом шагу их творит сотнями, потому что синтезис, идеализация в его природе. Если простота есть естественность, отсутствие преувеличений и лжи, то кто будет спорить против нее? Но если она есть не иное что, как так называемая натура, обнаженность от всех возвышенных проявлений и выражений духа, то что же она, как не пошлость, жалкое отражение наших ежедневных жалчайших сплетней, интересов и пр.? Ученические картины выставки суть ученические. Хороши две картины ‹И. К.› Айвазовского, особенно «Вечер в Малороссии».

28. Суббота. Разговор с Ф. И. Тютчевым. Он в близких отношениях к ‹А. М.› Горчакову и ко двору. Я изъявил ему опасения о войне; он не разделяет этих опасений, полагая, что Наполеон без Англии не начнет войны, а Англия не расположена к ней. Я спросил его, какое положение Австрия принимает в отношении к нам? Разумеется, она не выражает никаких определенных видов. Она боится России, но не хочет отстать и от Запада; боится также Франции. А Пруссия? Пруссия тяготеет к нам — это

натурально. Но идиотское нынешнее правление в ней делает из нее что-то нелепое. Германское единство — чистая и пустая фантазия.

Но я все-таки уверен, что война неизбежна. Наполеон с Италией и еще с кем-нибудь может ринуться на нас. Может быть, этого и добивается Англия «по дружбе» своей к Наполеону. Как бы то ни было, а мы не должны впасть в грубую ошибку, то есть считать войну невозможною и вследствие этого оставаться, как говорится, спустя рукава.

29. Воскресенье. Уж так созданы поляки, кто-то сказал, что они если не бунтовщики, то подлецы. Возникают иногда в сердце человеческом хорошие и благие стремления. Ты в радости спешишь протянуть им, так сказать, руки и — схватываешь воздух: они, едва родясь, улетели или тут же схвачены были другими, более сильными эгоистическими стремлениями и проглочены ими, как маленькие певчие птички поглощаются каким-нибудь коршуном.

Вечером посетил меня старинный мой университетский товарищ, бывший профессор политической экономии, Виктор Степанович Порошин. Получив по наследству богатое имение в Каменец-Подольской губернии лет тому пятнадцать назад, он продал его и постоянно уже жил в Париже, женат на какой-то гувернантке-француженке. Сюда он приехал поискать каких-нибудь занятий — если не в университете, так в Археографической комиссии или в Статистическом нашем бюро при министерстве внутренних дел. Он теперь преимущественно занимается историей России, особенно в соприкосновении ее с Польшею. Он являлся к разным высокостям здешним и знаменитостям и получал везде тощие и неопределенные ответы. Валуев принял его, по своему обыкновению, живописно, поговорил с ним на четырех языках и обещал подумать. Мы просидели и протолковали с Порошиным до половины первого ночи.

Октябрь 1. Вторник. Был у Вальца. Кроме объяснений о здоровье, разговор о заграничных толках о нас, так как Вальц на днях только возвратился из-за границы. Два мнения весьма основательные, основанные на этих толках, он мне передал. Первое, — что мы непременно должны действовать на общественное мнение Европы посредством прессы: до сих пор мы не умели обратить ее в свою пользу. Тут нужны и деньги. Второе — что было бы чрезвычайно полезно открыть Петербург для некоторых ученых съездов.

2. Среда. Опера «Любовный напиток» — очень милое,

грациозное создание Доницетти, сыгранное и спетое итальянскими артистами с обыкновенным искусством прелестными голосами. С удовольствием просидел часа три в театре.

Вчера в заседании Совета по делам книгопечатания сильное прение между председателем и Туруновым. Этот последний, в качестве председателя ‹Петербургского› цензурного комитета, пропустил карикатуру в «Искре» на цензуру, довольно едкую. Представлены в лице женщин две статьи: до цензуры — одна, и другая — после цензуры. Первая — молодая, прекрасная женщина, вторая — изуродованная и безобразная. Внизу подпись: до цензуры, после цензуры. Турунов очень неловко защищал пропуск этого, а Тройницкий очень логически сильно на него напирал.[276] Боже, Турунов решительно не понимает тонкостей литературного и цензурного дела! Вольно же было Валуеву поручить ему эту важную часть. Валуев, кажется, сам не лучше его понимает это дело. Так по крайней мере выходит из назначения Турунова.

Вечером Порошин и Тимофеев.

5. Суббота. Поутру телеграмма от Рудницкого из Берлина. Приехал благополучно.

6. Воскресенье. Сегодня молебен в университете по случаю открытия в нем лекций. Я опоздал, пришел уже к концу, но так как был только двенадцатый час в начале, а повестка была к одиннадцати часам. Затем в час диспут ‹В. В.› Бауера на степень доктора,[277] который, однакоже, я принужден был оставить, только что он начался. Дело происходило в большой зале, которая не была еще ни разу нынешнею осенью топлена, и в ней было порядочно холодно. Я помню, как однажды жестоко простудился в нетопленной аудитории университета, и потому, боясь того же и теперь, предался бегству. Вышел как-то нынешний день нелепо.

Бедная моя Катя опять заболела. Целая жизнь этого бедного существа не что иное, как переход от болезни к выздоровлению и от выздоровления к болезни.

7. Понедельник. Совет университета. Возвращался оттуда около десяти часов вечера. Ужасная буря, дождь, мрак и ни одного извозчика до Полицейского моста. Тут попался нам один, и мы с Срезневским уже доехали до Аничкова моста. Ночью пальба с крепости: видно, жителям взморья приходилось плохо.

8. Вторник. Начало лекций в Римско-католической академии. Там давно меня ожидали.

9. Среда. Первая моя лекция в университете. Большая аудитория буквально была битком набита. Лекция выслушана была с большим вниманием.

11. Пятница. Сегодня вооружен двумя рубашками, особенно для университетских зал, где до сих пор не топят.

Век радикально хочет изменить быт человечества. Он стремится разрушить старый нравственный и общественный порядок. В первом он уничтожает верования и духовность, противопоставляя им знание и материю. Во втором он видит повсеместное рабство и противопоставляет ему безусловную свободу и общество без власти, существующее и поддерживающееся единственно устройством отношений.

О людях надобно жалеть: они очень немощны — немощны, чтобы восторжествовать над своею слабостию, немощны, чтобы воспротивиться своей силе, которая влечет их далее возможности и разума.

Вторая лекция моя в университете и прочитанная прескверно, как я иногда и даже нередко читаю, когда мысль моя не проникнута одушевлением. Иногда решительно я бываю так настроен, что не могу, несмотря на все мои усилия, прочитать хорошо, а иногда мои иллюстрации бывают истинно блестящи. Не тогда они бывают особенно дурны, когда я к ним не готовлюсь, а именно, по крайней мере большею частию, тогда, когда я готовился к ним тщательно. С этим я борюсь во всю мою профессорскую карьеру. Следствием этого, разумеется, бывает крайнее недовольствие самим собою, доходящее нередко до уныния. Так и теперь. Но теперь я побеждаю это тягостное состояние духа чем-то вроде равнодушия к требованиям собственной личности, которая, однако, не лишает меня бодрости. Надо поставить себя выше успеха и неуспеха и не потворствовать самолюбию, жаждущему во всем первого и потому слишком чувствительному к последнему.

Вечером заседание в попечительском совете, где, между прочим, было рассуждаемо о дозволении так называемых учительских съездов наподобие германских. Ведь без подражания нам жить нельзя. Я выразил мнение, что этому препятствовать никоим образом не должно. Но и слишком восхищаться этим также не следует. Беда, однако, в том, что тут потребуются деньги от казны.

Без меня были у меня ‹П. К.› Щебальский, Воронов и ‹А. Н.› Майков. Последнего я еще застал. Был также ‹И. Н.› Крамской, с которым я имел прения о картине ‹Н. Н.› Ге. Он находит, что она — удивительная вещь, и я нахожу, что она удивительная по изображению Христа, который представлен в виде здорового, румяного парня, кручинящегося о какой-то неудаче. Майков согласен со мною, хотя находит, что во многом картина очень хороша. Да я о прочем не говорю, но Христос, Христос! Главное, она меня возмущает не сама собою, а тем, что служит выражением того грубого материализма, который хочет завладеть искусством, так же как нравственным порядком вещей.

13. Воскресенье. Утром заезжал к Ливотовой и Княжевичам, которых не застал дома.

16. Среда. Что вводит в заблуждение материалистов? Новейшие открытия в области физиологии и психологии действительно показали, что все наши способности действуют по законам, которые в теле находят свои приложения. И если на этом остановиться, то можно прийти к результатам, не очень утешительным для человека. Но в том-то и дело, что на этом остановиться нельзя. Все отправления наших способностей с их законом не иное что, как подготовка для ч е г о - т о д р у г о г о — «и над этой бездной ношашеся дух». Этого-то духа ни материалисты и никто разгадать никогда не может.

Лекция в университете поправила вторую. Но все-таки я не совсем еще доволен.

17. Четверг. Я постоянно был уверен и теперь остаюсь уверенным, что война неизбежна. Мысль об ослаблении России и об отстранении ее от дел Востока слишком засела в голове Наполеона и других, чтобы они могли от нее отказаться. Да и Польшу они слишком начинили горючими веществами, из которых примирения и тишины не сделаешь.

На днях напечатано распоряжение военного министерства о сильном комплектовании армии офицерами.[278] Неужели теперь только правительство наше не питает сомнения относительно войны? Кажется, и нехитрому уму это давно уже видно.

18. Пятница. В понедельник в совете университета было читано любопытное отношение ‹А. Л.› Потапова к министру, в котором передается показание одного польского юноши в Вильно, каким образом он находился в нашем уни-

верситете и что происходило в нем у студентов. Студенты разделились на три партии: красных, отчаянных революционеров, либералов, которые не прочь от революции только в крайнем случае, и умеренных, которые науку считали единственною целию своего пребывания в университете. Другие называли их в насмешку матрикулистами. Все три партии собирались в студенческой библиотеке в лице своих депутатов, где и толковали о материях важных, политических, социальных. Отсюда-то и возникли известные университетские беспорядки.

Вечером неожиданно Ребиндер из Москвы. Мы очень обрадовались друг другу. Он вообще в порядочном состоянии и физически и нравственно. Мистическое расположение исчезло. Он говорит, что нашел в Москве общество по себе между женщинами, которым очень доволен. Пробыл у меня часа два. Послезавтра обратно в Москву.

Когда с Валуевым кто-то завел речь о губернаторах, он сказал: «У меня нет губернаторов, а есть мои агенты». Оттого он и делает губернаторами дураков, как на днях сделал ‹Б. П.› Мансурова в Самару. Но бояться умных людей, избрать себе помощниками ‹дураков?› — не значит, кажется, много самому иметь ума.

20. Воскресенье. Поутру у ‹А. С.› Воронова. Головнин не хочет, чтобы Каткову отвечали с некоторою силою на его нападки на министерство народного просвещения, против которого он ратует свирепо и ругательно.[279] Я считаю такое попущение решительно неуместным там, где дело идет об отражении наглости и лжи, особенно в глазах нашей публики, которая смелость считает за право.

21. Понедельник. Правда ли, что прожито все, чем обыкновенно живут? Нет! Кажется, еще есть кое-какие остатки капитала: надо только благоразумно их употреблять.

Редко сыновья наследуют таланты своих отцов, но пороки очень часто.

24. Четверг. Заседание в Совете по делам печати. Мне поручено было рассмотреть просьбу ‹Н. Ф.› Павлова о дозволении вновь издать запрещенные в 1835 году его три повести. Я представил мое мнение, что две повести: «Аукцион» и «Именины» могут быть пропущены беспрепятственно, но что «Ятаган» я не считаю возможным пропустить. Повесть эта производит ужасное впечатление относительно гнета начальника над подчиненными, к чему дает полное средство военная дисциплина. Рассказ о происшествии вымышленном

легко превращается в тенденцию. Совет утвердил мое мнение. [280]

Потом я читал записку об усилившейся литературе по части раскола, особенно о современном его движении, об учреждении им своих епископий, об окружном названии могильских раскольников, что все печатается в «Русском вестнике». Я ставил повод, что правительство должно серьезно подумать о делах раскола, который после патриотических адресов раскольничьих общин действует открыто и усиливается создать свою церковную иерархию. Я полагал из этого один выход: если церковь не может признать этой иерархии, то она вместе с правительством должна оказать этому такую же терпимость, какая оказывается у нас прочим религиозным верованиям. При этом я полагал, однако, приостановиться печатанием статей о современных действиях раскола. Совет совершенно одобрил все. Что-то скажет министр? По словам Тройницкого, он намерен действовать в отношении к расколу тоже либеральным образом. [281]

Потом было суждение о непостижимой наглости «Московских ведомостей» и «‹Современной› летописи», в которых Катков доходил до неистовства в отрицании, например, министерства народного просвещения. Он просто ругается, как пьяный мужик. Председатель выразил мысль, что надобно будет просить меня составить записку об этом.

26. Суббота. Всякий фанатизм подозрителен: он непременно есть нечто искусственное, насильственное и экзальтированное.

27. Воскресенье. Заезжал к ‹Н. Х.› Бунге отдать ему визит, но не застал его дома. Потом у Пинто, который недавно женился на очень милой женщине.

28. Понедельник. Некоторые из профессоров (Кавелин, Спасович, Утин, Березин, Костомаров, Стасюлевич) вздумали было подготовлять юношество в университете к политической деятельности. Оно бы и ничего, да только они забыли про способность юношества считать себя готовым во всякое время. Да притом настоящая подготовка состоит в строгом и основательном изучении науки. Оттого и вышло, что юноши начали было действовать, когда совсем не были готовы; да и наделали чепухи.

Кажется, во мне никогда не кончится эта гамлетовская борьба между притязаниями на высшее нравственное

и умственное достоинство и слабосилием духа. Но так и быть! Все-таки надобно бросить оружие и кричать: «Пардон!»

Уж такова моя природа: в ней есть что-то слабое, всегда готовое преувеличить опасности и препятствия, и есть какая-то нравственная тягучесть, способность выбиваться из-под внутреннего гнета, каким бы он ни был.

Тронная речь Наполеона, по обыкновению его, замысловатая и ничего определенного не выражающая. Он, как страус, сует голову в конгресс, хотя вовсе не говорит, как он может состояться. Тут, впрочем, есть все: и мир, и война, комплименты Александру, и угрозы, и скромность, и наглое хвастовство, что Европа не может не принять его высочайшей воли за закон. Это должно и отуманить французов и понравиться им.

Я с самого восстания Польши не переставал верить в войну. Судя по нашим теперешним приготовлениям, в этом, кажется, и не может быть сомнения.

29. Вторник. Правительству нужно при себе держать собаку вроде Каткова, чтобы она лаяла на воров или на тех, которых можно подозревать в воровстве; но ее надобно держать на цепи. Взбесившись, она, кусая проходящих, может укусить и своих.

Надобно стараться делать хорошо вещи из такого материала, какой нам достался: ежели простой камень — из простого камня; мрамор — так из мрамора. Можно хорошо сидеть и на стуле из березового, а не красного дерева, хотя нет сомнения, что красное дерево наряднее.

30. Среда. Какая нелепая басня ходит по городу! Будто сосланный в Ярославль варшавский епископ Фелинский составил из живущих там поляков комплот, который заказал в Борисоглебском уезде огромное число полушубков для повстанцев; будто бы эти полушубки охотно были сшиты нашими мастерами и проч. Государь будто бы за это велел Ярославскую губернию переименовать в Ново-Псковскую и с ярославцев взять рекрут вместо 10 с тысячи по 20.

Ноября 1. Пятница. Пушкин, восхищаясь Баратынским, изощрял на нем свое беспристрастие: он знал, что он тут ничего не потеряет. Так Петр Великий украшал князя Ромодановского атрибутами своей власти, и никто, конечно, от этого не мог вместо настоящего царя в самом деле считать царем Ромодановского.

Вчера во II отделении Академии рассуждали об отчете к 29 декабря и по обычаю возложили на меня составление

его. Четвертый год сряду я уже исполняю эту неблагодарную работу. В этот раз Пекарский выразил мысль, чтобы отчеты наши не состояли из общих мест. Мысль совершенно основательная, но так как я должен был принять ее на свой счет, то сегодня я решился объяснить мой отказ по этому предмету. Меня. однакоже, не допустили до этого Срезневский и сам Пекарский. Последний очень горячо извинился, уверяя, что он имел в виду не меня, но плетневские отчеты. Тем дело кончилось. Я не счел себя вправе отказаться более от этого поручения, хотя оно очень неприятно.

3. Воскресенье. Утром у Бунге. Побеседовал с ним около часа; после отправился к графу Блудову, которого не застал дома: он поехал в Царское Село.

4. Понедельник. Совет в университете. Ничего особенного. Произвели в доктора ориенталиста ‹В. В.› Григорьева и выбрали в профессоры физиологии ‹Ф. В.› Овсянникова. Он получил 19 избирательных и 2 отрицательных.

7. Четверг. Без полной нравственной независимости от людского мнения не бывает ни хорошего истинного характера, ни истинно хорошего дела.

В Германии на стороне материализма: Молешот — его «Кругооборот жизни», где теза: «Без материи нет силы, без силы нет материи» — всемогущество превращений природы. Вагнер — его слова: «По мне, ни один из результатов физиологии не приводит меня к необходимости допустить душу, отдельную от тела; но порядок нравственный требует этой гипотезы». О религии: «В делах религии я люблю простую и наивную веру угольщика; в деле науки я считаю себя в числе лиц, которые любят как можно меньше сомневаться». Фогт — его «Картины животной жизни», «Физиологические письма», «Чтения о человеке», месте, «которое он занимает в кругу других явлений и в истории земли», «Мысль есть выделение мозга». Мозг выделяет мысль, как печень выделяет желчь и почки урину. Бюхнер, его «Kraft und Stoff», * Спиц, Э. Левенталь — «Сила не есть существенное условие материи, — это результат соединения частиц».. Фихте-сын, его «Антропология». Ульрици, его «Бог и природа». Гербарт Дробишь, Риттер, Тренделенбург, Юлиус Шиллер, Дрозбах, Титман, Михаэлис, Карл Фишер, Лотце, физиолог, защищающий спиритуализм.

* «Сила и материя» *(нем.)*. — *Ред.*

Три заседания — одно за другим: в Академии наук, в Совете по делам печати и в попечительском совете. В Совете по делам печати поднят был вопрос о нападках на студенческие правила в газетах; я говорил, что эти нападки действительно могут иметь весьма вредное влияние на юношество. Положено поручить мне составить об этом доклад.

В попечительском совете вопрос был: дозволят ли раскольникам заводить школы так, как они о том просят? Положено дозволить, не препятствуя им в то же время отдавать детей своих и в общие училища, не обязывая их учиться закону божию у православных священников. В своих же школах они могут ему учиться у своих попов или учителей.

8. *Пятница*. Вечером много дам, — красавица Старынкевич, или королева Анна, и проч.

10. *Воскресенье*. Поутру у Сухомлинова и ‹О. Ф.› Миллера.

11. *Понедельник*. Обед на именинах у Владимирского.

13. *Среда*. В опере — «Сила судьбы», вердиевское произведение с таинственными эффектами, шумом, громом и проч., как подобает у Верди. Сегодня и Барбо пела как-то плохо. Я уехал, не дождавшись четвертого акта.

14. *Четверг*. В университете пока тихо; юноши, повидимому, хотят заниматься. По крайней мере они усердно посещают лекции и ничего буйного не предпринимают. Они только поворчали на запрещение курить папиросы и, как им известно, что никакой закон у нас не крепок, то просто без шума и агитаций начали курить сперва на улице около университета, а потом и в разных уголках самого университета. Разумеется, начальство смотрит на это сквозь пальцы. Но в таком случае зачем же запрещать было? Впрочем, совет и хотел позволить, да министр не согласился, а теперь вот и вышло нарушение закона.

Во многих газетах были вообще осуждаемы правила, но это, кажется, так, ради оппозиции всему, что делается правительством. Но это пока, повидимому, не производит впечатления на юношество.

Сверху собачья старость и разврат, снизу — грубое и глубокое невежество. Мудрено ли, что Европа считает нас варварами?

15. *Пятница*. Известная доля легкомыслия необходима, чтобы не дать нам слишком погрузиться в тревожные и мрачные думы.

Вечером ‹И. В.› Вернадский и ‹А.› Огильви.

16. Суббота. Поутру был у меня В. М. Княжевич и долго просидел.

Напечатаны имена лиц, участвовавших в поднесении образа М. Н. Муравьеву в его именины. Тут всё аристократические имена, начиная графом Блудовым и оканчивая Помпеем Батюшковым. Гуманнейшему генерал-губернатору Суворову было предложено тоже участвовать в этом деле. Он отказался, сказав, что не может сделать этой чести такому людоеду, как Муравьев. О, гуманнейший генерал-губернатор! Как вы глупы! Неужели вы думаете, что бунты могут быть укрощаемы гуманными внушениями, наподобие назимовских, а не казнями? К несчастию, долго, а может быть и навсегда, на земле запутанные и связанные узлы страстей человеческих и глупостей будут рассекаемы мечом и топором. Почему же не повесить было нескольких ксендзов и отчаянных повстанцев, когда они вешали и мучили наших солдат, священников и всех, кто попадал к ним в руки? Но мстить не годится, скажете вы. Да разве правительство мстит? Оно наказывает. Но наказывает мягче, говорите вы. О, гуманнейший генерал-губернатор! Разве вы не знаете, что наказание действительное только может укрощать некоторых, а не то, которое сам преступник выбрал бы для себя? А к несчастию, оказываются действительными в некоторых случаях только виселицы. Правда, вы, гуманнейший генерал-губернатор, выпускаете из тюрем воров, потакаете всяким мошенникам и довели даже полицию в Петербурге до того, что ее никто в грош не ставит; но ведь это же нехорошо. Оттого в Петербурге всякому мошеннику жить легко, а худо только честным людям. В общественном деятеле самая гуманная черта есть справедливость, а вы, гуманнейший генерал-губернатор, есть не иное что, как слабоумный господин, ищущий популярности.

Тютчев написал, говорят, прекрасные стихи по поводу отказа гуманнейшего генерал-губернатора от участия в поднесении образа Муравьеву. Мне Владислав Максимович ‹Княжевич› обещал их прислать.[282]

17. Воскресенье. Польская свобода не стоит того, чтобы сами поляки так дорого за нее платили.

Как ужиться польскому элементу с русским, — вот вопрос. А они обречены судьбами истории и территорий своих жить вместе, следовательно, уживаться. По закону вещей, сильнейший элемент должен быть преобладающим, — а сильнейшим здесь является русский. Вот чего поляки ни

понять, ни снести не могут. Полонизм и руссизм не могут слиться уже по одним религиозным причинам, но они могут соединиться. Нельзя не согласиться с тем, что этому соединению могут много, или, лучше сказать, исключительно, содействовать русские. Одними административными мерами этого достигнуть нельзя. Надобно, чтобы наш общественный дух стремился к этому соединению превосходством нравственным, превосходством образования своего и уравнением прав. Мысль о мщении должна быть выкинута из умов наших, как преступная. Но в состоянии ли наш общественный дух исполнить этv задачу? Увы! Я сильно опасаюсь противного.

18. Понедельник. Во времена софистов гуманный элемент начал вытеснять у греков их национальный элемент. Греки в понятиях много выигрывали, зато они столько же или еще более теряли в нравах, которые опирались на их национальность. Эта последняя, разлагаясь, терялась в общечеловеческом, как всякая индивидуальность, умирая, теряется в безбрежном океане и движении всеобщей жизни. Все исходит от общего и исчезает в общем.

Новое и старое. Новое или развивается органически из старого, или прививается к нему. Во всяком случае несправедлива мысль слишком жарких поборников нового, что все старое сгнило и что надобно радикально его отбросить, чтобы насадить на место его это новое. Если бы действительно все старое сгнило, то на чем же утвердили бы новое? Последнего не к чему было бы даже привить. Если народ не имеет ни преданий, ни стремлений к лучшему, так каким образом вы приложите к нему ваши идеи этого лучшего?

На обеде у вице-президента Академии медицинской И. Т. Глебова. Лукулловский обед! Он так пленил физиолога ‹Н. М.› Якубовича, что, вышед из-за стола после обеда, он обратился к толстяку-повару и обнял его. Повар этот принадлежит Английскому клубу, который славится своим столом более, чем какими-нибудь другими достоинствами. На обеде у Ивана Тимофеевича были все знаменитости медицинские, между прочим ‹П. А.› Дубовицкий, Цыцурин, ‹И. И.› Кабат, Якубович и пр. Все приукрашены эполетами генеральскими и звездами. Я один без звезды был, которой не надел, потому что не предполагал никак у скромного Ивана Тимофеевича такого помпезного обеда. К счастию, однако, все эти почтенные люди настолько были учтивы, что притворились, будто знают меня по имени,

и были ко мне любезны как нельзя более. С Дубовицким и Якубовичем я особенно познакомился. Члены этого медицинского общества, повидимому, очень дружны между собою. Праздник этот был дан по случаю именин маленького сына Ивана Тимофеевича. У него премилая жена, которая потеряла уже нескольких детей, и в том числе сына, говорят, прелестного и даровитого мальчика 14 лет, от чего почти чуть не сошла с ума. Теперь этот двухлетний ребенок ей как бы заменяет потерянных, и она не знает, как выразить свой восторг.

20. Среда. Поутру у ректора. Очень добрый, честный, благородный человек, но лишен вовсе правительственных и распорядительных способностей, так что он непременно должен будет зависеть от других.

Если я имел какие-нибудь успехи в жизни, то обязан за них не уму моему, не способностям, ни даже характеру или каким-нибудь предварительным соображениям и плану, а чистой случайности.

21. Четверг. Маленькие обиды чувствуются иногда сильнее больших.

Умер И. И. Давыдов в Москве, 15 ноября.

Наслаждение (проповедуемое материалистами) есть нечто другое, нежели довольство самим собою (своим внутренним миром и своим бытием). Оно состоит в беспрерывном, так сказать, поглощении того, что нам приятно, в беспрерывном ощущении одного того, что соответствует нашим желаниям; довольство возможно и при отсутствии приятных ощущений. Оно состоит в сознании того, что мы живем и поступаем сообразно с идеями, которые мы признали за начало и закат нашей деятельности. Начало наслаждения ложно уже потому, что оно неосуществимо; ему противятся условия природы и условия нашего существования. Если бы, наконец, человек вполне проник в таинства природы посредством науки, то он должен бы увидеть, что она не всегда и не во всем готова удовлетворить его требованиям. Никогда она не сделается только орудием его, а не достигши этого, человек не в состоянии заключиться в одной сфере своих желаний, своих наслаждений. Таким образом, он всегда будет в необходимости, кроме начала наслаждения, принимать для своих действий какое-то другое начало. Говорить, что наслаждение можно находить и в терпении, в мужественном перенесении неизбежных страданий, — значит играть словами или лгать самому себе.

22. Пятница. Вот уже более двух недель, как продолжаются прискорбные толки о прекращении в Государственном банке платежей звонкою монетою. Это взволновало весь город или, лучше сказать, всю Россию. Винят министерство финансов: ‹М. X.› Рейтерна, ‹Е. И.› Ламанского, Штиглица, который теперь уехал за границу для каких-то финансовых операций, и об нем говорят, что он бежал. Слухи носятся даже, будто Рейтерн увольняется. Одна газета даже советует ему застрелиться. Словом, в денежном и промышленном мире страшная суматоха. [283]

Вечером Вильский с женою.

23. Суббота. Обедал у графа Блудова. Я давно не видал старика, кажется с того времени, как я виделся с ним в нашей церкви в Париже. Он ветшает. Прежде после обеда он обыкновенно разливался речами, как колокольчик, а теперь немножко поговорил со мною, ‹М. О.› Кояловичем, да и заснул в креслах. Антонину Дмитриевну ‹Блудову› принесли в креслах в гостиную: она почти совсем не владеет ногами. Хотя во всем прочем здорова, как деревенская работящая девка. После обеда еще оставался часа два.

24. Воскресенье. Поутру у Делянова и Тютчева. У последнего встретил ‹А. А.› Жандра, на днях приехавшего из Киева. Он говорит, что сначала ‹Н. Н.› Анненков тоже хотел действовать гуманным и миротворительным образом (наподобие Назимова, верно?), но, наконец, убедился в решительной невозможности этой системы с поляками. По мнению Жандра, который хорошо знает край, потому что много лет служит там, единственный способ умиротворить страну — это истребить дотла польский элемент. Они непримиримы во вражде к нам и непоколебимы в уверенности, что польское королевство и может и должно существовать в пределах, существовавших до раздела. Массу русского и малороссийского народа тех губерний они считают за совершенное ничто и думают, что Польша — это шляхетство. Между тем народ страшно их ненавидит, и если бы не правительство, то в первом взрыве восстания он растерзал бы каждого поляка. Из всего этого следует, что между двумя национальностями не может быть других отношений, кроме радикального истребления одной другою. Россия, разумеется, не может согласиться на уничтожение себя, и как она сильнее, то дело должно кончиться истреблением польской национальности. Кажется, и правительство, наконец, поняло эту печальную необходимость и начинает принимать меры,

ей соответствующие. Мелкую безземельную или малоземельную шляхту оно намерено переселить в Оренбургскую, Самарскую и другие губернии, а богатых помещиков заставит продать свои поместья русским.

25. Понедельник. В совете университета. Ничего особенного.

27. Среда. Работы — составление отчета по Академии, записка в Совет по делам печати. Все это трудная работа, потому что все — пустяки. Против обычая моего, я как-то мало о них забочусь, а между тем они, как говорится, на носу стоят. Вечером в опере. Давали прелестную, грациозную «Ченерентолу» и пели прекрасно, как всегда: Кальцолари, Нантье-Дидье и пр. [284]

28. Четверг. Не был сегодня в заседании Академии — занимался составлением записки по поводу отзывов газет об университетских правилах и напрасно только потерял восемь рублей: [285] вопрос об этом отложен до следующего заседания.

В заседании Совета ‹по делам печати› Пржецлавский требовал, чтоб запретили такие книги для народного чтения, как сонники, гадательные и пр. «Для чего?» — спросил я. «Чтобы не усиливать народных предрассудков». — «Предрассудки эти будут и без книг, пока народ будет в невежестве. Запрещением вы тут ничего не сделаете, а только раздражите умы». Совет отверг предложение Пржецлавского.

Гончаров указал на одно место в «Дне», где повествуется, каким образом один православный священник (кажется, в Волынской губернии) в имении графини Потоцкой доказывал в церкви крестьянам, что они свободой своей обязаны единственно своей помещице, и кончил тем, что провозгласил в молитве ее имя, как провозглашаются имена лиц царствующего дома. Совет определил довести об этом до сведения министра.

«Московские ведомости» сильно нападают на киевского генерал-губернатора Анненкова. [286]

29. Пятница. Вечером Ульшевский с женой.

30. Суббота. Бедная моя Катя с самого переезда с дачи страдает. Это одна из тех жестоких скорбей жизни, против которых бессильны все средства. Вся жизнь ее есть не иное что, как страдание.

Декабря 1. Воскресенье. Проклятый отчет меня давит. Записку я сегодня уже кончил.

Иметь власть хорошо не для того, чтобы выситься над другими, а для того, чтобы, держа людей в страхе, препятствовать им делать тебе пакости, заставлять их чувствовать, что они не могут сделать тебе зло безнаказанно.

Вот И. И. Давыдов, скончавшись, такую нехорошую память по себе оставил, что вчера члены Академии нашего отделения просили меня вовсе не говорить о нем в отчете, так как дурно, то есть правдиво, о нем что-нибудь сказать, особенно с кафедры, не приходится, а хорошее все было бы сочтено за ложь, и никто бы этому не поверил. В самом деле, однако, он так был виноват? Разумеется, он был не лучше, да и не хуже других. Хуже других он был только тем, что был невоздержнее в господствующих или главных своих пороках — корыстолюбии и мелком честолюбии. А невоздержность эта не то чтобы заставляла его делать другим зло, — он вовсе не был зол по природе своей, — а ‹заставляла› унижать себя пресмыкательством перед сильными и исканиями. Я всегда называл его ловцом пред господом житейских благ. Но он готов был даже услуживать другим, делать нечто вроде добра им, конечно, если это не было противно его выгодам. Да кто же иначе и поступает? Опять повторяю, он превосходил всех других невоздержанием в своих пороках, а не самыми пороками. Умей он немножко себя обуздывать, он оставался бы тем, чем был, не казавшись таковым, и оставил бы по себе память человека даровитого и почтенного, потому что он был очень даровит. Многие были лучше его единственно потому, что были скрытнее его. [287]

Поутру у Вернадского.

Человек бывает хорош, и то ненадолго, только один раз в жизни — в молодости. Потом он становится все хуже и хуже, портится, воняет, — и если его не просолить всего насквозь, до костей, высшими верованиями, идеями, то задолго до смерти он загноится и совершенно протухнет.

2. *Понедельник.* Я не знаю, почему хуже оказывать какие-нибудь услуги с намерением получить за них известную сумму денег, нежели снискать протекцию, получить место и т. п.

В уме у нас нет недостатка, но величайший недостаток в характере и честности.

Статья Прудона о трактатах 1815 года, разразившаяся страшною грозою над поляками, производит большое впечатление. [288]

Вчера был у меня поутру Ф. И. Тютчев и подтвердил известие, что недалеко от Варшавы, на железной дороге, ‹Ф. Ф.› Трепов накрыл четырнадцать членов главного революционного правления.

Был Ф. В. Чижов, на несколько дней приехавший из Москвы. Он сделался совершенно промышленным человеком. У него седенькая небольшая бородка клином.

Вечер у ‹Е. А.› Ахматовой, издательницы периодического собрания романов. Тут были два Стасовы — один ‹В. В.› с огромною бородою и огромнейшим чувством самодовольства и высокомерием на лице, другой ‹Д. В.› поскромнее и с меньшею бородкою; Гаевский Виктор, от которого я теперь только узнал, что он под следствием как замешанный в дело о сношениях с Герценом, которое производится в сенате. Он поэтому и не служит, надеясь, впрочем, что его оправдают, в чем я сильно сомневаюсь: ибо едва ли он действительно не скомпрометировал себя сношениями с Герценом.[289] Было время, когда наши либералы считали за особенную честь прикоснуться к этому подлецу писаньем или рукопожатием, для чего нарочно ездили в Лондон, где раболепски выпрашивали у него улыбки и милостивые слова. У Ахматовой был также Краевский, с которым на этот раз можно было вести беседу, ибо он как-то менее обыкновенного был умен и важен. Я просидел у Ахматовой до половины двенадцатого часа.

4. Среда. Вместо того чтобы сколь можно более умягчить и облегчить приятельские смерти, человек обставил их всевозможными декорациями ужасов, как, например, в наших похоронах, где поэзия скорби доведена, кажется, до последней степени. К чему это? Эти сентиментальные обряды, это вытягивающее душу пение, эти молитвы о вечном покое, то есть о небытии и недействии, — во сто раз представляют страшнее и безотраднее то, для чего нужнее человеку мужество и тихая покорность законам природы.

Лекция в университете. Доволен.

В опере. Давали «Фаворитку». Барбо была чудо хороша — и как певица и как актриса.[290]

5. Четверг. Надобно очень любить Россию, чтобы не чувствовать отвращения ко всей безалаберности нашей администрации, умственному и нравственному разврату так называемого образованного общества, глубокому невежеству и дикости масс и вообще отсутствию всякого понятия законности и честности во всем народе. По глубокому сознанию

моему могу сказать, что я люблю отечество и сколько мог служил ему честно. Но как часто моей любви приходится бежать под защиту великодушия от тысячи бесчестных или бестолковых явлений нашей общественности. Сколько раз эта любовь была оскорблена самыми недостойными поступками моих соотчичей, а более всего их грубейшим нарушением правил самой обыкновенной общественной честности. Довериться в чем бы то ни было своему соотечественнику в большом деле или малом — значит непременно остаться в дураках. Когда и как мы выйдем из этого?

Что ни говори оптимисты, а война у нас на носу. В политической атмосфере так сперся воздух, столько накопилось всяких испарений, что все это должно непременно разрешиться грозою. Я с самого восстания Польши ни на одну минуту не сомневался в неизбежности войны.

Что такое наука? Опыт, наблюдение, система и вывод.

Несмотря на прославленную гуманность века, вражда и разъединение между людьми, кажется, никогда не доходили до такой степени, как ныне. Чем это объяснить?

Самостоятельность, свобода личности, без сомнения, великое приобретение современной цивилизации; но они же порождают этот дух разъединения, дух обособления, по которому каждый не только считает себя заимодателем самого себя, но и всех других людей.

Можно ли на принципе взаимной выгоды основать союз общественный и основать мир и порядок между людьми — на что так горячо надеются социалисты? Во-первых, понятие о выгоде очень неопределенно и широко, так что, идя от него, легко можно перешагнуть рубеж, отделяющий мои выгоды от выгод других, и, как говорится, запустить лапу в чужой карман. Во-вторых, выгоды так изменчивы и разнообразны, что чрезвычайно трудно установить для них какое-нибудь общее мерило, которое бы одного заставило уважать в другом то, что ему принадлежит и прилично. То, что я считаю для другого неважным, в сущности может быть очень важным для него, и наоборот.

Кто в состоянии не только сказать, но и исполнить: «на земли мир и в человецех благоволение»!

6. Пятница. Если женщина захочет завладеть теми же правами, как мужчина, ей придется хуже: она лишится тех услуг и покровительства, которые получает от мужчины взамен некоторых недостающих ей прав. Мне кажется, таким образом, что те худую услугу ей оказывают, которые

стараются о так называемой ее эмансипации и об уравнении прав ее с правами мужчины.

Где неодинаковы силы, там неодинаковы и права.

Краевский мне говорил, что ‹Ф. Ф.› Стендер, попечитель Казанского университета, сделал представление министру Головнину с жалобою на газеты, особенно на «Голос», что они восстановляют юношество против университета, нападая на составленные им для них правила. Головнин призвал по поводу этого на совещание Краевского и прочитал ему проект ответа своего Стендеру, где он делает ему почти выговор и объявляет, что печать хорошо делает, замечая недостатки управления по министерству нар‹одного› просвещения, что он всегда этого желал и пр. Что же такое Головнин этот — подлец или дурак? Он один в своем либерализме не понимает, что брань на студенческие правила вовсе не составляет тех замечаний, которыми бы могло воспользоваться министерство, и что, напротив, она очень вредна, поселяя в молодых людях, и без того слишком своевольных, нерасположение к законам университета, ограничивающим их поведение и произвол.

9. Понедельник. Что если Наполеон, наскучив всеобщим к нему нерасположением и недоверчивостию европейских правительств, вздумает им бросить в глаза всеобщую революцию в демократическом и социальном духе? Ведь он недаром считает себя главою демократического союза в Европе и покровителем национальностей.

В совете университета. Выбрали в ординарные профессоры истории Востока ‹В. В.› Григорьева, а в профессоры ботаники ‹А. Н.› Бекетова. Я, разумеется, положил на обоих белые шары, хотя уверен, что особенно последний охотно нагадил бы мне черным шариком, если бы я вздумал баллотироваться еще на пять лет профессуры. Но в факультете я воспротивился проекту сделать вдруг несколько докторов, в том числе и ‹П. М.› Леонтьева. Зачем, сказал я, вдруг делать несколько докторов, так опрометчиво и так нескромно пользоваться правом, которое вверено нам для серьезного и справедливого пользования? Будем немножко умереннее, чтобы не уронить самого принципа. Соблюдем по крайней мере постепенность: сперва одного, потом другого, а не вдруг четырех или пять. ‹Н. М.› Благовещенский сильно настаивал на пожаловании в доктора ‹Н. И.› Костомарова. Я не противоречил этому, хотя сердце мое не лежит к этому фальшивому человеку, который на

публичной лекции предал анафеме тех, которые мечтают об отделении Малороссии, а сам погряз в сепаратизме и славянской федерации.

Еще выбрали архитектора ‹Ф. С.› Харламова. Было шесть кандидатов и один, за которого стоял ректор.

10. Вторник. Говорят о Кербице и его сильном участии в восстании польском и арестовании.

11. Среда. Опера «Маскарад».[291]

12. Четверг. Президент Академии навязывает нам выбор в члены-корреспонденты отделения Каткова и ‹И. С.› Аксакова. Отделение, как и вся Академия, сильно на это негодует. Сверх того, графу Блудову хочется, чтобы мы избрали в почетные члены Рейтерна и ‹В. П.› Буткова. В сегодняшнем заседании отделения было о всем этом рассуждение. Только один Срезневский не против домогательств президента. ‹К. С.› Веселовский и ‹Я. К.› Грот поехали к Блудову попытаться, нельзя ли отклонить его от несчастной мысли выбрать Каткова. Против Аксакова не столько восстают.[292] Разумеется, я не могу быть в пользу Каткова. Вообще странное и нелепое положение Академии, что она должна расточать знаки своего уважения по приказанию начальства. Но это ли одни странности у нас?

Говорят, что Россия есть страна чиновников без правосудия и хорошего управления. Теперь можно будет сказать, что она есть и страна докторов и членов ученых обществ без науки.

Жаль, что корреспонденты отделений не баллотируются в общем собрании Академии. В этом случае можно было бы, наверное, предполагать, что креатуры президента прогулялись бы на вороных. У мира шея толста: ее не так-то легко перерубить топором власти, как у одного или двух человек.

Достижение счастия, поставляемого главною целию в школе утилитаров, требует необходимо известных ограничений, которые невозможны без свободного решения воли. Нужно отказаться нередко от удовольствия не ради высшего или другого удовольствия, а ради исполнения долга или содействия благу других и проч. Следовательно, счастье здесь отодвигается на второй план, и место его заступает другое начало.

«Но ведь это-то самопожертвование и составляет один из элементов счастия?» А если нет? Если я чувствую болезненно эту необходимость пожертвования?

Милль и другие принимают за основание начала пользы *просвещенный эгоизм*.

Есть поступки, которых нельзя назвать ни воровством, ни подлостию, никакими другими унизительными именами, поступки, которых нельзя предать ни общественному позору, ни правосудию, но которые тем не менее заставляют сомневаться в благоустроенности души того, кто их себе позволяет, так что вы теряете невольно доверие или к уму, или к характеру его, или к тому и другому вместе.

Граф Блудов решительно не сделал ничего полезного для Академии, а вред он успел сделать. Во-первых, он навязал Академии, вопреки закону и ее выгодам, вместо Краевского для газеты ‹В. Ф.› Корша [293] и, во-вторых, надавал ей почетных членов вроде графа ‹В. Ф.› Адлерберга, Буткова и проч.

14. Суббота. Читаю, между прочим, «Записки» Ермолова. Они ничего не прибавляют к его славе. Язык чрезвычайно напыщенный, и резкие приговоры о всех деятелях двенадцатого года не возбуждают особенного доверия. [294]

Вчера в заседании Академии, по предложению графа Блудова, выбрали в почетные члены Буткова и Рейтерна, а сама Академия — ‹В. И.› Даля. Стыдно президенту, что он навязал нам такого господина, как Бутков. Это позор для Академии. А как было бы кстати выбрать князя ‹А. М.› Горчакова.

От Каткова мы кое-как отделались, представив причину, что комплект членов-корреспондентов уже полон и нет вакансий, хотя, собственно говоря, это не причина. Выбрали ‹А. Н.› Островского, Н. С. Тихонравова и ‹Д.› Даничича в Белграде.

Знание, право, законность: отсюда нравственное уважение самих себя и всех принципов человечества. Вот что более всего нам нужно, а не демократические, аристократические или социальные тенденции.

Обедали у Дена: я, Арсеньев, Гончаров, Краевский, Фукс, Ржевский, Клевецкий и Розенгейм.

15. Воскресенье. Вечером литературное чтение у Фуксиньки. Читал роман свой некто ‹Н. П.› Жандр. Этот Жандр лет тому семь или восемь назад читал уже мне отрывки его. Он сочинял его лет восемнадцать и, несчастный, пришел к убеждению, что произведение его составит эпоху в русской литературе. Три часа, с десяти до половины второго, он морил нас плохими стихами и избитым сюжетом

о том, как княжна Алина сначала любила некоего Сергея, как потом влюбилась в другого некоего графа, как этот граф оказался бездельником и как эта глупая женщина была наказана за свою ветреность тем, что принуждена была умереть от чахотки; как Сергей, тоже больной, очутился у ее предсмертной постели и т. д. Сперва мне было жаль чтеца-автора, как жаль всякого человека, который напрашивается на публичное осрамление. Потом меня одолела скука, а затем — досада.

Тут я познакомился со ‹В. Д.› Скарятиным. Очень умная и привлекательная физиономия. Я приехал домой в третьем часу ночи, отказавшись от ужина, предложенного гостеприимным хозяином.

Диспут в университете на докторскую степень ‹И. Н.› Березина и ‹В. В.› Васильева. Оба меня упрекнули, что это я заставил их диспутоваться. «Ничего, господа, — сказал я, — вы возьмете свое в честном бою и нам доставите удовольствие вас послушать».

Диспут в университете на докторскую степень ‹И. Н.› касался слишком специальных вопросов. Березин защищал свои тезы с достоинством, выказывая в себе человека даже с внешним образованием. Васильев — немножко дубовато, но видно, что у него огромные знания в его предмете, то есть в китайском языке. Но он горячо любит свой предмет, что не видно в Березине. Разумеется, они оба были удостоены степени доктора восточных языков, и я искренно поздравил их. [295]

18. Среда. В опере. Было «Риголетто» Верди. Если шум, треск, крики и завывание составить могут хорошую оперу, то «Риголетто», без сомнения, опера очень хорошая.

19. Четверг. Неумолкаемые слухи о Кербице: иные говорят, что он уже в здешней крепости; другие — что он арестован и находится в Варшаве; третьи — что он там только под строгим наблюдением полиции; а есть и такие, которые уверяют, что он уже и казнен. Попробуйте поверить чему-нибудь из этих рассказов, в которых рассказчик уверяет, что он все это слышал от достовернейших людей, чуть не от самого Кербица, который ему одному даже пересказал, как его повесили, — попробуйте поверить, и вы останетесь в дураках.

Совет по делам печати. Я читал записку мою о статьях, напечатанных в разных газетах против студенческих правил. Непостижимо поведение здесь Головнина. Правила состав-

лены почти буквально по его циркуляру, а между тем он велит писать на них опровержения, сам исправляет их, делает строгий выговор казанскому попечителю за то, что тот донес ему о вредных действиях, производимых этими статьями на студентов. Что это такое: тупоумие, подлость ли или еще что-нибудь другое? Между тем он представляет все действия пред государем в благовидном свете. Есть ли на свете подобное правительство, где была бы допущена такая бестолковость? Муравьев нещадно вешает и разоряет помещиков в своем округе, а в соседних с ним губерниях, управляемых Анненковым, зло проникло тоже глубоко в край, если не глубже, чем в Литве; там чуть не по головке гладят поляков. В Киеве перед носом генерал-губернатора продолжают носить траур. Вот сюда приехал Анненков; все думали, что он уже не возвратится к своему посту. Ничего не бывало — он опять туда едет для делания глупостей или для ничегонеделания. В «Московских ведомостях» прямо выставлена неспособность Анненкова; Ген, киевский гражд‹анский› губернатор, пустился защищать киевское управление и выразил, между прочим, ту мысль, что адреса, поданные в округе Муравьева, были вынуждены им и пр.

20. Пятница. Греч написал ко мне письмо, прося моего содействия о избрании его в члены Академии. Как тут содействовать, когда большая часть членов против него и помнит его действительные и вымышленные грехи? Я читал его письмо в отделении и, разумеется, встретил сильное противодействие, так что о предложении его в члены и думать нечего. Все это надобно старику передать как-нибудь помягче.

Лекция в университете, и, кажется, последняя. Праздниками я должен буду подать просьбу об увольнении меня, так как баллотироваться я не намерен, а баллотироваться не намерен потому, что не чувствую себя настолько великодушным, чтобы доставить недоброжелателям моим удовольствие набросать мне черных шаров. Но зачем и почему эти недоброжелатели? Право, не знаю. Я, конечно, не намерен сравнивать себя с Аристидом, но совершенно уверен, что многие бросят в урну осуждающие меня шары по той же причине, по которой афинянин желал бросить свой черепок против Аристида. Я уверен, что Андриевский, Березин и пр. будут в состоянии собрать достаточное число голосов, чтобы меня забаллотировать. Это так для меня достоверно, что

с моей стороны было бы большим неблагоразумием идти на явную неудачу и скандал.

21. Суббота. Отчет, несносный отчет.

Они роются в навозе и заднепроходной кишке науки и, конечно, полезны для нее. Худо только то, что они, во-первых, все испражнения человеческого ума считают за главное дело, а, во-вторых, себя самих за таких органов науки, в сравнении с которыми все другие ничего не значат.

А нечего делать! Вот я пишу академическую речь и должен, зажав нос, во всеуслышание восклицать: «Сор славянский! пыль родная! слаще ты, чем мед и сот!»

Вечер у Клеванова. Досадно! Хозяин удержал меня у себя до двух часов. Я приехал к нему после факультетского заседания, где мы экзаменовали ‹К. Н.› Бестужева-Рюмина и Добракова на звание магистров. Дома очень обо мне беспокоились, и Казимиру я нашел в слезах: я забыл ей сказать, что из университета проеду к Клеванову.

22. Воскресенье. Занимался весь день отчетом.

23. Понедельник. К чему приведет нас эта страшная деморализация сверху до самого низу? Внизу, конечно, меньше ее, но тут глубина невежества, совершенно варварское состояние, равняющее нас чуть не с краснокожими, и полнейшее отсутствие всяких понятий о долге, справедливости и законе — особенно о законе.

Я не верю в спокойствие наших университетов и добропорядочность учащегося в них юношества. Оно вступает в них с подготовленными понятиями и стремлениями, которые навевают на него время и явные и тайные прогрессисты. Университеты хотят опереться на науке; науку в среде своей сделать господствующею и, увлекши ею юношество, побороть в его сердце незрелые политические и социальные влечения. Мысль сама по себе основательная и верная. Но дело в том, что университеты не имеют силы для ее осуществления. Им недостает для этого двух главных вещей — единства и согласия корпорации профессорской, и, во-вторых, талантов в самих профессорах. Есть люди, достойные уважения, хорошие преподаватели: но этого мало для настоящего времени. Увлечению надобно противопоставить нечто равносильное, а этого-то равносильного и нет. И. И. Срезневский очень доволен, когда три или четыре студента, разумеется, из плохих или посредственных, с великою ревностию выписывают у него разные кавыки и юсы из старых шпаргалов,

и думает, что юноши зело прилежат учению книжному. Но он не видит, что делается вокруг его и за спиною его.

24. Вторник. Читал у Грота отчет свой, который, впрочем, не приведен еще в порядок. Тут были Срезневский и Билярский. Беда с такою работою, в которой каждый по мере сил своих и самолюбия хочет участвовать. Тот хочет арбуза, а этот соленых огурцов, а главное — все хотят, чтобы было сердито и дешево, а между тем у отделения решительно нет ничего, из чего бы можно было составить интересный для публики отчет. Языком и словесностию почти совсем не занимались, а каждый делал то, что случайно попадало ему в руки, — то в архиве, где он официально занимается, то для своих лекций и пр. Я возился с этими господами с двенадцати до трех часов и объявил им, что в последний (пятый) раз составляю отчет и ни за какие блага уже не примусь за эту смешную и неблагодарную работу.

25. Среда. Поутру боль в груди сильнее, кашель меньше, небольшой насморк. Посылал к Вальцу. Надобно знать, могу ли я выходить?

Был Вальц; велел остаться дома и велел принимать по две капли какого-то б р о м и н а через каждые два часа. Я думаю, что это вздор. Предписана диета.

26. Четверг. Нет! Этот глупый бром, как и все гомеопатические средства, чистая мистификация. Сегодня все то же.

К черту все бромы! Давайте мне что-нибудь посущественнее.

Вечером я бросил глупые гомеопатические капли и велел на грудь положить свиного жиру на сахарной синей бумаге да намазал жиром нос. Мне присоветовали также напиться отвару яблочного с розовыми листьями.

27. Пятница. Вальц по обыкновению обманул вчера, не приехал. Черт с ним! Он, кажется, теперь больше занят своими торговыми спекуляциями, чем больными. Тому назад недели три он просил у меня взаймы тысячи три. А где я их взял бы! Весь мой капитал состоит в билете Коммерческого банка в 2000 рублей; отдать их напропалую — значит быть дураком. Но он, кажется, на меня сердит за это. Это уже в другой раз, что он думал поживиться от меня деньгами. За визит я плачу ему исправно и более договорного. Но человек всегда свинья.

28. Суббота. Сегодня окончательно надобно исправить гнусный академический отчет к завтрашнему прочтению.

Вальц говорил вчера, что я могу выехать без малейшего опасения.

День провел дурно — отсутствие энергии, голова пуста и к вечеру и ночью болела. Между тем надобно было работать за гнусною речью, кое-что поправлять и кое-что выкидывать, переставлять и пр. Я диктовал, наконец, Казимире и насилу кончил в половине двенадцатого. Вечером написал еще записку к графу Блудову о том, почему я не мог к нему явиться для прочтения речи.

29. Воскресенье. Жизнь! Какая страшная бездна! Как не закружиться голове, заглядывая в нее!

Акт в Академии наук. Я приехал в половине первого с Тимофеевым, который зашел ко мне. Через несколько минут сказали, что приехал и президент наш, граф Блудов. Вышед в прихожую, я нашел этого бедного старика сидящим на стуле, в своей голубой ленте, в совершенном изнеможении. Он совершенно был похож на умершего или умирающего, тяжело дышал и стонал. Его утомил всход на лестницу. Когда немножко он оправился, я сказал ему, что как ни приятно нам видеть его в среде нашей, но он лучше сделал бы, если бы поберегся и остался дома. Отдохнув, он отправился в залу и сказал мне: «И вы приносите жертву, вы ведь тоже больны». Вскоре, однако, он оправился, и хотя с трудом, но храбро высидел все время и выслушал наши речи. По временам он обращался ко мне с шутливыми замечаниями: я сидел возле него на эстраде по левую руку, а вице-президент ‹В. Я.› Буняковский — по правую. Сначала я чувствовал себя порядочно, но потом в голове моей поднялось брожение, и я боялся, что мне сделается, если не дурно, так что-нибудь такое, что помешает мне выполнить мое дело. Наконец дошла очередь до меня. Речь мою я прочитал прескверно. Кроме того, что у меня не хватило голоса от моего проклятого гриппа, я беспрестанно спотыкался и путался. Чтобы не мучить себя и других, я пропускал многие места. Я возвратился домой в половине третьего, усталый и изможденный.

31. Вторник. Конец 1863 года.



1864

Январь 1. Среда. Принялся убирать свой кабинет и приводить в некоторый порядок книги, находящиеся у меня в ужаснейшем хаосе. К сожалению, место в кабинете моем не допускает расположить мою библиотеку так, чтобы я мог ею пользоваться. Теперь я иной нужной книги совсем не могу отыскать; все свалено в шкафах в куче. Мне хотелось хоть один шкаф очистить для необходимейших книг. Пренеприятная работа, сильно меня утомившая. Я хотел пойти погулять, но устал уже так, что не мог. Да и кое-кто приехал: например Барановский, дядя Марк, Глебов; с ними я заговорился и уже потерял охоту к прогулке.

2. Четверг. Весьма важный вопрос при определении какой-нибудь эпохи в истории: литература; что тут считалось в произведениях словесности хорошим, что трогало и одушевляло сердца, занимало умы. Иногда мысль должна быть обставлена иглами, чтобы они отбивали охоту нападать на нее.

3. Пятница. Грипп немного меньше, хотя продолжается.

6. Понедельник. Что ты не очень умный человек, я узнаю это из того, что ты считаешь себя очень умным.

Никогда, кажется, в Петербурге не совершалось столько мерзостей, как ныне, в управление гуманного болвана генерал-губернатора Суворова. Воровство, денное и ночное, в огромных размерах каждый день и каждую ночь разбой, пьянство, небывалое даже в России, так что пьяные толпами скитаются по улицам, валяются и дохнут как скоты, где

попало. Между опивающимися есть мальчики пятнадцати лет, а сегодня извозчик мне говорил, что он видел четырехлетнего ребенка. Всевозможные уличные беспорядки: скорая и сломя голову езда по улицам, вследствие которой беспрестанно случаются несчастия, стаи собак бродячих, как в Константинополе, и проч. Полиция до того распущена и обессилена, что ее решительно никто не слушается, и не раз видели, что извозчик или мужик барахтается и дерется с городовым, который хочет за какой-нибудь беспорядок повести его в часть. Воров, по приказанию генерал-губернатора, которые раза по три сидели за воровство в тюрьмах, выпускают тотчас, хотя бы у них нашли ворованные вещи. Недавно И. И. Домонтович сам слышал от городовых и других полицейских служителей, что не стоит ловить поджигателей и воров, потому что начальство выпускает их тотчас. По нескольку раз попадаются одни и те же лица в преступлениях. Полицмейстер Банаш, мне знакомый, говорит, что у него руки опускаются что-нибудь делать, потому что генерал-губернатор решительно и явно поддерживает воров и мошенников, разумеется, из гуманных видов. Вот как в этой полуварварской земле переделывают высокие европейские принципы на свой лад.

7. *Вторник.* Для человека мужественного и с характером нет в жизни эпохи, когда бы он мог сказать: теперь я уже ничего не могу делать.

Самая трудная для меня вещь — сражаться с некоторыми антипатиями, с внутренним нерасположением к тому или другому делу. Однако надобно не только с этим сражаться, но и побеждать это.

Отвез письмо к Срезневскому об увольнении меня из университета, так как 17-го числа окончится мое пятилетие. У Срезневского я просидел часа два. Не знаю, искренно или нет, но он очень жалел, что я выхожу из университета. Впрочем, я решительно не понимаю, почему бы он лгал в этом случае. Я виделся также с ректором по этому же поводу. То же сожаление. Он хотел, однако, разузнать, нельзя ли надеяться на большинство голосов в совете, если я подвергся бы баллотировке? Я отвечал, что баллотироваться наудачу я никак не могу, а за достоверность кто может поручиться. Он все-таки хотел, однако, попытаться переговорить с некоторыми членами.

8. *Среда.* Не ездил уже в университет, отозвавшись болезнию. Не стоит начинать новый семестр.

Сегодня в опере. Давали «Фауста».[296] Музыка вздорная, игра Барбо-Маргариты очень хороша. Депутации, танцы. Я на четвертом акте уехал.

9. Четверг. Правительству, особенно в известных обстоятельствах, бывают нужны цепные собаки, как Муравьев и Катков. Оно и спустило их с цепи, а теперь не знает, как их унять. Сегодня в заседании Совета ‹по делам печати›, между прочим, была доложена ругательнейшая статья «Московских ведомостей» на Петербург. Я при этом случае сказал, что о Каткове Совет ничего не может постановлять: пусть министр ведается с ним, как считает за удобнейшее, а Совет был бы только смешон, выслушивая и бесплодно занося в свои протоколы то, чему он противится и чего остановить не в состоянии. Председатель объявил, что министр действительно сделал свое распоряжение. Ну и ладно! Хотя я уверен, что это вздор и что из этого ничего не выйдет.[297]

Сегодня я долго беседовал с товарищем министра, и он мне сказал, что милютинская партия сильно начинает расти. Ну, это не к добру. Милютин приверженец красных и поборник демократических начал. Я думал, что, сделавшись министром, он перестанет быть красным, но в демократизме он, кажется, зашел слишком далеко, чтобы воротиться назад.[298] Беда нам с нашими доморощенными доктринерами. Россия могла бы легко обойтись без применения всех этих учений, которые на Западе выдвинуты историей. Нам не нужно преобладание ни аристократов, ни демократов; нам нужно одно — р а с ш и р я т ь и у с и л и в а т ь к л а с с о б р а з о в а н н ы й, н е д е р ж а с ь н и к а к и х с о с л о в н ы х п р и н ц и п о в. Но мы искусственно и насильственно возбуждаем антагонизм сословий и, гладя по головке и возвышая грубую полуварварскую массу, не видим, какое опасное и дикое господство в ней приготовляем. Не следовало ли прежде позаботиться о воспитании этой массы, которое, умерив ее дикие инстинкты, сделало бы ее способною ко всему тому, что теперь ей навязывают, не имея никакого обеспечения, что она этого не употребит во зло? Господство массы отзовется великою бедою для России.

10. Пятница. Подписался на «Голос».

Совершенно неожиданно получил статью мою от Каткова. Ее привез ко мне и оставил вместе с своею карточкою ‹Н. П.› Гиляров. Меня не было дома.

12. Воскресенье. На днях разнесся слух, что Герцен умер, а теперь говорят, что это ложь. Умер ли, жив ли, впрочем, совершенно все равно: он превратился в политическое ничтожество для России. Ни пользы, ни вреда от него нет никакого. С польского восстания он так упал в общественном мнении, что о его существовании почти забыли. [299]

Поутру кое-какие визиты, как то: Делянову, Овсянникову и проч.

13. Понедельник. Отдал статью мою «Молодое поколение» для напечатания редактору «Северной почты». Ее надобно предварительно показать министру.

15. Среда. Природа сильно мстит за обиды, ей чинимые или неразумием нашим, или страстями. Но что всего хуже: она мстит детям за проступки отцов.

«Взбаламученное море» Писемского — это море безвкусия, в нем же несть числа гадов. [300]

Герцен, говорят, не умер, но здравствует и благоденствует, подобно всем подлецам. Будь он честный человек и живи в своем отечестве, давно тем или другим образом он был бы затерт или совсем пропал.

Вывеска честного человека — бедность и ограниченный круг действий.

16. Четверг. Жизнь — тревога; моя — архитревога. Был ли в жизни моей случай, которому бы я имел право серьезно порадоваться, который бы, сначала, повидимому, благоприятствуя мне, не обратился мне в горе или не умалил значительной части своего благоприятства? Жаловаться на это, конечно, было бы и малодушно и глупо. Это значило бы жаловаться на самого себя, потому что человек в большей части своих неудач и несчастий виноват сам. Я и не жалуюсь, а только, беседуя с самим собою, говорю о факте. Между прочим, домашние мои дела вот каковы: обе дочери мои милые, добрые (а Софья весьма даровитая) девушки, но слабого, болезненного сложения. Существование бедной Кати есть не иное что, как цепь выздоровлений и болезней. У ней спинная кость не в порядке, и тут помочь уже никакая медицина не в состоянии. Саша добрый мальчик, но без способностей. Он не в силах сосредоточить себя, и к тому же в гимназиях ныне, как и всегда у нас, прескверно учат. Тут хотят взять не качеством учения, а количеством. В низших классах, например, каждый день вкачивают десяти- и двенадцатилетним детям в головы по пяти

предметов, и как каждый учитель заботится о том, чтобы пройти больше, а не о том, чтобы пройти лучше, то дети ходят как пьяные, отуманенные словами, не понятиями, и ничего не в состоянии выразумить порядочно. Итак, мои бедные девочки обречены на нищету и труд, а для труда у них отнято главное орудие — здоровье. Будущность мальчика тоже ненадежна. Все это представляется мне день и ночь, — а помочь этому как?

17. Пятница. На днях встретил Тургенева, недавно приехавшего сюда из Парижа по вызову правительства для очной ставки с некоторыми заключенными в крепости. Тургенев долго не ехал, ссылаясь то на свою болезнь, то на болезнь дочери своей (у него побочная дочь в Париже). Главная же причина была боязнь, чтобы его как-нибудь не сопричислили к бунтовщикам. Сенатор Пинский написал к нему, наконец, что его присутствие необходимо здесь для решения дела и что ему совершенно нечего опасаться: он даст только два-три показания — и делу конец. Так действительно и было. Мне Тургенев сказал, что после двух призывов в сенат ему объявили, что он может отправляться теперь куда ему угодно. [301]

18. Суббота. Факультет изъявил свое желание, чтобы я остался, по крайней мере на этот академический год, в университете, и просил меня продолжать лекции. Об этом пойдет представление к министру.

Вечер у Клеванова. Там были, между прочим, один рязанский помещик и один тамошний же посредник. Последний очень порядочный и образованный молодой человек. Он учился в Московском университете. Разговор касался преимущественно нынешних финансовых затруднений, от которых сильно терпит провинция. Денег нигде нет; сбыта сельских продуктов также нет. Дешевизна хлеба такова, что его сбывать не стоит, и проч. и проч. Я приехал домой в три часа.

20. Понедельник. Совершенная оттепель, дождь.

Умер (19-го числа) А. В. Дружинин, который давно уже был болен чахоткой.

21. Вторник. Распутица продолжается.

Заседание в попечительском совете. Прения о разных специальных вопросах гимназической администрации. Я в них не участвовал.

Любопытно было только то, что начинают чувствовать необходимость восстановить Педагогический институт.

Хотя теперь существует более двадцати человек для приготовления к учительскому званию по С.-П‹етербургскому› округу, но ими никто не занимается. Руководители их — университетские профессора, которым правительство платит дополнительное жалованье, в глаза даже никого их не видали, и молодые люди, ничем не занятые, находят для себя эту милую праздность на иждивении правительства очень приятною. Когда одного из них спросили, под чьим руководством он занимается, он отвечал: под руководством профессора Куторги. А Куторги и в Петербурге с мая месяца совсем нет. Удивительно, как мы, русские люди, равнодушны ко всякому общественному делу и как нас нужно принуждать что-нибудь делать.

22. Среда. По желанию факультета я продолжаю мои лекции в университете.

Марку ‹Любощинскому› пишут, что новый дом в Лосведо, где жило семейство Жусто, сгорел дотла. Не крестьяне ли это пошаливают? При нынешней безнаказанности немудрено, если демократическая дикость или дикая демократичность разгуливается у нас таким образом. И в Петербурге безнаказанность причиняет страшные явления.

23. Четверг. Дом в Лосведо сгорел не от пожара, а от выкинутого огня из трубы.

Заседание в Совете ‹по делам печати›. Корш, редактор «С.-П‹етербургских› ведомостей», сделал великую глупость — написал ругательство на цензуру и правительство вообще и, оттиснув листок, просил председателя цензурного комитета представить это Совету. Совет определил объявить ему, что если он осмелится вперед делать подобные вещи, то ему, как лицу неблагонадежному, будет воспрещено издавать газету, о чем Совет уведомит полицию и президента Академии наук. [302]

Вечер у Княжевича.

24. Пятница. Костомаров написал оправдательную статью против упреков в сепаратизме. Мне дана она была на рассмотрение; она написана хитро, но все-таки отстаивает любимую мысль малороссийских литераторов о введении преподавания в малороссийских школах на тамошнем наречии. Я полагал статью эту остановить именно по этой причине. Гончаров слабо возражал; видно, что он совсем не знает стремлений этих господ. Я настаивал, что всеми силами надобно противодействовать замыслам их, потому что за их домогательствами скрываются тенденции настоящего

сепаратизма на основании нелепой славянской конфедерации.[303]

Статья моя «Молодое поколение» напечатана в «Северной почте», № 20.[304]

Итак, война началась с Дании. Едва ли она сделает честь Германии. Это война слона против мыши.[305]

25. Суббота. Факультетское заседание. После магистерского экзамена из политической экономии некоему, — забыл фамилию, — имя-рек, выбор в доценты ‹Н. А.› Астафьева, ‹В. В.› Бауера и ‹К. Я.› Люгебиля. Избраны единогласно. Потом я прочитал предложение мое об избрании Сидонского в почетные доктора. Записка моя возбудила столь громкое одобрение, что положено в факультете изъявить мне благодарность. Раздались такие выражения: что это мастерское, художественное и верное изложение. Посмотрим, что скажет совет.[306]

В заседании был и ‹М. С.› Куторга, который недавно приехал. Он решился подвергнуться баллотировке.

Признаюсь, грустно мне оставить университет! Большая и лучшая часть моей жизни посвящена была ему. Но, во-первых, я почти убежден, что не получу двух третей голосов в свою пользу, а во-вторых, может быть, я действительно и не в состоянии буду приносить той пользы слушателям, какую может принести им новое лицо с свежими силами? (Только не Сухомлинов, мой непосредственный преемник, который, бедняга, как-то сильно ослабел и телом и духом, особенно последним.) Настоящее мое значение в науке есть ф и л о с о ф с к о е, а теперь требуют исключительно фактов. Фактами по русской словесности и я, конечно, могу быть не беден. Но мне недостает возможности с р а в н и т е л ь н о г о с п о с о б а, по незнанию моему иностранных языков. Вот где настоящий для меня камень преткновения. Я чувствую мои силы в философской и эстетической сфере; знаю, что мои слушатели могут получить от меня, может быть, верные основные начала, могут развиться под моим руководством в высших соображениях по литературе и особенно утвердиться в нравственном, благородном сочувствии вел[illegible]им истинам науки и жизни, потому что я сам всем этим глубоко проникнут, имею для подобного направления достаточный запас опытности, а может быть, и способность. Но достаточно ли всего этого при нынешних требованиях науки, как ее понимает большинство, особенно у нас? Вот в чем моя совесть не может быть спокойною. Конечно, без всякого глупого

жеманства и мелочного самолюбия я могу сказать, что был бы во многих отношениях еще полезен университету. Но, может быть, ему нужны другого рода пользы, которых я не в состоянии ему дать.

Статья моя «Молодое поколение», как доходят до меня слухи, читается с большим сочувствием. Хотелось бы мне знать, как ее примет само молодое поколение. Тут для него ничего нет обидного. Напротив, мое сердечное чувство на его стороне. В этом, как и во всем другом, я только не допускаю крайностей. Для этого я и прибавил эпиграф: «Равновесие сил есть высокий закон жизни». Никак не могу понять, почему Катков не хотел ее напечатать. Причина, что я смотрю на молодое поколение как на корпорацию, слишком глупа и нейдет к делу, чтобы быть настоящею или истинною причиною. Тут скрывается какая-то задняя мысль. Главное же, мне кажется, это то, что Катков отуманен успехом своей газеты и вменяет себе в достоинство отвергать то, что другие одобряют. Впрочем, Катков и не отличался никогда верным тактом и пониманием собственно в оценке и анализе литературных вещей. А теперь он совсем одурел от успеха!

Если вам случилось оказать мне услугу, то не дерите же с меня процентов сто на сто, как какой-нибудь жид-ростовщик! Вот, например, господин Катков, сделав нечто хорошее своей газетой, теперь считает, что он купил этим право делать всевозможные гадости. С неслыханною наглостию всякого несогласного или расходящегося с его мнением он клеймит словами изменника, врага отечества, невежды и т. п. Но ведь это значит иметь слабую голову, чтобы так скоро опьянеть от успеха и надуться таким непомерным количеством спеси и самохвальства.

26. Воскресенье. То выражение особенно хорошо, которое, означая с точностию определенную мысль, вместе с тем дает вам чувствовать и отношения его к другим мыслям, более или менее к ней близким или отдаленным, но которые непосредственно не входят в цепь излагаемых вами понятий.

Утром у Ливотовой. Она предложила мне быть членом установляющегося Общества женского труда. Я слишком поспешно согласился, однако не прежде, как рассмотрев проект устава, который тут же и дан мне.

27. Понедельник. Записка моя о Сидонском была читана в совете университета. Я никак не ожидал такого блистательного успеха: он избран был двадцатью тремя голосами

против трех! Многие мне лично выразили самые любезные приветствия по поводу изложения моего и пр. Я, мимо едучи из совета, заехал к Сидонскому поздравить его. Старик был очень рад.

В доценты гражданского права избран ‹А. И.› Вицын. ‹Н. В.› Варадинов выбирался в профессоры и получил хорошие баллы: семнадцать против десяти. Но Вицын был избран двадцатью четырьмя против двух.

Бедный Куторга (Михаил) потерпел поражение. Нужно было две трети голосов для того, чтобы избрать его на пятилетие: ему недодано было двух. Люгебиль и Бауер избраны в доценты.

Вот, мне кажется, что будет: Пруссия отдаст Франции свои рейнские провинции, а взамен возьмет себе Голштинию, которая ближе к ней и выгоднее полуофранцуженных рейнских мест. Тут же и море, а Пруссии сильно хочется быть морскою державою. Австрии она гарантирует Венецию, а чтобы не дразнить Италии, Наполеон выведет свои войска из Рима. Франция останется в союзе с Россией, которой гарантирует Польшу. Россия, по всему этому, не поссорится и с Пруссией за ее операции в Дании. Крохотная Дания, разумеется, останется обиженною, но на нее не посмотрят. А Англия? не захочет же она затевать одна войну за Данию? Да притом у ней останется утешение — виды на хорошенький кусок на Востоке. Так, кажется, сданы карты Наполеоном, а он, известно, отличный игрок. Ему более всего от этого будет хорошо. Он разом уничтожит красноречивое ворчанье оппозиции и еще теснее свяжет с собою Францию, да и ее самую. России, однако, надобно быть осторожною. Ей оставят Польшу, как цепную собаку, которая, хотя и на привязи у нее, но всегда может оборвать цепь и кинуться на хозяина. Поэтому Польшу надобно так устроить, чтобы для нас ‹она› подобной опасности не представляла.

29. Среда. Какая-то сплетня была причиною, что Куторга не выбран. Кто-то распространил между членами совета (кажется, говорят, Сухомлинов) мысль, что Куторга не будет читать лекций, о чем будто бы он объявил в факультетском собрании в субботу. Там была, правда, речь о нечтении лекций, но только до того дня, когда решится вопрос о его избрании. Словом, сплетня, — и этак-то дела у нас решаются. Теперь и говорят некоторые из членов совета, что, вероятно, законное большинство осталось бы за

Куторгою, — если бы то и то. Все ложь и пустяки. Придется только повторить старые стихи Карамзина из Экклезиаста:

Не судит ни о ком рассудок беспристрастный,
Лишь страсти говорят...

30. Четверг. Заседание в Академии — ничего; в факультете — дело о Куторге. Положено просить о сделании его почетным членом университета и оставлении его еще хоть на несколько времени преподавателем истории по причине неимения для этого предмета надлежащего опытного лица (остался один начинающий доцент Бауер).

Совещание между мною, ‹И. Б.› Штейнманом и Срезневским о продвижении в докторы (почетные) Костомарова. Положено помедлить. Но при этом я объявил, что буду решительно противиться избранию его в профессоры.

Заседание в Совете по делам печати. Побито мнение Пржецлавского о недозволении печатать на русском языке известной книги Милля «О свободе». Он очень было распространялся в поддержке запретительной системы печати, как, впрочем, это обыкновенно делает, очевидно, желая подслужиться. Более всех против него говорил я, Гончаров и сам председатель. Прочие скромно высказывали свое согласие на наше мнение.[307] Речь была также по поводу статьи «О пище», назначенной для «Современника». Гончаров отозвался о ней и так и сяк. Положено, чтобы я еще прочитал эту статью и дал о ней свое мнение.[308]

Февраль 1. Суббота. Кажется, следующее определение человека будет недурно: человек есть существо физическое, разумное и гадящее своему ближнему.

Какой злой дух надоумил ‹Н. И.› Пирогова оставить науку, где он занял такое прекрасное место, и прилепиться к отверженному племени бюрократов, где он едва может приобрести посредственное значение, да и пользы никакой?[309]

2. Воскресенье. Подражательность и восприимчивость — два различные и последовательные фазиса в истории нашего умственного образования. Подражательностию мы становились перед предметами и, как неподвижное зеркало, механически, или, если угодно, оптически, отражали их в себе без малейшего принятия внутрь, без всякого изменения, кроме того, что предмет был существен, а отражение его призрачно. Восприимчивостию мы до некоторой степени усваиваем себе чужие понятия, принимаем их внутрь, но не перерабатываем их, не анализируем, оставляем

их почти такими, какими они приняты, и стремимся распространять, не думая и не заботясь о том, должны ли они быть распространяемы и могут ли они ужиться в нашем русском мире. И тут, как и там, немного самостоятельности, но здесь более движения, больше живости. Видно, что мы хотим напитать себя принятым материалом. Но так как мы не думаем о доброкачественности принятой пищи, ни о том, в какой мере она свойственна нашему организму и нашему возрасту, то нередко пища эта производит в нас тошноту, и, вместо того чтобы действительно нас питать, она нам вредит и отравляет нас. Мы похожи на богача, который, вместо того чтобы употреблять свой капитал на удобрение и обработку своей земли или на заведение полезных фабрик, тратит его на добывание из чужих рук того, что ему нужно и что не нужно, и таким образом проматывает свое достояние непроизводительно. Немудрено, что после первого удовлетворения своим нуждам и прихотям и мы разоряемся и становимся нищими.

Годичное собрание в Обществе пособия нуждающимся литераторам. Была прочитана небольшая статья Тургенева в память Дружинина. Избран президентом барон М. А. Корф.[310]

Я предложил старшую пенсию, выдаваемую Обществом, в память Дружинина назвать — «Дружининскою». Все единогласно одобрили это и согласились.

А некоторые из членов явились, чтобы нагадить Корфу, снабдив его отрицательными голосами. Но это не удалось.

Тут я побеседовал с князем ‹Г. А.› Щербатовым, Тургеневым и пр. Некрасов просил меня очень покорно о поддержке в Совете по делам печати его просьбы по поводу одной статьи, которую ему хочется поместить в «Современнике». И. А. Гончаров, по обычаю своему, уклоняется от этого, сваливая на меня, хотя дело касается до него, потому что он распоряжается «Современником». Я не привык уклоняться и потому сказал, что сделаю что могу и что должно.

В пять часов мы сошлись на тризну по Дружинине в Hôtel de France.*. Тут были, кроме меня: Тургенев, Анненков, Гончаров, Ковалевский Егор, Григорович, Гаевский, Боткин и брат Дружинина. Этот последний очень благодарил меня за мысль, поданную в Обществе о Дружининской пенсии. Обед был роскошный, но беседа за обедом была

* Гостиница «Франция» *(франц.)*. — *Ред.*

совершенно пустая. К концу обеда ударились в разговоры о женщинах и разных отвратительных скандальных историях. Неужели наши передовые умы не умеют найти лучших предметов для дружеской беседы?

3. Понедельник. Что такое это волнующееся общество и что из него должно выйти? Вот главные вопросы.

4. Вторник. Все надобно сводить к одному центру — к самоутверждению или к самоукреплению.

Всякий непременно хочет составить около себя особый кружок, чтобы первенствовать в нем.

Роль правительства была бы та, чтобы нелепые стремления и нелепые требования сдерживать, а между тем давать науке сколь возможно более простору и способов, чтобы она вырабатывала здравые и точные понятия, которые распространялись бы в обществе, становились бы основанием и залогом прочного настоящего преуспеяния.

5. Среда. Великое горе мое — бедная Катя. Особенно нынешнюю зиму она страдает больше, чем когда-либо. У меня сердце поворачивается, смотря на нее! А помочь чем? Медицина не делает чудес. Она едва что-нибудь может делать, и то ощупью.

6. Четверг. То совершенно ничего не значит, что человек сам собою и для себя делает. Тут он то же самое значит, что всякое животное: он ест, пьет, пло́дится, заботится о своем благосостоянии, наслаждается более или менее, страдает и умирает. Важно то, что он вносит в общую сокровищницу человеческого развития и образования, чем он содействует к построению общего здания человечности.

Вот так мне достанется и умереть, не только не выполнив моей задачи, занимавшей меня со дней отрочества, но и никакой. Главный недостаток и бедствие моего существования состоит в том, что я задал себе задачу слишком огромного размера. Я не умел остановиться на одном предмете, я не умел быть с п е ц и а л ь н ы м. Каждый особенный предмет мне казался слишком ничтожным, чтобы я мог всего себя ему обречь. Целое, общее, человеческое — вот что меня занимало, что влекло меня к себе. Правда, я не пренебрегал ни одним сколько-нибудь важным предметом, но я не хотел заняться им не только исключительно, но даже долго. Мне хотелось быть историческим лицом — и только. Во всех моих стремлениях, правда, проглядывало стремление к политической деятельности; но как у нас она была невозможна, то я ничего и не достигал и не мог достигнуть в этой сфере.

И вот каждая крыса из этих специалистов, грызущая свой лоскутик полусгнившего, старого пергамента или засушенный стебель какого-нибудь растения, может с гордостию стать передо мною и спросить: «Вот ты мыслитель и красноречивый болтун, а ничего не сделал. Посмотри, вот я сколько нагрыз сору — как ты это называешь, но этот сор пойдет хоть на замазку чего-нибудь, а ты разве сам только годишься на нее».

Какой-нибудь Пекарский есть полезный человек для науки, хотя он думает о ней и понимает ее столько же, как крот, роющийся под землею, понимает то, что происходит на ней, или столько, сколько крот способен видеть свет солнечный. [311]

Управлять людьми — самое скучное и неблагородное ремесло, и одни только сентиментальные мечтатели или рьяные честолюбцы способны добровольно обречь ему себя на жертву. Если вы не чувствуете призвания ни быть жертвою, ни делать других жертвами, то заботьтесь единственно о первом и оставьте людей быть тем, чем они хотят и могут сделаться.

Заседание в Совете по делам печати. Пржецлавский читал свою записку о сильном распространении у нас материализма и полагал, что достаточно выбрать хороших цензоров, чтобы остановить этот пагубный поток. Я испросил у председателя разрешения говорить. Прежде всего я похвалил записку г-на Пржецлавского, назвав ее т р а к т а т о м, что, кажется, не понравилось ее сочинителю, который видит в ней официальный документ. Потом я обратился к вопросу: какие же меры думает автор принять против этого зла, ибо нельзя же серьезно думать, чтобы выбор нескольких хороших цензоров был достаточною для этого мерою? Да и самый этот выбор не есть вещь легкая. Материалистическое настроение есть настроение времени. Оно не только врывается в печать — оно сидит на кафедрах университетских, оно проникает в воспитание. Естественная наука овладела духом времени и вместе с утилитарным направлением составляет нравы нашего времени. Если это зло, то против него надобно ополчиться силами равными. Сюда надобно призвать на помощь, уж конечно, не одну полицию, то есть цензуру, а все, что есть лучшего в верованиях человеческих, в разуме, в воспитании. Но как это сделать? Я в заключение показал, что записка г. Пржецлавского есть весьма почтенный трактат, но не ведущий ни к каким практическим результатам

в административном отношении. В таком же духе оспаривали Пржецлавского президент, Гончаров и Турунов. Прочие молчали. Автор записки защищался с своим обыкновенным неумением. Чтобы, однако, сделать ему утешение, да и не оставить без внимания такого важного дела, как материализм, президент предложил отправить в С.-П‹етербургский› цензурный комитет записку его для прочтения. Тем и кончилось длинное прение.[312]

В «Дне» учинены сильные нападки на управление в Киеве. В том крае готовятся ужасы по милости неспособности и крайней слабости нашей тамошней администрации. Совет не признал нужным принять какую-нибудь меру против «Дня». А. Г. Тройницкий, между прочим, сказал, что все излагаемое в «Дне», к сожалению, совершенно справедливо, чтò ему, как товарищу министра, очень хорошо известно.[313]

Мне отдана на рассмотрение статья «О пище», назначаемая для «Современника», о которой просил Некрасов.

Есть ли у нас патриотизм? В образованном так называемом классе его нет.

7. *Пятница*. Обед у Григория Васильевича Дружинина, брата умершего недавно Александра Васильевича. Обед балтазаровский — вина были особенно изящны. Я пробыл часов до девяти вечера в беседе с некоторыми литераторами: Тургеневым, Гончаровым, Григоровичем, Анненковым и пр. Интересен был особенно Тургенев. Он много рассказывал любопытных вещей о сношениях своих с заграничными писателями, особенно с Диккенсом.[314]

Вот разница между Тургеневым и Гончаровым: один настоящий джентльмен. Он приятен без всяких усилий, прост и благороден. С ним приятно быть и говорить. Гончаров — толстенький, надутенький господин вроде провинциального дворянина. Он непременно хочет давать вам чувствовать, что вы имеете дело с знаменитостию в его особе. Весь же его характер может быть обозначен следующими чертами: эгоист, трус и завистник.

Вообще разговор за нынешним обедом и после обеда был и занимательнее и приличнее. Может быть, оттого, что с нами были неразлучны дамы — старушка мать Дружинина и жена его. Да и дети тут беспрестанно вертелись.

8. *Суббота*. Вечер у Ржевского, где виделся с Скарятиным. Он мне нравится.

9. Воскресенье. Я говорю: какое право имеет общество (клуб), избирая кого-либо в свои члены, контролировать его убеждения? Оно не может или не должно принять бесчестного человека, — вот все, на что оно имеет право. При этом я заметил: есть две нравственности у человека — нравственность общественная и нравственность совести. Пусть общество и осуждает поступки, противные первой. Но кто судьи вторых? Бог разве и Третье отделение.

10. Понедельник. 8-го, в субботу, умер Востоков, на восемьдесят третьем году жизни.

Да и президент наш Д. Н. Блудов тоже плох. Он, кажется, тех же лет. Я вчера заходил справиться о его здоровье. Мне сказали, что ему сделалось хуже.

Письмо к Рудницкому в Веймар.

11. Вторник. Смерть собственно не есть зло — она ничто. Зло — умирание и предумирание.

Медики уверяют, что каждая эпоха, кроме общих обыкновенных недугов, имеет еще свои собственные, проистекающие из обстоятельств времени. Таковы ныне нервные болезни и размягчение мозга. Любопытно было бы исследовать психологические причины последней болезни, сделавшейся ныне столь обыкновенною. Мне кажется, это есть следствие расширения образованности и происшедшего отсюда страшного усиления честолюбия, напрягающего душевные силы каждого к замыслам и предприятиям, выходящим из пределов его сил и возможности. В самом деле, кто ныне не честолюбив? Кто не желает отличиться, обратить на себя общее внимание, сделаться популярным? Популярность есть сама по себе болезнь нашего времени. Желание приобрести ее напрягает мозг свыше меры, а отсюда до размягчения мозга недалеко.

Самое важное было в Востокове, важнее его науки, — это то, что он был истинно честный человек.

12. Среда. Похороны Востокова. Из Петропавловской лютеранской церкви мы проводили его на Волково кладбище, и там были угощены завтраком, до которого я, впрочем, не дотрогивался почти. Из церкви гроб вынесли и поставили на дроги мы, академики. Провожавших до могилы было довольно много. На могиле Срезневский сказал коротенькую, но весьма приличную речь в честь покойного, который действительно был один из замечательных ученых и один из честнейших людей. Я, правду сказать, не очень

большой веры в так называемую славянскую науку, но Востокова нельзя было не уважать и не любить за его сердце. За завтраком еще сказано было маленькое слово Билярским. Борис Федоров, бывший член бывшей Русской академии, прочитал старые стихи Востокова в доказательство, что он был ‹не только› истинно ученый, но и поэт. Но вдруг из среды провожавших исторгся редактор педагогического журнала «Учитель» ‹Н. Х.› Вессель и с довольною яростию произнес несколько слов в укоризну чиновников и литераторов, из которых никто не захотел отдать последней почести знаменитому ученому. Это и правда. От меня, кажется, тоже ожидали слова, но я не был к этому приготовлен и был совершенно не расположен. После пришли ко мне хорошие мысли, но это было уже дома, ночью, когда я лежал в постели. Опоздал, значит. Впрочем, я не пожалел об этом. Востокова я уважал и любил, но восторгаться славянством значило бы для меня искусственно себя настраивать. И хорошие мысли, опоздавшие приходом ко мне, более относились к нему как к человеку, а публика этим, конечно, не была бы довольна в устах академика.

13. Четверг. Заседание в факультете. Окончательный экзамен на магистра некоему ‹Ю. Э.› Янсону, который во всех предметах оказал превосходные знания и умение излагать. Главный его предмет — политическая экономия.

15. Суббота. Заседание в Академии. Читаны были записки покойного А. Х. Востокова. Их не много. Они содержат только детство академика и его воспитание сперва в кадетском корпусе, а потом в Академии художеств. Записки эти очень любопытны и отличаются тою искренностию и простотою, какие вообще были свойственны характеру этого почтенного и благородного академика. Срезневский, по обыкновению своему, как певчая птичка, разливался в преувеличениях об достоинствах Востокова. По его словам, Востоков не уступает Гумбольдту, Ньютону; он наш Яков Гримм и пр. Мне понятны эти восторги Срезневского. Востоков был славянский филолог, Срезневский также славянский филолог; обоготворяя первого, последний не забывает, конечно, и себя. По его мнению, все науки не важны в сравнении с наукою о славянстве. Востоков был, неоспоримо, достопочтенный ученый и достопочтеннейший человек. Но зачем же стулья-то ломать? Тут досталось всем, кто не был на похоронах. Впрочем, действительно странно было бы, что для отдания последнего долга знаменитому ученому не

явился ни один литератор, если бы мы не знали, что наши литераторы не только не учены, но и большие невежды. Гораздо страннее, что Московский университет не отвечал на посланную ему телеграмму о смерти Востокова. Харьковский отвечал очень любезно.

16. Воскресенье. Спектакль в Пассажном театре. Здешние малороссияне решились сыграть на своем языке две пьесы Основьяненко: «Щира любов» и «Сватання на Гончарівці». Игра была очень недурна, особенно отличилась некая г-жа Гудима-Левкович. Она прекрасно играла малороссийскую влюбленную дивчину. Все в ней: манеры, произношение, игра ее приятной, умной и одушевленной физиономии — все было чисто народное. Со всем этим она соединяла артистическую отделку. Другая девица, Квитченко, тоже весьма недурно сыграла ее подругу. Жаль, что пьеса «Щира любов» плоховата: в ней пропасть несообразностей и перехитренное сентиментальничанье, как вообще у Основьяненко. Театр был довольно полон. И вообще спектакль этот удался. Он был дан в пользу семейств, пострадавших от войны. В промежутках некто Майский говорил свои рассказы недурно, хотя самые рассказы довольно пусты. Я не дождался конца. И то было уже половина двенадцатого.

17. Понедельник. Дрянное расположение духа, как во все эти дни.

Зачем, срезая мне на носу бородавку, вы хотите отрезать мне и нос?

Заседание в совете ‹университета›. Сильное прение по случаю определения Куторги преподавателем за плату. Срезневский был очень сентиментален, возглашая о необходимости удержать Куторгу. Отчего это у нас всякие изъявления чувства смешны? Не оттого ли, что оно фальшиво и натянуто и что ему никто не верит, начиная с того, кто его выражает?

18. Вторник. Я на месте Куторги никак не согласился бы быть преподавателем по найму от корпорации, где я имел голос и теперь его не имею. Что это — любовь к науке? Но ведь эту любовь можно питать и иначе, кроме преподавания, к которому Куторга и не показывал особенной ревности. Нужды в деньгах он не имеет, потому что он с достатком. Нагадить университету, показать ему, что вот как он отлично преподает, а университет его отверг? Конечно, это бы самое положительное, но успеет ли он сделать это?

Как часто становлюсь я жертвою внутренней неурядицы! Недовольство положением своих дел, недовольство обществом, желание удержать нравственно свое место между другими, может быть более честолюбивое, чем законное, — и конец концов всего — недовольство самим собою! Во всем этом огромный недостаток мужества и самообладания.

Как много я сам завишу от отношений, в которых путаются умы слабые и мелкие души — люди, которые никогда не думали и не заботились о возделывании себя и самообразовании! Несмотря на лета мои, я чувствую в себе достаточно нравственной силы, а между тем не могу справиться с тем, за что с гордым презрением смотрю на других. Не стыд ли, не унижение ли это? Но в смирении да созреет истинное мужество!

19. Среда. Обедал у Владимирского. За обедом произошла ссора у профессора ‹Н. М.› Благовещенского с ‹Г. П.› Данилевским — известным мальчиком-писателем (хотя он, по летам, уже давно не мальчик), лгунишкою и хвастуном ультралиберального покроя. Он самый горячий проповедник малороссийского сепаратизма и проч. Со мною он хотел быть холоден за то, что в прошлом еще году я откровенно высказал ему мое мнение о пустошности его романа (кажется, «Переселенцами» он называется) и о его тенденциях о преподавании в малороссийских школах на малороссийском наречии. Но мало-помалу, горячась в разговоре, он снова начал мне оказывать свое, не очень мне приятное, дружеское расположение. Он жестоко врал о поляках, показывая им гуманное сочувствие и не скрывая своей антипатии к москалям. Это вызвало возражение со стороны Благовещенского, и мало-помалу дошло дело до крупных слов! Болтун Данилевский начал уже говорить дерзости. Он вел себя вообще глупо и нагло. По правде сказать, Благовещенскому не следовало с ним связываться.[315]

За обедом был еще ‹А. В.› Лохвицкий, с которым я тут и познакомился. Господин не очень привлекательной наружности. В нем что-то есть свойственное нынешним передовым людям, то есть непобедимая самоуверенность и дух нетерпимости. Диктаторские приговоры текут из уст его рекою, и, кажется, он никому не позволяет подняться до высоты его полета.

От Владимирского я уехал в оперу, где прослушал только один акт из «Линды ди Шамуни» и возвратился

домой усталый, оставив моих досидеть до конца оперу.[316] Бедная Катя возвратилась с головною болью.

20. Четверг. Поутру, приготовляя доклады к Совету в министерстве, неожиданно получил от вице-президента Академии уведомление, что я назначаюсь дежурным при гробе графа Д. Н. Блудова. Итак, Блудов умер. Я немедленно дал знать Тройницкому, что в заседании не буду, и поехал в мундире к покойному. В час была панихида. Тут видимо-невидимо было чиновного народу. Был государь с государынею и всем своим семейством. Из знакомых я бонжурился здесь с Княжевичем, Ковалевским, Корфом, который благодарил меня за присылку моих статей, и пр. Просидел я до половины третьего. Завтра я опять дежурным. Сегодня, по-настоящему, не мне следовало. Но я охотно согласился оказать эту почесть знаменитому и благородному усопшему.

Граф Блудов умер вчера часа в четыре пополудни. В двенадцать часов еще он принимал какой-то доклад, а за полчаса до смерти говорил о манифесте для польских крестьян, о государе и собирался одеться, чтобы, как он говорил, помолиться богу за государя. Эти подробности сообщила мне А. А. Воейкова, бывшая неотлучно при нем с его дочерью.

21. Пятница. Дежурным у гроба Блудова. Был там в половине одиннадцатого часа и возвратился домой к трем. Панихиду служил митрополит. Боже мой! Что за неуклюжее, медведеобразное существо этот митрополит! Что за грубое, неприятное, пошлое выражение лица![317] Служба по обыкновению состояла из бесчисленных повторений одного и того же, которое, не знаю почему, сочла нужным наша церковь, но которое в состоянии надоесть самому богу. Потом обычное пение, упрощенное, как его называют, а мне кажется, упошленное. Хотели избежать театральности католической, оперного настроения и впали в такое невыносимое единообразие и вой, от которых ни уши, ни сердце ничего не достигают. Наконец, тоскливость нашего похоронного чтения превосходит всякое мужество. В этих воззваниях: вечная жизнь, вечное успокоение и пр. так и режет душу в е ч н о е н и ч т о. Положим, что оно, может быть, так и есть, да не надобно же дразнить этим человека, и без того много огорченного. Особенно неприлично делать это христианству, которое наделило человечество столь многими хорошими иллюзиями.

Ждали государя, но на сей раз его не было. Сановников было опять великое множество. Сегодня был и Валуев. Чудо как великолепен в своей синей по жилету ленте.

В произведениях искусства мало того, чтобы не было неправды: надобно, чтобы в них была правда.

Меня совсем не утомили ни вся сегодняшняя и вчерашняя суматоха, ни долгое стояние на ногах и даже весь этот смрад, состоящий из запаха начавшего разлагаться тела, из удушливых паров хлора, которым беспрестанно кропили комнату, из тяжелого ладанного дыма и чада свечей, который делается ужасен после того, как во время панихиды сотни губ дышат на них и потушат, — ничто из этого не подействовало на мою голову.

22. Суббота. Вчера был у меня Сухомлинов и рассказал мне, что происходило в экстренном заседании совета университета за четверг, на котором я не мог быть. Ректор прочитал с е к р е т н о е к нему отношение попечителя, который уведомляет его, что ему сделалось известным, что в университете находятся три поляка, которые явились туда с намерением подстрекать молодежь к беспорядкам и довести опять университет до закрытия. Правда, уже несколько дней волнуется юношество и, кажется, решительно предпринимает опять учредить сходки.

Я думаю, что сегодня мне не следует быть на похоронах. Как ни мало я устал за два прошедшие дни, но сегодня ожидает меня многостояние и суматоха, а вот уже четвертый день, как у меня кровотечение.

Нынешняя естественная наука устремилась с скальпелем и микроскопом на открытие глубочайших тайн творения. Она действительно дошла до мельчайших подробностей в составе вещей; но дошла ли она до главного — до той силы, которая этим подробностям дает движение и жизнь? Объяснить эту силу о т н о ш е н и я м и нет никакой возможности, потому что отношения суть только последствия, а не причины движения и жизни. Положите камень на камень, травку на травку, нерв на нерв, каплю крови на каплю крови, — вы ничего тут не найдете, кроме мертвого с о п р е б ы в а н и я. Чтобы тут явилась жизнь и движение, нужно что-то другое, чего никак нельзя видеть сквозь микроскоп или достать скальпелем. Нужен в о з б у д и т е л ь, от которого бы вещи пришли в движение и каждая стала в известное отношение к другой. Возбуждение предшест-

вует отношениям, а не отношения производят возбуждение.

Не был на похоронах Блудова.

23. Воскресенье. Конечно, Европе угрожает всеобщая нравственно-социальная революция. Дело не в том, чтобы ей противиться, но чтобы по возможности отстранить крайности, в которые впадает всякая революция, и сделать ее менее пагубною, а более для людей полезною.

Надобно, чтобы горячность не превращалась в горячку с бредом.

24. Понедельник. В университете опять между студентами начинаются беспорядки. Вот оно, молодое поколение! Ведь, право, это мерзость! За что оно хочет первенствовать? Что оно уже сделало такого, что бы возбуждало к нему сочувствие? Какие надежды оно подает? Чем лучше оно стариков? Ведь одно, чем может и чем должно оно уверить в своем превосходстве, — это учиться, приготовлять из себя лучших деятелей, чем предшественники его. А оно, как пьяное, лезет туда, куда ему не подобает, орет, замахивается на закон и порядок, науку посылает к черту, заменяя ее газетными статьями и легким чтением... Что за нелепость! И это будущность России! Хороша будущность!

Вчера услышал я от Делянова, что в президенты Академии назначен ‹Ф. П.› Литке.[318] Очевидно, это выбор Головнина. В полунемецкую Академию немца, — видно по всему, что Головнин большой патриот. Да и что такое Литке? Он известен как хороший моряк и как очень неуживчивый человек, а главное, как большой покровитель своих соотечественников-немцев. Право, можно бы сделать выбор поумнее и сообразнее с настоящими обстоятельствами. Отчего, например, не Корф? Отчего не ‹С. Г.› Строганов?

25. Вторник. Много приходится терпеть от внутренней неурядицы.

Для меня равно отвратительны глупые и экзальтированные наши прогрессисты «очертя и сломя голову», как и те бюрократические холопы, которым дела нет до общественных улучшений, лишь бы они исправно получали свое жалованье, чины, ордена, денежные награды.

Что поляки не могут снести вида русского мужика, что они питают к нему вместе и антипатию и презрение, — это понятно, потому что действительно они образованнее, а русский мужик или масса народа покоится еще в древнем

варварском киммерийском мраке. Но непонятно то, что они те же чувствования питают к так называемому образованному сословию: ведь они уж никак не выше его. Тот же умственный и нравственный разврат, та же пустота ума, отсутствие всякого характера и пр. и пр. Их интеллигенция — такая же гадость, как и наша, да у них еще хуже, с прибавкою католицизма. Тут поистине нечем гордиться и превозноситься перед нами.

26. Среда. Сейчас получил известие, что бедный Виктор Иванович Барановский умер.

27. Четверг. Многие очень хорошо знают науку жизни, но им незнакомо искусство жить, и они очень дурно, то есть несчастливо, живут.

Был у Барановского. В отдаленнейшей части города, в Галерной гавани, в осунувшемся и полуразвалившемся доме, который играет роль кожевенной фабрики, в беднейшей и грязной комнатке лежало на столе, покрытое церковным покровом, убогое тело бедного В. И. Барановского. Тут была какая-то дама, показавшаяся мне очень приличною, и два молодых человека. Между ними вертелась молоденькая девочка лет четырнадцати, очень хорошенькая собой, но слишком бойкая для грустной картины. Все вокруг было в высшей степени грязно и убого. Сын и дочь уехали на кладбище, и я не дождался их, хотя пробыл у тела более часа. Меня одно утешило: это то, что Виктор Иванович обошелся со смертию чрезвычайно свободно, фамильярно, не делая из нее ничего особенного. Он как будто не хотел вовсе признать в ней страшилище, какое обыкновенно делают из нее люди, особенно люди умирающие. За две недели еще до ее посещения он говорил в каком-то смутном предчувствии, что ему скоро придется сделать путешествие на Смоленское кладбище. За два или за три часа до кончины он спросил у своей дочери, во сколько часов умерла младшая дочь его тому лет десять назад, Катя. «В восемь часов вечера», — отвечала та. «А я так вот не доживу и до восьми часов утра», — и сказал это так спокойно, как будто дело шло о самой обыкновенной вещи. Но, кажется, он сам много виноват в своей смерти, если в таких случаях можно быть виноватым. Рядом возле его жилища случился пожар, и он в одном сюртуке простоял часа полтора на сквозном ветру в каком-то полуразвалившемся сарае. Потом он и слышать не хотел о докторе, и когда, по крайнему настоянию своей дочери и сына, он решился, наконец, при-

звать его, то уже было поздно: в легких у него начался уже антонов огонь. Ему хотели поставить пиявки. Пришел фельдшер. «Зачем ты?» — спросил он у него. «Приставить вам пиявки». — «Приставь их к своему носу, убирайся!»

Утром был на панихиде у графа Блудова в Невском.

28. Пятница. В опере — «Отелло».[319] Барбо восхитительна и пением, и красотою, и игрою. Возле меня в ложе сидел И. Ф. ‹?› со своею возлюбленною Лелинькою. Как же она похудела и подурнела!

29. Суббота. Похороны Виктора Ивановича на Смоленском кладбище. Из так называемых друзей никого, кроме меня, не было, — ни Гебгардта, ни Деля.

Март 1. Воскресенье. Проработал в кабинете до второго часу над речью, которую Академия поручила мне произнести 6 марта в общем ее собрании.

Ездил к Глебову, от которого узнал подробности бывшего беспорядка между студентами Медицинской академии. В первоначальном поводе к этому виновата конференция, в которой две партии и вследствие интриг одной партии и был назначен ‹К. Е.› Мерклин профессором ботаники вместо ‹А. Н.› Бекетова и ‹А. С.› Фаминцына, человек вовсе неспособный и плохой ученый, даже плохо знающий по-русски. Прочие подробности происшествия в публике рассказывались довольно верно.

2. Понедельник. Совет в университете по случаю суда над студентами. Осуждены шесть. Трех из них определили исключить, остальные приговорены к меньшим наказаниям. Немножко смешна эта юридическая комедия. Да нечего делать — лишь бы помогла держать в порядке эту глупую молодежь, которая не хочет учиться, а хочет управлять! Так и пахнет фонвизиновским Митрофаном: не хочу учиться, а хочу жениться. Главное, чего они добиваются, — это сходки, а сходки уже они тотчас превратят в политический клуб.

3. Вторник. Весь день за академическою работою.

5. Четверг. Если бы, господа, не было нас сдерживающих ваши бессмысленные порывы, то вы давно бы перерезались бы между собою и обратили бы в прах все общество под предлогом просвещать его и вести к прогрессу...

В Совете по делам печати два мои доклада: один о нелепейшей драме известного литературного чудака Великопольского «Янетерской», которая была в 1839 году напечатана с разрешения цензора Ольдекопа, ее не читавшего,

и сейчас после того отобрана у автора и сожжена в присутствии моем и покойного Стефана Куторги. Теперь он решился ее снова пустить в свет и представил рукопись в цензуру. В этой пьесе автор собрал все мерзости, все нравственные искажения, которыми позорит себя род человеческий, — воровство в разных видах, прелюбодеяние, сводничество матери дочерью, смертоубийство, самоубийство, покушение на кровосмешение и пр., и все это намалевал грязнейшими красками. В предисловии он говорит, что делает это для того, чтобы разительными изображениями порока отучить от него людей; но выходит, что у него омерзителен не порок, а сами эти изображения. Я, разумеется, хотел избавить литературу нашу от стыда замараться этим гадким произведением и полагал не дозволять ‹драмы› к напечатанию, основываясь на прежнем ее запрещении, хотя автор и исключил из нее рескрипт царствовавшего государя с подписью Николай, сочиненный самим г. Великопольским и в котором будто бы государь изъявляет свое прощение и милость Щукину, отчаянному дуэлисту. Совет согласился со мною беспрекословно.[320]

Другой доклад мой был интереснее: я представил пространную записку. Дело состояло в том, что в «Современнике» назначена была статья «Пища и ее значение», кажется, работы ‹М. А.› Антоновича. Статья эта открыто проповедует материализм под тем видом, что человеку прежде всего нужно есть, а потом, говоря о труде и несоразмерности вознаграждения за труд, выводит коммунистические и социалистические тенденции. Будь это популяризирование или начала науки, я ни слова не сказал бы против этого, каких бы щекотливых вопросов статья ни касалась. Но это просто прокламирование к людям недалеким умом и знанием о том, что человек и живет, и мыслит, и все делает на свете одним брюхом и что по началам и стремлениям этого брюха надобно переделать и общественный порядок. Сначала рассматривал эту статью И. А. Гончаров, и, по свойственному ему обычаю сидеть на двух стульях — угождать литературной известной партии из боязни быть ею обруганным в журналах и оставаться на службе, которая дает ему 4000 руб. в год, — он отозвался о статье и так и сяк, но более так, чтобы им осталась довольна литературная партия. Он, однако, употребил уловку, впрочем, не очень хитрую и замысловатую, хотя принятую, очевидно, с хитрым намерением отклонить от себя решитель-

ный приговор: он просил Совет назначить еще кому-нибудь из членов прочесть эту статью. Совет возложил это на меня. Так как я решительно не признаю никаких литературных партий и не боюсь их, да и правительственным властям не намерен угождать, если бы они потребовали чего-нибудь нелепого и противного истинным пользам науки, мысли и просвещения, то и принял намерение в этом случае действовать так, как стараюсь действовать всегда, — по крайнему моему разумению и убеждению. Прочитав со вниманием статью, я убедился в том, что это негодная статьишка из многих в «Современнике» и «Русском слове», рассчитывающая на незрелость и невежество, особенно молодого поколения, и добивающаяся популярности в его глазах проповедованием эксцентрических и красных идей. Чего хочется этим господам? Денег и популярности. Трудиться им серьезно для добывания их нет ни желания, ни надобности. В иностранных литературах и книгах есть все, что угодно: оттуда легко добыть всевозможных прелестей радикально-прогрессивного цвета; они будут у нас новы, и, выдавая их за свои, легко добыть славу великого мыслителя, публициста. Перо же у нас бегает по бумаге довольно скоро. Само собою разумеется, что нельзя же потворствовать в печати этому умственному разврату и эгоизму, которому нет дела до последствий, лишь бы добыть денег и популярности. К сожалению, это печальная и неопровержимая истина. Все это я выразил в моей записке и показал, что правительство не вправе быть индиферентным к таким проявлениям печати, которые потрясают нравственное чувство, особенно у нас, где наука и общественное мнение еще так слабы, что не в состоянии противодействовать ложным и вредным учениям и нейтрализовать их своим влиянием. Совет не только согласился с моим заключением, но определил записку мою д л я р у к о в о д с т в а послать в здешний и Московский цензурные комитеты.

Забавен был Иван Александрович ‹Гончаров›: он спорил со мною, стараясь доказать, — и, правду сказать, очень нелепо, — что пора знакомить наше общество и с скверными идеями. Он забыл про то, что оно и так хорошо знакомо со многими скверными идеями, но из этого не следует увеличивать зла новым злом посредством печати, которой у нас верят, как евангелию, что знакомить людей со всеми мерзостями, прежде чем дано им орудие бороться с ними, — значит решительно делать их безоружными

и покровительствовать злу. Потом Иван Александрович согласился со мною и даже горячо поддерживал мысль принять мою записку в руководство. Итак, теперь он имеет полную возможность объявить в известном кругу литераторов, что он горою стоял за статью, но что Никитенко обрушился на нее так, что его защита не помогла, — это главное, а между тем он не восстал и против решения Совета. И козы сыты и сено цело.

Вечером ездил в Академию прочитать речь мою в комиссии: совершенно одобрена.

6. *Пятница.* Заседание в Академии в присутствии нового президента Литке. Он открыл заседание весьма пристойною и скромною речью. Потом я прочитал речь в память графа Блудова.[321] Успех был огромный. После заседания все руки протянулись ко мне, чтобы пожать мою, все окружили меня с изъявлением глубокого сочувствия и благодарности. Можно без преувеличения сказать, что это был восторг, и — что делает честь сердцу этих людей — восторг, в котором они выражали, что они вполне поняли и оценили заслуги и высокие качества покойного президента. Даже холодный Я. К. Грот расчувствовался и сказал мне: «Одного жаль, Александр Васильевич! это то, что вы мало пишете». ‹Д. М.› Перевощиков, который скуп на похвалы. рассыпал их передо мною щедро. Новый президент благодарил меня с большим достоинством и тактом, несмотря на то, что многое в речи он мог принять как урок себе. Многие говорили: «Как! и это написано в четыре дня!» Мне тем приятнее эти одобрения, что они происходят не от журнальных мальчишек-писунов, а от серьезных людей мысли и науки.

7. *Суббота.* Сильное прение о Костомарове в факультете. Благовещенский опять настоятельно начал предлагать его в доктора и опять так же настоятельно встретил противодействие во мне и Срезневском. Главная наша мысль была та, что вовсе неудобно и неприлично признать Костомарова доктором, когда патриотическая часть общества признает его сепаратистом и антинациональною личностию, к чему Костомаров подал повод своими малороссийскими выходками в печати и особенно своею статьею и полемикою о Дмитрии Донском. Докторство не было бы в настоящее время признанием только ученых заслуг Костомарова, но овацией, которая служила бы свидетельством того, что университет одобряет самый образ его мыслей. Да и вообще

поведение Костомарова во время его профессорства в университете было таково, что вовсе не делает чести ни его уму, ни его принципам. Дело осталось при том, что факультет не согласился ходатайствовать о нем в совете, а Срезневский выразился прямо, что он будет протестовать против всего совета, если бы он захотел сделать его доктором.[322]

8. Воскресенье. Недели три тому назад я начал замечать что-то неладное в моем правом глазу: какое-то радужное мелькание по временам, когда глаз обращен к свету. В очках я этого не чувствовал. Худо то, что мелькание это видимо усиливается. Это заставило меня обратиться к совету глазного доктора ‹Э. Ф.› Блессига. ‹...› Блессиг очень приятный молодой человек, возбуждающий к себе доверие.

От него отправился я к Назимовой, жене бывшего генерал-губернатора в Вильно и моей ученице Екатерининского института. Я был принят с необыкновенною приветливостию. Она показала мне двух своих дочерей, милых молодых девушек, из которых одна такая краснощекая; от нее пышет здоровьем.

Не все то дурно, что старо, не все то хорошо, что ново.

9. Понедельник. После совета университетского вечер у Литке, где были все академики и многие из посторонних. Я встретил тут, между прочим, давно не виденного мною ‹А.› Бутовского, который директором департамента мануфактур. Нечего сказать, лицо важное, — таким он и старается показаться. Встретил также Бунге, который извинялся, что не может бывать у меня по пятницам по причине заседания в какой-то комиссии, в чем я его охотно извинил, и проч. Возвратился я домой часов около двенадцати.[323]

11. Среда. Получил от ‹Н. Г.› Устрялова в подарок четвертый том его истории Петра Великого. Богатое издание.[324]

12. Четверг. Заседание в Академии и в Совете министерства. В последнем Пржецлавский читал пространную записку о средствах оградить в печати личную честь от порицаний. Много слов и умствований, дела очень мало.[325] Остальные дела были неважны.

13. Пятница. ‹П. Л.› Лавров учит философии женщин, которые где-то собираются, чтобы слушать его лекции.[326] Сегодня с его лекции к нам заехала милая, умная и молодая девушка К. С. Старынкевич. Она сама посмеивается над философией Лаврова. Я хотел узнать от нее содержание его лекции, но это было уже поздно, и она спешила

домой. Впрочем, вот одна из его фраз: «Человека составляют чувственные впечатления и образуемые из них механически понятия; что касается ума, то это есть только географическое наименование». Восхитительно! Вот какой великий философ Петр Лаврыч! Милые женщины! Он вам докажет, что вы мыслите известными частями вашего прелестного тельца, а голова вам дана единственно для украшения.

Вот эти растленные умы! Прежде чем они научились мыслить самостоятельно, они делаются апостолами материализма, который составляет грустное, но не единственное приобретение науки там, где она живет продолжительною и богатою жизнию. У нас же что значит это философствование, как не преждевременная гнусная похоть, как не онания, порождающая хилые, болезненные создания, способные только бредить и заниматься сладострастными мечтами, а не мыслить и действовать.

Можете ли вы доказать, что то, что вы проповедуете, есть истина? А если нет, так зачем же вы проповедуете?

14. Суббота. В ваших либеральных учениях есть одно нехорошее место: это то, что вы не допускаете ничьей свободы мнений, кроме ваших.

Это — всеобщая революция, социальная, политическая, умственная, нравственная.

Один журналист сказал одному знакомому мне лицу на упрек его, что он помещает в журнале статьи вредного направления: «Как вы хотите, чтобы я не печатал забористых и скандальных статей? Ведь тогда бы журнала моего никто не выписывал».

16. Понедельник. Всеобщая революция — радикальная реформа всей цивилизации и образованности — вот к чему влечет так называемый дух времени, к чему стремятся современные умы. Это движение всемирное. Примеры подобных движений есть в истории. Хорошая, сознаваемая или не сознаваемая стороны результатов этого движения:

a) В государстве и обществе (политическая и социальная реформа) — торжество демократии, уничтожение всяких общественных привилегий, управление из выбранных лиц под контролем общества.

b) Политико-экономическая — свобода труда и более правильное распределение народного богатства.

c) Религиозная — полная свобода совести; христианство, очищенное от мифа, чудес и метафизических дог-

матов, основанное на вере в божество и провидение без личного чужого посредства и ходатайства, где каждое неделимое, нося само в себе правильно сознаваемого бога, чрез то самое делается ему доступным, оставаясь в то же время человеком-богом с своим человеческим, уничтожение или сокращение и оразумление обратной стороны религии.

d) Реформа нравственная — признание нравственного закона из уважения к нравственному достоинству и значению человека без всяких чаяний наград или опасений наказаний.

e) Реформа в науке — достоверность знания и истины на наблюдении и опыте с признанием высших прав и требований разума, соединение анализа с синтезисом.

f) Реформа в искусстве — сочетание реального с идеальным и уничтожение в последнем всего фантастического, произвольного и истребленного.

Все это, конечно, ведет к всестороннему и полному обновлению человечества, о чем мечтают лучшие умы нашего времени. Но, стремясь к этой мечте, мы идем по скату и можем свалиться в пропасть. Опасности, угрожающие на этом пути:

a) Для государства и общества — анархия, деспотизм грубых и полудиких масс, отвержение прав всякого таланта и всякой высшей силы умственной, ниспадение до грубейшего и бедственнейшего варварства.

b) В отношении экономическом — нарушение прав собственности с коммунистическими притязаниями, бедность от недостатка внутреннего поощрения к труду, основанного на праве собственности.

c) В религии — уничтожение веры в высший порядок вещей и высшее существо, подавление всякой идеи о связи бога и человека, совершенный атеизм и падение религиозного чувства.

d) В нравственности — уничтожение нравственных принципов и погружение в материализм.

e) В науке — синкретизм понятий без единства обобщающего начала, материализм.

f) В искусстве — уничтожение всяких стремлений к идеалу и ослабление творчества вследствие уничтожения высших стремлений человеческого духа.

Мы должны пройти чрез все эти ужасы, потому что настоящее поколение приняло методу полного отрицания, уничтожения всякой связи настоящего с прошед-

шим, полагая, что это единственный способ для достижения великих и благодетельных последствий всеобщей реформы. Между тем достижение всех этих последствий в таких размерах, как думают утописты, есть вещь чисто проблематическая.

Противостоять этому движению нельзя и не должно. Но должно противостать возможности гибельных последствий. Вот почему надобно сражаться с бессовестными радикальными стремлениями современного поколения, но не преграждая пути вперед, потому что если не будет этих задерживающих умственных ограничений, то действительно человечество может попасть в пропасть, вместо того чтобы достигнуть обетованной страны обновления.

17. Вторник. Нынешние естествоиспытатели относят человека к разряду обезьян. Они не находят между ним и этими животными почти никакого развития в физическом устройстве. Отсюда материалисты и заключают, что напрасно человек приписывает себе какое-то высшее значение на земле. Однако если бы интеллектуальная сила зависела единственно от материальных условий и была бы только продуктом телесного устройства, то отчего же обезьяны, столько же в этом отношении совершенные, как и человек, лишены этой силы? Не значит ли это, что разум проистекает из другого источника и что для происхождения его недостаточно ни особенного устройства мозга и нервной системы, ни особенного расположения органов движения и т. п.? Мне кажется, что аргумент, заимствуемый материалистами из физического сходства человека с другими животными, против духовности человеческой природы или чего-то другого, что мы так называем, — что этот аргумент не имеет ни малейшего основания. Он только доказывает, что никакое устройство материальное не в силах даровать существу высших духовных сил и стремлений.

19. Четверг. Великолепный парад в память взятия Парижа. Говорят, что праздник по этому случаю сделан в соответствии с празднованием взятия Севастополя в Париже, из чего выводят не слишком благоприятные признаки отношений наших с Францией.[327] Впрочем, мысль о всеобщей европейской войне висит над Европой, как туча, уже несколько лет. Надобно же ей когда-нибудь разразиться.

Говорят также, что французское посольство уехало в Москву на этот день, чтобы не быть свидетелем празднеств в память взятия Парижа.

Вышел из Академии наук в двенадцать часов и поневоле должен был смотреть парад, потому что проходу через Исаакиевскую площадь, залитую войсками, не было. Впрочем, я не жалел об этом и о потере часов двух времени. Парад составлял зрелище величественное и поэтическое и невольно возбуждал чувство патриотической гордости. Что за войска! Какие молодцы люди! Какая быстрота и стройность движений! Право, искусство убивать людей, как никакое другое искусство, делает честь человеческому гению.

20. Пятница. В прошедший вторник я выбран в члены «Сельского общества».

21. Суббота. Речь, которую я читал в Академии наук в память графа Блудова, мне самому нравилась, но теперь я вижу, что она плоха. Да и может ли написать что-либо хорошее, истинно хорошее, маленький, темненький человечек? Мне прислали корректуру из типографии.

Маленький, темненький человечек, который всю жизнь свою возится с тем, чтобы не быть ни тем, ни другим, и все-таки остается им.

22. Воскресенье. Эмансипаторы женщины требуют равенства ее с мужчиною. Не значит ли это, что женщина должна делать то же, что мужчина? В таком случае, нужно ли, чтобы женщина соблюдала некоторую стыдливость, сдержанность, скромность в стремлениях удовлетворить потребностям и влечениям пола? Или она может кидаться на мужчину, когда кровь ее закипит, без всякого зазрения совести и сама поднимать подол? По учению эмансипаторов выходит, что так. Возражение: но и мужчина не должен позволять себе этого. Да этого и не будет, когда мужчины будут благовоспитанны и нравственны. Природа, однако, сама сделала мужчину нападающим, а женщину только уступающею. Это мы видим даже у животных. Да и не без причины. В противном случае был бы повальный разврат, и люди, собаки, лошади и пр. только и делали бы, что совокуплялись. Род животных и человеческий должен бы погибнуть от той самой причины, которая должна служить к их возрождению и сохранению.

Женщине полагается ездить верхом только боком. И на это есть основательные физиологические причины.

Что женщина слабее мужчины, это, кажется, факт, не подлежащий сомнению. Нуждается ли она поэтому в покровительстве мужчины или нет? Если нуждается, то тут

уже не может быть равенства. Нужда в покровительстве есть зависимость.

Впрочем, я не восстаю против поднятого вопроса, точно так, как и против других подобных вопросов. Многое должно уничтожиться из того, что люди принимали за правило и истину. Много должно установиться нового, хотя бы только по одному тому, что оно ново. Но не должно отнимать у разума права устраивать вещи с его участием, так как то, что делается без его участия, не бывает ни лучшим, ни справедливейшим.

Я придерживаюсь охранительных начал, но каких? Не тех, которые противодействуют всяким реформам, а тех, которые противодействуют насилию и деспотизму, с какими их хотят производить.

Деспотизм одинаково ненавистен, действует ли он по внушению страсти или теории.

Поутру у Делянова познакомился с книгопродавцем ‹М. О.› Вольфом. Мужик бойкий и сильно плутоватый. На упрек мой, зачем он издает такую пустошь, как «Заграничный вестник», вместо хорошего и доброкачественного периодического журнала, который бы знакомил нас с важнейшими явлениями иностранной науки и жизни, — он отвечал, что для этого у нас не найдется ни литературных деятелей, ни читателей. «Что касается до читателей, вы нашли бы их; о деятелях не знаю». Тут прочитал он целую огромную филиппику противу русских литераторов: как они малограмотны, малосведущи и бесстыдно недобросовестны. Он привел несколько фактов и примеров тому, которые, в самом деле, не много делают чести нашей интеллигенции. Вот этот книгопродавец рассказывает все эти мерзости во всеуслышание. Он рассказывает их и за границей, куда часто ездит. Мудрено ли, что об нас составляется такое нелестное для нашего национального достоинства мнение? Всему виновато проклятое к а к - н и б у д ь и отсутствие честности.

Был у меня Тютчев Ф. И. Его назначили членом Совета по делам печати, и он хотел со мною посоветоваться насчет тамошних дел.[328] Он, между прочим, сказал мне, что ‹А. М.› Горчаков сильно отсоветовал государю не делать праздника по поводу взятия Парижа 19 марта. Тютчев думает так же, как и я, что война неизбежна.

23. Понедельник. Вчера в № 66 «С.-П‹етербургских› ведомостей» появилась речь моя о графе Блудове.

Взял билет на вход в «Общество сельских хозяев» и внес 60 руб.

Главная ошибка новых учений о радикальных изменениях общественного порядка состоит в том, что они хотят построить здание прежде, чем заготовлен нужный для него материал. Материал есть человек, с его природою и историей, выработанными нравственными и умственными наклонностями и стремлениями. Для предполагаемого нового порядка вещей этот материал решительно не годится. Надобно, чтобы он совершенно изменился, чтобы дерево стало железом, вода камнем или камень водою и пр. Какая сила может произвести это чудесное изменение? Защитники новых учений говорят, что это изменение совершится, когда установится новый порядок вещей, человек сделается лучшим и способным держаться новых общественных начал. Это значит начинать с конца. В том-то и состоит задача, что самое устроение общества на новых началах предполагает такие условия, каких нет. Но наука, говорят, сделает возможным эти условия. Бокль проповедует знание как единственное средство к тому. Ну так отложите же по крайней мере ваши радикальные реформы до того времени, пока эта подготовка будет выполнена. Не начинайте с последствия, вместо того чтобы начать с причины.

Всё хотят произвести из субъективного закона личной свободы. Но разве эта свобода безгранична? Уничтожьте прежде ограничения, которыми отвсюду окружена человеческая личность, ограничения со стороны внешней природы и со стороны ее собственного бессилия.

Вы хотите основать все на началах *разумного эгоизма*, на внешних отношениях человека к человеку. Какая нелепость! Разумный эгоизм состоит в избежании наказания. Величайшим мудрецом, по этому учению, будет тот, кто сумеет подчинить без опасности для себя все интересы, всех сделать орудиями своей воли и своих выгод. Нет, говорят, это будет противно образованному духу, противно внутреннему самодовольству, это будет не благо, а зло для нас самих, сделает нас внутренне несчастными. Почему же? Вы, значит, признаете какого-то внутреннего судью над самим эгоизмом? Выходит, что ваша теория разумного эгоизма есть совершенный пустяк: она несамостоятельна, она разбивается о какую-то другую силу, о какое-то другое требование.

Получил весьма милую записочку от графини А. Д. Блудовой с изъявлением благодарности за мою речь в Академии.

24. Вторник. Вчера отправлено письмо в Архангельск к Смольяну о Ломоносове.

В первый раз был в «Сельском обществе». Тут встретил много знакомых. Некоторые благодарили меня за речь мою. Обед с музыкой. Я сидел возле Гончарова и Струговщикова: оба угощали меня, один хересом, другой шампанским. После обеда открылось заседание. Я не мог дождаться конца: в большой зале, где происходило заседание, было довольно холодно, я боялся простудиться. Все, кажется, недурно.

25. Среда. Я вчера узнал в Обществе, что меня избрали в члены очень хорошо: из ста тридцати голосов против меня было только четыре.

Поутру у графини А. Д. Блудовой. Она очень благодарила меня за речь со слезами на глазах, говоря, что я совершенно понял и с любовию изобразил покойного ее отца. После графа остались его записки, которые она хочет печатать, хоть в извлечениях, если по цензурным соображениям их нельзя будет напечатать все. Записки эти очень должны быть интересны. Головнин взялся доложить о них государю. [329]

Рассказ о дуэли между Шадурским и другим каким-то офицером. Они поссорились в каком-то трактире за камелий. Шадурский убит.

Потом ездил отыскать Глинку, сына Сергея Николаевича. Мне удалось выхлопотать ему от Литературного фонда пособие 75 р. Он был болен и лежал в Обуховской больнице, а жена оставалась на квартире без куска хлеба. Я нашел их в беднейшей квартире. Странно, что дядя его Федор, человек богатый и у которого нет детей, ему не помогает.

Потом заехал к ‹В. П.› Гаевскому, у которого провел часа полтора.

26. Четверг. Речь моя, как оказывается, имела большой успех.

27. Пятница. На юбилейном обеде генералу ‹Н. В.› Медему, в честь пятидесятилетия его службы. Я был приглашен участвовать в этом торжестве в качестве сослуживца генерала по званию члена Главного управления цензуры. Юбилей, как все подобные ему, с довольно плохим обедом,

музыкою, похвальными, тоже весьма плохими речами, с тостами и проч. Речи, которых было бесчисленное множество, в самом деле были весьма не красноречивы, наполненные общими местами и фразами с уверением в их искренности и т. д. Да и произнесены они были не блистательно. Ко мне подходило несколько генералов с вопросом, не скажу ли я чего-нибудь. Я отвечал, что очень уважаю и люблю генерала Медема, но что я служил с ним очень недолго, что для речи у меня нет материалов, а говорить общие места я не имею привычки. После обеда я тотчас уехал домой. Обед продолжался два с половиною часа.

29. Воскресенье. Иные статьи могут стоить книг, так как иные книги могут не стоить статей.

Елена Павловна пожелала прочесть мою речь, о чем писал ко мне Делянов; я отправил к нему экземпляр для нее, да еще, по просьбе его, для Гагарина и три экземпляра для некоторых других подобных господ.

30. Понедельник. Совет в университете. Сильное прение о ‹И. В.› Вернадском. Факультет не хотел избрать его в профессоры финансов и употребил (‹И. Е.› Андреевский) пошлейшую, истинно подьяческую уловку; однако нашлось в совете столько здравомыслия и справедливости, чтобы не согласиться с факультетом. Да, правду сказать, и плутовство его было слишком очевидно. Совет положил допустить Вернадского к баллотировке.

31. Вторник. В русском древнем эпосе, сравниваемом с западным, есть что-то м у ж и ц к о е. Но это не мешает ему иметь свое важное достоинство.

Вечером в собрании «Общества сельских хозяев». Опять встретил много знакомых.

Апрель 2. Четверг. Заседание в Академии, в Совете министерства внутренних дел и в совете попечительском. В Совете министерства опять побит Пржецлавский — на сей раз Гончаровым — по вопросу об усиленном надзоре за нападением на личности, за карикатурами и проч. Пржецлавский хотел, чтобы для этого дана была определенная инструкция цензорам.

Норов изъявлял сожаление, что не мог найти доселе речи моей о графе Блудове, чтобы прочитать ее. Я решился послать ему экземпляр. Во мне нет закоснелой ненависти ни к кому, хотя нет и никакой веры в человеческую добродетель. Все обман, ложь и пустота. Но столько же

не стоит удерживать негодование на лицо, сколько и пленяться его мнимою добротою.

Если вы не хотите иметь врагов, так не старайтесь сделать что-нибудь лучше других.

3. Пятница. Цивилизация ведет за собою полнейшее и всестороннее развитие человека, а следовательно, и развитие страстей. И вот где необходимость сдерживающей, ограничивающей власти на самых высших ступенях цивилизации.

4. Суббота. Русской женщине принадлежит великая будущность, если только она сумеет обуздать страсть к неизмеримым кринолинам, которых пределы граничат с областию разорения их отцов, мужей и их самих.

Норов благодарил меня за присылку речи и отчета.

5. Воскресенье. Был поутру у почтенного Глебова и просидел часа полтора у его жены Анны Ивановны. Весьма оживленная и приятная беседа.

6. Понедельник. Вечер у президента Литке.

9. Четверг. Заседание в Академии и потом в Совете по делам печати. Здесь опять был побит Пржецлавский по поводу одного его донесения, в котором он требовал, чтобы цензура наблюдала за тоном выражений в полемике журналистов между собою, так как они грубо и пошло ругают друг друга. Но как цензура может учить вкусу и приличию людей, незнакомых с ними ни по чувству, ни по образованию?

Видел депутатов Царства Польского, ехавших во дворец. Все они были в национальных живописных костюмах.[330]

В сегодняшнем № (81) «Северной почты» напечатан рескрипт, читанный при закрытии финляндского сейма. Он содержит в себе выговор сейму за его неприязненность к России, обнаруженную во время прений. Это очень хорошо. Всякая тварь, пользующаяся всевозможными льготами в соединении с Россией, считает долгом своим при всяком удобном и неудобном случае плюнуть на нее, и государь прекрасно напомнил чухонцам, что это глупо и неправильно. Россия, кроме добра, ничего им не сделала, а они, получая от нее все благое, воротят от нее свое рыло. Это нам праведное наказание за то, что мы мало уважаем самих себя.

Сейм тоже выразил свое противодействие законам о печати, которые чрезвычайно либеральны. Смешно, право! Из чего хлопочут они? Так, как будто у них бог знает ка-

кая богатая литература и какие чудеса они делают в нравственном мире. Вот уж правда, что куда конь с копытом, туда и рак с клешнею. Нужно же им подымать бурю в стакане воды!

10. Пятница. Прусская палата общин стремится к тому, чтобы нивелировать сословия во имя демократического принципа, по которому чтобы захватить власть в свои руки и управлять страною на основании какой-то представительной олигархии. Бисмарк это очень хорошо понимает, и вот откуда весь антагонизм.

Самая консервативная страна в мире, без сомнения, есть Англия.

Дело не в том, чтобы стремиться остановить движение ко всеобщей реформе, а в том, чтобы задержать его, сделать его, во-первых, не столь разрушительным, каким оно угрожает быть, а во-вторых, подчиняя его закону постепенности в известной мере, тем самым обеспечить благие его последствия. Это борьба, но без борьбы никакая истина и никакой успех не могут быть прочными. Вот почему я придерживаюсь в моих либеральных тенденциях консервативного начала. Настоящее и будущее должны иметь связь с прошедшим. Не перестроив планеты, нельзя радикально перестроить ни человека, ни общества. Всякие крайние и абсолютные покушения в этом роде ведут к рабству, бедствиям и гибели. Зачем это?

Прошла Нева.

11. Суббота. Вчера и сегодня прекраснейшая погода. 9° тепла утром. Толпа страшная гуляющих около верб и по всему Невскому проспекту.

12. Воскресенье. Мало гулял: В. Е. Княжевич просидел у меня часа два.

13. Понедельник. Между понятием о вещи и усвоением себе этого понятия большая разница. Последнее только одно составляет наше настоящее приобретение — знание, истину и чувство истины.

14. Вторник. Обед в клубе. Там встретился с ‹Д. С.› Левшиным, попечителем Московского университета. Продолжительный разговор о нашем просвещении и воспитании. К нам присоединился еще один господин, который часто со мною встречается и бонжурится, но которого имени я не знаю. Левшин обманул мои ожидания. Я думал, что он будет плохим попечителем: он казался мне как-то пошловатым, а вышло, что он теперь лучший попечитель. Простой

здравый смысл и доброе благорасположенное сердце заменили ему все прочие качества. Главное же — он не имеет начальнических претензий все знать и именно знать то, чего он не знает. Затем он принимает советы, не делаясь рабом советчиков. [331]

15. Среда. Не хлопочите понапрасну, говорит партия ярых и всеобщих реформаторов: вам не остановить мощных пружин и вечно вращающегося колеса того ткацкого станка, на котором ткется бесконечно длинная и широкая ткань жизни с ее бесчисленными узорами. Мы и не хотим остановить их; мы знаем, что закон жизни есть закон изменения. Все течет и изменяется, сказал давно еще Гераклит. Но мы хотим задерживать, чтобы пружины и колеса двигались не так быстро, потому что тут важно не одно изменение для изменения, что в буре его живут и движутся чувствующие существа, которые должны иметь время вздохнуть и почувствовать свое существование. Мы хотим, чтобы эти бури изменений не сносили, не сталкивали их мгновенно в пропасть. Словом, мы хотим, чтобы были стадии на этом пути, пункты, остановки и отдохновения, а не сплошное трение оборачивающегося катка. Мы страдаем от лихорадки, перемежающейся лихорадки. Притом, если, как вы говорите, будет время, когда этими переворотами достигнется лучшее состояние человечества, то разве это лучшее может произойти не иначе, как через совершеннейшее истребление прошедшего и всего ныне живущего? Разве это лучшее может быть сколько-нибудь прочным, если оно совершится не по закону постепенного органического развития?

Отдал Казимире на сохранение три тысячи рублей, — две в билете Государственного банка, а тысячу ассигнациями. У меня остались 70 полуимпериалов, сохранившихся от поездки за границу, и тысяча рублей ассигнациями в моем портфеле. Вот все мое богатство.

16. Четверг. Русский народ не знал доселе ни религии, ни нравственности, ни знания, как те, которые вбивали в него насильственно и механически. Мудрено ли, что к нему ничего из этих благодатей не пристало, ничего не вошло внутрь, не сделалось моральною силою и побуждением души. Он нравственен, религиозен по внешности, по обряду, по преданию, без малейшей внутренней уверенности и сознания. Знание ему тоже навязывается извне посредством или угроз, или поощрений. Не следует ли, наконец, обращаться прямо и просто к его здравому смыслу, к его

человечественным инстинктам, к его замечательным дарованиям, особенно к его нуждам, чтобы мало-помалу пробуждать в нем стремление к знанию и благородные нравственные и религиозные наклонности? В этом смысле покушение гр‹афа› ‹Л. Н.› Толстого с его школой яснополянской, если только оно имело какой-нибудь смысл, разумеется, лучше и основательнее соображенное, могло бы повести к хорошим последствиям.[332]

17. Пятница. Ничто столько не содействует распространению поверхностных, смешанных, неосновательных и нелепых понятий о предметах серьезных, как так называемые популярные книги.

19. Воскресенье. Праздник пасхи. Заутреня и обедня в Исаакиевском соборе. Насилу продрались к алтарю, хотя и имели билеты. Служил архиерей. Нельзя сказать, чтобы тут было лучше, чем в других приходских церквах. Толкотня и суматоха такие же. Пение довольно посредственное. Беспрерывная прогулка по церкви каких-то господ мимо вашего носа, наконец, страшно надоедает.

Я был в шубе, и мне не было очень жарко, потому что в этой части церкви, где мы стояли, не было тесно. С нами был Пинто с женою, который у нас и разговлялся, и обыкновенные посетители, Ф. К. Гебгардт и пр. Холодно, градуса два. По временам проглядывало солнце, но северный ветер. Нева, впрочем, была чиста ото льда. Я отправился пешком, зашел в Екатерининский институт поздравить начальницу Е. В. Родзянко с ее вчерашним двадцатипятилетним юбилеем, завернул тут же к классным дамам: Поганато, Араповой и Петровой. Записался у графини Блудовой, которую не застал дома, записался также у президента Литке и потом просидел часа полтора у В. М. Княжевича. Вот и все мои парадные визиты.

20. Понедельник. Вся эта громадная масса народа, волнующаяся на улицах и площадях в праздничном и праздном возбуждении чувств, производит странное впечатление. Чувствуешь силу, но силу грубую, почти дикую. И этой массе хотят наши либералы навязать конституцию! Ей нужна не конституция, а общественное и гражданское воспитание. Дело в том, что конституционалисты хотят не того, чтобы она управляла сама собою, но чтобы они могли ею управлять. Но они-то сами должны быть также воспитаны для политической жизни и деятельности; а так, как они есть, они способны только к глупостям. Они ни к какому

серьезному делу не годятся, потому что серьезно ничему не учатся и ни о чем серьезно не думают.

21. Вторник. В клубе обед. Встретил много знакомых. Государь отказал в награде президенту Медицинской академии ‹П. А.› Дубовицкому и вице-президенту, моему приятелю И. Т. Глебову, за то, что они распустили академию. И того и другого обвиняют в послаблениях студентам, которые сильно дурачатся. Удивительно, как старые и опытные люди не имеют твердости воспротивиться нелепым увлечениям молодых людей!

Военный министр велел не допускать девушек на лекции в Медицинскую академию. Их сперва явилось три или четыре, и действительно, говорят, занимались усердно анатомией. После их расплодилось уже до шестидесяти и более. Все это милые нигилистки с остриженными волосами, в круглых шапочках с перышком. Они начали расхаживать по коридорам, куря папиросы, под руку со студентами и производя с последними разные скандалики. Очевидно, тут дело шло не об анатомии над трупами, но об опытах над живыми тельцами, из которых некоторые заметно начали полнеть и утолщаться. Дивны дела твои, о русское общество и русская интеллигенция! [333]

22. Среда. Наши нигилисты поступают точно так же, как польские революционеры. Те требуют Польши 1782 года, Польши с 22 миллионами населения, или ничего. Нигилисты тоже — дай им жизнь без всяких нравственных опор и верований!

23. Четверг. Порядочный снег покрыл крыши домов и улицы. Между тем тепла 5°.

Надобно, наконец, написать мнение по случаю проекта нового устава Академии наук, который хочет слить II отделение с III. [334] Я восстаю против этого. По моему мнению, необходимо допустить некоторую самостоятельность II отделению, то есть ту самую, какую оно имеет уже, изменив, конечно, кое-что в его устройстве.

26. Воскресенье. Науке в наше время приписывается значение, какое едва ли она может иметь. Она должна, по мнению некоторых, заменить следующие начала общества: верования, все нравственные опоры и убеждения и проч.

Праздниками я не воспользовался как следует. Они проведены как-то вяло и непроизводительно. Только с четверга начал я пробуждаться, и дух деятельности начал охватывать мои внутренние силы. Я работал последние дни над мне-

нием по вопросу о слиянии II отделения Академии с III, и как я объявил уже себя противником этого слияния, то мне следует представить протест мой сколь возможно в убедительнейшем виде: ибо приходится сражаться со многими, чуть ли не со всеми членами Академии. К четвергу надобно это приготовить, чтобы прочитать в отделении.

Диспут в университете ‹В. К. Надлера› на звание магистра по части всеобщей истории. Диссертация была «О реформационном движении в Чехии в четырнадцатом столетии». Диспутант защищался чрезвычайно слабо. Однако его поздравили магистром.[335]

27. Понедельник. У доктора Завадского (Степана Павловича) на вечере. Все были незнакомые. Ничего замечательного.

29. Среда. Кто из своего *я* не творил себе кумира и не преклонялся пред ним с религиозным благоговением!

30. Четверг. В воскресенье приехал ‹М. Н.› Муравьев.

На днях был у меня разговор с Ф. И. Тютчевым о гнусном Головнине и о гнуснейшем его управлении. «Что вы будете делать? — сказал мне Тютчев. — Все знают его, все глубоко презирают, государь разделяет общее к нему неуважение, а между тем нет человека, который бы решился сказать государю, как вредно терпеть на таком важном посту такого подлеца и глупца. Я говорил раз об этом с Горчаковым, который по близости своей к государю скорее всех мог бы открыть ему глаза. Но он отвечал мне: «Я не могу этого сделать, потому что государь может подумать, что я иду против его брата». Итак, вот каким соображениям предается в жертву образование, будущность России! Неужели в самом деле двор имеет свойство отнимать у людей всякое благородное чувство, всякое великодушное побуждение и делать из них трусов и мельчайших эгоистов, когда такой умный и, повидимому, благородный человек, как князь Горчаков, боится сказать государю правду и освободить, из видов этой боязни, отечественное воспитание, науку, надежду будущего, от такого скверного насекомого, их подтачивающего, как Головнин.

Читал записку мою против слияния II отделения с III. Кажется, она сделала благоприятное впечатление на моих сочленов.

Май 1. Пятница. Светло, а тепла только 4°. Вчера шел сильнейший лед по Неве. Какая ненасытимая утроба

у этого Ладожского озера. оно как будто сожрало зимой лед всего севера, а теперь выблевывает его на нас.

Мне рассказывали, что в день приезда Муравьева в Петербург Суворов послал на железную дорогу чиновника объявить ее администрации, чтобы она не допускала стечения народа на дебаркадере во время выхода Муравьева из вагона. Администрация, однако, отвечала, что она сделать этого не в состоянии и не вправе, потому что народ этот состоит из отцов, мужей, жен, братьев и пр., приходящих встречать своих приезжающих родных.

2. Суббота. Вечер у ‹А. И.› Чивилева. Нас трое только и было: он, я и ‹С. М.› Соловьев, недавно приехавший из Москвы. Я не знаю, есть ли существо на свете столь неприятное, как московский ученый, литератор или московский так называемый передовой человек? Детская заносчивость, бабское умничанье, дух нетерпимости, хвастовство и дерзость их нестерпимы, еще нестерпимее петербургской распущенности и глупого западничанья.

3. Воскресенье. Вчера был у меня сильнейший спор с Чивилевым — странно сказать — о свободе воли. Он придерживается нынешней философии и отрицает свободу воли. Главное его доказательство: мысли нам даются не нами, от них зависят побуждения к решимости, следовательно, воля повинуется необходимому сцеплению понятий. Он полагает также, что для ума человеческого нет ничего недоступного и что знание должно разоблачать все тайны вещей. Свобода воли есть иллюзия. «Отчего же и знания наши, — возразил я, между прочим, — также не иллюзия? Почему думать, что я все знаю, меньше иллюзия, чем уверенность, что я могу хотеть и не хотеть по выбору моего ума?» и проч. и проч. Потом завязался спор о Муравьеве. Чивилев разделяет мнение «Голоса», что Муравьев ничего не сделал для укрощения бунта и для утверждения русского элемента в западных губерниях.

Поутру визит Миллеру и Назимову. Затем погулял в Летнем саду. По крайним аллеям ездил государь с государыней; народу было множество. Сад весь не иное что, как собрание стоймя торчащих бревен, палок и прутьев. И признаков зелени нет. Погода, впрочем, была прекрасная. Часов в пять — гроза и дождь.

5. Вторник. Нанята дача в Павловске у генерала Мердера. Вчера дано и задатку пятьдесят рублей; за лето две-

сти пятьдесят с мебелью, которая, вероятно, будет не весьма блестящая.

Празднование столетия Смольного монастыря.[336] За несколько еще дней я получил пригласительный билет. В 9 часов утра я заехал к Полиньке Сукман, которая воспитывалась в Смольном монастыре и была также приглашена на праздник; так как она очень мила, то мне захотелось взять ее с собою. В сорок минут десятого мы были уже в соборе Смольного монастыря. У барьера стояло множество старух, кажется из богадельного дома. За балюстрадой были нынешние воспитанницы и суетилось несколько чиновников. Принц Ольденбургский был уже здесь. Он подошел ко мне с обыкновенною своею незатейливою любезностию, спросил, сколько времени служил я в монастыре и исправно ли посещают лекции студенты университета. Церковь скоро начала наполняться бывшими воспитанницами и сановниками. Между теми и другими я встретил много знакомых. Обедню служил митрополит. Пели придворные певчие. Как хороша эта церковь! Я не видел нигде подобной по величественности, простоте и легкости архитектуры, кроме разве Пантеона в Париже. К молебну приехали государь, государыня и вся императорская фамилия. Собор с самым зданием Смольного монастыря соединили на время крытою полотняною галереею. Чрез нее-то и прошли все приглашенные в бесконечные монастырские коридоры, которые привели их в парадную залу. В верхнем коридоре по обеим сторонам стояли в два ряда воспитанницы, что производило весьма интересный эффект. В зале, против входа, в тени прекрасной зелени стояла статуя Екатерины II, а на всем пространстве залы были накрыты столы для завтрака. Все места были заняты женщинами, кроме одного стола, назначенного сановникам, между коими поместился и я, маленький и темненький человек, — между сановнейшим мужем Языковым, директором Училища правоведения, и министром юстиции Замятниным.

Так как это по преимуществу был женский праздник и как мое сердце вообще больше лежит к нашей образованной женщине, нежели к нашему так называемому образованному мужчине, то я и обратил все мое внимание на эти волны женских голов, заливших всю почти залу. Какое разнообразие лиц и возрастов! Тут рядом с цветущею юностию последних выпусков помещались развалины начала нынешнего столетия, которые тоже когда-то цвели юностию.

Говорят, сохранилась одна дама ста четырех лет первого выпуска. Но ее здесь не было. Тут мелькали и мне знакомые многие головки, лет двадцать и пятнадцать тому назад блиставшие прелестью и первым упоением молодой расцветающей жизни, а теперь — увы! — увядающие, полуувядшие или совсем увядшие, что красноречиво говорит и о моем собственном увядании. И сколько из них увяло и увядает в нужде и под гнетом разных житейских невзгод и бурь! Многие, увидев меня, посылали мне свои приветливые поклоны и улыбки уст, на коих мрачно лежала грустная печать времени. Мужчины тотчас сели за стол, накинулись было на блюда с пирогами, котлетами и пр., но явился какой-то камергер и объявил, что надобно ожидать государя. Все встали и начали ожидать. Минут через двадцать явился и государь, ведя под руку императрицу и последуемый великими князьями и чинами двора. Заиграла музыка. Государь раскланялся с обыкновенною своею приветливостию, потом сел за стол, чему последовали и все прочие, — и началось набивание чрева. Меня вовсе не занимали яства; я был увлечен в область дум смыслом этого торжества. Воображение мое вызывало и Екатерину, которой Россия обязана пониманием высокого значения женщины и превращением ее из куска сладкого мяса или пирога, начиненного физическими восторгами, в существо мыслящее, благородное, в великое орудие народного перерождения и очеловечения. Но вот нелепый Языков берет мою тарелку и нагружает ее котлетами; надобно было есть. Явились бокалы с шампанским; первый тост за государя, — запели прелестные женские голоса «Боже, царя храни!» Все встали — минута была прекрасная. Бокал в память Екатерины, — опять те же голоса, певшие какой-то гимн с припевом известного польского: «Славься сим, Екатерина, славься, нежная к нам мать». Это тронуло меня почти до слез. Но мои соседи рады были, что это пение кончилось и что они опять могли приняться за желудочные дела. Завтрак был обильный, вина довольно, и вино хорошее. Все это из дворца. Служили придворные лакеи.

По окончании завтрака государь скоро уехал со всем семейством. Мы рассыпались все по залу. Тут я беспрестанно встречался с моими прежними ученицами, приветствуемый их дружелюбными воспоминаниями. Не из женщин была особенно интересна встреча с А. С. Норовым, который, как в старину, изъявлял мне всевозможные ласки.

Я припомнил ему, между прочим, юбилей Московского университета и сказал, что это был лучший момент его министерствования.

— А кому обязан я этим? — возразил он, — вам. Ведь царская грамота была зерном всего, ведь она возбудила всеобщий восторг, — а грамоту сочиняли вы!

— Если уж так, — отвечал я, — то эффект произошел от того, как вы ее прочитали; вы прочитали ее великолепно.

Что действительно правда. Итак, тут вышла система взаимного восхваления.

В половине третьего часа я отправился домой и по дороге заехал к Сукманам, где и сдал мою спутницу на руки ее родителям. Праздник Смольного монастыря оставил во мне самые приятные воспоминания.

7. *Четверг*. Непристойная сцена между Срезневским и Билярским в Академии. Билярский захотел отомстить Срезневскому за то, что этот подавал голос против назначения ему полного вознаграждения (шестьдесят рублей за печатный лист) за сделанные им выписки в академическом архиве о Ломоносове, на том основании, что это простые выписки, без всяких исследований. Срезневский был прав, и с ним согласились все другие члены отделения, в том числе и я. Теперь Билярский, в качестве редактора «Записок» Академии, напал на Срезневского за представленную им для напечатания в этом сборнике статью о русских летописях, называя эту статью сырым материалом и недостойною чести быть напечатанною в академическом издании. Это значит око за око, зуб за зуб. Однако Билярский неправ: в статье Срезневского есть исследования, хотя и невеликие. Во всяком случае статья эта не могла подлежать контролю одного члена, между тем как уже отделение ее одобрило. Срезневский, человек чрезвычайно самолюбивый и не умеющий владеть собою, когда дело идет о том, чтобы усомниться в его необъятной учености и ученых заслугах, отвечал, что не Билярскому судить Срезневского и что первому можно учиться у последнего. Слово за слово, дошло до непристойных личностей и таких речей, которым приличное место не в учебном собрании, а в кухне или передней. Академики превратились в бранящихся баб или сторожей. Их нельзя было удержать. Недоставало только пощечин.[337]

Заседание в Совете министерства по делам печати. Я читал две записки мои — о втором издании романа Зотова «Таинственные силы», где речь идет, между прочим,

о предсказании Калиостро насчет Павла I; я полагал, что роман можно пропустить, исключив слова: «у вас есть наследный принц». Вторая записка по поводу статьи Страхова о польских делах, которую совсем безвинно ‹С.-Петербургский цензурный› комитет запретил. Я полагал дозволить ее. Со мною согласились Тютчев и Гончаров. Положено, чтобы и другие члены Совета ее прочитали. Стихотворения Некрасова «Колыбельная песнь» и «Железная дорога» не пропущены. [338]

Я отдал Тютчеву брошюру, в которой Головнин опубликовал, какие его представления и проекты не утверждены государем или советом Государственным. [339] Что за гнусность этот Головнин! Это род доноса обществу на того и другого. Тютчев пришел в изумление и негодование. Нельзя ли довести это до сведения государя? Тютчев взялся показать брошюру кн‹язю› Горчакову. Не сделает ли он этого?

Во дворце спросили у Муравьева: долго ли он останется здесь и какая цель его приезда в Петербург? Он отвечал: «В краю, мне вверенном, жонд польский побежден, но я приехал сражаться с тем жондом, который в Петербурге».

Валуев не поехал к Муравьеву, оправдываясь тем, что он не знает, принял ли бы его Муравьев?

У Муравьева, разумеется, не были также Головнин, Рейтерн и знаменитый гуманист Суворов.

8. *Пятница*. Духовенство сильно домогается взять в свои руки народные школы. Между прочим, поборники его выдумали вот что. Они разгласили и довели до сведения, будто граф Блудов незадолго до смерти своей имел в виду проект образования верховного комитета для начертания системы обучения и управления в школах, под председательством митрополита. Он не успел только обделать этот проект и дать ему официальный ход. Мысль эта, подкрепленная ‹В. Б.› Бажановым и другими, получила характер авторитета, и о приведении ее в действо сильно теперь хлопочут. Между тем, говорят, Блудов не имел вовсе этого намерения, и только из некоторых слов и намеков полагают, что он его имел. [340]

10. Воскресенье. Достоверно только то знание, которое относится к факту или состоит из чувственного наблюдения и опыта. Так говорят нынешние философы. Все прочее — чистая иллюзия.

Если хочешь сохранить в себе некоторую силу против зол и бедствий жизни, то умей подавлять в себе и ограни-

чивать всякую привязанность, все, что делает для тебя драгоценными людей и вещи.

Нужны или некоторая доля легкомыслия, или высокая степень мудрости, чтобы сносить жизнь.

11. Понедельник. Во всей Европе свирепствует холод. На днях говорил Пинто, что он получил известия, что около Турина замерзло два человека. В Ницце и Пизе шел снег.

Отослал К. С. Веселовскому записку мою по вопросу о слиянии II отделения Академии с III.

В совете университета. Выбран членом комиссии по делу об избрании ‹И. В.› Вернадского в профессоры по кафедре финансов, которого факультет не хочет избрать вследствие интриг, а большинство совета хочет.

12. Вторник. Был Вольфсон из Дрездена.

13. Среда. Делянов — один из лукавых армян: он притворяется добрым и умным (он имеет настолько ума, чтобы притворяться добрым и умным). Собственно, он ни к чему не годен и не способен. Бывши попечителем С.-П‹етербургского› университета много лет, он решительно ничем не ознаменовал своего управления, кроме бегства из университетской залы во время акта, когда студенты вздумали сделать демонстрацию по поводу отмены чтения костомаровской речи. К этому разве можно еще прибавить, что он всегда был готов наговорить тьму приятных вещей профессорам, добивающимся у студентов популярности, — Кавелину, Костомарову, Спасовичу: это были первые у него люди, и он первый же оставил их и даже объявил себя против них, когда эти господа подверглись справедливому порицанию за их легкомыслие и пошлый либерализм.

Председательствовал в комиссии, которая собралась у меня. Изложение дела предоставлено мне. Из-за чего я тут? 1 июня я уже не принадлежу университету. Это так уж, из любви! А дело глупое и мудреное. Совет сделал глупость, и теперь надобно ее поправить.

16. Суббота. России суждено страдать от ашествия иноплеменных — норманнов, половцев, печенегов, татар, немцев, галлов, и с ними двадесяти язык, и даже армян. Он ‹И. Д. Делянов› сначала хотел быть популярным у красных и повергся в их объятия, но когда увидел, что красные проваливаются, он тотчас отпихнул их от себя и выдал. Время и нравы.

Получено письмо из Парижа от Плетнева и читано в заседании отделения с известием о смерти Шевырева. Отделение поручило мне написать его биографию.[341]

17. Воскресенье. Сегодня в полицейских газетах «Ведомости С.-Петербургской городской полиции» объявлено, что 19 мая, во вторник, в восемь часов утра будет на Мытнинской площади объявлен приговор Чернышевскому. Он осужден на семь лет каторжной работы и потом на вечное житье в Сибири. Суд приговорил его к четырнадцати годам каторжной работы, но государь половину уменьшил.[342]

18. Понедельник. Заседание комиссии. Я приготовил проект, как быть делу, и прочитал его. Все члены согласились с благодарностию, и делу конец.

20. Среда. Не поехал в университет. Был у меня Костомаров. Его статью «О вече», назначенную для журнала «Дело и отдых», цензура страшно искалечила, да кроме того его фразы заменила своими. Я прочитал статью и решительно не нашел в ней ничего противоцензурного.[343]

Какая-то ‹М. П.› Михаэлис бросила букет цветов Чернышевскому, когда он был возведен на эшафот. Разумеется, ее тотчас взяли и увезли с жандармами.[344]

21. Четверг. Заседание в Академии. Ровно ничего.

Заседание в Совете по делам печати. Мы с Тютчевым тщетно старались защитить статью Страхова для «Эпохи»: невежество и глупость большинства одержали верх. Даже Пржецлавский был на нашей стороне.

Я спрашивал у Турунова, зачем цензура не пропустила статью Костомарова «Вече», назначенную для журнала «Дело и отдых». Оттого, что тут цензор нашел что-то противное самодержавию. Я читал ее и совершенно ничего подобного не нашел. Надобно признаться, что цензура находится в руках людей, глубоко невежественных. Особенно вредит ей председательство в комитете такого человека, как Турунов, который в литературе и науке ничего не смыслит и как самый пошлый чиновник смотрит на них. Выбрал же Валуев председателя! Но Валуеву, впрочем, и нужны не сведущие и способные люди, а такие, которые бы терлись постоянно в его прихожей, от него, как Мемнонова статуя от солнца, ожидали возбуждения, словом, чтобы это были люди ничтожные, не способные затмить его своим умом. Самый министерский взгляд! О умобоязнь, умобоязнь!

Мы долго рассуждали с Тютчевым о печальной судьбе дел, вверяемых таким государственным людям.

Дело сделалось: кн. Горчаков показывал государю доставленную от меня через Тютчева брошюру, написанную Головниным о его проектах и представлениях, не утвержденных государем или Государственным советом. На государя это сделало, видимо, неприятное впечатление. Он заметил, что уже слышал об этом.

Я спрашивал у Л‹юбощинского›, чтобы он как сенатор сказал мне: доказано ли юридически, что Чернышевский действительно виновен так, как его осудили? Он отвечал мне, что юридических доказательств не найдено, хотя, конечно, моральное убеждение против него совершенно. Как же, однако, осудили его? В Государственном совете некоторые из членов не находили достаточных улик и доказательств на приговорение его к тому, к чему он приговорен. Тогда князь ‹В. А.› Долгорукий показал им какие-то бумаги из III отделения — и члены вдруг перестали противоречить. Но что это за бумаги? Это тайна. [345] Зачем же делать из них тайну, если в них заключаются точные доказательства вины Чернышевского? Жаль! потому что люди, даже вовсе не сочувствующие Чернышевскому, невольно склоняются к мысли, что с ним поступлено слишком строго; чтобы не сказать — жестоко. А теперь особенно такие впечатления не полезны для правительства. В приговоре, читанном публично во вторник, говорят, упомянут даже ряд статей в «Современнике»; но тогда виновата цензура. [346] Зачем она пропускала статьи, столь явно клонившиеся к ниспровержению существующего порядка? Словом, кажется тут поступлено неосмотрительно.

23. Суббота. Пусть верховное существо будет премудрое, благое, все, что вам угодно, только никак не всемогущее: потому что если бы оно было таково, то как бы оно допустило такие страшные беспорядки и страдания в человеческом роде? Ведь правду надобно сказать, род человеческий задуман хорошо, но выполняется как нельзя хуже. Неужели это было и в плане верховного существа? Ведь это комедия, исполненная иронии и слез, шутка, даже не остроумная.

Ассоциация, составленная из членов, из которых каждый сам по себе ничто, и однакож ассоциация в сложности делает важные дела — она делает историю, новую природу, новый мир. Не странно ли это?

24. Воскресенье. Многие сильно негодуют на правительство за Чернышевского. Как было осудить его, когда

не было никаких юридических доказательств? Так говорят почти все, даже не красные. У правительства прибавилось достаточное число врагов.

Как согласить столько неразумия в судьбе человечества с разумностию его плана и цели, — если таковые существуют? Из этого-то источника, конечно, материалисты черпают свои тенденции. Их главный двигатель — отчаяние. И правду сказать, есть от чего прийти в отчаяние.

Отсюда один шаг или к отчаянному нигилизму, или к такому героическому верованию, к которому не всякий способен.

Была у меня очень милая и очень несчастная женщина, одна из моих смолянских учениц, бывшая баронесса Услар, потом Фролова и, наконец, Богданова. Последний ее муж запутался в спекуляциях, в которых исчезло все его состояние; на какие-то еще аферы он хотел употребить женины 50 или 60 тысяч рублей, но она ему решительно отказала, сказав, что эти деньги не ее, а деньги детей ее (от первого брака), которые она должна сохранить как святыню. Тогда муж этой бедной женщины решился на отчаянное дело: он сочинил фальшивую от ее имени доверенность и посредством этого акта получил женины деньги из мест, где они хранились. Деньги эти тотчас утонули в том же омуте, в каком погибло все его имущество, и ему ничего не осталось более, как самому броситься в воду, что он и сделал, кинувшись с Тучкова моста в Неву. Жена его почти в одно время узнала, что муж ее утопился и что она с тремя малолетними детьми осталась нищею. На первое время ей помог принц Ольденбургский: трех ее детей приняли в заведения, сама же она теперь ищет литературной работы, почему и обратилась ко мне. Я объяснил ей, в каком положении находятся эти дела у нас: ни один журналист не платит за статьи, которые он берет будто бы за плату, то есть все эти дела делаются чисто на мошенническом основании.

Она, женщина очень умная, с ужасом рассказывала про Лаврова, который предложил ей какой-то маленький перевод и вместе с тем любезную готовность сделать из нее современнейшую нигилистку. Он занимается этим ремеслом, то есть превращением женщин и девушек, большею частию молоденьких, в нигилисток, для какой цели и открыл у себя для них курс материалистической философии.

25. Понедельник. Отослал к членам комиссии записку для подписания.

26. Вторник. Переехали на дачу в Павловск, в дом Мердера. Начались прекрасные дни, и в городе становится душно, пыльно, смрадно.

Вечером собрание нескольких академиков у президента на совещании по вопросу о слиянии II отделения с III. Я и Срезневский защищали самостоятельное существование II отделения. Грот очень неловко и очень тупо защищал слияние. Президент вел себя хорошо: он, как и следовало, искал примиряющего начала. В конце заседания пришли к мысли уничтожить вообще отделения и слить их в одну безраздельную корпорацию. Не решив, однако, ничего окончательно, положили обдумать эту меру и послать ее на рассуждение прочим членам.

27. Среда. Я сегодня вечером приехал в Павловск. Дача Мердера мне очень нравится. Она вся прикрыта зеленью и со всех сторон представляет обширный горизонт. Мы очень удобно разместились в ней. Я обладаю двумя премиленькими комнатками, из которых одна служит мне спальнею, а другая кабинетом. Плата за дачу 250 руб.

28. Четверг. Вчера и сегодня прекрасные дни. Дача мне более и более нравится. Сегодня с Сашей поутру я совершил большую прогулку по парку. Вокзал очень усовершенствован; прочее все как прежде.

Вечером нахлынула страшная толпа гуляющих из Петербурга. Что за безумная роскошь в женских нарядах! Право, это безобразие, особенно когда вспомнишь, как вообще мы страдаем от безденежья и дороговизны. Вот в чем русская женщина заслуживает порицания. Суетность и страсть к разным нарядам, не к изяществу — доходит у нее до нелепости.

29. Пятница. Получил от министра Валуева через его товарища поручение написать записку о Главном правлении училищ, которая ему, не знаю почему-то, нужна к заседанию в Государственном совете. Это заставило меня ехать в город. Здесь надобно было произвести пропасть рытья в бумагах и книгах, чтобы отыскать нужные справки. С этим провозился целый ве о и часть ночи.

30. Суббота. В городе. К двенадцати часам была готова записка. Отвез ее к товарищу министра. Я прочитал ее ему, и он остался совершенно доволен. Записка нужна по поводу совещания в Государственном совете о так называемом блудовском проекте.

Вечером заседание в совете университета. Я прочитал составленную мною записку от имени комиссии о выборе Вернадского в профессоры по кафедре финансового права. Ею примиряются все противоречия совета с факультетом. Все меня благодарили с великим жаром. Я тотчас по окончании чтения и по принятии советом моего проекта оставил совет. Это последнее мое заседание в нем. Я расстался навсегда с университетом после тридцати лучших моих лет, ему посвященных, — расстался с грустию, не жалея, впрочем, о разлуке моей с лицами. Многие из них были моими недоброжелателями, решительно не знаю почему, да и они сами этого не знают. Вот поэтому я и не решался баллотироваться. Строго и глубоко взвешивая мои поступки и всю мою деятельность в университете, не могу себя упрекнуть ни в чем. Но об этом придется много еще говорить в мемуарах своих.

А министерство, то есть Делянов, поступило со мною подло. Университет желал оставить меня еще до сентября, но чтобы лишить меня 600 руб., министр с Деляновым устроили так, что я должен оставить его 1 июня.

Я хотел было сказать в совете маленькую прощальную речь, но рассудил, что не для кого и не для чего. Я просто встал и неприметно ушел.

В десять часов я был уже на даче.

Июнь 1. Понедельник. Май захотел вознаградить нас на конце за все скверности, которыми он наделял нас. Последняя неделя его была очень хороша. Но сегодняшний день — прелесть: светло, жарко, тихо. Зелень великолепная. Вечером на музыке.

4. Четверг. Заседание в отделении Академии. Срезневский поздравил меня с званием почетного члена университета, в которое я избран единогласно. Или нет, кажется, нашелся один дурень, по выражению Срезневского, который кинул в меня черным шаром. Впрочем, правду сказать, я не придаю большой важности этому почету.

5. Пятница. Поехал в город ради заседания в Академии. Заседание в Уваровской комиссии для рассмотрения драм. Ни одной, достойной премии, а поступило шесть или семь.

6. Суббота. Вчера обещал нашему академическому полицеймейстеру статью для напечатания в академических «‹С.-Петербургских› ведомостях». С ним и с его женою произошел прегнусный случай, конечно, нигде не возмож-

ный, кроме России. Они пришли в лавку Шутова и Кольцова что-то покупать. Вдруг приказчик или черт его знает кто из лавочников бросается на его жену, говоря, что у них много в лавке воруют, начал со всех сторон ее ощупывать. Потом обратился к ее мужу с наглым вопросом: не украл ли он чего? Вышел неслыханный скандал. Кейзер послал за квартальным. Тот объявил лавочника виноватым, однако ничего не сделал. Об этом Кейзер публиковал в «С.-П‹етербургских› ведомостях», на что в № 123 последовал пренаглый и преглупый ответ хозяев лавки. На эту статью надобно написать статью. Это дело общее всех честных людей — против варварства и татарщины наших мошенников-купцов. Надобно бросить в них несколько сильных строк, хотя это не сделает их из дикарей людьми и гражданами, но молчать все-таки не должно. Разумеется, статья будет от имени обиженного.

11. Четверг. В половине девятого утра в город — в Академию наук и в Совет ‹по делам печати›.

Важно не то, что мы думаем, а то, к каким результатам приводит нас наше мышление.

Ни самим собою, ни человечеством нельзя управлять без некоторой доли деспотизма.

12. Пятница. Вчера отдал Кейзеру написанную мною и исправленную статью в ответ гнусным гостинодворцам.

Всякое учение о человеке более или менее неполно и неудовлетворительно. Но из разных и противоречащих учений надобно принять то, которое в состоянии сделать человека сколько-нибудь лучше и довольнее.

13. Суббота. Сверху — испорченные нравы растленной и неустановившейся общественности, внизу — почти дикое состояние неразвитой народности: трудно пройти по тесному и узкому пространству между тою и другою.

14. Воскресенье. Разные гости и гостьи из города. Между прочими Старынкевич с двумя дочерьми, очень милыми и развитыми девушками. После обеда — А. С. Норов, которого я проводил до его дачи, а сам отправился в воксал, откуда вскоре был изгнан сильным дождем.

18. Четверг. В городе — заседание в Академии.

20. Суббота. Лето до сих пор такое, какого давно, кажется, в Петербурге не бывало. Прелестнейшие дни, жаркие, но умеряемые теплыми дождями. Как дача моя примыкает к полям, то я гуляю по ним. От них открывается обширный горизонт, в кругу которого справа видно Царское

Село, а слева — Славянка, с белою своею церковью на холме. У подошвы его мелькает тоже небольшая финская деревенька с церковью. Отсюда по дороге к моей даче примыкает лес. Отлично, хорошо! В таком приятном месте еще никогда не занимал я дачи. Но это все имеет свои неудобства. Красота места и лета делают то, что я мало сижу в кабинете и мало занимаюсь.

А есть что делать. Надобно многое приготовить для Академии. Беда только в том, что я не силен в буквоедстве, и товарищи мои никак не сочтут важным того, что я делаю. Может быть, они и правы. Для них наука есть не иное что, как груда фактов, добро бы еще крупных, а то всяких, без малейшего стремления выразуметь их смысл и связь. Они вовсе не заботятся о том, к чему это поведет и что из этого выйдет. Выйдет что-нибудь, а там хоть трава не расти.

Они завладели полем грубого и одностороннего эмпиризма; мне остается творчество мысли, и я должен там искать материала для разрешения академических задач. Это напоминает мне анекдот о Кребильоне. Кто-то выразил ему свое удивление, что он избирает для своих трагедий такие ужасающие, страшные сюжеты. «Что же мне делать? — отвечал он, — Корнель взял себе небо, Расин — землю, мне остался один ад, и я стремглав бросился в него».

Когда естествоиспытатель занимается исследованием природы, он имеет дело с различными видоизменениями природы. Когда он переносит свой микроскоп и скальпель на почву исследований о человеке, то видит перед собою ту же материю, только измененную и усовершенствованную. Это очень натурально. Человек возникает и вырабатывается из той же грязи, из какой возникают и вырабатываются дуб и обезьяна. В нем совершаются те же процессы жизни, только под другими условиями и дающие другие результаты, — это ясно до очевидности, до осязательности. Тот же всеобщий мировой закон господствует в нем, как и во всем прочем. Он, по выражению Спинозы, вещь между вещами. Но вот в том-то и вопрос: точно ли тот же закон господствует в нем, как и во всем прочем? Если смотреть на одну его половину, то выходит так; если смотреть на другую, — то нет никакой возможности изложить ее одним и тем же законом. Тут кроется что-то другое, о котором по меньшей мере следует сказать, что мы о нем ничего не знаем. Но незнание о существующем не доказывает его небытия.

Каким образом мы представляем себе то, чему соответствующего нет ничего в природе? Каким образом мы можем заблуждаться? Это игра нервной системы, комбинации восприятия и ассоциаций нервных потрясений, отвечают материалисты. Положим, так. Пусть это будет статика и механика представлений. Но каким образом может из них возникнуть и составиться сила, которая явно хочет и может идти наперекор принудительному натиску механических комбинаций? Как и откуда возникает вокруг сила, которая катящемуся шару дает толчок и заставляет его мчаться по совершенно новому направлению? Одним словом, как из механики может возникнуть воля — эта совершенная, диаметральная противоположность всякой механике?

28. Воскресенье. Вечером приехал Княжевич А. М. с Александрою Христиановною. После небольшой прогулки и чаю я проводил их на дебаркадер и после немножко послушал музыку. Гуляющих, по обыкновению, было множество, особенно широчайших кринолинов и безмерных хвостов.

Июль 1. Среда. Вот и перемена погоды! Жаловавшиеся на жары теперь могут успокоиться. Наступили дни реакции. Ночью шел сильный дождь опять. Теперь десятый час утра, тучи нестройными клочьями, гонимые ветром, бродят в сумрачном пространстве; солнце как-то нехотя и на минуту проглядывает сквозь них. Видно, что оно устало, посылая нам так долго свой лучезарный блеск и теплоту — долго, то есть целый месяц. По-здешнему, месяц постоянно прекрасной погоды — это такая милость природы, которой мы удостаиваемся раз в несколько десятков лет. Исключение прошло, нормальное состояние берет свое. Теперь 11° тепла, но это только начало. Мы непременно спустимся до 9°, а может быть, и к 7—8°.

С 10 июня я начал заниматься сочинением статей для Академии наук. Их будет несколько под названием: «Литературные наблюдения и исследования». Не знаю, будут ли довольны мои академики. Это философия литературы, а они обыкновенно ожидают от себя и других каких-нибудь трактатов о найденном каком-нибудь засаленном и запыленном лоскутке бумаги, отрытом в каком-нибудь архиве с вариантом по какой-нибудь рукописи. Но я сказал т р а к т а т о в неверно. Они довольствуются простым так называемым заявлением фактов, называя громким именем факта всякую дрянь, без рассуждений и выводов. Я предпринял

смелое дело — во-первых, рассуждать о литературе, вместо того чтобы рассуждать о буквах и словах, во-вторых, отыскивать смысл и значение того, что люди говорят и пишут в течение веков. [347]

Знакомство с Марьей Антоновной Быковой, вдовой умершего сенатора ‹М. П.› Быкова, которая есть невеста дяди Марка, или, что все равно, Марка Николаевича Любощинского. Она сама сегодня к нам приехала знакомиться и обедала у нас. Она уже далеко не первой молодости и мать трех сыновей, из коих первому 10 лет. Мне показалась она женщиной весьма порядочной с весьма приятными и даже привлекательными, хотя полуувядшими чертами лица. В ней нет ничего напыщенного, барского и суетного. Видно, что она знает жизнь и умеет отличать существенное от пустого и мечтательного. Кринолин ее умеренный, а хвоста почти вовсе нет. Шляпка пристойная, без крылышка — символа летания по магазинам и поднебесным пространствам либеральничанья, которого молоденькие наши этурди набрались у таких же этурди юношей, брадатых и безбородых профессоров. Видно, что она не имеет ни малейшего понятия о философии Петра Лавровича Лаврова, что и делает ей великую честь.

2. Четверг. Холодно, только 10° тепла поутру. Северо-восток затянул свою обычную песню, и теперь черт знает, когда он перестанет.

Пусть люди происходят не от одной, а от нескольких пар, пусть существует какое угодно разнообразие в происхождении и характере рас, но не подлежит сомнению, что где есть разумность, там и настоящий человек, и что разумность есть источник таких сходств, которые человеческому роду дают характер единства и самостоятельности между всеми творениями вселенной.

3. Пятница. Заседание в Совете по делам книгопечатания. Объявлено распоряжение министра о прекращении полемики между газетами остзейскими и московскими. Первые открыто проповедовали сепаратические идеи, обособление Остзейского края, нерасположение и ненависть немцев русских к России, вторые — восстали против этого. Я возвысил свой голос — могу сказать, возвысил, потому что говорил горячо, — выражая следующую мысль: положим, что прекращение подобной полемики вещь хорошая, министр решил его, и дело с концом. Но позволено ли будет немецким газетам в статьях не полемического свойства

продолжать выражать свои тенденции против России и доказывать, что остзейские провинции составляют совершенно отдельное от нее целое, связанное всякими своими интересами более с Германией, чем с ней? Если это будет допущено, по слабости ли цензуры или попущению местных властей, то на каком же основании может быть воспрещено русским газетам возражать против этого направления остзейской прессы? Высшая цензурная власть не должна допустить это, но в таком случае надобно принять решительные меры, чтобы это и было так. Тогда исчезнет само собою не только полемика, но и повод к ней, что важнее всего.

На мою речь последовало согласие прочих членов — не знаю, притворное или искреннее. Турунов по крайней мере что-то долго вертелся около общих мест, но я настоял, чтобы это было определительно заявлено в нашем протоколе. [348]

4. Суббота. Типы из общественной и нравственной среды. Философ-филантроп и прогрессист. — Космополит. — Реалист.

5. Воскресенье. Целый день свирепствовал дождь, даже с небольшою грозою. К особенностям дождей нынешнего лета принадлежит то, что они падают на землю не каплями, а целыми потоками. Еще замечательно то, что он обыкновенно теплый и после него бывает тепло. Вечером небо как будто очистилось немного, и мы с Сашей решились отправиться на вокзал слушать музыку. Несмотря на неблагоприятную погоду, слушателей и слушательниц собралось много. Зала была вся наполнена. По окончании двух отделений мы вышли на площадку, вечер был сумрачный, но тихий и теплый. Вдруг надвинувшиеся облака прорвались, и полил ужаснейший дождь. Все бросились в залу и галереи. Мы с Сашей притаились в уголку на последних. Уже было не до музыки, меня занимала мысль, как возвратиться домой, но Саша был в восторге от приключения. Дождь, кажется, немножко начал утихать, я бросился к извозчикам и насилу отыскал жалкую клячонку с мальчуганом. Ну, хорошо и это. Едва успели мы доехать до железных ворот, как дождь снова усилился и напал на нас с таким свирепством, какого я не помню. Сделалось темно. Зонтик защищал нас, но тут ничто не могло помочь. Дождь падал с такою силою и такой крупный, что, казалось, мог пробить крышу из дерева, а не только из шелковой ткани.

Лошаденка кое-как плелась. К счастию, все-таки расстояние до нашей дачи невелико, и мы возвратились домой хотя немного измоченные, но не промокшие.

6. Понедельник. Давно я не любовался такими великолепными, живописными тучами. Вот и теперь они со всех сторон надвигаются громадами самых разнообразнейших форм и цветов, то синего, то беловатого и дымчатого. Быть дождю опять. С балкона моего открываются прелестнейшие виды на окрестности и на небо. Не хочется войти в кабинет, чтобы заниматься, а заниматься надобно.

7. Вторник. Прекрасное утро, — ходил гулять, прошел всю деревню Поповку и в десять часов возвратился домой. Всей прогулки час. Теперь за работу.

10. Пятница. К вечеру собралась великолепная гроза.

11. Суббота. Замечательно, что в нынешнее лето после каждого сильнейшего дождя или грозы теплота не только не уменьшается, но увеличивается. Вчера перед грозою было жарко и душно, сегодня поутру — 19° тепла.

В наше время под литературой стали разуметь все печатное. Литература в высоком и истинном своем значении отклонилась от настоящего пути. Писать и печатать сделалось делом весьма легким, и приобретение имени литератора — доступным всякому. Это страшно загромождает общество бесчисленным множеством пустяков и хламу до того, что иной раз приходится желать, чтобы явился какой-нибудь новый Омар, отобрал всю эту дрянь и сжег ее, чтоб освободить общество от бремени. С другой стороны, удобство, с каким, особенно молодые люди, предаются соблазну пустого празднословия и надежде привлечь на себя внимание общества, отклоняет их от остальных занятий и мешает образованию характеров.

13. Понедельник. На похоронах Достоевского (Михайла). Он умер от разлития желчи, 44 лет. Это был не столько замечательный литератор, сколько честный и добрый человек. Брат его Федор больше писатель: он сильно пострадал, был замешан в истории Петрашевского. Лет пять он провел на каторге. Я проводил бедного покойника на кладбище.[349] С балкона моей дачи я часто любовался хорошеньким леском на косогоре, по ту сторону Славянки. Оказалось, что этот лесок есть тихое вечное пристанище павловских обывателей. Вся церемония продолжалась с обедней часов больше двух. Жар был сильнейший, собира-

лась гроза, великолепные тучи наплывали с запада. Однако грозы не было. Я ни крошки не устал.

16. Четверг. Ездил в город, так, для пустяков. Сибирская язва приняла в Петербурге ‹большне размеры›. Приняты полицейские меры, особенно относительно лавок с мясом. Но этих мер никто из торговцев не соблюдает, а начальство довольно тем, что разослало надлежащие циркуляры.

Приехав из города, был позван на обед, который сосед мой, полковник Денисов, давал по случаю именин своей жены Юлии Васильевны. Большую часть времени провел в разговоре с Желтухиным (Алексеем Дмитриевичем), который состоит ныне секретарем при ‹П. П.› Гагарине, председателе Государственного совета. Вечером был маленький фейерверк.

18. Суббота. Неожиданно приехал брат Семен и очень меня обрадовал.

19. Воскресенье. Притязания новейшей науки бесплодны, она готова дать громадные обещания человечеству. Неизвестное не существует для нее, если не теперь, то в будущности. Она хочет уничтожить верования, обещая человеку одно несомненное и достоверное.

Для всяческих глупостей в голову человеческую открыты широкие ворота; для благоразумия же едва мерещится узенькая тропинка, и тою едва можно ему пройти, потому что на каждом шагу оно встречается с теми же глупостями, которые приходится преодолевать, а при самом входе в голову лежат, как откормленные огромные церберы, самолюбия, обольщения и лжи всякого рода — природные и могущественнейшие враги благоразумия.

20. Понедельник. Замечательнейшие черты нынешнего лета: никогда зелень не была такою роскошною, с таким блестящим колоритом, с такою сочностию; никогда облака и тучи не были так пышно и великолепно расцвечены и не являлись в таких разнообразных, причудливых, то величественных, то грациозных формах и очертаниях! Вот хоть бы и сегодня. Право, не хочется сойти с балкона и запереться в кабинете, не хочется приниматься за книгу или за перо. А надобно и то и другое.

22. Среда. Были случая три или четыре сибирской язвы на людях в Петербурге, но дальнейшего распространения, кажется, ее нет. И вероятно, некоторая прохладность, нашедшая теперь, ее остановит.

Это ведь не более как мода говорить, что воспитание человека надобно предоставить обществу, а не государству, мода, основанная на том, что общество должно давать все (ассоциации), а не государство. Но забывают одно: готово ли общество, настолько ли оно развито и благоустроено, чтобы заменить государство?

Долго не мог заснуть: в голову лезли все разные обычные вопросы философского и политического содержания. Ум очень часто забегал к тем предметам, над которыми я теперь работаю для академического сочинения, которое собственно не будет академическим в нашем академическом смысле.

23. Четверг. Немец настолько бывает в России честен, насколько позволено быть честным в этой стране.

Совет по делам печати. Министр (Валуев) сделал нелепое и смешное замечание на журнал последнего заседания. Я представил мое мнение по поводу сделанного им воспрещения полемики между газетами остзейскими и русскими о народностях. У меня там, между прочим, выражена такая мысль: что если остзейские газеты в неполемических статьях станут нападать на русскую народность, а русским будет воспрещено на это возражать, то русская народность в п е ч а т и будет беззащитна. Валуев на это пишет, что уже приняты меры против статей остзейских газет подобного рода, но что русские газеты сами задирают и подают повод к полемике. При этом он не разделяет мнения, выраженного в журнале, что русская народность будет беззащитна: такая сильная народность не нуждается в защите. Каково? Нас будут ругать в глаза, будут доказывать всенародно, что мы варвары и что мы живем только немецким умом, а мы должны проходить это молчанием под предлогом, что считаем себя очень сильными. Притом ведь я говорил о беззащитности нашей народности в п е ч а т и, нимало не сомневаясь в ее силе на практике. Но Валуеву захотелось меня уколоть. Главное, он не любит, чтобы кто-нибудь смел иметь свое мнение там, где он министерствует. Правду сказать, какой же он дурак! Не умеет обуздать своего крошечного чиновничьего самолюбия; и во всякой чужой мысли он видит личное себе оскорбление. Хорош государственный человек! Тем не менее, однакож, мне надобно держать ухо востро с этим пошляком! Добра он сделать мне не захочет, а зло и захочет и может сделать.

Долго не мог заснуть, потом спал порядочно, хотя недолго, потому что должен был встать рано, чтобы проводить брата на первый поезд, да еще написать о нем письмо к муромскому градскому главе Ермакову (Алексею Васильевичу).

25. Суббота. Удивительный этот русский народ! Ума не приложишь к нему. Ведь вот, например, теперь заворовался, запил, заплутовался так, что, ей-богу, серьезно говоря, тяжело с ним жить. А между тем чувствуешь, что в нем есть что-то, которое так и тянет к нему, что-то до того доброе, умное, обаятельное, что никакой немец, никакой француз и даже англичанин не могут с ним сравняться. Вот и бьешься с ним, как рыба об лед. Беспрестанно он то бесит тебя своими гадостями в кабаках, на улицах, на рынках, в мастерских; то в самые мрачные минуты вырывает у вас улыбку веселья своим простодушным, беззлобным и беззаботным пренебрежением всех житейских невзгод и трудностей; то трогает вас до слез какою-нибудь истинно великодушною геройскою выходкою, вовсе не кокетничая ею и не понимая даже смысла ее. Черт знает что это такое! Говорят, этому народу недостает образования. Дай бог, чтобы он — разумеется, с помощию немногих простых, крепких, честных и серьезно просвещенных душ — дал его сам себе. Беда, если он возьмет то образование, какое хотят ему навязать наши либералы, наши публицисты и наши государственные люди (из письма к И. А. Гончарову).

Отосланы письма к Гончарову во Франкфурт-на-Майне и к Рудницкому в Веймар.

Бенефис ‹И.› Штрауса в воксале. Сбор Штраусом пожертвован в пользу раненых воинов. Я был с Казимирой и с Сашей. Превосходно играл военный оркестр, состоящий из двухсот пятидесяти музыкантов. Публики было много — и все люди чистые и благонамеренные, особенно женщины, длиннохвостой, короткохвостой и бесхвостой породы, вымытые, чистенькие, выглаженные и выутюженные, хоть сейчас на картинку. Хорошеньких было многое множество. Все было чинно, в высшей степени благопристойно и немного скучновато. Впрочем, скука нам необходима: мы ограждаемся ею от скандалов. Был и государь, но очень недолго. Говорят, он получил депешу, что в Петербурге пожар на газовых заводах где-то, и тотчас уехал.

26. Воскресенье. ‹И. И.› И‹вановский?› мне сказал, что между множеством честных людей ему попадались и

бесчестные. «Я был несчастнее вас, — отвечал я ему, — между множеством бесчестных я находил только иногда и честных людей».

29. Среда. Прелестное утро, и я вдоволь нагулялся по полям, дойдя до деревни Поповки и до финской церкви. Возвратился в половине двенадцатого с огромным букетом полевых цветов.

30. Четверг. Вчера мне говорили, что у государя в Петергофе украли лошадь. Эта дерзость возможна при той распущенности и безнаказанности, какие господствуют у нас везде.

Август 1. Суббота. Наше время отличается, между прочим, страшными неурядицами всякого рода. Вот, например, в Петербурге полиция потеряла всякое значение, и всевозможные бесчинства ежедневно и безнаказанно совершаются на глазах у всех. Пьянство дошло до неслыханного безобразия. Нет номера «Полицейских ведомостей», в которых бы не было объявлено о нескольких несчастных и даже смертных случаях от пьянства. А сколько не объявленных! Было несколько случаев смерти от пьянства детей четырнадцати и пятнадцати лет. Я как-то говорил об этом с членом Государственного совета, бывшим министром финансов, Княжевичем, что высшему правительству пора бы подумать об этом нравственном и общественном безобразии. «Да, — отвечал он мне весьма равнодушно, — по этому поводу хотят принять кое-какие меры».

А что делается по губерниям! Вот и пресловутая акцизная система! Воровства совершаются с неслыханною наглостию, и краденое, разумеется, никогда не отыскивается. Воры, несколько раз уже пойманные и выпущенные на волю, снова производят свой промысел с усиленною дерзостью, как и следует при такой неслыханной безнаказанности. Ежедневно почти «Полицейские ведомости» извещают о задавленных и искалеченных на улицах скорою ездою, которая запрещена законом, но, видно, разрешена гуманным болваном генерал-губернатором Суворовым. Порядочных женщин всенародно оскорбляют на улицах и гуляньях. На невских пароходах, развозящих публику по островам, свирепствуют такие беспорядки и произвол содержателей их, что об этом и говорить скучно и гадко. Недавно полиция, выведенная из терпения наглым нарушением правил со стороны распорядителей этих пароходов и беспрерывными жалобами со стороны публики, явилась, в лице частного при-

става, в контору «Северного пароходного общества» с требованием прекратить беспорядки. Но контора буквально прогнала частного пристава, объявив ему во всеуслышанье, что она знать не хочет никаких полицейских порядков. Об этом сама полиция объявляет печатно в своей газете. Сделано ли какое взыскание за такое нарушение законов и общественного порядка — неизвестно, а известно только то, что беспорядки на пароходах после того усилились. В Петергофе на станции железных дорог во время иллюминации 27 июля роздано было билетов вдвое против того, сколько могли вместить вагоны. От этого произошли давка и страшный беспорядок. Публика, видя, что власти не действуют и граждане оставлены без защиты и преданы в жертву разбойникам-антрепренерам, наконец, решилась сама расправиться. Она перебила в вагонах стекла, поколотила служащих и разбила кассу, и так далее, и так далее, и так далее. Что все это значит? Что значит это потворство негодяям в ущерб честным и мирным людям?

По нашим законам требуется собственное признание преступника для учинения ему законного наказания. Этот закон, очевидно, остаток того варварского законодательства, которое очень легко оканчивало всякое уголовное дело собственным признанием преступника, потому что в руках властей были такие милые и удобные средства добывать это признание, как кнутья, дыбы и проч. Очевидно, это остаток пыточных времен и наследство застенков. Тогда признание действительно было делом очень обыкновенным, хотя и мало убедительным.

3, Понедельник. Прогулка в Славянку вечером. Бедная Славянка в сильном запустении, однако все-таки хороша. Церковь и дом простой, но изящной архитектуры.

Те только книги хороши, которые необходимы.

4. Вторник. Нет большего доказательства ничтожества государственного деятеля, как когда он боится способных людей и окружает себя ничтожествами еще ниже его.

6. Четверг. День такой, в который природа предоставляет человека самому себе. Делай, как хочеш сам: будь весел, доволен, а я тебе ничего не дам, кроме ветра, холода, сумрака.

На днях биржевая артель давала обед генерал-губернатору Суворову. Говорят, он был в восхищении от своей популярности, жал руки мужикам и проч. Бедный взрослый ребенок! Он забавляется игрушками, вместо того чтобы

делать дело, как прилично правительственному лицу. Как кокетка не может устоять против моды на хвосты и широчайшие кринолины, так умы ограниченные, кокетничая собою, не в состоянии противиться другой моде — моде на известные понятия, на так называемые идеи.

Есть у нас особенный тип прогрессиста, который как нельзя осязательнее воплотился в Петре Лаврович ‹Лаврове›. Он страстно любит человечество, готов служить ему везде и во всем. Любовь эту почерпнул он в сочинениях новейших социалистов, не думая много о том, насколько в них правды, применимости к трезвой, настоящей, а не экзальтированной, пустой и бесплодной преданности интересам человечества. В награду за свою бескорыстную любовь Петр Лаврович хочет одного: быть признанным великим человеком между своими современниками и удостоиться от них двух-трех оваций. Желание весьма скромное и похвальное. Собственно говоря, Петр Лаврович философ, потому что он знает немецкий язык и прочитал на нем некоторые из великих творений Фейербаха, Молешота, Бюхнера и т. д. В заботливости своей о благе человечества он неустанно суетится, всюду суется со своим участием, старается, елико возможно, рассеять все предрассудки и просветить людей так, чтобы они совершенно поняли и убедились в том, что человек происходит от обезьяны, что нравственность и религия суть цепи, наложенные на людей деспотами и попами, что просвещенный эгоизм есть единственный нравственный принцип, что душа человека и душа свиньи совершенно одно и то же, что «ум есть географическое название» и проч. и проч. Петр Лаврович удивительно подвижной человек. Едва прочитает он в заграничном журнале какую-нибудь ученую и политическую новость, тотчас, как Бобчинский, бежит разглашать ее везде, куда только дозволен ему доступ. Писать он избегает, отчасти потому, что боится цензуры, а отчасти потому, что пишет прескверно — темно и запутанно. Он лучше любит путь тихой, ползучей пропаганды и особенно падок до молодых людей и женщин, которых ему легче начинять всяким вздором во имя прогресса. Прежде «Колокол» был для него источником всех великих истин и убеждений. Но с той поры, как «Колокол» затих, Петр Лаврович сделался эклектиком в определенном смысле — в смысле социализма и материализма.

Вечером на музыке в вокзале. Народу было несметное множество, несмотря на дурную погоду, бурный ветер и то и дело набегавший дождь. Духота в зале была невыносимая. Я ушел в половине десятого. После, говорят, произошел скандал: драка между двумя какими-то гуляками, что в добропорядочном Павловске редкость. А одного посетителя поймали, когда он вздумал посетить чужой карман.

7. Пятница. Всю ночь свирепствовала буря: завывал ветер, и о крышу стучал дождь. Вообще осень начинает выставлять свою угрюмую рожу. Сегодня только 9°; мрачные тучи, гонимые ветром, почти сплошь застилают небо и угрожают дождем. Но зелень удивительно свежа. Только рябина и кусты сирени немножко начинают желтеть.

9. Воскресенье. Я с своего балкона наблюдал над громаднейшей тучей, которая с неимоверной быстротой неслась над рекою Славянкой и над окрестными полями, изливая потоки дождя, слегка задевшего и нас. Теперь говорят, что эта туча несла в себе не один дождь, но страшный ураган, который наделал много бед в соседней деревеньке: посрывал с домов крыши, повалил заборы, раскидал на нивах копны хлеба и даже, говорят, унес одного ребенка, который без вести пропал. Мы ничего этого не испытали и только дивились издали быстроте, с какою неслась туча среди нас самих окружавшей глубокой тишины.

10. Понедельник. Гуляя, я видел следы разрушения, причиненного вчерашним ураганом. Он пронесся довольно узкою полосою между нашей дачей (по дороге в деревню Славянку) и второю Матросскою слободкою и повалил на пути своем огромные деревья, одни повырывал с корнем, другие поломал и разбросал повсюду массу сучьев и обломков. Заходил к Перевощикову.

Не знаю, почему Второе отделение Академии не было приглашено на 25-летний юбилей Пулковской обсерватории, который праздновался 7 августа. Я хочу поговорить об этом с вице-президентом.

11. Вторник. Все почти трактаты о воспитании смотрят на человека в детстве как на существо, которое не сделано, а которое следует сделать. Оттого такая масса правил и учений, часто одно другому противоречащих, оттого система преследования каждого шага ребенка под предлогом направлять и развивать его. Между тем верное правило одно — то, которое выразил Сократ, что воспитателю над-

лежит исполнять только должность повивальной бабки. Есть еще одно обстоятельство, которое нынешние педагоги почти совершенно упускают из виду, — это влияние на человека среды, в которой ему предстоит жить и действовать. И потому эти педагоги вообще очень мало заботятся об образовании в человеке характера, для чего всего нужнее крепко установить начало честности и мужества. Главное, чтобы человек в состоянии был выдержать напор всяческих искушений и мерзостей, среди которых ему придется жить, чтобы он не боялся борьбы за честную мысль и честное дело.

Большая часть заблуждений в умственной области происходит от смешения понятий о двух различных силах человеческого духа — силы познавательной и силы творческой, между тем как они совершенно различны и ведут к совершенно различным результатам. Сила познавательная занимается тем, что есть; сила творческая — тем, что может или должно быть.

13. Четверг. В заседании Академии наук. Пекарский читал отрывок из истории Академии — об астрономе Делиле. Любопытно. [350]

14. Пятница. Три заседания в Академии: в нашем отделении, общее и по Уваровской премии. Я объяснялся с вице-президентом и секретарем о том, почему наше отделение не было приглашено на празднование 25-летнего юбилея Пулковской обсерватории. Мне отвечали, что распоряжался этим ‹О. В.› Струве и что будто бы он два раза посылал к нам повестки, которых, однако, никто не видал. Это должен быть чистый вымысел. Я выразил от лица моих товарищей неудовольствие за такое невнимание, а публика обвиняет нас в равнодушии ко всему академическому.

19. Среда. Все эти дни холодно, сумрачно, дождливо.

Трудно уважать и самого себя, сознавая себя таким ничтожным и жалким существом, как человек.

20. Четверг. Мне кажется, что всякая радость жизни является похищением у судьбы. Есть что-то незаконное в так называемом счастии, особенно если вспомнить, как много людей страдают и умирают, не ощутив в жизни ничего, кроме скорби.

Неужели одни несправедливые в состоянии пользоваться некоторыми дарами жизни? Почти так.

В Совете ‹по делам печати› я представил мнение о статье для «Русского вестника», в которой излагаются сцены

из эпизода первой холеры в 1830—1831 гг. Московский цензурный комитет не хотел пропустить этой статьи, потому что в ней много страшных сцен и рассказывается о крестьянском восстании. В последнем комитет видит сословный антагонизм. Я возразил, что история не обязана льстить сентиментальным наклонностям, а обязана быть правдивою. Что же касается сословного антагонизма между крестьянами и помещиками, ныне о нем не может быть и речи. Со времени происшествия прошло уже более четверти столетия, и оно со всеми своими подробностями принадлежит истории. Совет согласился с моим мнением. [351]

В заседании Академии. Промах Пекарского, который песнь о пострижении Евдокии Лопухиной счел за открытие, а она давно уже напечатана в «Русском архиве». [352]

27. Четверг. Когда россиянин говорит о честности, то это все равно, как бы глухой говорил о музыке.

29. Суббота. Юбилей академика Карла Максимовича Бэра. У нас ничего не умеют сделать так, чтобы это было прилично и безобидно для всех и каждого. Во-первых, обед был в зале ресторана «Демут», до того тесной, что посетителям приходилось сидеть чуть не на коленях друг у друга, и оттого произошла невыносимая духота. Одному — и именно Штакельбергу — даже сделалось дурно. Потом, ни малейшего порядка, ни малейшего соблюдения обыкновенных приличий и торжественности, хоть сколько-нибудь напоминающей об идее празднества. Шум, гам, стукотня, какие-то неистовые возгласы во время чтения речей, вскакивание с мест и возвращение к ним со стуком и грохотом. Первая речь на немецком языке ‹А. Ф.› Миддендорфа прошла еще кое-как благополучно. Но затем уже не было никакой возможности что-нибудь сказать или услышать. Я решился не говорить моей речи и уехать тотчас после пирожного, тем более что боялся опоздать на царскосельскую железную дорогу и не попасть на ночь домой в Павловск. Меня остановили секретарь Академии ‹К. С.› Веселовский, ‹О.› Бетлингк и прочие распорядители праздника, говоря, что это будет очень неловко, так как я нахожусь в программе чтения. «Да как же я буду говорить в этом хаосе?» — спросил я. «Выждите минуту и начните». Но этой минуты тщетно было ожидать. Я вырвал из моей речи несколько фраз, кое-как бросил их перед Бэром, — это было все бессмысленно и нелепо, — и тотчас бежал, жалея о потерянном времени и о Бэре, которого так недостойно чествовали. Еще непристой-

ность. После провозглашения тоста в честь государя обыкновенно музыка играет «Боже, царя храни». Тост был провозглашен, три раза повторилось обычное «ура!» — музыка молчит. Тщетно Литке делает знаки, чтоб играли: музыка все молчит. Наконец он начинает сначала тихо, потом громче требовать гимна, и только уже после повторенного им громкого крика: «Боже, царя храни!» — музыка решилась начать национальный гимн. Все это, однако, составляло только наружную сторону дела, внутренняя же вот в чем. Во-первых, немцы, очевидно, хотели выказать свое торжество над русской партией, что, впрочем, им во всяком случае нетрудно, так как они всегда действуют обдуманно, согласно и твердо, а мы ведь не можем соединиться втроем или вчетвером без того, чтобы не постараться нагадить друг другу и не разбиться врозь. Ни одна немецкая речь не удостоила своего внимания России. Во-вторых, тут была партия тех естественников, которые исповедуют материализм. Ей хотелось выставить Бэра как свое знамя. Но главное — сюда явилось несколько каких-то брадатых нигилистов и юношей — последователей новейших доктрин. Они за десять рублей пришли поесть, выпить и произвести демонстрацию в пользу своих принципов. Я видел некоторых из этих господ, которые изъявляли свою готовность на всякий крик. Зеленый мне говорил, что он видел то же на своем конце стола. Немцы, чествуя свою знаменитость, хотели, чтобы было как можно больше людей, и напустили сюда кого попало. В течение двух недель в каждом номере «С.-Петербургских ведомостей» ежедневно печатались зазывы на юбилей. Мудрено ли, что тут очутилось много господ, которые явились вовсе не для Бэра. [353]

Жаль мне, что так плохо отпраздновали день действительно одного из достойнейших представителей науки, и еще более жаль, что тут все соединилось к тому, чтобы затмить русское имя и русскую мысль. Да и поделом нам! Кто сам себя не уважает, тот заставляет и других себя не уважать.

Сентябрь 3. Четверг. Переезд с дачи. Ужасная возня. Возы с вещами насилу приехали к одиннадцати часам ночи. Хорошо, что еще ночи лунные.

5. Суббота. Заседание в Академии наук. Президент было опять поднял вопрос о II отделении, то есть о слиянии его с III. Так как я главный противник этого слияния, то Литке обратился ко мне, чтобы я высказал мое мнение относи-

тельно компромисса, предложенного некоторыми членами. Компромисс состоял в том, чтобы слить все отделения в одну безразличную массу, и тогда не было бы никакой обиды национальному чувству и отечественной науке в уничтожении Второго отделения, которое таким образом разделило бы только общую судьбу всех других отделений.

Я возразил, что вообще едва ли рационально и выгодно для науки создать одну огромную машину, которая, естественно, будет тяжела и неповоротлива при решении специальных вопросов, принадлежащих какой-либо отдельной группе сведений. Комиссии не помогут делу. Назначать их каждый раз по каждому текущему вопросу было бы странно, а образовать постоянные комиссии — значило бы допустить те же отделения. Мне кажется, что для спасения II отделения от стыда исключительного закрытия не следует прибегать к мере, неудобной для всей Академии. И в таком случае гораздо естественнее и согласнее с достоинством Академии и с национальным чувством — оставить II отделение в том виде, как оно есть, уменьшив только число членов до пяти или шести, и даровать им права, какими пользуются члены других отделений.

Говорили много и не пришли ни к какому решительному заключению. Срезневский начал было увертываться, однако скоро понял, что это нехорошо, и выразился в пользу моего мнения. Билярский и Грот молчали, Пекарский что-то пробормотал, кажется против, но ничего не сказал. Когда Устрялова спросили, считает ли он полезным присоединить историю ко II отделению, он хриплым, едва слышным голосом отвечал, что считает за лучшее оставить ее в III, но не подтвердил этого никаким мотивом. Больше его не тревожили. Устрялов, мне кажется, очень нехорош. Лицо у него вспухло и побагровело. Я думаю, что он долго не проживет.

6. *Воскресенье.* Сегодня А. А. Воскресенский, исправляющий должность ректора университета, поднес мне от имени последнего диплом на звание почетного [illegible]го члена с весьма любезными изъявлениями.

Вчера отослал ‹К. С.› Веселовскому, по его настоятельному требованию, для напечатания отрывок речи, которую я приготовил к юбилею Бэра и из которой мог сказать только несколько фраз. Он требовал всей речи. Я послал ему только частицу ее, именно то место, где мне хотелось кратко охарактеризовать философское направление ученых

трудов Бэра. Напечатают — хорошо; не напечатают — не будет повода к сплетням.

10. Четверг. Заседание в Академии наук и в Совете по делам печати. Толки о «Московских ведомостях». В одной из статей в них сильно нападают на Головнина по поводу книги Шедо-Ферроти, написанной в защиту управления в‹еликого› к‹нязя› Константина Николаевича в Польше и которую Головнин повсюду рассылал. [354] В другой статье говорится о пожарах нынешнего лета. Тут сгруппированы все бывшие пожары вместе с симбирским, и сделано замечание о поджогах. Статья эта, говорят, произвела сильное впечатление за границей. [355]

14. Понедельник. Ежели есть что-нибудь достоверное на свете, так это то, что нет ничего достоверного.

Многие точно так же злоупотребляют наукою, как и другими вещами. Они считают за науку весь сор и хлам, который удается им подобрать. Они до крайности злоупотребляют словом ф а к т; им нет никакого дела до смысла его.

В пожарах обвиняют поляков, которых целыми толпами выселили из Царства Польского и из западных губерний во внутренние города империи. Мне кажется, что это в самом деле ошибка администрации. Конечно, они не жгут городов, но содействуют распространению среди легковерной молодежи зажигательных идей. [356]

Иной не знает, куда девать свои дни, так много у него праздного времени. Таким нечего жаловаться на скоротечность жизни.

15. Вторник. Ничто столько не содействует распространению и усилению умственной лени, как неумеренное чтение. Страсть искать всего в книгах и от книг ожидать во всем вразумления, правил и наставлений ослабляет силу самостоятельного мышления, стесняет деятельность разума и устраняет благотворное на нас влияние собственного опыта и наблюдения. На жизнь мы привыкаем смотреть всегда чужими глазами. Она становится для нас чем-то далеким, и место ее заступают отвлеченные понятия. Неумеренное чтение раздражает ум гораздо больше, чем просвещает и укрепляет его. Не это ли многочитание, поглощающее время и умственные наши силы, причиною того, что в наше время так мало твердых умов и твердых характеров?

16. Среда. Катков решительно присвоил себе монополию патриотизма и думает, что кто не по его началу и не по его способу выражает свои патриотические чувства, тот не

только не патриот, а даже чуть не предатель отечества. Он-то и открыл настоящий способ патриотических мыслей и поступков, и до него и без него никто из русских не знал бы, в чем состоит патриотизм. Впрочем, это свойство большинства москвичей смотреть на всю остальную Россию свысока, точно они этим как бы хотят напомнить претензию древней Москвы на самодержавие. Правда, в Петербурге много немцев, но тут нет также недостатка и в настоящих русских, только последние не так много кричат и вопят о своем патриотизме, как москвичи.

19. Суббота. Заседание в Академии. Ничего, как почти всегда.

Был у меня Владислав Максимович Княжевич. Разговор о Головнине и о том, как он рассылал книгу Шедо-Ферроти. Это произвело большой скандал, особенно после статьи в «Московских ведомостях», в которых опубликовано содержание письма Головнина два года тому назад к редакторам. В письме этом он восхваляет их за статьи по польскому делу и изъявляет желание собрать их в одну книжку, напечатать и разослать по учебным заведениям. А теперь он рассылает брошюру Шедо-Ферроти, где изложены о том же предмете взгляды совершенно противоположные, с целью оправдать поведение великого князя в Варшаве. [357] Правительственный совет (за отсутствием государя) спрашивал Головнина, точно ли он рассылал везде эту книгу и с какою целью? Он отвечал, что книгу действительно рассылал, основываясь на том, что если везде и, между прочим, в учебных заведениях читали нападки на великого князя по-русски, то не худо, если теперь прочтется защита его по-французски. Этот ответ он препроводил к государю и к великому князю. [358]

Говорят, что поджигатели в Симбирске пойманы, и во главе их не поляк, а русский. Горько, если это правда.

21. Понедельник. Обедня и панихида по графе Блудове в память дня его ангела... Возвратился пешком с Перевощиковым, который сегодня именинник и [illegible]ал меня к себе на вечер.

Славную штуку выкинул, как говорится, Московский университет. Получив из департамента министерства народного просвещения двадцать экземпляров книги Шедо-Ферроти для раздачи, кому сочтет нужным, совет университета единогласно определил: так как книга эта не иное что, как пасквиль на русское правительство и управление,

то он, университет, не считает полезным или уместным заботиться о ее распространении и полагает возвратить все экземпляры оной в департамент. Что-то скажет на это Головнин?.. Московский университет, мне кажется, сделал только одну ошибку — а именно, назвав присланную министром книгу пасквилем на правительство. Он лучше сделал бы, отвергнув ее без этого слова. [359]

Государь, прочитав книгу Шедо-Ферроти, сказал: «Вот оказали медвежью услугу великому князю». Это передал мне ** ‹Тютчев?›.

22. Вторник. Вчера в Апраксином переулке или где-то поблизости вспыхнул пожар. Однако его скоро затушили.

Пожары у нас становятся хроническим бедствием.

В редком номере газет не читаем известий о сильных пожарах в разных городах и селах.

23. Среда. Вот уже несколько лет, как и публика, и дума, и полиция признают необходимость обуздать собак, которые бегают по городу и кидаются то на лошадей, то на прохожих. Нередко также бывают печальные случаи бешенства и укушения бешеными собаками и взрослых и детей. Вот, например, после переезда моего с дачи в Павловске вдруг появилось несколько бешеных собак и искусало многих людей, в том числе детей бедного инженерного полковника П. и его самого. Полиция всё «принимает меры». В думе всё толкуют то о намордниках, то о штрафах с хозяев и проч. — и вот уж несколько лет толкуют, а собаки попрежнему бегают по улицам, пугают лошадей и людей, бесятся и кусают прохожих. Вообще Северная Пальмира представляет из себя чудную картину города, где безопасности граждан на каждом шагу что-нибудь угрожает.

Впрочем, нельзя сказать, чтобы полицейское управление совсем не обнаруживало энергии. Вот, например, на днях у Гостиного двора под арками запрещено разносчикам продавать плоды, и они изгнаны оттуда, как сказано в объявлении обер-полицеймейстера, за то, что производили там нечистоту и грубо обращались с покупателями. Теперь, чтобы купить десяток яблок или груш, надобно идти или на Щукин двор, или в Милютины лавки.

О пожарах мы знаем только, что они случились и случаются там-то, больше ничего нам не сообщается.

В Симбирске уже двух расстреляли, признавшихся в поджогах. У них русские фамилии, хотя один из них уроженец Витебской губернии и католик. Это, впрочем, должно

быть только исполнители — настоящие двигатели дела еще не открыты.

27. Воскресенье. Поутру у ‹А. А.› Воскресенского. Не застал его дома. Оставил карточку и письмо с изъявлениями благодарности совету университета.

29. Вторник. Катков и ‹И. С.› Аксаков считают себя настоящими опекунами русского народа. К Петербургу они питают ненависть и презрение и его правительственное значение считают чистой узурпацией. Стоит только жить в Петербурге, чтобы, по их мнению, потерять всякое патриотическое чувство к России. Тот не патриот, кто не орет, не беснуется, не ломает стульев и столов.

Разнесся слух, которому я, однако, не верю, будто Московский университет просил у министра народного просвещения извинения за свой поступок с книгой Шедо-Ферроти. Я с самого начала был того мнения, что Московский университет погорячился, но лишь в том, что назвал эту книгу пасквилем. Это, конечно, было сказано крепко, — но и извинение тоже выходит крепко. Об извинении говорил Чевкин Княжевичу в Государственном совете. Княжевич послал вопрос в Москву к одному из своих приятелей, правда ли это, но ответа еще не получил.

Октябрь 1. Четверг. Вечер у ** ‹Тютчева?›. Тут нашел я много так называемых знаменитостей, среди которых я казался себе таким маленьким, таким маленьким! Забавно, что все эти господа осматривали друг друга, как собаки, готовые к схватке и к взаимному кусанию. Все это громадные самолюбия с претензиями на абсолютную непогрешимость и с стремлением нагадить всякому чем бог послал, лишь только этот всякий осмелится обнаружить мнение, не согласное с их мнением. Вот наши ученые и литературные общества! В них уже никак нельзя явиться, не нося камня за пазухой. Приятное препровождение времени! Один посмотрел на меня свирепо, другой свысока, третий и вовсе не удостоил взглядом. Правду сказать, я сам обратил на все это внимание только ради его смешной стороны. Весь вечер я проговорил с Г., с его женою, моею бывшей институтскою ученицею, некрасивою, но большою умницею, и с каким-то профессором Одесского лицея. Так проведено время до половины двенадцатого ночи.

2. Пятница. Не умолкают толки о Головнине, Московском университете и Шедо-Ферроти. Петербург давно не имел случая потешиться таким хорошим скандалом! А сколь-

ко лгут — не приведи, господи! нет решительно никакой возможности добраться до истины между этими бесчисленными: «Я сам тому свидетель», «Я слышал из уст самовидца», «Слышал от достовернейшего человека» и проч. и проч.

4. Воскресенье. Поутру был с визитом у Егора Оттовича Дуве, начальника винных акцизов в Витебской губернии. От него услышал я о новом распоряжении, чтобы все поляки, служащие там, были немедленно уволены от своих должностей с предоставлением им права искать себе мест во внутренних губерниях.

Хорошо и должно говорить о русском элементе, о преобладании его над элементами других народностей в империи. Но пока мы будем только говорить или кричать по-московски об этом, мы не много пользы сделаем. Надобно, чтобы вся наша народность подтверждала это право на преобладание не одною своею численностью и грубою силою, а своим развитием, своими умственными, нравственными и общественными успехами. Теперь, кажется, рано еще слишком кричать об этом, потому что успехи наши не блестящи. Наша народность пока сильна только своею численностью, смутным сознанием своей силы и смутным же стремлением к самостоятельности. Разумеется, и эту силу и эту самостоятельность, равно как и сознание их, надобно всячески поддерживать, но не криком и показыванием кулаков, а более деятельными и твердыми стремлениями к развитию наших умственных и нравственных сил, к развитию народной интеллигенции. Пока это не будет засвидетельствовано опытами и очевидными результатами, до тех пор ни немцы, ни поляки не будут нас внутренне уважать, а будут только нас бояться да ненавидеть и порочить. Нам следует быть скромнее и умереннее, а не следовать примеру московских журналистов, которые хвастают, что они одни открыли и знают настоящий состав русского патриотизма, из каких специй состоит этот соус.

6. Вторник. Обедал в клубе. Встретил много знакомых. Разговор в кружке, состоявшем из меня, из директора департамента сборов ‹В. М.› Маркевича и Гончарова. Директор был недавно в губерниях и вывез оттуда, как он говорит, очень грустное впечатление. Везде хаос. Речь зашла о пьянстве. «Обвинять в этом акцизную систему, — сказал директор, — нельзя: это страшное, наследственное наше зло». [360]— «Однако надо же против этого принять какие-нибудь ме-

ры». — «Да, вот мы и приняли меру: увеличение пошлины за патенты на открытие питейных заведений. Полагают, что это уменьшит их число, а с уменьшением мест питья и пьянство должно уменьшиться». — «Но это не отвратит зла. Тут надобно взять вещи глубже. Зло в нравах, и надобно бы принимать соответственные меры». — «Конечно, — продолжал директор, — полиция могла бы препятствовать несколько распространению зла. Но полиция находится в полном бездействии».

Маркевич рассказал несколько фактов, свидетелем которых был сам, — об отношениях нашего народа к полякам, группами раскиданным министерством внутренних дел по внутренним губерниям. Сначала он дико смотрит на них и негодует, что к ним насылают этих «изменников». Но так как эти «изменники» хитры и по наружности ведут себя неукоризненно, то скоро ненависть к ним уступает место самому радушному и ласковому обращению.

8. *Четверг.* Низшее сменяется высшим, которое парализирует это низшее. Но скачками ничего не делается: через низшее нельзя перешагнуть к высшему, а надо взглянуть ему прямо в лицо и заставить его уступить высшему, потому что оно оказывается перед ним несостоятельным, как несостоятельно все слабейшее перед сильнейшим, неправое перед правым, одностороннее перед более полным и прочее. И низшее должно быть, но быть и господствовать должно высшее.

Один труд дает право на вознаграждение, лучшее достигается одними пожертвованиями, победа — битвами. Все эти истины известны до пошлости, однако повторять их приходится часто.

9. *Пятница.* Конвенция, заключенная Наполеоном с Виктором-Эммануилом, уже тем много говорит в пользу Италии, что она заключена с Италией, а не с Римом. Какое бы ни было ее содержание, а важно то, что существенною стороною тут признается Италия, и о делах папы трактуется не с ним, а с нею. Какого еще доказательства преобладания Италии в Италии? [361]

11. *Воскресенье.* У А. М. Княжевича. День его рождения. Ему минуло 72 года.

Слухи, что Головнин писал к государю, откровенно признаваясь в ошибке своей, подавшей повод к известному скандалу с Шедо-Ферроти. Он оправдывается тем, что увлекся беспредельною любовью своею к великому князю Констан-

тину, и прибавляет, что если имел несчастье навлечь неудовольствие государя, то просит уволить его от должности. Государь будто бы отвечал, что это пустяки, чтоб он не беспокоился и оставался на своем месте.

12. Понедельник. Странное, дикое время! Разладица всеобщая: административная, нравственная и умственная. Деморализация в народе и в обществе растет и зреет с изумительною быстротою. Умы серьезные тщетно стараются противодействовать злу. Да и много ли их, этих умов? Общественное воспитание запуталось в своих собственных сетях, то есть в разных педагогических умозрениях, не обдуманных еще и не выработанных: ему недостает твердых ни умственных, ни нравственных начал. Власть никем не уважается. О законе и законности и говорить нечего: они и прежде имели у нас только условное своеобразное значение, т. е. настолько, насколько их можно было обойти в свою пользу. Настоящей, так сказать, разумной революции нам не из чего делать: у нас нет материалов для нее, хотя, повидимому, все к ней и клонится. Но, по свойству наших нравов и по складу нашего ума, мы способны дойти путем деморализации до состояния полной анархии, на что уже и теперь есть очевидные намеки. Странное, дикое время!

13. Вторник. Светит ли божье солнце на землю, трещит ли мороз в 20°, идет ли дождь, стоишь ли ты по колена в грязи — во всем исполняются непреложные законы природы. Кричи, сколько хочет, человек в одном случае: «Мне тепло!», в другом — «Мне холодно и сыро!» — он этим ничему не поможет. Однако было бы ложью, если б я думал и говорил противное.

14. Среда. В опере. Давали «Сомнамбулу». Увы! и тени ничего подобного с тою «Сомнамбулою», в которой некогда участвовали Виардо, Рубини, Тамбурини.[362] Я уехал после половины пьесы.

На нашем коридоре в театре учинено воровство: оставили без шуб трех дам. Лакей ушел в раек смотреть представление, оставив шубы на чье-то попечение; вернулся — и ни шуб, ни попечителя не оказалось больше в наличности.

15. Четверг. Бесчисленные толки о поездке государя во Францию, о его свидании с Наполеоном и особенно о поездке наследника в Рим.[363] Толки эти, разумеется, не опираясь на знание тайных пружин дипломатии, заключают в себе не много правдоподобного. Приверженцы «Московских ведомостей» говорят, что нас хотят закурить фимиамом, за-

влечь в невыгодные уступки по восточным делам, что Наполеон непременно нас надует и т. д. Но поездка в Рим наследника действительно является странною, — если только она состоится. Там недавно ругали нас наповал. Мы принуждены были отозвать оттуда нашего посланника, — и вот, однако, намерены сделать визит святому отцу. Непонятно! Подождем объяснений от всеобъясняющего времени.

Поджоги у нас делаются чем-то вроде мании, чем-то вроде препровождения времени. Недавно поймали одного поджигателя. У него спросили, что побудило его к поджогу: мщение, желание воровать? Он отвечал, что ни то, ни другое, а он поджег так, и сам не знает, почему. Другой сам донес на себя и на подобные вопросы отвечал таким же точно образом. Вот широкая натура! Однакож, что это такое? ‹И. С.› Аксаков скажет, что это — великие силы великой национальности, не направленные как должно и потому проявляющие в себе преимущественно элементы разрушения. А в сущности, я думаю, это объясняется проще. Русский человек в настоящий момент не знает ни права, ни закона. Вся мораль его основана на случайном чувстве добродушия, которое, не будучи ни развито, ни утверждено ни на каком сознательном начале, иногда действует, а иногда заглушается другими, более дикими инстинктами. Единственною уздою его до сих пор был страх. Теперь страх этот снят с его души. Слабость существующей еще над ним правительственной опеки такова, что он опеку эту в грош не ставит. Безнаказанность при полном отсутствии нравственных устоев подстрекает его к подвигам, которые он считает простым молодечеством, а нередко и корысть руководит им... Безнаказанность и «дешевка» — вот где семя этой деморализации, которая свирепствует в нашем народе и превращает его в зверя, несмотря на его прекрасные способности и многие хорошие свойства.

16. Пятница. Держись крепче за что-нибудь, да, держись, чтобы вот этот прилив и напор темных мыслей не увлек тебя в бездну. Характер, нравственное самообладание, свобода — ведь это те старые ступени, на которых ты думал всегда основать и утвердить себя: неужели они сгнили и подломились?

Был ‹В. С.› Порошин. Теперь он приехал из Парижа с целью, нельзя ли собрать здесь средства и материальные и литературные, чтобы издавать в Париже журнал о Рос-

сии вроде «Revue Britannique». * Он жаловался мне на современную безучастность к этому делу, встреченную им как между людьми мысли и науки, так и между сильными. Его приглашают занять в университете кафедру финансовых наук. [364]

17. Суббота. Я отказался от составления отчета за нынешний год по II отделению Академии наук. Отчет должен быть читан 29 декабря. Это взял на себя Я. К. Грот.

18. Воскресенье. Неужели это правда, что пожарами потешаются наши нигилисты, а не поляки, которым это сначала приписывали? Из последних только немногие привлечены к ответу по этим подвигам.

Тело изнашивается, как платье. В нем делаются прорехи, которые медицина старается кое-как заштопать или положить на них заплату. Но, наконец, оно превращается в тряпку, годную только на то, чтобы ее выбросить и зарыть в яму.

19. Понедельник. Иные люди с заслугами, так и хотелось бы их уважать. Но когда увидишь, как непомерно они себя ценят, в какое величие облекаются и как беспрестанно смотрятся в зеркало своего самолюбия до полной утраты всякой способности видеть что-нибудь, кроме себя и своей красоты, то немедленно прячешь опять свое уважение подальше. Так оно и остается едва ли не навсегда в экономии.

До какой степени, однако, исподличались люди нашего времени, если справедливо, что пожары произведены были «прогрессистами». Ведь они, значит, поступают наподобие подлейших грабителей. И вот каким способом они хотят улучшить судьбу рода человеческого!

20. Вторник. Обедал в клубе. Встреча со многими знакомыми, особенно с бывшими моими студентами, которые, повидимому, рады были видеться со мною. Беседа с разными лицами. Все одно и то же: нескончаемые жалобы на нынешнее положение вещей, на всеобщую разладицу и распущенность. Земские учреждения никак не прививаются. Помещики жалуются, что их помазали по губам, — обещали им серьезные занятия, а вместо того дали программу, для которой не стоило делать столько ломки и шуму. Оттого между более значительными и умными помещиками возникла пассивная оппозиция. Так говорят по крайней мере. Жалобы также на то, что пошлый демократизм принимает

* «Британское обозрение» *(франц.)*. — *Ред.*

все большие и большие размеры и грозит важными бедами. Мужик не исполнил своих обязанностей, мужик вырубил ваш лес или каким-нибудь другим образом у вас сорвал — вы не найдете на него управы у местных властей.

Мы всё спускаемся по скату и с неудержимой быстротой мчимся в пропасть, которой пределов и дна — не видно. Что делать! История ничего даром не дает, видно, и нам приходится поплатиться. Ведь с Петра Великого мы находимся в неестественном и напряженном состоянии. Надобно же, чтобы это разрешилось каким-нибудь кризисом. Я не верю в необходимость сочиняемых революций. Но если их сочиняет история? Надобно, однако, стараться купить у ней то, что она неизбежно и неотразимо навязывает как можно дешевле, — заплатить 50, когда она запрашивает 100. Долг каждого честного человека содействовать этому удешевлению, а не накапливать дел, за которые придется платить страшные проценты. Вот почему я мой либерализм смягчаю консервативным принципом.

Либерализм надобно просеивать сквозь сито консерватизма: пусть выпадает чистая мука, а шелуха выбросится вон.

21. Среда. Обсуживать факт столько же необходимо, как и иметь о нем понятие. Обсуживать факт — значит открывать смысл его, его отношение к другим фактам и место, занимаемое им в ряду их. Впрочем, многие другие интересы могут сопрягаться с известным фактом и входить в суждение о нем.

Мыслящий ученый должен обсуждать факты.

22. Четверг. Память по ‹А. А.› Неверовском в церкви института слепых. Служба была очень хороша, так же как и пение бедных слепых.

24. Суббота. Если вы не будете чувствовать отвращения ко всему злому и безобразному, то как же вы почувствуете расположение к доброму и прекрасному?

Заседание в Академии наук. Последовало соглашение между членами II отделения насчет необходимости поддерживать самостоятельность последнего, на которую, было, посягнула комиссия для рассмотрения проекта нового устава. Сперва только я и Срезневский были защитниками этой самостоятельности, но когда предложена была комбинация, чтобы от III отделения взять русскую историю и древности и присоединить их, по сродству предметов, ко II отделению, тогда к нам пристали Грот и Пекарский.

Один против всего этого оставался Билярский, из каких видов, уж не знаю.

Еще Гротом предложено было, чтобы членов-корреспондентов раз в месяц приглашать на наши заседания — «для литературного оживления». Против этого восстал Пекарский — почему? казалось бы непонятным. Впрочем, он объявил, что к литературе и литераторам не питает ни малейшего сочувствия. Он хочет быть верен одной науке, но о науке имеет самое странное, одностороннее понятие. Он, повидимому, думает, что она состоит единственно в выписках из архивных актов и в накоплении материалов наподобие того, как он это сделал в своей книге о литературе и науке в эпоху Петра Великого. Положим, труд этот — труд почтенный, но тем не менее нельзя смотреть на науку так узко. Для Пекарского, кажется, мысль не существует в науке: факты, цифры, буквы — вот все, что он признает в ней. Срезневский согласился со мною на предложение Грота и даже упомянул о философском и художественном элементе в изучении литературы.

Срезневский и Билярский опять-таки столкнулись в заседании. Билярский утверждал, что он мог бы быть в Академии (в III отделении) представителем философии языка, а Срезневский уверял его, что он не мог бы быть таким представителем, потому что он не знает иностранных языков или знает лишь немногие. Билярский рассердился и заметил Срезневскому, что не ему бы об этом говорить, так как он сам ничего не знает и т. д., но я и Грот поспешили прекратить это, обратив внимание отделения на другие предметы.[365]

26. Понедельник. Вы поддерживаете материальную сторону науки, — надобно же, чтоб были и такие представители ее, которые поддерживали бы и ее духовную сторону. Только в этом уравновешении интересов материальных с внутренними и духовными наука находит и свою точку опоры и обещает счастливые результаты. Разъединение этих сил и элементов в науке было бы более чем когда-либо великою несообразностью.

Писатели — представители живой движущей мысли; академики — представители мысли установившейся, утвердившейся. Но так как мысли человеческой не суждено стоять на месте, а напротив, суждено вечно идти вперед, то ей нужно и пособие силы движущейся и, следовательно, движущей точно так же, как этой последней нужна сдерживающая сила мысли академической.

Неужели талант есть что-нибудь чуждое Академии? Если Академия его не вырабатывает, то из этого не следует, что она не должна его уважать или обязана от себя отпихивать там, где представляются точки соприкосновения между ею и им, как, например, в исследовании отжившего языка и литературы с живым языком и литературою. Отделение русского языка и словесности менее всего может уединяться от жизни и общества, потому что в языке и литературе лежат и выражаются самые драгоценные их интересы.

Авторитет отделения выиграет от соединения с живыми силами литературы, потому что он будет поддержан силами, имеющими важное влияние на общество. Этим соединением отделение докажет свое уважение к тому, что дорого обществу.

И почему считать ничтожным суждение живого талантливого писателя о достоинствах и заслугах какого-нибудь автора, уже приобревшего себе имя в истории?

Академия, конечно, должна привлекать в свои стены только тех писателей, которые обнаруживают несомненный талант и сильно содействуют эстетическому и умственному развитию общества. Принятие в свои сочлены и соучастники таких литературных деятелей, я полагаю, не унизит Академии, а даст ей новый блеск и значение. Она со временем может даже присвоить себе как бы род санкции значения писателя и того внимания, какое ему оказывает общество. Тогда если бы явился талант сомнительного свойства или с такими принципами, которых Академия не может одобрить, и она отвергла бы его, то это уже не могло бы служить ей укором. Всякий знал бы, что это происходит не от равнодушия ее или невнимания к успехам живой отечественной словесности, а от других, совершенно уважительных причин.

Возражение, что Академия тем самым вовлечется в омут разных литературных сплетен текущей литературы, мне кажется, не заслуживает серьезного внимания: это значило бы сомневаться в способности Академии поддерживать собственное ее достоинство.

Вчера заезжал ко мне Норов: убедительно просит к себе обедать. Чудак, ей-богу! Я обещался.

27. Вторник. Это неправда, будто Московский университет извинялся перед министром Головниным по делу о книге Шедо-Ферроти. Это была одна из тысячи сплетен.

К несчастью, те, которым всего нужнее знать истинное положение дел, узнают о нем всегда слишком поздно. Поздно будет вразумлять массу в уважении к закону, к правам собственности помещиков и пр., когда «передовые люди» развратят ее настолько, что она захочет всего. Тогда всякое обращение к порядку, к закону будет сочтено за реакцию.

У нас еще не выработалось и не установилось никаких понятий о законности и праве, и потому нет ничего легче, как впасть нашему народу в совершенную анархию.

Из иных голов, довольно, впрочем, пустых, выпрыгивают по временам легонькие, красивенькие идейки, которым страсть как хочется побегать по свету и погулять на воле. Слабоумные родители их ни в чем не хотят их руководить или стеснять, и идейки до того расшаливаются и становятся такими своенравными, раздражительными, что начинают идти наперекор здравому смыслу, который тогда, в свою очередь, на них ополчается. Иногда он не прочь даже и посечь их. Самая чувствительная для идеек в таком случае розга есть насмешка.

Ноябрь 1. Воскресенье. Утром зашел к Ржевскому. Там разговор с здешним предводителем дворянства Татищевым. Он показался мне человеком толковым. Жалобы на демократические притеснения помещиков в отношении к крестьянам. О земском учреждении говорит, что вряд ли его можно применить, что дворянство не хочет такого ничтожного учреждения, и проч. и проч.

Ни одна из многих сил, действующих в обществе, не должна преобладать над другими. Все силы должны уравновешивать друг друга, и это стремление к равновесию есть разум общества, его благодетельный ангел-хранитель.

В науке, например, стремление собирать и хранить материалы полезно и необходимо. Но необходимо дать место и мысли, теории. Буквоеды говорят обыкновенно: дайте прежде накопить материалов, а там после, когда-нибудь, вы их осмыслите и оживотворите мыслию и духом. Но когда же? Законченных полных результатов вы никогда не дождетесь, важен самый процесс деятельности, ибо человек есть беспрерывная деятельность. Но хорошо ли в самом процессе деятельности опираться только на одну силу, исключая другие, столь же важные и необходимые? Хорошо ли вместо четырех или двух колес ехать на одном или смотреть одним глазом, прищурив другой?

Вечером у С‹ухомлинова?›. Беседа с ‹А. В.› Лохвицким, ‹А. П.› Чебышевым-Дмитриевым и пр. Лохвицкий умен, но немножко смахивает на ярыгу. Его завтра будут баллотировать в профессоры здешнего университета по юридическому факультету. Университет, пожалуй, сделает в нем приобретение в отношении науки, особенно при нынешнем безлюдье, — но держи ухо востро, университет! Он постарается прибрать в руки всю ученую братию, а как это ему, конечно, не удастся, то покушения его будут источником больших нестроений в корпорации.

Долго разговаривал с Костомаровым. Его статья «Вече в России» заарестована в цензуре бог знает за что. Цензорам показалось, что не следует напоминать, что когда-то давно у нас народ собирался рассуждать о своих делах. Мне хочется помочь Костомарову, и как Совет по делам печати, по его жалобе, передал статью на мое рассмотрение, то я надеюсь, что мне удастся не допустить цензуру до этой глупости.

2. Понедельник. Поутру приходил Костомаров для объяснений по своей статье. Я посоветовал ему пожертвовать двумя-тремя словами и одной фразой, чтобы не дразнить...

3. Вторник. В некоторых произведениях художественной литературы характеры являются искусственно сложенными, а не органически развитыми. Таковы, например, характеры в немецких романах. Немец-романист сам себе скажет: вот надобно составить характер чудака-профессора. Является идея чудака-профессора в виде схемы. Вот, например, встречается рожа с особенно педантичными ужимками, — давай ее сюда! Черта берется и бережно откладывается в сторону. Далее следуют некоторые эксцентрические понятия о жизни, людях и проч. Все это прикладывается одно к другому, и когда накопится порядочное количество этих кусочков идеи, по мнению автора достаточное, чтобы наполнить ими схему, он их сортирует, складывает, и выходит чудак-профессор, то есть автомат без малейших признаков жизни или с признаками, пугающими воображение читателя, как пугают зрителя восковые фигуры с смотрящими стеклянными глазами и с механически размахивающими руками. Это настоящие Парацельсовы гомункулы.

На чтении в клубе. Читал ‹В. А. Полетика› на тему: земледельческое ли государство Россия? О самом вопросе

он не много сказал, но вообще говорил очень легко, живо и умно. Ему часто хлопали.

4. Среда. Наше время принято называть переходным. Но не все ли времена переходные, то есть не все ли они служат ступенью от прошедшего к будущему? Каждое время не есть что-нибудь самостоятельное; оно стоит в средине между тем, что было, и между тем, что будет. От одного оно заимствует причины и основания, а для другого, в свою очередь, служит причиною и основанием. Если за признак переходности считать беспорядки, брожения, отсутствие прочно постановленных начал и учреждений — словом, ломку отжившего, то это несправедливо. Переходят всегда не к более прямому или разумному, а к новому. Это не иное что, как закон вечного движения — закон perpetuum mobile. *

5. Четверг. Заседание в Совете по делам печати. Совет, после некоторых возражений, утвердил мое представление о дозволении напечатать статью Костомарова «О вече» в журнале ‹Е. Н.› Ахматовой «Дело и отдых».

Пржецлавский читал свою записку о «злокачественности» «Московских ведомостей». Он говорит в ней, что газета эта была очень полезна, возбуждая народное чувство во время польского восстания, но потом она присвоила себе право, дозволенное только в государствах конституционных, — порицать все действия правительства и высших правительственных лиц, сделавшись настоящим органом оппозиции. Записка, надо отдать ей справедливость, написана ловко и умно. Так как члены Совета, при первом заявлении Пржецлавского, объявили, что они не подпишут протокола, ибо они не могут согласиться с безусловным осуждением московской газеты, хотя и не отвергают, что она вышла из пределов, дозволенных у нас в печати, то Пржецлавский доставил записку свою прямо министру. Поэтому Совет определил: принять ее к сведению и ожидать дальнейшего распоряжения министра. [366]

6. Пятница. В прошедшем заседании Географического общества ‹В. П.› Безобразов в присутствии великого князя читал записку о гирлах у Ростова-на-Дону, о их засорении, необходимости очистки их и проч. Тут находился, между прочим, городской голова Ростова, человек, говорят, умный и значительный. Выслушав записку Безобразова, он попросил слова. Он говорил о том же, приводя и свои мнения.

* Вечное движение *(лат.)*. — *Ред.*

В заключение он сказал: «Но между неудобствами, которым в настоящее время подвергается Ростов, есть еще одно весьма важное для местного населения. Это то, что ни один обыватель не может быть спокоен, если не имеет в своем распоряжении револьвера».

Общее месячное собрание в Академии наук. Ничего.

8. Воскресенье. Утром у Тройницкого. Он очень болен. Я застал у него четырех докторов. Худой знак! Я спросил у ‹Е. В.› Пеликана: «Какая у него болезнь? Говорят, ревматизм?» — «Чистейшая подагра», — отвечал он. А между тем больной уверен, что у него ревматизм. Скверно то, что подагра летучая. Она открылась у него вдруг. Я просидел у больного часа два. Он, казалось, был доволен моим посещением и удерживал меня. Тут я познакомился с доктором ‹К. А.› Тильманом и с директором земского отдела Замятниным. При уходе встретился с министром Валуевым, с которым не виделся больше года. Очень любезен.

Вот какой скандал произошел в Большом театре. Давали какую-то оперу. Великий князь начал хлопать г-же Барбо. Со всех сторон вдруг раздались шиканья. Великий князь захлопал сильнее; шиканья усилились, так что хлопанье должно было умолкнуть. [367]

9. Понедельник. Как ни гадко у нас все и как ни гадки мы сами, а все-таки мы не немцы, не французы, не англичане, а русские, и должны оставаться русскими.

10. Вторник. Положение великого князя, говорят, упрочивается.

Заходил к Норову. Встречен с объятиями. У нас с ним возобновились дружеские отношения. Жалкий министр, он как человек имеет свои привлекательные качества, и с возвращением его к частной жизни качества эти опять вступили в свои права. Наши отношения теперь уравновешены.

Норов издал книгу «Даниил игумен» и снабдил ее своими примечаниями. [368]

Отчего у людей честных меньше мужества делать честные дела, чем у мошенников делать злые?

16. Понедельник. Прегнусная ночь. В голове барабанило и давило, как уже давно не было.

Навещал больного Тройницкого. Ему лучше.

18. Среда. Депутация остзейских крестьян, прибывшая сюда просить государя о распространении на них Положения 19 февраля, принята дурно. Она атаковала как-то государя в Царском Селе и была отослана с флигель-адъю-

тантом к Валуеву, а тот велел ей немедленно отправляться восвояси.[369] Депутация московского купечества совсем не была принята. Она, как говорят, являлась для объяснений по поводу торговой конвенции, которая будто бы заключается не в пользу русской торговли на основании принципа свободы.

Великий князь, видимо, усиливается. На днях Головнин давал в честь его обед, на который был приглашен и Валуев. Рейтерн и Головнин крепче, чем когда-либо.

Министр внутренних дел велел рассмотреть в Совете ‹по делам печати› записку Пржецлавского о «Московских ведомостях» и доложить по ней свое заключение, когда выздоровеет Тройницкий. До меня не дошла еще она. Дело это весьма щекотливое. Пржецлавский подкрался для нанесения удара газете как раз в пору, то есть когда известная партия заметно усиливается. Я поступлю, как всегда, по своему крайнему убеждению.

Говорят, Головнин многих из московских профессоров представил к обычным наградам. Государь всем отказал. Значит, и правосудие удовлетворено и Головнин выказал свое великодушие.

19. Четверг. Накопилась пропасть дел. Надобно еще писать замечания на академический устав. Мой протест, однако, помог. По новому уставу решено не сливать II отделения с прочими и предоставить ему самостоятельность.

22. Воскресенье. Поутру у Войцеховича. Разговор о нынешних делах неутешительного свойства. Он человек умный и честолюбивый, сильно добивался власти и участия в делах, а теперь он только сенатор. О нем говорят, что он нечисто поступал в делах раскольничьих, которые при Николае I были ему поручены, — будто бы он брал с раскольников взятки, а между тем проповедовал чуть не крестовый поход против них. И теперешний взгляд его на раскольников не отличается либеральностию. Он уверен, что в них таятся семена важных социальных и политических переворотов.

У него встретился я также с князем ‹С. Н.› Урусовым, который назначен докладчиком по делам Человеколюбивого общества. Эти дела, как и все другие у нас, страдают большими неурядицами, особенно в денежном отношении.

23. Понедельник. Человек жалуется на скоротечность жизни. А что бы он делал с жизнью более продолжительною?

Жизнь — не дар, а долг. Притча о талантах заключает в себе глубокую истину.

24. Вторник. В честном сердце существует потребность прямо и откровенно высказаться, когда от него требуют мнения. Об остальном оно не заботится: это уже не его дело.

Из многих опытов жизни я узнал, что в сумятице человеческих страстей и своекорыстий идея редко одерживает верх, если она не поддержана вещественною силою или властью. Высказывайте смело и откровенно идею, если сердце ваше бьется для нее: это долг честного человека. Но не унывайте в тщетности ваших усилий дать ей перевес в человеческих делах: это невозможно, если вы не вооружены властью. Довольно, что вы бросили ее в водоворот человеческой мысли: может быть, она там и не потонет. Но вам уже не знать вашего собственного детища, и, может быть, семя вашей идеи взрастет только на могиле вашей.

26. Четверг. Вчера еще послал ‹К. С.› Веселовскому мои замечания на проект нового академического устава. Вероятно, на меня будут некоторые, а может быть, и многие сердиться за то, что я сильно восстал против вызова ученых из-за границы и против увеличения пенсий некоторым из должностных лиц по Академии, как то: секретарю, вице-президенту, директорам библиотеки и типографии.

29. Воскресенье. Обедал у Княжевича. Владислав Максимович, между прочим, рассказал анекдот о Канкрине. Канкрину говорили о каком-то господине, который будто бы мог быть хорошим министром финансов. «Да, — отвечал Канкрин, — он человек умный, только, чтобы быть действительно хорошим министром финансов, ему недостает поэзии».

Декабрь 1. Вторник. В руках человека трудолюбивого и искусного, как в природе, ничто не должно пропадать даром.

Что такое деспотизм? Односторонность, поглощение всех одним, подчинение одним интересам всех других интересов человечества или общества, одной идее — всех других идей, одной силе — всех других сил. Он нехорош, потому что противен природе вещей, — и одинаково нехорош, в какой бы форме ни являлся: в форме ли политической, нравственной, умственной или социальной.

2. Среда. Вечер у ‹Н. М.› Благовещенского. Там, между прочим, познакомился с К. Н. Бестужевым-Рюминым, кажется, будущим профессором истории в здешнем университете.

4. Пятница. Общее собрание в Академии наук. Избран в адъюнкты Безобразов (Влад‹имир› Пав‹лович›) по части статистики и политической экономии на место ‹П. И.› Кеппена. За него было 22 голоса, против него — 9.

Но самое важное в Академии — это было суждение о замечаниях, сделанных разными членами Академии на проект нового устава. Толки о том, чтобы все издавалось в Академии на русском языке. Вряд ли это возможно. В таком случае мы не имели бы никаких связей с ученою Европою, которая не знает по-русски. Есть вещи в науке, которые должны быть обнародываемы на языке всем доступном, а именно на французском. В проекте было сказано, что Академия издает свои сочинения на иностранных языках и на русском — «по своему усмотрению». Я предложил поправку: «смотря по потребности», потому что слово «усмотрение» отзывается произволом. Поправка эта принята единодушно. В проекте II отделение (русско-славянское) было почему-то переименовано в III. Грот стоял за старое название. Возникли довольно сильные прения. Решено удержать старую цифру. Я согласился с большинством. ‹М. И.› Броссе насмешил Академию. Возражая Срезневскому по-русски, он выразился, что мнение последнего несогласно «с добрым умом».

Второе заседание будет в среду.

Литке показал много такта и умения направлять прения. Он и по-русски говорит совершенно правильно и чисто. Заседание длилось четыре часа. Да перед этим наше, в отделении, около двух часов. Итого я высидел шесть часов и досиделся до головной боли.

5. Суббота. Читал обнародованные на днях законы о судах.[370] Вот великолепный монумент нашего времени! Дело это станет рядом с освобождением крестьян. Между тем о нем, за исключением небольшого круга, непосредственно соприкасающегося с этим делом, очень мало говорят и думают в обществе. Какая-нибудь журнальная сплетня производит больше впечатления, чем это бессмертное дело. Я пробовал заговорить об этом хоть с некоторыми из товарищей по Академии, но нашел мало сочувствия.

Новые законы сначала наделают много суматохи. Их не сумеют ни понять, ни оценить, ни применить. Но не должно приходить от этого в отчаяние, как не должно приходить в отчаяние от летнего дождя, который смачивает на вас платье, но приготовляет обильную жатву.

6. Воскресенье. Когда семья накормлена, сам сыт и все в тепле, чего же больше?

Демократизм демократизмом, но закон и право должны бы иметь также некоторую силу.

Все больше заняты теперь займом и лотереей, чем новым законодательством, которое, конечно, составляет эпоху в истории русского народа. Конечно, и то дело, да как же так мало принимать участия в одном из величайших событий народной жизни.

Навещал больного Тройницкого. Ему теперь гораздо лучше.

Да самому-то мне не лучше. Скверные дни и еще более скверные ночи.

7. Понедельник. Вечер у Литке. Много знакомых. Продолжительный разговор с Устряловым и Овсянниковым.

8. Вторник. Иметь в виду три монографии в виде воспоминаний: 1) О Якове Ивановиче Ростовцеве как писателе. 2) О Вронченко Михаиле Павловиче. 3) О Галиче.

Сегодня обедала у меня молодая и хорошенькая девушка из породы тех, которых ведут путем прогресса передовые люди вроде Лаврова. Я дразнил ее либерализмом и философиею. В жару защиты того, на что, ей казалось, я особенно нападал, а именно — что повиноваться никто и ничему не обязан, эта милашка, наконец, до того завралась, что стала защищать анархию и с энтузиазмом воскликнула: «Анархия — самое лучшее состояние общества!» Я очень смеялся этому и сказал ей, что с удовольствием вижу, что семена такого великого философа, как Петр Лаврович, упали не на бесплодную почву. Она еще больше рассердилась, тем не менее мы расстались друзьями.

10. Четверг. Чрезвычайное собрание в Академии наук. Дочитывались и разбирались замечания на проект устава. Мое замечание о том, что из проекта следует исключить слова: «Из двух кандидатов на вакантное место в Академии — иностранного и русского — при равном достоинстве предпочтение отдается русскому», — не встретило такой оппозиции, как я ожидал. Я того мнения, что в деле общечеловеческой науки, представительницею которой является и наша Академия, единственное решающее значение должны иметь ученые труды и заслуги, а не происхождение избираемого. Однако определено внести в проект поправку Срезневского, что иностранец избирается только в таком случае, когда нет достойного своего. Я остался при своем мнении.

Пекарский потерпел сильное поражение. Я восстал против увеличения окладов канцелярским чиновникам. Секретарь на это даже обиделся, и все собрание приняло его сторону.

Желая сохранить для будущей биографии Я. И. Ростовцева некоторые сведения о нем как о писателе, я не могу отделить этих сведений от моей собственной личности. Ростовцев, бесспорно, обладал литературным дарованием. Но его умственные силы были рано отклонены на другое поприще, и дарование это не успело выразиться в крупных чертах. Оно ознаменовалось немногими проявлениями и чертами, которые могли быть наблюдаемы людьми, к нему близкими и неприметно сливавшимися с обстоятельствами, в которые был поставлен Яков Иванович в ранней молодости. Вот почему сообщаемые мною о нем сведения как о писателе должны принять характер моих воспоминаний.

Беда, когда тупым и ограниченным людям попадется в руки какая-нибудь истина. Не постигая ее связи с другими истинами, они думают, что ее на все хватит, и удивляются, почему свет не идет так, как должен бы идти по этой истине. Они забывают, что есть еще другие истины, другие требования, которым тоже нужно дать место в системе жизни.

11. Пятница. Приказ о моем увольнении из университета помещен в 269 № «С.-П‹етербургских› ведомостей». Увольнение считается с 1 июня 1864 года.

Теперь более всего занимают публику толки о железных дорогах на Юге и о займе. В вопросе о железных дорогах борются две партии. Одна требует дорог на Киев, другая — на Харьков и Кременчуг. Основные причины первой — политические, второй — экономические. Говорят, в прениях Географического общества первая партия одержала решительную победу. Ожидают теперь, что скажет правительство. Тут, как говорят, пришли в столкновение партии национальная, польская и немецкая.

Что касается займа, то решительно не добраться толку во всех о нем толках. В одном углу говорят, что заем совсем не удался, по крайней мере в Петербурге и Москве; в другом углу объявляют успех займа колоссальным. Извольте тут составить себе верное понятие о современных вопросах. В то время, например, как положительно известно, что партия, желающая железной дороги на Харьков и Кременчуг, потерпела сильнейшее поражение в Географическом обще-

стве, «С.-П‹етербургские› ведомости» объявляют, что теперь вообще все согласны с тем, что дороги не следует проводить на Киев.[371]

13. Воскресенье. Иные любят предаваться в науке гимнастическим упражнениям. Упражнения эти состоят в том, чтобы щеголять искусством и ловкостью в доказании или опровержении таких фактов и таких понятий, которых ни доказывать, ни опровергать собственно нет никакой надобности, ни даже возможности. На это удивительные мастера немцы.

14. Понедельник. Вот теперь становится кое-что известным о займе. Публика подписалась на сто двадцать миллионов. Штиглиц взял на тридцать миллионов, но берлинский банкир Мендельсон взял всего на миллион или полтора, а не на тридцать, как говорили.

16. Среда. Совершенная распутица. Дождь. Тепла 2°.

«Московские ведомости» мечтают о разделении власти между собою и правительством: ему предоставляют они пока вещественную, а себе умственную диктатуру... По всему видно, что «Московские ведомости» опьянели от успеха. Они считают себя всесильными, способными под эгидою московских оваций бороться даже с властью. Вот как далеко может зайти русский человек. Но неужели общество способно подчиниться такой диктатуре, такому свирепому и исключительному господству одного ума, одного мнения, и не сумеет выработать в себе других элементов умственной силы?

17. Четверг. Самые негодные люди — люди полуобразованные. Немного получше их так называемые образованные, но худшие из худших — это те, которые составляют касту ученых, артистов, литераторов, сказал бы и попов, если бы между многими дурными попами не попадалось и несколько хороших.

Если бы каждый подвергал себя перед самим собою ответственности за дурные мысли, как за дурные дела, то я думаю, что последних было бы меньше.

На днях ‹В. И.› Модестов принес мне свою монографию о Таците.[372] Вещь недурная, и автор, кажется, обещает быть хорошим профессором. Он назначается в Одессу по кафедре латинской литературы.

Многие, кому удалось сделать какое-нибудь порядочное дело, считают, что это уже как бы дает им право на множество пакостных дел.

Вечером у Владислава Максимовича Княжевича. Вот один из немногих, у которых прекрасное сердце и ясный ум в связи с прочно установившимся возвышенным характером. Он не скоро дает себя понять. По наружности он не блестящ и как будто холоден. С первого взгляда в нем не подозреваешь ни того богатства мысли, ни той энергии в преследовании добра, ни той деликатности и полноты сердца, какими он вас изумит, когда вы поближе с ним познакомитесь. Он не спешит себя изобличить, а предоставляет вам самим открыть то, что другие так любят держать напоказ. Зато, полюбив его раз, кажется, уже никогда не разлюбишь, если только сам не перестанешь быть достойным любви. Он далеко не чужд новых идей. Он любит Россию как благородный человек и как просвещенный гражданин.

Мы часто с ним видимся. У меня с ним как-то ладится. Сегодня Владислав Максимович много рассказывал мне о ‹Ф. Ф.› Вигеле, записки которого теперь печатаются в «Русском вестнике» и так много читаются, но правдивости которых, признаюсь, я мало доверяю. [373] Княжевич был с ним знаком в Крыму. Оказывается, что Вигель был человек неизмеримо самолюбивый, тщеславный, готовый всякого оскорбить и сам оскорблявшийся самыми ничтожными мелочами. Так, однажды он рассердился на Владислава Максимовича и наговорил ему грубостей за то, что, как-то обедая у него, не был приглашен занять за столом первое место, тогда как у хозяина никогда и в мыслях не было размещать своих гостей по рангам или по каким-нибудь отношениям, а всякий садился где пришлось, за круглым столом, без всяких указаний. «Ведь я — тайный советник», — говорил Вигель, изъявляя свое негодование.

Вообще Вигель не пользовался ничьим уважением, и многие, встретясь с ним раз, старались уже больше не встречаться. Он был охотник читать свои записки всякому, кто соглашался их слушать, и, видимо, бил на эффект. Все это мне сообщил Владислав Максимович.

19. Суббота. Вечером у Ржевского. Познакомился с новым собратом, Безобразовым (Владимиром Павловичем), избранным в члены Академии. Человек, видно, знакомый с гостиными и большой говорун. Он и Мельников (Печерский) много рассказывали про ‹П. И.› Якушкина, известного наблюдателя народных нравов, в армяке ходящего по России.

Из рассказов Безобразова и Мельникова о народе и о провинциальном обществе и вообще о том, что называют массами, можно вывести довольно прискорбные заключения о русском народе, по крайней мере в настоящий момент его существования. Это какой-то омут, в котором кипят и бурлят волны сил без всякого направления и результата. Ну это, положим, может еще перебродить. Но вот что самое безотрадное: русский ум горячо на все кидается, но едва успев коснуться поверхности предмета, уже начинает им скучать и бросаться на другой, на третий и т. д., пока от усталости или от недостатка интереса, поддерживаемого только серьезным пониманием и участием к вещам, не впадает в апатию до новой вспышки. Ведь это очень печальная национальная черта. Если она действительно нам присуща, так что же прочного можем мы создать?

Книга ‹В. Д.› Спасовича «Теория уголовного права» подпала опале. Ее не дозволено печатать новым изданием... [374]

Вчера странный случай. Приехал в Римско-католическую академию читать лекцию и узнаю от студентов, что ректор, епископ Берестневич, и инспектор Вожинский сменены и едут — один в Ковно, другой в Вильно.

20. Воскресенье. Папа разрешился пренелепым вселенским посланием. Даже крепкие католики негодуют. Он чуть не формальному проклятию предает веротерпимость и всякое свободное стремление ума к знанию и истине. Одна французская газета («France») * справедливо замечает, что даже в средние века подобные притязания встречали отпор и противодействие. В послании, между прочим, господствует неприличный главе католического христианства тон раздражения. [375]

21. Понедельник. Целое утро почти до обеда провозился, приводя в порядок мои бумаги. Не управился даже с малою частью — с перепискою, которой едва половину успел разобрать. Выходит, что я переписывался решительно почти со всеми литераторами, многими из ученых и со множеством всяких лиц. Это такая масса — разумеется, за много лет, — что я затрудняюсь расположить ее в порядке. Уничтожать не хочется: тут много любопытного. Тем не менее многое все-таки уничтожил, особенно из частной переписки. Не понимаю, как успевал я отвечать на все эти письма. Если же и не на все отвечал, то все же на большую часть. Есть

* «Франция» *(франц.)*. — *Ред.*

записочки небольшие, но интересные. Тут и психология, а иногда и история времени.

Приезжали ко мне прощаться ректор католической академии, епископ Берестневич, и инспектор, прелат Вожинский. Разумеется, нельзя было не коснуться причины внезапного их увольнения и отъезда из столицы, одного в Ковно, другого — в Вильно. Причина, по их словам, — интриги здешней, их же духовной власти.

Но по городу ходят слухи, что открыто существование какого-то общества или комитета, обще- и польско-революционного, которого и святые отцы не чужды.

22. Вторник. Великий князь Константин сделан председателем Государственного совета. [376] Так называемая народная партия сильно встревожена. Она видит торжество немцев и поляков.

Великий князь, Головнин и Валуев — в тесном союзе. Последний спешит всячески поправить последствия своей прежней ссоры с великим князем и, кажется, вполне в этом успел. Что касается до Головнина, то этот интриган, кажется, больше всех в выигрыше.

Однако и Головнин делает нечто хорошее. Он, например, окончательно добивает авторитет орденов и чинов. Он столько надавал их всем и каждому, что совсем подрывает их значение. И впрямь, пора отучить чиновников от всякого рода тщеславия.

Впрочем, он и с казенными деньгами не церемонится и пригоршнями бросает их, благо министр финансов ему приятель. Вот, например, попечителю С‹тендеру› он дал аренду. С‹тендер› тем только и заслужил эту награду, что был гувернером где-то, где учился Головнин, Казанский университет привел в окончательный беспорядок и, чтобы не наделать там новых неудобств, уволен в бессрочный отпуск за границу, где и поднесь пребывает.

23. Среда. Неужели же одною материальною силою мы будем притягивать к себе немцев, поляков, финнов? «Московские ведомости» во имя народности желают слияния с Россией всех этих иноплеменников. Но разве этого возможно достигнуть посредством одной материальной силы? А где же наши умственные и нравственные преимущества, которые одни в состоянии дать нам над ними перевес и втянуть их в нас?

27. Воскресенье. У правительства множество врагов, и нельзя не согласиться, что значительную часть их оно само

создает себе своими ошибками и своею слабостию. Быв диктатурою по положению, оно лишено существеннейшего свойства диктатуры — силы заставить себе повиноваться. Его всячески обходят и не слушают, его порицают и над ним смеются не одни «Московские ведомости»: оно это видит, но ничего не делает ни для исправления своих ошибок, возбуждающих подобные вещи, ни для преграждения им пути. Другие враги зарождаются в тине революционных мечтаний и тенденций, но эти, пожалуй, менее опасны.

Вот истекает год. Каков мой внутренний мир и каково мое внешнее положение? Ни о том, ни о другом я не могу сказать ничего хорошего. Я не сделал ничего заслуживающего внимания. Правда, в уме моем я находил довольно восприимчивости и энергии, но как-то мало было воли, чтобы ополчить его и двинуть на продолжительный и последовательный труд. Особенно непроизводительно прошло лето. Мои воззрения на вещи и людей не изменились: они так же неутешительны и суровы, как и прежде.

С самим собою я был часто не в ладах. Однако начало самообладания и стремления к достижению высшего нравственного достоинства меня не покидали. В этом отношении я еще полн юношеских идей и юношеской силы. Что же мешало моему внутреннему успокоению и душевному миру? То же, что и всегда. Невозможность достигнуть того и сделать все то, к чему стремился и стремлюсь. Кроме того, я так же мало оказывал сдержанности и мужества посреди тех противоречий, какие беспрестанно возникают из наших сношений с людьми. Словом, в действительном самоусовершенствовании я мало сделал успехов.

Внешнее мое положение очень не блистательно... А здоровье? Оно стоит на одной точке — по крайней мере не хуже. Пароксизмы сменяются своим чередом почти периодически, но вообще я чувствую в себе довольно энергии...

28. Понедельник. ‹М. Н.› Муравьева, говорят, спросили, какие ныне из поляков вверенной ему территории менее опасны? — «Те, которые повешены, — отвечал он, — а потом те, которые сосланы».

Как скоро перестанешь заниматься определенным полезным трудом, так и становится скверно.

Право же, человек не может жить без иллюзии, что он что-нибудь значит, что-нибудь знает и что-нибудь делает.

Есть вещи, которые надобно делать, хотя бы по одному тому, чтобы сделать не так, как хочется, а как должно.

Что за лицемеры и лжецы, господи боже мой, эти люди, будто бы несущие истины, — эти провозвестники науки, а в сущности ремесленники, добыватели денег и искатели фортуны!

29. Вторник. Акт в Академии наук, — как все акты. Нынешний продолжался три часа с четвертью. Обозрение действий Академии и заслуг ее хорошо составлено и хорошо изложено ‹К. С.› Веселовским. Но все-таки утомительно было слушать его час с четвертью. Зато ‹А. Н.› Савич читал решительно невыносимо о заслугах умершего в нынешнем году ‹В. Я› Струве. Так читают только дьячки псалтырь по умершим.

31. Четверг. Конец 1864 году!



1865

Январь 1. Пятница. Вот и 1865 год! Все эти иеремиады и сентиментальные сетования на неблагоприятные обстоятельства, на неблагосклонность к нам судьбы и проч. — больше чем малодушие: они — глупость. Посреди неудач жизни одно из двух: их или надо с мужеством и благоразумием превозмогать и искать путей к лучшему, или, если это невозможно, сносить их с терпением и мужеством, как подобает существу, не лишенному права и воли.

Самая трудная борьба, которую я вел в прошедшем году и которую без сомнения предстоит вести и в этом, — это борьба с моим ничтожеством, и притом с ничтожеством всяческим: общественным, нравственным, материальным и физическим...

Но к чему все это пишу я в моем дневнике? А вот почему. Меня одолевал ужасный пароксизм уныния, но с той минуты, как я начал набрасывать эти строки, я значительно успокоился и почти развеселился, несмотря на то, что о веселом мало приходится говорить. И так часто со мной случается. Дневник, играя роль моего поверенного, почти всегда восстанавливает во мне нравственное равновесие. Толкуйте это как хотите, психологи: это факт.

2. Суббота. Вчера вечером на бале во дворце. Приехал в 9 часов. Гостей было уже довольно много. Государь вышел в польском лишь час спустя, и за ним потянулся ряд пар всё почти из ветхих старушек и старичков. Красивых женщин вообще здесь мало. Звездой первой величины сияла наша родственница, бывшая Ш., ныне графиня Г., да еще госпожа ‹Н. А.› Дубельт, дочь А. С. Пушкина. Государь

ходил везде и приветливо раскланивался. Улыбка этого человека полна неизмеримой кротости и доброты. Мне стало грустно от нее... И этот человек имеет врагов, и сколько еще, и каких — все почти «передовые» люди!!!

За ужином мне пришлось сидеть против красавицы Дубельт, за которой увивался Тимашев, и возле генерала ‹К. Л.› Монтрезора, который мне рассказал несколько любопытных эпизодов из эпохи двенадцатого года. Он был адъютантом Кутузова... Встретил тут много знакомых. Уехал после часу. На этот раз долго ждал кареты.

3. *Воскресенье*. Вчера празднование дня открытия «Общества сельских хозяев». Обед с музыкою. Вечером за жженкою князь ‹А. Г.› Щербатов сказал спич, где выразил мысль, что общество должно вести себя умеренно и сдержанно. Под этим только условием оно может окрепнуть и приобрести влияние, и проч. Меня очень занимал Ш. ‹?›. Красный, как пион, он пил и ел за столом отлично, а вечером вливал в себя также отличную ужасную жженку. И ничего ему. А лет ему за семьдесят, и кондрашка уже раз к нему стучался.

4. *Понедельник*. Фауст Гете выше Байронова Манфреда настолько, насколько человечество выше отдельной личности человека.

Законы не могут ни всего предвидеть, ни всего установить. Что остается за вычетом этого, то устанавливается и хранится нравами.

7. *Четверг*. Поутру у Тройницкого и у Норова. Норов просил меня сделать замечание на проект о печати, внесенный в Государственный совет. Он дал мне все материалы для этого. ‹М. А.› Корф, видимо, склоняется в пользу большей свободы печати, хотя и признает необходимыми некоторые ограничения, как то: как предохранительную меру — предварительную цензуру, но с выбором редакторов журналов. Залоги он совершенно отвергает. Он в пользу карательных законов. Требует ограничения власти министра и предоставления большей самостоятельности Совету. Он мыслит и пишет как государственный человек. Панин также соглашается с мнением об ограничении власти министра. Самое слабое мнение министра внутренних дел Валуева. Он возражает против всех, но возражения его так плохи и так смутно и тяжело изложены, что никого не могут убедить. Только и читаешь беспрестанно: «остаюсь при моем мнении». Он не выходит из тесной рамки бюрократизма.[377]

Среди всех этих толков не доберешься до смысла и правды. Каткова призывали сюда. Ему было объявлено, что если он не укротится, то газета будет от него взята и передана в другие руки. Московский университет объявил, что он не желает переменить редакторов (газета его) и принимает сам на себя цензуру ее. Это совершенно неожиданная новость. Москва вообще сильно волнуется по поводу «Московских ведомостей». [378]

8. Пятница. Вечером, между прочим, был у меня ‹М. А.› Марков, бывший некогда очень близким лицом к Я. И. Ростовцеву и с которым я у него познакомился чуть ли еще не в 1828 году. Он читал мне отрывки из своей комедии: «Прогрессист самозванец», которую театральная цензура не дозволила играть в театре. [379]

10. Воскресенье. Поутру у ‹В. П.› Безобразова, которому отдал визит. Потом отправился к А. А. Мессарошу, другу моего детства, который остановился у зятя своего, директора I корпуса генерала ‹Е. К.› Баумгартена. Там провел часа два в приятной беседе.

11. Понедельник. Он ‹?› думал управлять ими не как разумными существами, а как стадом баранов — и в этом состояла его главная ошибка, потому что хотя в человеке и есть много скотского, но это скотство все-таки особенного свойства, и как нельзя рыбу заставить петь, а птицу вечно молчать, так человека нельзя заставить, например, не мыслить.

14. Четверг. Московское дворянство составило адрес, в котором требует созвания земской думы. Марк ‹Любощинский› читал копию с него, которая ходит здесь по рукам. Адрес еще, однако, не подписан и не подан, но решение о нем в Москве состоялось: триста два члена согласились на него, тридцать с чем-то отвергли. [380]

Граф ‹Н. И.› Евдокимов — весьма замечательная личность между нашими современными знаменитостями. Из писарей он дослужился до полного генеральства и графства, приобретя на то и другое неотъемлемое право окончательным довершением покорения Кавказа. На днях он приехал с визитом к князю ‹А. А.› Суворову, который, нося громкое имя, присоединяет к нему имя доброго, но ограниченного человека и неспособного генерал-губернатора. Он очень помнил, чей он потомок, и считал себя чистокровным аристократом. Ему захотелось порисоваться перед Евдокимовым. Говоря с ним с каким-то покровительственным

видом, он давал ему разными намеками чувствовать свою светлость и темноту его происхождения. Но как то были намеки, хотя и чувствительные, но не очень ясные, Евдокимов сказал ему: «Ваша светлость, кажется, затрудняетесь в точных сведениях о моей родословной. Я помогу вам. Отец мой был крепостной крестьянин, мать — крепостная крестьянка, а я начал службу мою простым солдатом и писарем. Теперь я имею честь носить такие же аксельбанты (генерал-адъютантские), какие вижу на вашей груди. Само собой разумеется, что мне не могли доставить их ни мой отец, ни моя мать».

Московский университет просил, чтобы ему, по примеру прошлого времени, предоставлена была цензура «Московских ведомостей». Просьба его рассматривалась в Комитете министров, который положил по ней следующую резолюцию: что прежние «Ведомости» не заключали в себе политики и что он, Комитет, вообще не считает возможным делать изъятия из законов для одного издания.

Вот, наконец, сегодня в Совете по делам печати решился вопрос о «Московских ведомостях» по поводу записки Пржецлавского... Сущность решения состояла в том, что если «Московские ведомости» и погрешали, то это было следствием их увлечения, «морального настроения», а вовсе не политических, преступных намерений; что, впрочем, они уже и подверглись взысканию и что вообще, как заслуги их превосходят проступки, то Совет не считает справедливым подвергнуть их еще более строгому взысканию, как того требует записка г-на Пржецлавского.

15. Пятница. Прискорбные вести о наследнике. Говорят, он болен, и такою болезнью, которая заставляет опасаться за его жизнь.

Мысль о созвании земской думы недурна. Жаль только, что эта инициатива не от правительства, а только от местного дворянства. Я остаюсь твердо убежденным, что мы должны сохранять неприкосновенным принцип правительства, дабы не впасть в хаос, горший настоящего, когда оно будет попрано или вконец ослаблено. Мне кажется, что в настоящем случае правительству всего разумнее было бы объявить московскому дворянству, что суждение об общих государственных нуждах принадлежит ему, правительству, как представителю целой страны, а не одному какому-нибудь местному дворянству; что оно, правительство, вовсе не намерено ввиду чрезвычайных обстоятельств, в которых нахо-

дится государство, отвергать пользы и надобности земской думы, так как та и в прежние времена не отвергалась самодержавною властью в России; но что оно предоставляет себе, по зрелом обсуждении, решить время и способ своих совещаний с выборными, нравственное содействие которых, в решении важнейших вопросов, оно не считает лишним.

16. Суббота. Заседание комиссии, которую Академия назначила для выработки проекта празднования столетнего юбилея Ломоносова со дня его смерти. Комиссия на этот раз действовала вяло. Тут были члены все русские, кроме ‹А. А.› Куника. Я предложил начать праздник обеднею, так как это будет на святой неделе, потом церковным поминовением и закончить актом в Академии. Все приняли это очень холодно. Особенно против был ‹К. С.› Веселовский. Я сказал: «Если я предлагаю присоединить к нашему ученому торжеству религиозный элемент, то, мне кажется, я имею на это основательную причину. Мы празднуем память Ломоносова не просто как члена Академии, но как знаменитого деятеля, которому обязана вся Россия и имя которого повторяется из конца в конец ее. Это настоящее национальное, а не только академическое торжество. Поэтому, я полагаю, было бы нелишним сообщить ему печать народности, что и было бы достигнуто тем, что я предложил. Или мы боимся, чтобы нас не упрекнули в клерикальном направлении? Кажется, этого нечего опасаться. Ломоносов был настоящим русским, и по-русски следовало бы и почтить его память».

Срезневский, который в отделении сильно поддерживал эту мысль, теперь молчал, как рыба. Потом перешли к вопросу, какие речи должны быть произнесены. На мою долю пришлось приготовить речь о Ломоносове как о деятеле в изящной словесности.

19. Вторник. В № 4 газеты «Весть», издаваемой ‹В. Д.› Скарятиным, напечатан адрес московского дворянства с высокопарными примечаниями редактора, с описанием заседания 9 января и с речью графа Орлова-Давыдова.

И адрес и речь как бы обнаруживают желание московского дворянства создать в России олигархию. Замечания Скарятина даже дерзки. Я сегодня встретил его на Невском проспекте и, между прочим, заметил ему: «Зачем он это напечатал? Это большая ошибка». Он отвечал мне, что последствия всего были предвидены, что это делалось обдуманно. Я поздравил его с тем, что он на свободе:

слухи носились, что он арестован. «Я лучшего мнения о правительстве, — отвечал он с иронией, — оно поступило со мною легально. Теперь производится только следствие».

Между тем говорят, что № 4 газеты «Весть» отпечатан в пяти тысячах экземпляров, и хотя они отбираются, однако говорят, что известной партией приняты меры для распространения ее в России и за границей.

По всему видно, что адрес московского дворянства не простая демонстрация, а обдуманный шаг. Скарятин же, вероятно, куплен. Дела его газеты шли очень дурно. Ему обещаны и даны деньги: ему было все равно — пасть ли от нищеты или от запрещения газеты. В последнем случае он еще будет в выигрыше, приобретет известную популярность.

Нет сомнения, что проект московского дворянства встретит сочувствие в некоторых дворянах и в других губерниях. Известная часть дворян восчувствовала ненависть к правительству после отмены крепостного права.

«Весть» прекращена на восемь месяцев.

Некоторые открыто говорят, что ничего этого не случилось бы, если бы в‹еликий› князь Константин не был назначен председателем Государственного совета. Но я думаю, что дворянство и без того так или иначе выразило бы свое неудовольствие против правительства, особенно против земских учреждений, в которых народу даны права, равные с дворянством.

Обедал в клубе. Там рассуждали очень тихо о делах.

21. Четверг. У Норова по поводу проекта законов о печати. Он собирается отстаивать две вещи: исключительно карательную систему и коллегиальность управления. Валуеву очень хочется достигнуть полной власти. Норов всячески старается стать со мною в прежние дружеские отношения. Пусть себе! Я не противлюсь. Он дал мне свою записку для исправления и дополнения.

23. Суббота. Отнес записку Норову. Большие благодарности.

Когда я похвалил ‹М. А.› Корфа Марку за его записку по делам печати, Марк мне сказал: «Записка может быть хорошею, но думаете ли вы, что Корф будет поддерживать в Совете свои мысли? Поверьте, он от всего отречется, если ему представится малейшая возможность кому-либо угодить».

Так и случилось. Когда Норов, человек по крайней мере бесспорно честный, начал упрекать Корфа, что тот отступается от собственных своих мнений, Корф отвечал: «Да из-за чего вы, Авраам Сергеевич, горячитесь? Ведь все это пустяки».

Однако есть признаки, что барон не считает этого такими пустяками, потому что добивается совершенной отдельности Управления по делам печати и себя прочит в начальники этого управления. Все беззакония, мерзости человеческие!

26. Вторник. Вечером у Норова. Читал с ним корректуру его мнения для Государственного совета о проекте по делам печати. Туда вошли и мои прибавки и изменения.

27. Среда. Теперь, когда я пишу о Ломоносове — о художественном характере его творений, у меня вдруг ожило воспоминание о том, каким уважением пользовался он во времена моего детства даже среди массы простого народа. Имя Ломоносова как поэта было известно, по крайней мере между малороссиянами, всем сколько-нибудь грамотным людям. Мне было лет десять или одиннадцать, когда однажды зашли к нам в хату два бродячие слепые певца и просили у моего отца позволения спеть гимн. Отец, конечно, согласился. Как теперь вижу их: один — высокий, плотный мужчина, в синей свитке, с мужественным и отчасти суровым выражением лица; другой — пониже ростом, рябоватый, с очень подвижною физиономиею. Оба держали в руках по длинному посоху, за который их и вел небольшой мальчик. Я сидел в углу комнаты, и меня очень занимала игра их лиц, особенно высокого слепца, когда он сильным, густым басом выводил ноты, стараясь придать своему пению выражение, которое, очевидно, выходило у него прямо из сердца. С того времени и до сих пор затвердились у меня в памяти следующие стихи Ломоносова, которые слепые бродяги пели, к великому удовольствию моего отца и всех домашних:

Хвалу всевышнему владыке
Потщися, дух мой, воссылать;
Я буду петь в гремящем лике
О нем, пока могу дышать.

Никто не уповай вовеки
На тщетну власть князей земных:
Их те ж родили человеки,
И нет спасения от них!

Сначала, как я сказал, меня занимала только игра их лиц, но потом, не знаю, какое-то особенное, невыразимое чувство овладело моим маленьким сердцем, и вот теперь я с умилением вспоминаю о том. Отец сказал мне тогда, что это стихи Ломоносова, и с тех пор имя его мне сделалось известным. [381]

28. Четверг. Совет по делам печати. Проект законов о печати, наконец, рассмотрен в Государственном совете, в департаменте законов. Совет начал и продолжал стремлением ограничить неограниченную власть министра внутренних дел и исправить многие недостатки его проекта, а кончил полным на него согласием. Первый Корф протестовал против собственных своих мнений, изложенных в записке, которая написана так умно и искусно, но написана, говорят, не им, а ‹Д. М.› С‹ольским›, состоявшим при нем чиновником, когда он управлял II отделением собственной его величества канцелярии. Хотя Норов и представил в нашей с ним записке мнение против Корфа, однако это, как и следовало ожидать, было гласом вопиющего в пустыне.

«Неужели, — спросил я у статс-секретаря ‹С. И.› Зарудного, — у вас в Государственном совете все дела так делаются?» — «А то как же иначе: разумеется, так», — отвечал он...

Случается иногда в публике то от того, то от другого слышать о ничтожестве господ, заседающих в Государственном совете, но я, по скептическому моему обыкновению, многому не верил, считая это преувеличением или либеральным чесанием языка.

Но выходит, что я преувеличивал мое недоверие к подобным толкам: эти господа хуже своей репутации. Валуев торжествует, а здравый смысл и общая польза плачут.

29. Пятница. Наши ярко-итальянские дни с дополнением 25° мороза продолжаются. Солнце ослепительно сияет, но ужасно холодно. На меня, однако, этот холод действует недурно: я чувствую себя, особенно на воздухе, как будто бодрее и свежее обыкновенного.

30. Суббота. Великолепнейший рескрипт государя на имя министра внутренних дел, подписанный 29 января и напечатанный в № 24 «Северной почты», по поводу адреса московского дворянства. Весьма замечательна следующая фраза: «Прошедшее в глазах всех моих верноподданных должно быть залогом будущего». [382]

31. Воскресенье. Вот что, между прочим, сказал остзейский губернатор граф ‹П. А.› Шувалов в речи своей в Дерпте, обращенной к представителям тамошнего университета, дворянства и прочее: «Хотя я не уроженец этих провинций, но знаю по опыту, что по многим отраслям деятельности на всем пространстве нашего обширного государства нет лучшей рекомендации, как образование, полученное в Дерпте».

Нечего сказать, очень лестно для России и для русских университетов. Неужели граф действительно хотел сказать то, что сказал? Я думаю, он имел в виду простой комплимент, но который неожиданно для него самого превратился в эпиграмму на Россию. Выходит так, что за все лучшее, что мы имеем в нашей интеллигенции, за все это мы обязаны одним нашим немцам. Теперь, при сепаратистских стремлениях остзейских немцев, это особенно кстати. (Речь напечатана в «С.-П‹етербургских› ведомостях», см. № 26.)

Был у ‹А. А.› Куника, просил у него некоторых сведений о Ломоносове. Он очень обязательно дал мне все, что имел.

Февраль 2. Вторник. Обедал у Владимирского. К чему такая роскошь обеда? А все жалуются на безденежье. Тут были ‹Н. М.› Благовещенский, Н. Ф. Щербина, ‹А. В.› Лохвицкий. Что за несимпатичная личность последний! Щербина вместе со мною возвращался домой и дорогою прочитал мне несколько своих эпиграмм на Головнина и П. Л. Лаврова. Некоторые из них остроумны. [383]

Сегодня происходило также годичное собрание Литературного фонда. Какое же маленькое собрание! Всего было человек тридцать. Вообще в настоящую минуту этот фонд в упадке. Жертвовать никто вновь не хочет, а прежних пожертвований не много. Председателем избран опять Ег. П. Ковалевский. Мне вместе с Галаховым пришлось считать голоса. [384]

4. Четверг. Страдания необходимы, чтобы осмыслить жизнь. Только они дают ей серьезный характер. Был ли бы я или не был, или вместо меня родилась б.. какая-нибудь малороссийская скотина — не совершенно ли это равно? Жизнь гадка не по страданиям, на которые обречено всякое живое существо, — напротив, это только одно придает ей значение, — но жизнь гадка по ничтожеству всего, что ее составляет, что ее движет и к чему она движется. Она есть глубочайшее ничтожество, ничтожнее самого ничтожества.

И всего страшнее, всего страннее, что так необходимо и должно быть. Все живущее увлечено роком, — и единственное правосудие рока в том, что все равно погибают.

Слишком большая восприимчивость и впечатлительность — два злейшие мои врага. Воображение мое всегда слишком забегает у меня вперед. С этим я постоянно борюсь и, разумеется, как во всякой продолжительной борьбе, бываю то победителем, то побежденным. Хорошо уже и то, впрочем, что я знаю моих врагов и могу не принимать их за друзей.

5. *Пятница.* Вот уже с неделю, как двадцатиградусные морозы сменились самою мягкою погодою. В Петербурге сильно свирепствует тифозная горячка, особенно в бедном классе. Все больницы переполнены. Под больных отведены измайловские казармы. Это род эпидемии.

Литке начинает обнаруживать свой «немчизм». Он решительно отворачивается от русских и, при своей сухости и холодности, делает это даже не совсем прилично. Так, например, у него бывают собрания по понедельникам. Немецкие академики имеют право на них являться каждую неделю; некоторым из русских, еще не совсем ненавистным или еще не успевшим опротиветь, предоставлено посещать салон президента раз в две недели; остальные вовсе не приглашены. К последним принадлежу и я. Он, говорят, не может мне простить моей речи, моей защиты русской национальности и мнения о том, что пора перестать выбирать членов из иностранцев.

8. *Понедельник.* Заседание в Совете по делам печати на этой неделе с четверга перенесено на понедельник. Я докладывал о статье, которую Московский комитет не пропускает для газеты «День». Статья говорит о том, что в западных губерниях русские помещики терпят всевозможные притеснения наравне с поляками-повстанцами, особенно в сношениях с крестьянами, на которых ни суда, ни управы нет. Я стоял за то, чтобы пропустить эту статью. Совет на это согласился, за исключением, однако, одного значительного места.

9. *Вторник.* В театре, в русской опере, вместе с Гончаровым. Давали «Марту». [385] Я до сих пор ни разу не был в русской опере и прошу у ней прощения за это невнимание. Она очень недурна. У ‹Ю. Ф.› Платоновой приятный голос и играет она хорошо. ‹О. Э.› Шредер пела тоже очень недурно. У ‹Ф. П.› Комиссаржевского голос слабый, но

тоже очень приятный. Наконец старик ветеран ‹О. А.› Петров пел и играл превосходно.

10. Среда. Разум человеческий так много надумал всяких нелепостей, что потерял веру в себя и стал верить одним фактам. Но это лишь новая крайность, а следовательно, и новая несообразность.

14. Воскресенье. Новые идеи, потребности, реформы нахлынули так быстро и внезапно, что самому деятельному и даровитому уму трудно уследить за ними и поставить себя на такую точку зрения, с которой бы он мог правильно судить о них. Тут мало одного желания быть беспристрастным; тут нужно еще знание, для того чтобы одно принять с убеждением, другое отвергнуть по основательным причинам. Не должно раздражаться шумом и дерзостью, с какими новое хочет опрокинуть и вытеснить старое. Надо смотреть не на то, *как* новое идет, а на то, *что* новое в себе несет. Идет оно большею частью нелепо — да оно и не идет, а бежит или мчится сломя и очертя голову, как бы опасаясь, что не успеет занять себе места. Но в том, что оно несет с собою, есть много необходимого, верного и справедливого. Сопротивляться новому в известной мере должно; иначе, распространяясь по беспредельному полю, оно само бесплодно рассеется. Нужна сила противодействующая, чтобы заставить его сосредоточиваться в верной идее и дать ему возможность группировать около себя лучшие силы. Но только с такими целями и должно противодействовать новому, а не с озлоблением и яростью потому только, что оно новое. Заблуждения нового не хуже заблуждений старого, и закоснелость, неподвижность грубого и одностороннего консерватизма стоит бешеных и бестолковых скачков так называемого прогресса.

19. Пятница. Люди простые, занимающиеся производительным и механическим трудом, может быть, и будут когда-нибудь в состоянии составить из себя такую безмятежную, самое себя поддерживающую и благоустроенную общину, о какой мечтают утописты и социалисты. Но что вы будете делать со всеми этими прогрессистами, людьми так называемыми развитыми — мудрецами всякого рода, литераторами, учеными, разными талантами, мыслителями и проч. и проч.? Ведь в этих-то и сидит и вечно работает бес всяческих страстей, честолюбия, зависти, властолюбия, словом, всего, что разъединяет людей, поселяет между ними раздор, устремляет их друг на друга. Или вы думаете, что

ничего этого вперед не будет, что они сделаются такими разумными эгоистами, такими бесстрастными существами, что в состоянии будут, любя только самих себя, одновременно уважать и самолюбие других, обуздывать себя настолько, чтобы, желая расширения своей деятельности, в то же время оставаться каждому на своем месте, домогаться увеличения своих благ и не трогать ничего чужого, когда оно им нравится? Вот это уж чистая утопия!

Все эти дни я одержим был тем внутренним беспокойством, которое так часто меня посещает и которое представляет мне в таком мрачном виде мир, людей, самого себя.

20. Суббота. Прочь, малодушничанье! Уважение к самому себе, все прочее не стоит тени дыма, если тебе удалось избегнуть болезни и нищеты. А чтобы избегнуть их, нужны труд и забота.

22. Понедельник. Проект законов о печати прогуливается в Государственном совете. Из департаментов законов и экономии он поступил сегодня в общее собрание, но отсюда его опять обратили в департамент законов.

Вечером заходил к Норову еще поговорить о проекте. Но туда нашло так много каких-то господ и госпож, что я поспешил обратиться в бегство.

27. Суббота. Главы краснокожих либералов: ‹П. Л.› Лавров, ‹М. А.› Антонович, ‹Г. З.› Елисеев для торжества своих идей опять хотели было прибегнуть к недостойной уловке. Они уже давно собирались составить общество под каким-нибудь дозволенным благовидным предлогом, но на самом деле для того, чтобы сеять свои семена. Была подана мысль об учреждении «Общества женского труда». Этим господам, конечно, не дозволили бы составить никакого общества. Но за дело взялись люди солидные, действительно имевшие ту цель, которая была объявлена, и правительство утвердило представленный ему проект «Общества женского труда». Однако не успело оно еще организоваться, как по городу начали ходить билеты от имени *временно составленной комиссии Общества* с приглашением разным лицам — разумеется, преимущественно известного закала — явиться для выбора членов правления и проч. Комиссию эту без всякого участия учредителей составили сами собою оные Лавров, Антонович, Елисеев. Наглость эта, однако, была слишком крупного и грубого сорта. Никто не поддался на нее, и настоящие учредители напечатали в газетах, что *они* при-

гласят в собрание лиц, только им известных, и сами откроют общество.[386]

Март 1. Понедельник. Сказать, что нынешнее поколение ничтожно, что оно не в состоянии сделать ничего важного, значит сказать истину. Весь смысл его в том, что оно е с т ь, оно факт. А как всякий факт имеет свою причину, и причину вне себя, то и оно имеет такую причину: оно не само себя создало. Оно есть логический продукт предыдущего состояния вещей — и в этом его историческое значение, а вовсе не в том, чтобы оно полагало прочные и незыблемые основы будущего.

5. Пятница. Заседание в Академии наук. Прения. II отделение, поддерживаемое некоторыми академиками, сделало представление о выбитии медали в честь Ломоносова, по случаю празднования столетия со дня его кончины. Воспротивился этому Литке. Очевидно, ему этого крепко не хотелось, и он поспешил представить по возможности благовидные причины своего нехотения. Главная состояла в том, что Академии неприлично приглашать к складчине сторонних лиц, а она должна выбить медаль сама от себя, но для этого у ней нет денег, а государственное казначейство не даст. И денег-то потребуется безделица, всего рублей шестьсот. Возражали Литке — Грот, Срезневский и я. Кончили все-таки тем, что положено ходатайствовать о медали от имени Академии. Странно, право, что Академии так мало дела до Ломоносова. Положим, он не великий человек науки в общем смысле, но для нас он очень важен как первый проложивший у нас путь науке и образователь нашего ученого и литературного языка.

6. Суббота. Философ Лавров предлагал Литературному фонду просить правительство о помиловании Чернышевского или о смягчении его участи. Фонд отказался ходатайствовать.[387]

7. Воскресенье. Мне уже попадались отрывки из сочинений Наполеона III о Цезаре, и когда я их читал, у меня мелькала мысль: не повредил бы он себе этим сочинением. И вот теперь мое опасение подтверждается как я читаю в корреспонденции графини Салиас из Парижа, напечатанной в «Голосе». Во Франции книга принята дурно (то есть I часть), особенно предисловие. Друзья Наполеона считают эту книгу, или, лучше сказать, обнародование ее, большою ошибкою.

Главный тезис книги — что великие люди всё на свете и что они безупречны в своих замыслах и действиях, конечно,

неверен. Но, судя по отрывкам, книга эта все-таки замечательное литературное произведение, что бы ни говорили против нее враги Наполеона. [388]

В газетах пишут, что и в других местах России появляется так называемая возвратная горячка, которая в Петербурге уже больше месяца жестоко свирепствует. Все больницы переполнены. Открываются новые, но и в тех не хватает места. Болезнь притом часто переходит в тиф и заразительна.

Для чего исследуются, изучаются, объясняются факты? Конечно, не для того, чтобы поиграть в них, а для того, чтобы посредством всего этого достигнуть правильного о них понятия и приобрести опыт. Итак, вывод составляет здесь цель. Определить смысл факта — вот задача его изучения. Иначе само изучение не имело бы смысла.

11. Четверг. «Общество женского труда» не устроилось, то есть учреждение его отложено на неопределенное время, и внесшие деньги приглашаются взять их обратно. Учредители не хотели допустить в него таких господ, как Лавров, Антонович и проч. У них были жаркие прения, вследствие которых учредители и положили приостановить открытие, и сделали хорошо.

13. Суббота. Вот и Амплий Очкин умер. Был честный человек, очень хорошо знал французский язык, с которого перевел много книжек и статей, женился на женщине, которая дала ему протекцию и кучу детей, был одним из директоров Царскосельской железной дороги — вот и все. Но, право, это лучше многого, из чего иногда составляют целые страницы биографий с бездною пошлых сожалений, то есть фальшивых фраз.

Большая суматоха по случаю приготовления к празднованию столетия после смерти Ломоносова. В Академии сегодня опять собиралась комиссия и рассуждала о выбитии в честь его медали. Академия, хотя неохотно, но решилась выбить ее от себя. В городе приготовляются тоже овации, в чем деятельно участвует ‹В. И.› Л‹аманский›. Ему, главное, хочется этим насолить немцам, которых он смертельно ненавидит, и я начинаю бояться, что из овации Ломоносову выйдет демонстрация против немцев. На днях был у меня Л‹аманский› и много толковал о Ломоносове, о славянах и немцах. Из различных городов, говорят, поступило уже более двадцати просьб о дозволении у них празднеств. В Нижнем-Новгороде тоже хотят выбить медаль. Что ка-

сается до меня, то я радуюсь этому проявлению национального чувства, которое все-таки доказывает, что мы — народ. Речь моя подвигается к концу. [389]

14. Воскресенье. Поутру у В. М. Княжевича. Там познакомился с А. М. Раевскою, состоящею в родстве с Ломоносовым. Она просила моего совета, как ей поступить, чтобы ознаменовать пожертвованием день 4 апреля. Она определяет для этого 2000 рублей, чтобы из них были учреждены стипендии для образования в университете четырех молодых людей из крестьян Архангельской губернии, преимущественно Куроостровской волости. Мы с Княжевичем присоветовали ей обратиться с своим проектом к президенту Академии наук. Я взялся написать ей об этом бумагу.

Был у меня А. Н. Майков и читал мне свои стихи, написанные для прочтения на обеде в честь Ломоносова. Стихи хороши, только сильно направлены против немцев. Тут видно влияние Л‹аманского›. Я заметил Майкову: «Вы бросаете перчатку немцам». [390]

Без скандала, то есть без демонстрации против немцев, ломоносовский праздник, кажется, не обойдется.

15. Понедельник. Глубокое презрение к людям и к их судьбе — вот, наконец, все, что выносишь из долговременного опыта жизни. Стоило ли для этого жить!

Ужасно трудно вырабатывать себе характер. Приходится отбрасывать много негодного материала, а хорошего недостает. Бывают природные расположения и нерасположения, из которых одни так и тянут черт знает к чему, а другие оттягивают от того, чему бы следовало быть, — и это несмотря на глубокое убеждение в негодности одного и в превосходстве другого. А все-таки надо работать. Что-нибудь да сделаешь и от чего-нибудь да отстанешь с помощью беспрестанно повторяемых усилий. Лучше все-таки хоть что-нибудь, чем ничего.

Был у Раевской, читал ей проект письма к Литке о стипендии в память Ломоносова. Проект письма она одобрила.

16. Вторник. Умер ‹А.› Штакельберг, мой товарищ по университету, годом, впрочем, моложе меня. Это был истинно честный и умный, особенно честный человек. Сам немец, но питал непримиримую вражду к немцам, то есть не ко всем немцам, а к немцам остзейским, которых очень хорошо изучил во время своей продолжительной службы при бывшем тамошнем генерал-губернаторе Суворове.

17. Среда. Не тот властвует над людьми, кто лучшего о них мнения, а тот, кто худшего.

Наука, говорят, должна освободить человечество от иллюзий. Хороша услуга. Я не знаю — в состоянии ли чистая, голая истина довести человечество до чего-нибудь другого, кроме отчаяния? К счастью, она невозможна.

18. Четверг. Заседание в Академии наук. Сегодня сильно поссорились Билярский и Срезневский. Последний, впрочем, вел себя сдержаннее и умереннее, но Билярский вышел из себя, как это очень часто с ним случается. Причина ссоры самая пустая. Билярский, по поручению Академии, составил сборник бумаг, относящихся до Ломоносова и хранящихся в академическом архиве. Этот сборник напечатан, но еще не пущен в продажу, хотя по экземпляру и роздано уже некоторым из членов. Срезневский свой экземпляр отдал кому-то на прочтение, кажется Л‹аманскому›. Вот и все. Билярский стал доказывать, что Срезневский не имел права этого сделать; тот возражал, что имел, — ну и пошло.[391]

Заседание в Совете министерства внутренних дел. Ничего особенно важного. Я читал мое мнение о возможности пропустить статью «Самозарождение», которую С.-П‹етербургский› цензурный комитет запретил. Совет согласился со мной.

19. Пятница. Хорошо не кричать противу иноземцев, немцев и проч., а противопоставлять их труду свой труд, их честности — свою честность, их знанию — свое знание.

20. Суббота. По приглашению Литке вместе с ним и с прочими членами комиссии занимался устройством академической залы для предстоящего торжества в честь Ломоносова. День для празднования назначен вторник на святой неделе, вместо пятницы, потому что в пятницу назначен парад.

Обедал у А. М. Раевской, которая окончательно определила для постоянной стипендии 4850 руб. Я уже составил проект письма к Литке по этому поводу. Она совершенно одобрила его. Стипендия будет называться: «Ломоносовская стипендия Раевского» и назначается для одного студента в Московском университете. У Анны Михайловны я познакомился еще с другим потомком Ломоносова, ‹Н. М.› Орловым. Кроме того, хозяйка показывала мне свой маленький музей палеонтологических вещей, собранных ею во время путешествия за границею. Есть любопытные вещи: разные орудия, ножи, долота и проч. каменного и бронзо-

вого периодов, много вещей, добытых из швейцарских озер. кусочки тканей, нитки, лен, зерна, яблоки, орехи и проч. Любопытная кость каменного оленя из бронзового периода с нарубками ножом или топором. Подлинность каждой вещи засвидетельствована французскими и швейцарскими учеными. Наш академик Бэр признает это собрание драгоценным.

26. Пятница. А. М. Раевская присылала мне прочитать письмо к ней Головнина с извещением, что государь утвердил ее стипендию в память Ломоносова точно так, как она желала. Стипендия будет названа, как я предложил: «Ломоносовская стипендия Раевского».

Слухи, что ‹М. Н.› Муравьев увольняется.

29. Понедельник. Вечером собрание из нескольких членов Академии у президента для предварительного прочтения речей, предназначаемых для ломоносовского юбилея. Грот прочел свой биографический очерк. Моя речь: «Значение Ломоносова в отношении к изящной русской словесности», кажется, некоторым не понравилась. Я в ней, между прочим, касаюсь буквоедства в науке. Срезневский объявил, что насчет языка ломоносовского он во многом со мною согласен, а в другом несогласен, а потому его речь не совсем сходилась бы с моею. Я отвечал, что тем лучше, чем многостороннее рассматривается предмет. Однако Срезневский отменил свое намерение читать речь и сказал, что напишет ее для напечатания в наших актах. Решено, что заседание откроет секретарь официальным заявлением о поводе торжества и, кроме того, упомянет о стипендии, учреждаемой Раевскою, и о высочайше назначенной тысяче рублей для ежегодной премии за сочинение на академическую задачу. Потом Грот прочтет свой биографический очерк Ломоносова, а затем я мою речь — тем все и кончится. Речь Грота, за сокращениями, которые просили его сделать, будет продолжаться больше часу, моя немножко меньше того. Меня не просили сократить.

30. Вторник. Совсем неожиданно встретился с Ф. И. Тютчевым, который третьего дня возвратился из Ниццы. Мы с ним прошлись по Невскому проспекту и долго беседовали о современных делах, которые по связи его с двором, с князем ‹А. М.› Горчаковым и с ‹М. Н.› Муравьевым ему хорошо известны. Я спрашивал его о том, что делается в Ницце. Наследнику хотя лучше, однако здоровье его вообще не из лучших. Некоторые врачи советуют отложить

свадьбу его на год, другие, напротив, думают, что женитьба скорей принесет ему пользу, чем вред.

Государыня не совсем оправилась.

Муравьев действительно сильно колеблется и едва ли останется в Вильно. Враги его воспользовались его же тактикою. Он обыкновенно во время приезда в Петербург жалуется на свое нездоровье и как бы заставляет просить себя о продолжении службы. Это обыкновенно и оканчивалось так, как он желал. На этот раз ему, однако, дали заметить, что если он чувствует себя так нездоровым и обремененным, то, конечно, его удерживать не станут.

«Московские ведомости» свирепо ссорятся с «Днем». Одни стоят за дворянство, другой за земство. Тютчев очень недоволен «Московскими ведомостями». Я ему заметил, что, мне кажется, тут виноват не столько Катков, сколько ‹П. М.› Леонтьев. [392] Вообще утешительного мало, особенно в польских делах. Толкуют о примирении. Тютчев полагает, что подобные толки в настоящую минуту или тупоумие, или измена.

Апрель 1. Четверг. Сегодня получил от Литке весьма любезную записку с изъявлениями опасений, что у меня не хватит голосу для прочтения в день ломоносовского юбилея моей «прекрасной» речи. Что это такое? Вероятно, ему или кому-нибудь моя речь не понравилась. Я решился объясниться с Литке и поехал к нему вечером. Он принял меня очень ласково, сказал, что у него и в помыслах не было критиковать мою опять «прекрасную» речь и что единственная причина его письма была та, которая в нем изложена. Признаюсь, что мне это не совсем ясно. Я успокоил Литке обещанием читать погромче. Но успокоил ли?

7. Среда. Легкие облачка, уже с некоторых пор туманившие в моих глазах перспективу ломоносовского праздника, в самый день его сгустились настолько, что доставили мне довольно крупную неприятность. Над моею речью к этому дню я работал усердно, довольно осмотрительно и с охотою: меня интересовало и лицо и торжество в честь его. Окончив речь, я, по обыкновению, не был доволен своим произведением, чувствовал, что многое должно было бы сказать лучше, но в то же время сознавал, что в общем речь годится, что в ней есть кое-что, что могло затронуть мысль и чувство слушателей. Во всяком случае эта речь, я полагал, была не хуже моих других речей. Но вот, когда

я прочел ее на акте, она была встречена холодно. По прочтении ее была сделана попытка к рукоплесканию, но с некоторых стульев раздались шиканья — тем все и кончилось. Очевидно, у меня были недоброжелатели в публике, да и в самой нашей корпорации, на что, должно быть, и намекала недавняя записка президента с опасением, что у меня не хватит голоса для чтения на акте.[393]

Неудача в каком бы то ни было деле или случае, разумеется, не может не огорчать, — и я был огорчен, очень огорчен, что у меня есть враги, которым почему-то надо со всех сторон рвать на клочки мою репутацию. Но мой дневник — то есть беседа по совести с самим собою — меня, по обыкновению, успокоил. Все жестокое в сердце улеглось, и я не доставлю моим недоброжелателям удовольствия — не стану на них гневаться и в этом, как и в других, более крупных, случаях.

Вчера получены самые прискорбные вести о наследнике: он умирает. Государь вчера собирался ехать к нему. В так называемом интеллигентном обществе мало участия к этой великой скорби отца и царя-освободителя, но народ будет глубоко огорчен.

Сегодня должен был быть обед в честь Ломоносова. Я взял билет, но не пойду — и по причине недуга и по нерасположению идти. Раз надорванные силы уже постоянно дают чувствовать свою надорванность.

Беда, как известно, никогда не приходит одна, а всегда с толпою своих сослуживиц, и все они атакуют вас сообща. Как собаки, то та, то другая оскалит зубы и рвет вас за полы, за ногу, а иная, порьянее, норовит цапнуть за самую морду.

10. Суббота. Академия должна была напечатать наши речи о Ломоносове отдельною книжкою, как это обыкновенно делается в подобных случаях. Но как к этому не делалось никаких распоряжений, то я отнесся к секретарю с просьбою уведомить меня, могу ли я сам отдельно напечатать мою речь. Он отвечал мне утвердительно. Между тем во вчерашнем номере «С.-П‹етербургских› ведомостей» появилась речь ‹Я. К.› Грота: значит, он сам от себя сообщил ее ‹В. Ф.› Коршу? Мне многие изъявили желание видеть мою речь в печати, и как я сам считаю это по обстоятельствам необходимым, то я и решился напечатать ее особою брошюрою и отдал ее для этого в типографию Головина, находящуюся в том же доме, где

квартирую я. Нужно только, чтобы это было сделано скорее. Головин обещался во вторник доставить мне корректуру. [394]

12. Понедельник. Зайдя в книжную лавку Базунова, впервые услышал я прискорбную весть о смерти наследника-цесаревича. Потом появился и бюллетень, в котором сказано, что кончина воспоследовала с 11-го на 12-е апреля, в 12 часов 50 минут ночи. Грустно, очень грустно, особенно когда подумаешь, что жизнь этого благородного, много обещавшего для России юноши, может быть, могла бы быть сохранена, если бы пестуны его ‹Г. Ф.› Гогель, Зиновьев и граф ‹С. Г.› Строганов побольше заботились о его физическом состоянии и не были так непростительно беззаботны в этом отношении. В публике страшное негодование против графа Строганова. В самом деле, что делал он эти три года, которые провел при наследнике? Почему скрыл он его болезненное состояние, если о нем знал, и почему не знал, если не знал?

Государь съехался в Дижоне с принцессою Дагмарою, которая, в сопровождении матери своей, тоже ехала в Ниццу. Они все вместе туда и отправились.

Наполеон отложил бал при дворе в тот день, когда больному сделалось особенно худо.

У нас уже дней за пять начали хлопотать о трауре. Траурные материи сильно вздорожали. А граф ‹Г. А.› Строганов, муж Марии Николаевны, говорят, заранее начал хлопотать о похоронной колеснице. Это по их части: на это только они и годны.

13. Вторник. Бесчисленные толки об общем горе, и, как обыкновенно во всех таких толках, много нелепого. Так, например, один генерал с весьма важным видом высказал мне мнение, что в болезни, а следовательно, и в смерти наследника сильно повинен Наполеон. «Каким же это образом?» — спросил я. Говоривший не умел мне этого объяснить, но остался при своем мнении. Невольно вспомнишь Гоголя, в «Ревизоре» которого одно из действующих лиц, говоря о затруднениях, в какие повергнуты чиновники присылкою к ним ревизора, глубокомысленно замечает, что это француз все гадит. [395]

Заходил к Гончарову. Ничего! Он благоденствует, а я думал, что он болен. Вместе посетовали о наследнике и поругали Строганова.

14. Среда. Принялся за биографию Галича.

Вышли новые законы о печати. Их можно, по справедливости, назвать валуевскими. Тут все подчинено произволу министра. Совет обречен играть жалкую роль. Сказано, что круг его действий и права те же, как и у прочих советов министерств, то есть он составляет полное ничтожество. Но Валуев хочет придать ему значение другим шарлатанским образом. Он объявил, что Совет должен состоять из юристов. Почему тут нужны юристы, а не люди, основательно знакомые с наукою и литературою, — этого ни сам он, вероятно, да и никто другой не знает.

17. Суббота. Президент Северо-американских Штатов ‹А.› Линкольн убит. Этим, вероятно, сепаратисты хотели отомстить ему за свои поражения. Когда убийца направляет свой удар на человека великих государственных способностей, с судьбою которого соединена судьба многих, судьба миллионов, то это все равно, как если бы он выжег, ограбил целую страну и перерезал целую массу народа.

‹М. Н.› Муравьев уволен, и на место его определен ‹К. П. фон› Кауфман.

Мы ничего не делаем последовательно и с сознанием определенной цели. Во всем скачки, попытки, шатанье вправо, влево, ожидания, что скажут и как поведут нас другие.

Был у Ф. И. Тютчева. Разговор о наследнике. По словам его решительно выходит, что наследника уморили нелепым образом воспитания, особенно тем, как вел его в последние годы Строганов.[396] Не обращалось никакого внимания на его физическое состояние; его страшно утомляли, заставляя учиться и двигаться свыше сил и не внемля спасительным предостережениям некоторых рассудительных медиков, например ‹Н. Ф.› Здекауера и проч. Государя держали в совершенном неведении насчет его положения, так что за несколько дней до смерти наследника государь случайно узнал от фельдъегеря о готовящейся катастрофе.

В Москве, говорят, по поводу смерти наследника была демонстрация. Собрались толпы народа, и из среды их раздались крики, что в этом несчастии виноват Константин. Народ, как известно, чрезвычайно способен к фантастическим представлениям и толкам.

18. Воскресенье. Ф. И. Тютчев после известного адреса московского дворянства о созвании земской думы написал под названием «Москвичам» следующее четверостишие и послал его в Москву:

Куда себя морочите вы грубо!
Какой у вас с Россиею разлад!
И где вам в члены английских палат?
Вы просто члены английского клуба.

На это последовал следующий ответ москвичей:

Вы ошибаетеся грубо,
И в вашей Ницце дорогой
Сложили, видно, вместе с шубой
Вы память о земле родной.
В раю терпение уместно,
Политике там места нет;
Там все умно, согласно, честно,
Там нет зимы, там вечный свет.
Но как же быть в стране унылой,
Где ныне правит Константин
И где слились в одно светило
Валуев, Рейтерн, Головнин?
Нет, нам парламента не нужно,
Но почему ж нас проклинать
За то, что мы дерзнули дружно
И громко караул кричать? [397]

Говорят, что скоро после приезда сюда Муравьева было уже, по желанию константиновской партии, решено отозвать его из Вильно, но вдруг оттуда получается донесение, что едва достигла туда весть об отзыве Муравьева, как польский элемент снова поднялся: появились конфедератки, траурные одежды, русские вывески в магазинах опять заменились польскими и проч. Вследствие этого рескрипт на имя Муравьева с пожалованием его при увольнении графом и уже посланный для напечатания в «Северной почте» был задержан. Дела опять заколебались.

19. Понедельник. Везде почти единогласно слышишь. уморили, уморили наследника, — и приписывают это ‹С. Г.› Строганову. Достается также и доктору ‹Н. А.› Шестову, который действительно, говорят, не так опытен и учен, чтобы мог наблюдать за физическим состоянием наследника и лечить его. Доктора этого рекомендовал ‹И. В.› Енохин, которому он доводится племянником.

Не знаю, говорил ли какой генерал или нет, но все равно что говорил следующие слова: «Стоит только перед сражением подумать, что вот я буду разбит, и наверное будешь разбит».

23. Пятница. Закон о присоединении к православию детей, рожденных от смешанных браков в остзейских провинциях (то есть нетребование подписок при вступлении в брак,

что дети будут православные) находит и защитников и порицателей. Но нет, кажется, сомнения, что это не понравится народу.[398]

24. Суббота. Читаю «Юлия Цезаря» Наполеона III. Что бы ни говорили враги августейшего автора, а сочинения его нельзя не признать замечательным. Положим, он не делает открытий в этой части истории наравне со специалистами науки, особенно у немцев. Но обнять в такой обширности все сделанное другими, так самостоятельно и глубоко изучить все предшествующие источники и исследования — это уже немалое достоинство. Потом, в авторе нельзя не признать художника. Как мастерски группирует он подробности, как изящно и пластично управляется с такими сухими вещами, как, например, географическое описание местностей в начале первой части, — и какое хорошее перо! И живо, и рельефно, и сжато. Словом, если бы Наполеон не был правителем, он мог бы быть очень хорошим писателем. Но с его философией истории, однако, нельзя согласиться. Тут видна натяжка в свою пользу. Чтобы великие события всегда происходили от великих причин — это решительно неверно. Этому противоречит и его собственное сравнение, что искра не производит пожара, если для него не приготовлены горючие материалы. А потому несправедлива также и мысль, что великие люди порождают великие судьбы. Они их решают — это так, но часто решают даже вопреки своим планам и ожиданиям, а часто и не сознают, что решают. Все события, называемые великими, суть следствия многих предшествующих причин, между которыми воля и гений одного лица есть только одна из сильных пружин в механизме целой системы или целого порядка и хода вещей.

25. Воскресенье. Поутру у ‹М. М.› Стасюлевича. Он три года был преподавателем истории у наследника. Наследник, говорит он, учился очень хорошо и вообще был прекрасное существо. Стасюлевич не может вспоминать о нем без глубокой скорби и умиления. Он показывал мне тетради, в которых царственный юноша записывал свои уроки из истории. Видна особенная тщатель.. сть в занятиях. Строганова наследник не любил, да и трудно любить этого холодного и сухого человека. Юношу слишком обременяли учением и разными упражнениями, желая вознаградить время, упущенное в его детстве. Вообще не было обращено должного внимания на деликатность и слабость его сложения.

Вот образчик того, как в народе смотрят на смерть наследника. Во время ломоносовского обеда в зале Дворянского собрания возле Стасюлевича сидел какой-то купец. Когда был провозглашен тост за наследника, — тогда было известно еще только, что он опасно болен, — зала огласилась восторженными криками в честь его и пожеланиями ему выздоровления. Крики не умолкали в течение пяти минут. Стасюлевича это так тронуло, что у него показались слезы на глазах. Его сосед-купец это заметил и спросил:

— Видно, вы очень любите наследника?

— Да, — отвечал Стасюлевич, — потому что знаю его хорошо: я был его учителем.

— Учителем? — повторил купец. — Ну, хорошо, что вы были его учителем, а не дядькою, а то вас стоило бы разорвать на клочки.

26. Понедельник. Уже напечатан рескрипт о пожаловании графом Муравьева и об его увольнении и также приказ о назначении Кауфмана. Что-то скажут патриоты московские, да и другие? Немец в Польше для устройства русских дел! Впрочем, он, говорят, православный. Да фамилия-то, возражают, немецкая, какой русскому человеку и не выговорить.

У нас все как-то странно делается. Очень много, например, шумели и нашумели о ломоносовском юбилее. Он пришел — пообедали, покричали и, кажется, опять забыли человека на целое столетие.

27. Вторник. В газетах напечатано письмо убийцы Линкольна — Буса. Письмо заключает в себе политическую исповедь убийцы и причины, объясняющие его преступное дело. Какая неисповедимая наглость и высокомерие этих непрошенных и самозванных благодетелей человечества и народов! Если верить словам настоящего убийцы, то он великий человек, предпринявший великое дело во имя свободы и прогресса. Вот глубокая и пагубная болезнь нашего века! Всякий мечтатель, фанатик или честолюбец, жаждущий всемирной популярности, считает себя вправе предпринимать дела, на которые его никто не уполномочивал.

28. Среда. В Петербурге сильно распространяется спиритизм. Пусть его! Это реакция против материализма. Пусть одно безумие уничтожается другим: клин выбивается клином.

Май 1. Суббота. Вечер у ‹В. К.› Ржевского. Меня очень занимали рассказы ‹П. И.› Мельникова (Печерского). Это

настоящий тип русского плутоватого бывалого человека. Но его приятно слушать, хотя надобно слушать осторожно, потому что он не затрудняется прилгать и прихвастнуть.

3. Понедельник. Газета «Народная летопись» запрещена до сентября. По получении официального известия о смерти наследника все газеты вышли с траурною каймою, «Летопись» — без нее. Но когда получена была депеша о смерти Линкольна, газета эта облеклась в траур. Это ближайшая причина запрещения. Но главная причина та, что около этой газеты сгруппировались последователи Чернышевского — А‹нтонович›, Е‹лисеев›, кажется, и Лавров и проч. Третье отделение тотчас по основании газеты обратило на нее внимание министра внутренних дел. А вот теперь, при случае, она и прямо высказалась.[399]

Сегодня вся Нева запружена льдом, но день был хороший: 10 град. тепла. Я долго гулял в Летнем саду, где теперь в известные часы собирается на прогулку наше так называемое лучшее общество.

4. Вторник. Между сенаторами есть ‹...› престранные. Панин было несколько притворил двери для входа в сию храмину правосудия всякому ‹...›, если он только военный генерал или тайный советник, но мудрый нынешний министр юстиции ‹Д. Н.› Замятнин опять широко распахнул оные двери, и вот туда потянулись ряды ‹...›, что, как говорится, уму непостижимо. Там, между прочим, красуется и певец Х‹?›, которого Бутков заставлял себе петь и употреблял, говорят, еще на кое-какие другие поручения. Он же во время своего государственного секретарства сделал его и сенатором. Х. пел прежде тенором, теперь, говорят, поет басом. Вчера я встретил его на Невском проспекте. Нельзя без смеха, без горького смеха смотреть на эту маленькую фигурку самого нелепого вида, которая всячески надувается и топорщится, чтобы показать, что и она государственный человек.

Отличный день, даже жарко. В Летнем саду толпы гуляющих; на лужайках начинает пробиваться трава, а молодые кустарники подергиваются зеленым молодым пушком. Но почтенные старые липы еще стоят мрачно и угрюмо, не показывая ни малейших признаков пробуждения к жизни.

6. Четверг. ‹Н. С.› Тихонравов отказался от предложенного ему Вторым отделением Академии звания члена.

Я предложил взамен его ‹А. Д.› Галахова, но не встретил сочувствия. Сильнее всех воспротивился Пекарский.[400]

8 Суббота. В «С.-Петербургских ведомостях» напечатана статья, извлеченная из отношения нашего консула в министерство финансов о нетерпимом мошенничестве наших купцов, которые поставляют на заграничные рынки лен низшего разряда, выдавая его за первый сорт и беря за него деньги как за первый. И подобное мелкое гнусное надувательство встречается уже не в первый раз, так что иностранцы отказываются иметь дело с русским купцом. Консул говорит, что это угрожает закрытием иностранных рынков для нашей торговли.

Муравьев получает из многих мест России поздравления с графским достоинством и благодарственные адресы за его управление западными губерниями.

15. Суббота. Из всех живых созданий нет таких, которые бы были так способны наносить вред себе и другим, как люди. Нет ничего лживее и несчастнее человеческой породы. Те, которые стараются истребить религиозное чувство в человеке, — величайшие враги последнего: ведь это его единственная опора. И как нетрудно было бы пробудить и укрепить религиозное чувство в людях, особенно в юности, если бы ей было меньше толковано о догматах и обрядности, а больше о благости и премудрости высочайшего существа! И где можно найти больше для того материалов, как не в христианстве!

Исключительная вера в так называемый исторический прогресс есть не иное что, как ловля тени, которая беспрестанно убегает. Это одно из ярких и пагубных заблуждений века.

16. Воскресенье. Литературу нашу, кажется, ожидает лютая судьба. Валуев достиг своей цели. Он забрал ее в свои руки и сделался полным ее властелином. Худшего господина она не могла получить. Сколько я могу судить по некоторым убедительным данным, он, кажется, замыслил огромный план — уничтожить в ней всякие нехорошие поползновения и сделать ее вполне благонамеренною, то есть сделать то, чего не в состоянии был, да едва ли и хотел сделать Николай Павлович. Этот последний презирал литературу, но едва ли считал возможным сформулировать ее на свой лад. Валуев, повидимому, считает это возможным. Он, должно быть, так же точно презирает всякое умственное

движение, как презирали его в предшествовавшее царствование, и думает, что административные меры выше и сильнее всякой мысли. Устав о печати, который должен быть введен в сентябре месяце, отдает ему в полное распоряжение всякое печатное проявление мысли. Издание журналов, с освобождением их от предварительной цензуры, становится делом крайне затруднительным. Прежде журналы зависели от произвола цензора, который все-таки не мог вполне пренебрегать тем, что о нем скажут в обществе. Оттого он был до некоторой степени принужден действовать умеренно и снисходительно. Издатели в известной мере освобождались от ответственности под его щитом. Теперь не то. Цензора нет. Но взамен его над головами писателей и редакторов повешен Дамоклов меч в виде двух предостережений и третьего, за которым следует приостановка издания. Меч этот находится в руке министра: он опускает его, когда ему заблагорассудится, и даже не обязан мотивировать свой поступок. Итак, это чистейший произвол, и уже не прежний мелкочиновнический и по тому самому менее смелый, а произвол, вооруженный сильною властью, властью министерскою. Понятно, что пишущая братия сильно переполошилась. Журналисты, по крайней мере петербургские, как слышно, условились подчиняться попрежнему предварительной цензуре, и это в их положении, может быть, было бы самое разумное. Но вот что мне сегодня говорил Ф‹укс›, наперсник и эхо Валуева: «Министру известно, на что намерены решиться журналисты, но они жестоко ошибутся. Если они захотят остаться под цензурою, то и получат ее, но такую, которая будет несравненно сильнее николаевской. Волею или неволею они должны будут эмансипироваться». Какая удивительная эмансипация! — а тогда уже дело пойдет новым порядком. Каким? — Валуевским.

Разумеется, этот великолепный план точно так же разлетится дымом, как и все великие планы наших великих государственных, как ‹планы› негосударственных людей. Россия тем отличается, что в ней ни зло, ни добро не выдерживаются систематически и последовательно. У нас систематичны и последовательны один беспорядок и хаос. Но в частности наделается много гадостей и неприятностей, а там дело повернет туда, куда направит его какая-нибудь случайность, какой-нибудь ветер, и все-таки не туда, куда думали Валуевы и Ф‹уксы›.

17. Понедельник. Вчера свирепый северный ветер, отчего при ярком сиянии солнца несноснейший холод, а сегодня мрак и дождь при 7° тепла. Итак, май оказался подлецом и тянет не на весну, куда бы ему следовало по его положению, а прямо к осени. Бедствие для тех, которые переехали уже на дачу, особенно в прелестные картонные домики Новой Деревни, Черной речки и проч. Впрочем, Черная речка на днях многих из своих дачников спасла от этого бедствия: в ней сгорело до двенадцати домов.

19. Среда. Целый день буря. С трех или четырех часов до восьми палили из пушек — значит, в Галерной гавани и в Коломне большой прилив воды. Часу в восьмом я вышел на Невский проспект; спуски на Фонтанке залиты почти по самую мостовую.

20. Четверг. Такая же точно буря, как вчера. Я было отправился в Академию, но вернулся, потому что ветер пронизывал до костей и сломал зонтик, так что я даже не мог укрыться от дождя.

Опять рассказы о покойном наследнике. Выходит все одно и то же: Строганов виноват в преждевременной кончине этого благородного юноши. По словам Ф. И. Тютчева, императрица обвиняет себя в недостатке материнской проницательности и в том, что она не видела положения наследника. Впрочем, от нее всё скрывали; и сам наследник скрывал, не желая огорчать печальной истиной, которую он, однако, сознавал, как это видно из письма его к невесте, найденного в его бумагах недоконченным.

Всех умнее и благороднее, кажется, вел себя доктор ‹Н. Ф.› Здекауер. Он еще в январе объяснил государю и графу Строганову, как сомнительно положение наследника и какой осторожности и внимания оно требует. Здекауер, между прочим, никак не советовал ему купаться в море. Но Строганов решительно ни в чем не слушался его и, напротив, повез наследника в Голландию, где заставили его купаться в холодную пору и в восемь часов утра, так что местные доктора изумлялись и не советовали этого делать.

Вчера было настоящее наводнение в низменных частях города, в Коломне, на островах. Около Кокушкина моста даже по улице плавали на лодке. Один господин на Каменном острове ехал в карете по воде, которая проникала сквозь дверцы. Эта ужасная погода приостановила и наши сборы на дачу.

22. Суббота. Сегодня думали, что будет привезено тело наследника и церемониально препровождено в царственное жилище вечного покоя. Но это отложено до будущего вторника. Между тем делаются приготовления: дома на Английской набережной и Большой Миллионной убираются трауром. На Сенатской площади воздвигается амфитеатр для зрителей.

В пятницу был у князя ‹П. А.› Вяземского, на днях приехавшего из Ниццы. Он показался мне удивительно свежим и бодрым. Он остановился в доме своего зятя, министра внутренних дел, которого я и встретил тут. Я выразил Валуеву крайнее удивление, что в похоронной процессии не допущены депутации от корпораций, например от Академии наук и проч. Он отвечал, что это зависело от заявлений начальств различных учреждений и что, например, Московский университет прислал своих депутатов.

В Академии Срезневский говорил мне, что и здешний университет назначил своих депутатов. Значит, одна Академия не сделала этого. Удивительно.

В «С.-Петербургских ведомостях» напечатаны в переводе очень хорошие стихи на смерть наследника одного финляндского поэта. [401]

23. Воскресенье. Ни одно свободное движение не бывает без уклонений то вправо, то влево: на то оно и свободное. По прямой неуклонной идут только силы механические, вследствие сообщенного им внешнего толчка. Итак, при свободном движении всегда надо ожидать отступлений от известных принятых или установившихся начал, ожидать некоторого замешательства. Зло не в этом, а в том, когда порывающиеся к свободному движению или действующие силы не встречают уравновешивающих их других сил — когда свободное движение, свидетельствующее о жизненности, обилии и энергии сил, превращается в дикое, необузданное своеволие и не организуется, не ограничивается другими силами, которые воздерживали бы их и не допускали бесплодно рассеиваться в беспредельности и поглощать самих себя. Свободное движение всегда есть нечто могучее, но слепое, нуждающееся в руководстве разума. Это — творчество, рождающее вещи, которые требуют направления, обработки, воспитания. Оно столько же способно разрушать, как и созидать, но оно неспособно останавливаться, чтобы сознательно уяснять себе, для чего и что оно разрушает или созидает.

Вечером навестил меня князь П. А. Вяземский. Разговор опять вертелся все на той же злобе дня — на смерти наследника.

25. Вторник. Печальный и торжественный день! Привезено тело наследника в Петербург и препровождено в церемониальном шествии к месту вечного упокоения в крепость. Погода соответствовала характеру события. Небо обложилось тучами, каждую минуту угрожал дождь — но дождя не было и было тепло. В двенадцатом часу я вышел из дому. Невский проспект был залит толпами народа, который спешил к Исаакиевской площади. Процессия должна была следовать от Николаевского моста мимо Исаакия по площади и набережной на Троицкий мост. Немного спустя раздался пушечный выстрел. На улицах уже не было ни души. Все, весь Петербург столпился у площади, и я с Морской поворотил туда же. Тут услужливый спекулянт предложил мне место на скамейке за полтинник. Я с трудом взгромоздился на нее и очень порядочно мог видеть церемониальное шествие. Мрачная и величественная картина. Войска с обеих сторон окаймляли площадь. Сперва потянулись разные придворные чины, ордена на подушках, бесконечный ряд духовенства в черном облачении, отряд войск и потом колесница с останками юноши, которого оплакивала Россия. За нею государь верхом на лошади... Я отвернулся и не стал больше смотреть. Народ стоял безмолвно, сняв шапки, и с появлением колесницы крестился. Не было ни малейшего шуму, ни толкотни, ни беспорядка. Вокруг царствовало полное безмолвие, нарушаемое только колокольным звоном с церквей и зловещими пушечными выстрелами с крепости. Все магазины, лавки, кабаки были заперты. На всем Петербурге лежала какая-то печать уныния и скорби, а над ним, как черное покрывало, висело сумрачное небо.

26. Среда. В два часа отправился я поклониться праху наследника в Петропавловский собор. У ворот крепости с добрых полчаса надо было ждать, пока разъехались экипажи возвращавшихся с панихиды. Народу видимо-невидимо: кажется, опять весь Петербург собрался сюда. И вдруг все это повалило в крепость и стеснилось у входа в церковь до такой степени, что нечего было и думать попасть туда, по крайней мере скоро. Впускали только по нескольку человек разом и затем запирали двери. Многие на это ворчали, но, мне кажется, это было и необходимо и благоразумно. Иначе церковь была бы вдруг переполнена, и

мог бы произойти страшный беспорядок. К выходу тоже пускали постепенно. И надо отдать справедливость полиции: она распоряжалась и ловко и учтиво. Я встретил тут Чивилева, который отчаялся попасть в церковь и уехал домой. Я тоже было колебался, но потом решился подождать, сколько возможно. Так же поступил и ‹А. С.› Воронов, с которым я тоже тут столкнулся. Наконец пришла и моя очередь. Большая мрачная церковь лишь немногих вмещала в себе. Посетители входили в одни двери, по очереди в одиночку допускались к гробу, поклонялись ему и направлялись к другому выходу. По обеим сторонам катафалка стояли дежурные камергеры и генералы. Перед гробом разложены были на золотых подушках ордена покойного. атаманская булава, и водружены были казацкие бунчуки. В церкви господствовало мрачное величие смерти. Тишина прерывалась только монотонным унылым чтением евангелия. С глубокою грустью я взошел на ступени катафалка, поцеловал холодную руку, предназначавшуюся для скипетра одного из величайших в мире царств и теперь обреченную тлению, взглянул на бледное лицо, сквозившее сквозь покрывавший его флер, на цветы, которыми усыпан был труп, — и слезы невольно подступили к глазам, и я вышел с глубокою скорбию, за которую многие без сомнения осмеяли бы меня. Вся эта драма жизни и смерти, которую мы называем великою, конечно, ничто в бесконечном течении вещей; но если где есть место возбудиться человеческому чувству, то, конечно, здесь, где нанесена такая глубокая скорбь сердцу одного из самых благородных государей и одного из самых добрых людей, и гнусно не сочувствовать этой скорби, каковы бы ни были ваши социальные и политические теории...

27. *Четверг.* Сбор на дачу. Рескрипт на имя генерал-губернатора ‹А. А. Суворова› с изъявлением благодарности государя жителям Петербурга за их сочувствие к его великой скорби.

Строганов, говорят, играл самую жалкую роль во время всей похоронной церемонии. К нему никто не подходил, никто не заводил с ним речи.

28. *Пятница.* Бывают нравственные уродливости, как и физические. Иному недостает от природы религиозного, эстетического чувства, или эти органы душевной жизни были у него как-нибудь окалечены в детстве. Но гордиться тут, право, нечем. Не следует этого выставлять на всемир-

ное зрелище, а еще менее следует провозглашать, что это красота, и желать, даже домогаться, чтобы другие были в этом отношении на нас похожи.

Ужасно трудно у нас добывать исторические материалы. Вот уже несчетное число раз являюсь я в университет, чтобы получить дело об отрешении от должности профессора Галича, — и все напрасно. Наконец ректор обещался.

Речь моя о Ломоносове однако, несмотря на свой провал на академическом акте, все-таки имеет свою долю успеха. До меня с разных сторон доходят благоприятные о ней слухи. Я получил лестные о ней отзывы и благодарственные за нее письма из Архангельска, Киева, Москвы, Харькова. Макарий, архиепископ харьковский, написал мне очень милое письмецо. Здесь раскуплено в книжной лавке до ста экземпляров. Журналы хранят глубокое молчание, кроме «Северной почты», которая отозвалась о моей «щеголеватости», да «Русского инвалида», сделавшего из речи выписки. К отзывам журнальным всяким, похвальным и ругательным, я питаю глубокое равнодушие и всегда питал его. Меня не раз хвалили, и раз только, давно как-то, выбранила «Северная пчела», сначала похвалив непомерно. Тогда я принужден был отвечать на ругательство, потому что оно пахло доносом, и мне, по обстоятельствам времени, необходимо было дать отпор. Но после того я уже больше не обращал внимания на то, что обо мне писалось. Это совсем не из гордости или желания прослыть неуязвимым: напротив, я вовсе не чужд удовольствия слышать себе одобрение. Но дело в том, что у нас ни похвала, ни брань не вызываются обыкновенно никакими основательными литературными причинами, а всегда одним побуждением лично насолить человеку или лично задобрить его. Тут большею частью всё решают личные отношения, и как я всегда шел сам своею особою дорогою, то у меня, естественно, было больше неприятелей, чем благоприятелей. В последнее же время я окончательно, даже в личных моих отношениях, отдалился от так называемых литературных кружков, да и не скрывал и не скрываю, и устно и печатно, моего отвращения к этой ультралиберальной пустоте и умственной распущенности, в которой тонут иные из наших так называемых передовых журналов. Но это не потому, чтоб я не признавал в нынешнем направлении его исторического происхождения и значения, а потому, что, по моему мнению,

никакое направление не должно сделаться исключительным и господствующим.

Половина первого. Сейчас раздался печальный звон колокола, возвещающий о погребении наследника. Я живу против самой Владимирской церкви и ясно слышу его грозный, скорбный напев.

Он был человек, отец его — освободитель миллионов людей. Россия должна плакать, если у ней есть народное чувство, если она нация, а не случайное скопище и в настоящее время всеотрицающих разнородных элементов.

30. Воскресенье. О, как не разработан еще русский мир! И как трудно разработать его одною силою мысли или знания. Тут необходима еще другая сила, которая служила бы проводником первой. России нужен новый Петр. Тот Петр начал, другому следовало бы довершить. Народ прежде нуждался в возбуждении, теперь он нуждается в руководстве.

Вчера переехали на дачу в Павловск, по примеру прошлого года — на дачу Мердера, по дороге в Царскую Славянку.

31. Понедельник. Охотники нивелировать человечество готовы превратить его в одну грубую, безразличную и безобразную массу, из которой уже не должно вырастать ни одно дарование, ни одна умственная или нравственная заслуга.

Июнь 1. Вторник. Солнце просияло, и хотя от времени до времени северячок подувает, но все-таки тепло, а на солнце и жарко. Июнь, повидимому, хочет произвести реформу в погоде. В добрый час!

3. Четверг. Отвага, говорят, свидетельствует о силе, но она свидетельствует также о безумии...

8. Вторник. В городе. Экзамен в Римско-католической академии. Большие любезности. Впрочем, я всегда был доволен студентами: они всегда внимательны к моим лекциям и вообще всегда выказывали мне даже преданность.

11. Пятница. В природе осенняя тоска. Ночью соловей не раз затягивал свою песнь, но всякий раз обрывал ее на второй или на третьей трели. Все другие маленькие певуны совсем притихли. Зелень какая-то бледная, тощая, повидимому готовая увянуть, едва распустившись. Дачники прячутся в комнатах, но и там в большинстве случаев дрожат и на чем свет стоит ругают лето. Это детское негодование еще

более усиливает всеобщую скуку. Вот по небу бродят какие-то грязно-серого цвета тучи и ежеминутно угрожают уже не дождем, а снегом. Вообще природа готовит нам что-то скверное, вроде польского восстания или в дополнение к нему. Отовсюду только и читаешь вести о пожарах и о зловещих признаках всеобщего неурожая. Прошлого года был только местный голод, например в Самаре, а теперь вот угрожает голод повсеместный. Дороговизна на все предметы первой потребности увеличилась до того, что бедные люди лишь с трудом могут жить. Что ж будет дальше?

13. Воскресенье. Осуждены мы навсегда делать глупости или они составляют только одну из переходных ступеней нашего развития? Ведь вот до сих пор случалось так, что даже из всего, что мы возьмем у других, мы непременно выберем самое худшее и спешим его усвоить себе так, как будто оно составляет единственную важнейшую сторону вещей. Встретимся мы с разными улучшениями и благами внешнего быта — мы непременно позаимствуем от них всякие излишества, блестки, чрезмерную роскошь и начнем с неимоверною быстротою проматывать достояние наше и отцов наших. Научимся мы иностранным языкам — мы прежде всего прочтем на них самые пустые или забористые статьи и начнем болтать на них всякий вздор, забывая свой родной язык. Поедем ли за границу — вместо того чтобы лицом к лицу ознакомляться с плодами и успехами чужой образованности, мы постараемся побывать там прежде всего во всех притонах иноземного разврата, проиграться до последней нитки в каком-нибудь Бадене или Висбадене да провезти контрабандою несколько запрещенных книг или вещей, чтобы потом с гордостью сказать дома своему приятелю: «Ну, брат, продулся я в Париже» или там-то и там-то. Поедут наши юноши за границу с благою целью учиться — они начнут с того, что окритикуют и обругают тамошних профессоров, а кончат тем, что, возвратясь домой, станут с видом всемирных гениев и знатоков повторять поверхностно схваченное и вовсе не переваренное знание, заимствованное у этих же профессоров, — и на том застынут. Начнем мы заниматься публицистикою, политикою — мы тотчас делаемся социалистами, коммунистами и с необычайным шумом и треском слов требуем всевозможных реформ, не заботясь о том, является ли это требование плодом и выражением народной жизни и народных нужд или только игрою нашей праздной фантазии. Займемся ли мы философией —

то немедленно с головой так и окунемся в атеизм и материализм и ослепнем и оглохнем для всего другого. Хотелось бы думать, что это только один из фазисов нашего развития, а не то, что нам суждено делать.

16. Среда. Опять был у меня Норов. Я стараюсь забыть, что он некогда был министром народного просвещения, и когда мне это удается, я опять вполне готов дружески отвечать на его дружеские попытки. Вчера он, между прочим, рассказал мне следующий анекдот об А. С. Пушкине. Норов встретился с ним за год или за полтора до его женитьбы. Пушкин очень любезно с ним поздоровался и обнял его. При этом был приятель Пушкина ‹В. И.› Туманский. Он обратился к поэту и сказал ему: «Знаешь ли, Александр Сергеевич, кого ты обнимаешь? Ведь это твой противник. В бытность свою в Одессе он при мне сжег твою рукописную поэму».

Дело в том, что Туманский дал Норову прочесть в рукописи известную непристойную поэму Пушкина.[402] В комнате тогда топился камин, и Норов по прочтении пьесы тут же бросил ее в огонь.

«Нет, — сказал Пушкин, — я этого не знал, а узнав теперь, вижу, что Авраам Сергеевич не противник мне, а друг, а вот ты, восхищавшийся такою гадостью, как моя неизданная поэма, настоящий мой враг».

17. Четверг. Самое скверное положение, когда человеку недостает ни мудрости, ни силы терпеть, ни мужества действовать.

Неудовлетворительность положения производит какое-то всеобщее раздражение, которое обнаруживается во всем — в малых и больших делах. Каждый действует под влиянием негодования и досады, поводы к которым носятся в воздухе. Поводов этих он и назвать не в состоянии, но он чувствует и ими одними одушевляется.

Говорят, что судебная реформа откладывается в длинный ящик. А между тем ею возбуждена томительная жажда: всякий чувствует, что без нее невозможна никакая безопасность, и всякий ожидает ее, как манны небесной. Но административная или бюрократическая сила не хочет выпустить власти из своих рук.

Что, если ко всему прочему сбудется еще угроза повсеместного голода! При совершенно непонятной инерции власти действительно не настанет ли время всеобщей сумятицы, грабежа и не сделается ли это, в самом деле, началом

насильственного переворота, о котором мечтают поляки, заграничные наши враги и домашние революционеры?

А пожары идут своим чередом. Выгорают целые или почти целые города и селения. И об этом говорят уже как о самой обыкновенной вещи. Поджоги делаются даже с некоторым юмором. В каком-то уездном городе Владимирской губернии арестанты выпустили из острога голубя, привязав к нему зажженные горючие вещества, и вот по домам и дворам пошел гулять уже не обычный красный петух, а кроткий голубь, превращенный в страшный бич. Видно, тут подшутил какой-нибудь грамотей, знавший историю княгини Ольги.

18. Пятница. Прекрасный летний день с великолепным теплым дождем. На музыке беседа с Егором Федоровичем Тимковским. Ему семьдесят два года, и в службе он пятьдесят лет без малого. Провел год в Пекине при тамошней миссии. Рассказывал много любопытного об отце Иоакинфе Бичурине, с которым я был довольно хорошо знаком. Тимковский выручил его из валаамского заточения, где он пребывал после разжалования его из архимандритов в монахи за его великие пекинские проказы. Граф Нессельроде, по просьбе Тимковского, исходатайствовал ему освобождение, с причислением к министерству иностранных дел по китайским делам, так как он превосходно знал китайский язык, проведя в Китае четырнадцать лет, хорошо изучил и самую страну.

«Так как вам хорошо известно все, касающееся отца Иоакинфа, — сказал я Тимковскому, — и вы с ним были так близко знакомы, то скажите мне, точно ли он вел себя в Китае так дурно, как о нем рассказывают? Ведь про него рассказывают ужасы — что он никогда не служил в церкви, что он даже распродал церковную утварь, что он пил и напропалую гулял с китаянками в неподобных местах и проч. и проч.». — «Да, — отвечал Тимковский, — все это большею частью справедливо. Он был очень даровитый, умный и даже добрый человек, но страшный эпикуреец и гуляка. Духовное звание было ему противно, да он и попал в него случайно. Он был побочный сын архиепископа или митрополита Амвросия, который доставил ему звание архимандрита в Иркутске, когда ему было всего двадцать два года. Когда по интригам графа ‹Ю. А.› Головкина, назначенного посланником в Пекин, архимандрит Аполлос был уволен из китайской миссии, то на его место, по ходатайству того же

Амвросия, был определен Иоакинф, — и отсюда-то начинаются пекинские подвиги последнего. На Валааме он спал, гулял и попивал. Когда, бывало, поутру зайдет к нему в келью игумен и станет звать его к заутрене, он обыкновенно отвечает ему: «Отец игумен, идите уж лучше одни в церковь, я вот более семи лет не имел на себе этого греха». Потом его часто видели прогуливающимся у Симеония в монашеском подряснике, но в круглой шляпе с двумя нимфами под руку. Такой был греховодник этот почтенный отец Иоакинф! Когда я жил на даче за Лесным корпусом, он довольно часто и у меня бывал. Там за стаканом пунша он любил рассказывать про разные скандалы пекинские, не скрывая и своего участия в них. Однажды он сильно рассердился на меня, когда я выразил ему мое сомнение насчет красоты китайских женщин. «Вы судите о них, — отвечал он, — по картинкам на чайных ящиках. Это такие красавицы и такого приятного обхождения, что подобных им не найти в Европе».

Вообще он питал какую-то страсть к Китаю и ко всему китайскому и свое собственное лицо и бородку как-то ухитрился подделать под китайский лад. Во время войны англичан с китайцами он никак не хотел верить, что первые победили вторых, и постоянно утверждал, что англичане надувают Европу ложными известиями на манер наполеоновских бюллетеней.

25. Пятница. В Виленской губернии, кажется в Завилейском уезде, произошел пожар в одном селении. При самом начале его схватили мальчика лет шестнадцати, почти на самом месте преступления, то есть поджога. Он тотчас и признался. На нем были найдены и зажигательные материалы: спички и проч. При дальнейшем допросе открылось, что помещик Бекаревич и несколько других помещиков, имена которых я забыл, подговорили мальчика за сорок четыре рубля поджечь селение. В задаток он получил один рубль, а остальные ему обещаны. Одновременно произошли пожары и в двух других селениях того же округа. Та же история: те же помещики подговорили к поджогу других. По исследовании оказалось, что несколько помещиков образовали здесь комплот поджигателей. Они заманивали в свою шайку молодых людей, которым говорили: «Россию ожидают всеобщий неурожай и голод — надо ее жечь, отмстить за наших повешенных и сосланных в Сибирь». О всем этом получили официальные донесения в министер-

стве внутренних дел. Об этом вчера в Совете рассказывал нам товарищ министра.

В Рязанской губернии, по словам того же товарища министра, также схвачены поджигатели из поляков. Между тем во вчерашнем заседании Совета Пржецлавский заявил, что в «Московских ведомостях» ‹М. В.› Юзефович в своей статье употребил слова: «Поляки жгут Россию», и что за это, по словам его, Пржецлавского, следовало бы сделать замечание редакции. И министр внутренних дел терпит такого господина в Совете по делам печати!

Отослал письмо к Делянову с просьбою выдать мне университетское дело о Галиче, Германе, Арсеньеве, поднятое некогда Руничем. Дело это мне нужно для биографии Галича. Вот уже два месяца или больше, как я бьюсь, чтобы получить его, и не могу.

30. Среда. Сегодня ночью разразилась ужаснейшая буря в Павловске и Петербурге. В Павловске поломало много дерев, а сучьями усеяло аллеи. В Петербурге снесло и попортило деревянные мосты и несколько деревянных крыш; на Неве разбило вдребезги много барок с дровами и другим грузом; в Летнем саду повырвало деревья с корнями. Говорят, несколько человек погибло. Когда я приехал в Петербург, только и было толков, что об урагане.

Июль 5. Понедельник. Отрицание не есть мысль, потому что мысль заключает в себе какое-нибудь содержание, то, что есть; отрицание же отвергает содержание и вместо чего-нибудь дает ничто. Оттого отрицание не есть прочная и серьезная деятельность ума, а род гимнастической игры, фокусничества.

13. Вторник. Слышно, что в Петербурге появилась холера. Во Франции и Италии уже были случаи ее, в Константинополе тоже. Конечно, нет причины, почему бы ей не быть и у нас. Как-то будет она сильна! Немудрено, что при нынешних сильных жарах будут пить холодную воду со льдом и простуживать желудок; а простой народ — тот во всякое время воспаляет его своею дешевкою. В Александрии и Египте холера уже порядочно поработала.

14. Среда. Ум при всяком серьезном деле столько же воздвигает затруднений, как и находит средство против них. Все зависит от силы характера.

В западных губерниях открыт обширный заговор, имеющий целью жечь Россию. Замечательно, что открытие это сделано не полицией, которой у нас, кажется, ни до чего нет

дела, а частными лицами. Чего же смотрят министр внутренних дел, генерал-губернатор, вообще высшие власти? Едва ли в каком-нибудь благоустроенном государстве инерция правительства доходила когда-нибудь до такой степени, как у нас. И в каких же обстоятельствах? В самых трудных. Но, может быть, это оттого и происходит, что наше государство неблагоустроенное. Земля наша велика и обильна, но порядка в ней нет.

20. Вторник. Ездил в Царское Село к А. М. Раевской и был нринят, как всегда, очень любезно. Она приготовила мне прекрасный фотографический портрет Ломоносова, но не отдала его еще, желая сама привезти мне.

Вечером на музыке. Оркестр три раза повторил «Боже, царя храни» в честь празднования совершеннолетия наследника.

21. Среда. Ездил в Петербург забрать в кабинете некоторые справки для биографии Галича.

24. Суббота. А. М. Раевская заезжала ко мне, но, не застав меня дома, оставила лишь портрет Ломоносова.

27. Вторник. Совсем собрался было в город и уже отправился на железную дорогу. На пути встретился мне один знакомый и сообщил мне, что сегодня табельный день, рождение императрицы. Значит, незачем было ехать, я и остался. Нравоучение — должно иногда заглядывать в календарь.

29. Четверг. С тех пор как Жан-Жак Руссо написал и издал свои записки, или свою исповедь, всякому умному человеку должна опротиветь мысль писать и издавать свои записки. Руссо опошлил это дело. Он выразил в них столько высокомерия и самолюбия, наговорил столько пустяков и вздору, что становится стыдно и за него и за тех, которые, подобно ему, захотели бы исповедоваться перед современниками и потомством. В них поучительно одно: вы видите, сколько в умном и даже гениальном человеке может заключаться того, что вовсе не гениально и не умно. Не в том дело, что он выставляет напоказ всякую мелочь, извлекаемую из своего сердца или из своей жизни, а в том, что он эти мелочи выдает за нечто весьма важное. В этом сходен с ним и Шатобриан.

31. Суббота. Я много видел ничтожных вещей на свете, но ничтожнее человеческих добродетелей ничего не видел.

Неуменье показать, как товар лицом, свой ум, свой характер, свое достоинство многими считается за их отсутствие.

Ездил в Петербург, где виделся с Деляновым. Я хотел поблагодарить его за учтивое письмо о доставлении мне дела из его канцелярии, которого, однако, там не оказалось. Теперь он мне сказал, что дела этого нет и у ‹Е. М.› Феоктистова и что он напишет об этом министру. Я застал Делянова как-то усталым. Было говорено о современных событиях, пожарах, повальном пьянстве и проч. Валуев недавно объявил в Комитете министров, что в течение двух летних месяцев в России было более 400 пожаров. Но, повидимому, все это не особенно заботит высшие правительственные лица.

Август 1. Воскресенье. Был на водоосвящении, которое здесь, в Павловске, совершается очень торжественно и живописно. Зашел к Норову и неожиданно встретил там ‹К. М.› Базили, которого не видал больше пятнадцати лет. Он облобызал меня, как старого близкого знакомого, и представил мне своего сына, молодого человека лет двадцати. Сам он теперь в отставке, живет достаточным помещиком в Бессарабии. Сей прекрасный грек успел очень хорошо провести свой кораблик в тихую пристань.

2. Понедельник. Увы, красное лето проходит. В природе начинаются всякие неурядицы, а по службе — возня и разные гадости. Скоро позовут в Совет и в Академию. Ни там, ни здесь не было заседания полтора месяца.

4. Среда. Любопытное зрелище в саду вокзала. Укротитель зверей показывал публике шесть львов, входил к ним в клетку, дразнил их, бил, ложился с ними и на них, клал свою голову в разверстую пасть одного из них. Львы прыгали, метались из стороны в сторону, рычали, особенно один из них, самый большой и, повидимому, очень недовольный обращением с ними хозяина. Он ярился и заставлял трепетать зрителей страшными взрывами своего рева. Зрителей была толпа. Представление продолжалось не более четверти часа. Как объяснить эту непонятную власть, которую человек приобретает над самым могучим и лютым из зверей? Разумеется, он должен был взять этих львов маленькими и дрессировать их долго и постепенно. Нельзя ли объяснить этого тем, что в продолжение, конечно, длинного периода мало-помалу можно не изменить инстинктов животного, но направить его способности, его психологические элементы

так, что они, раз погнувшись на один бок, уже всегда будут склоняться на одну сторону и не будут уже в состоянии, так сказать, выпрямиться и стать в свое естественное положение — в положение своего природного инстинкта?

На днях прочитал я в одном из журналов статью о курении табаку, где, между прочим, говорится, что излишнее курение ослабляет зрение. А как у меня действительно с некоторых пор глаза становятся не так хороши, как были, то я и решился умерить курение сигар, которому предавался-таки довольно неумеренно. Вот уже несколько дней, как я ровно наполовину сократил свою обычную порцию и намерен и впредь соблюдать эту диету, тем более что она полезна для кармана.

6. Пятница. Вечер в вокзале. Народу было множество, но, как всегда в Павловске, толпа вела себя чинно, без скандалов. Музыка исполняла серьезные пьесы; освещение яркое. Множество нарядных женщин мелькали, как бабочки, или, сидя на скамьях, представляли из себя роскошные пестрые гряды цветов.

В сегодняшнем № 171 «Русского инвалида» напечатана очень любопытная статья о поджогах. Теперь раскрыто и уже не подлежит ни малейшему сомнению, что существует целая обширная система поджогов, созданная и весьма настойчиво применяемая польскою партиею, здешнею и заграничною. Но кроме того, существует еще партия и русских заграничных ренегатов, которые действуют с нею заодно. [403]

8. Воскресенье. Был Пекарский, недавно вернувшийся из Ревеля, а потом заходил мой верный и неизменный Орест Миллер.

11. Среда. К чему же все это, если ничего нет постоянного, кроме вечного изменения?

Если твой хороший знакомый или приятель начинает оказывать тебе особенную приязнь — берегись! Это значит, он непременно собирается тебе нагадить.

17. Вторник. Человек совершенно как слепой бродит от самой колыбели. Опыт и несчастие потом его постепенно вразумляют в главных истинах жизни, и под конец он прозревает для того, чтобы увидеть свою могилу и лечь в нее.

18. Среда. Одни страдания составляют существенную сторону жизни. Все прочее — мечта, сон, тень. На что это? — вот вопрос, который невольно возникает при всяком явлении, исчезающем без следа после минутного пребывания.

19. Четверг. Все вертится в голове мрачный, роковой вопрос: на что это?

По поводу напечатания проекта нового устава Академии возникла сильная полемика. На проект напал Московский университет с яростью, которая сильно вредит его даже справедливым замечаниям. Он оскорблен тем, что Академия называет себя первенствующим ученым сословием в империи. В прибавлениях к «Русскому инвалиду» напечатана статья, также неблагоприятная для проекта Академии и для самой Академии. Ее приписывают Шульгину. Изо всех этих недоброжелательных и свирепых толков начинает казаться, что вопрос просто-напросто должен быть поставлен так: нужна ли и возможна ли в России Академия? Уж не лучше ли прежде подумать о школах, чем об ученых обществах? И впрямь, нам, пожалуй, еще рано заседать в Академиях. Нам прежде надо выучиться уважать науку.[404]

22. Воскресенье. На прогулке в парке познакомился с Лисицыным, который принимает такое участие в дочери ‹Г. П.› Павского, оставшейся почти нищею. Он рассказал мне удивительные вещи про ‹В. Б.› Бажанова, который своим нынешним местом обязан Павскому, а теперь отказался употребить свою силу и влияние, чтобы помочь бедной его дочери. Невероятно, но справедливо, что ей назначено пенсиону 118 р. в год — ей, дочери законоучителя и духовника царствующего императора России!! и какого духовника — Павского, одного из благороднейших, просвещеннейших и ученейших людей Русской земли. Неужели это сделал Александр II, образец доброты и великодушия! Между тем недостойные, презренные какие-нибудь интриганы, люди, не имеющие и тысячной доли заслуг и достоинств Павского, осыпаны милостями двора, и дети их благоденствуют. «О, как ничтожен, мал и суетен деяний ход на свете!» 118 рублей пенсиону дочери Павского, томящейся в бедности!

Говорил с некоторыми лицами об Академии. Да, действительно, вопрос должен быть поставлен так: нужна ли России Академия? Очевидно, не Академия не соответствует государству, но государство не дозрело до Академии. Общество в ней не нуждается, да и ученых в ней оказывается недостаток: недаром же мы всё стремимся выписывать их из-за границы, как заморские вина или плоды.

Имей дело поляки только с русским правительством, отстаивай свою национальность в Царстве и не заявляй

бессмысленных притязаний на западные губернии, вообще не ставь вопроса так: не Россия, а Польша, — конечно, они расположили б в свою пользу и многих рассудительных и мыслящих людей в самой России, чему и удивляться нечего было бы. А то вот ко всему безумию еще такие гнусные средства, как поджоги и угрозы ядом! В самом деле, при таком положении дел для чего же рассудительный и мыслящий человек предпочел бы Польшу России? Если Россия не много привлекательного в себе заключает, то Польша разве больше представляет? Худо быть так управляему, как управляем русский народ. Но боже сохрани попасть под управление польское и под власть польской интеллигенции! Уж лучше оставаться так, как есть, да питать кое-какие надежды на будущее, чем идти прямо на все мерзости польского и католического угнетения и бесправия.

23. Понедельник. Нигилисты изливают целые мутные потоки ругательств на всех наших писателей до Чернышевского и Добролюбова, которые одни у них великие люди. Писарев обругал Пушкина.[405] Я одобряю такие решительные действия: гораздо лучше, когда пьяница напьется так, что свалится с ног и перестанет задирать добрых людей, чем когда он пишет мыслете и толкает прохожих.

24. Вторник. Из призыва из-за границы академиков, ну право же, прямой вывод, что Академии у нас рано быть.

28. Суббота. Приехав сегодня в город, нашел у себя письмо от ‹А. Н.› Турунова с надписью: в е с ь м а н у ж н о е, от 26-го числа, с приглашением явиться к министру. Мне было досадно, что эту повестку послали ко мне не в Павловск, а на городскую квартиру, где я заведомо не часто бываю. Я тотчас поехал на Аптекарский остров. В приемной министра было много ожидавших аудиенции. Меня первого позвали в кабинет, что я счел недобрым предзнаменованием, потому что Валуев всегда, когда хочет уязвить кого-нибудь, то прежде помажет его маслом. Так было и тут. Он принял меня чрезвычайно любезно и прежде всего начал извиняться в том, что приглашение мне было отправлено не в Павловск, отчего и произошло замедление, лишившее его возможности со мной посоветоваться о деле, о котором теперь намерен сообщить мне. Его величество уезжает в Москву, и откладывать нельзя. Дело касается меня. С первого сентября вводятся новые порядки в Управлении по делам печати, вследствие чего должен измениться и состав управления. Поэтому он, министр, хотел узнать:

не угодно ли мне будет лучше удалиться из Совета? При этом государю императору угодно произвести меня в тайные советники, а он, Валуев, будет хлопотать об увеличении мне пенсиона. Далее министр говорил, что при новом устройстве цензуры легко может случиться — этого даже необходимо ожидать, особенно вначале, — что лица, принадлежащие к этому управлению, не раз будут поставлены в положение не слишком для них приятное, будут предметом взысканий и проч. «А этого ни по вашему имени, ни по вашим заслугам с вами нельзя будет допустить. Новая система требует новых деятелей — новое вино вливается в новые мехи. Я говорил о вас государю, выставил ему вас с наилучшей стороны. Впрочем, он вас лично знает и хорошо к вам расположен».

После всех этих и многих других фраз я, разумеется, счел для себя «угодным» принять любезное предложение Валуева. Понятно, что ему хочется от меня избавиться. Я все время открыто высказывался против его проекта, напирал на необходимость расширения прав Совета и ограничения произвола министра. Теперь, когда его проект восторжествовал и он является полновластным хозяином в Совете, мое присутствие там мозолило бы ему глаза. Да и что, в самом деле, делал бы я теперь там? Дело печати проиграно, и я действительно был бы лишен возможности ему честно и независимо служить, как это делал до сих пор.

30. Понедельник. Прибавку к моему пенсиону я, по совести, считаю себя вправе принять и надеюсь, что Валуев в данном случае сдержит свое обещание. В противном случае положение мое будет очень затруднительное, особенно с чином тайного советника, который мне ни на что иное не нужен, как разве только на то, чтобы прибавить мне новое бремя. Может быть, мне следовало бы с большей энергией говорить Валуеву о своих правах. Но, во-первых, мне это всегда бывает как-то противно, а во-вторых, как-то странно и смешно распространяться и настаивать на каком-нибудь праве или справедливости там, где не верят ни в какое право, ни в какую справедливость.

Сентябрь 1. Среда. Получил уведомление, что я произведен в тайные советники.

3. Пятница. Три заседания в Академии: общее, в отделении и в комиссии по Уваровской премии за драматические сочинения.

Я не оберусь поздравлений по случаю пожалования меня в тайные советники. Право, кажется, все хотят и мне самому вбить в голову, что это так важно. Между тем теперь у меня главная забота хоть сколько-нибудь обеспечить существование моей семьи и мое собственное, ибо тайное советничество грозит превратиться в явную несостоятельность.

5. Воскресенье. Вы хотите делать много посредством литературы: постарайтесь же сделать ее уважаемою.

8. Среда. Итак, теперь окончательно выяснилось, что Валуеву нужны не люди, служащие делу, а лица, раболепно исполняющие его волю.

9. Четверг. Заседание в Академии наук. Срезневский привез из Москвы много любопытных рисунков наших древностей, одежд и проч., снятых им в тамошнем музее, патриаршей ризнице и проч. Это хотя не филологическое дело, но все-таки дело и для науки годится.

10. Пятница. Напрасно наши ультраруссофилы так восстают против Запада. Народы Запада много страдали, и страдали потому, что действовали. Мы страдали пассивно, зато ничего и не сделали. Народ погружен в глубокое варварство, интеллигенция развращена и испорчена, правительство бессильно для всякого добра.

12. Воскресенье. Сегодня рассказали мне случай, происшедший несколько недель тому назад, но о котором я, живя на даче, до сих пор не слышал. ‹Вс. С.› Курочкин с двумя ассистентами забрался в квартиру к редактору «Русского слова» ‹Г. Е.› Благосветлову и надавал ему пощечин за какие-то печатные ругательства. [406]

14. Вторник. Валуев действительно постарался как можно выгоднее для меня обставить мое увольнение. Он хотел назначить мне в прибавку к моему пенсиону (1700 руб.) две тысячи пятьсот рублей, что, разумеется, могло бы меня весьма успокоить. Но К. К. Г‹рот› этому воспротивился и назначил всего пенсиона три тысячи. Во всяком случае, спасибо Валуеву. Сыт с этим, разумеется, будешь, но придется испытывать немалые лишения. Так постепенно я подвигаюсь к последнему скорбному лишению — лишению жизни.

16. Четверг. Встретил молодого парня с очевидными признаками серьезной болезни. Он едва передвигал ноги. Он спросил у меня, далеко ли до Николаевского моста, куда он брел, чтобы найти там на барке своего земляка,

который помог бы ему отправиться на родину. Его два раза лечили в Мариинской больнице и оба раза выпроваживали едва начинающего выздоравливать. Когда он на днях опять явился туда совсем больной, доктор ему сказал: «Убирайся прочь! Заморю — тотчас помрешь». Я дал этому бедняку немного денег. Он — рабочий на барках.

21. Вторник. Первая в нынешнем году лекция в Римско-католической академии. Студенты, по обыкновению, встретили меня очень приветливо и радушно и, по обыкновению же, поднесли мне великолепный букет цветов.

В № 246 «С.-П‹етербургских› ведомостей» напечатано первое предостережение министра этой газете за статью о банке Френкеля. Я читал статью. Она вызвана полемикой «Северной почты» и потому уже не должна бы служить поводом к такой крутой мере. Притом она написана очень мягко. Мне кажется это ошибкою и потому уже, что такие крутые меры несовместимы с властью, которая не внушает ни страха, ни уважения, ни доверия к себе. Ведь это не более как вспышки, симптомы произвола, которому эта власть не в состоянии предаваться последовательно и систематически и который, таким образом, ведет лишь к раздражению умов — и ничего более. Но Валуев, кажется, решился идти напролом.[407] Посмотрим, долго ли и как это будет продолжаться. Как, однако, я должен быть ему благодарен за то, что он отставил меня. Конечно, я не мог бы разделять подобных взглядов и мер и немедленно сам подал бы в отставку, отчего очутился бы в очень плохом положении. Да, я должен сознаться — Валуев поступил со мною, что называется, благонамеренно.

22. Среда. Всякий чиновник есть раб своего начальника, и право, нет рабства более жестокого и позорного, чем это рабство. Чиновник еще счастлив, если он глуп: он тогда, пожалуй, даже может гордиться своим рабством. Но если он умен, положение его ужасно. Он должен насиловать перед своим господином свою волю, свое чувство, свои убеждения, и как вообще начальник не любит в подчиненном ума, то этот подчиненный каждую минуту должен трепетать или за свою честь, или за свой жребий. Положение его несколько смягчается, когда начальник сам настолько умен и просвещен, чтобы не слишком бояться ума в других, и чувствует потребность в умных подчиненных, умея извлекать из них пользу. Но и в таком случае бедный чиновник только терпим. Внутренне его боятся и ему не доверяют.

Понимая это, он поставлен в необходимость льстить, делать вид, что он разделяет взгляды и убеждения своего начальника, когда он вовсе их не разделяет и когда его собственные мнения диаметрально противоположны мнениям, которые он, однако, должен чтить как закон. Кто в состоянии эмансипировать этих рабов в таком бюрократическом государстве, как Россия, где, кроме того, произвол начальника не находит нигде обуздания: и общественное мнение и печать ему нипочем.

23. Четверг. В три часа я пошел прогуляться по Невскому проспекту и вдруг на перекрестке у Садовой улицы почувствовал сильное головокружение. Колеблющимся шагом я кое-как перешел улицу и остановился на тротуаре. Это так быстро случилось, но так же быстро и прошло.

Римско-католическая академия хлопочет об увеличении мне жалованья на сумму, урезанную от моего пенсиона.

24. Пятница. Получены из Москвы известия, что Николай Романович Ребиндер умер. Так все реже и реже становится вокруг, все темнее и темнее, пока самому придется погрузиться в вечный мрак.

25. Суббота. Заседание в Академии для присуждения Уваровских премий. За драму — никому не присудили. Было представлено три — оказались одна из рук вон плоха, а две посредственные. Полная премия (1500 р.) присуждена некоему ‹И. И.› Носовичу за словарь западнорусского наречия и кому-то другому за статистико-историческое сочинение об Юго-Западном крае. [408]

27. Понедельник. Ездил в Царское Село к князю П. А. Вяземскому, который нездоров. Он отдал мне стихи свои под названием «Подмосковное», прося отдать их в типографию для напечатания. Ему хочется поднести эти стихи императрице в память ее пребывания в Ильинском.

28. Вторник. Получил премилое письмо из Дублина от ‹В. С.› Печерина.

В том-то и дело, что одного знания недостаточно и что человек должен пополнять себя из других источников.

Вот откуда вышло предостережение «С.-П‹етербургским› ведомостям». ‹Н. А.› Гернгросс, товарищ министра государственных имуществ, вместе с тем состоит и директором Френкелевского банка. Когда в Государственном совете была принята в уставе банка фраза, что и казна может закладывать в нем свои имущества, обеспечивая их всем государственным достоянием, то Гернгросс тотчас дал о том

знать Френкелю, который, в свою очередь, поспешил разгласить об этом по всей Европе. Это страшно взволновало наших капиталистов. Поднялись толки, невыгодные для правительства, и появилась статья в «С.-П‹етербургских› ведомостях». Гернгросс — большой приятель Валуева и тотчас бросился к нему, а Валуев, желая угодить великому князю, суммы которого находятся в банке Френкеля, поспешил разразиться грозою над газетою совершенно невинною. Значит, тут главную роль играли личные интересы, подлая угодливость министра этим интересам, словом, все те гнусности, какими отличается наша администрация. Впрочем, все эти вещи так не новы у нас, что никого и удивлять не могут.

Гончаров говорил мне сегодня, что у них в Совете хаос; председатель ‹М. П.› Щербинин — полное ничтожество; во всем силится господствовать Ф‹укс›. Там вспоминали меня, говоря, что я один мог бы противодействовать.

Быв у князя Вяземского, я откровенно высказал ему, какую огромную ошибку сделал Валуев, приняв на свою личную ответственность дела печати и так обезличив Совет. Он поплатился за это. Как ни странно и ни глупо может казаться в глазах некоторых, а ведь и у нас дурные вещи вызывают дурные последствия. В публике всеобщее негодование против Валуева.

Хотели сделать предостережение «Дню» за его статью о духовной цензуре, да и не сумели сформулировать этого.[409] А Щербинин хвалился в сенате, что они отдадут под суд ‹И. С.› Аксакова!

Октябрь 1. Пятница. Виделся с Ф. И. Тютчевым. Разговор о последних происшествиях по делам печати. Тютчев говорил мне о Каткове, с которым он часто виделся в Москве, откуда приехал несколько дней тому назад. Я не ошибся, полагая, что Катков не выносит своего успеха и величия. Им овладело невыносимое, непомерное высокомерие, и он страшно нетерпим к мнениям других. Как не жалеть об этом? При неотъемлемых его заслугах такие ребяческие замашки!

3. Воскресенье. Меня приглашала г-жа ‹В. Д.› Ладыженская, с которою я недавно познакомился: она желала со мною посоветоваться о воспитании своих детей — двух мальчиков и одной девочки. Как все родители настоящего времени, не исключая и меня самого, она не знает, что с ними делать, — как, где и с чьею помощью их учить.

В таком хаосе находятся наши школы по милости мудрого и попечительного управления последних министров народного просвещения. В гимназиях, например, набивают головы детей бесчисленным множеством предметов, то есть имен и цифр, без всякого смысла и сознания цели, куда это и к чему поведет. Да и теперь еще не решен знаменитый спор: быть ли гимназиям классическими или реальными? А педагогия наша с новыми теориями, взглядами и проч. пришла, наконец, в такое состояние, что решительно всех запутывает, как и чему должно теперь учить. Во всем этом классического один хаос. А между тем материалистическое и нигилистическое направление растет в юношестве и грозит приготовлять из него дурных людей и дурных граждан. Но какое кому до этого дело! Только бедные отцы и матери трепещут за будущность своих детей. Вот это так несомненный факт.

5. *Вторник.* «Колокол» дребезжит, как разбитый кусок железа. Герцен потерял голову от неудачи. Он думал, что поднимет всю Россию идти с ним, или, вернее, за ним, к пересозданию, или, лучше сказать, к разрушению, самой себя, — но не успел в этом и теперь ругается самым непристойным образом, «разводя яд своих чернил слюнями бешеной собаки». Письмо его к государю по случаю кончины наследника — верх непристойности. Оно даже не умно. Тут Герцену не помогает даже остроумие памфлетиста, талантом которого он, бесспорно, одарен. [410] Кого хочет он убеждать грубыми ругательствами? А между тем как мог бы он быть полезен даже теперь, говоря только дело, без яростной злобы, критикуя смело, энергически, но без оскорбительных ругательств, не давая воли своим личным антипатиям и не растворяя слов своих горечью обманутого или оскорбленного самолюбия. Теперь только и видишь, что он бесится, но бешенство не есть доказательство: им никого не убедишь. А для критики правдивой и умной у нас так много материалов, и мы не только не оскудеваем в них, а напротив, каждый день прибавляем новые. Нужны ли ему типы? И в них недостатка нет. Боже мой, да вот один Валуев может послужить предметом для чудесной характеристики высоко мнящего о себе бюрократа, или Головнин для типа... интригана.

8. *Пятница.* Общее заседание в Академии наук, и весьма интересное. Президент предложил вопрос, следует ли Академии отвечать на замечания, сделанные Московским

университетом на проект нового устава Академии и напечатанные в издании «Московского общества истории и древностей»? Самые замечания были прочитаны секретарем. Они такого свойства, что, по моему мнению, на них отвечать не следует. Главное, в чем Московский университет обвиняет Академию, то, что, состоя большею частью из иностранцев, не знающих русского языка, она не распространяет в народе знаний и не приносит никакой пользы государству. Отвечать на это значило бы из вопроса ученого или корпоративного сделать вопрос национальный и поднять страшную бурю, что в настоящее время особенно неудобно. И потому, когда дело дошло до собирания голосов, я объявил себя против ответа и выразил ту мысль, что было бы крайним неприличием, если бы две главные просветительные силы в государстве вышли на публичный бой. Московские замечания не иное что, как ругательства. Академия уронила бы себя, если бы стала отражать такие недостойные удары. Собрали голоса, и значительное большинство оказалось одного со мною мнения, хотя секретарь сильно настаивал на противном: большая часть замечаний падает на объяснительную записку, которую составлял он.

Вечером был у меня А. Г. Тройницкий, третьего дня возвратившийся из-за границы. Разговор о делах печати. Тройницкий, как умный человек, тоже видит большую ошибку в том, что наделано Валуевым, да и вообще в том, что он взял на себя роль единственного судьи и направителя литературы.

11. Понедельник. А. С. Воронов на днях рассказывал мне о подвигах Головнина, как он сыплет государственными деньгами, арендами, чинами на самых ничтожных чиновников. Иные получили по две и по три награды в год или в полтора года. Стендер, уволенный за неспособность от должности попечителя в Казани и живущий теперь за границею, получил чин тайного советника и аренду. ‹Н. И.› Пирогов, тоже находящийся за границею, кроме 4000 руб. содержания, получил аренду. Директор департамента Петерс в течение года получил тайного советника, ленту и аренду, и проч., и проч. Конечно, Пирогов выделяется изо всех по уму и способностям, и кроме того, он достойный человек, но все-таки не следует так бросать государственные деньги.

13. Среда. Читал Сидонскому предисловие к биографии Галича.

15. Пятница. Получил от ‹Н. Ф.› Рождественского некоторые материалы, то есть отрывки лекций, для биографии Галича. Из них для меня важны: его трактат о философии в виде «Письма к Агатону» и отрывок из истории человечества.

16. Суббота. Холера уже, говорят, в Копенгагене. Значит, она приближается к нам. Вальц советовал некоторые предосторожности относительно чистоты и пищи, а затем не думать о ней и заниматься своим делом.

Нет опаснее животного, как литератор или ученый, когда раздражать его самолюбие.

Заседание в Академии наук. Толки, кого избрать в члены нашего отделения... На ‹А. Ф.› Бычкова все согласились единогласно... [411]

Мы ужасно далеко идем в нашей прилепленности к фактам, то есть мы стараемся только добыть факт и вовсе не заботимся о том, чтобы приобрести о нем ясное и точное понятие. Да на какой же черт нам дан ум, как не на то, чтобы судить о факте, добиваться его значения и отношения к другим фактам! «Искра» удачно назвала московского ‹М. Н.› Лонгинова «гробокопателем».

17. Воскресенье. Мрачно, мокро, тепло. Кажется, в милосердной природе идет дело о подготовке к холере.

Странные противоречия могут уживаться в одном и том же человеке. Вот, например, я так мало доверяю всему человеческому — добродетелям, уму, благу, жребию людей, а между тем у меня сильное влечение ко всему великому и прекрасному, постигать которое и видеть можно только в человечестве же. Я также сильно сомневаюсь в конечных целях творения, а между тем верую, и горячо верую, в высочайший творческий и всевидящий царственный разум, во власть и силу выше природы и вселенной — словом, верую в бога в духе христианских понятий. Я не уважаю людей, а готов служить им верою и правдою, хотя уверен, что они на каждом шагу меня обманут и готовы сделать мне всякое зло.

20. Среда. Виделся в Царском Селе с князем Вяземским. Рассказ князя об усиливающемся спиритизме. Чудеса со столами, приводящие в недоумение даже людей рассудительных, — всё, по словам князя.

21. Четверг. Заседание в Академии наук. Странно, как люди, желая показаться важными, толкуют горячо о пустяках со всеми признаками глубины и серьезности. Вышел

бурный спор. В прошедшее заседание было решено выбрать в члены Бычкова. Но Гроту захотелось непременно сказать в протоколе, что Бычков избран для составления словаря. Он же предлагал выбрать еще члена для издания сочинений Ломоносова. Первый воспротивился этому я. Мне казалось неудобным выбирать кого-либо в члены Академии для исполнения такого-то поручения, а не для отдела или категории науки, по которой вообще может быть полезна специальная деятельность избираемого. В проекте нового устава сказано, что мы должны иметь шесть членов: двух для славянской и древнерусской литературы, двух для средней и двух для послепетровской. Так и следует поступать. К моему мнению присоединился Срезневский, который прибавил, что второго члена он требует для славянской литературы, так как сам он занимается ею в связи с древнерусскою. Это мнение мне показалось основательным и согласным с проектом нового устава. Что касается до словаря, то этому делу должны содействовать все. Пекарский с обычным своим педантизмом разделял мнение ‹Я. К.› Грота и, между прочим, сказал: «В науке не нужно никаких убеждений». — «Как же! — возразил я, — вы науку считаете чем-то чужим для человека, а человека машиною, выделывающею ученые игрушки».

Тогда он поправился и отвечал, что разумеет это в отношении лиц увлекающихся. Однако он и тут сам себе противоречил. В занятиях своих он тоже увлекается любовью к выпискам и к коплению материалов. Ну и бог с ним! Пусть он это делает: это тоже вещь полезная. Но зачем же думать, что это и есть единственная полезная вещь в науке, а все прочее вздор.

23. Суббота. Разговор с Тютчевым. От него услышал я, между прочим, что ‹И. С.› Аксаков женится на его дочери фрейлине и что «День» прекращается, потому что Аксаков каждый год получал от него тысяч до трех убытку.[412]

24. Воскресенье. Рассказывают ужасы про симбирские пожары, следствие о которых теперь только кончено. Рассказывают, будто Симбирск сожгли вовсе не поляки, а батальон русских солдат, начальник которого, какой-то полковник, был первым виновником и подстрекателем этого беспримерного злодейства. Побудительною причиною будто бы был грабеж. Правительство, говорят, даже не решается обнародовать о том стыда ради, падающего на всю нацию,

особенно после всего того, что было говорено и писано об участии в поджогах поляков. Правда это или нет?

Вообще злодейства всякого рода — кражи, грабежи, убийства — за последнее время усилились у нас до неслыханной степени. Беспрестанно читаешь о них в газетах, а сколько еще таких, о которых и в газетах не пишут. Все приписывают это безнаказанности. Воры и грабители беспрестанно выпускаются на поруки или оставляются только в сильном подозрении. В полицейской газете очень часто читаем, что иные преступники попадаются в третий, четвертый и даже в пятый раз и всякий раз опять выпускаются на волю. Ссылаемые в Сибирь находят возможность бежать, и это тоже служит немалым поощрением к новым преступлениям.

25. Понедельник. Вчера были похороны дочери Н. Р. Ребиндера, по мужу Саломки. Она умерла, не зная о смерти отца. Между тем вот странный случай. В тот самый день, как муж ее получил из Москвы телеграмму о смерти Николая Романовича, она немного заснула и вдруг, проснувшись, сказала своей тетке: «Боже мой, какой страшный сон я видела. Я видела отца в гробу». Разумеется, впечатление, возбужденное этим сном, старались ослабить, так как доктор решительно запретил передавать ей печальную весть. Бедная оставила двух крошечных детей без всякого состояния.

27. Среда. Был у Гончарова, с которым давно не виделся. Он сильно жалуется на беспорядок и великие неудобства нынешнего Совета по делам печати. Председательствующий Щербинин, человек ничтожный, силится всем заправлять, а действительный заправитель всего — Ф‹укс›, агент и соглядатай Валуева.

28. Четверг. «Приятные рассказы» о двух скандалах. В Исаакиевском соборе в алтаре подрались поп с протодиаконом. В Александринском театре по окончании представления два кавалергардские офицера, ради удальства, так толкнули одну даму в креслах, что она только креслами была спасена от падения. С нею был какой-то мужчина. Он вступился за нее и начал крупное объяснение с офицерами, которые, однако, его же осмеяли. Но главное тут в том, что наша публика, обыкновенно столь кроткая и вообще терпеливая, на этот раз всполошилась. Она окружила буянов и потребовала полицию. Явился полицеймейстер или частный пристав, который, по требованию публики, и должен был

составить акт. Человек сто свидетелей подписали этот акт, и офицеры были арестованы. Дальнейший ход дела еще не известен.

29. Пятница. Обедал у князя ‹П. А.› Вяземского в Царском Селе. Мы отправились туда вместе с Ф. И. Тютчевым. Там видел я и дочь его, невесту Аксакова, Анну Федоровну. Она немолода, но, говорят, очень умна. Вечером пришла вторая дочь Федора Ивановича ‹Дарья Федоровна›, с которою я познакомился на пароходе (кажется, в 1860 году), когда ехал в Штеттин. Это миловидная и очень приятная особа, с которою, я помню, мы хорошо пробеседовали несколько часов плавания, пока она не подверглась морской болезни. Сегодня разговор у князя вертелся на современных происшествиях: как поп и диакон подрались в церкви; как офицеры чуть не побили одну даму в театре; как на театре у нас представляют черт знает какие безобразия; как какого-то ‹П. А.› Бибикова отдали под суд за книгу, в которой он доказывает превосходство полигамии над единобрачием, — всё материи важные и привлекательные.[413] Да и о чем же говорить в наше время? После обеда Тютчев отправился к своим дочерям, а я еще посидел немного и побрел на железную дорогу. Но я дурно рассчитал время, и мне пришлось битых три часа провести в ресторане железнодорожной станции в приятном обществе двух маркеров, которые забавлялись, катая шары на бильярде. Впрочем, в зале было чисто, и мне подали стакан очень порядочного чаю. Около одиннадцати подъехал Тютчев, и мы вместе отправились обратно в Петербург, где я еще застал у себя ‹А. С.› Воронова, ‹О. Ф.› Миллера и других.

30. Суббота. Вчера у князя Вяземского мне сказали, что в Царском Селе один человек умер от холеры.

Весь день работал над программою академических занятий, которую намерен представить в отделение.

31. Воскресенье. Был на праздновании столетия «Вольно-экономического общества». Праздник происходил в зале Дворянского собрания. Зала была убрана просто, но хорошо. Собрание многочисленное. Несколько депутаций принесли свои поздравления от разных учреждений. Речей их не было слышно. Все обошлось очень прилично.[414]

Ноябрь 1. Понедельник. Письмо и фотографическая карточка от Печерина из Дублина. Сколько воспоминаний соединяется с этим милым лицом, которое, судя по портрету,

мало изменилось! Та же мягкость в чертах, то же добродушие, то же умное, оригинальное выражение во всем складе лица. А в письме его сколько наблюдательности, ума и знания, приобретенного наукою и опытом! О России он говорит с любовью, хотя не видно, чтобы он желал возвратиться в нее. Да и... но об этом не хочется говорить даже с самим собою.

5. Пятница. Общее собрание в Академии ‹наук›. Президент предложил уничтожить Готторпский глобус, приобретенный Петром I в 1713 году, так как этот глобус в пожаре — 1748, кажется, года — так обгорел, что от него остался один остов, и он занимает только напрасно большое место. Это тот самый, внутри которого могут поместиться двенадцать человек. Я заметил, что не лучше ли было бы его сохранить, как почтенную историческую развалину? Каков бы ни был теперь этот глобус, а ведь с ним все-таки связано имя Петра, и потому хорошо ли будет предать его уничтожению? Другие были того же мнения. Положено нарядить комиссию для обследования этого дела. При этом Гельмерсен полагал, что глобус можно бы поправить и употребить для географических целей. [415]

Потом ‹Ф.› Рупрехт представил свой ответ на замечания Московского университета будто бы от себя, но с тем, чтобы напечатать его в академических «Записках». Я сильно против этого протестовал. Это было бы противоречием принятому уже Академией намерению не отвечать на московские и ни на какие нападки. Противоречие это выразится в том, если мы напечатаем этот ответ в наших «Записках». Пусть г. Рупрехт печатает свою статью где захочет, только не в «Записках» Академии и не в академической газете. Президент и секретарь защищали статью и печатание ее в «Записках», но слабо. Огромное большинство решило не принимать ее, поэтому она не была и читана.

6. Суббота. Вечером у Тройницкого. Разговор о судьбах печати. Тройницкий подтвердил, что Валуев очень ко мне не благоволит — во-первых, как он полагает, за мои с ним столкновения во время моего редакторства, особенно за мой протест по поводу принудительной подписки на газету — подписки, которую задумал было министр и которую я считал чрезвычайно неблаговидною и вредною. Во-вторых, ему не нравилось мое поведение в Совете по делам печати и то, что я все время стоял за расширение прав этого Совета и за ограничение власти министра. Тройницкий еще

думает, что мне сильно и более всех гадил Ф‹укс›, гадил же он мне из мщения за то, что я не хотел печатать в газете статей его и его приятелей и не позволял ему распоряжаться этим помимо меня.

8. *Понедельник.* Очевидное дело, что Валуев надеется с помощью Ф‹укса› подавить все вредное в нашей печати. В добрый час! Только мне кажется, что Валуев взялся за дело, превосходящее его силы и способности, да и вообще силы и способности одного чиновника. С газетами, например такими, как «С.-П‹етербургские› ведомости» и «Голос», он может еще кое-как управиться. Но как справится он с «Московскими ведомостями» и с «Днем», если те захотят умно действовать, то есть сколько-нибудь осторожно. Тут придется, как уже и приходилось, спускать одним то, за что с других будут взыскивать, — а это на какую стать? Тут необходимы две вещи. Во-первых, если правительство признало нашу печать уже настолько созревшею, что ее можно было бы освободить из-под опеки предварительной цензуры, то необходимым и неизбежным следствием этого является и то, чтобы действительно предоставить ей бо́льшую свободу. Во-вторых, следовало бы образовать такой совет в министерстве, который пользовался бы и уважением в обществе, а не такой, как ныне, — и предоставить ему известную долю самостоятельности и возложить на него часть ответственности, хоть так, например, как советовал в своей записке Корф. Это была бы сила, опирающаяся на общественное мнение и изъятая от упрека в бюрократическом произволе. Но у нас хотели вполне последовать примеру французских законов о печати. Там, однако, другое дело. Там вообще в управлении существует определенная система, и ее держатся последовательно. Она не колеблется беспрестанно, как у нас, и самые чиновники, заведующие этим, далеко превосходят наших умом и тактом. Притом, как ни жалуется французская печать на деспотизм администрации, а все-таки ей предоставлено больше свободы, чем нашей. Там администрация больше всего имеет в виду безопасность и утверждение династического начала — в чем нам нет надобности, — и все, что не касается этого начала и не угрожает императорскому правительству, то и не преследуется. У нас же все возбуждает опасения. В таком случае уж, право, лучше бы еще на время оставить предупредительную цензуру. Но если уже сочли ее отжившею — что и справедливо, — то надо было как можно больше позабо-

титься о том, чтобы дело печати находилось в руках более надежных, чем эти чиновники, у которых ни на что нет другой точки зрения, кроме канцелярской. Главное, Совет и Совет!

10. Среда. Не размышлять, не задумываться над нынешним состоянием России может только одно непростительное легкомыслие. Это положение вещей не может остаться без важных последствий, хотя сущности этих последствий никто предвидеть не может...

11. Четверг. На днях случилось мне беседовать с полицеймейстером нашей части города, Банашом. Он рассказывает удивительные вещи про воров, мошенников, грабителей, которыми кишмя кишит столица. Они безбоязненно и открыто совершают свои подвиги, уверенные в своей безнаказанности. Генерал-губернатор и обер-полицеймейстер отличаются гуманностью, какой не найдешь ни в одном цивилизованном обществе. Везде принято за правило охранять честных граждан от насилия и мошенничества негодяев, а тут первые беззащитны, а последние безнаказанны. Низшая полиция ничего не в состоянии сделать, когда наверху стоящие лица явно потакают беззаконию. Да отчего же? По слабости или по какой-нибудь системе? Между прочим, мой собеседник рассказал мне одну характеристическую черту времени. Он своими ушами слышал, как несколько уличных грабителей, разговаривая между собою, восхваляли власть, которая отменила плети. «Теперь-то и житье нам, — говорил один. — Проклятые плети маленько страшноваты были, а ноне что? сошлют в Сибирь? Эк, велика беда! Разве там не живут люди? Да подчас и бежать можно». Банаш уверяет, что таков общий взгляд нынешних воров и разбойников.

12. Пятница. Около «Русского слова» группируются отчаянные радикалы, нигилисты, отвергающие все законы нравственные, эстетические и религиозные во имя прогресса и социального благоденствия человеческого рода. И всего-то нелепее, что это не иное что, как подражание французским революционерам 1790 года. Известно, что коноводы французской революции, — если не ошибаюсь, Дантон, — требовали декретом приостановить действие нравственных законов и законов права. В то же время, однако, Робеспьер ставил себе в заслугу свое бескорыстие и отсутствие в себе всяких развратных поползновений, и другие тоже хвалились патриотическими

чувствами, обрекая на смерть целые тысячи. Сам Марат выставлял себя другом угнетенных и страждущих меньших братий. У них, значит, были же свои хоть какие-нибудь нравственные законы, хотя, конечно, можно усомниться в том, чтобы законы, обрекающие на гибель целые тысячи невинных людей во имя блага других сотен, были хорошие законы.

В № 245 «Северной почты» напечатано первое предостережение «Современнику» за «косвенное порицание начал собственности» (в августовской книжке, стр. 308—321) и за прямое порицание тех же начал (в сентябрьской книжке, стр. 93—96), за возбуждение против высших и имущественных классов, за оскорбление начал брачного союза. Хотя я и открыто порицаю нынешнее положение закона о печати, тем не менее в настоящем случае я не могу не подумать: поделом вору мука! Если такие журналы, как «Современник» и «Русское слово», нарвутся и на третье предостережение с его последствиями, то и тогда вряд ли им можно будет сочувствовать. Я просматривал страницы, на которые указывает «Северная почта»: тут действительно содержатся вещи непозволительные, если не допустить у нас безусловной свободы печати. [416]

13. Суббота. Кто внимательно наблюдал за ходом дел человеческих, тот знает, что в жизни обществ бывают эпохи, когда дела так усложняются и запутываются, что распутать их обыкновенным образом нет никакой возможности, а приходится рассекать их ударом меча. Мы, кажется, находимся в таком положении. Грибоедов сказал в своей комедии умную вещь устами пустого человека: «желудок больше не варит» и «тут радикальные потребны средства». [417] Неизбежность грозного переворота чувствуется в воздухе: убеждение в этом становится сильнее и повсеместнее. Мы стоим в преддверии анархии — да она уже и началась, и не та тайная анархия, которая в России давно скрывалась в произволе властей и чиновничества под личиною внешнего порядка, а в явном пренебрежении к закону, порядку и уже к самому правительству, которого не боятся и не уважают, — во всеобщей распущенности нравов, в отсутствии безопасности лиц и собственности, словом, во всем этом брожении умственном, нравственном и административном, в этом очевидном хаосе, охватывающем все отправления нашей гражданственности.

Из всех господств самое страшное — господство черни. Господство личного деспотизма связывает людей и не дает им свободно дышать; господство аристократии погружает их в тупую апатию; господство черни без церемонии грабит и режет их.

Беда, если это демократизирующее начало, которое так пылко проповедуется у нас мальчиками-писунами, успеет разнуздать народ еще полудикий, пьяный, лишенный нравственного и религиозного образования. Каких бед не в состоянии он наделать именем царя, которому нельзя же являться везде и укрощать его! А другого он никого не послушает.

Беда, когда какая-нибудь идея попадает в тупые и неискусные руки. Эти руки с добрым намерением постараются своими крайностями уничтожить в ней все хорошее, а дурное так раздуть, что оно и у хорошего отнимет всю его силу и влияние и представит его чудовищным.

15. Понедельник. Известно, что никто столько не вредит успеху истины и добра, как неразумные и ярые их друзья и поборники. Своими крайностями они убивают в умах всякое к ним доверие, а злу придают характер законной охранительной силы.

Вечер у Литке. Там среди множества генеральских эполет и звездоносных фраков встретил Тройницкого, Княжевича, Перевощикова и ‹Н. П.› Семенова, обер-прокурора сената, с которыми и проговорил весь вечер.

Страшное и гнусное злодейство. Студент Медицинской академии женился на молодой и милой девушке, но вскоре начал ее ревновать и даже задумал ее убить, поразив ее толстою булавкою во время сна. Но это ему не удалось: она проснулась в ту минуту, когда он готовился вонзить ей булавку в шею. Произошла страшная сцена, и молодая женщина ушла к отцу. Спустя некоторое время студент прикинулся раскаивающимся. Он явился к отцу и матери своей жены и начал умолять последнюю о прощении. Последняя после некоторого сопротивления, наконец, уступила и когда в знак примирения согласилась его поцеловать, он откусил ей нос. Несчастная молодая женщина теперь в клинике, и неизвестно, что с нею будет. Каковы у нас нравы!

17. Среда. На днях знакомый мне медик, доктор ‹А. П.› Каталинский, отравился из любви к одной красавице, актрисе французского театра, имя которой, кажется,

Стелла-Колас. Она обещала ему выйти за него замуж, а потом изменила.

Вечер в театре. Шла опера «Сафо».[418] Тут превосходна Барбо. Особенно игра ее в высшей степени художественна.

18. *Четверг.* Говорят, что Каталинский не отравился, а умер с радости, получив от своей возлюбленной согласие на брак с ним. Вот как удобно изучать современные события! Одно и то же происшествие рассказывается на пять, на десять совершенно различных ладов. Вот, например, и об офицерах, оскорбивших даму в театре, — иные говорят, что публика энергически и честно вступилась за обиженную, поколотила негодяев и потребовала от полицейского чиновника, чтобы тут же был составлен акт; другие рассказывают, что публика, напротив, вела себя очень тихо, никакого битья и составления акта не было и что все ограничилось одним скромным заявлением, а когда потребовалось идти в полицию, чтобы подкрепить заявление свидетельством, то все разбрелись, исключая двух студентов, которые и составили всю публику.

22. *Понедельник.* В нашем обществе издерживается ужасное множество слов. Говорят много и бестолково или говорят остроумно, но нисколько не углубляясь в дело: это наша страсть и наше бедствие. Оттого всякое дело у нас начинается словами и испаряется в словах. Оно и остается только при своем начале, а чаще всего при одном проекте. Точных сведений мы ни о чем не имеем, да и не очень заботимся иметь их. Между тем приговоры о людях и вещах произносятся самые решительные и безапелляционные.

Вечером был ‹Ф. В.› Чижов, на несколько дней приехавший из Москвы. Мы обнялись, как старые друзья, каковые и есть на самом деле. Он сильно поседел. Рассказ о Ребиндере, который перед смертью совсем разорился необдуманными спекуляциями. По словам Чижова, его, бедного, терзало также честолюбие. Ему вообразилось, что он непременно должен быть министром, и верил, что провидение предназначило ему играть важную политическую роль. В то же время он хотел жениться, и две невесты его отвергли.

Вечером был также ‹И. К.› Гебгардт. Он, бедный, совсем превратился в старую бабу-сплетницу. Он только и знает, что рассказывает разные слухи и на все и на всех брюзжит.

24. Среда. Бибиков был судим в уголовной палате за свою книгу: «Критические этюды» и приговорен к шестидневному тюремному заключению. Большинство судей однако, находило, что его нельзя осудить за те вины, которые формулированы министерством внутренних дел, и только по настоянию прокурора и состоялся приговор.

26. Пятница. Газеты извещают, что генерал-адъютант ‹Н. Н.› Анненков, бывший киевский генерал-губернатор, умер.

На днях доктор Вальц говорил, что холерных случаев, и притом смертных, уже было пять.

27. Суббота. Демократизм должен состоять не в том, чтобы каждого человека сделать подобным другому, — такого смешения и однообразия не допускает природа, — а в том, чтобы каждому предоставить возможность быть или самостоятельным, или повиноваться, как это ему лучше или удобнее. Из того, что некоторым не хочется повиноваться, еще не следует, что они и не должны повиноваться.

30. Вторник. Виделся с Чижовым и Поленовым. Поленов такой же добряк, каким был всегда. Чижов попрежнему считает себя способным обмануть целый свет. Между тем он истинно честный человек и на деле никого не обманет и неспособен обмануть.

Декабрь 1. Среда. Вечер у * ‹?›. Мне как-то тяжело бывает в большом сборище людей. Слышать то же бесконечное разногласие мнений, те же нелепые толки, те же вести о происшествиях, которые никогда не случались или случались вовсе не так, и проч. Тут надо или молчать, или впадать самому в мутный поток тех же пустых речей, а наблюдать всех этих передовых личностей, право, не стоит труда. Да я и знаю их уже очень хорошо; всё непобедимые самолюбия, претендующие на исключительное первенство. Одно лицо, однако, тут было любопытное — старый мой знакомый ‹А. П.› Стороженко, служивший два года при ‹М. Н.› Муравьеве и исполнявший его разные поручения. Он закрывал монастыри, производил следствия и проч. Это плутоватый малороссиянин первой руки.

Он рассказывал много интересных вещей, которые были бы еще интереснее, если бы ему можно было верить во всем. Но он рассказывает умно и замысловато, с малороссийским юмором.

2. Четверг. Опять на большом сборище — на обеде у вице-президента Медицинской академии Глебова. Он

праздновал день рождения своего четырехлетнего сына, которого и он и жена его любят до безумия. Тут были все медицинские знаменитости и профессора: Дубовицкий, Якубович, Цыцурин, ‹С. П.› Боткин и т. д. Все это общество очень ласково приняло меня. С Якубовичем я говорил по-малороссийски. Это в обращении, что называется, добрый малый, немножко с забубенными замашками.

3. Пятница. Вечером происходило у меня чтение. Гончаров читал драму графа ‹А. К.› Толстого «Смерть Иоанна Грозного», о которой много говорили в публике. Пьеса действительно замечательная по верности характеров Грозного и Бориса Годунова и вообще по искусной обработке. [419] Слушать собралось довольно много гостей, особенно дам. Между последними сияла А. С. С‹тарынкевич›, которую я прозвал королевой Анной за ее величественный рост и эффектную красоту. Приглашал я и моих академических товарищей, в том числе и Пекарского. Что касается последнего, то я, впрочем, был почти уверен, что он не приедет. Он не признает поэзии, считая ее слишком ничтожною для своего академического ума.

4. Суббота. В № 263 «Северной почты» напечатано первое предостережение «Голосу» — вероятно, за его антинациональные выходки. Так, например, он отзывался с каким-то глумлением о делах наших в Средней Азии по случаю занятия Ташкента, что особенно теперь некстати по причине всяческих случаев, распространяемых в английских газетах насчет наших завоевательных видов и проч. У «Голоса», кажется, одна забота — во всем противоречить «Московским ведомостям», с которыми он в страшной вражде, и чтобы насолить этой газете, чуть ли не готов доказывать всякие нелепости, даже в подрыв нашим интересам. Этим он думает дать себе особенный цвет и физиономию. [420]

Замечательные речи председателя царскосельского земского собрания — Платонова и члена — графа Шувалова, произнесенные в земском собрании и напечатанные в 319-м № «С.-П‹етербургских› ведомостей». Дело идет о том, чтобы просить правительство об установлении общей земской управы для рассмотрения общих государственных экономических дел.

Вечер у ‹В. К.› Ржевского. Тут собираются обыкновенно все приверженцы дворянских интересов. Между такими приверженцами заметнее всех Скарятин, издатель «Вести»,

дворянской газеты. Во всяком случае он весьма неглупый и даже даровитый человек. Он хорошо говорит и готовит себя в ораторы будущей земской думы — если таковая будет. Тут был также и известный ‹П. И.› Мельников, плутоватое личико которого выглядывало из-за густых рыжеватых бакенбард. Он выбрасывал из своего рта множество разных анекдотов и фраз бойкого, но не совсем правдивого свойства. Шиль, отставной профессор Гельсингфорсского университета, откуда вытеснили его шведы, — политико-эконом, неглупый, но, кажется, высоко думающий о своих умственных и ученых достоинствах. После явился и малютка Ф‹укс›, обратившийся ко мне с самым дружеским пожатием. С ним обращаются не без некоторой осторожности, так как считают его за ‹шпиона› у Валуева. Он теперь держит себя с известным величием, как подобает члену министерского совета. Кабинет Ржевского слишком наполнился, и мне стало неловко в этом сборище людей, которые все претендуют на важное значение в обществе, чрезвычайно остроумно судят о всех современных вопросах, не щадя никого и ничего, и стараются выказать столько ума и знания, что мне, маленькому и темненькому человечку, тут уже вовсе нечего было делать, и я поспешил себя вынести из этой для меня слишком блестящей среды.

Поутру заезжал к Варваре Дмитриевне Ладыженской. Тут познакомился с ее двоюродным братом, флигель-адъютантом ‹Н. В.› Воейковым, который почему-то знает, что я был некогда знаком с его дедом, П. С. Молчановым, состоявшим статс-секретарем при Александре I. Действительно, когда я был студентом и жил у г-жи Штерич, он часто бывал у нее, иногда сажал меня возле себя и подолгу со мной говорил о Малороссии, которую очень любил. Он умер во время холеры 1831 года одною из первых жертв ее. Во время моего знакомства он был уже слеп.

5. *Воскресенье.* В сегодняшнем № 266 «Северной почты» напечатано второе предостережение «Современнику».[421]

7. *Вторник.* Обедал в клубе. Возобновил знакомство с бароном ‹А. И.› Дельвигом, с которым лет тридцать тому назад познакомился у Плетнева, а также знакомство с ‹М. П.› Боткиным, братом литератора ‹В. П.› Боткина, что в Москве.

11. *Суббота.* Заседание в Академии наук. Срезневский сегодня читал нам свою статью о платье Всеволода-Габриила, князя Новгородского в XIII в. и причисленного

к лику святых. Он отыскал в московском Чудовом монастыре истертый, полинявший и попорченный рисунок, на котором будто бы изображен этот князь. Главный вопрос состоял в том, точно ли рисунок изображает этого, а не другого князя. Видно, что он перебрал несколько летописей и много трудился. Никаких соображений он более не делает и что из этого следует — не говорит.

14. Вторник. Вот что сделал Головнин в отмщение «Московским ведомостям». «Московские ведомости» принадлежат университету, и Катков с Леонтьевым содержат их на аренде вместе с типографией за 73 тысячи рублей. «С.-П‹етербургские› ведомости» Академия наук также отдает в аренду ‹В. Ф.› Коршу за 15 тысяч. Чтобы оттиснуть Каткова от «Московских ведомостей», Головнин предлагает министру внутренних дел взять эту газету от университета, а для большей благовидности также и «С.-П‹етербургские› ведомости» от Академии, и передать их в ведомство Главного управления по делам печати, с тем чтобы оно от себя отдавало их в аренду «благонадежным людям». Повод к этому беззаконию он находит в том, что арендные деньги поступают в государственное казначейство и оттуда идут на содержание упомянутых заведений. Но арендные деньги могут уменьшиться, а то и совсем прекратиться, если правительство наложит свою руку на эти газеты. С тем вместе уменьшатся и средства обеспечения этих заведений, ибо государственному казначейству не из чего будет выплачивать недостающих денег. Заведения эти таким образом, говорит Головнин, будут потрясены в самом основании. Для предупреждения этого-то зла и спасения Московского университета и Академии наук он и предлагает упомянутую меру, полагая, что арендные деньги в ведении Главного управления по делам печати постоянно будут в той же цифре, как ныне. При этом он советует Валуеву «С.-П‹етербургские› ведомости» слить с «Северной почтой», что, по его мнению, должно увеличить доход последней. Кроме того, он думает, что Главное управление, получив в свое заведование обе газеты, будет действовать вообще на прессу. Все это Головнин предлагал Валуеву еще год тому назад, в декабре 1864 года, но почему-то последний оставил тогда бумагу без движения. Теперь Головнин отнесся к Валуеву вторично, а этот спрашивает мнения у президента Академии. Ненадежность арендного дохода, получаемого университетом и Академией, Головнин основывает на возможно-

сти приостановки или запрещения арендуемых газет по новым законам о печати. Год тому назад законы эти еще не прошли, но Головнин знал, что они будут установлены.

Сегодня я читал бумаги Головнина в комитете Академии, куда они поступили от президента. Очень жаль, что президент сам хочет на них отвечать, без совещания с членами Академии, и ответ его без сомнения будет уклончивый. Это я вижу уже из слов секретаря.

Головнин забыл, однако, одно, что с поступлением газет в ведомство и под дирекцию Главного управления по делам печати число их подписчиков должно непременно уменьшиться, их значение от казенного влияния потеряется, следовательно, и арендная плата понизится, и казна потерпит убыток.

15. Среда. Сильно нужно бороться с внутренними тревогами, возбуждаемыми то тягостями и бестолковщиною времени, то неурядицею собственного духа и материальными недостатками. Однако надобно бороться, надобно быть человеком и мужем. Главное, не должно рассыпаться в мелочах, опасениях, умозрениях и т. п., а держаться крепче центральных убеждений и начал.

18. Суббота. Прочитал записки адмирала Шишкова о времени управления им министерством народного просвещения. Три задачи почти исключительно составляли заботы Шишкова в это время: а) нападение на книгу Госнера, напечатанную в Петербурге на немецком языке и переведенную Брискорном: «Geist des Lebens und der Lehre Jesus Christi in Betrachtungen und Bemerkungen über das ganze Neue Testament. Erster Band. Matheus und Markus»; * b) принятие строгих цензурных мер против безбожных и злонамеренных книг; с) закрытие библейских обществ и осуждение Попова за поправки русского перевода Госнеровой книги. Госнер был выслан из России, а книга его сожжена по решению Комитета министров. По этим вопросам Шишков беспрестанно атакует государя Александра I. Доклады его полны самых страшных обвинений, мыслей о необходимости принятия суровейших репрессивных мер, нападок на современное движение, зловещих предсказаний и смешных толкований на самые невинные вещи в печати. Он беспрестанно

* «Дух жизни и учения Иисуса Христа в наблюдениях и замечаниях на Новый завет. Том первый. Матфей и Марк» *(нем.)*. — *Ред.*

вопиет о разрушении тронов и алтарей. Замечательно, что Александр терпеливо выслушивал все напыщенные доклады своего министра, не возражал ему, как бы соглашаясь с ним, — и прятал их под сукно. «Старик с лицом печальным» приходил в отчаяние, видя, что государь не принимает никаких мер к спасению тронов и алтарей и к преследованию книг и книжонок, на которые обращались громы его мрачных докладов. Вот черта характера Александра. Шишков сильно настаивал на осуждении Попова, исправлявшего перевод книги Госнера. Дело рассматривалось в сенате. Там явился сильный защитник Попова, сенатор ‹И. М.› Муравьев-Апостол. Шишков, по обыкновению, донес об этом государю, и, как всегда, государь выслушал его благосклонно, а между тем тайком позвал к себе Муравьева и благодарил за защиту Попова.

Из записок Шишкова видно вообще, что этот государственный муж был сердца честного, но ума весьма ограниченного, и немудрено, что Александр, стоявший неизмеримо выше его по уму, пропускал мимо ушей его иеремиады о погибели тронов и алтарей. Он лучше его понимал, что репрессивными мерами нельзя остановить движения времени.

Шишков считался стилистом в государственной литературе своего времени. Между тем все его бумаги отличаются только надутым высокопарным витийством и похожи на хриеобразные сочинения студентов класса риторики.

Интересны рассказы о некоем Есауле и Фотии. Последний, по словам Шишкова, был одним из главных, если не самым главным виновником удаления князя Голицына от министерства народного просвещения. Фотий проклял князя за его будто бы покровительство развращению умов (в доме княгини Орловой) и донес о том государю, который потребовал его к себе. После этой тайной беседы государя Голицын пал. [422]

19. Воскресенье. Сначала, в молодости, жизнь наша нам кажется чрезвычайно важною для других, потом она кажется важною исключительно для нас самих, а в заключение мы убеждаемся, что она не имеет решительно никакой важности ни по отношению к самой себе, ни по отношению к другим, ни к нам самим.

Тютчев, Ф. И., рассказывал мне о своем разговоре с Валуевым о делах печати. Он откровенно объяснял министру, что репрессивная система, принятая им, ни к чему хорошему не приведет. Тютчев с негодованием рассказывал мне

также о Совете, от участия в делах которого он решительно отказался. То же подтверждает и Гончаров. Все это нисколько не удивительно. Министр сам смотрит на дело как чиновник, а не как государственный человек и, кажется, не имеет понятия о значении мысли, которую думает подавить канцелярскою рутиною и канцелярскими мерами. На днях был напечатан в «Северной почте» циркуляр к остзейским цензорам, замечательный по необыкновенной своей безграмотности и такой путанице понятий, что напрасно вы думали бы узнать, чего хочет Главное управление печати. [423]

От Тютчева также слышал, что на днях происходила сильная борьба между защитниками Польши и лицами, поддерживающими интересы России. Дело шло о том, дозволить или не дозволить католикам и полякам приобретать недвижимые имущества в западных губерниях? — вопрос, от решения которого зависит, кому первенствовать в этих губерниях: нам или полякам? Валуев усердно старался, чтобы вопрос этот был решен в пользу польско-католического элемента. И странное дело, большинство в Совете, собранном нарочно для обсуждения этого вопроса, было в пользу того же элемента. Но государь утвердил мнение меньшинства, объявив, что он твердо будет стоять на стороне русских, а не польских интересов.

Годичное заседание в Литературном фонде. Нас сошлось всего человек десять, считая в том числе и членов комитета. Общество, очевидно, тает. Публика стала к нему совершенно равнодушною. Это отчасти, может быть, и потому, что первые члены комитета с помощью Чернышевского, Лаврова и т. д. дали обществу характер партии.

Обедал у дяди Марка. Бесконечные толки о делах печати и о Польше.

23. Четверг. Вечер просидел у меня Гончаров. Он с крайним огорчением говорил о своем невыносимом положении в Совете по делам печати. Министр смотрит на вопросы мысли и печати как полицейский чиновни председатель Совета Щербинин есть ничтожнейшее существо, готовое подчиниться всякому чужому влиянию, кроме честного и умного, а всему дают направление Ф‹укс› и делопроизводитель. Они доносят Валуеву о словах и мнениях членов и предрасполагают его к известным решениям, настраивая его в то же время против лиц, которые им почему-нибудь неугодны. Выходит, что дела цензуры, пожалуй, никогда

еще не были в таких дурных, то есть невежественных и враждебных мысли, руках.

24. Пятница. На днях напечатано было в «Северной почте» решение синода о проекте ‹Н. А.› Сергиевского насчет превращения в университетах кафедры богословия в апологетику против разных антирелигиозных мнений. синод отклонил это предложение под предлогом, что в университетах не открыты еще кафедры ни канонического права, ни церковной истории и преподавание богословия не установилось в размерах, предполагаемых новым университетским уставом, а потому теперь нельзя и вводить в него ничего нового. Синод поступил очень благоразумно, не согласясь с проектом Сергиевского.

На днях в университете произошла история. Студенты с шумом и гамом потребовали от профессора физики ‹Р. Э.› Л‹енца›, сына покойного Э. Х. Л‹енца›, чтобы он оставил свою кафедру, потому что он вовсе не способен к преподаванию, а когда инспектор явился их укрощать, то они его прогнали. Действительно говорят, Л‹енц› плохой преподаватель, а что касается до инспектора ‹Н. В.› О‹зерецкого›, который еще при мне был определен, то это плохой инспектор. Итак, мудрено ли, что юноши бунтуют...

Из старых моих университетских товарищей Ивану Карловичу Гебгардту приключился род удара, а Чивилев сломал ногу. Я сегодня навещал обоих. Чивилев еще в постели. Но двор окружил его таким уходом и попечениями, что не выздороветь его ноге нет возможности. Что же касается дедушки Ивана, то ему это третье предостережение. Я нашел его, впрочем, вне опасности и довольно спокойным, как и подобает человеку, на котором не лежит никаких особенных обязанностей.

25. Суббота. Человек не бывает положительно ни зол, ни добр. Тем и другим он бывает попеременно от влияния окружающей его среды и большей или меньшей силы влечений к чувственным наслаждениям. Часто ему кажется, что он образовал себе известный характер в том или другом направлении, тогда как все в нем есть дело случайностей, склоняющих его то в ту, то в другую сторону. И большею частью бывает так, что он не заслуживает ни решительного одобрения за свои добродетели, ни решительного порицания за свои пороки.

26. Воскресенье. Встретился сегодня у Гончарова с Ф‹уксом›. Весьма дружеское пожатие руки Он принес

с собою Гончарову книгу, которую Управление по делам печати подвергло секвестру. Это перевод сочинения о конституции в применении к России. Перевели ее и издали <К. Д.> Кавелин и <Б. И.> Утин. Книга, как говорит Ф<укс>, могла бы еще пройти, но предисловие переводчиков, направленное прямо к России, оказалось невозможным. Так как книгу велено отобрать, то она будет библиографическою редкостью, и ее нельзя будет прочесть. Ф<укс> обещал мне ее доставить. [424]

29. Среда. Современная наука отвергает все верования, считая их иллюзиями. Но она ставит на место их другое верование — идею прогресса. Но разве это тоже не иллюзия?

Обедал у Анны Михайловны Раевской вместе с В. М. Княжевичем и Казначеевым. До обеда разбирал с хозяйкой черновые бумаги Ломоносова, которые хранятся у одного из потомков его — Орлова. Много бумаг написаны собственною рукою Ломоносова: почти все они касаются академических дел. Ими пользовался уже Билярский для составления своего сборника материалов для биографии Ломоносова. [425]

31. Пятница. Умер *** <Плетнев> в Париже. Я сейчас услышал об этом от Грота, с которым встретился на Невском проспекте. Около тридцати пяти лет был я знаком с *** <Плетневым>. Часто знакомство наше, особенно вначале, переходило в тесную, повидимому, дружбу. Потом дружба эта охладевала и опять восстановлялась, но в последние годы она окончательно остановилась на точке замерзания. Причиною этой изменчивости отношений были подозрения, возбуждаемые во мне поступками *** <Плетнева>, не совсем согласовавшимися с моим прямым и открытым поведением. В них видел я что-то неискреннее, и два раза он действительно нанес мне большой вред. В первый раз ему удалось меня с ним примирить, и я опять стал ему верить, но после второго раза я уже сделался осторожнее. Впрочем, вообще это был человек, не отличавшийся особенно яркими ни хорошими, ни дурными качествами. Его натура в общем, пожалуй, была даже хороша, но он не способен был ни к какой усиленной деятельности, ни к какому движению, которое могло бы нарушить его спокойствие и интересы. Он всегда принимал на себя наружность самую благодушную, являлся всегда чистеньким, гладеньким, вымытым, приличным и сочувствующим всему прекрасному и высокому. Но все это как-то отзывалось общими местами.

Всему этому недоставало той сердечности, силы и правдивости, которые делают иногда человека как бы шероховатым, неровным, а между тем поселяют доверие к его доброте, потому что в ней видишь что-то живое, действительное, а не выисканное и насильственно в себе сделанное. *** ‹Плетнев› был всегда сдержан, но сдержанность эта происходила не от силы характера, а была следствием опасения, как бы не сделать и не сказать чего-нибудь для себя предосудительного, — следствием неспособности почувствовать что-нибудь глубоко и проявить свои чувства и реально и рельефно.

Самое важное в человеческой жизни — это *уменье что-нибудь сделать*. Это не ум, не доблесть, не гений, но это выше и ума, и доблести, и гения. Это то, чем люди бывают полезны и себе и другим. Без сомнения, уменье это развивается с детства и совершенствуется постоянным упражнением, навыком. Но первоначальная причина его лежит в той общей животной смышлености, которою всякое живое существо наделено для собственного самосохранения. Но я по какой-то странной игре немилости или капризу природы вовсе лишен этого драгоценного качества. Я ничего *не умел* и *не умею* сделать. Меня очень рано, еще в детстве, начала соблазнять мечта какой-то высокой будущности, славных и великих подвигов, и я таким образом начал тогда уж испаряться в обширных замыслах, в бесконечном пространстве и ничему не выучился, то есть ничего дельного не выучился делать... Так точно я не выучился и житейскому искусству, например искусству поддерживать отношения с людьми так, чтобы располагать их в пользу и в выгоду себе и другим.

Конец 1865 года.

ПРИМЕЧАНИЯ



[1] Имеется в виду статья К. Аксакова «Опыт синонимов. Публика — народ» («Молва», 1857, № 36). В ней славянофил Аксаков противопоставил «народ» — носителя патриархального благочестия и «древлих начал» — «публике», которая оторвалась от этих «исконных» начал и «есть искажение идеи народа». В связи с напечатанием этой статьи министр Норов в пространном послании к Московскому цензурному комитету указывал, что «выставлять низших членов общества образцами всех возможных добродетелей, а высших, по мере возвышения их на ступенях гражданского устройства, примерами всех возможных недостатков и нравственных слабостей... вредно и пагубно по последствиям, которые подобные лжеумственные парадоксы могут повлечь за собой». Александр II на докладе Норова о статье Аксакова положил резолюцию: «Статья эта мне известна. Нахожу, что она написана в весьма дурном смысле. Объявить редакции «Молвы», что если и впредь будут замечены подобные статьи, то газета сия будет запрещена, а редактор и цензор подвергнутся строгому взысканию» (ЦГИАЛ, Дело Главного управления цензуры, 1857, № 285; ср. Н. Шаховской, Годы службы Гилярова-Платонова в Московском цензурном комитете — «Русское обозрение», 1897, № 8, стр. 758—761).

[2] Об этой борьбе партий, обострявшейся по мере нарастания в стране революционной ситуации, см. «Записки С. М. Соловьева», к-во «Прометей», и особенно «Воспоминания Б. Н. Чичерина. Московский университет», М. 1929.

[3] *Московский обед* был устроен 28 декабря 1857 г. по случаю обнародования рескрипта 20 ноября (см. т. I, прим. 359). По замыслу его устроителей, в числе которых были Кавелин, Погодин и Катков, он должен был явиться демонстрацией единства настроений среди интеллигенции, или, по характеристике Каткова, должен был пройти

«в духе примирения и соединения всех литературных партий» в предвиденье готовящейся крестьянской реформы. В действительности «объединения» не произошло, так как славянофилы отказались участвовать в обеде. Погодин выступил на обеде с речью, посвященной дворянству, «которое везде, как слышно, изъявляет чрез своих достойных представителей совершенную готовность исполнить царское желание». Хитросплетенная, пронизанная угодничеством и неумеренными восхвалениями дворянства речь Погодина, естественно, не удовлетворила прогрессивные круги русской общественности; не пришлась она по вкусу также крепостникам, которые шли на реформу скрепя сердце, под давлением необходимости, и которым претило покровительственное заступничество за дворянство «вольноотпущенного из крепостных» Погодина. Отсюда — то неодобрение речи Погодина, о котором записывает Никитенко. О московском обеде и речах, на нем произнесенных, подробно рассказывает Барсуков, XV, стр. 470—495.

[4] В *Бауценском сражении* (8—9 марта 1813 г.) между союзной русско-прусской армией и войсками Наполеона последний безуспешно пытался окружить и захватить армию союзников; этот план был сорван благодаря мужеству и стойкости русских войск.

[5] В конце декабря 1857 г. среди рабочих (в большинстве — крепостных крестьян), занятых на земляных работах по строительству Петербурго-Варшавской ж. д., вспыхнули волнения. Более трехсот человек, по словам официального донесения, «объявили, что они теперь вольные, и, следовательно, помещики не властны более заставлять их работать» («Рабочее движение в России в XIX веке», т. I, Госполитиздат, 1951, стр. 804).

[6] Инициатором организации в России Литературного фонда — общественной организации, предназначенной для помощи нуждающимся литераторам, — был А. В. Дружинин. Идея Дружинина встретила живейшее сочувствие в прогрессивных литературных кругах. После предварительного обмена мнениями между представителями петербургской печати составление устава Общества было поручено Никитенко. Но Никитенко, как свидетельствует Кавелин, «мямлил, ленился, не умел совладать с уставом», и начатая им работа была закончена А. П. Заблоцким-Десятовским и К. Д. Кавелиным. См. об этом в воспоминаниях Л. Ф. Пантелеева («Из воспоминаний прошлого», «Academia», 1934, стр. 212—224) и в статьях: А. А. Корнилова «Пятидесятилетие Литературного фонда» («Юбилейный сборник Литературного фонда», СПб. 1910, стр. 3—71) и В. Гаевского «А. В. Дружинин как основатель Литературного фонда» («25 лет. Сборник Литературного фонда. 1884», СПб. 1884, стр. 423—434).

[7] Имеется в виду стихотворение К. Аксакова «Свободное слово»;

опубликовано оно было в журнале «Русь», 1880, № 1, однако до того довольно широко распространялось в рукописях.

[8] Упоминая о «похвалах властей», Никитенко имеет, вероятно, в виду бриллиантовый перстень, подаренный Н. М. Львову игравшим в «либерализм» великим князем Константином Николаевичем.

[9] Премьера пьесы Н. М. Львова состоялась 13 ноября 1857 г. «Не отличаясь ни особенною глубиною воззрения, ни особенными художественными достоинствами... — писал о ней И. И. Панаев, — она обратила на себя внимание преимущественно своим содержанием и направлением — и только этим обязана своему сценическому успеху» («Заметки Нового Поэта» — «Современник», 1857, № 12, стр. 269—275; ср. также Вольф, III, стр. 14).

[10] *Кантонистами* назывались сыновья солдат, с детства предназначавшиеся для военной службы и проходившие обучение в специальных школах. В 1856 г. звание кантонистов было упразднено, а кантонистские школы с 1858 г. преобразованы в общеобразовательные училища военного ведомства.

[11] В результате обсуждения цензурных дел в Совете министров 16 января 1858 г. было издано правительственное распоряжение об учреждении специальной, ведомственной цензуры. К Петербургскому цензурному комитету прикомандировывались особо доверенные чиновники от ряда министерств и учреждений (министерства двора, финансов, военного, морского, внутренних дел, III отделения и др.). Это, конечно, безмерно усложняло и без того сложный и трудный путь книги от автора и типографии к читателю. См. Лемке, Очерки, стр. 317—318.

[12] Еще в листе 1 «Колокола» (1 июля 1857 г.) было напечатано стихотворение П. А. Вяземского «Русский бог» с бичующим примечанием (стр. 8); после того имя бывшего друга многих декабристов, превратившегося в преданного слугу самодержавия, действительно часто повторяется на столбцах «Колокола». В частности, Никитенко имеет, вероятно, в виду заметку Герцена «Паки и паки о князе Петре Вяземском» («Колокол», л. 6, 1 декабря 1857 г., стр. 49; ср. Герцен, т. IX, стр. 74—75), написанную по поводу одного из секретных циркуляров Вяземского по цензурному ведомству.

[13] Официальное назначение Ковалевского состоялось 23 марта; возможно, что Никитенко в своей записи основывался на предварительных сообщениях осведомленных лиц.

[14] *...разбор... истории 14 декабря Корфа* — статья А. И. Герцена «Письмо к императору Александру II (По поводу книги барона Корфа)» («Колокол», л. 4, 1 октября 1857 г., и в книге «14-е декабря 1825 и император Николай», Лондон 1858; вероятно, в руках Никитенко была именно эта книга). «Письмо» написано по поводу

книги М. А. Корфа «Восшествие на престол императора Николая І-го», третье издание (первое для публики), СПб. 1857, в которой события 14 декабря были изложены с правительственной точки зрения. Попытка Никитенко «защитить» Ростовцева от обвинений Герцена ограничивается подысканием для характеристики его предательства более эластических, расплывчатых формулировок. Ср. воспоминания самого Ростовцева и его переписку с Е. П. Оболенским в связи с обвинениями Герцена («Русский архив», 1873, № 3, стр. 449—552) и полемику, вызванную этой публикацией (там же, 1873, № 2, стр. 218—219; № 4, стр. 656—664).

[15] *Синей лентой*, т. е. орденом Александра Невского; *красной* — орденом Анны I степени.

[16] Статья К. Д. Кавелина «О новых условиях сельского быта» («Современник», 1858, № 4) представляет собою извлечение из его «Записки об освобождении крестьян в России», написанной в 1855 г. и в продолжение нескольких лет распространявшейся в рукописи (первые две главы первой части напечатаны Герценом в «Голосах из России», кн. 3, 1857, стр. 114—144; полностью опубликована в «Русской старине», 1885, №№ 1, 2, 5, и в Собрании сочинений Кавелина, т. II, СПб. 1904, стр. 6—88). О неблагоприятных последствиях «Записки» для служебной карьеры Кавелина см. Д. А. Корсаков, Материалы для биографии К. Д. Кавелина («Вестник Европы», 1886, № 8, стр. 540—541, 562—565). О цензурных преследованиях «Современника» за напечатание статьи Кавелина подробно рассказывает В. Е. Евгеньев-Максимов, «Современник» при Чернышевском и Добролюбове, Л. 1936, стр. 229—232.

[17] Вокруг вопроса о воспитании наследника престола плелась сложная сеть придворных потаенных интриг, которые лишь в незначительной степени становились достоянием общественности. Очень показательны в этом отношении сообщения Б. Н. Чичерина («Воспоминания Бориса Николаевича Чичерина. Путешествие за границу», М. 1932, стр. 54—55).

[18] В «Русском заграничном сборнике», ч. 1, тетрадь 3 (Париж 1858), было напечатано «Письмо к наставнику государя наследника» М. П. Погодина, написанное еще в 1856 г. и продиктованное желанием попасть в число воспитателей или преподавателей старшего сына Александра II. По распоряжению царя начальник III отделения Долгоруков запрашивал Погодина, каким образом его письмо «оказалось в руках редакторов «Заграничного сборника». Ответ Погодина неизвестен. Весь этот эпизод в фактической своей части изложен Барсуковым, т. XV, стр. 80—93; ср. «Русский архив», 1896, № 6, стр. 248—251.

[19] Три первых тома «Истории царствования Петра Великого» Н. Г. Устрялова (СПб. 1858) вызвали довольно обширную критическую литературу (статьи С. М. Соловьева в «Атенее», 1858, тт. IV, V; А. Зернина в «Библиотеке для чтения», 1859, № 1; П. Вейнберга в «Сыне отечества», 1858, №№ 21—26, и др.), подчеркивавшую устарелость научной методологии и литературной манеры Устрялова. С особенной яркостью сделано это в статье Н. А. Добролюбова «Первые годы царствования Петра Великого» («Современник», 1858, № 6, стр. 137—166; № 8, стр. 149—208; Добролюбов, т. III, стр. 114—212).

[20] «Записка о древней и новой России» Н. М. Карамзина полностью была опубликована позднее (Берлин 1861, и в «Русском архиве», 1870, № 3); Никитенко познакомился с ней, вероятно, по тем частям, которые публиковались в «Современнике», 1837, т. V, и которые охватывали историю России до смерти Екатерины II.

[21] Монография П. К. Щебальского «Правление царевны Софии» появилась в «Русском вестнике» (1856, №№ 2—5) и затем отдельной книгой (М. 1856).

[22] Появление в марте — мае 1858 г. массы «уличных листков» (выражение Добролюбова) составляет одну из характерных черт эпохи. «Издания, — вспоминает современник, — появлялись как грибы, хотя точнее было бы сказать, как водяные пузыри в дождь, потому что как много их появлялось, так же много и исчезало. Издания были всевозможных фасонов, размеров и направлений, большие и малые, дешевые и дорогие, серьезные и юмористические, литературные и научные, политические и вовсе не политические. Появлялись даже летучие уличные листки» (Н. В. Шелгунов, Воспоминания, ГИЗ, 1923, стр. 81; ср. М. А. Антонович и Г. З. Елисеев, Шестидесятые годы. Воспоминания, «Academia», 1933, стр. 134). Выразительную характеристику этих изданий дал Н. А. Добролюбов в статье «Уличные листки» («Современник», 1858, № 9, отд. «Новые книги», стр. 85—93; Добролюбов, т. III, стр. 387—395; ср. также стр. 632—639 — обстоятельный комментарий И. Г. Ямпольского, содержащий подробную сводку цензурных мероприятий, относящихся к «уличным листкам»). Он показал на обширном материале крайне низкий уровень, идейный и художественный, всех этих листков, подавляющее большинство которых представляло откровенную спекуляцию. Цензурные преследования явились причиной того, что волна «уличных листков» скоро пошла на убыль и некоторые даже разрешенные листки в свет уже не вышли. См. также И. Г. Ямпольский, Из истории русской сатирической журналистики (Уличные юмористические листки 1858 года) («Доклады и сообщения

Филологического института при ЛГУ», вып. 2, 1950, стр. 117—146); Лемке, Очерки, стр. 26—31.

[23] Имеются в виду чиновники высших четырех классов, т. е. статские, действительные статские, тайные и действительные тайные советники.

[24] В мае 1858 г. Е. П. Ковалевский в одном из докладов царю, говоря о желательности устранения некоторых стеснений, указал на противоречие их с «прогрессом гражданственности». Александр II на полях сделал пометку, которую имеет в виду Никитенко: «Что за прогресс!!! прошу слова этого не употреблять в официальных бумагах» («Материалы для истории упразднения крепостного состояния помещичьих крестьян в России в царствование императора Александра II», т. I, Берлин 1860, стр. 292).

[25] Можно думать, что обед у Донона был организован Н. А. Некрасовым для примирения редакции «Современника» с И. С. Тургеневым, обидевшимся на статью Чернышевского «Русский человек на rendez-vous».

[26] Имеется в виду «Описание сельского духовенства» И. С. Беллюстина. До напечатания (в «Русском заграничном сборнике», ч. I, тетрадь 4, Париж 1858) оно некоторое время ходило по рукам в рукописи, производя на читателей сильное впечатление. Не без влияния «Описания» в духовном ведомстве заговорили о «реформах», однако сам Беллюстин был подвергнут духовными властями суровой каре (Барсуков, XV, стр. 115—130).

[27] О *«Сборнике»* студентов Петербургского университета см. т. 1 настоящего издания, записи 23 февраля, 6 декабря 1857 г., прим. 354. *Оказание пособия* — организация студенческой кассы взаимопомощи; см. Л. Ф. Пантелеев, Из воспоминаний прошлого, «Academia», 1934, стр. 68—74.

[28] Об этом чтении И. А. Гончаров сообщал в письме к своему другу И. И. Льховскому 17 сентября 1858 г.: «Я стал до цинизма равнодушен ко всему... да, я притупился ко всему и с недоумением каждый день спрашиваю, что из этого всего будет... И роман мой (писаный), о котором вы упомянули, как блеск потухающей лампады, на минуту оживил меня и только тогда, когда вы слушали и рукоплескали ему. Дня три сряду на днях слушали его Краевский, Дудышкин, Никитенко и как рукоплескали, но я уже был холоден» (Л. С. Утевский, Жизнь Гончарова, М. 1931, стр. 118). Чтение было организовано для А. А. Краевского, который и приобрел роман для «Отечественных записок» (1859, №№ 1—4).

[29] Студенческие волнения осенью 1858 г. (см. также ниже записи 21 и 25 сентября) были первыми в истории Петербургского университета открытыми столкновениями прогрессивного студенчества с по-

лицией. Сколько можно судить по неполным сведениям, поводом к возникновению волнений явились оскорбления, нанесенные полицейскими чинами студенту Рашевскому. Последний принес жалобу шефу жандармов графу Шувалову, но был им обруган и выгнан. Студенты восприняли это как оскорбление, нанесенное всей студенческой корпорации. К попечителю учебного округа Делянову направилась студенческая делегация (Б. Л. Модзалевский, К истории Петербургского университета, 1857—1859 гг. Из бумаг Л. Н. Модзалевского — «Голос минувшего», 1917, № 1, стр. 165).

[30] Имеется в виду комета Донати, открытая в июне 1858 г. и достигшая затем большой яркости.

[31] О проекте Будберга и отношении к нему высших правительственных кругов см. в письмах видного чиновника министерства иностранных дел В. П. Балабина к П. Д. Киселеву («Русская старина», 1902, № 11, стр. 378—384).

[32] О работе Отделения русского языка и словесности над подготовкой нового издания «Словаря церковно-славянского и русского языка» (СПб. 1847) Никитенко упоминал в составленном им «Отчете» за 1858 г. («Отчеты АН», 1852—1865, стр. 284). Новое издание «Словаря» вышло только в 1867 г.

[33] Имеется в виду изданная герценовской Вольной русской типографией книга, в которую вошли «О повреждении нравов в России» князя М. Щербатова и «Путешествие» А. Радищева, с предисловием Герцена (Лондон 1854).

[34] Никитенко сопоставляет «Предисловие» Герцена с данными только что появившихся «Записок» петербургского «типографщика» Н. С. Селивановского («Библиографические записки», 1858, № 17).

[35] О публичных лекциях в университете см. Мих. Лемке, Дело «о публичных лекциях» в 1860-х годах («Историко-литературный сборник. Посвящается Вс. И. Срезневскому», Л. 1924, стр. 35—46); ср. Л. Ф. Пантелеев, Из воспоминаний прошлого, «Academia», 1934, стр. 165—169.

[36] В л. 25 «Колокола» (1 октября 1858 г., стр. 201—208) было напечатано анонимное «Письмо к редактору», содержавшее страстный призыв к социальной революции, к вооруженной расправе крестьянства с помещиками и самим царем. Обращаясь к крестьянской массе, автор «Письма» призывал к уничтожению крепостного бесправия революционным путем. В л. 32—33 «Колокола» Герцен выступил с «объяснением», в котором писал: «Источник негодования у автора так благороден и понятен, что я сочувствую ему». *Официальные бумаги*, о публикации которых в «Колоколе» упоминает Никитенко, — очевидно, «Материалы по крестьянскому вопросу» (л. 26, 15 октября 1858 г., стр. 209—211).

[37] Некоторые представители правительственных кругов, стремясь отыскать новые методы подчинения журналистики и литературы интересам самодержавия, выдвинули проект создания правительственного печатного органа. Убежденным сторонником такого издания был и Никитенко. Несколько месяцев спустя он специально разработал план правительственной газеты («Северная почта»), а с января 1862 г. в течение нескольких месяцев редактировал ее.

[38] Многочисленные отзывы современной критики об игре Айра Олдриджа живо перекликаются с записью Никитенко. Обширный материал о гастролях Олдриджа в России собран С. Дурылиным («Айра Олдридж», «Искусство», 1940).

[39] Имеются в виду четыре письма Я. И. Ростовцева к Александру II (17 августа — 15 сентября 1858 г.), посвященные крестьянскому вопросу в Западной Европе и размышлениям о возможном «разрешении» его в России без ущерба для самодержавия и помещиков. В октябре и ноябре 1858 г. обсуждению этих писем были посвящены четыре заседания Главного комитета по крестьянскому делу (С. С. Татищев, Император Александр II, т. I, СПб. 1911, стр. 312—317; И. Иванюков, Падение крепостного права в России, СПб. 1903, стр. 61—69).

[40] Монография Н. И. Костомарова «Бунт Стеньки Разина», задуманная и написанная в саратовской ссылке не без идейного воздействия Н. Г. Чернышевского, печаталась в «Отечественных записках» (1858, №№ 11, 12); в следующем году вышла отдельной книгой (СПб. 1859).

[41] Славянофильствующий инженер и николаевский администратор Н. А. Жеребцов издал двухтомное сочинение «Essai sur l'histoire de la civilisation en Russie» («Очерки по истории цивилизации в России»), Париж 1858. Никитенко, не владевший французским языком, познакомился с этой книгой по статье Н. А. Добролюбова «Русская цивилизация, сочиненная г. Жеребцовым» («Современник», 1858, №№ 10—11; Добролюбов, т. III, стр. 200—283), блестяще разоблачившей реакционные славянофильские тенденции автора.

[42] Полемику Каткова (стоявшего в это время на умеренно-либеральных позициях) с реакционером-крепостником Безобразовым см. «Русский вестник», 1858, №№ 10, 13; «Северная пчела», 1858, № 137.

[43] «Истолкование» III отделением виньетки объявления «Искры» неизвестно. Н. А. Степанов же объяснял замысел редакции и художника следующим образом: «При составлении этой виньетки мы хотели только изобразить в форме букв, составляющих название журнала, некоторые сословия, которые вертятся около искры, т. е. что они своею ложною и вредною стороною сходятся с сатирическим

направлением нашего издания. В самих буквах — значение простое и ясное: И — литератор и художник; С — женщина, пренебрегающая своими обязанностями; К — военный, ложно понимающий свои права и назначение, и чиновник, пекущийся единственно о личных выгодах в ущерб служебной пользе и своей совести; Р — купец, сбывающий залежавшийся товар, и, наконец, А — пролетарий и рабочий с несчастной страстью к вину: они едва держатся на ногах и в драке вырывают друг у друга палку» («Поэты «Искры», «Библиотека поэта», Л. 1933, стр. 43—44). Трудно сказать, насколько эти вынужденные объяснения соответствовали действительности; П. Пашино, близкий к редакции «Искры», дает в своих воспоминаниях иной (и, повидимому, более точный) смысл, например, последней букве виньетки: «А — падающий помещик, а сзади подпирающий его крестьянин» («С.-Петербургские ведомости», 1882, № 16).

[44] «Письмо к императрице Марии Александровне» Искандера-Герцена было напечатано в «Колоколе» (л. 27, 1 ноября 1858 г.) и посвящено вопросу воспитания наследника престола. Очень резко отзывался Герцен о «сладкоглаголивом льстеце», «бездарном немецком школяре» А. Г. фон Гримме, приглашенном в воспитатели наследника (Герцен, IX, стр. 355—361). Запись Никитенко сделана еще до прочтения самого «Письма», однако слух о «сильном впечатлении при дворе», произведенном «Письмом», он передает точно: об этом свидетельствует в своих воспоминаниях также близкий ко двору Ф. А. Оом («Русский архив», 1896, № 8, стр. 569).

[45] Упоминаемая в «Дневнике» так называемая «варнековская история» оказалась поводом для студенческих волнений в Московском университете. Студенты прибегнули к обструкции непопулярного профессора, в которой приняли участие все факультеты. Началось специальное следствие, закончившееся исключением ряда студентов. Одновременно покинул университет и Варнек. «Варнековская история» явилась одним из первых в России больших студенческих организованных выступлений демократического студенчества, неоднократно крайне резко высказывавшегося против «аристократической челяди». О «варнековской истории» см. статью А. И. Герцена «Синхедрион московских университетских фарисеев» (Герцен, X, стр. 135—142; первоначально — «Колокол», 1859, л. 55); П. В. Лебединский, Из жизни Московского университета. Варнековская история («Голос минувшего», 1915, № 9, стр. 210—218); А. З. Попельницкий и И. М. Соловьев, Из общественных настроений московского студенчества в 1858 г. («Голос минувшего», 1915, № 9, стр. 255—270); Сергей Гессен, Студенческое движение в начале шестидесятых годов, М. 1932, стр. 26—32.

[46] О подъеме общественных настроений среди петербургского студенчества в конце 50-х гг. и попытках студенческого самоуправления в Петербургском университете см. А. М. Скабичевский, Литературные воспоминания, М. 1928, стр. 96—97; Л. Ф. Пантелеев, Из воспоминаний прошлого, «Academia», 1934, и др.

[47] В «Иллюстрации», 1858, № 35, была напечатана анонимная статья, «опровергавшая» требования прогрессивных русских кругов о необходимости расширения гражданских прав евреев в России и наполненная грубыми антисемитскими выходками. Статья вызвала возражения в «Русском вестнике», 1858, № 18, и «Атенее», 1858, № 9. Отвечая на них, «Иллюстрация» (1858, № 43) позволила себе еще более грубые инсинуации, вызвавшие протест группы петербургских литераторов («С.-Петербургские ведомости», 1858, № 258). К протесту присоединилось несколько десятков писателей; среди подписавших протест были Н. А. Некрасов, И. С. Тургенев, Н. Г. Чернышевский, Т. Г. Шевченко и др.

[48] Никитенко в данном случае не цитирует, но свободно перефразирует басню И. И. Хемницера «Метафизик».

[49] *Эмерит* — в данном случае заслуженный профессор; это звание давалось за выслугу двадцати пяти лет в профессорском звании.

[50] Об избиении полицией студентов на пожаре 14 декабря 1858 г. подробно рассказывается в материалах, опубликованных Б. Л. Модзалевским («Голос минувшего», 1917, № 1, стр. 163—170). Ср. также Л. Ф. Пантелеев, Из воспоминаний прошлого, «Academia», 1934, стр. 68—70.

[51] Историю русского «Bureau de la presse» см. Лемке, Очерки, стр. 309—368; на отдельных этапах этой очередной попытки создать верховный орган обуздания печати Никитенко останавливается в ряде дальнейших записей.

[52] Имеется в виду одна из переводных комедий Н. И. Куликова — «Которая из двух?» или «Осенний вечер в деревне» (см. Вольф, III, 17).

[53] *Новый роман* Тургенева — «Дворянское гнездо» (закончено 27 октября 1858 г.). Кроме Никитенко, у Тургенева были Некрасов, Дружинин, Писемский, Анненков, Гончаров и др. О чтении, продолжавшемся два вечера (28 и 29 декабря), упоминает также П. В. Анненков, Литературные воспоминания, СПб. 1909, стр. 507.

[54] Об этом обеде нет других упоминаний в мемуарно-эпистолярной литературе. Внешним поводом для него было появление в январской книжке «Отечественных записок» за 1859 г. начала «Обломова». Можно предположить, что устройством обеда Гончаров стремился высказать свое примирение с Тургеневым после того, как за два дня перед тем, после чтения «Дворянского гнезда», обвинил его в пла-

гиате (см. об этом «Необыкновенная история» — «Сборник Российской публичной библиотеки», т. II, вып. 1, Пгр. 1924, стр. 19—22; «И. А. Гончаров и И. С. Тургенев по неизданным материалам Пушкинского дома», Пб. 1923, стр. 21—22).

[55] Имеется в виду, вероятно, стихотворение Некрасова «Я посетил твое кладбище», написанное в 1849 г. и напечатанное в «Современнике», 1856, № 9, стр. 87.

[56] *Литературными обедами* у Некрасова, по установившейся традиции, отмечался выход очередного номера «Современника».

[57] Отставка московского цензора Н. Ф. фон Крузе состоялась в декабре 1858 г. (см. выше, запись 7 декабря 1858 г.). Причиной отставки были общественные демонстрации в честь Крузе после выговора, полученного им за пропуск в «Русском вестнике» (1858, № 1) статьи об обеде 28 декабря 1857 г. Ему был поднесен ряд адресов от литераторов и общественных деятелей (под петербургским адресом были, в числе прочих, подписи Чернышевского, Добролюбова, Некрасова, Салтыкова, М. Михайлова). В апреле 1858 г. группа петербургских литераторов устроила чествование Крузе, на котором Некрасов прочитал посвященное ему стихотворение (Н. А. Некрасов, Полное собрание сочинений и писем, т. II, М. 1948, стр. 60). Эти демонстративные чествования либерального цензора вызвали запрос о нем в III отделении, причем Крузе был характеризован как «приятель всех западников и славянофилов... корреспондент Герцена, готовый на все и желающий переворотов» (Герцен, IX, 249). После этого отставка Крузе была предрешена. Его чествования и последующие попытки организовать сбор средств в его пользу, очевидно, преследовали цель политической демонстрации. См. А. Мурашкинцев, Памяти Н. Ф. фон Крузе («Русские ведомости», 1901, №№ 243, 247); Н., Московский обед 28 декабря 1857 г. и его последствия («Русская старина», 1901, № 1, стр. 57—62); Барсуков, XVI, стр. 261—289.

[58] Имеется в виду «Обвинительный акт» Ч‹ичерина›, напечатанный в «Колоколе», 1859, л. 29, стр. 236—239. Весьма умеренный либерал, Б. Н. Чичерин в середине 50-х гг. напечатал несколько статей в изданиях Герцена. Очень скоро, однако, Чичерин испугался растущего революционизирующего влияния «Колокола». «Обвинительный акт» явился попыткой Чичерина сформулировать свою и своих единомышленников-либералов общественную позицию, противопоставив ее революционной позиции Герцена (статья воспроизведена в комментариях к Герцен, IX, стр. 409—418). Статья Чичерина не вызвала сочувствия даже среди его друзей. В частности, К. Д. Кавелин обратился к нему с письмом, которое получило довольно широкое распространение; к Кавелину присоединились также И. С. Турге-

нев, И. К. Бабст, П. В. Анненков, А. Д. Галахов и др. Ряд откликов на «Обвинительный акт» был напечатан в лл. 32—33 «Колокола» (ср. Герцен, IX, стр. 484—495). См. также «Воспоминания Б. Н. Чичерина. Путешествие за границу», М. 1932, стр. 49—56; Барсуков, XV, стр. 246—271.

[59] «Записки из известных всем происшествий и подлинных дел, заключающих в себе жизнь Г. Р. Державина» опубликованы с примечаниями П. И. Бартенева в «Русской беседе», 1859, №№ 1—5 (отд. изд. — М. 1860).

[60] В вышедших двух номерах еженедельной газеты «Парус» И. С. Аксаков резко нападал на ряд правительственных мероприятий с позиций воинствующего славянофильства. Издание «Паруса» было прекращено, цензору и всему Московскому цензурному комитету сделан строгий выговор. Об этом эпизоде см. «Русское обозрение», 1897, № 11, стр. 99—110; Барсуков, XVI, стр. 305—361; «Русская старина», 1906, № 12, стр. 699—704.

[61] *«Русский дневник»* — официозная газета; несмотря на правительственную субсидию, просуществовала недолго: начав свое существование в январе 1859 г., она закончила его на № 141, 5 июня. Редактором газеты был П. И. Мельников (А. Печерский).

[62] Мы не нашли каких-либо подтверждений слухов о *прозрачных намеках* в публичных лекциях М. М. Стасюлевича, но считаем вероятным, что они действительно существовали. Ср. в «Автобиографии» Н. И. Костомарова замечание о том, что Стасюлевич «сильно старался» снискать внимание слушателей (Н. И. Костомаров, Автобиография, М. 1922, стр. 337).

[63] Об этом обеде не сохранилось упоминаний в мемуарной литературе, кроме незначительного письма Тургенева к Е. П. Ковалевскому («Первое полное собрание писем И. С. Тургенева», СПб. 1884, стр. 69).

[64] Цитата из баллады Ф. Шиллера «Торжество победителей» в переводе В. А. Жуковского.

[65] В фельетоне польской газеты «Slowo» (1859, № 15) цитировалось приветственное письмо И. Лелевеля и давалась ему высокая оценка. Поскольку Лелевель был одним из руководителей польского восстания 1830 г., один из первых подписал акт об отрешении Николая I от польского престола, всякое упоминание его имени было строжайше воспрещено. Донос М. Д. Горчакова вызвал, — по царской резолюции 26 февраля 1859 г., — запрещение «Slowa», заключение редактора газеты И. Огрызко в Петропавловскую крепость сроком на один месяц, «строгое замечание» Делянову (как руководителю Петербургского цензурного комитета), выговор цензору. По поводу этого дела Герцен писал в «Колоколе»: «Когда же наше самодержавие поймет, что... гонение самого имени людей, чисто и

свято трудившихся до преклонных лет, признанных всем светом, как И. Лелевель, бьет рикошетным ударом назад?» (Герцен, IX, стр. 545; там же, стр. 545—550 — публикация ряда документов, относящихся к этому эпизоду).

[66] Последний абзац изложен Никитенко — в иной редакции — в особой дневниковой тетради, сохранившейся в его архиве (Пушкинский дом, Ленинград) и носящей заглавие: «Комитет по делам книгопечатания 1859 года». Здесь читаем: «Собрание у Муханова. Прочитана была записка, которую кто-то составил о перестройке театров и восстановлении сгоревшего театра-цирка. Записка эта имеет целью сгладить невыгодные толки в публике о трате денег на роскошь, когда государство нуждается в них и финансы наши в таком упадке. Муханов хотел, чтобы статья эта была напечатана в «Сев‹ерной› пчеле»; я заметил, что эта газета не пользуется уважением в публике. — Затем поговорили о посторонних предметах и разошлись». Тетрадь «Комитет по делам книгопечатания» заполнялась Никитенко параллельно с общим дневником в течение марта—апреля 1859 г., почти не дублируя его; мы ввели из этой тетради в основной текст «Дневника» записи 5, 9, 12, 16, 19, 23, 26, 30 марта, 2, 20, 23, 27, 30 апреля.

[67] В данной записи особенно ярко выразилось обыкновение Никитенко безмерно преувеличивать свои служебные действия, возводя их до уровня чуть ли не гражданского подвига. *Радости* по поводу его вступления в состав «троемужия» мы не обнаружим, даже обратившись к откликам печати (см., например, Лемке, Очерки, стр. 341—345); не было ее, конечно, и в высказываниях устных. Ср. ниже, запись 13 марта 1859 г.

[68] Обед в честь тяжело заболевшего (обострившийся туберкулез) и вынужденного выехать для лечения за границу А. Е. Мартынова был организован группой литераторов как дань благодарности замечательному актеру, неутомимо пропагандировавшему на казенной сцене произведения русской драматургии. В пригласительных билетах указывалось, что обед имеет целью выразить артисту, как горячо ценят русские писатели «его великий талант, его честное служение искусству, его независимый и безукоризненный характер». Организация чествования была поручена Тургеневу, Гончарову, Григоровичу и Дружинину. Речи А. В. Дружинина и А. Н. Островского, а также стихотворение Н. А. Некрасова («Со славою прошел ты полдороги...») были тогда же напечатаны в «Заметках Нового Поэта» ‹И. И. Панаева› («Современник», 1859, № 3, стр. 205—208) и в «С.-Петербургских ведомостях», 1859, № 58, 15 марта. Ср. также: А. Я. Брянский, Александр Евстафьевич Мартынов, «Искусство», 1941, стр. 84—90.

[69] В тексте основного дневника этот эпизод изложен короче, но с несколькими выразительными подробностями: «В Комитете Муханов свирепствовал против «Искры», на которую сперва напал Тимашев за стихи «На Невском проспекте» (№ 9). Но Тимашев полагал достаточным призвать редактора в III отделение и вымыть ему голову, а Муханов бредил все гауптвахтою. Я довольно сильно выразил сопротивление на сильные меры». «Крамольное» стихотворение (автор его — П. И. Вейнберг) см. Лемке, Очерки, стр. 347—348.

[70] Имеется в виду статья И. К. Бабста «В коммерческом суде» («Русский вестник», 1859, № 1).

[71] Речь идет об «Энциклопедическом словаре, составленном русскими учеными и литераторами», выходившем в 1861—1863 гг (вышло 5 тт., включавших буквы А—Е; издание не закончено), под общей редакцией А. А. Краевского и П. Л. Лаврова (со второго тома); редактором отдела словесных наук был поэт М. Л. Михайлов. Несмотря на радикальный тон многих статей «Словаря», привлекших к нему внимание прогрессивных общественных кругов, ловкому дельцу Краевскому удалось выхлопотать себе «щедрую» правительственную субсидию (Е. М. Феоктистов, Воспоминания. За кулисами политики и литературы, Л. 1929, стр. 334). Повидимому, самое прекращение «Словаря» находилось в непосредственной зависимости от прекращения субсидии после ареста М. Л. Михайлова и некоторых других сотрудников издания. *Лексикон Края* — «Справочный энциклопедический словарь К. Края», под ред. А. В. Старчевского, СПб. 1837—1855, в 12 томах.

[72] Повидимому, имеется в виду заметка: «Материалы для понимания начальника III отделения» («Колокол», л. 38, 15 марта 1859 г.). Замечание Никитенко об упадке «Колокола» не соответствует действительности.

[73] «Украинские народные рассказы Марко Вовчка», перевод И. С. Тургенева, СПб. 1859 (цензурное разрешение 8 февраля 1859 г.), отнюдь не были «спекуляцией», как это близоруко представлял себе Никитенко. В состав сборника вошел и рассказ «Казачка», известный собеседнику Никитенко по первоначальному журнальному переводу («Казачка. Малороссийский рассказ» — «Русский вестник», 1859, февраль, кн. I, стр. 435—452); рассказ посвящен животрепещущей в то время теме вопиющего крепостного бесправия.

[74] Речь идет о подготовке судебной реформы 1865 г. Возглавлявшаяся Паниным группа крайних реакционеров решительно возражала против введения в судах института присяжных заседателей, считая его чересчур демократическим.

[75] *«Журнал землевладельцев»* (1858—1860), издававшийся А. Д. Желтухиным, содержит богатейший материал для характеристики настроений дворянско-помещичьих кругов непосредственно перед крестьянской «реформой». Все статьи журнала сводились, в конечном выводе, к одному вопросу: как ликвидировать непроизводительное крепостное хозяйство, чтобы помещик при этом не только ничего не потерял, но даже выиграл. Неудивительно, что Желтухину удалось получить просимую субсидию, — не без помощи Никитенко, который представил по этому поводу специальную докладную записку (Герцен, IX, стр. 568—569). Общую характеристику журнала см. в исследовании Н. М. Дружинина «Журнал землевладельцев», 1858—1860 гг. (гл. I—II — «Труды Института истории», вып. I, М. 1926, стр. 463—518; гл. III — «Ученые записки Института истории», т. II, М. 1927, стр. 251—310).

[76] На похоронах примадонны петербургской оперы Анджелики Бозио, умершей 21 февраля 1859 г., произошло столкновение студентов с полицией. «...Стечение народа испугало полицию; в день похорон церковь была оцеплена и двор монастыря занят войском. Печальную колесницу сопровождали до кладбища... эскадрон жандармов и целые взводы городовых» (Вольф, III, 111—112). Ср. Е. А. Штакеншнейдер, Дневник и записки, «Academia», 1934, стр. 250.

[77] Характеристика Тимашева, сделанная Никитенко, — один из особенно выразительных примеров предвзятости автора «Дневника» в подходе к людям. За приятной внешностью светского «шармёра», за хитросплетением «либеральных» фраз и уверений Никитенко не разглядел того, что видел, например, из лондонского далека в Тимашеве Герцен: волчьей хватки жандармских дел мастера, слегка, в соответствии с «модой», прикрытой овечьей шкурой.

[78] Об А. И. Морозове Никитенко рассказывает подробно в своих «Записках», т. I, стр. 54—55.

[79] История денежных счетов Некрасова и Панаева с Плетневым подробно освещена в книге В. Е. Евгеньева-Максимова «Современник» в 40—50 гг. От Белинского до Чернышевского», Л. 1934, стр. 23—42; ср. Б. Л. Модзалевский, Некрасов и Плетнев. Новые письма («Некрасов. Неизданные стихотворения, варианты и письма», Пгр. 1922, стр. 242—268).

[80] Фактическую сторону отставки А. А. Закревского подробно разъясняет в своем дневнике также П. А. Валуев («Русская старина», 1891, № 8, стр. 295; ср. запись в дневнике В. Ф. Одоевского — «Литературное наследство», кн. 22—24, 1935, стр. 94). Отставка Закревского, одного из столпов реакционнейшего крепостнического дворянства, была своего рода уступкой «либеральным» веяниям; отсюда двойственная реакция общества на это событие, которую

отразили дневниковые записи Никитенко 1 и 3 мая. Ср. П. А. Вяземский, Полное собрание сочинений, т. X, СПб. 1886, стр. 194.

[81] Рецензия на книгу А. Н. Муравьева «Впечатления Украины и Севастополя» (СПб. 1859) принадлежала Н. А. Добролюбову (Добролюбов, IV, стр. 313—318).

[82] В апреле 1859 г. началась австро-итало-французская война. Итальянскими добровольческими войсками командовал Гарибальди. «Дивная энергия, выказанная волонтерами Гарибальди, — писал Чернышевский, — была выражением народных сил Италии» (Н. Г. Чернышевский, Полное собрание сочинений, т. VI, М. 1949, стр. 329).

[83] *Невское*, т. е. кладбище Александро-Невской лавры в Петербурге.

[84] И. С. Тургенев уехал из Петербурга 29 апреля 1859 г. 30 апреля датировано его письмо Е. Е. Ламберт из Крестов возле Пскова («Письма И. С. Тургенева к графине Е. Е. Ламберт», М. 1915, стр. 31—32). Таким образом, обед у Донона, о котором упоминает Никитенко, должен был происходить 27—28 апреля 1859 г. Повидимому, и в данном случае ошибка явилась в результате небрежности С. А. Никитенко.

[85] *Лира* и *гитара* — названия легких извозчичьих экипажей.

[86] Имеется в виду проект правительственной газеты, разработкой которого занимался Никитенко.

[87] Вероятно, имеется в виду сражение у Монтебелло (8/20 мая 1859 г.), где австрийские войска понесли первое поражение от соединенных итало-французских сил.

[88] 20 мая 1859 г. И. А. Гончаров писал своему другу И. И. Льховскому: «Еду я и беру программу романа ‹«Обрыв»›, но надежды писать у меня мало, потому что герой труден и необдуман и притом надо начинать. Если напишу начало, то когда будет конец?» (И. А. Гончаров, Собрание сочинений в восьми томах, т. VIII, М. 1955, стр. 321).

[89] Имеется в виду еженедельный «статистический и промышленный» журнал, издававшийся И. В. Вернадским, — «Указатель политико-экономический» (см. ниже прим. 134).

[90] 24 июня (12 июня ст. ст.) 1859 г. завязалось сражение при Сольферино, в котором приняли участие, с обеих сторон, 350 000 человек. После пятнадцатичасового боя австрийское войско было разбито и отступило с огромными потерями.

[91] Наполеон III воспользовался победой под Сольферино, чтобы предложить Австро-Венгрии мир на весьма льготных для нее условиях. 8 июля (н. ст.) 1859 г. было заключено перемирие, по кото-

рому Ломбардия (Северная Италия), кроме Венеции, отошла к Франции; последняя уступила ее Италии.

[92] Шамиль, глава реакционного мюридизма, сдался князю Барятинскому 26 августа 1858 г. в ауле Гуниб (Дагестан) и был доставлен сперва в Чугуев для представления Александру II, затем — в Петербург, в Царское Село.

[93] Одобренная уже к печати драма А. Ф. Писемского «Горькая судьбина» была неожиданно 19 октября 1859 г. затребована министром народного просвещения Е. П. Ковалевским для ознакомления. Напуганный этим, П. П. Вяземский (помощник попечителя Петербургского учебного округа) предложил членам цензурного комитета «обратить особое внимание на все статьи уже одобренные или находящиеся в рассмотрении, которые по содержанию касаются быта помещичьих крестьян, и о подобных статьях предварительно докладывать, не ожидая собрания Комитета». 12 ноября И. А. Гончаров сообщал председателю цензурного комитета, что «вновь рассмотрел уже одобренную в печать бывшим цензором Палаузовым драму Писемского «Горькая судьбина», и по исключении и переделке автором некоторых мест... господин министр изволил разрешить оставить одобрение г. Палаузова в своей силе» (ЦГИАЛ, Дело Петербургского цензурного комитета, 1859, № 120; А. Ф. Писемский, Письма, Л. 1936, стр. 634—635). При переделке пьесы Писемский изменил также ее финал, так что изложение Никитенко не соответствует опубликованному (в «Библиотеке для чтения», 1859, № 11, стр. 1—70) тексту.

[94] Имеется в виду «адрес» пяти либеральных депутатов Главного комитета по крестьянскому делу (А. М. Унковского, Д. В. Васильева, П. Н. Дубровина, А. Г. Шредера, Д. П. Хрущова); в качестве необходимого дополнения к подготовлявшемуся освобождению крестьян они выдвигали перед правительством целую программу буржуазных реформ (реформа суда, свобода «гласности» и пр.). Александр II был чрезвычайно раздражен этим адресом, признал его «ни с чем не сообразным» и «дерзким до крайности»; подписавшие его получили замечание за «неправильные и неуместные свои домогательства» (Гр. Джаншиев, А. М. Унковский и освобождение крестьян, М. 1894, стр. 131—135).

[95] О. Ф. Миллер в 1860 г. прочитал пять публичных лекций по случаю столетнего юбилея Шиллера (1859) («Шиллер и его время» — «Журнал министерства народного просвещения», 1861, № 2, стр. 21—47; № 4, стр. 1—62; № 7, стр. 1—28, и отд. — СПб. 1861).

[96] Цензор А. Н. Драшусов был уволен от службы на основании жалобы Муханова; жалоба эта — письмо к Щербинину — несколько

позже появилась в «Колоколе» («Муханов, что не на Висле» — «Колокол», л. 72, 1 июня 1862 г., стр. 602). Как указывал «Колокол», действительной причиной требования Муханова уволить Драшусова было разрешение последним к напечатанию в журнале «Развлечение» очерка «Галопов», в котором весьма прозрачно был выведен некий В. Хлопов, приходившийся родственником Муханову. «Письмо Муханова было секретно», — объяснял «Колокол». Поводом для предания суду Д. И. Калиновского явился его отказ сделать требуемые цензурою исправления в одной из книжек «Светоча»; кроме того, он приложил к ней объявление «в саркастическом тоне» о несвоевременном выходе журнала «по причинам, от редакции независящим». Главное управление цензуры отстранило Калиновского от редактирования журнала и передало дело в суд; однако суд определил: Калиновского, как «несознавшегося и неизобличенного, никакому взысканию... не подвергать» («Исторические сведения о цензуре в России», СПб. 1862, стр. 118—119).

[97] Диспут между Н. И. Костомаровым и М. П. Погодиным состоялся не 26, а 19 марта, — очевидно, С. А. Никитенко произвела здесь какие-то перестановки в записях нескольких дней; исправить это в настоящее время не представляется возможным. Вскоре после диспута Костомаров писал Д. Л. Мордовцеву: «Норманская теория, выдуманная и утвержденная немцами и их бессознательными последователями, теория, которою Куник оправдывал немецкое влияние после Петра, а Крузе употреблял для параллели с событиями половины XVIII века, вытягивая насильно Рюрика за уши в звание голштинца, — теория, которая по своей несостоятельности должна бы приводить в краску нас всех, — теория эта пала, пала, пала!.. И напрасно Академия, а за нею немцы и педанты думают поддержать ее. У общества есть свое чутье. Что единогласно освистано, — то безвозвратно погибло» («Русская старина», 1885, № 6, стр. 624—625). В своей борьбе с «норманской теорией», выводившей русскую государственность из иноземных влияний (см. о ней брошюру В. В. Мавродина «Борьба с норманизмом в русской исторической науке», Л. 1949), Костомаров пользовался поддержкой демократической общественности, в частности Чернышевского и Добролюбова (последнему принадлежит памфлетно заостренный, но фактически очень точный отчет о диспуте; Добролюбов, VI, 95—112); ср. также: Барсуков, XVII, стр. 272—295; Г. Вашкевич, Из воспоминаний о Н. И. Костомарове («Киевская старина», 1895, № 4, стр. 38—39); Л. Ф. Пантелеев, Из воспоминаний прошлого, «Academia», 1934, стр. 166—167; «Автобиография Н. И. Костомарова», М. 1923, стр. 265—267; «У Троицы в Академии», М. 1914, стр. 603 (интересное письмо Ф. И. Буслаева) и др.

[98] Об этом эпизоде своих отношений с Тургеневым Гончаров рассказал в апологетической записке «Необыкновенная история» («Сборник Российской публичной библиотеки», т. II, Пгр. 1924, стр. 27—31); ср. также П. В. Анненков, Литературные воспоминания, СПб. 1909, стр. 520—521; Л. Н. Майков, Ссора между И. А. Гончаровым и И. С. Тургеневым в 1859 и 1860 гг. («Русская старина», 1900, № 1, стр. 5—23); «И. А. Гончаров и И. С. Тургенев по неизданным материалам Пушкинского дома», Пб. 1923, стр. 9, 21—24, 36—41.

[99] Кроме Писемского-городничего, в спектакле 14 апреля участвовали П. И. Вейнберг (Хлестаков), Ф. М. Достоевский (почтмейстер). Отмечая громадный успех спектакля, Л. Ф. Пантелеев писал, что «кульминационным пунктом спектакля стала сцена купцов... когда появились Тургенев, Григорович, Майков, Панаев, Некрасов, Дружинин. Что тут происходило в течение нескольких минут — и рассказать трудно... Веселый смех, рукоплескания продолжались так долго, что Хлестаков, по его словам, даже присел отдохнуть» (Л. Ф. Пантелеев, Из воспоминаний прошлого, «Academia», 1934, стр. 163—164; ср. Петр Вейнберг, Литературные спектакли. Из моих воспоминаний — «Ежегодник императорских театров», 1893—1894, Приложения, кн. 3, стр. 96—109).

[100] *Сумасшедший король* — король прусский Фридрих-Вильгельм IV.

[101] *Торжество... в честь Шиллера* — празднование в 1859 г. столетия рождения поэта.

[102] Имеется в виду либо лист 71 «Колокола», помеченный 15 мая 1860 г., либо лист 72 (1 июня). В первом внимание Никитенко могла привлечь статья самого Герцена (за подписью «И — р», т. е. Искандер, стр. 593—594) «Библиотека — дочь Сенковского») (ср. Герцен, т. X, стр. 307—312), во втором — корреспонденция «Souvenirs modestes ‹скромные воспоминания› о мертворожденной цензуре Корфа» (стр. 602—603).

[103] Образы *Неаполя, Бурбонов и пыток*, возникшие в воображении Никитенко, связаны с незадолго перед тем умершим королем неаполитанским Фердинандом II Бурбоном, которого Маркс и Энгельс называли «слабоумным тигром» (Сочинения, т. VI, стр. 484), «кровожадным идиотом» (там же, т. VII, стр. 102), а народ прозвал «королем Бомбой» за кровавое подавление восстания в Мессине (1849). Подавив революционное движение 1848 г. в стране, Фердинанд установил режим свирепого полицейского произвола и террора, расправляясь тюрьмами, пытками, каторжными работами с малейшими попытками политической оппозиции. По воспоминаниям В. Ф. Одоевского, Николай I говорил о Фердинанде, что он — «один

из немногих, с которым можно иметь дело» («Литературное наследство», кн. 22—24, 1935, стр. 112).

[104] Никитенко называет медведей *представителями Бернского кантона,* так как изображение медведя входит в кантональный герб.

[105] Под Грансоном, на западном берегу Невшательского озера 2 марта 1476 г. состоялось сражение между швейцарцами и войском герцога Бургундского Карла Смелого. В сражении Карл потерпел поражение.

[106] О свидании с Никнтенко и совместных прогулках Гончаров подробно рассказывал в письмах к Е. А. и С. А. Никитенко, например 16/28 августа 1860 г. и др. (см. И. А. Гончаров, Собрание сочинений в восьми томах, т. VIII, М. 1955, стр. 351—356).

[107] В 1803—1805 гг. Наполеон раскинул под Булонью огромный военный лагерь, готовясь к вторжению в Англию. Задуманную кампанию сорвала начавшаяся война с Австрией.

[108] Французский генерал Кристоф де Ламорисьер в 1860 г. принял командование папской армией, пытавшейся задержать объединение Италии. 6/18 сентября 1860 г. папские войска были разбиты при Кастельфидардо.

[109] Летом 1860 г., находясь за границей, Гончаров усиленно работал над романом «Обрыв» и по возвращении опубликовал два отрывка из него — «Бабушка» и «Портрет» («Отечественные записки», 1861, №№ 1, 2). Образ Веры, о котором упоминает Никитенко, в это время существенно отличался от образа, знакомого читателям по окончательному тексту романа. «У меня первоначальная мысль, — вспоминал позднее писатель, — была та, что Вера, увлеченная героем, следует после на его призыв за ним, бросив все свое гнездо, и с девушкой перебирается через всю Сибирь» (И. А. Гончаров, Собрание сочинений в восьми томах, т. VIII, М. 1955, стр. 398).

[110] Имеется в виду: «Библия, Ветхий завет, Отдел первый, заключающий в себе Закон или Пятикнижие. Перевод Вадима», Лондон 1860. Вадим — псевдоним В. И. Кельсиева; см. его «Исповедь» («Литературное наследство», кн. 41—42, 1941, стр. 282—284).

[111] Дневниковой записью о значении Пушкина, явившейся, очевидно, следствием размышлений в связи с задуманной лекцией о нем, Никитенко включается в ожесточенную полемику 50—60-х гг. между сторонниками «чистого искусства» из лагеря дворянско-буржуазного либерализма (А. В. Дружинин, П. В. Анненков, С. С. Дудышкин, Б. Алмазов и др.), создавшими легенду о Пушкине как проповеднике искусства для искусства, и революционными демократами — Н. Г. Чернышевским, Н. А. Добролюбовым, Н. А. Некрасовым, которые, спасая творческий облик великого поэта от «бездонных жидких

трясин» «искусства для искусства», видели в его произведениях «залог будущих торжеств нашего народа на поприще искусства, просвещения и гуманности». См. Н. Ф. Бельчиков, Пушкин в оценке революционно-демократической критики 60-х годов («Пушкин, Сборник статей», М. 1941, стр. 292—314).

[112] Имеется в виду рецензия Р. Р. (Г. Е. Благосветлова) о т. VIII Сочинений В. Г. Белинского, в которой о великом критике сказано: «Он первый заявил, что Гоголь изменил знамени, растоптал свою собственную славу, из рабской готовности покурить через край царю земному и небесному» («Русское слово», 1860, № 9, стр. 26—32). Ср. ниже, запись 5 ноября 1860 г.

[113] В анонимном фельетоне «Петербургская летопись» («С.-Петербургские ведомости», 1860, № 242, 6 ноября) рассказывалась история обольщения и совращения девушки, служившей в одном из модных магазинов, причем намекалось на то, что вывеска магазина служила ширмой, прикрывавшей грязные дела высокопоставленных лиц. Речь шла о министре юстиции Д. Н. Замятнине; он подал жалобу начальнику III отделения Долгорукову. «Весьма это неловко», — замечал в своем дневнике В. Ф. Одоевский (13 ноября 1860 г.) («Литературное наследство», кн. 22—24, 1935, стр. 116). Чтобы несколько смягчить скандал, по настоянию Замятнина в «С.-Петербургских ведомостях» (1860, № 254, 20 ноября) было сообщено, что не удалось разыскать, в каком именно магазине произошла история, описанная в фельетоне 6 ноября. По этому поводу «Колокол», обращаясь к руководителю III отделения, писал: «Говорят, что вы ищете, кто эти содержательницы магазинов или чего-то такого галантерейного, о которых было в «С.-П‹етербургских› ведомостях», — ну, знаете, насчет швеи, сыновней любви и внучатных последствий? — Видите, это совсем не содержательницы магазинов, а государственные сановники женского пола: одна из них Дараган, сдавшая магазин, а другая — Замятнина, принявшая его» («Колокол», л. 91, стр. 768, 1 февраля 1861 г.).

[114] Успех появившейся в октябре 1856 г. книги «Стихотворений» Н. А. Некрасова вызвал распоряжение Норова — «запретить как перепечатание книги, так и всякие из оной выписки». В апреле 1859 г. Некрасов через посредство Гончарова начал ходатайствовать о разрешении нового издания «Стихотворений»; рассмотрение этого ходатайства тянулось в различных инстанциях около двух лет, — книга увидела свет лишь в начале мая 1861 г. «Мнение» Никитенко, о котором упоминается в «Дневнике», датировано еще 20 февраля 1860 г.; в продолжение десяти месяцев оно лежало без движения. В своем отзыве Никитенко писал: «Стихотворения Некрасова происходят из весьма общего нашим и многим иностранным писателям

элегического настроения духа и, естественно, развивают мысли неутешительные при взгляде на разные стороны человеческого и общественного быта. Воспрещать такие произведения литературы значило бы уничтожать один из ее неизбежных элементов и, вмешиваясь, так сказать, в психологические процессы внутренней человеческой жизни, делать невозможным появление в литературе какого-нибудь замечательного таланта». Публикацию материалов цензурного дела (без приведенного отзыва Никитенко) см. В. Е. Евгеньев-Максимов, Некрасов как человек, журналист и поэт, ГИЗ, 1928, стр. 229—237.

[115] О стремлении П. Л. Лаврова занять кафедру философии в Петербургском университете, уничтоженную в 1850 г. и предполагавшуюся к восстановлению, о борьбе против него Никитенко, не желавшего допускать в университет человека, связанного с радикально-демократическим лагерем, см. подробно в записях 1861 и 1862 гг. и в примечаниях к ним.

[116] *Бов* (точнее, «Н. — бов» или «Н. Лайбов» — подпись под некоторыми статьями Н. А. Добролюбова в «Современнике».

[117] Н. Н. Булич после студенческих волнений в Казанском университете, в конце 1859 г. (см. Н. А. Фирсов, Студенческие истории в Казанском университете, 1855—1863 гг. — «Русская старина», 1889, № 4, стр. 96—106), был, как сам он рассказывает в автобиографии, «совершенно не по заслугам, а без сомнения по приязни и по влиянию некоторых знакомых профессоров... выбран в Петербургском университете на кафедру философии... Рукоплескания казанские и разные доносы помешали, однако, начальству утвердить выбор Петербургского у‹ниверсите›та» (С. А. Венгеров, Критико-биографический словарь, т. VI, СПб. 1897—1904, стр. 129—130).

[118] Речь идет, повидимому, о статье В. К. Ржевского «Взгляд на теорию бюрократической администрации» («Русский вестник», 1860, № 20).

[119] *Воскресные школы* для взрослых в большом числе стали возникать в конце 50-х гг. по инициативе кружков прогрессивной интеллигенции как одно из проявлений нараставшего общественно-революционного подъема. Первая воскресная школа была организована в Киеве в 1859 г., а два года спустя по всей России насчитывалось уже 274 воскресных школы, в том числе 28 — в Петербурге. Широкий размах общественной инициативы обеспокоил царское правительство. 18 декабря 1860 г. шеф жандармов Долгоруков в специальной докладной записке царю предлагал «принять безотложные и деятельные меры», так как нельзя допустить, «чтобы половина народонаселения была обязана своим образованием не государству, а себе или част-

ной благотворительности какого-либо отдельного сословия». См. запись 5 января 1861 г.

[120] Очевидно, «Легенда об испанской инквизиции» («Время», 1861, № 1).

[121] Н. И. Пирогов, достигший громадной популярности после Крымской войны, был назначен попечителем сперва Одесского (1856), а позже Киевского учебного округа (1858). Однако он не пользовался симпатиями Александра II, которого раздражали независимость поступков и суждений Пирогова, настойчивые его стремления расширять сеть учебных заведений. Отставка Пирогова, давно уже подготовлявшаяся, была осуществлена в начале 1861 г. «Колокол» отметил, что «отставка Н. И. Пирогова — одно из мерзейших дел России дураков против России развивающейся» (л. 100, 1861, 1 июня; ср. «Колокол», л. 97, 1861, 1 мая).

[122] Из четырех выбывавших по уставу членов комитета Литературного фонда К. Д. Кавелин был помощником председателя, Никитенко — членом комитета. Вместо выбывших в общем собрании Литературного фонда 2 февраля 1861 г. были избраны Н. В. Калачев, И. Н. Березин и П. М. Ковалевский («XXV лет, 1859—1884», Сборник, СПб. 1884, стр. 14).

[123] Можно предполагать, что *гонения* со стороны председателя Московского цензурного комитета М. П. Щербинина имели целью заставить Н. Ф. Павлова изменить направление «Нашего времени» (1860—1863), ведшегося в течение первого года в умеренно-либеральном духе. Не сумев противостоять цензурному натиску, не устояв перед посулами, Павлов сдался: в октябре 1861 г. он согласился сделать свою газету «соответствующей видам правительства», получил правительственную субсидию и ряд льгот (ср. ниже запись 28 октября 1861 г.; также Герцен, XV, 56—63). О дальнейшей судьбе «Нашего времени» см. Ф. Ф. Воропонов, Сорок лет тому назад. По личным воспоминаниям («Вестник Европы», 1904, № 6, стр. 760).

[124] Как записал В. Ф. Одоевский в дневнике, посещение Никитенко было связано с предположениями организации новой газеты: «Никитенко просил моего содействия по «Народной газете», им же проектируемой» («Литературное наследство», кн. 22—24, 1935, стр. 125).

[125] Повидимому, объяснение Никитенко правильно расшифровывало намеки «астрономического предсказания» «Искры» (1861, № 1); во всяком случае III отделение вынуждено было с ним согласиться и отказаться от всяких претензий к редакции журнала.

[126] 28 января 1861 г. Государственный совет приступил к обсуждению окончательного проекта крестьянской реформы; на первом

заседании председательствовал сам Александр II, обратившийся к членам Совета с речью. В ней были слова, привлекшие внимание Никитенко, но вместе с тем были также заверения, что проект не предполагает какого бы то ни было ущемления экономических привилегий помещиков. «Я надеюсь, — говорил он, — что при рассмотрении проектов, представленных в Государственный совет, вы убедитесь, что все, что можно было сделать для ограждения выгод помещиков, сделано». Обсуждение законопроекта в Государственном совете подробно изложено в воспоминаниях П. П. Семенова-Тян-Шанского «Эпоха освобождения крестьян в России (1857—1861 гг.), в воспоминаниях бывшего члена-эксперта и заведывавшего делами редакционных комиссий», Пгр. 1916, стр. 387—428; а также в «Колоколе», л. 93, 1 марта 1861 г., стр. 787—788. Ср. дневниковую запись В. Ф. Одоевского 5 февраля 1861 г. («Литературное наследство», кн. 22—24, 1935, стр. 127).

127 Слухи о явлении генералу Д. В. Путяте, поселившемуся в бывшей квартире Ростовцева, тени умершего владельца квартиры распространялись крепостниками. Путята утверждал, что Ростовцев якобы «поручил ему сказать свое мнение по крестьянскому вопросу» («Литературное наследство», кн. 22—24, 1935, стр. 126).

128 *Статья П. Л. Лаврова* — «О современном значении философии. Три лекции, прочитанные публично в Пассаже 22, 25 и 30 ноября 1860 г. в пользу Литературного фонда» («Отечественные записки», 1861, № 1, стр. 31—142). Либералу Никитенко, напуганному обстановкой революционного подъема, позитивист-эклектик Лавров казался воплощением всех «ужасов» материализма и революции. На деле Лавров не был материалистом. В своих лекциях он развивал идеалистическую теорию о личности как главном двигателе истории, которая позднее легла в основу его «Исторических писем» (1868—1869) — одного из основных теоретических источников народничества. Идеалистические взгляды Лаврова, развитые в его лекциях, резко критиковали материалисты М. А. Антонович («Два типа современных философов» — «Современник», 1861, кн. 4) и Д. И. Писарев («Схоластика XIX века» — «Русское слово», 1861, №№ 5 и 9). В слепой ненависти к материализму Никитенко склонен был его обнаружить и у Лаврова; поэтому он вел длительную борьбу против допуска Лаврова на кафедру философии Петербургского университета, в ходе которой реакционные «жрецы науки» противопоставили Лаврову кандидатуру Ф. Сидонского. В сохранившемся тексте дневника борьба эта отражена далеко не полно. В частности, повидимому, С. А. Никитенко были исключены записи об упомянутых лекциях Лаврова, привлекших к себе большое внимание общественности; см., напр., Е. А. Штакеншнейдер, Дневники

и записки, «Academia», 1934, стр. 363—364; Л. Ф. Пантелеев, Из воспоминаний прошлого, «Academia», 1934, стр. 585 и др.

[129] Отмена речи Костомарова («О значении критических трудов К. Аксакова по русской истории» — «Русское слово», 1861, № 2) объяснялась опасением учебного начальства (а возможно, и III отделения) студенческих демонстраций по адресу одного из любимых профессоров (Сергей Гессен, Студенческое движение в начале шестидесятых годов, М. 1932, стр. 45—46). Как рассказывает сам Костомаров, П. А. Плетнев, выступив перед студентами, уверил их, что речь Костомарова будет прочитана в ближайшие дни на публичном литературном вечере. «Действительно, спустя три или четыре дня я читал публично свою речь при многочисленном стечении публики» («Автобиография Н. И. Костомарова», М. 1922, стр. 275). Чтение это подало повод для новой студенческой демонстрации: по окончании лекции «слушатели, не ограничиваясь своими оглушительными аплодисментами, подняли его в кресле высоко над толпою и торжественно вынесли из зала» (А. М. Скабичевский, Литературные воспоминания, М. 1928, стр. 146)

[130] Настоящая запись, несомненно, связана с упоминанием о статье Лаврова 5 февраля 1861 г.; в последней записи при переписке была исключена фраза (или несколько фраз) о каком-то готовившемся цензурном вмешательстве. За утратой оригинала дневника связь эта не восстановима.

[131] 19 февраля 1861 г. Александр II подписал Положение о крестьянах и манифест о реформе. Однако оба документа были опубликованы лишь 6 марта, так как царское правительство опасалось народных волнений. Как рассказывал в своих записках один из сотрудников «Колокола» Э. Р. Перцев («Красный архив», т. XVI, 1926, стр. 118—164), «задолго до наступления 19 февраля 1861 года... распространилось в Петербурге общее убеждение, что в этот день будет объявлена воля крепостным людям. Нельзя было ни одного простолюдина уверить, что и этот день пройдет так же напрасно, как и многие предшествовавшие дни, заранее отмеченные народным ожиданием» (стр. 124). Опасаясь народных волнений, петербургский генерал-губернатор П. Н. Игнатьев 17 февраля опубликовал («Ведомости С.-Петербургской полиции», 1861, № 39) то *странное объявление*, о котором упоминает Никитенко и которое, конечно, не могло успокоить «взволнованных ожиданий». Поэтому 13 февраля в «Северной пчеле» (1861, № 40) появилась статья, написанная по внушению самого министра внутренних дел С. С. Ланского. В ней многозначительно заявлялось: «Мы поспешили осведомиться о настоящем положении крестьянского вопроса и узнали из достоверного источника, что можно надеяться, что в седьмой год

царствования Александра II, в предстоящие дни молитвы и поста, свершится давно ожидаемое народное событие». При всем том правительство не было спокойно и готовилось к подавлению предполагаемых «волнений» и «беспорядков». «Накануне 19 февраля, — рассказывает Э. Р. Перцев, — было заготовлено в каждом съезжем доме (а их в Петербурге тринадцать) по нескольку возов, от двух до шести, розог. Полицейские, когда их спрашивали, зачем им вдруг понадобились розги в таком огромном количестве, не запинаясь, хотя и шепотом, отвечали: «Для сечения дворовых людей, которые перестанут слушать своих господ». — В каждый съезжий дом была секретно введена рота солдат с заряженными ружьями, под командой офицера, которому приказано повиноваться полицейскому начальству и стрелять, в кого оно велит. — Полиция созвала дворников со всех домов и приказала им наблюдать, чтобы ни внутри двора, ни на улице перед домом не собиралось более трех человек и чтобы они подслушивали, не говорит ли кто об освобождении помещичьих крестьян, а также и присматривали бы, не окажется ли у кого гостей более трех человек, хотя бы и за карточным столом, и обо всем этом немедленно давали бы знать надзирателю своего квартала. При этом полиция обещала 5 рублей за донос и 20 розог в случае, если о чем-нибудь из сказанного сама узнает мимо дворника... Фабрикантов, имеющих заведения в городской черте и в окрестностях Петербурга, полиция обязывала задать с вечера приходящим рабочим такие уроки, чтобы они не могли исполнить их ранее утра и утомлением были бы доведены до необходимости отдыхать весь день 19 февраля, а рабочих, живущих на фабрике, не выпускать из квартир во весь этот день» (стр. 127—128; ср. «Литературное наследство», кн. 22—24, 1935, стр. 129). По Петербургу были удвоены ночные патрули; воинские части, расположенные в Петербурге, были приведены в боевое положение, солдатам розданы боевые патроны, пушки заряжены. Были усилены также караулы Зимнего дворца; на 19 февраля были отменены традиционные придворные церемонии («развод», «выход» и др.). Наконец, тот же Перцев рассказывает: «Вечером 18 февраля приехали в Зимний дворец оба графа Адлерберга, отец и сын, Сухозанет, князь Долгорукий, Игнатьев, Муравьев и Чевкин и объявили, что они явились охранять особу царя и царское семейство. Надобно заметить, что все эти господа — самые упрямые и ярые противники освобождения крестьян... По всей вероятности, они явились во дворец не с тем, чтобы положить за царя свои головы, а с тем, чтобы самим спрятаться... Все вышеозначенные почтенные и надежные хранители престола провели всю ночь с 18 на 19 февраля в Зимнем дворце и разъехались по домам уже поздним утром» (стр. 129—130). Слух об этом «всенощном бдении» царедворцев и

императорском дворце дошел и до Герцена, который упомянул о нем (с неверным приурочением к 5 марта) в заметке «День страха» («Колокол», л. 95, 1 апреля 1861 г.; Герцен, XI, 63).

[132] 13 и 15 февраля 1861 г. в Варшаве состоялись две демонстрации в память так называемого Гроховского сражения (1831 г.) между польскими повстанцами и русскими войсками. По приказу генерала Заблоцкого отряд казаков не допустил демонстрантов ко дворцу наместника; при разгоне демонстрации было убито пять человек. А. И. Герцен отмечал в «Колоколе», что один из офицеров отказался передать приказ о стрельбе по безоружным демонстрантам, а некоторые солдаты стреляли в воздух. Залп Заблоцкого, писал Герцен, «разбудил многих, он показал, какие звериные возможности гнездятся и живут, притаившись, в кавернах Зимнего дворца и какие инструкции даны полубезумным и полутатарским наместникам и баскакам. И не это одно обличал на́больший царских убийц: он обличал, что их время миновало, что русский офицер перестал быть рабом, палкой, штыком в руках Заблоцких и других негодяев, выслуживающихся кровью невинных жертв. Отказавшийся исполнить преступный приказ спас честь России!» («Колокол», л. 94, 15 марта 1861 г.; Герцен, XI, 47).

[133] В докладной записке, приложенной к *инструкции* барона Н. В. Медема, говорилось: «Нужно было бы не только запретить всякие рассуждения о либеральных мыслях и всякие объяснения политического устройства европейских государств, но не допускать даже сообщения большей части заграничных происшествий». Действенным средством к обузданию печати Медем считал составление возможно более подробных инструкций для цензоров — на любые случаи, которые могли бы встретиться в их практике (ЦГИАЛ. Дело Главного управления цензуры, 1861, № 32; «Исторические сведения о цензуре в России», СПб. 1862, стр. 120—122).

[134] Бывший профессор Киевского университета И. В. Вернадский издавал журнал «Указатель экономический, политический и промышленный» в духе либерального фрондерства. Либеральную суть этого фрондерства систематически разоблачали Добролюбов и Чернышевский; последний, в частности, в ряде статей (например, о работах Гакстгаузена «Об земельной собственности» и др.) уничтожающе оценивал экономические «теории», пропагандировавшиеся Вернадским.

[135] Записав о *всеобщей любви и уважении* к П. А. Вяземскому, Никитенко выразил настроения весьма ограниченного круга читателей, чтивших в Вяземском не прогрессивного некогда критика, друга Пушкина и многих декабристов, а придворного сановника. Писатели-демократы относились к Вяземскому враждебно. Враждебность прогрессивного лагеря (вызванная также деятельностью Вяземского

на посту товарища министра народного просвещения и рядом его лжепатриотических, шовинистических стихотворений, время от времени появлявшихся в печати) отразилась и в ряде журнальных и газетных откликов на юбилей (см. Барсуков, XVIII, стр. 292—362). Официальное описание юбилея дано в специальной брошюре: «Юбилей пятидесятилетней литературной деятельности академика князя П. А. Вяземского», СПб. 1861.

[136] Запись Никитенко сделана в духе официальных умилений перед величием акта «освобождения», перед благостью «царя-освободителя». Тем показательнее отмеченное Никитенко разочарование широких народных масс. Подробно и обстоятельно о настроениях народа рассказывает Э. Р. Перцев. По его словам, после 19 февраля ожидание народных волнений не прекратилось; генералам свиты и флигель-адъютантам, отправлявшимся по губерниям для объявления царского манифеста о «воле», было приказано, «в случае надобности, употреблять войска по своему усмотрению». «Вдруг 5 марта, в 9 часов утра, разнеслась по всему городу весть, что на улицах прибиты объявления полиции об освобождении крестьян... Я поспешил выйти из дому, чтобы не потерять случай видеть первое впечатление народа, так давно и терпеливо ожидавшего воли... Сколько я ни пытался заговаривать с извозчиками... и с мужиками... — ни одна душа не выразила ни радости, ни горя... На спрос, читали ли манифест о воле, я получал ответы либо неопределенные и уклончивые, либо вроде следующих: «Я неграмотный, не читал, а слышал, давеча говорили, что дворовым будет воля через два года, а крестьянам — еще не скоро...»; «Был я за обедней, читали какую-то афишу, да я не расслышал; сказывают, что волю-то еще надо ждать, а теперь только так...»; «Как же, принялся было читать, да что-то в толк ничего не взял, так и не дочел, ведь все это для господ писано, а не для нас...»; «Не знаю, вправду ли говорят, будто воли-то совсем нет: отложили еще, кто говорит — на два года, а кто говорит — на десять лет...» Вот все, что в день 5 марта я мог добыть из замкнутых уст народа... Нет никакого сомнения, что этот день 5 марта будет впоследствии прославлен царскими льстецами и бюрократами как день исторический и высокоторжественный, но для народа он имеет одно значение близкой надежды на освобождение, хотя и среди этой самой надежды встает, как привидение, вопрос, будет ли лучше и легче, чем теперь» («Красный архив», т. XVI, 1926, стр. 143—146). Приведенные наблюдения выразительно рисуют глубокое разочарование, которое начинало охватывать многомиллионное крестьянство при объявлении «воли». В. И. Ленин писал об этом: «Крестьян «освобождали» в России сами помещики, помещичье правительство самодержавного царя и его чиновники. И эти «освободители» *так* повели

дело, что крестьяне вышли «на свободу» ободранные до нищеты, вышли из рабства у помещиков в кабалу к тем же помещикам и их ставленникам». Вместе с тем, как указывал Ленин, «падение крепостного права встряхнуло весь народ, разбудило его от векового сна, научило его самого искать выхода, самого вести борьбу за полную свободу» (Сочинения, т. 17, стр. 65).

[137] Размышления Никитенко о *критическом положении* университета связаны с непрекращавшимися студенческими волнениями. Вскоре после инцидента на университетском акте (см. выше, запись 8 февраля 1861 г.) масса студентов приняла участие в панихиде по полякам, убитым в Варшаве при разгроме манифестации 13 февраля 1861 г. (Л. Ф. Пантелеев, Из воспоминаний прошлого, «Academia», 1934, стр. 95—96; «Автобиография Н. И. Костомарова», М. 1922, стр. 276), а еще несколько дней спустя — в похоронах Т. Г. Шевченко. Оба эти события (на них Никитенко намекает в записи 13 марта 1861 г.) превратились в политические противоправительственные демонстрации, в которых участвовали также некоторые профессора. Университетское начальство, не чувствуя себя в силах справиться со студентами путем полицейских репрессий, вынуждено было обратиться за помощью к профессорам, хотя по университетскому уставу последние устранялись от общественного влияния на студентов. В марте 1861 г. главе либеральной профессуры К. Д. Кавелину было поручено составить комиссию для упорядочения «студенческой общины». Комиссия пригласила «для выслушания желаний студентов» выборных лиц от студенчества (В. Д. Спасович, Сочинения, т. IV, СПб. 1891, стр. 25—28). Эти попытки привлечения студентов к решению вопросов университетской жизни, несмотря на их благонамеренный и компромиссный характер, вызвали в консервативных и охранительных кругах сильное негодование.

[138] *Заметки* Никитенко были связаны с предположениями восстановить преподавание философии в университете, которое, как указывалось в примечаниях к т. 1 настоящего издания (прим. 271). в 1850 г. было заменено преподаванием логики и «опытной психологии».

[139] Докладная записка цензора Берте от 11 марта 1861 г. напоминала, что еще в 1860 г. «было обращено внимание Главного управления цензуры на вредное направление некоторых статей журнала «Современник», старавшихся разрушить укоренившиеся убеждения русских читателей в общих истинах и стремившихся создать новые основы для законодательства, философского мышления, политического положения общества, социальной и семейной жизни, значения женщины и т. д.». «Тот же дух порицания, часто в виде насмешки над государственными, сословными, церковными отношениями», — отмечал

цензор в последней, февральской книжке «Современника» на материале романа Г. Н. Потанина «Старое старится, молодое растет», статей Филиппова и Чернышевского. Записка Берте легла в основу постановления Главного управления цензуры: «Сделать цензору (Бекетову. — *И. А.*) строгий выговор, а редакции сделать (второе. — *И. А.*) предостережение, что если она не переменит направления, то журнал подвергнется запрещению» (В. Евгеньев-Максимов, «Современник» при Чернышевском и Добролюбове, Л. 1936, стр. 486—490). Ср М. В. Львова, Как подготовлялось закрытие «Современника» в 1862 г. («Исторические записки», кн. 46, 1954, стр. 305—320).

[140] Разговор о стихах воинствующего славянофила А. С. Хомякова вызван выходом их в свет отдельным изданием («Стихотворения», М. 1861).

[141] М. И. Семевский работал в это время над рядом исторических очерков, основанных на архивных материалах петровской Тайной канцелярии: «Фрейлина Гамильтон, исторический очерк. 1719 г.» («Отечественные записки», 1860, № 9), «Наталья Федоровна Лопухина, 1699—1763 гг.» («Русский вестник», 1860, № 17), «Слово и дело» («Светоч», 1861, №№ 3, 4), «Сторонники царевича Алексея» («Библиотека для чтения», 1861, №№ 5, 6) и др.

[142] О публичных лекциях В. И. Ламанского см. «Отечественные записки», 1861, № 7; «Русский инвалид», 1861, № 78. Позднее материал лекций был использован Ламанским для «биографического очерка» «Ломоносов» («Отечественные записки», 1863, №№ 1—2, и отд.: СПб. 1864) и статьи «Ломоносов и Петербургская Академия наук» («Чтения в Обществе истории и древностей российских», 1865, № 1). В своем очерке Ламанский отмечал, что «в целой России в начале XVIII в. едва ли была какая иная область, кроме Двинской земли, с более благоприятною историческою почвою и более счастливыми местными условиями для произведения такого общественного деятеля, каким был Ломоносов» (стр. 26).

[143] Настоящая запись отмечает благополучное окончание длительных хлопот Некрасова о разрешении второго издания своих «Стихотворений» (см. выше, прим. 114). Замечание Никитенко относительно «заступничества» А. В. Адлерберга подтверждается запиской Некрасова, опубликованной В. Е. Евгеньевым-Максимовым («Некрасов как человек, журналист и поэт», ГИЗ, 1928, стр. 237).

[144] Стихотворение А. Н. Майкова «Бабушка» опубликовано в его сборнике «Новые стихотворения (1858—1863)» (М. 1864).

[145] Речь идет о разрешении славянофилу И. С. Аксакову издавать газету «День». Разногласия в среде правительственной верхушки, отдельные представители которой были склонны видеть

в Аксакове чуть ли не «опасного революционера», дали повод Александру II передать вопрос на разрешение Комитета министров; здесь в конце концов ходатайство Аксакова было удовлетворено. «День» начал выходить с 15 октября 1861 г. Наряду с борьбой за осуществление славянофильско-патриархальных идеалов Аксаков повел яростную борьбу с революционно-демократическими и национально-освободительными идеями.

[146] Об экзаменах этих рассказывает также Н. И. Костомаров, которого собственно имеет в виду Никитенко, упоминая о «наиболее популярном» из профессоров: «Я... не мог без смеха слушать их ответов, обличавших такое невежество, какое непростительно было бы и для порядочного гимназиста. Так, например, один студент... не мог ответить, на какой реке лежит Новгород; другой — не слыхал никогда о существовании самозванцев в русской истории; третий... не знал о том, что в России были патриархи, и не мог ответить, где погребались московские цари» («Автобиография Н. И. Костомарова», М. 1922, стр. 296). Костомаров ошибочно относит эти экзамены к самому концу 1861 г.

[147] Запись Никитенко является важнейшим свидетельством, получившим значение первоисточника, о намерении Александра II расправиться с университетами. См. С. В. Рождественский, Исторический обзор деятельности министерства народного просвещения, 1802—1902 (СПб. 1902, стр. 364).

[148] Е. В. Салиас хлопотала через Никитенко о соединении издававшейся ею газеты «Русская речь» с газетой «Московский вестник» (два ее письма к Никитенко об этом см. «Русская старина», 1898, № 5, стр. 344—345). В связи с решением Главного управления цензуры отстранить В. Р. Зотова от редактирования «Иллюстрации» последний обращался к Никитенко с просьбой быть его заступником «в деле, еще небывалом в нашей журналистике» («Русская старина», 1899, № 11, стр. 374). По ходатайству Никитенко, дело пересматривалось, о чем упоминается в записи 6 мая 1861 г.

[149] Никитенко записывает о так называемой «Бездненской трагедии» по очень отдаленным слухам, искажая смысл и ход событий (ср. также запись 1 мая 1861 г.). Как явствует из официальных документов, крестьянин с. Бездна, Спасского уезда, Казанской губ., Антон Петров после опубликования «Положения» «принял на себя обязанность читать крестьянам Положение»... Большие массы народа ежеминутно стали стекаться в с. Бездну слушать его толкование, так что к 12 апреля... там собралось до 5000 человек из разных даже отдаленных деревень и уездов и угрожали общим восстанием Казанской губернии». Петров утверждал, что по Положению вся земля переходит к крестьянам, и призывал крестьян не ходить

на барщину, не платить оброка, забирать хлеб из барских амбаров. Вызванные войска расстреляли восставших крестьян, причем, по официальным данным, было убито 51 и ранено 77 человек; по свидетельству же бывшего на месте происшествия врача, общее количество потерпевших доходило до 350 человек. Антон Петров был расстрелян по приговору военного суда, предрешенному телеграммой Александра II. Бездненская трагедия является выразительной иллюстрацией к словам В. И. Ленина: «В России в 1861 году народ, сотни лет бывший в рабстве у помещиков, не в состоянии был подняться на широкую, открытую, сознательную борьбу за свободу. Крестьянские восстания того времени остались одинокими, раздробленными, стихийными «бунтами», и их легко подавляли» (Сочинения, т. 17, стр. 65). Документы о Бездненском восстании опубликованы в книгах «Бездненское восстание 1861 г. Сборник документов». Общая редакция А. И. Ямпольской и Д. С. Гутмана, Казань 1948, и «Крестьянское движение в 1861 году, после отмены крепостного права, чч. I и II. Донесения свитских генералов и флигель-адъютантов, губернских прокуроров и уездных стряпчих», М.—Л. 1949. После бездненского расстрела студенты Казанского университета и Духовной академии устроили 16 апреля 1861 г. панихиду-демонстрацию по убитым. С речью выступил профессор истории А. П. Щапов, предсказывавший, что жертва, принесенная в Бездне, «воззовет народ к восстанию и свободе», и закончивший свою речь требованием демократической конституции. Щапов был арестован, лишен кафедры и сослан. См. П. Кабанов, Общественно-политические и исторические взгляды А. П. Щапова, Госполитиздат, 1954; А. З. Попельницкий, Панихида по убитым крестьянам... в апреле 1861 г. («Голос минувшего», 1917, № 9—10, стр. 90—107).

[150] Д. П. Хрущов, как в настоящее время установлено, был одним из тайных корреспондентов «Колокола», сообщавшим Герцену некоторые секретные документы («Литературное наследство», кн. 22—24, 1935, стр. 257, 275; кн. 41—42, 1941, стр. 613). Кроме того, им анонимно, под великим секретом, изданы «Материалы для истории упразднения крепостного состояния помещичьих крестьян в России в царствование императора Александра II», тт. I—III, Берлин 1860—1862 (авторство Хрущова раскрыто в «Европейце», 1864, № 5, стр. 18).

[151] *Арендой* называлась денежная прибавка к жалованью, дававшаяся крупным чиновникам в виде награды по службе на определенный срок.

[152] О своеобразной пестроте собраний у Е. П. Ковалевского рассказывает его племянник П. М. Ковалевский: «В его гостиной сливались потоки, до тех пор еще не сливавшихся, отборных сил администрации и литературы. Здесь отмеченный на министерский пост

А. В. Головнин селезнем переваливался за Чернышевским, уловляя его руку, которой тот ему не давал пожать, а настоящие министры, и первый в их числе Горчаков... испытывали в присутствии пишущего народа... особенную приятность чего-то не совсем позволительного... Писатели с своей стороны получали возможность созерцать вблизи тех, которые представлялись им только на расстоянии» (Д. В. Григорович, Литературные воспоминания. С приложением полного текста воспоминаний П. М. Ковалевского, Л. 1928, стр. 331—332). Чернышевского связывала с Е. П. Ковалевским совместная работа в комитете Литературного фонда.

[153] В ряде мест дневника Никитенко упоминает о крестьянских восстаниях, изображая их бессмысленными и страшными «бунтами» черни и основываясь при этом по большей части на сообщениях помещиков и бюрократов-крепостников. Большой документальный материал о подлинных настроениях крестьянских масс, о крестьянских восстаниях сведен в сборниках «Крестьянское движение в 1861 г. после отмены крепостного права», ч. 1—2, М.—Л. 1949; «Отмена крепостного права. Доклады министров внутренних дел о проведении крестьянской реформы 1861—1862 гг.», М.—Л. 1950. Ср. также П. А. Зайончковский, Отмена крепостного права в России, М. 1954.

[154] Речь идет о циркуляре Главного цензурного комитета от 28 апреля 1861 г. с предписанием не допускать «в сочинениях и статьях личностей» и «ни в коем случае» не дозволять «оглашения подлинных фамилий в рассказах о происшествиях, предосудительных для нравственности приводимых в них лиц» («Сборник постановлений и распоряжений по цензуре с 1720 по 1862 год», СПб. 1862, стр. 460—461). Для усиления действия этого циркуляра, направленного против демократической литературы, в нем оговаривалось, что «напечатание статьи в одном периодическом издании не дает права к перепечатанию оной в других повременных изданиях без нового цензурного рассмотрения» (там же, стр. 461).

[155] Речь идет о докладе комиссии, назначенной Александром II для рассмотрения предположений Ковалевского о «коренном преобразовании университетов относительно обучающихся в них студентов». Комиссия в составе махровых реакционеров — графа Строганова, Панина и князя Долгорукова — проектировала такие меры, как ограничение числа вольнослушателей, а также студентов, освобождаемых от оплаты за обучение, и пр. (С. В. Рождественский, Исторический очерк деятельности министерства народного просвещения, 1802—1902, СПб. 1902, стр. 365). Несмотря на тайну, окружавшую как деятельность комиссии, так и обсуждение ее предложений в Совете министров, сведения о той и другом проникли в печать, и «Колокол»

посвятил этому вопросу заметку «Гонение на университеты» (лл. 98—99, 15 мая 1861 г., стр. 836), которую Лемке приписывает Герцену (Герцен, XI, 98).

[156] Имеется в виду официальное сообщение о «Бездненской трагедии»; см. выше, примечание 149.

[157] Имеется в виду «История России с древнейших времен» С. М. Соловьева; тт. X и XI посвящены царствованию Алексея Михайловича.

[158] Пржецлавский утверждал, что единственно полезною мерой «для сообщения литературе иного направления» было бы «склонение к иному образу мыслей или действия самих редакторов», привлечение их к судебной и административной ответственности «за статьи неодобрительного содержания» (ЦГИАЛ. Дело Главного управления цензуры, 1861, № 32; ср. «Исторические сведения о цензуре в России», СПб. 1862, стр. 122).

[159] Шутливая перефразировка строфы стихотворения Пушкина «К морю»:

Прощай же, море! Не забуду
Твоей торжественной красы
И долго, долго слышать буду
Твой гул в вечерние часы.

[160] Еще перед каникулами комиссия из нескольких профессоров университета выработала новые правила для студентов. Правила эти были утверждены Путятиным с изменениями, которые резко меняли самый смысл их; категорически запрещались, например, выборные студенческие должности, студенческие библиотека и касса взаимопомощи передавались в ведение университетского начальства, вводились билеты для входа в университет (матрикулы), студенты, не выдержавшие переводных испытаний, подлежали исключению и т. д. После того как возражения профессоров не были приняты во внимание, совет университета 6 сентября «подписал единогласно протокол, в котором было выражено, что совет не может представить ни одного кандидата для занятия должности проректора, по причине трудного положения, в которое поставлен будет проректор по измененным правилам для студентов» (В. Д. Спасович, Сочинения, т. IV, СПб. 1891, стр. 34). «Трудность положения» заключалась в том, что по новым правилам проректору присваивались полицейские функции. Ср. С. Ашевский, Русское студенчество в эпоху шестидесятых годов («Современный мир», 1907, № 9, стр. 70—71).

[161] Сообщение *киевского ученого* является одной из реакционных сплетен, имевших целью приглушить впечатление от многочисленных проявлений симпатии и уважения, которыми провожала опального попечителя Н. И. Пирогова прогрессивная киевская общественность.

[162] Появление летом 1861 г. политических прокламаций составляет одну из характерных черт сложившейся в России революционной ситуации. Первой прокламацией, распространенной в июле 1861 г., был листок «Великорусс» № 1, за которым в сентябре последовали также №№ 2 и 3. Первый номер «Великорусса» обращался к «образованным классам» России с призывом «взять в свои руки ведение дел из рук неспособного правительства, чтоб спасти народ от истязаний». Следующие два номера развивали вопрос о введении в России конституции, принятой учредительным собранием, подвергали резкой критике крестьянскую «реформу», требовали освобождения Польши (см. ниже прим. 166, 183). Состав Комитета, от имени которого выпускался «Великорусс», до сих пор не выяснен точно; возможно, что он не был оформившейся революционной организацией. См. Мих. Лемке, Очерки освободительного движения шестидесятых годов, СПб. 1908, стр. 359—398 — специальный очерк, посвященный процессу «великоруссцев» по материалам III отделения.

[163] В Москве еще с середины XVIII в. находилось отделение сената, с ограниченными функциями.

[164] В позднейшей автобиографической записке П. Л. Лавров писал, что в 1862 г. он «искал кафедры философии в Петербургском университете, но условия, введенные новым уставом, положили конец этому делу, для которого Лавров представил уже программу предполагавшегося курса. Когда устроены были курсы в думе, студенты предложили Лаврову читать там курс философии, но это ему не было дозволено» (П. Л. Лавров, Избранные сочинения, т. 1, М. 1934, стр. 79). Разговоры о приглашении Лаврова в состав университетских преподавателей, как указывалось выше, начались еще в конце 1860 г.; они возобновились в сентябре 1861 г., после того как предпочтенный Лаврову Н. Н. Булич не получил утверждения министерства (см. Л. Ф. Пантелеев, Из воспоминаний прошлого, «Academia», 1934, стр. 584—585).

[165] Прокламация «К молодому поколению» была написана Н. В. Шелгуновым совместно с М. И. Михайловым, отпечатана в лондонской типографии Герцена и распространена в начале сентября в Петербурге, «с большим шумом и замечательной смелостью» (Н. В. Шелгунов, Воспоминания, ГИЗ, 1923, стр. 136). Составители прокламации призывали к свержению самодержавия и установлению «власти разумной, власти, понимающей потребности страны и действующей в интересах народа»; они выставляли требования свободы слова, уничтожения сословных привилегий, ответственности всех чиновников снизу доверху перед народом, гласного суда, уничтожения полиции, сокращения армии. Прокламация требовала национализации всей земли с передачей ее в пользование земледельческим общинам,

открытым для вступления всех желающих, она призывала «молодое поколение» перейти от слов и «мечтаний» к «делу»: «Довольно дремать, довольно заниматься пустыми разговорами, довольно бранить правительство втихомолку или рассказывать все одни и те же рассказы об одних и тех же плутнях разных Муравьевых. Довольно корчить либералов, наступила пора действовать». Прокламация страстно призывала «молодое поколение» неустанно проводить разъяснительную работу среди народа, готовить народ и готовиться самим к близким революционным боям.

166 Второй номер «Великорусса» был посвящен крестьянскому и национальному (польскому) вопросам. В нем предлагалось «решить крестьянский вопрос в смысле, удовлетворительном по мнению самих крестьян, т. е. государство должно отдать им по крайней мере все те земли и угодья, которыми пользовались они при крепостном праве, и освободить их от всяких особенных платежей или повинностей за выкуп, приняв его на счет всей нации». Прокламация также требовала «безусловного освобождения Польши».

167 Неверные, явно провокационные слухи об аресте Н. Г. Чернышевского получили в это время довольно широкое распространение. Об этих слухах писал родным, — с целью успокоить их, — 3 октября 1861 г. сам Чернышевский, возвратившись из Саратова в Петербург (Н. Г. Чернышевский, Полное собрание сочинений, т. XIV, М. 1949, стр. 441). Обращает на себя внимание в записи Никитенко ее откровенно враждебный по отношению к Чернышевскому тон; враждебность эта — следствие антагонистических классово-общественных позиций либерала-монархиста Никитенко и революционного демократа Чернышевского, с особенной четкостью определившихся в 1860—1861 гг. Нелишне в этой связи напомнить об их отношениях на протяжении предшествовавших лет знакомства. Поступив осенью 1846 г. в Петербургский университет, Чернышевский в письмах к родным неоднократно упоминает о Никитенко, как об одном из лучших профессоров (см. Н. Г. Чернышевский, Полное собрание сочинений, т. XIV, стр. 54, 66, 91, 135 и др.). Несмотря на частые споры с Никитенко (см. Н. Г. Чернышевский, Полное собрание сочинений, т. I, М. 1940, стр. 190, 242 и др.), Чернышевский в 1850 г. пишет у Никитенко свое кандидатское сочинение (о «Бригадире» Фонвизина). Несколько позже Никитенко содействовал также защите магистерской диссертации Чернышевского — «Эстетические отношения искусства к действительности», тема которой была предложена им для одного из студенческих докладов. Однако Чернышевский разработал тему совершенно в ином плане, нежели это предполагал Никитенко. Последний одобрил диссертацию, не вникнув глубоко в ее материалистический смысл (см. Н. Бельчиков, Новые материалы о диссер-

тации Н. Чернышевского — «Красный архив», 1938, № 6, стр. 279—280, и Н. Г. Чернышевский, Полное собрание сочинений, т. XIV, М. 1949, стр. 242). 10 мая 1855 г. состоялся самый диспут, «чистая форма», по словам диспутанта. «Никитенко, — писал он родным 16 мая 1855 г. — возражал мне очень умно, другие, в том числе Плетнев, ректор, очень глупо. Впрочем, и Никитенко повторял только те сомнения, которые приведены и уже опровергнуты в моем сочиненьишке, которое, как ни плохо, все же основано на знакомстве с предметом, почти никому у нас не известным, потому и не может иметь серьезных противников, кроме разве двух-трех лиц, к числу которых не принадлежит ни один из людей, мне известных. Диспут продолжался очень недолго, всего полтора часа... Я думал, что придется мне говорить что-нибудь дельное в ответ на возражения или по крайней мере по поводу их, но они были так далеки от сущности дела, что и ответы мои должны были касаться только пустяков. Одним словом, диспут мог для некоторых показаться оживлен, но в сущности был пуст, как я, впрочем, и предполагал. Не предполагал я только, чтобы он был пуст до такой степени» (Н. Г. Чернышевский, Полное собрание сочинений, т. XIV, М. 1949, стр. 299—300). Пропущенная и одобренная факультетом диссертация Чернышевского вызвала тревогу в правительственных кругах, в частности в министерстве народного просвещения. Молодому магистру пришлось свыше трех лет ожидать утверждения в полученной степени и магистерского диплома.

[168] Пространная записка цензора Берте была посвящена разбору двух последних (за июль и август) книжек «Современника». Охарактеризовав направление журнала как антихристианское, антиправительственное, материалистическое и революционное, цензор заявлял: «По моему мнению, необходимо сделать редакции «Современника» последнее предостережение, а затем, если оно не будет принято ею в уважение в следующих книжках журнала, должно, для пользы государственной, испросить... решительное запрещение этого журнала» (ЦГИАЛ. Дело Главного управления цензуры, 1861, № 322; извлечения из докладной записки Берте даны в книге В. Е. Евгеньева-Максимова, «Современник» при Чернышевском и Добролюбове, Л. 1936, стр. 496—501; там же, стр. 501—505 — изложение дальнейшей судьбы этой записки; см. также ниже, запись 11 ноября 1861 г.).

[169] Говоря о революционной ситуации в России 1859—1861 гг., В. И. Ленин указывал на студенческие волнения как на один из существенных элементов тогдашнего общественного движения (Сочинения, т. 5, стр. 26). Первые студенческие волнения (Москва, 1858 г.) не имели политического характера, однако постепенно студенческое

движение перерастало в политическое, что вызывало все большую тревогу царского правительства. Введение новых реакционных «временных правил», имевших целью ограничить доступ в университет студентам-разночинцам, привело осенью 1861 г. к новой волне студенческих возмущений, которым в основном посвящены записи 23—30 сентября 1861 г. Никитенко в событиях этих дней занял подчеркнуто реакционную позицию, полностью поддерживая все мероприятия правительства. Последние слова данной записи имеют в виду прокламацию, вывешенную студентами утром 23 сентября в сборном зале университета. «Правительство, — говорилось в прокламации, — бросило нам перчатку, теперь посмотрим, сколько у нас наберется рыцарей, чтобы поднять ее». «Главное — бойтесь разногласий и не трусьте решительных мер. Имейте в голове одно: стрелять в нас не смеют: из-за университета в Петербурге вспыхнет бунт». И в заключение: «Энергия, энергия и энергия!.. Вспомним, что мы молоды, а в это время люди бывают благородны и самоотверженны; не пугайтесь ничего». Прокламация тогда же была перепечатана в «Колоколе»; «Материалы для истории гонения студентов при Александре II» (л. 116, 15 декабря 1861 г., стр. 966—968; ср. Сергей Гессен, Студенческое движение в начале шестидесятых годов, М. 1932, стр. 129—132).

[170] Ряд фактических дополнений к сообщениям Никитенко дает попечитель Филипсон в своем докладе министру; см. Сергей Гессен, Петербургский университет осенью 1861 г. (По неопубликованным материалам из архива А. В. Никитенко) («Революционное движение 1860-х годов. Сборник», М. 1932, стр. 13—14; там же, стр. 14—15 — о заседании совета университета).

[171] В ночь с 25 на 26 сентября 1861 г. были арестованы студенческие делегаты Михаэлис, Николай Утин, Ген, Стефанович и более двадцати других студентов, принимавших активное участие в демонстрации. Все они были препровождены в Петропавловскую крепость. Одновременно были произведены аресты также среди офицеров, участвовавших в демонстрации 25 сентября. О «волнениях» 27 сентября см. в донесении Филипсона министру от 28 сентября 1861 г. («Революционное движение 1860-х годов», стр. 16—17).

[172] Объявление Варшавы и всего Царства Польского на военном положении было вызвано опасением властей «новых возмутительных заявлений» (то есть демонстраций. — *И. А.*) в связи с днем памяти Т. Костюшко (1 октября), а также страхом перед нараставшим революционным подъемом в стране.

[173] М. И. Михайлов по доносу провокатора В. Костомарова был арестован 14 сентября 1861 г. Как вспоминает Н. В. Шелгунов, арест этот «произвел большое впечатление, особенно в литературном

кружке. Это был первый арест лица, уже имевшего известное общественное положение и популярное имя» («Воспоминания», Пгр. 1923, стр. 137; о многочисленных толках, вызванных арестом Михайлова, см. А. А. Шилов, Арест и суд над Михайловым — «Русское прошлое», сб. 2, 1923, стр. 142—153). Несколько дней спустя большая группа петербургских литераторов решила обратиться к министру народного просвещения с коллективным ходатайством за арестованного Михайлова (Герцен, XI, 263—264). В Москву для организации аналогичной петиции московских литераторов выехал Чернышевский, однако петиция эта была сорвана усилиями Каткова (Е. М. Феоктистов, Воспоминания. За кулисами политики и литературы, Л. 1929, стр. 99—100). 24 сентября 1861 г. Шувалов известил Долгорукова, что «литератор Михайлов» «сознался в составлении воззвания «К молодому поколению», вместе с Герценом и Огаревым, в привозе его сюда и в распространении» («Политические процессы 60-х гг.», кн. 1, ГИЗ, 1923, стр. 283). Слухи о «признании» Михайлова III отделение постаралось распространить возможно шире; запись Никитенко является отражением этих стараний. В настоящее время можно считать установленным, что «признание» Михайлова было вынуждено жандармами; см. М. И. Михайлов, Записки (1861—1862), Пгр. 1922; Мих. Лемке, Политические процессы в России 1860-х гг. (по архивным документам), ГИЗ, 1923, стр. 55—160; «Политические процессы 60-х гг.», кн. 1, ГИЗ, 1923, стр. 270—289.

[174] Наличные копии дневников Никитенко не позволяют расшифровать инициалы *камергера М. М.* с полной уверенностью. Позволительно, впрочем, предположить здесь ошибку переписчика, пропустившего в инициалах первую букву «Б»; в таком случае речь может идти о Болеславе Михайловиче Маркевиче, реакционном романисте, чиновнике министерства внутренних дел.

[175] «Совершенное удовлетворение» Никитенко возобновлением лекций и немногими явившимися студентами отнюдь не разделялось другими представителями профессорской корпорации. Даже такой умеренный либерал, как Н. И. Костомаров, писал 15—20 октября 1861 г. (письмо без начала и потому без даты) А. Д. Блудовой: «В субботу (т. е. 14 октября. — *И. А.*) я читал лекцию; набралось человек восемь. Но, признаюсь, как-то странно и неловко; точно как будто хозяева собираются на житье-бытье снова после пожара... Те восемь, что были у меня на лекции, пошли с неохотою, никто не записывал, никто меня не слушал, никто не смотрел на кафедру. Если еще таких две-три лекции... слуга покорный! Я уйду! Ученое изложение науки возможно только при дружелюбном, обоюдном согласии профессора с его аудиторией. Под палкою нельзя ни читать, ни

слушать науки» («Україна», 1926, кн. 5, стр. 85). Ошибается Никитенко также в том, что *день открытия университета... прошел благополучно:* в действительности перед университетом произошло столкновение студентов с полицией и войсками; в результате около трехсот студентов были схвачены и отправлены в Петропавловскую крепость и в Кронштадт (для содержания под арестом при казармах).

[176] Статья Д. И. Писарева «Схоластика XIX века» была напечатана в «Русском слове», 1861, №№ 5, 9. Выступление Никитенко по поводу этой статьи не нашло отражения в протоколах Главного управления цензуры; основные его положения были использованы месяц спустя в докладной записке Никитенко по поводу журналов «Русское слово» и «Современник» (см. запись 11 ноября 1861 г.).

[177] Речь идет о книге М. А. Корфа «Жизнь графа Сперанского», 2 тт., СПб. 1861. Ср. статью Н. Г. Чернышевского «Русский реформатор» («Современник», 1861, № 10; Н. Г. Чернышевский, Полное собрание сочинений, т. VII, М. 1950, стр. 794—827), использующую материал охранительной книги Корфа для того, чтобы раскрыть невозможность каких бы то ни было социальных реформ в России при сохранении самодержавия.

[178] В «С.-Петербургских ведомостях», 1861, № 207, помещено официальное изложение студенческих волнений в Петербургском университете.

[179] «Полемический» задор этой записи оказывается несостоятельным в свете действительных фактов: многочисленные свидетельства очевидцев московской студенческой демонстрации 12 октября 1861 г., которую имеет в виду Никитенко, согласно утверждают, что избиение студентов близ дома генерал-губернатора (куда студенты направились просить об освобождении своих арестованных товарищей) было организовано и осуществлено полицией и жандармами. Не довольствуясь этим, московская администрация стала распускать провокационные слухи, что «студенты... — это взбунтовавшиеся поляки... что студенты хотят возвращения крепостного права». См. Б. Козьмин, Из истории студенческого движения в Москве в 1861 году («Революционное движение 1860-х годов. Сборник», М. 1932, стр. 22—42); А. А. Титов, Студенческие беспорядки в Московском университете в 1861 году, М. 1905; Сергей Гессен, Студенческое движение в начале шестидесятых годов, М. 1932, стр. 86—108. Ср. также ниже, запись 21 ноября 1861 г.

[180] Возвращение Александра II в Петербург из Крыма, где он отдыхал, находилось в непосредственной связи со студенческими волнениями в Петербурге и Москве.

[181] Тактика *пассивного сопротивления* (т. е. саботажа) успешно применялась широкими массами венгерского народа в борьбе с попыт-

ками австрийского правительства централизовать управление страной, уничтожить (либо как можно более ограничить) национальную автономию Венгрии, подавить национально-освободительное движение. Сопротивление венгерского народа вынудило в конце концов австрийское правительство созвать в Будапеште венгерский ландтаг (февраль 1861 г.).

[182] *Ришельевский лицей* — учебное заведение гимназического типа, существовавшее в Одессе в 1817—1857 гг. и получившее свое название по имени новороссийского генерал-губернатора А. Ришелье. Мысль об организации университета в Одессе была высказана еще в середине 50-х гг. Н. И. Пироговым. К июню 1862 г. был выработан проект университета, однако его реализацию отодвинули политическое напряжение внутри страны, непрекращавшиеся студенческие волнения, польское восстание. Одесский («Новороссийский») университет был открыт только 1 мая 1865 г. См. А. И. Маркевич, Двадцатилетие Новороссийского университета, Одесса 1890; С. В. Рождественский, Исторический обзор деятельности министерства народного просвещения, 1802—1902, СПб. 1902, стр. 426—429.

[183] Третий номер «Великорусса», вышедший около 20 октября 1861 г. (считаем эту дату более точной, нежели предлагаемая М. К. Лемке — «конец сентября»; см. Мих. Лемке, Очерки освободительного движения шестидесятых годов, СПб. 1908, стр. 363), посвящен конституционным вопросам. Говоря о враждебности Александра II малейшим стремлениям к политической свободе, о применяемых по его приказам жестоких репрессиях и кровопролитиях, «комитет» «Великорусса» предлагает «на первый раз испытать мирные средства» и обратиться к царю с «адресом», написанным «в самом умеренном духе, чтобы все либеральные люди могли принять его». Изложенную в листке программу следует квалифицировать как одну из «политических утопий», которые, по словам В. И. Ленина, «тем легче возникают» и «тем дольше... держатся», «чем меньше свободы в стране, чем скуднее проявления открытой борьбы классов, чем ниже уровень просвещения *масс*» (Сочинения, т. 18, стр. 326). Приложенный к листовке «адрес» повторял ее основные мысли: требования конституции, создания правительства, «опирающегося на свободную волю самой нации», которое одно только и может «совершить те преобразования, без которых Россия подвергнется страшному перевороту».

[184] Проект Корфа *...сделать университеты совершенно открытыми для всех и каждого* предусматривал уничтожение всех прав и преимуществ, дававшихся университетским образованием. Эта мера, по мысли Корфа, должна была резко сократить число желающих вступить

в университеты — за счет беднейших классов, для которых университетское образование, естественно, связывалось с надеждами значительно улучшить свое положение. Университеты должны были стать рассадниками «чистой» науки»; это и побудило Никитенко подать свой голос за проект Корфа.

[185] В течение студенческих волнений осенью 1861 г. К. Д. Кавелин был руководителем либеральной профессуры. «Когда университет опустел, не быв даже официально закрыт», Кавелин подал в отставку. Вслед за ним вышли из университета также А. Н. Пыпин, В. Д. Спасович, М. М. Стасюлевич, Б. И. Утин (см. Собрание сочинений К. Д. Кавелина, т. II, СПб., стр. XXI—XXII).

[186] Речь идет о газете «Северная почта», редактором которой Никитенко был вскоре назначен и пробыл несколько месяцев (до № 124 за 1862 г.). Мысль о правительственной газете занимала Валуева едва ли не с самого его вступления в должность министра внутренних дел: в такой газете видел он одно из возможных средств воздействия на литературу, на читающую массу в духе защиты интересов самодержавия и борьбы с революционным движением.

[187] П. П. Дубровский докладывал свою работу «Петр Скарга, иезуит и проповедник польского короля Сигизмунда III» («Записки... Академии наук», 1862, т. I, кн. 2).

[188] Предлагавшаяся Никитенко относительно более мягкая «мера цензурного воздействия» по отношению к радикально-демократическому журналу «Русское слово» отнюдь не свидетельствовала о его симпатии к журналу. В своей докладной записке он дает журналу следующую резко-враждебную характеристику: «Русское слово» идет по стопам «Современника». Это его идеал, образец; а главный из сотрудников последнего, Чернышевский, для него есть величайший, единственный ум не только в России, но и во всей Европе, который один понимает все современные и даже будущие потребности человечества в России и один в состоянии удовлетворить этим потребностям в истинно социальном духе». Никитенко приводит ряд выписок из различных статей «Русского слова», сопровождая их злобными комментариями, вызываемыми популярностью, какую имеют статьи «Русского слова» среди «читающей публики», в частности среди «молодого поколения». «Можно без преувеличения сказать, — пишет он, — что настоящее молодое поколение большею частию воспитывается на идеях «Колокола», «Современника» и довершает свое воспитание на идеях «Русского слова». «Не подлежит никакому сомнению, — заканчивает Никитенко свою записку, — что журналы «Современник» и «Русское слово» производят у нас весьма важное влияние на массу читающей публики, особенно публики молодой. Направлению, в кото-

ром они издаются, должны быть положены преграды» («Русский архив», 1895, кн. II, стр. 225—228).

[189] Из опубликованных в «Русской старине», 1900, № 1, стр. 171—172, писем Д. А. Толстого к Никитенко явствует, что их знакомство восходит к 1834 г.

[190] Имеется в виду статья Никитенко «Еще заметка об университетах» («С.-Петербургские ведомости», 1861, № 265).

[191] Подлинный текст речи Н. Г. Чернышевского на могиле Добролюбова 20 ноября 1861 г. не сохранился, известны лишь немногие, очень краткие и беглые, записи о ней современников. Несомненно, что подлинные слова Чернышевского Никитенко (сам на похоронах не присутствовавший) нарочито окарикатурил: речь в действительности шла о преследовании Добролюбова не только со стороны цензуры, но и со стороны жандармского ведомства. Как сообщал в своем донесении полицейский шпик, присутствовавший на похоронах, «вообще вся речь Чернышевского, а также и Некрасова, клонилась, видимо, к тому, чтобы все считали Добролюбова жертвою правительственных распоряжений и чтобы его выставляли как мученика, убитого нравственно, одним словом, что правительство уморило его» («Красный архив», кн. XIV, 1926, стр. 91—92; ср. «Русская старина», 1905, № 2, стр. 452—454). Н. В. Шелгунов припоминает еще одну мысль из речи Чернышевского: «Добролюбов умер оттого, что был честен» («Воспоминания», ГИЗ, 1923, стр. 178). Несомненно, многое из речи было повторено Чернышевским в некрологе «Н. А. Добролюбов» («Современник», 1861, № 11) и в полемической статье «В изъявлении признательности» (там же, 1862, № 2); ср. В. Сушицкий, Чернышевский о Добролюбове («Литературное наследство», кн. 25—26, 1936, стр. 147—161).

[192] Имеется в виду группа профессоров-либералов, покинувших Петербургский университет в знак протеста против правительственной политики по отношению к университетам и студенчеству (см. выше, прим. 185).

[193] Студенческие волнения 1858—1861 гг. побудили правительство поставить на очередь пересмотр университетского устава. Проект устава, составленный Г. А. Щербатовым, был рассмотрен крупнейшими университетами, отзывы которых были поручены для разработки комиссии под председательством Е. Ф. фон Брадке, в составе попечителей ряда округов и представителей от университетов. В качестве одного из таких представителей был приглашен и Никитенко; о заседаниях комиссии упоминается в ряде дальнейших записей «Дневника». К началу 1862 г. комиссия закончила свою работу; разработанный ею материал лег в основу университетского устава 1863 г. (С. В. Рождественский, Исторический обзор деятельности

министерства народного просвещения, 1802—1902, СПб. 1902, стр. 361—366, 413—426).

[194] Д. Верди был приглашен в Петербург дирекцией императорских театров для переговоров о сочинении оперы специально для петербургской сцены. Опера («Сила судьбы») была написана композитором к следующему сезону.

[195] Распоряжением Александра II Петербургский университет 20 декабря 1861 г. был закрыт «впредь до пересмотра университетского устава», так как дальнейшее его существование на прежних основаниях «не может быть признаваемо полезным для обучающегося в нем юношества».

[196] Говоря о *журнальных толках*, Никитенко имеет в виду оживленную полемику, завязавшуюся вокруг ряда статей Н. И. Костомарова в «С.-Петербургских ведомостях» 1861 г. (№№ 237, 258, 261, 262, 275, 281). В основе выступлений Костомарова лежала мысль, что университетские беспорядки проистекают из объединения в университетах как лиц, жаждущих знаний, так и тех, кого привлекают сословные и служебные преимущества, связанные с получением университетского диплома. По мнению Костомарова, университет должен быть объявлен исключительно «воспитательно-ученым» учреждением, не дающим каких-либо специальных прав и преимуществ; «слушателями профессорских лекций могут быть лица всех возрастов, от юношеского до старческого, всякого звания, всякой специальности». При таком положении, считал Костомаров, студенты будут заниматься исключительно «чистой наукой», не увлекаясь политикой. Последнее соображение привлекло на сторону Костомарова отдельных представителей высшей бюрократии. Вместе с тем статьи Костомарова вызвали ряд возражений, опубликованных преимущественно в тех же «С.-Петербургских ведомостях» 1861 г.: М. М. Стасюлевича (№ 237; ср. «М. М. Стасюлевич и его современники в их переписке», т. I, СПб., стр. 377—381), Педагога (№№ 252, 272), А. Н. Бекетова (№ 256), А. В. Никитенко (№ 265) и др.

[197] См. «Отчет... Академии наук по отделению русского языка и словесности за 1861 год, составленный ординарным академиком А. В. Никитенко», СПб. 1861 (также «Отчеты АН, 1852—1865», стр. 349—363).

[198] В «Северной почте», 1862, № 1, было опубликовано правительственное сообщение о находящихся на «окончательном рассмотрении» правительственных законопроектах: о преобразовании судов и «всей вообще судебной части», о «полном преобразовании всей городской и земской полиции вообще», о новом порядке составления, рассмотрения и утверждения государственного бюджета, о преобразовании управления государственными имуществами, о распространении

Положения 19 февраля 1861 г. на государственных, дворовых и удельных крестьян, о новом устройстве народных школ и вообще о системе народного образования. Осуществление всех этих мероприятий растянулось на несколько лет (1862—1865); некоторые же «преобразования» (например, полиции) и вовсе не были осуществлены.

199 О содержании письма Валуева мы узнаем из пространного ответа Никитенко от 9 января 1862 г., опубликованного М. К. Лемке по черновику, сохранившемуся в бумагах Никитенко (Пушкинский дом; Герцен, XV, стр. 41—46). Обещав Никитенко, что он не будет вмешиваться в дела газеты, Валуев после выхода первых же номеров «Северной почты» нарушил это обещание, настаивая на беспрекословном выполнении своих требований. С этим и был связан обмен письмами между Валуевым и Никитенко, который отвечал министру, что не может обречь себя и своих ближайших сотрудников (Ржевского и Арсеньева) «на безмыслие». Вмешательство Валуева в дела газеты привело в конце концов к отставке Никитенко с поста редактора «Северной почты».

200 В своем циркуляре от 12 января 1862 г. Головнин отмечал «явные улучшения» в деятельности цензоров, «которые весьма слабо исполняют обязанности, возложенные на них цензурным уставом». Поскольку «предполагаемые изменения в цензурном уставе... не слагают обязанности исполнять закон существующий», цензорам «строжайше» предписывалось «исполнять нынешние цензурные правила без малейшего послабления». Ср. Мих. Лемке, Эпоха цензурных реформ 1859—1865 годов, СПб. 1904, стр. 100—103.

201 Имеются в виду статьи в № 13 «Дня»: передовая — И. С. Аксакова и «Краткий исторический очерк земских соборов» К. С. Аксакова. Причиной «гонений» явились конституционалистские тенденции обеих статей.

202 После того как окончательно выяснилось, что правительство воспользовалось студенческими волнениями для закрытия университета, в среде студенчества и прогрессивной профессуры возникла мысль об организации «вольного университета»; доход с лекций предполагалось обратить на помощь нуждающимся студентам (см. Л. Ф. Пантелеев, Из воспоминаний прошлого, «Academia», 1934, стр. 197—200). В январе 1862 г. начались лекции «вольного университета», происходившие в зале городской думы. Из преподавателей университета в лекциях приняли участие: Н. И. Костомаров, П. В. Павлов, М. М. Стасюлевич, И. Е. Андреевский, И. Я. Горлов, К. Д. Кавелин, В. Д. Спасович, Б. И. Утин, А. Н. Бекетов, Д. И. Менделеев и др. Кроме того, были приглашены для чтения лекций преподаватели других учебных заведений, в том числе И. М. Сеченов, А. В. Лохвицкий и др. Приглашенным для чтения

лекций Н. Г. Чернышевскому, В. В. Берви-Флеровскому, П. Л. Лаврову, А. Н. Пыпину министр народного просвещения отказал в разрешении. См. статью Т. С. Вольфсон, «Вольный университет» 1862 г. («Вестник Ленинградского университета», 1947, № 7, стр. 96—107).

[203] Официальное сообщение о выступлении группы тверских дворян см. «Северная почта», 1862, № 32; о нем Никитенко упомянул в записи 20 февраля 1862 г. Губернский съезд тверских мировых посредников в декабре 1861 г. подавляющим большинством голосов признал, что «законоположение 19 февраля не удовлетворило народных потребностей ни в материальном отношении, ни в отношении свободы, а возбудило их в самой сильной степени». Чрезвычайное дворянское собрание Тверской губернии, созванное в феврале 1862 г., высказалось за необходимость следующих реформ: 1) преобразование финансовой системы управления в том смысле, чтобы оно зависело от народа, а не от произвола; 2) учреждение независимого и гласного суда; 3) введение полной гласности во все отрасли управления, без чего не может быть никакого доверия к правительству, а следовательно, и к прочности существующего порядка; 4) уничтожение антагонизма между сословиями. «Дворянство не обращается к правительству с просьбою о совершении этих реформ, но, признавая его несостоятельность в этом деле, ограничивается указанием того пути, на который оно должно вступить для спасения себя и общества. Этот путь есть собрание выборных от всего народа без различия сословий», — говорилось в постановлении дворянского собрания. Не имея возможности подвергнуть карам всех участников дворянского собрания, правительство отыгралось на тринадцати мировых посредниках. После пятимесячного заключения в крепости они были приговорены к двухгодичному заключению и лишению некоторых прав и преимуществ. Упомянув о выступлении тверских дворян в статье «Гонители земства и Аннибалы либерализма», В. И. Ленин заметил: «Вот как расправлялось во время самых «великих реформ» наше правительство с легально действовавшими дворянами-помещиками!» (Сочинения, т. 5, стр. 25). Весь этот эпизод Ленин считал характерным примером того, что «самый сплоченный, самый образованный и наиболее привыкший к политической власти класс — дворянство — обнаружил с полной определенностью стремление ограничить самодержавную власть посредством представительных учреждений» (там же, стр. 24).

[204] В январе 1862 г. Головнин обратился к ряду редакций газет и журналов с предложением сообщить ему мнения относительно необходимых преобразований в цензурном ведомстве. Среди представленных мнений находилась также записка «Современника». Присланные записки были тогда же опубликованы в секретном издании: «Мнения

разных лиц о преобразовании цензуры», СПб. 1862 (обзор этой книжки сделал Мих. Лемке, Эпоха цензурных реформ 1859—1865 годов, СПб. 1904, стр. 108—123).

[205] Имеется в виду статья Никитенко «Прогресс» («Северная почта», 1862, № 42).

[206] На протяжении 1860—1861 гг. Н. Г. Чернышевский несколько раз упоминал — с большой долей иронии — о политико-экономических статьях В. К. Ржевского, реакционного публициста, пытавшегося «разоблачать» социализм и революционный путь развития общества. Последнее по времени упоминание о Ржевском было в заметке Чернышевского (под псевдонимом «Эфиоп» («Опыты открытий и изобретений»), «Современник», 1862, № 1, отд. «Свисток», стр. 44—56; ср. Н. Г. Чернышевский, Полное собрание сочинений, т. X, М. 1951, стр. 63); она собственно и вызвала грубую статью Ржевского, о которой упоминает Никитенко.

[207] 2 марта 1862 г. в Петербурге состоялся литературный вечер, организованный официально в пользу нуждающихся студентов, а в действительности — в пользу незадолго перед тем сосланных М. И. Михайлова и В. А. Обручева («Звенья», кн. II, 1933, стр. 450). Участие в вечере приняли в числе прочих — Н. Г. Чернышевский, поделившийся воспоминаниями о Добролюбове, В. С. Курочкин, читавший стихотворение «Господин Искариотов», и профессор-историк П. В. Павлов, пользовавшийся большой популярностью среди студенчества. «Читал он по поводу тысячелетия России; основная мысль чтения была такая: как в древней, так и в новой России были известные общественные группы, пользовавшиеся теми или другими правами, только масса населения всегда стояла вне правового порядка, и положение ее постепенно настолько ухудшилось, что можно было ожидать страшного народного взрыва. К счастью, правительство это поняло и приступило к реформе. До публики, известным образом настроенной, часто слова лектора доходили в совсем переиначенном виде, например Павлов сказал: «Ко времени вступления на престол ныне благополучно царствующего государя (перед тем говорил о Крымской войне) чаша народных страданий преисполнилась»; а многим послышалось: во время и т. д. Вот он кончил; начались вызовы. Павлов долго не выходил, наконец показался и дал знак, что хочет говорить; мгновенно воцарилась тишина. Что было у него на уме, трудно сказать; только он произнес: «Имеющий уши слышать, да слышит». После этих слов в зале произошло нечто трудно описуемое, вероятно потом оказалось немало поломанных стульев. Многие тут же громко говорили, что Павлову несдобровать» (Л. Ф. Пантелеев, Из воспоминаний прошлого, «Academia», 1934, стр. 160—161; ср. также стр. 696, где дана библиографическая сводка

мемуарных упоминаний об этом эпизоде). 5 марта 1862 г. Павлов был арестован, а 6-го выслан на жительство в Ветлугу. Сводка документального материала о деле Павлова дана в книге М. Лемке, Очерки освободительного движения шестидесятых годов, СПб. 1908, стр. 7—13. Высылка Павлова вызвала среди передового студенчества большое возмущение, проявившееся 8 марта на лекции Н. И. Костомарова в думе (см. ниже, прим. 209).

208 Указом 10 марта 1862 г. Главное управление цензуры, находившееся в ведомстве министерства народного просвещения, было упразднено. Цензурные учреждения были оставлены в ведении министра народного просвещения, а надзор за соблюдением печатью цензурных постановлений поручен министерству внутренних дел. См. об этом: В. Е. Рудаков, Последние дни цензуры в министерстве народного просвещения, СПб. 1911; Мих. Лемке, Эпоха цензурных реформ 1859—1865 годов, СПб. 1904, стр. 124—132.

209 О скандале на лекции Н. И. Костомарова 8 марта 1862 г. неоднократно упоминают в своих воспоминаниях современники, не исключая и самого Костомарова («Автобиография Н. И. Костомарова», М. 1922, стр. 298—302; «Русская мысль», 1885, № 6, стр. 39—41). Особенно точны свидетельства Л. Ф. Пантелеева, посвятившего «думской истории» специальную главу своих воспоминаний (Л. Ф. Пантелеев, Из воспоминаний прошлого, «Academia», 1934, стр. 197—210). О состоявшемся в знак протеста против высылки П. В. Павлова решении студенческих организаций и передовой профессуры прекратить лекции было объявлено публике после ближайшей лекции Костомарова, 8 марта. «Костомаров, — рассказывает Л. Ф. Пантелеев, — который не успел далеко отойти от кафедры, сейчас же вернулся и сказал: «Я буду продолжать чтение лекций», — и при этом прибавил несколько слов, что наука должна идти своей дорогой, не впутываясь в разные житейские обстоятельства. Разом раздались рукоплескания и шиканье; но тут под самым носом Костомарова Е. Утин выпалил: «Подлец! Второй Чичерин! Станислава на шею!..» Выходка Е. Утина могла взорвать и не такого впечатлительного человека, каким был Костомаров; к сожалению, он потерял всякое самообладание и, вновь вернувшись на кафедру, сказал, между прочим: «Я не понимаю тех гладиаторов, которые своими страданиями хотят доставлять удовольствие публике (кого он имел в виду, трудно сказать, но эти слова были поняты как намек на Павлова). Я вижу перед собою Репетиловых, из которых через несколько лет выйдут Расплюевы». Рукоплесканий уже не раздалось, а казалось, вся зала шикала и свистела... Несмотря на то, что Костомаров тотчас же уехал, публика не расходилась; немногие пытались защищать его, но подавляющее большинство возбужденно гово-

рило, что если Костомаров попробует читать, забросают солеными огурцами и мочеными яблоками» (стр. 204—205). На провокационность позиции Костомарова указывал ему Чернышевский еще накануне лекции и тотчас после нее; подробно об этом см. в позднейшем письме Чернышевского к А. Н. Пыпину, «По поводу «Автобиографии» Н. И. Костомарова» (Н. Г. Чернышевский, Полное собрание сочинений, т. I, М. 1940, стр. 759—763). В общественной судьбе Костомарова «думская история» сыграла переломную роль; после нее ему уже не удалось восстановить популярность, какой он пользовался среди студенческой молодежи в 1859—1862 гг. Вызванный «думской историей» окончательный разрыв с Чернышевским в дальнейшем привел Костомарова в консервативный лагерь.

[210] Несостоявшаяся дуэль В. С. Курочкина с А. Ф. Писемским была вызвана ожесточенной литературной полемикой между «Библиотекой для чтения» и «Искрой». В фельетоне, помещенном в декабрьской книжке «Библиотеки для чтения» за 1861 г. (стр. 1—5), Писемский (за подписью «Старая фельетонная кляча Никита Безрылов»), заговорив о литературных вечерах и воскресных школах, бесцеремонно-грубо отозвался о некоторых передовых деятелях, за что получил жестокую отповедь «Искры». В своем ответе Писемский допустил ряд новых злобных и оскорбительных замечаний по адресу демократического лагеря («Библиотека для чтения», 1862, № 1, стр. 111—114). Одновременно он, как редактор журнала, вписал в корректуру фельетона П. Боборыкина («Пестрые заметки» — «Библиотека для чтения», 1861, № 2) несколько грубейших выпадов по адресу «Искры», в ответ на которые и последовал вызов Курочкина (П. Д. Боборыкин, За полвека. Мои воспоминания, М. 1929, стр. 209—210, 351). Писемский поспешил отказаться от дуэли, предложив своим противникам «ведаться со мною судебным порядком» (П. С. Усов, Из моих воспоминаний — «Исторический вестник», 1882, № 5, стр. 321—322).

[211] Имеется в виду известная басня Крылова «Ворона и Лисица».

[212] Прокламация «К офицерам» была распространена в Петербурге 8 апреля 1862 г. — «с особенной смелостью», как вспоминал впоследствии Н. В. Шелгунов («Воспоминания», ГИЗ, 1923, стр. 137). Согласно примечанию к подготовлявшемуся второму изданию прокламации, «в первый день пасхи воззвание это поразило долгоруко-долгоухое шпионство в самую шишку честолюбия: в дворцовой церкви, перед самым носом государя, оно было роздано в большом количестве» (Мих. Лемке, Политические процессы в России 1860-х гг., изд. 2-е, ГИЗ, 1923, стр. 530; там же, стр. 548—550 — текст прокламации). Прокламация призывала

офицерство «подумать» «о бедном, угнетенном народе и нашей жалкой родине», рекомендовала «каждому честному офицеру спросить у своей совести, чего ему держаться в виду совершающихся событий», обдумать, проверить «свои и чужие убеждения... теперь же», так как «в минуту столкновения рассуждать будет поздно». Прокламация была перепечатана А. И. Герценом в «Колоколе», л. 133, 22 мая 1862 г., стр. 1107—1108.

[213] В связи с закрытием Петербургского университета и безмерно осложнившимися условиями работы студенческих организаций по мысли ряда передовых литераторов забота о студентах была поручена Литературному фонду. При последнем явочным порядком было организовано II отделение для пособия бедным учащимся; власти отнеслись к этому пассивно. См. Л. Ф. Пантелеев. Из воспоминаний прошлого, «Academia», 1934, стр. 217—227.

[214] Черновик письма Никитенко к Валуеву от 13 мая 1862 г. сохранился в архиве Никитенко (Пушкинский дом) и опубликован М. К. Лемке (Герцен, XV, стр. 46—47). В письме отстаивается от посягательств Валуева самостоятельность редакции газеты и выражается протест против самолично произведенного министром (ввиду образовавшегося дефицита) сокращения бюджета «Северной почты».

[215] Столкновение Д. И. Писарева с Е. Н. Гарднером на Царскосельском вокзале произошло между 1 и 4 мая 1862 г. Е. Н. Гарднер в апреле 1862 г. женился на Р. А. Кореневой, которую Писарев считал своей невестой. Писарев вызвал Гарднера на дуэль и, не получив ответа, ударил Гарднера хлыстом по лицу. Дуэль была предотвращена арестом Писарева в июле 1862 г. (Мих. Лемке, Политические процессы в России 1860-х гг., ГИЗ, 1923, стр. 556—559; «Записки отдела рукописей Государственной библиотеки СССР им. В. И. Ленина», вып. IX, М. 1940, стр. 29—32).

[216] Сам Н. И. Костомаров в «Автобиографии» объяснил свое прошение об отставке той обстановкой, которая создалась для него после думской истории (стр. 303—304; ср. «Русская мысль», 1885, № 6, стр. 41; Л. Ф. Пантелеев, Из воспоминаний прошлого, «Academia», 1934, стр. 206—208).

[217] Пожары 1862 г. в Петербурге начались с 16 мая, «но особенно выделились 22 и 23 числа, когда выгорели Большая и Малая Охты и огромное количество домов в Ямской — весь четырехугольник между Кобыльской улицей и Лиговской, от церкви Иоанна Предтечи до Глазова моста, 23 числа было пять пожаров. Прошло четыре дня передышки, как вдруг запылал Апраксин двор, и выгорело все пространство между Чернышевым и Апраксиным переулками, а по другую сторону Фонтанки — между Чернышевым и Щербаковым и значительная часть Троицкого переулка. Трудно вообра-

зить себе весь ужас этого дня, всю массу обездоленного люда» (Л. Ф. Пантелеев, Из воспоминаний прошлого, «Academia», 1932, стр. 238—239). Правительство использовало совпадение пожаров с выходом «Молодой России», чтобы ложно обвинить в поджогах революционные элементы. Была поднята грязная клеветническая кампания против демократического лагеря в ряде газет и журналов.

[218] В. А. Обручев был арестован и осужден в связи с распространением «Великорусса» (см. «Ведомости С.-Петербургской городской полиции», 1862, № 115). Назначая обряд гражданской казни Обручева через два дня после массовых пожаров, власти стремились внушить массе городского населения провокационную мысль о связи «преступника» с поджигателями (Л. Ф. Пантелеев, Из воспоминаний прошлого, «Academia», 1934, стр. 241; ср. В. Обручев, Из пережитого — «Вестник Европы», 1907, № 5, стр. 122—155; № 6, стр. 564—595).

[219] На столбцах «Северной почты» несколько раз печатались сообщения (основанные на якобы полученных в министерстве внутренних дел сведениях) о том, что в Сампсониевской и Введенской воскресных школах «преподаются вредные учения и ученики восстанавливаются против правительства». В связи с этим обе школы были закрыты, наряжено следствие о действиях их распорядителей и преподавателей, «приступлено к пересмотру правил об учреждении воскресных школ» и т. д. Нет сомнения, что правительство попросту воспользовалось пожарами, чтобы прикрыть воскресные школы; аресты же рабочих, посещавших Сампсониевскую и Введенскую школы, «за одобрение пожаров», по справедливой догадке исследователя, следует рассматривать как своего рода провокацию (см. С. Рейсер, Петербургские пожары 1862 года — «Каторга и ссылка», 1932, № 10, стр. 94).

[220] Любопытная переписка между Головниным и Валуевым, о которой упоминает Никитенко, опубликована С. Рейсером («Петербургские пожары 1862 года» — «Каторга и ссылка», 1932, № 10, стр. 101—102).

[221] Флигель-адъютант М. Я. Ростовцев был арестован вместе со своим братом Н. Я. за то, что оба они ездили к А. И. Герцену объясняться относительно неоднократных упоминаний в статьях «Колокола» имени отца их Я. И. Ростовцева как доносчика на декабристов. Они убеждали Герцена «принять во внимание, что смертью на посту крестьянского дела он загладил свой грех». 5 июня 1862 г. оба брата были уволены, «независимо желания и без преимуществ», однако в ноябре 1862 г. Александр II разрешил считать их «уволенными по прошению и с мундиром» («Северная почта», 1862, № 244; ср. Герцен, XV, стр. 238).

[222] Назначенная для расследования пожаров комиссия в течение нескольких месяцев своей деятельности арестовала 37 человек. Из них пять были вскоре освобождены, двое — осуждены (лавочник, поджегший свой дом, чтобы получить страховую премию, и сумасшедший учитель из Луги), пятеро — оправданы по суду. Судьба остальных неизвестна, но следует думать, что и они были освобождены за недостаточностью улик. Ни одного «революционера» среди привлеченных, конечно, не было (С. Рейсер, Петербургские пожары 1862 года — «Каторга и ссылка», 1932, № 10, стр. 95; ср. Барсуков, XIX, стр. 143).

[223] Возмущение Никитенко вызвали многочисленные историко-политические намеки, рассыпанные в программе Лаврова (см. «Былое», 1925, № 2(30), стр. 3—6). Стремление Лаврова связать вопросы этики с проблемами современности, в частности с проблемой народовластия и права народа на революционное восстание, представлялось Никитенко покушением на самые основы «чистой науки», дискредитацией последней; все это вызвало с его стороны резкий отзыв (*протест*), адресованный факультету. Следует помнить, что Лавров в представлении Никитенко как бы воплощал в себе «молодое поколение».

[224] Никитенко правильно ставит правительственные репрессии в отношении воскресных школ, журналов «Современник» и «Русское слово» и др. в теснейшую связь с наступавшей реакцией, со стремлением царского правительства и дворянско-помещичьих кругов всячески обуздать дальнейшее развитие революционных настроений в обществе. Опубликованные В. Е. Евгеньевым-Максимовым материалы позволяют сделать вывод о том, что запрещение журналов было продиктовано самим Александром II, возможно не без участия некоторых «литераторов», вроде Краевского и Скарятина, обратившихся к Головнину с доносительским письмом о близкой идейной связи, существующей между «Современником» и «Русским словом», с одной стороны, и авторами «Молодой России» и других прокламаций — с другой (В. Евгеньев-Максимов, «Современник» при Чернышевском и Добролюбове, Л. 1936, стр. 513—518).

[225] В материалах следственного дела о пожарах сохранились отдельные упоминания о попытках следователей навязать привлеченным свою точку зрения. Так, учитель Викторов жаловался на следователя полковника Квитницкого: «Квитницкий, стараясь всеми силами привести его к сознанию в умышленном совершении преступления, убеждал, что он сделал поджог из политических видов и по подговору студента Баллода, а когда Викторов от изнурения готов был согласиться на это..., то Квитницкий принял на себя труд продиктовать ему преступные мысли, под влиянием которых он будто бы совершил преступление» («Каторга и ссылка», 1932, № 10, стр. 91).

[226] Исполнявший должность наместника в Польше граф Лидерс был ранен в результате покушения 15 июня 1862 г. Стрелявшему удалось скрыться — не без помощи случайных очевидцев покушения; великий князь Константин Николаевич писал по этому поводу Александру II 21 июня 1862 г.: «Если бы в толпе, бывшей в это время в Саксонском саду, было малейшее сочувствие к полиции, убийца не мог бы скрыться» («Дела и дни», кн. 1, 1920, стр. 127).

[227] Великий князь Константин Николаевич 27 мая 1862 г. был назначен наместником в Царстве Польском. Александр II в составленной им «конфиденциальной инструкции» тщательно оговаривал недопустимость «каких-то новых льгот и уступок»: «об них и речи быть не может, а в особенности ни о конституции, ни о национальной армии» («Дела и дни», кн. 1, 1920, стр. 123).

[228] И. А. Гончаров был назначен редактором «Северной почты» 29 сентября 1862 г. и оставался на этом посту около года (под его редакцией вышли номера газеты от № 205 за 1862 г. до № 144 за 1863 г.). Приглашая Гончарова, Валуев предполагал, что «его имя прибавит не одного, а многих подписчиков и докажет, что газета не падает, а поднимается» («Русская старина», 1899, № 7, стр. 132).

[229] Д. И. Писарев был арестован 3 июля, Н. А. Серно-Соловьевич и Н. Г. Чернышевский — 7 июля 1862 г.

[230] Рассказы Вольфсона о Бакунине в записи Никитенко содержат ряд неточностей. В Лейпциге Бакунин в 1848 г. не «бушевал»; принимал участие в революционном восстании в Дрездене: «Как только поднялось движение в Дрездене, он появился на баррикадах, — его там знали и очень любили, — рассказывал Герцен в 1851 г. — Узнав, что королевские солдаты вовсе не приняли твердого решения избивать своих братьев, что у них были сомнения, что они даже щадили здания, Бакунин предложил выставить шедевры Дрезденской галереи на стенах и на баррикадах. Это действительно могло остановить осаждающих. «А если они будут стрелять?» — возразили члены муниципалитета. «Тем лучше, пусть падет на них позор этого варварства». Муниципальные эстетики не пожелали этого. Таким же образом был отвергнут целый ряд революционных и террористических мер, предложенных Бакуниным. — Когда ничего нельзя было больше сделать, Бакунин предложил поджечь дома аристократов и взорвать на воздух ратушу со всеми членами правительства, в числе которых был и он сам. Он говорил это, держа в руке заряженный пистолет» (Герцен, VI, 482—483; ср. А. И. Герцен, Былое и думы, Л. 1946, стр. 747. См. также аналогичную запись в дневнике В. Ф. Одоевского — «Литературное наследство», кн. 22—24, 1935, стр. 130).

[231] *Фальшивый шаг* Гарибальди — объявление (в июле 1862 г.) освободительного похода на Рим, несмотря на решение Наполеона III всячески защищать папскую власть. Под давлением Наполеона правительство Виктора-Эммануила выступило против Гарибальди; в одном из сражений отряд Гарибальди был окружен войсками Виктора-Эммануила, а сам Гарибальди был ранен и пленен.

[232] *Бомарзунд* — русский форт на Аландских островах в Балтийском море. 16 августа 1854 г. был захвачен и разрушен соединенным англо-французским флотом.

[233] Имеется в виду брошюра А. Кошелева «Конституция, самодержавие и земская дума» (Лейпциг 1862), написанная в духе дворянского либерализма. Ленин писал о ней: «А. Кошелев высказывается *против* конституции за совещательную Земскую думу» и отмечал вражду Кошелева к революционному лагерю (Сочинения, т. 5, стр. 28—29).

[234] Никитенко имеет в виду л. 145 «Колокола» (15 сентября 1862 г.). В статье Герцена «Концы! Концы!..» (постскриптум к четвертому письму «Концы и начала» — см. «Колокол», лл. 138, 140, 142, 144) действительно упоминается о «двух последних Дон-Кихотах революции», Гарибальди и Маццини, которые «безумно бросили перчатку целой части света, с верой в правое дело». Статья М. А. Бакунина — «С.-Петербургская нескромность». Обратило на себя также внимание Никитенко следующее уведомление: «Мы извещали в «Колоколе» о предполагаемом издании стихотворений Михайлова в Германии. Обращаем на это издание еще раз внимание людей, сочувствующих нашему страдальцу; мы достоверно знаем, что все вырученные деньги пойдут в пользу Михайлова». «Стихотворения» М. Л. Михайлова были выпущены (Берлин 1862) с пометой на обложке: «Издание в пользу автора».

[235] Имеются в виду «Основные начала или положения судебного преобразования», опубликованные 29 сентября 1862 г. и легшие в основу судебной реформы 1864 г. «Положения» устанавливали замену старых сословных судов общими судебными учреждениями с участием присяжных заседателей и адвокатуры и т. д. Наиболее последовательная из буржуазных реформ 60-х гг., судебная реформа очень скоро испугала правящие классы: «Давлением обстоятельств, — писал о ней Ленин, — власть вынуждена была во второй половине XIX века придти в соприкосновение с «улицей», а состав этой улицы изменялся с поразительной быстротой, и темных обывателей заменяли граждане, начинающие сознавать свои права, способные даже выставлять борцов за права. И, почувствовав это, власть с ужасом отпрянула назад...» (Сочинения, т. 4, стр. 368).

[236] *Адрес* подольского дворянства, наряду с жалобами на «отсутствие у общества органов, вышедших из его среды для управления публичными делами», содержал требование, вызвавшее оживленные толки, — присоединить Подольскую губернию в административном отношении к Царству Польскому. Киевский генерал-губернатор В. И. Васильчиков предлагал организовать суд над подольскими дворянами, подобно тому как это было сделано с дворянами тверскими. Однако Валуев возражал против суда. «Отдавать под суд, — писал он А. Г. Тройницкому 22 октября 1862 г., — должно за известный проступок. Без следствия можно отдать под суд только всех подписавших или только одних предводителей. Сочинение адреса есть только редакция. Зачинщичество в деле может принадлежать и не редакторам. Но, повторяю, тогда нужно следствие» («Русская старина», 1899, № 7, стр. 233).

[237] 21 октября 1862 г. Гончаров в шутливом письме к Никитенко уведомлял, что «завтра, в понедельник, 22 октября, прежний главный редактор «Северной почты» ⟨Никитенко⟩ в торжественном заседании у Дюссо... передает свои права и обязанности, также пароль (словом, все, кроме привередничанья) новому редактору ⟨Гончарову⟩, в присутствии редактора политического отдела той газеты ⟨И. А. Арсеньева⟩, а также редактора «С.-П.⟨етербургских⟩ ведомостей» ⟨В. Ф. Корша⟩, «Отеч⟨ественных⟩ записок» ⟨А. А. Краевского⟩ и некоторых других свидетелей, нарочно для сего приглашенных новым редактором» («Русская старина», 1914, № 2, стр. 435—436). Письмо это не только позволяет раскрыть в тексте имя Гончарова, зашифрованное С. А. Никитенко безличными звездочками, но также дает возможность определить подлинный смысл замечания Никитенко о *плохих разговорах и остротах без соли:* шутки, связанные с «Северной почтой», уход из которой Никитенко переживал болезненно, не могли, конечно, не вызывать в нем чувства досады и раздражения.

[238] О постановке оперы Верди «Сила судьбы» см. Вольф, III, 118.

[239] Выход К. М. Бэра в отставку (27 октября 1862 г.) объясняется его желанием освободиться от многочисленных обязанностей по Академии наук. Избрание его почетным членом Академии 2 ноября 1862 г. сопровождалось необычным в практике таких избраний присвоением ему права голоса в заседаниях Академии (Б. Л. Модзалевский, Список членов Академии наук, 1725—1907, СПб. 1908, стр. 38).

[240] Комиссия для пересмотра постановлений по делам печати под председательством Д. А. Оболенского была образована в марте 1862 г. Комиссии поручалось обсудить следующие вопросы:

«а) какие книги и периодические издания можно бы вовсе освободить от предварительной цензуры, б) возможно ли освободить от цензуры все вообще периодические издания, с тем чтобы редактор имел право выбора, печатать без цензуры под своей ответственностью или обращаться к цензору, не отвечая уже за пропущенную статью, и с тем, что если журнал или газета будут подвергнуты цензуре за упущения, то чтоб издатель выбирал ответственного редактора, который просматривал бы статьи вместе с цензором и отвечал бы наравне с сим последним за пропущенные ими с общего согласия статьи» («Материалы... для пересмотра действующих постановлений о цензуре и печати», ч. 1, СПб. 1870, стр. 38). Имелось при этом в виду, формально несколько облегчив положение печати, сохранить за цензурным аппаратом всю силу воздействия. О проекте комиссии Оболенского и противодействии Головнина см. Мих. Лемке, Эпоха цензурных реформ 1859—1865 годов, СПб. 1904, стр. 246—267.

[241] «Отчет Академии наук по отделению русского языка и словесности за 1862 год, составленный ординарным академиком А. В. Никитенко», СПб. 1862; также — «Отчеты АН, 1852—1865», стр. 365—379.

[242] Восстание в Польше началось 2—3 января 1863 г., а в ночь с 10 на 11 января в большинстве городов Царства Польского, за исключением Варшавы, повстанцы напали на правительственные гарнизоны. Александр II — в речи, произнесенной 13 января, — заявил о совершенных при этом «неслыханных злодействиях». Заявление царя было подхвачено многими газетами; Никитенко в своей записи по-обывательски повторяет эти клеветнические измышления. В восстании приняли участие разнообразные круги населения. «*Тогда* революционною была именно Польша в целом, не только крестьянство, но и масса дворянства», — писал о восстании 1863 г. В. И. Ленин, давший ему высокую историческую оценку (Сочинения, т. 6, стр. 416). Польское восстание 1863 г. вызвало глубокое сочувствие передовой России. Друзьями революционной Польши были А. И. Герцен, революционная организация «Земля и воля». Либералы же заняли позицию поддержки самодержавия, жестоко подавлявшего польское восстание, и оказались в одном лагере с крайней реакцией. Это относится также к Никитенко, который относился к национально-освободительному движению в Польше с крайней враждебностью, а во время подавления восстания оказался восторженным почитателем Муравьева-Вешателя, снискавшего ненависть и презрение передовой России.

[243] Об «Энциклопедическом словаре» А. А. Краевского, «распорядителем» котоого был К. И. Гершельман, см. выше записи 1859 г. и 28 января, 20 сентября, 15 декабря 1861 г. (прим. 71).

[244] В состав комиссии вошли: А. В. Никитенко, В. К. Ржевский и В. Я. Фукс — от министерства внутренних дел, Н. П. Гиляров-Платонов, И. Е. Андреевский и Е. М. Феоктистов — от министерства народного просвещения, Погорельский — от министерства юстиции, А. Ф. Бычков — от II отделения «собственной его величества канцелярии».

[245] *«Фиделио»*, опера Бетховена, была поставлена в бенефис певца Кальцолари.

[246] Никитенко имеет в виду написанное в защиту революционной Польши воззвание «Виктор Гюго — русскому войску», опубликованное Герценом в «Колоколе» (л. 156, 15 февраля 1863 г., стр. 1301). Гюго призывал солдат и офицеров прекратить братоубийственную бойню, «вдохновиться поляками и не сражаться с ними» (см. М. П. Алексеев, Виктор Гюго и его русские знакомства — «Литературное наследство», кн. 31—32, 1937, стр. 833—835). Запись Никитенко отражает негодование консервативно настроенных кругов мужественным выступлением французского писателя. Этим негодованием продиктованы также вздорные измышления о *гениальном продукте... уродливого воображения*, под которым подразумевается роман Гюго «Отверженные». В 1862 г. состоялось «высочайшее» повеление о недопущении русских переводов романа, так как, дескать, «последние томы романа имеют самое вредное направление» и обнаруживают «одностороннее стремление автора-демократа подорвать религию и монархию» (М. П. Алексеев, цит. статья, стр. 840—841; также И. Айзеншток, Французские писатели в оценках царской цензуры — «Литературное наследство», кн. 33—34, 1939, стр. 789—790).

[247] Началом *скандала* в Казанском университете явилась обструкция, устроенная 16 февраля 1863 г. студентами профессору фармации А. А. Соколовскому, реакционеру и неучу. При разборе дела в совете университета развернулась острая борьба между прогрессивной профессурой во главе с Бутлеровым и реакционерами, взявшими под свою защиту Соколовского. Для распутывания дела и умиротворения сторон в Казань был прислан И. Д. Делянов; не вдаваясь в изучение причин скандала, он свел все к «пререканиям между профессорами», к «мелочам», «порожденным личною неприязнью отдельных членов факультетов» (Н. А. Фирсов, Студенческие истории в Казанском университете, 1857—1863 гг. — «Русская старина», 1889, № 8, стр. 430—432).

[248] Манифест Александра II от 31 марта 1863 г. возвещал готовность царского правительства «даровать» «полное и совершенное прощение тем из числа вовлеченных в мятеж подданных наших в Царстве Польском, которые, не подлежа ответственности за

какие-либо иные уголовные или по службе в рядах наших войск преступления, сложат оружие и возвратятся к долгу повиновения до 1 будущего мая».

[249] Польское восстание с самого начала привлекло к себе горячие симпатии широких общественных кругов многих европейских стран. Под давлением общественного мнения правительства Франции, Англии и Австрии обратились (17/5 апреля 1863 г.) к русскому правительству с нотами в защиту Польши (о них упоминает Никитенко в записях 7 и 8 апреля 1863 г.); Россия категорически отклонила вмешательство держав в русско-польские отношения. В результате завязавшейся «дипломатической дуэли» чрезвычайно обострилось международное положение. В России и в западноевропейских странах возникли опасения войны: опасения эти отразились и в дневниковых записях Никитенко.

[250] Имеется в виду указ 17 апреля 1863 г. «О некоторых изменениях в существующей ныне системе наказаний уголовных и исправительных». По этому указу телесные наказания не отменялись вовсе, но применение их несколько ограничивалось: освобождались от телесных наказаний женщины, представители духовенства, интеллигенция, отменялись шпицрутены в армии, кошки — во флоте, наказания плетьми.

[251] 17 апреля — день рождения Александра II. Отсюда — сообщения о демонстрациях, адресах и проч. в записях 17—19 апреля.

[252] В ответ на манифест Александра II от 31 марта 1863 г. центральный повстанческий комитет организовал народное правительство и определил конечные цели восстания — создание независимого государства Польского.

[253] Пожар Горыгорецкого сельскохозяйственного института 22—23 апреля 1863 г. возник в результате захвата города Горки и самого института польскими повстанцами, к которым присоединилась также значительная часть студентов и учащихся сельскохозяйственной школы при институте (Степан Кулеша, Горыгорецкая катастрофа 22—23 апреля 1863 года. Воспоминания очевидца — «Русская старина», 1883, № 9, стр. 609—624).

[254] Ошибка Никитенко: вместо В. И. Назимова 30 апреля 1863 г. был назначен виленским генерал-губернатором с диктаторскими полномочиями М. И. Муравьев («Вешатель»).

[255] Имеются в виду газетные сообщения о заседании английского парламента (палаты лордов) 8 мая (26 апреля ст. ст.) 1863 г. и об ответах министра иностранных дел Джона Росселя на запросы о положении дел в Польше. Россель отозвался скептически относительно возможности изменить положение путем вооруженной интервенции иностранных держав.

[256] Как явствует из дальнейших записей (см., например, 2 августа, 25 сентября 1863 г.), комедия А. Н. Островского в конце концов была удостоена Уваровской премии («Отчет о шестом присуждении Уваровских наград», СПб. 1863, стр. 32—39).

[257] Имеется в виду «Смерть Люция. Вторая часть лирической драмы «Три смерти» («Русский вестник», 1863, № 2).

[258] Революционная волна 1859—1861 гг. спадала медленно, несмотря на усиление правительственной, дворянско-помещичьей реакции. Руководители революционных кружков и организаций не теряли надежды на возможность нового революционного подъема весной или летом 1863 г., когда истекал срок введения в действие «Положения» о крестьянской «реформе». Польское восстание, приобревшее грандиозный размах, внушало надежды на массовые крестьянские восстания во внутренних губерниях Европейской России, на Украине и т. д. Над организацией этих восстаний работали участники массовой революционной организации «Земля и воля», отделения которой существовали в Петербурге, Москве, Казани, Саратове и ряде других городов. Только к концу 1863 г. определилась неудача этих попыток.

[259] Имеется в виду передовая статья Каткова в № 103 «Московских ведомостей» (12 мая 1863 г.).

[260] В качестве диссертации на степень магистра всеобщей истории В. А. Бильбасов защищал «рассуждение» «Крестовый поход императора Фридриха II из дома Гогенштауфенских герцогов», СПб. 1863.

[261] Никитенко, повидимому, имеет в виду не официальное служебное положение Ф. И. Тютчева (председатель С.-Петербургского комитета цензуры иностранной), но, с одной стороны, близость его к министру иностранных дел А. М. Горчакову, с другой — возможность, через дочь свою фрейлину А. Ф. Тютчеву, быть в курсе всех придворных слухов.

[262] Статья «Роковой вопрос» принадлежала Н. Н. Страхову. Как явствует из дальнейших записей Никитенко, напечатание этой статьи вызвало не только отставку Цеэ, но и закрытие журнала. См. воспоминания Н. Н. Страхова (в книге «Биография, письма и заметки из записной книжки Ф. М. Достоевского», СПб. 1883, гл. X); В. Е. Рудаков, Последние дни цензуры в министерстве народного просвещения («Исторический вестник», 1911, № 9, стр. 983—987); «Литература 60-х годов по отчетам III отделения» («Красный архив», т. VIII, 1925, стр. 219—220).

[263] В качестве диссертации на степень магистра русской словесности Л. Н. Майковым было представлено исследование «О былинах Владимирова цикла», СПб. 1863. См. о диспуте «С.-Петербургские ведомости», 1863, № 129.

[264] О письме Погодина к Гарибальди в связи с поддержкой последним польского восстания см. Барсуков, XX, 131—134.

[265] Имеется в виду так называемый «казанский заговор» — попытка революционной организации «Земля и воля», совместно с польскими революционерами, организовать крестьянские восстания в приволжских губерниях. В «заговоре» приняли участие казанские студенты и семинаристы, несколько офицеров казанского гарнизона и ссыльных поляков. Предполагалось, что восстание, начавшись в Казанской губернии, распространится отсюда по Волге, перебросится на Урал и Дон, а с Дона направится таким путем, чтобы слиться с польским восстанием. Поднять крестьянство предполагалось подложным царским манифестом (см. выше, запись 14 мая 1863 г.) и прокламациями. «Заговор» был выдан предателем, пятеро участников его были расстреляны, остальные сосланы в каторжные работы. Правительственное сообщение об этом деле см. в «Казанских губернских ведомостях», 1864, № 24. Сводку архивного материала дают работы: Б. Козьмин, Казанский заговор 1863 г., М. 1929, А. Ершов, Казанский заговор 1863 г. («Голос минувшего», 1913, № 6, стр. 199—232; № 7, стр. 199—228); ср. Герцен, XVI, 335—368.

[266] Статья Погодина не была напечатана в «Русском инвалиде» и несколько лет спустя вышла отдельной брошюрой: «Польский вопрос», М. 1867. См. Барсуков, XX, 63—80.

[267] *Величие* Каткова явилось следствием успеха его статей в «Московских ведомостях» 1863 г., поддерживавших и пропагандировавших курс правительственной реакции среди массы дворян и помещиков, напуганных призраком надвигавшихся революционных потрясений. В. И. Ленин, отметив, что в 1862 г., до польского восстания, Катков «предлагал созвание всероссийского Земского собора» (Сочинения, т. 5, стр. 25), характеризовал дальнейший его политический путь следующим образом: «Либеральный... помещик Катков во время первого демократического подъема в России (начало 60-х годов XIX века) повернул к национализму, шовинизму и бешеному черносотенству» (Сочинения, т. 18, стр. 250). Позицию Каткова после 1863 г. Ленин назвал позицией «верного сторожевого пса самодержавия» (Сочинения, т. 5, стр. 264).

[268] В половине июня 1863 г. послы Англии, Франции и Австрии в Петербурге вручили министру иностранных дел А. М. Горчакову повторные ноты с рядом требований по польскому вопросу (так называемыми «шестью пунктами», в том числе требования для поляков полной амнистии, национального представительства согласно конституции 1815 г., восстановления польской администрации, свободы вероисповедания, введения польского языка в школах и официальных

учреждениях и т. д.). В ответных нотах, которые имеет в виду Никитенко, Горчаков категорически отвергал притязания трех держав вмешиваться во внутренние дела России и взять на себя посредничество между правительством и повстанцами.

[269] О романе А. Ф. Писемского «Взбаламученное море» см. ниже, запись 15 января 1864 г. и примечания к ней.

[270] *Лесной корпус* в начале 60-х гг. был преобразован в Земледельческий институт.

[271] Имеется в виду документальная повесть Словского (псевдоним Н. Богословского) «Естьянская шумра. Эпизод из прошедшего времени» («Отечественные записки», 1863, № 7, стр. 279—352), в которой рассказывалось о бунте в аракчеевских военных поселениях в Новгородской губернии. Тема повести обусловила и сомнения в ее цензурности.

[272] Либеральный «Голос» из номера в номер вел полемику с изданиями Каткова («Московские ведомости», «Современная летопись», «Русский вестник») по отдельным вопросам международной и внутренней политики. Возможно, в данном случае имеется в виду статья в № 182 «Голоса» (17 июля) по поводу выступления некоего С. Пинского: «Полезно ли было бы для России, если бы русские, проживающие за границей, возвратились в отечество?» («Современная летопись», 1863, № 22).

[273] Рекомендация Московскому цензурному комитету *воздерживать ярые и беспардонные порывы «Московских ведомостей»* вызвана была особенно статьями Каткова в № 161 газеты с требованием «энергических мер» от правительства. Это требование подкреплялось ссылкой на многочисленные выражения «горячего сочувствия мнениям, которых органом служит наша газета». Характерно, что одновременно с административными внушениями Валуев пытался договориться с Катковым и откровенно писал ему об отсутствии между ними разногласий по существу («Русская старина», 1915, № 9, стр. 406—407; ср. стр. 411—413).

[274] Еще до выступления Ведрова со своими *замечаниями* Валуев 5 августа 1863 г. обратил внимание Московского цензурного комитета на то, что «в «Московских ведомостях» помещаются иногда корреспонденции, в которых сообщаются неверные сведения, подающие повод к неблагоприятным толкам и пересудам о современных происшествиях» («Сборник распоряжений по делам печати, с 1863 по 1 сентября 1865 года», СПб. 1865, стр. 15). Откровенной реакционности Каткова Валуев пытался противопоставить более осторожную тактику, опасаясь подъема новой революционной волны.

[275] Картина Н. Н. Ге «Тайная вечеря», по единодушным отзывам прессы (сводку отзывов см в книге В. В. Стасова «Николай

Николаевич Ге, его жизнь, произведения и переписка», М. 1904, стр. 121—133), оказалась в центре внимания посетителей очередной академической выставки 1863 г., на которой были выставлены и такие получившие широкую известность картины, как «Неравный брак» Пукирева, «Отгадай, кто пришел» Журавлева, ряд портретов К. Маковского и пейзажей Айвазовского. Оценка картины Ге в данной записи, повторенная позже в споре Никитенко с И. Н. Крамским (запись 11 октября 1863 г.), находится в разительном противоречии с подавляющим большинством других современных отзывов. Так, М. Е. Салтыков особенно подчеркивал в очередном обзоре «Наша общественная жизнь» («Современник», 1863, № 11, стр. 139 и сл.), что картина Ге представляет собою явление, «до того сосредоточившее на себе общее внимание, что обойти его значило бы показать совершенное непонимание того общественного значения, которое оно в себе заключает» (Полное собрание сочинений, т. VI, М. 1941, стр. 168). Для Никитенко оказалась неприемлемой реалистичность письма картины, резко противоречившая традиционной иконописной условности. В споре с Ге и с Крамским Никитенко продолжает полемику с «молодым поколением», которая характеризует его записи 1861—1864 гг.

276 Совет по делам книгопечатания в своем постановлении отметил, что «карикатуры в № 34... не подлежали дозволению и напечатанию, в особенности потому, что сделанные под ними надписи, уничтожая их анонимный характер, превращают эти карикатуры в пасквиль, направленный против известного правительственного учреждения» («Сборник распоряжений по делам печати, с 1863 по 1-е сентября 1865 года», СПб. 1865, стр. 15—16).

277 В. В. Бауер защищал на степень доктора всеобщей истории диссертацию «Эпоха древней тирании в Греции», СПб. 1863.

278 Имеется в виду распоряжение о льготах при вступлении в военную службу (см. «Голос», 1863, № 273); по этому распоряжению некоторым категориям военнообязанных предоставлялось право начинать военную службу прямо унтер-офицерами. Значительно облегчалось также получение унтер-офицерами первого офицерского чина и т. д.

279 На страницах «Московских ведомостей» из номера в номер на протяжении нескольких лет шла травля Головнина, которого Катков стремился представить вдохновителем того «духа либерализма, который не должен быть более терпим между нами после страшных уроков, только что пережитых Россией» («Московские ведомости», 1863, № 178). Как вспоминает Е. М. Феоктистов, «в негодовании своем» Катков приписывал Головнину «такие свойства, каких у того не было и в помине» (Е. М. Феоктистов, За кулисами политики

и литературы, Л. 1929, стр. 131). Эта травля подготовила замену Головнина, после каракозовского выстрела, одним из столпов крайней реакции Д. А. Толстым.

[280] О запрещении в 1835 г. перепечатки трех повестей Н. Ф. Павлова см. М. И. Сухомлинов, Исследования и статьи по русской литературе и просвещению, т. II, СПб. 1889, стр. 435—455. После отзыва Никитенко новое издание повестей также не состоялось.

[281] Начиная со второй половины 50-х гг., жестокие преследования раскольников и сектантов разных толков были значительно смягчены. Прекратились уничтожения раскольничьих скитов, кладбищ, ликвидирован был особый секретный комитет по делам раскольников и т. д. Вместе с тем значительно оживилось обсуждение вопросов религиозного раскола, сектантства на страницах общих журналов; в частности, «Русский вестник» чуть ли не в каждом номере печатал «изобличительные» против раскольников статьи Н. И. Субботина и др. Докладная записка Никитенко имела в виду придать этой полемике исключительно исторический характер.

[282] Стихотворение Ф. И. Тютчева «Его светлости князю А. А. Суворову» («Гуманный внук воинственного деда...» — Полное собрание стихотворений, «Библиотека поэта», Л. 1939, стр. 170—171) выражает настроения консервативных кругов — почитателей Муравьева-Вешателя.

[283] В связи с польским восстанием и ухудшившейся международной обстановкой ухудшился также торговый баланс России; это стимулировало повышенный спрос на золото и серебро. Несмотря на заявления официальных экономистов, что «скорее недостанет у публики кредитных билетов, чем золота в разменной кассе», в августе 1863 г. пришлось прекратить размен на золото, однако и это не помогло. В ноябре 1863 г. Государственный банк объявил о полном прекращении размена. Эта мера повлекла за собой катастрофическое падение курса рубля.

[284] *«Ченерентола»* — опера Д. Россини.

[285] Академики получали особое вознаграждение за посещение заседаний (т. наз. «пожетонное»).

[286] Нападки Каткова на киевского генерал-губернатора Анненкова выразились в напечатании ряда корреспонденций из «Юго-западного края», а также в передовых статьях самого Каткова в №№ 252, 253 «Московских ведомостей», с обвинениями в пособничестве развитию «польской интриги» и «украинского сепаратизма».

[287] Под влиянием своих сотоварищей по Академии Никитенко в Отчете Отделения русского языка и словесности за 1863 г. ограничился лишь беглым упоминанием об И. И. Давыдове («Отчеты АН, 1852—1865», стр. 396).

[288] *Статья Прудона* — повидимому, одна из глав его двухтомной книги «Война и мир», М. 1864.

[289] Литератор В. П. Гаевский был в 1862 г. привлечен по делу «о лицах, обвиняемых в сношениях с лондонскими пропагандистами». В октябре 1862 г., в то время как сам Гаевский был за границей, в его квартире был сделан обыск, все бумаги изъяты III отделением, книги опечатаны. Допрошенный по возвращении из-за границы Гаевский категорически отрицал какие бы то ни было свои сношения с Герценом и Огаревым. 10 декабря 1864 г. сенат постановил: «освободить от суда» Гаевского (Мих. Лемке, Очерки освободительного движения шестидесятых годов, СПб. 1908, стр. 141—142, 155, 175—176, 223).

[290] *«Фаворитка»* — опера.

[291] *«Маскарад»* — «Бал-маскарад», опера Верди.

[292] Непременный секретарь Академии наук К. С. Веселовский в своих воспоминаниях особо отмечает страсть Д. Н. Блудова к избранию в почетные члены и члены-корреспонденты Академии лиц, имевших самое отдаленное отношение к науке, но занимавших видное служебное или общественное положение («Русская старина», 1901, № 12, стр. 526). Предложение избрать в члены-корреспонденты Каткова смутило даже реакционную, послушную обычно своему президенту академическую среду, убоявшуюся протестов широкого общественного мнения. Показательны в этом отношении аргументы П. С. Билярского в письме к Я. К. Гроту: «Предложение Каткова в члены-корреспонденты я считаю несчастьем для отделения... отчего же мы не избрали его раньше, а именно только тогда, когда он восстал против Герцена? Истинной причины избрания нельзя будет скрыть от публики, и это избрание причинит много неприятностей... Кажется, лучше отложить, пока затихнет, забудется, и тогда наш выбор никому не будет резать глаза» (В. М. Истрин, Письма к академику Петру Спиридоновичу Билярскому, Одесса 1906, стр. 306—307).

[293] Газета «С.-Петербургские ведомости» формально принадлежала Академии наук, которая сдавала ее в аренду. В 1851—1862 гг. таким арендатором был цензор А. Н. Очкин, а при нем фактическим редактором — А. А. Краевский. Последний, по истечении срока аренды Очкина, являлся наиболее солидным претендентом, однако Д. Н. Блудов, как президент Академии, решительно воспротивился заключению с ним контракта (см. воспоминания К. С. Веселовского — «Русская старина», 1901, № 12, стр. 519—522). Тогда аренда была отдана В. Ф. Коршу, которого многие лица, близкие к Академии, порицали за «либерализм».

[294] Имеются в виду «Записки А. П. Ермолова, изданные полковником В. А. Ермоловым (Материалы для истории войны 1812 года)», М. 1863.

[295] В качестве диссертаций на степень доктора восточной словесности защищались работы И. Н. Березина «Очерк внутреннего устройства улуса Дмучиева» и В. П. Васильева «Сведения о манчжурах во времена династий Юань — Мин».

[296] *«Фауст»* — опера Ш. Гуно, впервые поставленная в Петербурге 31 декабря 1863 г., в бенефис Тамберлика (Вольф, III, 119).

[297] Замечание Никитенко намекало на то исключительное положение, какое занял по отношению к цензуре с середины 1863 г. Катков. Почувствовав себя идейным вождем реакции, вдохновителем правительственного курса, он с каждым днем все меньше считался с цензурными правилами, то и дело обращаясь с жалобами на действия московской цензуры непосредственно к Валуеву. Последний, в свою очередь, относился к этому весьма поощрительно. «Если вы встречаете цензурные препятствия, — писал он Каткову 6 февраля 1864 г., — неужели опыт не убедил вас, что не только с моей стороны, но и со стороны М. П. Щербинина вы встретите дружелюбную готовность устранить те затруднения, которых устранение возможно?» («Русская старина», 1916, № 6, стр. 346—347).

[298] Представление о военном министре Д. А. Милютине как о «красном» (т. е. революционере), зашедшем в своем демократизме «слишком далеко», совершенно не соответствовало действительности и основывалось на подготовлявшейся им реформе своего ведомства, на сделанных им первых шагах к созданию в России армии буржуазного типа. Социально-политические взгляды Милютина никогда не шли далее весьма умеренного либерализма. См. статьи П. А. Зайончковского: «Д. А. Милютин. Биографический очерк» («Дневник Д. А. Милютина», т. I, М. 1947, стр. 19—60) и «Военные реформы Милютина» («Вопросы истории», 1945, № 2).

[299] Революционная и публицистическая деятельность Герцена, особенно в связи с польским восстанием, вызвала по его адресу целые ушаты брани и проклятий со стороны реакционных кругов. Имея в виду подобные брань и проклятия, В. И. Ленин в статье «Памяти Герцена» писал: «Когда вся орава русских либералов отхлынула от Герцена за защиту Польши, когда все «образованное общество» отвернулось от «Колокола», Герцен не смутился. Он продолжал отстаивать свободу Польши и бичевать усмирителей, палачей, вешателей Александра II. Герцен спас честь русской демократии» (Сочинения, т. 18, стр. 13).

[300] Пасквильный антидемократический роман А. Ф. Писемского «Взбаламученное море» («Русский вестник», 1863, №№ 3—8, и отд. СПб. 1863) вызвал резко отрицательные отзывы критики. Однако, в то время как реакционная и либеральная журналистика («День», «Библиотека для чтения», «Голос», Якорь», «Отечественные записки») обвиняла роман в публицистичности и недостатке художественности, критики демократического лагеря подчеркивали пасквильные, антидемократические тенденции Писемского; так, А. И. Герцен в статье под выразительным заглавием «Ввоз нечистот в Лондон» («Колокол», л. 175, 15 декабря 1863 г.) говорил о некоем «романисте, аферисте, драматисте», который «ставит на сцену новую русскую жизнь с подхалюзной точки зрения подьячего, не совсем вымывшего руки от... канцелярских чернил, делает шаржи на события, от которых еще до сих пор льются слезы, и чертит силуэты каких-то дураков в Лондоне, воображая, что это наши портреты» (Герцен, XVI, 555—556); ср. также статьи: В. Зайцева «Взбаламученный романист» («Русское слово», 1863, № 10—Избранные сочинения, т. I, М. 1934, стр. 138—154) и особенно М. Антоновича «Современные романы» («Современник», 1864, № 4 — Избранные статьи, Л. 1938, стр. 203—242). Отзыв Никитенко о романе Писемского (*море безвкусия*) примыкает к первой группе отзывов — реакционно-либеральных.

[301] И. С. Тургенев был привлечен к дознанию по «делу о лицах, обвиняемых в сношениях с лондонскими пропагандистами» («процесс 32-х»). В течение нескольких месяцев он вел переписку с царским правительством, обращался даже лично к Александру II, настойчиво доказывая свою непричастность к каким бы то ни было политическим организациям. В марте 1863 г. Тургеневу были присланы «допросные пункты», на которые он отвечал весьма пространно, не только подробно рассказав о своих отношениях с Герценом, Огаревым, Бакуниным и рядом других политических эмигрантов, но и присоединив к своим показаниям несколько писем Герцена и Бакунина (весь этот материал опубликован Мих. Лемке, Очерки освободительного движения шестидесятых годов, СПб. 1908, стр. 160—174). Царское правительство, однако, не удовлетворилось этими показаниями и вторично потребовало личной явки Тургенева в Петербург. После длительных проволочек, в начале января 1864 г., Тургенев явился в сенат, дал некоторые показания (там же, стр. 206—208) и 28 января 1864 г. получил разрешение возвратиться за границу с обязательством снова явиться по первому вызову. Поведение Тургенева в данном эпизоде, его переписка с царским правительством и самим царем, тон этой переписки — все это ярко характеризовало его как либерала; на это указал В. И. Ленин в статье «Памяти Гер-

цена» (Сочинения, т. 18, стр. 13), отметив вместе с тем, что Герцен в «Колоколе» (л. 177, 15 января 1864 г.) сумел разоблачить этот либерализм в заметке о «предусмотрительных трусах», которые «начинают покидать стан красных». Герцен упоминает «об одной седовласой Магдалине (мужеского рода), писавшей государю, что она лишилась сна и аппетита, покоя, белых волос и зубов, мучась, что государь еще не знает о постигнувшем ее раскаянии», в силу которого она «прервала все связи с друзьями юности» (Герцен, XVII, 25). «И Тургенев сразу узнал себя», — добавляет Ленин, пересказав этот эпизод.

302 В статье своей, вызванной резким усилением правительственных гонений даже на умеренно-либеральную печать, В. Ф. Корш писал: «Здравый смысл и совесть пишущего и редакции крайне недостаточны для удовлетворения разным случайностям и побочным условиям, сокрытым от наших глаз. Мы просим поверить нам на слово, что наше терпение подвергается ежедневно самому тяжкому испытанию и что когда, с одной стороны, имеющей прямое влияние на газету, есть и убеждение и нравственное чувство, а с другой стороны — все это нипочем, то положение журнала не может быть названо даже и сносным. Мы, конечно, просим наших читателей сказать вместе с нами: «Боже, пошли нам благодетельную руку, которая внесла бы хотя малейшую долю законности и чести в это дело...» Постановление Совета по делам печати было представлено Валуеву. который, «принимая во внимание самый факт доведения до сведения Цензурного управления намерения напечатать статью, заключающую в себе прямое оскорбление как цензурных учреждений, так и правительства вообще», утвердил решение Совета.

303 В середине 1863 г. русская реакционная печать подняла истошный вой по поводу так называемого «украинского сепаратизма», под которым разумелись проявления растущего национального самосознания украинского народа. Устрашенные польским восстанием, боясь, чтобы «польский пожар» не перебросился на соседние украинские губернии, не захватил массу украинского крестьянства, крупные земельные собственники на Украине, в тесном единении с русскими реакционерами, начали настоящий крестовый поход не только против малейших выступлений политического характера, но также против скромнейших либерально-культурнических начинаний вроде издания популярных книжек для народа на украинском языке. В центре этих нападок оказался Н. И. Костомаров, незаслуженно пользовавшийся в реакционно-бюрократических кругах репутацией опасного революционера, «красного». Апогеем разнузданной травли «украинского сепаратизма» явилась статья Каткова об «украинофильстве» как следствии «иезуитских интриг» («Московские ведомости», 1863, № 136).

В атмосфере, накаленной кровавыми расправами в Польше и усиленной «работой» военных судов Муравьева-Вешателя, подобная статья могла быть чреватой последствиями для Костомарова. Он ответил Каткову рядом статей, в которых стремился трусливо доказать свою благонамеренность, но в то же время отстаивал целесообразность введения в украинских школах преподавания на родном языке («Ответ «Московским ведомостям» — «День», 1863, № 27, стр. 18—19; «Письмо к редактору» — «День», 1863, № 29, стр. 19—20; «Г. Публицисту «Московских ведомостей» и «Воскресных прибавлений» к этим «Ведомостям» — «С.-Петербургские ведомости», 1863, № 186). В № 191 «Московских ведомостей» появилась новая злобно-клеветническая статья Каткова по поводу «украинофильских затей» Костомарова. Костомаров написал большое опровержение, но цензура его не пропустила. Об этом-то «опровержении» и упоминает запись Никитенко; запрещенная статья сохранилась в делах Совета по делам книгопечатания и была опубликована Ю. Г. Оксманом уже после Великой Октябрьской социалистической революции (Н. И. Костомаров; «Украинский сепаратизм». Неизвестные запрещенные страницы, Одесса, 1921). В своем отзыве Никитенко доказывал, что «введение малороссийского наречия в школе не нужно, а следовательно, и бесполезно»; поэтому Никитенко настаивал на запрещении опровержения Костомарова (ЦГИАЛ, Журнал Совета по делам книгопечатания, 1864, 23 января, № 30).

[304] Статья Никитенко развивала и формулировала многие взгляды, высказывавшиеся не раз попутно на страницах дневника по поводу «молодого поколения», нигилизма, материализма и пр. Восставая против «утопизма» революционеров и их «неосуществимых» идеалов, Никитенко пытается в своей статье обосновать «теорию» «медленного», «постепенного прогресса».

[305] В январе 1864 г. Пруссия и Австрия, соединенными усилиями, вооруженные лучшей современной техникой, грабительски напали на почти беззащитную Данию. Как говорит Ф. Энгельс, «под предлогом освобождения немцев от датского гнета, к Германии были присоединены 200 000 датских жителей северного Шлезвига» (К. Маркс и Ф. Энгельс, т. XVI, ч. 1, стр. 474).

[306] Степень доктора философии была присвоена священнику Ф. Ф. Сидонскому специально для того, чтобы обеспечить ему возможность преподавания философии в университете, после того как была отвергнута кандидатура П. Л. Лаврова (Григорьев, 365).

[307] Цензор О. А. Пржецлавский в отзыве от 26 января 1864 г. категорически высказывался против русского перевода (А. Лонгинова) сочинения Д. С. Милля «О свободе», так как оно заключает в себе «обоготворение разума как верховного судьи всех не только

человеческих, но и божественных дел, а затем приложение протестантского принципа свободного выбора... ко всем отраслям знания, ко всем элементам индивидуальной и общественной жизни» (ЦГИАЛ, Дело Совета по делам книгопечатания, 1864, № 11, лл. 5—7). Рукопись была разрешена к печати с исключением ряда мест, — «принимая во внимание, что сочинение Милля подлежит напечатанию в специальном ученом ежемесячном и малораспространенном в публике журнале «Экономист» (ЦГИАЛ, Дело С.-Петербургского цензурного комитета, 1864, № 9, л. 11).

[308] В конце января 1864 г. Н. А. Некрасов обратился в Совет по делам книгопечатания с протестом против действий цензора Веселаго, вычеркнувшего из статьи «Пища и ее значение» (М. А. Антоновича), предназначенной для «Современника», ряд мест. Прошение Некрасова было препровождено на заключение И. А. Гончарову, который отозвался, что «просьба г. Некрасова могла бы быть удовлетворена почти вполне, с немногими изменениями, против которых, вероятно, не будет протестовать и автор». Однако в самом заседании Совета 30 января Гончаров просил «признать за нужное поручить рассмотреть статью и мое мнение еще кому-нибудь из гг. членов Совета». В результате отзыва Никитенко (сущность его подробно изложена в записи 5 марта 1864 г.) статья была запрещена (ЦГИАЛ, Дело Главного управления по делам книгопечатания, 1864, № 21; В. Евгеньев-Максимов, Последние годы «Современника», 1863—1866, Л. 1939, стр. 78—80). Меры, принятые в отношении этой статьи, объясняются тем, что Антонович, отталкиваясь от книги вульгарного материалиста Я. Молешотта «Учение о пище» (русский перевод — СПб. 1863), делает широкие материалистические обобщения, звучавшие очень остро; борьба же с материализмом в середине 60-х гг., как это можно видеть и по «Дневнику» Никитенко, являлась одним из основных пунктов идеологической программы царского правительства.

[309] После увольнения от должности попечителя Киевского учебного округа Н. И. Пирогов был назначен руководителем русских молодых ученых, командированных за границу; в этой должности Пирогов находился до 1866 г.

[310] Речь И. С. Тургенева о Дружинине была напечатана в «Русском инвалиде», 1864, № 40, 18 февраля (И. С. Тургенев. Сочинения, т. XII, Л. 1933, стр. 253—255). М. А. Корф вскоре отказался от звания председателя; председателем Литературного фонда был вновь избран Е. А. Ковалевский.

[311] Резко отрицательная характеристика П. П. Пекарского, которую дает Никитенко, объясняется двумя обстоятельствами. Во-первых, Пекарский не был симпатичен Никитенко по близким своим отношениям

к кругу «Современника», в частности к Чернышевскому (см А. Н. Пыпин, Петр Петрович Пекарский — «Вестник Европы», 1872, № 9, стр. 473). Вместе с тем для Никитенко, с его склонностью к широким обобщениям в суждениях о литературе, был неприемлем мелочный эмпиризм Пекарского.

[312] Докладная записка Пржецлавского действительно никаких последствий не имела и была похоронена в делах Петербургского цензурного комитета.

[313] Имеются в виду передовые статьи №№ 5 и 6 «Дня», где, по характеристике официального документа, «высказываются резкие упреки администрации Юго-Западного края за ее будто бы бездействия к подавлению происков польской пропаганды... равно как порицаются распоряжения местных властей по отношению к крестьянам, основанные на одном механическом применении к ним существующих узаконений». Валуев нашел, что подобного рода статьи «не должны были бы быть пропущены в печать» (ЦГИАЛ, Дело Центрального управления по цензурному ведомству, 1864, № 27; «Сборник распоряжений по делам печати с 1863 по 1 сентября 1865 года», СПб. 1865, стр. 28—29).

[314] Упоминая о Ч. Диккенсе, Тургенев имел в виду, вероятно, свои впечатления от превосходного чтения английским писателем собственных произведений. Об этом Тургенев писал из Парижа к Анненкову 19/31 января 1863 г. (П. В. Анненков, Литературные воспоминания, СПб. 1909, стр. 562).

[315] Неверная характеристика Г. П. Данилевского как *проповедника малороссийского сепаратизма* основана на подготовлявшейся им к печати книге «Украинская старина» (Харьков 1866), разделы которой (например, о Квитке-Основьяненко, народных школах) печатались отдельными статьями в журналах, а также на переводе Данилевским украинских народных сказов («Украинские сказки для детей», СПб. 1863). Упоминание о его «ультралиберализме» также не соответствует действительности.

[316] *«Линда ди Шамуни»* — опера Г. Доницетти.

[317] Имеется в виду митрополит (с 1860 г.) новгородский, с.-петербургский и финляндский Исидор (Я. С. Никольский).

[318] Как рассказывает в своих воспоминаниях К. С. Веселовский, назначение Ф. П. Литке президентом Академии наук явилось для всех полной неожиданностью («Русская старина», 1901, № 12, стр. 528).

[319] *«Отелло»* — опера Дж. Россини.

[320] История цензурного запрещения и последующего сожжения трагедии И. Е. Великопольского «Янетерской» рассказана Никитенко в записи 5 марта 1841 г. (см. т. 1 наст. изд.). О попытке Великопольского издать трагедию в 1864 г. см. в статье Б. Л. Модзалев-

ского «Из архива И. Е. Великопольского» («Русская старина», 1901, № 6, стр. 628—629; ср. его же, «И. Е. Великопольский (1797—1868)», СПб. 1902, стр. 76, 106).

321 Имеется в виду «Воспоминание о бывшем президенте императорской Академии наук графе Д. Н. Блудове» («Записки Академии наук», 1864, т. V, стр. 110—118); ср. также «С.-Петербургские ведомости», 1864, № 66.

322 Попытки ряда профессоров провести Н. И. Костомарова в почетные доктора истории Петербургского университета были связаны не только с желанием отметить несомненные ученые его заслуги, но также с необходимостью для него обладать ученой степенью доктора, чтобы получить профессорскую кафедру в одном из университетов. Профессура была обещана Костомарову Головниным, и в 1864—1865 гг. велись переговоры об избрании Костомарова на кафедру русской истории в Харьковском и Одесском университетах; в то же время он не терял надежды снова обосноваться в Петербургском университете. Ни одно из этих назначений не состоялось.

323 Вечера у Ф. П. Литке были официальными приемами, на которые «академики получали приглашение рассылкою почетного списка дней на весь сезон» (письмо Я. К. Грота к П. А. Плетневу, 23 октября 1864 г. — «Переписка», III, 686).

324 Имеется в виду книга Н. Г. Устрялова «История царствования Петра Великого», т. IV, чч. 1, 2, СПб. 1863 (тт. I—III, VI вышли в 1858—1859 гг.).

325 Записка Пржецлавского вызвала секретное предложение министра внутренних дел Московскому цензурному комитету разрешать к печати всевозможные «обличительные» корреспонденции «с особенною осмотрительностью» и обязательно «требовать от редакций предварительного и точного объяснения, кем именно они доставлены». Валуев требовал разъяснить редакторам, что его цель заключается в том, чтобы «наложить полезную узду на тех безгласных корреспондентов, которые вводят в заблуждение добросовестных издателей и промышляют в наше время извращением фактов, нередко даже чистыми вымыслами для того, чтобы удовлетворить чувствам личной неприязни или чтобы возбуждать и распространять недоверие к правительственной власти» («Сборник распоряжений по делам печати с 1863 по 1 сентября 1865 года», СПб. 1865, стр. 33).

326 Других свидетельств о лекциях Лаврова в начале 1864 г., кроме этой краткой записи Никитенко, не существует, возможно лекции эти носили полулегальный характер.

327 Парад был дан по случаю исполнившегося 18 марта 1864 г. 50-летия взятия русскими войсками Парижа. В этот же день был устроен в Зимнем дворце парадный обед, на который приглашались

все находившиеся в живых участники этого события. Празднование это явилось своего рода политической демонстрацией по отношению к Франции, что вызвало отрицательное к нему отношение со стороны министра иностранных дел А. М. Горчакова (см. запись 22 марта).

[328] Состоя в продолжение ряда лет (с 1857 г.) председателем Комитета цензуры иностранной, Тютчев находился в стороне от вопросов, непосредственно занимавших центральное цензурное ведомство. Отсюда и его обращение к Никитенко за советами и общей информацией.

[329] Записки Д. Н. Блудова остались неизданными. Ими — в очень незначительной степени — воспользовался Е. П. Ковалевский в книге «Граф Блудов и его время», СПб. 1866.

[330] Речь идет о депутации польских крестьян к Александру II с благодарностью за указ 19 февраля 1864 г., предоставлявший крестьянам Царства Польского в пользование обрабатывавшуюся ими землю вместе с инвентарем, освобождавший их от повинностей в пользу помещиков, а фактически также и от выкупных платежей.

[331] Б. Н. Чичерин характеризует Д. С. Левшина как «добрейшего» «патриархального генерала старого времени», который «не имел ни малейшего понятия ни о науке, ни о преподавании, ни об юридических требованиях» («Воспоминания Бориса Николаевича Чичерина, Московский университет», М. 1929, стр. 168 и сл.).

[332] О педагогических идеях Толстого, изложенных в ряде статей его журнала «Ясная Поляна» (1862), Никитенко вспомнил, вероятно, в связи с полемическими возражениями против них на страницах журналов 1863—1864 гг.

[333] Запись и рассуждения Никитенко отражают пошлые сплетни, распространявшиеся врагами женского образования в России и нашедшие свое выражение в некоторых антинигилистических романах вроде «Некуда» Стебницкого-Лескова, «Панургово стадо» Вс. Крестовского, «Марево» Клюшникова и пр. Совсем о другом рассказывают воспоминания передовых людей того времени. И. М. Сеченов, преподававший в эти годы в Медико-хирургической академии, называет женщин, занимавшихся в академии, «серьезно и крепко зараженными на подвиг служения женскому вопросу». Он же рассказывает, что посещавшие занятия в академии женщины «слушали нескольких профессоров (между прочим, и меня) и работали в анатомическом театре строгого Грубера, бывшего, однако, очень довольным их занятиями» («Автобиографические записки Ивана Михайловича Сеченова», М. 1907, стр. 117). Сеченов дал двум своим слушательницам темы для специальной разработки; «обе эти работы, — говорит он, — были в том же году напечатаны» (там же, стр. 117—118). Когда властями Оренбургского края было заявлено о желательности иметь

для кочевого магометанского населения женщин-медиков, «ввиду того что женщины-магометанки упорно уклоняются от помощи медиков-мужчин», «обе молодые энтузиастки решились дать начальству подписку в том, что они отправляются в степи» (там же, стр. 132—133). Рассказанный Сеченовым случай не являлся исключением.

334 В конце 1863 г. Головнин получил согласие Александра II «предоставить Академии составить проект нового устава и штата с целью усилить ученую деятельность Академии». Разработка нового устава привела к острой борьбе относительно ряда его положений. Одним из эпизодов этой борьбы явились, в частности, споры относительно объединения Отделений русского языка и словесности («второго») с историко-филологическим («третьим»). Малочисленность Отделения русского языка и словесности служила для многих членов Академии — иностранцев удобным предлогом для того, чтобы требовать ликвидации автономии Отделения. См. Г. А. Князев, Краткий очерк истории Академии наук СССР, М.—Л. 1945, стр. 31—32. О дальнейших перипетиях разработки устава Академии, в частности о спорах вокруг статута Отделения русского языка и словесности, не раз упоминается в «Дневнике» ниже; ср. также «Переписку Я. К. Грота с П. А. Плетневым», III, 684—687 и др.

335 В. К. Надлер (впоследствии профессор Харьковского и Одесского университетов) защищал магистерскую диссертацию «Причины и первые проявления оппозиции католицизму в Чехии и Западной Европе в конце XIV и XV столетия», Харьков 1864.

336 Столетие учрежденного Екатериной II «Смольного института» для «благородных девиц» было отмечено специальными грамотами как самому институту, так и его «попечителю», принцу П. Г. Ольденбургскому.

337 Об этом столкновении с И. И. Срезневским подробно рассказывает П. С. Билярский в своих записях. Возражения Билярского сводились к тому, что статья Срезневского была «написана весьма небрежно» и «состояла решительно из грубого материала, бог знает для какой цели и надобности набросанного из летописи» (В. М. Истрин, Письма к академику П. С. Билярскому, Одесса 1906, стр. 243—244). Статья была опубликована лишь в 1903 г. («Известия Отделения русского языка и словесности Академии наук», т. VIII, 1903, кн. 1, стр. 120—173).

338 Совет по делам книгопечатания подтвердил запрещение обоих стихотворений Некрасова. «Железная дорога» была запрещена на том основании, что в стихотворении этом «объясняется генеральскому сыну картина мучений, испытываемых рабочим людом при постройке железных дорог; генерал... смеется над участью рабочих и находит отрадною картину осмотра работ». В «Колыбельной песне», по мнению

комитета, «заключается едкая ирония на судьбу чиновников: гнуть спину, ползти ужом до хорошего местечка, красть, потом купить дом и сделаться русским дворянином» (В. Е. Евгеньев-Максимов, Некрасов как человек, журналист и поэт, Л. 1928, стр. 237).

[339] *Брошюра* Головнина — одна из многочисленных «записок», составлявшихся по его указаниям и имевших целью подчеркнуть неусыпные его труды о благе государственном. По воспоминаниям осведомленного современника, «проекты самые разнообразные сменялись в его голове, как в калейдоскопе, с изумительною быстротой» (Е. М. Феоктистов, Воспоминания, Л. 1929, стр. 130).

[340] Документальных подтверждений слуха о проекте Д. Н. Блудова относительно учреждения верховного комитета для «начертания» системы обучения и управления в школах под председательством митрополита (Филарета) нет.

[341] 18 мая 1864 г. Я. К. Грот сообщал П. А. Плетневу, что «Срезневский и Никитенко взялись каждый написать по статье об утраченном сочлене и его заслугах» («Переписка», III, 680). Это намерение, однако, не было выполнено. Сам Грот, заканчивая краткую заметку о Шевыреве в составленном им «Отчете Академии наук по Отделению русского языка и словесности за 1864 год» (СПб. 1864; «Отчеты АН, 1852—1865», стр. 412—418), констатировал, что известие о смерти Шевырева «было принято в России» «равнодушно». Равнодушие это определялось тем, что реакционер Шевырев — и как ученый и как поэт — давно уже отстал от науки, от литературы, от вопросов, живо волновавших общественность.

[342] Сводка данных о «гражданской казни» Н. Г. Чернышевского дана в книге Мих. Лемке, Политические процессы в России 1860-х гг., изд. 2-е, ГИЗ, 1923, стр. 490—496; ср. также рассказы Венского («Русское богатство», 1905, № 6, стр. 99—100), Кокосова («Русское богатство», 1905, № 12, стр. 159—162) и книжку А. Тверитинова «Об объявлении приговора Н. Г. Чернышевскому», СПб. 1907. Самое объявление полиции о расправе правительства Александра II с великим революционером-демократом было помещено в «Ведомостях с.-петербургской городской полиции», 1864, № 108.

[343] Как видно из дальнейших записей 21 мая и 1 ноября 1864 г., статья Н. И. Костомарова в конце концов была разрешена к печати («Вече и вечевое устройство в древней Руси» — «Дело и отдых», 1865, № 1).

[344] Об эпизоде с букетом, брошенным Чернышевскому М. П. Михаэлис при объявлении приговора, упоминается во всех воспоминаниях, посвященных этому дню (см. выше, прим. 342); кроме того, Е. А. Штакеншнейдер, Дневник и записки, «Academia», 1934,

стр. 333—334. Арестованная М. П. Михаэлис была выслана из Петербурга.

[345] Как правильно отмечает М. К. Лемке, вряд ли сообщение Любощинского во всем верно; вряд ли в Государственном совете могло проявиться серьезное разногласие с определением сената, внушенным правительством и лично Александром II («Политические процессы в России 1860-х гг.», ГИЗ, 1923, стр. 487). По вероятному предположению Лемке, таинственные *бумаги из III отделения* — это «записка о литературной деятельности Чернышевского», составленная по заданию III отделения предателем-провокатором Всеволодом Костомаровым (опубликована в книге Лемке, стр. 389—438). Тем не менее запись Никитенко является ценным свидетельством того, как мало доверия к наспех и топорно состряпанному «делу» Чернышевского было даже в тех, кто враждебно относился к его деятельности.

[346] В приговоре сената по делу Чернышевского «Современник» был упомянут дважды. В самом начале отмечалось, что Чернышевский «был одним из главных сотрудников журнала «Современник», который «своим направлением обратил на себя внимание правительства». «В нем развивались по преимуществу материалистические и социалистические идеи, стремящиеся к отрицанию религии, нравственности и закона, так что правительство признало нужным прекратить на некоторое время издание сего журнала, а одновременно с сим открылись обстоятельства, которые указали правительству в Чернышевском одного из зловредных деятелей в отношении к государству». В заключении «определения» сенат указывал, что Чернышевский «своею литературною деятельностью имел большое влияние на молодых людей, в коих со всею злою волею посредством сочинений своих развивал материалистические в крайних пределах и социалистические идеи, которыми проникнуты сочинения его, и, указывая в ниспровержении законного правительства и существующего порядка средства к осуществлению вышеупомянутых идей, был особенно вредным агитатором» (Мих. Лемке, Политические процессы в России 1860-х гг., ГИЗ, 1923, стр. 474, 486).

[347] Намеченное сочинение не было осуществлено и не увидело света, хотя о нем упоминается в отчете о деятельности Отделения русского языка и словесности за 1864 г. («Отчеты АН, 1852—1865», стр. 422).

[348] Об этой полемике см. Я. Зутис, Очерки по историографии Латвии, ч. 1, Рига 1949, стр. 144—165.

[349] М. М. Достоевский скончался 10 июля 1864 г. в Павловске; этим обстоятельством и объясняется присутствие Никитенко на его похоронах

[350] Имеется в виду статья П. П. Пекарского «Путешествие академика И. Н. Делиля в Березов в 1740 г.» («Записки Академии наук», т. IV, кн. 2, 1864).

[351] Вероятно, речь идет о воспоминаниях Бывалого (А. П. Башуцкого), напечатанных два года спустя: «Первая холера в Петербурге (воспоминания очевидца)» («Русский вестник», 1866, № 7, стр. 225—236).

[352] Имеется в виду публикация В. Ф. Одоевского «Старинная песня (о пострижении Е. Ф. Лопухиной)» («Русский архив», 1863, стр. 107—111).

[353] Несколько дополнительных черт к описанию юбилея К. Бэра находим в письме Я. К. Грота к П. А. Плетневу от 28 сентября 1864 г.: «29 августа праздновали юбилей (50-летний) докторского звания Бэра. Поутру поднесли мы ему печатный адрес с его медалью; с нами были и многие другие депутации от разных обществ... Потом был у Демута в честь его большой обед по подписке... Речей было несчетное количество. Бэр отвечал очень умно, юмористически» («Переписка», III, 685).

[354] Под псевдонимом Д. К. Шедо-Ферроти агент министерства финансов в Бельгии барон Ф. И. Фиркс еще в 1861 г. написал в интересах царского правительства злобно-реакционную брошюру на французском языке, направленную против Герцена и получившую жестокую отповедь в статье-листовке Д. И. Писарева «Русское правительство под покровительством Шедо-Ферроти» (Д. И. Писарев, Избранные сочинения, т. I, ГИХЛ, 1934, стр. 321—326; ср. Мих. Лемке, Политические процессы в России 1860-х гг., ГИЗ, 1923, стр. 530—548). «Успех скандала», вызванный этой брошюрой, вдохновил «наемного памфлетиста» (Писарев) на сочинение второй брошюры: «Gue fera-t-on de la Pologne?» («Что будет с Польшей?»), в которой он восхвалял великого князя Константина Николаевича за управление в Польше и защищал его от критики Каткова, обвинявшего Константина в недостаточно энергичной расправе с повстанцами. В письме к П. А. Плетневу, 18 сентября 1864 г., М. М. Стасюлевич рассказывал об этой брошюре: «Наш министр приобрел 1000 экземпляров и разослал ее по всем училищам и всем не только знакомым, но даже и незнакомым ему лицам» («М. М. Стасюлевич и его современники в их переписке», т. I, СПб. 1911, стр. 164). См. ниже, примечание 357.

[355] «Статья о пожарах» — передовая статья Каткова в «Московских ведомостях», 1864, № 189, провокаторски указывавшая на ряд пожаров, «сопровождавшихся какими-то непонятными обстоятельствами», и приписывавшая (от имени «многих») «вышеисчисленным пожарам политическое значение».

[356] Мнение о виновности *поляков* если не непосредственно в поджогах, то в распространении *зажигательных идей* является формулировкой вывода, подсказывавшегося провокационной статьей Каткова о пожарах.

[357] В передовой статье «Московских ведомостей», 1864, № 196, Катков отвечал Шедо-Ферроти: «Г. Шедо-Ферроти с насмешкою отзывается об изъявлениях сочувствия, которые мы получали в прошлом году. Мы не думаем, чтоб они были так презрительны, как ему кажутся... Нам особенно приятно вспомнить теперь письмо, полученное нами в прошлом году от г. министра народного просвещения, который предлагал нам собрать статьи наши по польскому вопросу... и вызывался приобресть большое число экземпляров этой книги для рассылки по всем учебным заведениям». «Мы высоко оценили полное сочувствие, изъявленное в этом письме нашим воззрениям», — со злорадством заканчивает Катков, прекрасно знавший роль Головнина в написании и распространении брошюры Шедо-Ферроти.

[358] М. М. Стасюлевич в письме к П. А. Плетневу, 18 сентября 1864 г., рассказывает об этом эпизоде несколько иначе: «Правительственная комиссия, управляющая за отсутствием государя, сделала официальный запрос министру: действительно ли он рассылал ту брошюру по учебным заведениям? На это он отвечал письмом государю, говоря, что он сердечно привязан к великому князю, а так как общественное мнение восстановлено против него и он не чувствует сил с ним бороться, то и просит об увольнении» («М. М. Стасюлевич и его современники в их переписке», т. I, СПб. 1911, стр. 165). Слух об этом письме Головнина дошел до Никитенко значительно позднее: повидимому, его он имеет в виду в записи 11 октября 1864 г. Версии Никитенко и Стасюлевича, взаимно дополняя друг друга, позволяют довольно точно восстановить реакцию правительственных кругов на брошюру Шедо-Ферроти и участие Головнина в ее создании и распространении.

[359] Об этом эпизоде также сообщал М. М. Стасюлевич в письме к П. А. Плетневу 27 сентября 1864 г. «Министр, — писал он, — отправил в Московский университет 10 экземпляров Шедо-Ферроти; совет университета, рассмотрев книгу, нашел ее оскорбительною для чести русского имени и возвратил все экземпляры в департамент при бумаге, где сказано, что университет не желает хранить в своей библиотеке такой низкий пасквиль. Весьма понятно, как все это мало могло понравиться Головнину» («М. М. Стасюлевич и его современники в их переписке», т. I, СПб. 1911, стр. 165). 12 октября Стасюлевич сообщал дополнительно, что прошение Головнина об отставке не принято: «Никогда не решатся уволить потому, что этого

требуют; но из этого не следует, чтобы не уволили попозже, когда все стихнет» (там же, стр. 166).

[360] Акциз на спиртные напитки введен в России 4 июня 1861 г., заменив собою практику сдачи на откуп права производства вина и торговли им.

[361] Соглашение, заключенное между Наполеоном III и Виктором-Эммануилом 15 сентября 1864 г., имело существенное значение для объединяющейся Италии, так как в нем за королем признавалось преимущественное право на власть, в течение ряда лет упорно оспаривавшееся папским Римом. По соглашению Италия принимала на себя защиту владений папского престола, а Франция обязывалась вывести свои войска из Рима.

[362] *«Сомнамбула»* — опера В. Беллини. Об ансамбле Рубини, Виардо, Тамбурини (сезон 1843—1844 г.) обстоятельно рассказывает в своих «Воспоминаниях» В. А. Панаев («Русская старина», 1901, № 12, стр. 582—587).

[363] В сентябре 1864 г. Александр II выехал за границу. 15 октября он встретился в Ницце с Наполеоном III.

[364] Отношение к планам Порошина правительственных реакционных кругов, проваливших в конце концов осуществление его затеи, обрисовывается из письма В. П. Боткина к И. С. Тургеневу от 3 октября 1864 г.: «Здесь Порошин; он приехал сюда хлопотать о том, чтобы дали ему и Щербаню 40 тыс‹яч› на издание «Revue Russe» в Париже. Оставя в стороне вопрос о трудности собрать такую сумму, — но он и Щербань вовсе не представляют гарантии в политической дельности предпринимаемого издания... Кроме того, Порошин приехал с таким взглядом на польский вопрос, который более похож на девический, нежели на политический» («В. П. Боткин и И. С. Тургенев. Неизданная переписка», «Academia», 1930, стр. 215—216). Последние слова Боткина намекают на сочувствие Порошина восставшей Польше.

[365] Претензии Билярского представлять в Академии «философию языка» основывались на том, что им сделан был перевод известной книги В. Гумбольдта «О различии организма человеческого языка по влиянию этого различия на умственное различие человеческого рода», СПб. 1859.

[366] О «записке» О. Пржецлавского подробно см. ниже, в примечании к записи 7 января 1865 г.

[367] О шиканье в театре по адресу актрисы Барбо, пользовавшейся «покровительством» великого князя Константина, рассказывает также М. М. Стасюлевич в письме к П. А. Плетневу 9 ноября 1864 г. («М. М. Стасюлевич и его современники в их переписке», т. I, СПб. 1911, стр. 171).

[368] Имеется в виду «Путешествие игумена Даниила по святой земле в начале XII века (1113—1116). Издано Археологическою комиссиею под редакциею А. С. Норова, с его критическими замечаниями», СПб. 1864. Подробный отзыв о ней Никитенко дал в своей памятной о Норове речи («Отчеты АН, 1865—1891», стр. 107—108).

[369] «Положение» 19 февраля 1861 г. не распространялось на прибалтийские губернии, в которых формально не существовало крепостного права, хотя фактически крестьяне находились в полной зависимости от помещиков. Делегация «остзейских» крестьян имела задачей ходатайствовать перед царем о выкупе помещичьих земель на тех же основаниях, на каких он проводился по всей России. Отказав в этом крестьянам, Александр — два года спустя — «даровал» крестьянам прибалтийских губерний волостное общественное управление «на самостоятельных и независимых от помещичьего влияния основаниях».

[370] Имеется в виду опубликование так называемых Судебных уставов 20 ноября 1864 г.

[371] Запись Никитенко отражает две темы, волновавшие петербургскую общественность и порожденные интенсивным ростом капитализма в России после 1861 г. В частности, длина железнодорожных линий увеличилась к 1865 г. более чем вдвое по сравнению с 1861 г. (1861 г. — 1488 верст, 1865 — 3543). Споры о займе имеют в виду размещение так называемого Первого внутреннего с выигрышами займа на сумму 100 миллионов рублей, реализованного далеко не полностью, несмотря на предоставлявшиеся по нему льготы.

[372] Имеется в виду книга В. И. Модестова «Тацит и его сочинения. Историко-литературное исследование», СПб. 1864.

[373] Текст настоящей записи, по всей видимости, «подправлен» С. А. Никитенко: «Записки» Ф. Ф. Вигеля начали печататься только с первой книжки «Русского вестника» за 1865 г. (№№ 1—4, 6, 8—12).

[374] В. Д. Спасович, вышедший вместе с другими прогрессивными профессорами Петербургского университета в отставку в знак протеста против мероприятий правительства, вызванных студенческими беспорядками, в середине 1864 г. был назначен профессором Казанского университета. Неожиданно назначение было отменено. Как сообщал М. М. Стасюлевич Плетневу, правительство приняло во внимание рецензию в «Московских ведомостях» на докторскую диссертацию Спасовича «Учебник уголовного права»; рецензия имела явно доносительский характер («М. М. Стасюлевич и его современники в их переписке», т. I, СПб. 1911, стр. 173—174).

13 декабря 1864 г. Стасюлевич писал Плетневу, что Спасовича «уволили от звания профессора в Казанском университете... ему запрещена преподавательская деятельность и употребление его учебника в заведениях» (там же, стр. 176).

[375] *Вселенское послание* папы Пия IX — изуверская его «энциклика» 8 декабря 1864 г., осуждавшая различные «ошибки и превратные учения», в том числе «коммунизм и социализм», пытавшаяся начисто зачеркнуть всю культуру человечества, начиная с эпохи Возрождения. Послание вызвало единодушные протесты во всех цивилизованных странах мира.

[376] Официальное назначение великого князя Константина Николаевича председателем Государственного совета состоялось 1 января 1865 г.

[377] Речь идет о заключительных этапах рассмотрения законов о печати, подготовленных Валуевым и утвержденных в окончательном виде в апреле 1865 г.

[378] Эпизод с попыткой Валуева обуздать Каткова нашел в печатном тексте «Дневника» лишь беглое упоминание, — это следует объяснить более всего «редакторским» вмешательством С. А. Никитенко. В октябре 1864 г. О. А. Пржецлавскому было поручено Советом по делам печати составить докладную записку о «Московских ведомостях». В своей «Записке» Пржецлавский, признавая «заслуги» Каткова в борьбе с революционным движением и в разжигании ненависти русской реакции к революционной Польше, в то же время обвинял его в недопустимой критике правительства, правительственных учреждений, самых основ самодержавия. «Записка» была разослана членам Совета по делам печати и должна была рассматриваться в начале января 1865 г. Большинство членов Совета, в том числе Никитенко, возражали против строгих мер по отношению к «Московским ведомостям», осуждая вместе с тем стремление Каткова поставить свою газету как бы над правительством. Валуев, не дожидаясь решения вопроса о «Московских ведомостях» в Совете по делам печати, попытался лично договориться с Катковым и в декабре, как записывает Никитенко в дневнике, вызвал его в Петербург. Соглашения не последовало. Катков заявил, что в случае каких-либо репрессий по отношению к газете откажется от ее издания. Между тем в дело вмешались силы, поддерживавшие Каткова. Московский университет, которому формально принадлежало право на издание «Московских ведомостей», обратился в Комитет министров с ходатайством распространить на газету право университета самому цензуровать свои издания. Комитет министров, «ввиду благонадежности и патриотического направления» «Московских ведомостей», а также «весьма важных заслуг» редакторов га-

зеты, Каткова и Леонтьева, — постановил: «Предоставить министру внутренних дел оказать редакции возможные облегчения в применении к ним цензурных правил» (С. М. Середонин, Исторический обзор деятельности Комитета министров, т. III, ч. 2, СПб. 1902, стр. 205). 5 января 1865 г. Московское дворянское собрание заявило «об искреннем желании его, — как писал Каткову предводитель дворянства князь Гагарин, — видеть продолжение вашей деятельности» («Московские ведомости», 1865, № 12). Таким образом, и правительственные круги и дворянство недвусмысленно заявили о своей солидарности с Катковым. Это предрешило исход рассмотрения «записки» Пржецлавского в Совете по делам печати: о нем записал Никитенко 14 января 1865 г. Материалы цензурного ведомства, относящиеся к этому эпизоду, опубликованы Н. А. Любимовым: «М. Н. Катков и его историческая заслуга», СПб. 1889, стр. 302—316; ср. Лемке, Эпоха цензурных реформ, 1859—1864 гг., СПб. 1904, стр. 374—376.

[379] Комедия М. А. Маркова «Прогрессист-самозванец», ставившая задачей «изобличение» «прогрессистов», «нового поколения» (конечно, с патриархально-консервативных позиций), имела долгую цензурную историю. По близости автора к влиятельным кругам комедия несколько раз возвращалась для рассмотрения в различные цензурные инстанции, которые неизменно находили, что в комедии «нет ничего противного цензурным правилам», и все же не считали удобным допустить пьесу на сцену. В начале 1863 г. комедия попала в Главное управление по делам печати, где ее цензуровал И. А. Гончаров. Последний разъяснял в своем отзыве несоответствие между благонамеренностью комедии и цензурным ее запретом. В комедии, писал Гончаров, «два представителя старших поколений рвутся из всех сил доказать ложь и вред новых стремлений и начал представителя нового поколения, грубого, безнравственного и весьма недалекого господина, и оба успевают так плохо, что совсем уронили бы дело, если б оно нуждалось в такой защите» («Русский вестник», 1906, № 10, стр. 603—604; ср. Н. В. Дризен, Драматическая цензура двух эпох, 1825—1831, Пгр. 1917, стр. 226—228).

[380] В своем *адресе*, представленном Александру II 11 января 1865 г., московское дворянство ходатайствовало о созыве «общего собрания выборных людей от земли русской для обсуждения нужд, общих всему государству». Несмотря на аристократическо-дворянский характер требований адреса, стремившегося обеспечить права и привилегии «благородного дворянства российского», несмотря на поддержку Каткова, выступление московского дворянства было сочтено Александром II и его окружением непростительной

дерзостью. За напечатание адреса редактор крепостническо-реакционной газеты «Вести» В. Д. Скарятин был предан суду; московское дворянское собрание закрыто. Тютчев отозвался на адрес эпиграммой («Куда себя морочите вы грубо!»; см. ниже, запись 18 апреля 1865 г. и примечание 397). Ср. Е. М. Феоктистов, За кулисами политики и литературы, Л. 1929, стр. 101—102.

[381] Приведенная цитата взята из «перифрастической оды» «Псалом 145», впервые напечатанной в «Риторике» Ломоносова. Как указал еще М. И. Сухомлинов (Полное собрание сочинений М. В. Ломоносова, изд. Академии наук, т. I, СПб. 1891, стр. 304—305), это стихотворение проникло (повидимому, благодаря «Риторике») в крестьянскую массу и вошло в песенный репертуар бродячих певцов.

[382] В *рескрипте* на имя Валуева отмечалось, что «московское дворянское собрание вошло в обсуждение предметов, прямому ведению его не подлежавших, и коснулось вопросов, относящихся до изменения существенных начал государственных в России учреждений». Александр II решительно заявил, что «право вчинания, по главным частям... постепенного совершенствования, принадлежит исключительно мне и неразрывно связано с самодержавною властию» («Северная почта», 1865, № 24). Таким образом, рескрипт имел задачей предупредить дальнейшие конституционалистские попытки различных сословных и общественных учреждений.

[383] Эпиграммы Н. Ф. Щербины на Головнина см.: Н. Ф. Щербина, Стихотворения («Библиотека поэта», Малая серия), Л. 1937, стр. 234—235; «Русская старина», 1907, № 8, стр. 264; на Лаврова — «Исторический вестник», 1891, № 1, стр. 63 и др.

[384] «Летопись» Литературного фонда также констатирует сокращение числа его членов к 1864—1865 гг., как следствие охлаждения общественного интереса к нему («XXV лет, 1859—1884», стр. 56—57). Решающую роль в падении интереса к Литературному фонду сыграла выраставшая политическая реакция и связанная с нею общественная пассивность дворянско-буржуазной интеллигенции.

[385] *«Марта»* — опера Ф. Флотова.

[386] Записи Никитенко об «Обществе женского труда» (ср. ниже, 11 марта 1865 г.) изложены очень тенденциозно, с очевидной предвзятостью к Лаврову, Антоновичу, Елисееву (в действительности оба последних к Обществу отношения не имели) и вообще «краснокожим либералам». Главными инициаторами «Общества женского труда» были П. Л. Лавров и А. К. Кривошеин. Они привлекли к организации Общества кое-кого из высокопоставленных филантропов, вроде, например, В. Н. Ростовцевой и А. П. Философовой. На 22 февраля 1865 г. было назначено учредительное собрание

Общества; слухи о нем и легли в основу записей Никитенко. Собрание это вылилось в чрезвычайно острое столкновение двух групп участниц — демократической и «аристократической». Первые резко протестовали против намеченных «аристократками» кандидатур в «распорядительницы» (председательницы) и «исполнительное отделение» (правление) общества. Вторые объявили своеобразную «чистку» Общества, в результате которой почти все «нигилистки» оказались исключенными; после этого самое Общество быстро зачахло и вскоре прекратило свое существование. См. Е. Жуковская-Ценина, «Общество организации женского труда» («Сборник памяти А. П. Философовой», т. II, Пгр. 1915, стр. 21—25); Е. А. Штакеншнейдер, Дневник и записки, «Academia», 1934, стр. 349—356.

[387] Это предложение Лаврова не нашло отражения в протоколах комитета; сохранилось, однако, упоминание о нем в агентурных донесениях секретных сотрудников III отделения, которое уточняет запись Никитенко: «В одном из бывших в начале 1865 г. собраний общества Литературного фонда Лавров предложил выдать денежное пособие Чернышевскому и ходатайствовать у правительства о пересмотре его дела, решенного будто бы незаконно и явно пристрастно Но председатель общества (Е. П. Ковалевский. — *И. А.*) отклонил предложение Лаврова» («Материалы для биографии П. Л. Лаврова», вып. 1, Пгр. 1921, стр. 87).

[388] Трехтомная «История Юлия Цезаря», написанная Наполеоном III, появилась в 1865 г. (русский перевод М. Стасюлевича: СПб. 1865—1867) и вызвала ряд отрицательных отзывов в русской демократической и радикальной журналистике (см., например, анонимную статью «Что такое великие люди в истории» — «Современник», 1865, № 2, стр. 315—327; «Русское слово», 1865, № 3, и др.).

[389] Характеристика общественно-идеологической борьбы в процессе подготовки и проведения Ломоносовского празднества дана в статье П. Н. Беркова «Ломоносовский юбилей 1865 г. (Страница из истории общественной борьбы шестидесятых годов)» («Ломоносов. Сборник статей и материалов», кн. II, М.—Л. 1946, стр. 216—247).

[390] Стихотворение А. Н. Майкова подверглось (по крайней мере в печати) исправлениям цензурного свойства. Первоначальный текст стихотворения опубликован И. А. Шляпкиным («Русский библиофил», 1911, № 7, стр. 109—110).

[391] Речь идет о книге П. С. Билярского «Материалы для биографии Ломоносова», СПб. 1865. О передаче Срезневским своего экземпляра книги Ламанскому Билярский (в официальном письме на имя Я. К. Грота) писал, что это «есть нарушение моего права

на ученую собственность, а открытое заявление об этом поступке среди заседания есть наглая насмешка над моим правом» (В. М. Истрин, Письма к академику П. С. Билярскому, Одесса 1908, стр. 244—245). Этот эпизод выразительно иллюстрирует одну из тех многочисленных беспринципных склок, какие раздирали Академию наук.

[392] «Ссоры» «Московских ведомостей» Каткова с аксаковским «Днем» отражали две тенденции, намечавшиеся в это время в среде дворянства: одна отстаивала крайнюю реакцию и всемерно приветствовала наиболее ретроградный правительственный курс, олицетворявшийся Муравьевым-Вешателем, другая признавала необходимость некоторых (чрезвычайно скромных!) уступок общественному мнению. Отстаивание Аксаковым «земства», т. е. элементов общественного самоуправления, не должно вводить в заблуждение относительно реакционного существа его политических взглядов. Аксаков прекрасно представлял себе роль земства, которую впоследствии замечательно охарактеризовал В. И. Ленин: «Земство с самого начала было осуждено на то, чтобы быть пятым колесом в телеге русского государственного управления, колесом, *допускаемым* бюрократией лишь постольку, поскольку ее всевластие не нарушалось, а роль депутатов от населения ограничивалась голой практикой, простым техническим исполнением круга задач, очерченных все тем же чиновничеством» (Сочинения, т. 5, стр. 32).

[393] В торжественном заседании Академии наук, посвященном памяти Ломоносова, с речами должны были выступить: Я. К. Грот («Очерк академической деятельности Ломоносова»), А. В. Никитенко («О значении Ломоносова в отношении изящной русской словесности») и И. И. Срезневский («О значении Ломоносова в развитии русского литературного языка»). После того как Срезневский отказался от выступления (см. запись Никитенко 29 марта 1865 г.), сплоченная академическая группа прилагала все усилия к тому, чтобы сделать Грота единственным героем дня. Именно эти соображения продиктовали Ф. П. Литке дипломатическую записку к Никитенко; после того как последний все же выступил, та же группа академиков постаралась особенно оттенить успех речи Грота, успех, далеко не оправдывавшийся ее содержанием (П. Н. Берков, цит. статья, стр. 230—233).

[394] Речь Я. К. Грота «Очерк академической деятельности Ломоносова» была напечатана в «С.-Петербургских ведомостях», 1865, №№ 84, 85, и затем в «Журнале министерства народного просвещения», 1865, № 5, стр. 403—435, и в «Записках Академии наук» 1865, т. VI, кн. 2, стр. 220—258. Речь Никитенко «Значение Ломоносова в отношении к изящной русской словесности» появилась в

«Журнале министерства народного просвещения», 1865, № 5, стр. 436—455, и отдельно, СПб. 1865.

[395] Имеется в виду реплика Почтмейстера в «Ревизоре», действ. 1, явл. II.

[396] В связи с этими рассказами Тютчева находится его эпиграмма на графа С. Г. Строганова:

Как верно здравый смысл народа
Значенье слов определил:
Недаром, видно, от «ухода»
Он вывел слово «уходил».

(Тютчев, Полное собрание стихотворений, «Библиотека поэта», Л. 1939, стр. 173).

[397] Эпиграмма Тютчева известна и вошла в собрание его стихотворений в несколько отличном (исправленном?) виде, под заглавием «Ответ на адрес»:

Себя, друзья, морочите вы грубо, —
Велик с Россией ваш разлад, —
Куда вам в члены английских палат!
Вы просто члены *Английского* клуба...

(Тютчев, Полное собрание стихотворений, «Библиотека поэта», Л. 1939, стр. 172).

[398] Закон о том, что дети, рожденные от браков православных с лютеранами или католиками в прибалтийских губерниях, признаются православными независимо от желания родителей, был издан 22 марта 1865 г., но опубликован не был и сообщен лишь синоду (см. «Русская старина», 1899, № 9, стр. 696).

[399] Закрытие «Народной летописи» — газеты демократического направления, выходившей дважды в неделю, с 2 марта по 16 апреля 1865 г., — вызвало оживленные толки в обществе, отразившиеся, между прочим, в корреспонденциях «Колокола» (1865, лл. 197, 199). Общую характеристику «Народной летописи» см. в сборнике «Русская журналистика. I. Шестидесятые годы», под редакцией В. Полянского, «Academia», 1930, стр. 73—103 (статья Б. П. Козьмина).

[400] Вопрос об избрании Н. С. Тихонравова академиком возник в апреле 1865 г., в связи с заявлением Билярского об уходе из Академии наук на кафедру русской словесности только что учрежденного Новороссийского (Одесского) университета. Тихонравов сперва согласился принять предложение Отделения, но затем отказался, мотивируя свой отказ нежеланием расставаться с Московским университетом. Академиком Н. С. Тихонравов был избран 3 марта 1890 г.

(Б. Л. Модзалевский, Список членов Академии наук, 1725—1907, СПб. 1908, стр. 62). О предложенной Никитенко кандидатуре А. Д. Галахова Грот писал: «Галахов ко мне пошел бы охотно, но там теперь был бы нужен по преимуществу филолог» («Переписка», III, 703, 705, 708, 709). В конце концов академиком был избран А. Ф. Бычков (см. запись 16 октября 1865 г.).

401 Имеется в виду речь З. Топелиуса, произнесенная в траурном собрании Гельсингфорсского (Александровского) университета 12 мая 1865 г. Перевод речи напечатан в «С.-Петербургских ведомостях», 1865, № 127.

402 Имеется в виду «Гавриилиада». Сводка данных об отношениях А. С. Норова с Пушкиным дана Л. Б. Модзалевским в комментариях к «Письмам» Пушкина, т. III, «Academia», 1936, стр. 661—663.

403 *Система поджогов*, о которой упоминалось в статье «Русского инвалида», являлась очередным грубым вымыслом правительственно-реакционных кругов в борьбе с революционным движением.

404 Новый устав Академии наук, по распоряжению Головкина, был разослан некоторым университетам, в редакции журналов и газет, чтобы «подвергнуть его гласному обсуждению». Результаты этого обсуждения оказались неблагоприятными для Академии: как отмечает советский историк, проект устава «выдвигал положение о том, что прямая обязанность Академии — совершенствовать и обогащать науку; о приложении же научных достижений к жизни должна заботиться не Академия, а общество. Это привело многих прогрессивных университетских деятелей к мысли о том, что «Академия отжила свой век и дальнейшее развитие науки перешло к университетам» (Г. А. Князев, Краткий очерк истории Академии наук СССР, М.—Л. 1945, стр. 32). Особенно четко эту точку зрения высказал старейший университет страны — Московский; замечания по этому поводу комиссии, выделенной советом университета, и отдельных профессоров напечатаны в «Чтениях Общества истории и древностей Российских при Московском университете», 1865, кн. II, стр. 142—192; 1866, кн. I, стр. 185—189; кн. II, стр. 160—188. Ср. запись Никитенко от 8 октября 1865 г.

405 Возмущение Никитенко вызвала известная статья Д. И. Писарева «Пушкин и Белинский» («Русское слово», 1865, № 4, стр. 1—60; № 6, стр. 1—68). Нападки Писарева на Пушкина являлись составной частью его борьбы с консервативно-дворянской идеологией, выразители которой, прикрываясь теорийками «чистого искусства», пытались превратить имя Пушкина в знамя реакции, помешать художественной литературе служить целям освободительного движения. См. об этом подробно в комментариях к «Избранным сочинениям» Д. И. Писарева (т. II, М. 1935, стр. 597—599) и в книге

Л. А. Плоткина «Писарев и литературно-общественное движение шестидесятых годов», Л. 1945, стр. 363—371.

[406] Непосредственные и прямые причины столкновения В. С. Курочкина с Г. Е. Благосветловым неизвестны. Они кроются в проявившемся в первой половине 60-х гг. размежевании демократического лагеря на два направления: революционно-демократическое (к которому принадлежал и В. С. Курочкин, возглавлявший редакцию «Искры») и менее последовательное, радикально-демократическое (представленное журналом «Русское слово» и его редактором — Г. Е. Благосветловым).

[407] Первое предостережение «С.-Петербургским ведомостям» объявлено 20 сентября 1865 г. за статью в № 243 по поводу предположений о законности залога в частном кредитном учреждении какого-либо государственного имущества. Необоснованность предостережения явствует из того, что статья «С.-Петербургских ведомостей» явилась результатом газетной полемики, в которую вмешалась и правительственная газета «Северная почта» (см., например, 1865, № 199) и в которой уже были затронуты положения, поставленные в вину «С.-Петербургским ведомостям». На необоснованность предостережения указывали в одной из передовых статей даже реакционнейшие «Московские ведомости», 1866, № 208.

[408] Уваровские премии за 1865 г. присуждены были Л. Похилевичу — за книгу «Сказания о населенных местностях Киевской губернии, или статистические, исторические и церковные заметки о всех деревнях, селах, местечках и городах, в пределах губернии находящихся», Киев 1864, и И. Носовичу — за рукопись «Алфавитный указатель старинных слов, извлеченных из актов, относящихся к истории Западной России, изданных в 1853 г.» Обе премии присуждены по отзывам И. И. Срезневского.

[409] Имеется в виду передовая статья И. С. Аксакова в «Дне» за 18 сентября 1865 г., посвященная «смешению церковного с государственным, по поводу слухов о новом проекте духовного цензурного устава» (ср. Сочинения И. С. Аксакова, т. IV, М. 1886, стр. 34—41).

[410] «Письмо к императору Александру II» («Колокол», 1865, л. 197) — одно из тех, по определению В. И. Ленина, бесчисленных слащавых писем Герцена к Александру II, которых нельзя теперь читать без отвращения (см. Сочинения, т. 18, стр. 12), одна из иллюстраций «либеральных апелляций к «верхам». В своем письме Герцен пытался убедить царя остановиться на том «страшном пути», которым он шел «с половины 1862 г.», возвратиться «на прежнюю дорогу» (подразумевается дорога либеральных «реформ»). Запись Никитенко отражает отношение к «Письму» консервативных кругов, усмотревших в этом выступлении Герцена лишь выходку

раздраженного неудачами политического деятеля (никаких «непристойностей» и «грубых ругательств» «Письмо» не содержит).

411 Данная запись Никитенко носит очевидные следы редакционных сокращений, произведенных дочерью автора. Из переписки Грота с Плетневым (III, 711—712) явствует, что обсуждались кандидатуры Н. И. Костомарова, М. И. Сухомлинова, А. Ф. Бычкова и А. Д. Галахова. Ср. запись 21 октября 1865 г.

412 И. С. Аксаков женился на А. Ф. Тютчевой 12 января 1866 г. «День» действительно прекратился к концу 1865 года, хотя в последнем номере редактор и обещал преобразовать свою газету в ежемесячный «толстый» журнал.

413 Книга П. А. Бибикова «Критические этюды, 1859—1865» (СПб. 1865) в значительной своей части посвящена вопросам женской эмансипации и разоблачению буржуазного брака. Выпущенная без предварительной цензуры, книга тотчас же обратила на себя внимание цензурных органов, возбудивших против нее судебное преследование — «за прямое оспаривание и порицание начал семейного союза с намерением разрушить или ослабить его основы», «за стремление подорвать христианское понятие о брачном союзе» и т. д. Суд над книгой Бибикова состоялся 19 ноября 1865 г. (см. ниже, запись 24 ноября 1865 г.). Это был первый публичный судебный процесс над книгой, и потому он привлек к себе большое внимание публики. Суд приговорил Бибикова к семидневному аресту на гауптвахте, но одновременно признал незаконными действия следователя, произведшего на квартире Бибикова обыск, и неправильной приостановку продажи «Критических этюдов». Это, повидимому, и дало повод Никитенко записать 24 ноября 1865 г. о разногласиях между судьями и прокурором. См.: «С.-Петербургские ведомости», 1865, № 306; «Русский вестник», 1906, № 10, стр. 584—585.

414 Вольное Экономическое общество было основано в 1765 г., при непосредственном участии Екатерины II. Обладая значительными материальными средствами, Общество почти не проявляло собственной инициативы в постановке насущных вопросов и решении их и полностью руководствовалось соответствующими указаниями правительства. Попытки демократизации состава и деятельности Общества (конец 50-х гг. — начало 60-х гг.) не привели к сколько-нибудь значительным сдвигам в характере и стиле его работы. Празднование 100-летия Общества носило официальный характер; см. А. И. Ходнев, История Вольного Экономического общества с 1765 по 1865 год, СПб. 1865.

415 Так называемый Готторпский небесный глобус сооружен в середине XVII в. и в 1713 г. был приобретен Петром I для Академии наук. Глобус имеет в поперечнике 3,5 метра, сделан из листо-

вой меди и представляет снаружи земную поверхность, изнутри — небесный свод. Поврежденный глобус в настоящее время реставрирован и находится в Ломоносовском музее при Академии наук СССР (Ленинград).

[416] Первое предостережение «Современнику» объяснялось в официальном сообщении «вообще вредным направлением журнала, выразившимся в целом ряде статей». В частности, отмечены были следующие статьи: 1) «Новые времена, община реформаторов в Нью-Йорке»» (1865, № 8, отд. I, стр. 367—386) А. Н. Пыпина; в статье этой, по замечанию цензурного ведомства, «порицаются начала семейного союза»; 2) «Надежды и опасения» М. А. Антоновича (1865, № 8), в которой «возбуждается общественное недоверие к закону о печати 6 апреля, искажается смысл сего закона и высказывается мысль, что за приобретение одних внешних удобств бесцензурные издания должны вносить залог и подвергаться всем карам административной мудрости и произвола, а в стихотворении под заглавием «Газетная» ‹Н. А. Некрасова› изображено в крайне оскорбительном виде звание цензора»; 3) «Записки современника» Ю. Г. Жуковского (1865, № 8, отд. II, стр. 301—302), где «объясняется, на юридической почве, теория социального демократизма и доказывается право крестьян на вознаграждение из той массы капиталов, которая, составляя сбережение, сделанное руками рабочих классов, несправедливо отдана в руки капиталистов, что и составляет, по словам автора, заедание чужого, мужицкого хлеба — главное зло и препятствие всего исторического и общественного развития»; см. В. Евгеньев-Максимов, Последние годы «Современника», 1863—1866, Л. 1939, стр. 98—104.

[417] Имеется в виду реплика Репетилова:

> Лохмотьев Алексей чудесно говорит,
> Что радикальные потребны тут лекарства,
> Желудок дольше не варит.
>
> *(„Горе от ума", действ. 4, явл. 5).*

[418] *«Сафо»* — опера Джованни Пуччини.

[419] Трагедия А. К. Толстого «Смерть Иоанна Грозного» была закончена автором к лету 1864 г. и в конце 1865 г., пройдя благополучно цензуру, отдана для напечатания в «Отечественные записки». Тогда же, с разрешения поэта, было организовано несколько чтений трагедии; одно из них происходило у Никитенко (А. К. Толстой, Драматическая трилогия, «Библиотека поэта», Л. 1939, стр. 531).

[420] Предостережение дано «Голосу» на основании постановления Главного управления по делам печати от 1 декабря 1865 г. за то, что в ряде статей «заключаются резкие порицания, взводятся

оскорбления на все дворянское сословие, на служащих правительству лиц и, наконец, представляется превратное изложение исторических событий, с очевидною целью возбудить безусловное сочувствие к лицам, противодействовавшим правительству». Уже самое накопление ряда доказательств «вредного» направления газеты говорит о том, что цензурные органы настойчиво искали поводов для административного взыскания по отношению к «Голосу», взыскания, необходимого для подтверждения принятого Валуевым «твердого курса». В то же время редакция «Голоса» заботливо стремилась к поддержанию своей репутации либерального органа, временами бравируя своим либерализмом, оппозиционностью действия правительства, полемикой с катковскими «Московскими ведомостями».

[421] Как явствует из материалов, опубликованных В. Евгеньевым-Максимовым («Последние годы «Современника», 1863—1866», Л. 1939, стр. 105—112), внимание цензурных органов привлек ряд произведений, напечатанных в № 10 «Современника» за 1865 г., в том числе рассказ Г. И. Успенского «Деревенские встречи», стихотворение Н. А. Некрасова «Железная дорога», статья М. А. Антоновича «Суемудрие «Дня» и др. Из них в объявлении о втором предостережении «Современнику» (4 декабря 1865 г.) упомянуты последние два произведения. «Статья «Суемудрие «Дня» Антоновича, — говорится в постановлении, — заключает в себе: а) неприличные суждения о значении православия вообще и в особенности в отношении к событиям отечественной истории... б) сочувственные отзывы о ниспровержении алтарей и престолов и насмешки над уважением к религии и законам... в) глумление над нашим государственным устройством, равно над отношением народа к высшей власти». Что касается стихотворения Некрасова, то в нем, как говорится в постановлении, «взводится клевета на благодетельное предприятие правительства к усовершенствованию наших путей сообщения на западный образец, в звучных стихах, утверждающих, что «начальство секло народ», предоставляя ему право «мерзнуть и гибнуть от цынги в землянках»; причем автор позволил себе даже сделать произвольное исчисление мучеников, потерпевших смерть... за железную дорогу — Николаевскую, утверждая, что таковых «пять тысяч»; в эпиграфе же упомянута вещь всем известная, что главным строителем дороги был граф Клейнмихель, очевидно с целью возбудить негодование против этого имени».

[422] «Записки» А. С. Шишкова Никитенко читал, повидимому, в рукописи, так как они были опубликованы О. М. Бодянским позднее («Чтения в Обществе истории и древностей российских», 1868, кн. III, стр. 1—142). В полном виде, без цензурных пропусков, «Записки» были изданы за границею, в двух томах (Берлин 1870).

[423] В первой половине 60-х гг. обострилась полемика между консервативной немецкой печатью в Прибалтике и некоторыми московскими газетами (особенно «Днем» и «Московскими ведомостями»). Немецкое юнкерство и буржуазия были озабочены сохранением некоторых старых привилегий остзейских баронов и господствующего положения немецких магистратов в городах. «День» и «Московские ведомости», отражавшие интересы русского дворянства, писали в ответ о «балтийском сепаратизме», о пренебрежении «русских начал». Несмотря на упоминание о «раздражительных увлечениях» части русской печати, в циркуляре Главного управления по делам печати 14 декабря 1865 г. содержалась уступка требованиям Каткова и Аксакова; недаром Катков выразил полное свое одобрение циркуляру («Московские ведомости», 1865, № 277). Имея в виду эти уступки, Никитенко собственно и говорит о «путанице понятий» и «безграмотности» циркуляра.

[424] Имеется в виду книга А. Гакстгаузена «Конституционное начало, его историческое развитие и его взаимодействие с политическим и общественным бытом государств и народов», перевод с немецкого Б. Утина и К. Кавелина, СПб. 1866.

[425] А. М. Раевская — вдова генерал-лейтенанта Н. Н. Раевского, приходившегося по материнской линии правнуком М. В. Ломоносову. Сестра Раевского, Екатерина Николаевна, была замужем за М. Ф. Орловым (которого Никитенко ошибочно считает потомком Ломоносова) и владела собранием рукописей великого русского поэта и ученого. Судьба этого собрания исследована в статье С. Чернова «Литературное наследство М. В. Ломоносова» («Литературное наследство», кн. 9—10, 1933, стр. 327—339), в которой, впрочем, остались неучтенными свидетельства «Дневника» Никитенко.

СОДЕРЖАНИЕ

Редактор П. А. Сидоров
Художественный редактор А. М. Гайденков
Технический редактор Л. П. Крючкина
Корректор А. А. Большаков

Подписано к печати 7/X 1955 г. М-48398. Бумага 84×108[1]/32—40,75 печ. л.= 33,41 усл. печ л. Уч.-изд. л. 37,18. Тираж 30 000 экз. Заказ № 377.
Цена 12 руб. 65 коп.

Гослитиздат. Ленинградское отделение. Ленинград, Невский пр., 28.

Министерство культуры СССР. Главное управление полиграфической промышленности. 4-я тип. им. Евг. Соколовой.